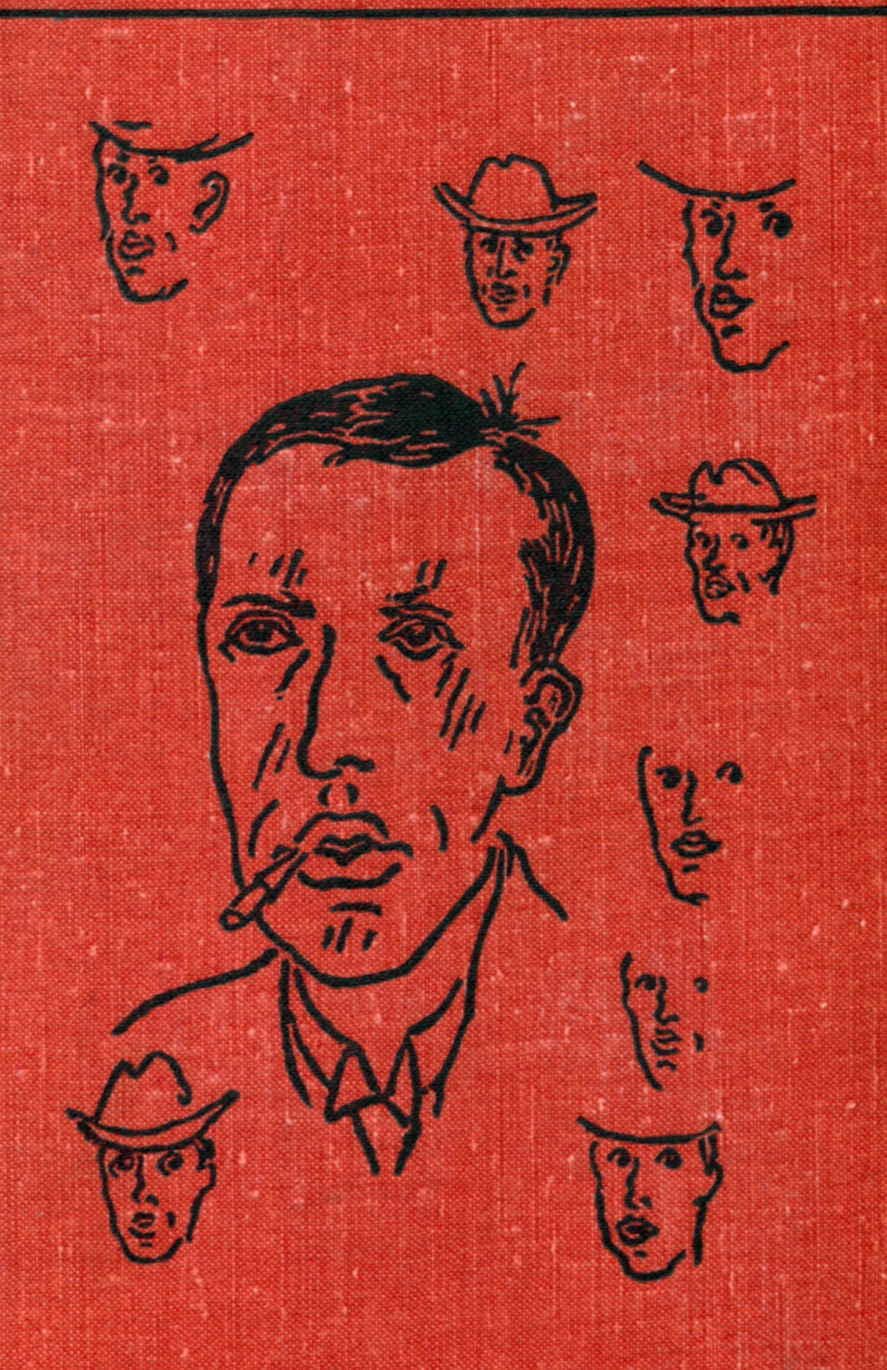
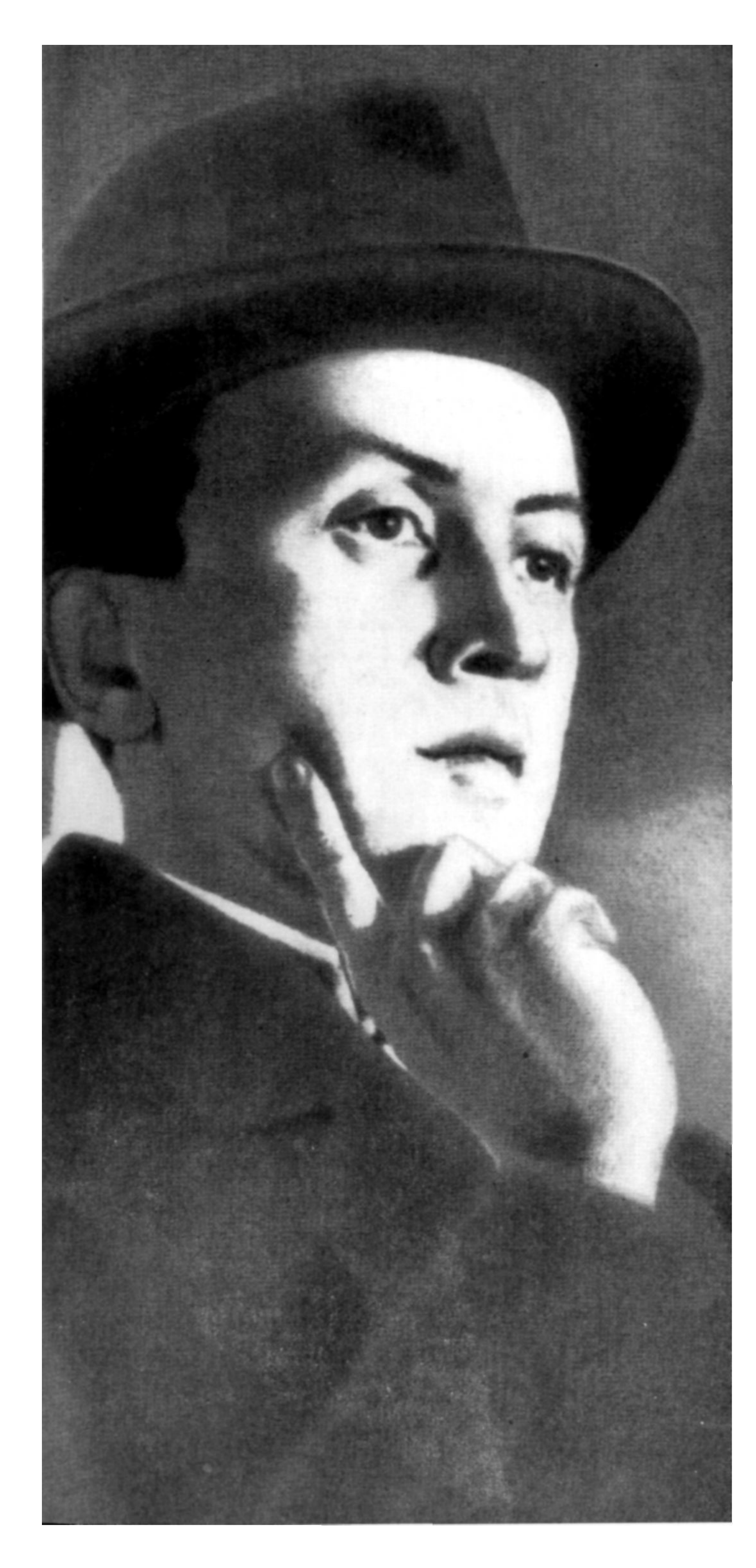
Карел Чапек





МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1974

Карел Чапек

Собрание сочинений
в семи томах

С иллюстрациями
Карела и Йозефа Чапеков

Москва «Художественная литература» 1974

Карел Чапек

Собрание сочинений

Том первый

Рассказы

Перевод с чешского

Москва «Художественная литература» 1974

И (Чехосл)
Ч 19

Составление
С. Никольского

Вступительная статья
Б. Сучкова

Примечания
О. Малевича

Оформление художников
В. Шумилиной и Л. Рабичева

Ч $\frac{70304-284}{028(01)-74}$ подписное

Карел Чапек
(1890-1938)

Карела Чапека по праву можно назвать одним из самых глубоких умов среди крупнейших писателей двадцатого века. Как художник, он был наделен даром улавливать и предощущать сложнейшие исторические конфликты, сокрытые в потаенных недрах бытия и, подобно залежам руд, обнаруживающие на поверхности лишь собственные выносы.

Внешняя простота его произведений обманчива. Рассказывая о своем пути к художественному творчеству, Чапек любил вспоминать, как много для него — сына провинциального врача, потомка мельника и крестьян — значило и давало наблюдение за работой ремесленников, людей разнообразного труда — кузнецов, красильщиков, ткачей, пекарей, портных, каменотесов, которых он называл великими за их прилежность и искусность. Он и свою писательскую профессию именовал высоко и гордо — ремеслом, уподобляя себя умелым мастеровым — сынам любимого им трудового люда. Но, восхищаясь ими, он никогда не говорил, что дело, которое они делают, — есть легкое дело. Разве обычный кусок древесины не груб и не уродлив? Но если над ним поработают искусные руки краснодеревщика, он раскроет неожиданную красоту и богатство своих узоров и оттенков, которые дадут возможность ощутить неиссякаемую и вечную мощь сотворившей их жизни.

Так и сквозь прозу Чапека — стилистически ясную, свободную от нарочитой отвлеченности, пренебрегающую игрой пустыми формами, сочную, пропитанную запахами и звуками родной земли, шумом ее лесов, многократным эхом ее гор, разноголосым говором городских толп — проступает многосложность жизни, с ее загадочными глубинами, случайностями, неисчерпаемыми возможностями, радостями, веселостью, драматизмом и трагичностью. Проза Чапека насквозь земная, но не приземленная. Она полна раздумий и фантазии, она философична в хорошем смысле этого слова, ибо главным вопросом, который неотступно тревожил и терзал Чапека всю его недолгую жизнь, был вопрос о взаимоотношениях человека с миром, который тот творит собственными руками, насыщая его техникой, научными знаниями, верными и ложными идеями.

Чапеку, очень скромному человеку, органически была чужда поза всеведущего учителя жизни. Но из его произведений не Уходила мысль о том, что же станется с миром, если разум,

гуманность, чувство ответственности за судьбу всего рода человеческого не возобладают над неразумием, своекорыстием, мифами национализма, жестокостью, социальным злом, копящимися в современной цивилизации и способными обречь ее на невиданные катаклизмы.

Узловые конфликты, исследовавшиеся и затрагивавшиеся Чапеком в его произведениях, еще не разрешены современной историей, и потому его творчество и поныне сохраняет свою жизненность. Оно привлекательно не только содержательностью, но и непередаваемым своеобразием — слитностью серьезности, трезвости и глубины художественной мысли с человечным, доброжелательным юмором. Но там, где нужно было защитить великие гуманистические ценности жизни и культуры, Чапек становился воинствующим и бескомпромиссным сатириком.

Чапек был очень разносторонним художником. Прозаик и драматург, фельетонист и критик, он писал жгучие социальные романы и безмятежно-идиллические книги, как «Год садовода», юморески и сатирические притчи, рассказы — психологические и полудетективные, а также сказки, рецензии и путевые очерки, проникнутые чувством уважения к культуре тех стран, где он побывал.

Лучшие из этих очерков, например «Письма из Италии», напоминают оригинальностью эстетических суждений, взвешенностью раздумий над природой и особенностями искусства стендалевские «Прогулки по Риму и Флоренции» с их почти физически наглядной передачей впечатлений от созданий живописи и архитектуры. При мягкости тона, его «Письма из Англии» драматизмом размышлений над тягостными последствиями сверхурбанизации жизни и подавления человека обездушенной техникой, схожи с «Зимними записками о летних впечатлениях» Ф. М. Достоевского. Разумеется, жесткая саркастичность великого русского писателя далека от юмора Чапека, но характерно, что, подобно Достоевскому, в «Хрустальном дворце» — стеклянном здании, выстроенном на лондонской Всемирной промышленной выставке, провидевшему прообраз бесчеловечности капиталистической цивилизации, Чапека ввергло в крайнюю тревогу все увиденное им во Дворце механики в Уэмбли — центральном павильоне Британской имперской выставки. «Машины великолепны, безукоризненны, но жизнь, которая им служит или которой служат они, вовсе не великолепна, не блестяща, она не самая совершенная и не самая красивая...» — писал Чапек, и, завершая свое изображение владычества техники, пришел к выводу, имеющему принципиальное значение: «Это совершенство материи, из

которого не вытекает совершенство человека, эти блестящие орудия тяжелой и неискупленной жизни приводят меня в смятение...» Что же, однако, противостоит этой, неудержимо накатывающейся на мир стихии техники? С угрюмой горечью Чапек противополагает сверкающей никелем, сталью, безликой, чреватой опасностью мощи нечто откровенно слабое и незащищенное — оборванного нищего, продававшего на улице спички. «Он был слеп и изъеден чесоткой; это был плохой и сильно поврежденный механизм: это был всего лишь человек».

Образ этот не случаен в системе воззрений Чапека. Он многозначен и символичен, как многозначна и громадная смятенность, владевшая умом и душой писателя, свойственная всем его значительным произведениям. Без этой тревоги и смятенности они лишились бы своего внутреннего общественно-этического пафоса и смысла.

Тревога, обуревавшая Чапека, была не напрасной или пустой. Ее порождали отнюдь не руссоистские настроения, чуждые Чапеку при всей его любви к природе, ко всему живому, дышащему, растущему и прежде всего к самой жизни. Тревожность и беспокойство раздумий над истоками расхождения нравственного и научно-технического прогресса, подтверждая художническую чуткость Чапека, предопределили внутренний драматизм его произведений.

В отличие от выдающихся революционных писателей своей страны — М. Майеровой, И. Ольбрахта, Я. Гашека, М. Пуймановой, он не изображал социальные противоречия чехословацкой жизни в их открытой обнаженности, но он и не игнорировал исторические причины, их вызывающие. Он обращался к другому виду общественных конфликтов, нежели эти художники.

Чапек выдвинул на первый план и исследовал процесс резкого расхождения и несовпадения морально-духовного и научно-технического прогресса в собственническом обществе и задумался над теми трагическими последствиями, которые вызывает неуправляемое, хаотичное, опирающееся на своекорыстные экономические и националистические интересы, бурное, даже революционное развитие науки и техники, в том числе и в первую очередь средств массового уничтожения и разрушения. И до Чапека искусство и литература вводили в сферу своего внимания и анализа науку, технический прогресс, их завоевания, но относились к ним как к двигателям общественного развития. Но Чапек ощутил катастрофичность столкновения научно-технического прогресса с моральным состоянием общества. Столкновение это он считал следствием несовершенства самого общества, создающего науку и технику и порождающего социальные катаклизмы, определившие облик два-

дцатого века. Коллизия эта долго была для Чапека основополагающей, что придавало весьма своеобразный колорит его произведениям и во многом определяло ход его художественной мысли.

Сливая воедино социальные антагонизмы современности и крутые конфликты начинавшейся научно-технической революции, Чапек как художник нередко прибегал к методу прогностики. Но поле, на котором он воздвигал свои апокалиптические видения будущего, не охватывало все существующие возможности и реальности исторического развития. Объяснялось это но столько тем, что его могучая фантазия терялась перед сложностями бытия человеческого, сколько особенностями его мировосприятия и духовного опыта.

Несмотря на то что Чапек провидел и разрабатывал конфликты, имеющие долговременный и исторически новый характер, он всеми своими корнями, образом мышления и чувствования был органически связан и со своей землей, и со своим временем. Его огромное дарование несло на себе неизгладимый отпечаток эпохи, в которую шло его творческое созревание и развитие. Достаточно перелистать его «Картинки родины» с их густотой красок, пластичностью описания чешских и словацких деревень и городков; чудесных творений зодчества, уцелевших в бурных превратностях отечественной истории; крепких, украшенных резьбой, традиционных в своем однообразии словацких изб; сельских трактиров и пражских трущоб, — чтобы ощутить прочность уз, соединявших духовный мир Чапека с историей и миром его отчизны.

В предисловии к английскому изданию «Старинных чешских преданий» Алоиса Ирасека он сам говорил, какое громадное значение для нравственного воспитания народа и самосознания личности имеют прогрессивные народные традиции, особенно традиции национально-освободительной борьбы, пафосом которой были проникнуты сказания Ирасека. Но любовь и уважение к традициям не воспрепятствовали Чапеку выработать критическое отношение к современному ему обществу, реальности которого были весьма далеки от тех мечтаний, которые издавна вынашивал в своем сердце народ. Социальное здание, которое при жизни Чапека было воздвигнуто на фундаменте национально-освободительной борьбы чехов и словаков против австро-германского владычества, было весьма несовершенно.

«Картинки родины» одновременно с блистательным описанием Праги, ее неповторимой красоты — воплощения народного гения — содержат изображение бедных кварталов, где в подвалах, убогих комнатенках ютилась нищета, изголодавшиеся, обовшивевшие дети, люди, потерявшие человеческий образ и подобие,

отупевшие, безразличные к жизни, что шумела и громыхала за стенами их жалких жилищ, люди, до которых чехословацкой буржуазии, громогласно провозглашавшей свое наигранное народолюбие, не было никакого дела.

Изображение человеческого унижения исполнено у Чапека не только сострадания и мучительности. Для него очевиден страшный раскол, глубочайшая трещина, разделившая надвое — на тех, кто беден, и тех, кто имеет все, — современное ему общество, единство которого официально утверждали апологеты чехословацкой буржуазной демократии.

Со страстной убежденностью и до конца дней своих Чапек считал: первое и главное в мире, на что обязано ответить и откликнуться общество — это вопль нужды и страдания людские, от которых общество обязано избавить людей. Но откуда им, раздавленным безнадежной и бесконечной бедностью, их детям, вырастающим как попало в трущобах, среди пороков, невежества, почерпнуть силы сопротивляемости, чувство человеческого достоинства, надежду на будущее — без чего не может нормально действовать и развиваться общественный организм? В чем найти человеку опору, чтобы его общественное существование освободилось от роковых аномалий? Вот главенствующие вопросы, которые неостановимо преследовали Чапека на протяжении всей его творческой деятельности как человека и художника, предопределяя гуманистический пафос его произведений.

Чапек одновременно ощущал и красоту и боль своей родины. Он сознавал, что социальный уклад межвоенной, версальской Европы — зыбок, чреват взрывами, неустойчивостью, опасными вспышками агрессивности, остервенелого шовинизма, жестокости. Он чувствовал, что наступила переходная эпоха, несущая, несмотря на периоды временной стабилизации и относительного экономического благополучия, — кризисы, потрясшие самые основы капиталистической цивилизации.

Для него не было также тайной, что в раздираемой множественными социальными и националистическими интересами Европе разнохарактерные амбиции и претензии облекались их поборниками и носителями в форму «непреходящих» моральноэтических, политических, национальных, философских ценностей, что вело к возникновению множественности, раздробленности находящихся в обращении разнохарактерных принципов, идей, декларируемых истин, претендующих на всеобщую значимость, а на деле оправдывающих или обосновывающих весьма своекорыстные, узкие цели и интересы.

Механизм формирования подобных «истин» Чапек раскрывал в своих «Побасенках» — собрании сатирических афоризмов и сентенций, которые он влагал в уста различных обобщенных басенных или извлеченных из живой политической жизни персонажей — дипломатов, демагогов, милитаристов, империалистов, диктаторов. Он обнажал в «Побасенках» демагогическую логику и способы сокрытия истинных намерений и взглядов под высокопарной, претендующей на неотразимую достоверность и правдивость, но внутренне насквозь фальшивой фразой или суждением. «Побасенки» были не только остроумны, но и беспощадно критичны и отражали его последовательное неприятие социальной демагогии. В годы, когда мир начинала захлестывать ядовитая, беспардонная, человеконенавистническая ложь, распространяемая «хромым бесом» Геббельсом и различного сорта разносчиками фашистских идеек, в том числе и доморощенными чехословацкими национал-фашистами вроде бывшего колчаковского «генерала», одного из руководителей контрреволюционного мятежа чехословацких легионеров в Советской России — Гайды, или Стршибрного, пли Глинки и их присных; когда лидеры буржуазных демократий, в том числе и чехословацкие социал-реформисты, елейно провозглашая себя поборниками прав человека, защитниками свобод и законности, втихомолку вступали в сделку с рвавшимися к власти немецкими национал-социалистами, подталкивали их на агрессию и сознательно закрывали глаза на истребление ими подлинных борцов за свободу, — Чапек написал, в форме предисловия к одной книге о журналистике, памфлет на то, что он называл «фразой». Это понятие он определял не как устойчивое словосочетание — явление повседневного разговорного языка, который, разумеется, часто оперирует отстоявшимися блоками понятий, а как устойчивую ложь, укоренившуюся и автоматическую неискренность, цель которой — фальсифицировать все духовные ценности, изуродовать и извратить человеческое мышление. Ненавидя социальную демагогию, Чапек безоговорочно занимал последовательно антифашистскую позицию.

Естественно, что у писателя возникало критическое отношение к миру, которое он называл скептицизмом. Однако его скептицизм никогда не вырождался в нигилистическое всеотрицание: от этого Чапека уберегало органическое жизнелюбие, жажда приобщения к весомым, исторически значимым ценностям — прочным и неподдельным.

Критицизм и понуждал Чапека внимательно вглядываться в жизнь, отделять истины мнимые от подлинных, исследовать мир людей, без чего художник, по его мнению, вообще не может

творить. Искусство Чапек всегда считал особой формой познания реальности, поэтому критицизм не стал для него средством расчленения или раздробления связной картины мира, но был орудием постижения его цельности, совокупности человеческих отношений и действий, называемых историей. Правда, это орудие не всегда служило Чапеку безотказно и верно.

Скептический критицизм возникал в его творчестве не под влиянием модных и влиятельных в пору жизни писателя философских и социологических теорий, с которыми он хорошо был знаком, получив образование на философском факультете пражского Карлова университета, куда он поступил в 1907 году.

Сама жизнь, передуманное, перечувствованное и увиденное Чапеком в годы юности и зрелости, духовный опыт, почерпнутый из громадных исторических потрясений нашего века, свидетелем и участником которых он был, — вот что стало питательной почвой его критицизма, этой неотъемлемой и характерной черты его творческого облика.

Чапек уже в ранней юности столкнулся с обветшавшими общественными порядками усталой и дряхлеющей Австро-Венгерской монархии, продолжавшей, однако, угнетать подвластные ей славянские народы и тормозить их культурное развитие. Его оппозиционность существующему порядку проявилась и в том, что еще в гимназические годы Чапек участвовал в подпольном кружке, вдохновлявшемся идеями национально-освободительного протеста и борьбы. Эпизод этот был для него неслучаен, хотя Чапек не стал революционным борцом: он не обладал ни склонностями, ни способностями к активной политической деятельности. Но и в своих ранних литературных произведениях, которые были написаны им совместно со старшим братом Йозефом, впоследствии крупным живописцем и деятелем художественной жизни в Чехословакии, Чапек тоже отгораживался от господствующей в искусстве Австро-Венгрии атмосферы, окрашенной настроениями декаданса, глубокой меланхолии и пессимизма.

Написанные братьями Чапеками в 1908—1912 годах сборники небольших рассказов, этюдов, лирических зарисовок, сентенций, стилизованных новелл «Сад Краконоша», опубликованный в 1918 году, и «Сияющие глубины», напечатанный в 1916 году, выдержаны в совершенно иной тональности. Исполненные юмора, даже озорства, жизнерадостности, они насмешничали над крайностями тогдашней литературной моды и мелкотравчатым чешским натурализмом. Размытости австрийского символизма, распространенной в литературе начала века эстетской рафинированности они противопоставили оружие пародии, особенно в сти-

лизованных под ренессансную новеллистику рассказах из сбор¬ника «Сияющие глубины», писавшихся несколько позже миниатюр, составлявших сборник «Сад Краконоша».

Уже в этих талантливых, но еще незрелых художественных опытах братьев Чапеков давало себя знать их стремление вырваться за пределы регионального провинциализма, чего не чужда была тогдашняя пражская литературно-художественная среда, и шире включить в свои творческие интересы и поиски завоевания европейского искусства и литературы. Для ознакомления с ними братья Чапеки двинулись в Париж, где вели жизнь достаточно скромную, лишенную богемного оттенка, полную общения с великими эстетическими ценностями прошлого, которые раскрывали им парижские музеи, и со всеми злободневными новинками, щедро поставлявшимися современным искусством и литературой.

Годы, предшествующие первой мировой войне, стали для Чапека порой самоопределения в художественных и философских течениях того времени, периодом нахождения собственного места в искусстве и выработки собственной художественной манеры. Он был человеком широко образованным, владевшим серьезными знаниями не только в области философии — его прямой специальности, но и в истории европейской живописи и литературы. Самый пристальный интерес вызывали у него естественные науки, переживавшие революцию, где одно великое открытие следовало за другим, разрушая старую механически-детерминистскую картину мира и заменяя ее новой, основывавшейся на эйнштейновской теории относительности, на новом подходе к структуре материи и атома Резерфорда, Бора и других создателей современной физики, на достижениях радиотехники, биологии, генетики. Чапек жадно впитывал в себя новые идеи, рождавшиеся в естествознании, понимая, что они окажут непредвиденное и весьма значительное воздействие на человеческое существование. Что касается новинок тогдашней европейской прозы и поэзии, то они проглатывались Чапеком незамедлительно, и он до конца жизни неустанно следил за движением мировой художественной мысли. Его переводы французских поэтов от Аполлинера до участников модной тогда группы «Аббатство» стали событием в литературной жизни Чехословакии, открыв непривычный ей вид художественной изобразительности. Но в свою антологию переводов Чапек не включил стихи дадаистов и сюрреалистов. Сделал он это вполне обдуманно.

Несомненно, его творчестве не осталось нейтральным к воздействию крутых перемен, совершавшихся в первые десятилетия

нашего века в мировом искусстве порой под знаменем «эстетической революции». Многие сторонники постсимволизма, футуризма, экспрессионизма, зарождавшегося сюрреализма стремились отождествить ее с революцией социальной. Однако те крупные писатели, которые смыкались с авангардистскими направлениями и действительно были настроены оппозиционно, впоследствии, преодолев стихийное бунтарство, отбросили эстетические нормы и догмы нереалистической эстетики и стали ведущими революционными художниками двадцатого века. Но им пришлось отъединить друг от друга несовпадающие понятия и явления — чистый эксперимент в области художественной формы и подлинную революционную борьбу, наполнявшую новым содержанием искусство, обновлявшую его изобразительный язык, менявшую его общественную функцию и ориентированность. Чапек весьма ядовито отозвался о претензиях авангардистов на то, что они, ломая художественную форму и разрушая правила грамматики, тем самым творят мировую революцию, трезво заметив, что пролетариат, вне всякого сомнения, предпочитает, чтобы точки и запятые, которые истреблялись в сочинениях авангардистов, все же стояли на положенных им местах...

Все сторонники зарождавшихся нереалистических художественных течений согласно третировали реализм, объявляли его безнадежно устарелым творческим методом, непреодоленным наследием девятнадцатого века и вообще искусством консервативным. Однако в ту пору реализм не только не утрачивал своей ведущей роли в искусстве, но обретал второе дыхание, расширял свои потенции, эстетически осваивая новую действительность, вошедшую в мир с новым веком. Чапек своим творчеством активно участвовал в обновлении реалистической изобразительности, противостоявшей искусству, субъективизировавшему и мистифицировавшему действительность, рассматривавшему произведение искусства как чистое выражение внутренних состояний личности, якобы ничем не связанной и никак не зависящей от мира объективного.

Весьма критично относился Чапек также к различным философским теориям, стремившимся дискредитировать самое понятие реальности, объявить разум недостоверным орудием постижения действительности, противопоставляя ему интуицию и пытаясь объяснить социальное поведение человека влиянием инстинктов, скрытых в его подсознании. Чапеку никогда не импонировала фрейдистская философия истории и культуры. Для него представление об инстинкте как силе, руководствующей человеческими поступками и мышлением, было претенциозным и неистинным.

Высмеивая в одной из заметок из книги «Критика слов» теорию интуитивности художественного творчества, он писал, что «существуют теоретики искусства и критики, которые непоколебимо верят, что художник действительно руководствуется в творчестве чутьем, инстинктом, как жук-наездник, кладущий яичко прямо в глупую гусеницу, или как ласточка, которую инстинкт приводит точнехонько в Италию», и опровергал эти взгляды в свойственной ему манере юмористического снижения понятий. Разум был для него всегда и неизменно водителем в поисках истины и светоносной силой, делающей человека человеком.

Доподлинная жизнь в богатстве ее возможностей, неожиданностей, противоречий, мир объективный, вещный — поле, которое возделывает человек своим трудом, дерзанием, где он, ища и заблуждаясь, борясь и страдая, любя и ненавидя, единоборствуя с природой, создает культуру и цивилизацию, — вот что приковало к себе Чапека-художника и предопределило его непрямое, но неуклонное движение к критическому реализму. Внутренняя ориентированность Чапека на художественное исследование истинной сложности жизни обусловила и его отношение к эстетическим и философским течениям своего времени. Воспаленный субъективизм в искусстве вызывал у него иронию, а в философии он искал теорию, которая помогла бы ему овладеть текучим материалом жизни.

В молодости его привлек прагматизм, который он воспринял как систему, способную соединить мысль и чувства человека с реальностью. В 1918 году Чапек опубликовал работу, озаглавленную весьма знаменательно: «Прагматизм, или Философия практической жизни». Стремление понять практическую жизнь и предопределило характер толкования Чапеком общих посылок этой философской системы. Он акцентировал не субъективистски-идеалистическую и утилитаристскую сторону этой теории, но сосредоточивался на понятии опыта как источнике постижения множественных потенций жизни и развития. Интерес к прагматизму был существенным, но все же моментом в его духовной и творческой эволюции и не определил ни своеобразия, ни содержания художественной мысли Чапека.

Художник всегда принципиально иначе, чем философ, оперирует материалом действительности, который предстает перед ним в полнокровно-чувственном бытии, а не как совокупность отвлеченных категорий и понятий, извлекаемых из него и постулируемых философом. Но самый факт изучения Чапеком прагматизма дал повод многим критикам рассматривать его произведения как своего рода художественные иллюстрации к прагматист-

ской теории познания, утверждавшей релятивность истины. На деле для Чапека высшей инстанцией и высшим носителем истины были не рационалистические философские умозрения, а самое жизнь. Поэтому для его произведений типичен конфликт — порой комический, порой трагический — между утилитаристским, схематизирующим восприятием жизни и ее подлинным содержанием. Штудии в области прагматизма обострили его интерес к исследованию последствий человеческих решений и поступков, а также побудили пристальнее вглядеться в то, что он сам определил как *практическую жизнь.*

Ее художественный анализ, содержавшийся в ранних произведениях Чапека, показал ему, что жизнь — чрезвычайно сложный и труднообъяснимый феномен. В ней есть тайны, загадки, она обладает свободой внутреннего развития, в ней скрыта случайность, неожиданная способность к изменчивости. То, что Чапек назвал в одной статье «стихийной энергией жизни», неостановимо влечет человека, его культуру и цивилизацию вперед, в не очень ясные для внутреннего взора писателя дали будущего. Движение это, по мнению писателя, имело катастрофический характер.

Умонастроения подобного рода просвечивали уже в сборнике «Сияющие глубины» и отчетливее заявили о себе в первой самостоятельной книге рассказов Чапека — «Распятие» (1916), писавшихся в разгар мировой войны.

Социальные воззрения Чапека имели общедемократический характер и отличались сравнительным постоянством. Круто меняться они стали лишь в начале тридцатых годов, когда грозную реальность обретала фашистская угроза и борьба с ней захватила все его существо. Однако длительное время Чапек не видел иных альтернатив буржуазной демократии и рассматривал ее противоречия и несовершенства как родовые черты всей человеческой цивилизации, а конфликты считал практически неразрешимыми внутри существующей общественной системы. Поэтому столь силен привкус горечи в его пронизанных иронией и юмором произведениях.

Тревожностью и сумеречностью художественной атмосферы веяло и от сборника «Распятие». Жизнь воспринималась и изображалась Чапеком как нечто хаотичное, внутренне драматичное. При бесспорной занимательности и остроте, произведениям, вошедшим в сборник, присуща недосказанность, алогичность, опосредствованно отражавшая алогичность общественных порядков разрушающейся и гибнущей Австро-Венгерской монархии.

По состоянию здоровья Чапек не попал на фронт. Крушение бюрократически-иерархической государственности, вырождение

милитаристски-шовинистических догм, лозунгов, верований, требовавших унифицированности человеческих взглядов и мнений, подчинения человека ложным надличностным требованиям обанкротившегося строя, писатель наблюдал изнутри распадающейся монархии.

Разразившуюся мировую войну Чапек воспринял как неслыханную катастрофу, навсегда сдвинувшую ось общественного развития и открывшую полосу труднопредсказуемого по своим последствиям периода в жизни человечества, когда рычаги социального и научно-технического прогресса стали ускользать из его рук, обретая опасную автономию. Чапек ненавидел и не принимал порядки Австро-Венгрии, угнетавшей подчиненные ей чешские земли. Но критицизм «Распятия» имел еще эмоциональный характер, он еще искал собственную цель и границы. В рассказах билось неприятие обезличивающего человека стандартизированного, банального образа мысли, предощущение какого-то чуда, возможности вырваться из плена обыденности, рутины, жажда человеческого общения, милосердия. Сюжеты рассказов заключали в себе некую неразрешенную тайну — неведомо откуда взявшийся след, случайное появление странного незнакомца, непонятное и необычайное убийство... Конфликт их строился на столкновении свободного волеизъявления человека и унифицирующего все человеческое общепринятого образа поведения и действия. Девушка бежит из мещанской среды, ища личной свободы, но ей не хватает воли отстоять свою независимость, и она возвращается в круг обыденности («Лида»). Полицейский комиссар, участвующий в погоне за странным убийцей («Гора»), говорит своему спутнику по погоне, что людьми правят при посредстве организации, руководят при помощи социально-отработанной техники управления, превращающей человека в механизм. Единственное, что остается человеку, — это ждать неизбежной перемены, любой, какой угодно, лишь бы освободиться от мертвенной власти существующих порядков («Зал ожидания»). При достоверности художественных деталей рассказы Чапека были выдержаны не в реалистической, а экспрессионистской манере.

Ориентированное на исследование практической жизни и заинтересованное в нем, творчество Чапека не сразу обрело подлинную реалистичность. Воздействие на его ранние произведения художественных приемов и общественных настроений экспрессионизма довольно ощутимо. Сказалось оно и в «Распятии», отразив душевную смуту и растерянность, которые владели Чапеком в годы войны. Стремление к метафорическому преображению мира средствами искусства, тоска по состраданию к человеку при

полном отсутствии представлений о путях и способах избавления его от страдании, заостренная, абстрагирующая обобщенность сюжетов произведений и характеров персонажей, этическое толкование социальных конфликтов соединяло поэтику Чапека с левым экспрессионизмом. Внутренняя борьба реалистических и экспрессионистских тенденций определила некоторые художественные особенности и первой его самостоятельной пьесы «Разбойник» (1920), и написанных совместно с братом Йозефом пьес-притч «Из жизни насекомых» (1921) и «Адам-творец» (1927).

Некоторая затрудненность становления реализма в его творчестве объяснялась в первую очередь мировоззренческими причинами. Прогресс обретал в глазах Чапека чудовищные формы: резиновая маска противогаза; желтый туман и смертоносная роса иприта; изрыгающие огонь и смерть, подобные железным ящерам танки; ночной, несущий гибель и разрушение полет аэроплана в мертвенно-синем свете прожекторов под глухой бой зениток, — вот чем оборачивались завоевания науки и техники и что питало пессимистические настроения Чапека. Но события истории рождали в нем и надежду, укрепляли не покидавшую его веру в стихийную энергию жизни — эту матерь всяческого обновления.

Октябрьская революция, вызвавшая цепную реакцию восстаний в Европе, военное поражение кайзеровской Германии и ее союзников, полный распад Австро-Венгерской монархии привели в октябре 1918 г. к созданию независимого Чехословацкого государства на буржуазно-демократической основе. Совершившееся отвечало общественным воззрениям Чапека, возлагавшего громадные надежды на то, что народам его родины откроется возможность здорового и стабильного исторического существования. Наблюдая кровавое подавление буржуазией Словацкой, Венгерской, Баварской советских республик, он приходил к мысли, что революционный способ изменения общественных отношений не может переломить автономное движение жизни. Оглушенный и потрясенный всем увиденным и пережитым в тяжкую пору мировой войны, ошеломленный бескомпромиссностью баррикадных боев, жестокостью реакции, подавлявшей сопротивление масс, Чапек в те годы отверг насилие как средство общественной борьбы.

Наиболее соответствующей естественному развитию событий он счел установившуюся в Чехословакии буржуазную демократию и потом ряд лет, стиснув зубы и еще надеясь на то, что не все пропало, наблюдал, как свирепые ветры истории подвергали неостановимой эрозии общественную систему, духовным отцом

которой был Масарик. Оснований для оптимизма с годами становилось все меньше. Чехословацкая республика межвоенной поры страдала теми же болезнями, что и остальной капиталистический мир.

Масариковская демократия явно не выдерживала исторического испытания, и ее несостоятельность становилась очевидной. Чапек, правда, попытался защитить ее традиции, опубликовав книгу «Разговоры с Т. Г. Масариком» (1936), но не преуспел в этом. Тогда же в нем самом шла глубокая и быстрая работа мысли, переоценка ценностей, в полезность которых он верил раньше, и в поле его взглядов втягивались новые социальные факторы, ранее вызывавшие у него настороженное к себе отношение.

Но на заре новой эпохи, в 1920 году, когда Чапек выступил с первой своей самостоятельной пьесой «Разбойник», его будущие сомнения в социальной системе, утверждавшейся у него на родине, еще только начинали просвечивать, и весь тон и атмосфера пьесы дышали лирической свежестью. Герой ее, пытавшийся вырвать из-под власти отжившего, скаредного, узкого и затхлого образа мышления молодое существо — дочку Профессора, которую родители свирепо оберегали от общения с большим миром, — олицетворял собой протест, непокорство, неприятие окостенелых форм бытия. Ситуация, в которой действовал Разбойник, а равно весь колорит пьесы — лесная дача Профессора, с крепчайшими воротами, окнами, забранными решетками; буколический пейзаж; патриархальные деревенские нравы и покладистые сельские власти, с которыми Разбойник бражничал в окрестных трактирах, — имели несомненный символический смысл. В борьбе между Разбойником и Профессором за его младшую дочку Мими проступал старый экспрессионистский конфликт между поколениями расчетливых, скуповатых, косных отцов и бунтующих, расточительных сынов, — имевший для Чапека уже остаточный, реликтовый характер, поскольку пьеса была задумана им еще в 1911 году, а написана десяток лет спустя.

Образы некоторых персонажей — в первую очередь Профессора, его жены Профессорши и старшей дочери-неудачницы — в пьесе обобщены. Это тоже реликтовая особенность пьесы Чапека, поскольку сведение характера к его социальной функции или принадлежности — органическая черта экспрессионистской поэтики.

Реализм также обобщает характеры и раскрывает их социальную природу, но в реалистической поэтике характеры отчетливо индивидуализированы и обладают богатством личностной внут-

ренней жизни. Профессор у Чапека олицетворяет мелочную, трусливую расчетливость и, как характер, довольно однолинеен. Самое существенное в нем — это неразрывная связь с господствующим порядком. Интересы и уклад жизни Профессора защищают полиция, жандармы, наконец — солдаты. К ним он и взывает, стремясь помешать Разбойнику увлечь за собой свою дочь Мими. Застойный консерватизм у Профессора перерастает в стремление сломить молодость, то есть все живое, не укладывающееся в максимы обывательской мудрости. Но и противостоящий ему Разбойник — символ освобождения — образ довольно неопределенный. Профессорше, прождавшей брака со своим женихом восемь лет, Разбойник напомнил героя из ее детской книжки, которым она восхищалась; Профессор считает, что Разбойник похож на некоего политического преступника; деревенскому жителю он напоминает лихого браконьера; капралу, пришедшему со своими солдатами на выручку Профессора — циркача или комедианта; Фанке — немолодой, мужиковатой профессорской служанке — смелого улана, которого она мельком увидела в дни своей потерянной молодости, когда он в цепях и под конвоем шел по деревне и его бедовые глаза навсегда обожгли ее сердце.

Разбойник проносится над всеми персонажами пьесы — над семьей Профессора, над деревней, — будоража их и сбивая с привычного хода мысли, и исчезает, оставив в душе у всех действующих лиц плодотворное чувство неудовлетворенности сущим и тайную тягу к новому и неожиданному. Но символическая неопределенность устремлений Разбойника не была заложена только в его характере: ее порождали тогдашние настроения писателя. В пьесе возникает сложный мотив, который впоследствии будет играть важную роль в раздумьях Чапека над ходом истории нашего века. Дух протеста, свободолюбия не победоносен в пьесе: он наталкивается на нечто большее, чем консерватизм Профессора и его трусливая осторожность.

Разбойнику противостоит сила и косность общественных привычек, навыков мышления, нежелания людей принимать новое и следовать за ним. Эта унифицирующая сознание сила, по мысли Чапека, способна и объединить людей, и толкнуть их на ложные действия. Если образы основных персонажей пьесы создавались не без некоторого воздействия экспрессионистской поэтики, то весь фон пьесы написан в реалистической манере, что не препятствует сохранению символичности ситуации всего произведения. Жители деревни, ее начальство — полнокровные живые характеры, реалистически достоверные. И все они — не без колебаний, не желая, как, например, Староста, прибегать к край-

ним мерам, — в конце концов выступают против Разбойника. Даже Фанка, которую можно счесть олицетворением и носителем народной психологии, и та палит в Разбойника из ружья.

Чапек ощутил исключительную сложность социального поведения людей и почувствовал, что без исследования его природы он не сможет развиваться как художник. Искусство становилось для него тончайшим инструментом постижения и анализа мотивов общественной активности человека или, иными словами, практической, реальной жизни. Чисто эмоциональный, абстрагирующий жизненную практику подход к миру уже не удовлетворял Чапека. Он начинал сознавать, что только реализм позволит ему запечатлеть и выразить текучие, но существенные черты облика современности.

Через четыре года, после того как были написаны «Мучительные рассказы» (1918—1920) и созданы столь крупные произведения, как пьесы «R.U.R.» (1920), «Из жизни насекомых», «Дело Макропулоса» (1922), романы «Фабрика Абсолюта» (1922) и «Кракатит» (1924), выдвинувшие его в число мировых писателей, Чапек, опираясь на собственный творческий опыт, выступил со своеобразным художественным манифестом — статьей о своем брате Йозефе, в которой решительно и последовательно защищал реализм как ведущий метод искусства. В этой статье Чапек предельно искренне высказал и собственное отношение к искусству, и свое понимание долга художника.

Материалом искусства, писал он, является доподлинная жизнь — природа, люди, их отношения, и художник не может серьезно творить, не познав мира. «Делайте, что хотите, но орешек бытия не раскусишь с помощью одного вдохновения, необходимо обратиться к надлежащему инструменту разума», то есть поверять объективной жизненной истиной субъективные представления о мире. Чапек не признавал чистое самовыражение художника целью искусства, резонно замечая, что внутренний мир внутреннему миру рознь и весьма нередок такой субъективный опыт, который ничем не интересен и не обладает общезначимостью. Если же художник избегает исследования бытия, то он обедняет самое искусство, поскольку оно не есть бесстрастное зеркало жизни и не существует вне нравственности. Чапек писал: «Что касается меня, то я не боюсь слова «тенденция». Я считаю, что в нашем малоустроенном мире у каждого серьезного и впечатлительного человека имеется достаточно оснований не быть безучастным зрителем в происходящей свалке. Но это долг, а не особая заслуга». Поэтому реалистическое искусство не может быть нейтральным по отношению к подлинному состоянию мира.

«Бедняк стоит и смотрит вам вслед, нищий или нищая опускают глаза, чтобы не оскорбить вас своим взглядом... Иной раз вы целую неделю не можете отделаться от мысли, что не вложили им в ладонь откупного за свою жизнь... Если их двое или трое, они уже не просят Христа ради, и похоже, что они вас судят».

Для импрессионистов, например, мир был простым объектом изображения, и свет, который они пытались уловить своей живописью, одинаково струился и по кружевному зонтику, и по одинокому нищему: для них мир не был морально расчленен, в то время как для современного художника-реалиста «вещи не равноценны», в них есть свет и тени, они не безразличны к нравственному порядку или беспорядку, справедливости или несправедливости, добру или злу. Гуманистически настроенный художник-реалист желает утверждения в жизни *нравственного порядка,* и для него средства художественной изобразительности и ее законы — лишь пути, ведущие к этой высшей цели искусства. Художники-формалисты, отмечал Чапек, путают закон и порядок, и поэтому для них практически закрыто познание действительности и ее творческое воплощение в искусстве.

Как понимал Чапек характер реалистического изображения жизни, показали его произведения. Гуманистическая тенденция нашла открытое выражение в его реалистических «Мучительных рассказах», повествующих о повседневности, о заурядных и не очень крупных по своим масштабам событиях. Однако в чем же их мучительность? Их драматизм заключается в том, что обыденная повседневная жизнь, которой живут люди, подавляющее большинство людей, извращает человеческие отношения, обкрадывает и обедняет человеческую натуру, искажает нравственный мир личности, ибо основы существования человека несправедливы и господствующие принципы общежития не соответствуют и не отвечают истинным запросам и потребностям человека, которые он — обремененный грузом забот, тревог, невзгод и лишений — нередко не в состоянии осознать и понять. Люди как бы погружаются в нравственную слепоту, безысходное одиночество. Чапек, умеющий строить повествование на остром, неожиданно развертывающемся сюжете, в «Мучительных рассказах» отдается внешне спокойному движению жизни в ее привычных, примелькавшихся стереотипах, но дает, однако, ощутить серьезность драм, таящихся под пеленой бытовой монотонности человеческого прозябания. Разве не заурядна история бедной гувернантки, человеческое достоинство которой нагло оскорбляют ее хозяева — богатые аристократы? Она готова взбунтоваться, бросить им в лицо гордые слова и уйти, громко хлопнув дверью.

Но письмо из дому, в котором мать рассказывает о страшной нужде семьи, заглушает вопль протеста и понуждает бедную девушку в приступе отчаяния очертя голову кинуться в объятия случайного любовника, навсегда сломав свою жизнь. Нет ничего из ряда вон выходящего и в истории из рассказа «Деньги», где Чапек показал, как бедность, равнодушие, эгоизм размывают и губят навечно родственные чувства, ожесточают и превращают героя новеллы в черствого обывателя, стремившегося поначалу помочь своим родным, увидевшего в этом смысл собственной жизни и натолкнувшегося на непреодолимую стену лживости и бездушия. Тривиальна и судьба одинокого старика, которого хладнокровно и постоянно обкрадывает его служанка, и он, страшась полного одиночества, закрывает на происходящее глаза.

Чапек, обратившись к изображению повседневной жизни людей, проведя своего рода ее молекулярный анализ, пришел к выводу, что органическое неблагополучие, отсутствие того, что он называл нравственным порядком, таится в самих порах и клетках обыденности, и зло до времени скапливается в его неподвижных недрах.

«Мучительные рассказы» не были простым бытописанием. Особенности повседневного существования человека Чапек рассматривал и изображал в духе реалистической традиции, в которой тема обыденности жизни занимала важное место, становясь основой выработки писателем критического отношения к общественной среде и социальному мироустройству. Так преломлялась она в творчестве Флобера, проанализировавшего феномен «боваризма», то есть драму банального и тривиального образа жизни, и в творчестве Чехова, раскрывшего сумрачную власть повседневности над человеком, отнимающую у него надежду и веру в себя. Но Чапек по задержался в русле этой традиции, хотя сознавал богатство ее возможностей. Его произведения двадцатых годов примкнули к иному ряду реалистической изобразительности, основывавшейся на гротесково-сгущенном принципе изображения, отходящей от прямого воспроизведения действительности в формах непосредственного жизнеподобия, хотя и не порывающих своих органических связей с реальностью, социальной практикой человека.

Метафорическое преображение объективного, даже обыденного человеческого бытия становится характерной чертой художественной манеры писателя. Он широко и сознательно вводит в повествование фантастику, чудесное, необычное — но без малейшею налета иррационализма, стремясь при их посредстве заострить, сконцентрировать и тем самым сделать наглядным а

самоочевидным неправильное, бессмысленное, тупое, жестокое, опасное и античеловеческое в том, что составляет текущую, практическую жизнь людей. В обнажении алогичности и бесплодности современной буржуазной цивилизации, ее хаотичности, органической неустойчивости и способности порождать кризисы невиданной силы Чапек прибегал к иронии и безжалостной сатире, открывавших по своей эстетической природе широкий простор для иносказания.

Наиболее крупные произведения писателя той поры, по сути, являлись мысленным экспериментом над материалом социальной действительности и обладали свойствами притчи, содержащей нравственный урок и взывающей к разуму и чувствам людей. Они предостерегали от морально инертного отношения к общественной практике и настаивали на полной ответственности человека за его действия, независимо от того, какими внутренними побуждениями он руководствовался. Притчи Чапека начисто лишены назидательности, будучи полнокровными художественными произведениями.

Их художественные особенности, а именно — фантастичность и метафорическое преображение реальной жизни — дали повод критике рассматривать их как утопии или фантастические романы в духе Уэллса или творца антиутопий Олдоса Хаксли. Но сам писатель, хотя и не опровергал подобной точки зрения, рассматривал себя как историка современности, который, опираясь на нее, лишь продолжает во времени конфликты своей эпохи, стремясь додумать, чем они могут завершиться, если мир пребудет в том же состоянии, в котором он находится ныне. По своим эстетическим свойствам они схожи не столько с фантастическими романами двадцатого века, сколько с памфлетами и романом Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера». Разумеется, и королевство лилипутов, и летающий остров Лапута, и страна гуингмов — мудрых лошадей — чистая фантастика, но одновременно и жесточайшая сатира на свою эпоху и современное Свифту общество. Если искать традицию для фантастики Чапека, являющейся детищем искусства двадцатого века, то ее можно вести и от путешествий Пантагрюэля и сатирических произведений Сирано де Бержерака, от «Носа» Гоголя и гротеска Щедрина, которые, говоря о днях своих, прибегали к фантастике и иносказанию. Это — великая традиция реализма, которой следовал Чапек, обогащая ее и обновляя.

Существенно отличаются произведения-притчи Чапека и от научно-фантастических романов Уэллса, для которого главенствующим было рассмотрение *возможностей* научно-технического прогресса в условиях социально несовершенной цивилизации.

Чапек же уловил и впервые ввел в мировую литературу новый тип конфликта, а именно противостояние прогресса научно-технического и нравственного, их опасное для судеб человечества расхождение в условиях собственнического общества. У Герберта Уэллса деградировавшие пролетарии — морлоки в «Машине времени» питаются деградировавшими капиталистами — элоями. Картина грядущего ужасная, но неубедительная. В «Войне миров» паукообразные марсиане, скрытые под броней гигантских шагающих треножников и вооруженные «тепловым лучом», сражаются с дредноутами и артиллерийскими батареями землян. Машины, управляемые людьми, ведут борьбу с машинами, управляемыми марсианами. В пьесе Чапека «R.U.R.» человечество вступает в гибельную схватку с собственными созданиями — машинами, которые оно сотворило по собственному образу и подобию и наделило разумом. Пьеса эта — одно из выдающихся достижений критического реализма двадцатого века — по своим идеям и раздумьям над соотношением нравственного и научно-технического прогресса сохранила свою актуальность и по сей час, когда развернулись споры о возможности создания машин не только мыслящих, но и обладающих чертами личности.

Современная футурологическая и научно-фантастическая литература переполнена мрачными пророчествами о том, что в обозримом будущем машины подчинят себе людей и некий супермозг станет управлять всеми земными делами. К счастью, не все пророчества сбываются, но многие идеи, вокруг которых ныне идут споры между кибернетиками, философами, социологами, в зерне уже содержались в пьесе Чапека, которая и ввела в обиход слово и понятие — робот.

В чем же художественная новизна пьесы? Стремясь опровергнуть существование бога, некий гениальный естествоиспытатель Россум открыл неизвестный природе способ организации живой материи и попытался создать искусственного человека. Открытие Россума было поставлено на промышленную основу, и человечество обрело невиданно мощное средство для установления своего благополучия — робота, машину-андроид, снявшую с людей бремя труда. Роботы начисто лишены эмоций, личностных желаний, всего того, что делает человека человеком. Их производство налажено по образцу лучших капиталистических предприятий и находится в руках менеджеров, сознательно закрывающих глаза на социальные последствия деятельности фирмы «Россумские универсальные роботы». А они губительны. Перестав трудиться, человечество утратило цель жизни. Досуг обернулся бедствием: люди потеряли способность к размножению, они — обречены. Но

судьба роботов и людей неотделима друг от друга, как причина и следствие, порождающее новые причины. Фирма производила роботов по жесткой биологической схеме, в основании которой лежала великая тайная формула жизни, открытая Россумом. Но что же взорвало великолепно отлаженное производство «Россумских универсальных роботов» и привело к восстанию машин против их повелителей людей? Одной из причин стало изменение процесса фабрикации роботов, отклонение от жесткой схемы, заданной Россумом, что начал делать доктор Галль, поддавшись влиянию Елены Глори, которая приехала на остров, где находится их производство, надеясь одухотворить и взбунтовать роботов. Она излучает доброту, женственность и полна обаяния, под которое подпадают все менеджеры-технократы фирмы «Россум», и, подобно Елене Спартанской, навлекает на человечество страшную беду. Но если Трою погубила красота Елены Прекрасной, то мир людей погубила пришедшая в роковое противоречие с целями компании человечность Елены.

В Герберте Уэллсе естествоиспытатель и эрудит постоянно боролся с художником и нередко его подавлял. Чапек — художник чистой воды и конфликт пьесы разрешает средствами искусства, хотя его догадка о непродуктивности жестких схем для машин, которые мы бы назвали кибернетическими, была необычайно прозорлива. Изготовленные и созданные по эвристическому принципу, роботы начали самонастраиваться, самосовершенствоваться, неуклонно приближаясь к столь сложной биосистеме, какой является человек.

Чапека, однако, интересует социальный аспект проблемы, а не научно-технический. И руководители комбината, менеджеры-технократы: директор Домин, чьей женой стала Елена, инженер Фабри, коммерческий директор Бусман и их коллеги, за исключением архитектора Алквиста — убежденного гуманиста, равно и роботы ведут себя согласно законам жизни капиталистического общества. Технократы заботятся о бизнесе; угнетаемые роботы начинают объединяться, бастовать, среди них появляются вожаки. Ситуация, изображенная Чапеком, внутренне логична. Не так давно, в 1968 году, профессор Норман Сатерленд писал в статье «Человекоподобные машины»: «Вполне возможно, что через 50 лет расовые проблемы перестанут быть предметом обсуждения, — люди будут слишком заняты спором, предоставлять ли машине право голоса или нет» [1]. Разумеется, утверждение это — более чем

---

[1] «Человеческие способности машины». Сборник. Перевод с англ. М., «Советское радио», 1971, с. 38.

полемично, но характерна сама постановка проблемы. И когда роботы в пьесе Чапека получают в руки оружие, они истребляют всех людей, за исключением архитектора Алквиста.

Сцена гибели руководителей компании полна в пьесе подлинного трагизма: они сражаются до конца. Правда, Бусман попробовал откупиться за громадную сумму от роботов и спасти своих коллег. Но зачем роботам человеческие деньги, когда в их руках власть над миром? Для Чапека не имело значения, что в завершающей битве с роботами участвуют технократы — их создатели. Для него они — просто последние люди, которые погибают с человеческим достоинством. Но и победителям не дано вкусить сладость победы: они обречены, так как Елена уничтожила запись формулы Россума. И лишь когда Алквист — последний человек на земле — пробудил в роботах Приме и Елене чувства любви, самопожертвования, сострадания, скрепляется оборванная нить жизни, и над опустошенной землей поднимается заря новой цивилизации.

Что же стало главной причиной гибели людей? На этот вопрос Чапек отвечает без колебаний: люди погибли, потому что нарушили нравственный порядок. Они использовали научно-технический прогресс в целях, чуждых коренным интересам человечества. Домин, освобождая людей от труда, хотел создать новую аристократию, состоящую из сверхлюдей, но создал бесплодные существа. И Алквист был прав, говоря: мы убили человечество ради чьих-то прибылей, ради мании величия, ради призрачных и нежизненных идеалов. И хотя он проклинает науку и технику, все содержание и смысл пьесы Чапека доказывали, что угрозу миру и существованию человечества несут действующие социальные порядки, извращающие достижения научной мысли, а не техника сама по себе.

Пьеса стала крупным шагом писателя в реалистическом постижении и анализе жизни и мира. И если художественная структура образов ее героев еще обнаруживала слабую близость к обобщенно-схематизированным персонажам драм экспрессионистов, то в них явственно ощущалось новое качество, роднящее их с тем видом героя, для которого владеющая его существом идея становится содержанием личности и характера. Подобный герой был введен в мировую литературу Достоевским и в романах Франса, Роллана, Томаса Манна и других великих реалистов двадцатого века стал типичен. В пьесе Чапека выкристаллизовался и основополагающий для его мировоззрения и творчества этический принцип. «Но если уж современность не может обойтись без героических идеалов, то пусть это будет не героическая

смерть, а героический оптимизм», — писал он. Без героического оптимизма невозможно существовать в современном обществе, безжалостную критику которого содержала пьеса «Из жизни насекомых», героем которой стал, как однажды выразился Чапек, «плохой и сильно поврежденный механизм», то есть человек.

Пьесу братьев Чапеков по праву можно назвать «Сном в летнюю ночь» наизнанку. Но если в комедии Шекспира действовали и творили волшебство прелестные и шаловливые эльфы, подшучивающие над человеческой глупостью и самодовольством, то в пьесе-гротеске Чапеков хмельной Бродяга, олицетворявший человечество и ненароком уснувший в лесу, видит всю человеческую жизнь, разыгранную перед ним не людьми, а обычной лесной живностью, то есть насекомыми, и жизнь эта — чудовищна. Пьеса Чапеков мозаична, она состоит из отдельных эпизодов, связанных между собой лишь тем, что они развертываются на глазах пьяного Бродяги и нередко им комментируются, чаще всего вызывая в нем чувство удивления или негодования.

Вы хотите знать, каково па самом деле общество, в котором мы с вами существуем, — как бы вопрошали братья Чапеки к отвечали: смотрите, вот оно. Мы ничего не придумываем, мы просто показываем вам все, как оно есть на деле. И перед зрителем в заостренной до предела форме, сатирически-зло и даже безжалостно осмеивается и обнажается повседневное существование людей различных социальных слоев. Бездумное, безответственное скольжение по жизни обеспеченных людей, предстающих в образах мотыльков, баловней жизни, погруженных в пустой флирт, приукрашенный декадентскими стишками модничающих поэтов салонного масштаба; жалкая суетливая погоня за наслаждениями — вот слепок с жизни богатых классов. Чудовищна картина борьбы за собственность стяжателей разного сорта, предстающих в образе чадолюбивого Скорпиона, режущего ради своего любимого дитяти все живое, что подвертывается под руку; или в образе толстых и упрямых навозных Жуков — мужа и жены, которые, переругиваясь, сопя и задыхаясь, катят драгоценный навозный шарик, который у них ловко уворовывает другой навозный жук; или в образах «маленьких людей» — Сверчков, норовящих устроить среди идущей повсеместно резни свое маленькое счастье и становящихся жертвами Скорпиона, чью любимую дочку в свою очередь пожирает хитрый Паразит.

Феерическая картина взаимоистребления насекомых, сопровождаемая их философствованиями, являющими собой квинтэссенцию обывательской мудрости: «деньги не пахнут», «по крайней мере, знаешь, для кого живешь», и так далее, — завершается

изображением бескомпромиссной битвы двух муравьиных куч, которая ведется муравьиными диктаторами, опирающимися на достижения инженерной и научно-технической мысли, во имя высших расовых, колониальных, национальных, промышленных и прочих столь же возвышенных идеалов, а, по сути, сводится к захвату одной породой муравьев у другой жалкого клочка лесной земли. И когда глава муравьев-победителей, отдавший приказ уничтожить в захваченном муравейнике все живое, торжественно преклонив колени, восславляет великий час исполнения их, муравьиных, национальных амбиций и торговых интересов, Бродяга в справедливом негодовании просто растирает зловредное насекомое подошвой своего драного башмака. Эпизод многознаменательный, подтверждавший, что гуманизм Чапеков обретал действенные, активные черты, отвечавшие идее героического оптимизма, ставшей для Карела Чапека органичной и ведущей.

Пьеса не оставляла никаких сомнений насчет непримиримо критичного отношения братьев Чапеков к современному им обществу. Но горечь, переполнявшая ее, была столь терпкой, что они попытались ее смягчить, несколько видоизменив пессимистический финал пьесы, создав второй его вариант для режиссера, который мог им воспользоваться при желании. В основном варианте Бродяга — этот сильно попорченный механизм, именуемый человеком, — погибал в безнадежной схватке со смертью, вступив в нее после пробуждения от кошмарного сна. Пессимистичность этого финала усугублялась тем, что сцене смерти Бродяги предшествовал эпизод с бабочками-поденками, возглашавшими в восторженном полете вечность жизни и мгновенно падавшими мертвыми с еще не законченным гимном бытию на замолкших навсегда устах.

Но, как и в пьесе «R.U.R.», оборванная нить человеческого существования сплеталась снова: в основном варианте финала пьесы смерть Бродяги как бы компенсировалась рождением ребенка у крестьянской женщины, во втором варианте мотив гибели Бродяги вообще снимался. Несмотря на пессимистическую тональность пьесы и сумрачность основного варианта ее окончания, главенствующей ее идеей было утверждение непобедимости жизни, ее конечного торжества в неустанном движении к самопознанию и совершенствованию. Движение это знает трагические провалы и бездны, но оно неостановимо, и Чапек принимал жизнь как верховную силу, способную развязать и распутать все сложнейшие и казавшиеся неразрешимыми противоречия.

Карелу Чапеку показался недостаточным критицизм пьесы «Из жизни насекомых», поскольку он при всей гротесковой заостренности образов пьесы все же был отмочен некоторой отвлеченностью. Свои сомнения в правильности избранного буржуазным обществом пути исторического развития Карел Чапек недвусмысленно выразил в блещущем остроумием, богатством фантазии, ярмарочно-пестром и ярком, забавном и очень драматичном романе «Фабрика Абсолюта», который сам писатель рассматривал как роман-фельетон. Он обозначил более отчетливо обращение Чапека к социальной проблематике.

Чапек видел, как в годы первой мировой войны и сразу же после нее громадное распространение приобретали консервативно-охранительные, шовинистические идейки и масса людей слепо следовала их влиянию, вторя лозунгам реакционной пропаганды и отдаваясь мифам расы, национальной исключительности, мирового господства, распространявшимся подобно эпидемиям. Эти мифы несли зло и были сами по себе злом. Но что произойдет, если на разобщенное человечество начнет действовать идея абсолютного добра? Задавшись этим вопросом, Чапек изобразил в своем романе-фельетоне феерическую и ошеломляющую картину крушения этой идеи, пришедшей в непримиримое противоречие с национальной, социальной и государственной раздробленностью человечества.

Чрезвычайно дерзка и остроумна исходная мысль «Фабрики Абсолюта». Если согласиться с утверждениями пантеистов о том, что бог существует во всем и есть субстанция материи, то, может быть, человек, владеющий арсеналом современной науки, окажется способен — вольно или невольно — извлечь эту субстанцию из косного материального вещества и открыть ей простор для действия? И вот гениальный инженер Марек, конструируя первый на земле атомный котел и даруя тем самым человечеству почти бесплатную энергию, освобождает при расщеплении атома божественную субстанцию, что приводит к невероятным и неожиданным последствиям. Роман перенасыщен остроумнейшими описаниями обращений в веру и разнообразных чудес, которые начинают творить те, на кого снизошел Абсолют. Юмор Чапека в этих сценах обретает редкостную свободу, фантазия — неутомимую изобретательность. Эпизод вознесения пана Кузенды вместе с пришедшими схватить его полицейскими, или чудесное, головокружительное вращение карусели пана Биндера, вовлекающее в свой радостный полет осененных Абсолютом людей, или, наконец, коллективное обращение в веру пражских городских властей при пуске атомного карбюратора, предназначенного для освещения Праги, исполнены озорного веселья и жизнерадостности.

Но есть несколько разновидностей людей, которых Абсолют не берет: это клерикалы, не признающие его божественной природы, чешский крестьянин, крепко сидящий на земле и с громадной осмотрительностью наблюдающий за действиями Абсолюта, и, наконец, пан Г. Х. Бонди, президент многих компаний, акционерных обществ, организовавший массовое производство атомных котлов и тем самым содействовавший широчайшему распространению Абсолюта. Образ пана Г. Х. Бонди занимает весьма важное место в системе социальных воззрений писателя. В погоне за прибылью он впустил Абсолют в мир, ввергнув человечество в неслыханные бедствия, и появился еще раз в романе «Война с саламандрами», где выполнил столь же разрушительную функцию, положив начало экономической эксплуатации говорящих саламандр. Г. Х. Бонди, олицетворяющий предприимчивость, деловую сметку, коммерческую инициативу, глубоко враждебен всему строю размышлений Чапека не только из-за очевидной и вызывающей своей буржуазности, которая претила общедемократическим воззрениям писателя, но еще и потому, что пан Бонди — узкий прагматик, заботящийся лишь о непосредственной выгоде и быстром результате своих предприятий, в то время как для Чапека решающим была мудрость творческой энергии жизни, корректирующей ложные и преждевременные решения людей.

Пан Бонди, подобно библейскому Иакову, вступает в борьбу с самим Абсолютом и выходит из нее помятым, но вполне дееспособным. Его начинания Чапек рассматривал как одну из деструктивных, разрушительных сил двадцатого века.

Что касается клерикалов, чьи образы возникают в романе, то они, привыкшие к обхождению со всевышним, вырабатывают своеобразный иммунитет и против Абсолюта, который сначала осуждается ими как явление еретическое, а затем объявляется истинным богом и главой церкви. Критика клерикализма полна в романе сатирического блеска и остроумия. Столь же критичен и собирательный образ чешского крестьянина, «кормильца нашего», хранителя национальных традиций, корней самобытности чешской культуры и носителя многих добродетелей, о которых с упоением декламировали в парламенте идеологи аграриев и писала реакционная пресса. С твердостью кремня противостоит он Абсолюту и даже сумел извлечь немало финансовых выгод из действий божественной субстанции, освобожденной от власти материи. Изображая в сатирическом свете «кормильца нашего», Чапек метил в аграрную партию — оплот воинствующего консерватизма и реакции и одновременно подвергал критике разнород-

ные почвеннические настроения, противником которых был. «Назад к корням! — писал Чапек в одной из статей двадцатых годов. — Однако (если уж непременно придерживаться корней), возвращаясь к корням, подобно червям-паразитам, чего мы, собственно, хотим от них? Случалось ли, чтобы лист, или цветок, или ветвь вернулись назад к корням? Наоборот, скорее, корень стремится к цветку, которым он сам некогда был». Чапек страстно и самоотверженно любил свой народ, был истинным патриотом, но попытки противопоставить почвеннические иллюзии реальному историческому процессу он считал неполезным и обреченным делом.

Но что же такое сам Абсолют? Это истина, открытая раз и навсегда, это беспрерывное и бесцельное созидание, не нуждающееся в труде человека, это, наконец, всеведение, не заинтересованное в знании и стремлении человека к истине. Это остановка развития и жизни, ибо Абсолют, будучи вечным, беспрерывно перебирает различные возможности творения, комбинирует их и неизбежно повторяет самого себя, превращая историю в бесцельное топтание на месте.

Не случайно Чапек, считающий осмысленную деятельность человека, нередко ошибающегося в искании истины, подлинным двигателем общественного прогресса, выбрал для Абсолюта в качестве прообраза веру и откровение, якобы уже внесших в жизнь абсолютную истину, которую человечеству лишь оставалось воплотить в жизнь, следуя принятым догмам. Но нетворческое восприятие истины противоречит природе человека, и разделенное человечество не приняло идеи Абсолюта. Сначала Марек и Бонди, чтобы пресечь действия Абсолюта, полностью дезорганизовавшего капиталистическую экономику, предприняли меры к тому, чтобы расчленить, раздробить его монолитность, после чего каждое капиталистическое государство, организация, корпорация, союз, объединение, церковь, секта, группа и т. д. начали претендовать на монопольное владение Абсолютом. Последствия были ужасающими: началось всеобщее побоище, взаимоистребление народов и государств.

Роман-фельетон Чапека, несмотря на внешнюю веселость и занимательность изложения, отличался чрезвычайной серьезностью содержания. Он не только заключал в себе сатирическую картину вышедшего из кризиса первой мировой войны буржуазного общества. Роман высмеивал интриги дипломатов, борьбу империалистических деря;ав за гегемонию и колонии, насмешничал над кандидатами в новоявленные Цезари, которые, вроде поручика Бобинэ, домогались неограниченной власти, пародировал

многочисленные конференции, проводившиеся под эгидой Лиги наций и вырождавшиеся в пустые говорильни. Он был полон раннего предчувствия новой мировой войны, которая близится и грозит разрушить относительное равновесие социальных сил в послеверсальской Европе и способна втянуть в грядущий конфликт Америку и страны Азии. Эта тревога за будущее придавала роману общественную значимость и поднимала его над уровнем газетного фельетонизма.

Но в «Фабрике Абсолюта» сильно давала себя знать и характерная для Чапека надежда на то, что под влиянием стихийной энергии жизни все в конце концов образуется само собой и враждующие люди, оставив распри, вернутся к мирным делам и домашнему очагу. Однако подобная иллюзия — следствие общедемократической природы социальных взглядов писателя — не могла исключить из его раздумий вопроса об истинном содержании жизни, которой вынуждены жить его современники.

Оценка реального состояния мира была сделана Чапеком в пьесе «Средство Макропулоса» и отличалась критицизмом, хотя и выдержанным в духе героического оптимизма. Пьесу по праву можно счесть возражением на фабианский эволюционизм Бернарда Шоу, который в пьесе «Назад к Мафусаилу» доказывал, что долголетие позволит людям урегулировать все нерешенные социальные вопросы. Чапек, прибегая к испытанному оружию фантазии, утверждал обратное: при сохранении неизменяемого состояния мира долголетие или практическое бессмертие, которым обладала героиня пьесы Эмилия Марти, она же Элина Макропулос, дочь лейб-медика императора Рудольфа алхимика Иеронимуса Макропулоса, открывшего тайну долголетия, — становится не благом, а злом. Само по себе долголетие ничего не решает. Для Эмилии прожитая жизнь, люди, которых она встречала, исполнены скуки и однообразия, ибо существование действительно таково, каким его увидела и узнала Эмилия. Сюжет пьесы подтверждает это, поскольку ее главные действующие лица замкнуты на ординарных своекорыстных интересах. Их жизнь лишена высоких стремлений, она безыдеальна и жестока, сильные страсти и чувства в ней редкость и могут принести лишь горе. Но сама по себе жизнь — величайшая ценность, и она способна обретать высокий смысл независимо от своей краткости, если в ней появляются поиск, надежда на то, что существование не будет простым самоповторением и в нем проявится способность к развитию. Поэтому самая младшая из героинь пьесы Кристина Витек, пренебрегая страхом смерти, сжигает древний пергамент, на которое был записан рецепт средства Макропулоса. Жизнь нужно вос-

принимать в ее реальности, не страшась ее, не боясь трудностей, — в этом смысл героического оптимизма Чапека.

Тем не менее жизнь, такая, какой она сложилась в межвоенном буржуазном обществе, не соответствует достоинству человека: она не может не быть изменена. И вопрос о способах и возможностях ее изменения широко исследовался и рассматривался Чапеком, начиная с романа «Кракатит» и включая его трилогию «Гордубал» (1933), «Метеор» (1934), «Обыкновенная жизнь» (1934), составив центральную их проблематику.

В романе «Кракатит» реальное и фантастичное, жизненно-достоверное и откровенный вымысел смешаны в характерной для Чапека манере метафорического преображения действительности, и поэтому повествование оставляет свободу для толкования изображенных событий, как подлинных, так и разыгравшихся в воображении заболевшего менингитом изобретателя Прокопа. Насыщенный размышлениями над многослойным и бурным развитием науки и техники того времени, роман вместе с тем обнаруживал генетическое родство с народной сказкой, сюжет которой строится на выборе героем своей судьбы. Но самое содержание «Кракатита» отличалось весомой актуальностью и реалистичностью, ибо в романе шла речь о возможности науки и техники безраздельно подчинить себе ход общественного развития и повлиять на самое историю.

Как и в романе-фельетоне «Фабрика Абсолюта», Чапек в качестве главного рычага действия избирает расщепление атома. Тема эта очень рано начала волновать искусство. Атомная бомба еще ждала часа своего рождения, и ученые только начинали задумываться над возможностью овладения атомным распадом, но Герберт Уэллс уже в 1913 году в романе «Освобожденный мир» описал первую всемирную атомную войну, завершившуюся крушением старой цивилизации. Затем Андрей Белый пророчествовал, что угрозой существованию человечества станет атомная бомба, и, наконец, Чапек в «Кракатите» рассмотрел научную проблему расщепления атома с, казалось бы, неожиданной стороны, как своего рода нравственное испытание для человечества, проверку его способности направить высвобождаемые научно-техническим прогрессом разрушительные силы природы во благо или зло людям.

Роман «Кракатит» также впервые выдвинул на обсуждение вопрос о моральной ответственности ученого за последствия его внешне чисто теоретической деятельности. Вопрос этот обрел особую остроту к середине нашего века, что подтвердило, например, нашумевшее дело Роберта Оппенгеймера, одного из со-

здателей американской атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму и Нагасаки, который начал выступать против использования научных открытий в бесчеловечных целях, за что подвергся политическим преследованиям. Неотделимость науки от морали Чапек уже в начале двадцатых годов расценивал как важнейший фактор, способный повлиять и на судьбы человечества.

Если многие эпизоды романа имеют гротескно-фантастичный или сказочный характер, то вполне реалистичным было описание гигантского комбината по производству вооружения и взрывчатых веществ в Балттине, страшной и опасной борьбы фабрикантов оружия за овладение изобретенным Прокопом сверхмощным атомным взрывчатым веществом, которое он назвал «кракатит» по имени гигантского вулкана Кракатау. Роман энергично доказывал, что захват агрессивными кругами буржуазии средств массового уничтожения может привести человечество к порогу глобальной катастрофы. Написанный в подчеркнуто современной, но ироничной манере, с резким перемещением пространственно-временных планов повествования, занимательной интригой, внутренними монологами, роман ставил главного героя перед жесткой дилеммой: выбрать ли ему неограниченную власть над миром и людьми или отречься от живших в нем подспудно честолюбивых мечтаний и отдать свой творческий гений на благо людям. Судьба постоянно ставила перед Прокопом различные возможности выбора.

С большим искусством изображал Чапек колебания Прокопа, поглощенного идеей разрушения, взрыва, деструкции сущего, между его почти монической погруженностью в стихию науки, безоглядного и безответственного эксперимента и идеалом красоты и человечности, возникшим однажды перед ним в минуту просветления от бреда, когда он на квартире у своего коварного приятеля Томеша, попытавшегося украсть у него тайну формулы кракатита, увидел прекрасную незнакомку. Образ этой девушки, навсегда отпечатавшийся в душе Прокопа, многозначен и символизировал в романе красоту и нежность жизни, то, что Гете определял как «вечно женственное» и соединял с гуманностью, человечностью.

Блуждания Прокопа по жизни также обретают символический смысл: это путь овладевшего страшными тайнами природы человечества к истине и правильному обращению с ними. Судьба предлагает Прокопу сначала покой и мир среди кротких полей и лесов глухой провинции и любовь чистой и доброй девушки Анчи. Жизнь, отрешенную от вулканических страстей и потрясений современности. Назад к корням! Но бабочка не может стать

куколкой, плод — семенем, современный человек — вернуться к патриархальщине. Прокоп сознательно отвергает открывшуюся ему жизненную возможность.

Завоевав любовь княжны Хаген-Балттин, он мог войти в узкий круг повелителей человеческих стад, аристократов, тесно связанных с правящей верхушкой, решающей вопросы войны и мира, делающей политику и определяющей судьбу народа. Но запавший в его душу идеал высшей женственности, человечности и красоты освобождает Прокопа из-под чар великого соблазна, хотя власть — и это Прокоп понимает — есть завораживающая сила.

Еще бо́льшую, практически безграничную власть предлагает Прокопу некто Дэмон, или попросту дьявол, владеющий радиоустановкой, излучающей волны, способные вызывать детонацию взрывчатых веществ. Стоит тайно разбросать порошок кракатита в разных местах земли, и мир будет или порабощен, или уничтожен. У Дэмона есть и организация, которая готова взяться за это чудовищное дело. Описание ее участников, их жаргона и теорий, доктринерства их мышления и методов борьбы, сводящейся к терроризму и анархическому бунтарству, сдобренному практикой сексуальной «свободы», — предвосхитило многие черты современного левацкого экстремизма, что подтверждает не только художническую зоркость Чапека, но также тот факт, что доктрины и теории современного революционаризма во всех его модификациях не столь уж новы и имеют глубокие корни в левацко-радикальном движении двадцатых годов. Разумеется, Прокоп бежит и от соблазнов безоглядного анархизма. Но ему было суждено увидеть дело рук своих в действии.

Сказочные мотивы, заложенные в сюжете романа, требовали после появления дьявола возникновения в повествовании и его антипода, некогда низвергнувшего сатану в преисподнюю. В символическом финале романа Прокоп, оглушенный и полуослепленный чудовищным взрывом кракатита, который Томеш все же создал на конкурировавших с Балттином заводах и разнесенных вдребезги при посредстве детонирующих волн Дэмона, встречает некоего старца. Схожий по внешности с деревенскими дедами, приголубивший Прокопа, простенький, но одновременно величественный старик показывает мятущемуся Прокопу разнообразие и красоту мира, давая ему ощутить громадность преемственного труда поколений и народов, создавших культуру и цивилизацию человечества, которую никто не вправе разрушать, ибо это станет покушением на самое жизнь. И он побуждает Прокопа забыть формулу кракатита и начать творить для людей нечто полезное,

что является более великим делом, нежели разрушение и взрыв сущего, к чему ранее была устремлена гордая, но лишенная чувства моральной ответственности душа Прокопа.

Герой романа совершает по ходу действия множество смелых и даже безрассудно храбрых поступков, но далеко не все его деяния Чапек расценивает как героические. Писатель очень строго, на протяжении всего своего творчества, отделял героизм истинный, наполненный нравственным и гуманным содержанием, от того, что собственническое общество зачастую рассматривает как героический поступок. Дли Чапека была внутренне неприемлема смелость так называемых «бравых парней», способных сотворить нечто из ряда вон выходящее. Прообразом подобного «бравого парня» для Чапека был знаменитый актер немого кино Дуглас Фербенкс, к которому Чапек относился с очевидной иронией. Бездумный оптимизм Фербенкса внушал ему несомненную тревогу. В статье «Улыбка Фербенкса» он писал: «Этот современный герой страшно примитивен, не требуйте от него, чтобы он решал какие-нибудь мировые проблемы... Есть Цезари и Бруты, Фаэтоны и Спартаки, бунтари и завоеватели, герои самопожертвования и прирожденные вожди. Для Фербенкса все это китайская грамота». *Пока* подобный примитивный герой еще морально нейтрален, но его примитивность есть великая опасность, ибо он легко может стать орудием — и весьма беспощадным — в руках таких людей, как Домин, мечтавший создать новую аристократию, породу сверхлюдей, поставив им в услужение роботов, или Ярослав Прус, хотевший использовать для сходных целей эликсир бессмертия, открытый алхимиком Макропулосом. Истинный героизм и человеческое величие не могут зиждиться на жестокой, бессердечной силе, на власти, безразличной к судьбам всего рода людского и отдельного человека. Подлинно великое деяние есть созидание, а не разрушение, ибо нигилистическое отрицание сущего и пренебрежение позитивным опытом человечества ведут в тупик.

Эту идею Чапек развивал в написанной вместе с братом Йозефом пьесе «Адам-творец», своего рода мистерии-буфф, но, в отличие от пьесы Маяковского, исполненной не пафосом исторического оптимизма, а духом сомнения, горечью и скептицизмом. Идейно пьеса эта органически связана с романом «Кракатит». На Горе Искушения, соблазняя Прокопа безграничностью власти, Дэмон говорит ему: «...я не дам тебе всего, что пред тобою, дабы пользовался ты и наслаждался властью; но тебе дано самому завоевать все это, переделать, попытаться создать нечто лучшее, чем наш жалкий и жестокий мир». Как всегда, в пред-

ложениях дьявола скрыто непременное коварство, ибо Прокопу, поддайся он дьявольским соблазнам, пришлось бы во имя личной власти сначала уничтожить весь мир, взорвав его при помощи кракатита. Герою мистерии «Адам-творец» подобные колебания чужды. Во имя Анархии, не имея никаких конструктивных идей в запасе, он уничтожает мир, использовав для его разрушения собственное изобретение — Пушку Отрицания, что по-чешски может читаться также как Закон Отрицания. Вопреки собственным ожиданиям, Адам уцелел после светопреставления, и в наказание за содеянное господь бог осуждает его быть творцом и создать новый мир, взамен погибшего. С этого момента начинаются трагикомические мучения Адама, ибо он немедленно узнает, что созидать гораздо труднее, нежели разрушать, и догмы Анархии неприменимы к практической жизнедеятельности человеческого общества. Смутно носившиеся в его сознании представления о сверхчеловеке, как образце для подражания, приводят к тому, что сотворенные им Ева и воитель Милес с презрением и насмешкой, преисполненные эгоизма и самовлюбленности, уходят от него, небрежно заметив, что он, их создатель, невзрачен и, пожалуй, даже кривоног и не достоин находиться в их компании. Дела с творением у Адама идут вкривь и вкось, хотя он и создал для себя кроткую, но ограниченную подругу Лилит. Чтобы поправить положение, Адам сотворил себе и помощника — Альтер Эго — собственное подобие. С появлением этого образа в мистерию входит коренная для Чапека идея о разорванности морального и научно-технического прогресса, их несовместимости, что катализирует и социальные бедствия. При всех своих недостатках и путанице в мыслях Адам все же сторонник творческого принципа в деле созидания нового мира. Альтер Эго все надежды возлагает на организацию, унификацию, массовость производства, стандартизированность исходной продукции, то есть людей. Конфликт между творцами-двойниками, а также созданными ими на разных основах мирами, неизбежен, и он возникал не однажды, поскольку в новых мирах возродились и собственность и урбанизм, короче, все пороки некогда уничтоженной Адамом цивилизации. Несовместимость морального и научно-технического прогресса признали на склоне лет и оба творца, решив помириться, дойдя в похмелье миролюбия до комплиментов чужому способу творения. Но примирение запоздало: их создания, поглощенные отчаянным раздором, отвергают самый акт творения, не признают ни Адама, ни Альтер Эго своими создателями, утверждая, что люди есть не что иное, как потомки обезьяны. Беспомощным старикам негде преклонить голову: из

храма, воздвигнутого во славу — увы! — несостоявшегося примирения, их гонят взашей, Адаму остается одно: снова уничтожить сотворенный им же мир, который стал печальным подобием ранее истребленной им цивилизации. Однако некто Зметек, случайно возникший, как бы самозародившийся из остатков Глины Творения, так сказать, побочный продукт процесса созидания, мешает Адаму воспользоваться Пушкой Отрицания. В эпилоге мистерии, выдержанном в иронично-торжественном тоне, до Адама доносится перезвон колоколов, в котором оп различает звучание и переплавленной Пушки Отрицания и вопрошающий громовой глас: «Хочешь ли ты, Адам, оставить все, как есть?» — на что он отвечает троекратным «да». Эксперимент, предложенный дьяволом Прокопу и осуществленный на принципах полного негативизма во имя «освободительной Анархии» Адамом, — явно не удался. Основания для перестройки мира были избраны ложные и ошибочные, и неиссякаемая созидательная мощь самой жизни возобладала над ними.

Мистерия-буфф Чапеков весьма многослойна по своему идейному составу, облеченному в броскую, гротесково-сатирическую, юмористико-травестийную форму, и отражала внутренние сомнения и колебания, владевшие душой писателя. Пьеса была опубликована в период, когда не только произошла экономическая стабилизация, но Европа уже стала свидетельницей и капповского путча в послеверсальской Германии, и размножения нацистских штурмовых отрядов, и громадного забастовочного движения, и распространения левацкого сектантства, взявшего на вооружение идею «перманентной революции». Эта объективная сложность общественной ситуации отразилась и на образах пьесы: воитель Милес со временем превращается в «инструктора героизма» Мюллера, а затем в неврастеничного «сверхчеловека», проповедующего войну, необходимость армий, национализма и во время дискуссий хватающегося за пистолет как высший аргумент.

В пьесе «Адам-творец» решительно пробивала себе путь в творчество Чапека антифашистская тема, достигшая кульминации в его произведениях середины тридцатых годов. Однако мелькнувший в пьесе образ Глашатая в красном с его призывами к немедленному действию, а равно несомненное скептическое отношение писателя к самой идее активной перестройки мира дали повод прогрессивным кругам чехословацкой литературы для критики пьесы.

Чапек не разделял пессимистических воззрений на историю как на «вечное возвращение», вечный круговорот, которые раз-

вивали многие последователи Ницше и Шпенглера. Подобный строй мыслей был ему чужд. Не принадлежал он к числу вульгарных буржуазно-демократических прогрессистов и видел в истории силы, не только содействующие ее движению вперед, но и тормозящие его. В этом отношении весомую многозначность обретал образ Зметека, имя которого означает по-чешски «брак», «поскребыш», «последыш» или «отброс», — существа, создателями которого отказались признать себя и Адам и Альтер Эго.

Чапек всегда считал себя и был на деле защитником и поборником бедных, низших общественных слоев и классов. Человеколюбие составляет наиболее привлекательную черту его писательского облика, и он нередко высказывал свои симпатии к «маленьким людям». Но он отдавал себе отчет, что так называемый «маленький человек» — и опыт двадцатого века подтвердил это — обладает крайне противоречивыми и даже взаимоисключающими возможностями развития, весьма податлив воздействию разрушительных, деструктивных идеологических мифов и националистических иллюзий.

Зметек бранит Адама за то, что у того есть «великие мысли». Они вызывают у Зметека глубочайшее отвращение. У него самого нет никаких мыслей, а только многочисленные дети и неутомимое желание посытнее и побольше поесть. Чапек предугадывал, что не только «инструктор героизма» Милес-Мюллер, но и начисто лишенный духовных запросов Зметек несут в себе громадную опасность, дух агрессивности и косности, могущие перерасти в угрозу человечеству.

Но исконная вера Чапека в творческую, созидательную силу самой жизни понуждала его исследовать те объективные возможности к развитию, которые, как он полагал, заложены и бродят в самом бытии. Поиски этих возможностей определяли особенности и его публицистики, и художественных произведений конца двадцатых годов, таких как «Рассказы из одного кармана» (1928) и «Рассказы из другого кармана» (1929) и «Год садовода».

В статьях и фельетонах, публиковавшихся в газете «Лидове новины» и журнале «Пршитомность», Чапек защищал толерантность, то есть терпимость в социальных отношениях между людьми.

Бесспорно, толерантность могла бы стать одним из важных моментов функционирования общественного организма, но в условиях непрестанной классовой борьбы, идущей во всех областях, идея толерантности вместо прокламируемой широты обретала очевидную узость и односторонность. Правящие классы не склонны проявлять толерантность по отношению к массам и

в случаях, когда те слишком громко заявляют о своих правах, обычно отвечают на эти требования отказом, не останавливаясь перед насилием.

Давно замечено, что люди реакции есть люди действия и мировоззрение их имеет нетерпимый, агрессивный характер. Потому идея толерантности не выдержала испытания и в творчестве Чапека. Публицистика его — остроумная, многотемная — с очевидной наглядностью обнаруживала объективные слабости общедемократического сознания, иллюзорность тех решений, которые Чапек предлагал в своих статьях для ликвидации или ослабления конфликтов современной ему жизни Чехословацкой республики. Главная слабость его публицистики заключалась в настойчивом стремлении перевести социальные отношения на уровень личностных, что, как полагал Чапек, открыло бы возможности для взаимопонимания, а тем самым и устранения противоречий, разъединявших граждан республики, чехов и словаков, богатых и бедных. Коль скоро общественные отношения нередко рассматривались писателем на уровне отношений личностно-человеческих, то и действия людей истолковывались им как субъективно обоснованные, отвечающие таким представлениям о мире, которые тот или иной человек полагает истинным. Подобный способ оценки людских поступков создавал впечатление релятивистского отношения писателя к социальной морали, что, однако, не соответствует действительности, поскольку Чапек-художник всегда, на всех этапах своего творческого и духовного развития опирался на весьма стойкие социально-этические принципы. В своих художественных произведениях он был гораздо более мудрым и разносторонним аналитиком жизни, нежели в публицистике, схематизировавшей и обнажавшей уязвимые и слабые стороны его общественных воззрений. Случай не редкий в искусстве, ибо публицистика многих великих художников мировой литературы оказалась менее весомой, нежели их непосредственно художественные произведения.

Рассказы Чапека конца двадцатых годов решительно повернуты к повседневности и кажутся отходом от того направления его творчества, которое было представлено философско-метафорическими произведениями. Проза повседневности, заурядные люди, невыдающиеся события, обыденные драмы, мелкие интриги, тривиальные невзгоды — вот что составляет первый, верхний слой рассказов Чапека. И, конечно, своеобразный чапековский юмор, умение писателя схватить на лету и запечатлеть сочную подробность быта, повадку человека, его характер, образ мышления, его простительные слабости и страстишки. Однако его рассказам

свойственно нечто, выводящее их за пределы обычного бытописательства, а именно — сюжетность.

По своему построению рассказы Чапека ближе к детективу, нежели к очеркам нравов. Однако детективная линия присутствует в них как бы не всерьез, обретая ироническую окраску, меняющую — принципиально и сознательно — их жанровую принадлежность. Обычно в основе сюжета рассказов Чапека лежит некий казус, случай, нечто неожиданное и непредвиденное, подлежащее разгадыванию, нечто даже анекдотическое, вроде деловых похождений брачного афериста Плихты, неотразимо действующего на перезрелых одиноких дам, и одновременно человека вполне солидного, прочно женатого, прикапливающего деньжонки на старость. Критика давно отметила, что рассказы Чапека строятся на принципе парадокса, но не раскрыла сути и природы их парадоксальности. Между тем разгадка смысла чапековского парадоксализма позволяет понять истинную проблематику его рассказов, ключевую для содержания и трилогии «Гордубал», «Метеор» и «Обыкновенная жизнь».

Рассказы Чапека строятся на несовпадении реального, глубинного и подспудного течения событий и различных попыток узко-рационалистического, прагматического, обедняющего подлинное бытие объяснения феномена существования, стремления втиснуть в предвзятую схему то, что Достоевский, оказавший заметное воздействие на Чапека, называл живой жизнью. Бытие преподносит человеку больше загадок и неожиданностей, чем того ожидает человек, ибо в жизни заложены непредвиденные возможности, потенции развития, которые человеческий разум не всегда может предвидеть или уловить.

Чапек отнюдь не испытывал недоверия к разуму, как множество писателей и философов-иррационалистов, его современников. Для него разум был единственным водителем по лабиринтам жизни и истории, но Чапек полагал, что разум может выполнить роль вожатого человечества лишь тогда, когда будет считаться со спонтанным движением существования, по сути не поддающимся контролю самодовольной логики. Эта мысль и составляет сердцевину чапековского парадоксализма.

Жена полицейского чиновника по его просьбе отправляется к старухе гадалке, подозреваемой в шпионаже. Гадалка предсказывает дамочке счастливый брак и блестящее будущее. Из-за явной нелепости предсказания полиция снимает свои подозрения и штрафует гадалку всего-навсего за мошенничество. Однако невероятное сбывается: дамочка развелась со своим мужем и выскочила за молодого миллионера, который увез ее в Австралию,

Опытный вор-медвежатник аккуратно очистил очередной сейф и образцово замел вое следы преступления. Но во время взлома ему мешала вставная челюсть, и он положил ее на стол, оставив на слое покрывавшей его пыли след, и был опознан. У полковника генштаба похищен важный документ; вся военная полиция поднята на ноги, в содеянном подозреваются разведки иностранных государств, что вполне логично, поскольку документ содержал государственную тайну. Дело завершается крайне тривиально: обычная полиция находит мелкого воришку, специалиста по грабежу кладовых, который вместе с прочим хламом утащил и документ, спрятанный полковником ради вящей секретности в жестянку из-под макарон. Военная разведка строила сложнейшие теории похищения, исходя из заранее заданных и ставших стереотипом представлений о сходных происшествиях. Но жизнь и сложнее и проще: она предлагает собственное непредвиденное решение ситуации, что, согласно взглядам Чапека, и типично и неизбежно. Подобного рода парадокс и предопределяет построение его рассказов.

Юмор не составляет господствующую их стихию. Среди них есть и весьма сумрачные, критичные по отношению к нравам богатых классов, как, например, «Исчезновение актера Бенды»; трагичные, как маленький шедевр «История дирижера Калины», в котором писатель изобразил душевную смятенность человека, бессильного предотвратить готовящееся убийство, о котором он догадался, случайно услышав разговор мужчины и женщины, ведшийся на непонятном для героя английском языке. Интонации разговора были столь выразительны и мучительны, что герой уловил смысл нервного, горького и жестокого собеседования. Стихийная сила жизни преодолела барьеры, воздвигнутые между людьми, разобщающие и разъединяющие людей, но примирить их она не могла, спасти тоже. Это надлежит делать самим людям, ибо они ответственны и перед собой, и перед великим чудом жизни, сиянием и цветением мира, который они оказываются способны испепелить и уничтожить.

Ио что же может помешать людям овладеть полнотой жизни, приобщиться к ее могучему всеобновляющему потоку? На этот фатальный вопрос по-своему давался ответ в рассказе «Эксперимент профессора Роусса».

Он являет собой нечто большее, чем сатиру на шаблонность и воинствующую ограниченность буржуазной прессы. Профессор-психолог Роусс по мгновенным, не обдуманным заранее ответам на ловко поставленные подозреваемому вопросы раскрывает совершенное преступление. Но когда его метод попробовали испытать на

бывалом журналисте, то профессор чуть не угодил в лужу, ибо получал в ответ набор штампованных фраз и определений. Рассказ комичен, но весьма серьезен, ибо в нем Чапек обнажил то, что он считал главной опасностью для человечества, истоком его разлада с живой жизнью, чреватым громадными, труднопредставимыми последствиями. Эту опасность Чапек усматривал в роботизации человека, стандартизации и нивелировке его мышления, деперсонализации его сознания, что является прямым результатом распространения низкопробной массовой культуры — детища научно-технического прогресса, утратившего в условиях собственнического общества гуманистическое, этическое содержание.

Писателя глубоко волновало и тревожило распространение средствами массовой коммуникации — печатью, радио, кино — стандартных представлений, взглядов, привычек, обезличивающих человека, лишающих его индивидуальности, превращающих его в слепое орудие опасных социальных сил.

Чапек был одним из первых мыслителей, уловивших идеологические следствия распространения массовой культуры, и подверг анализу этот важный фактор духовной и социальной жизни.

В блестящих и весело написанных статьях «Последний эпос, или Роман для прислуги» и «Холмсиана, или О детективных романах» он исследовал причины живучести и прилипчивости бульварной литературы, оперирующей набором стереотипных характеров, ситуаций, чувствований и представлений о мире. Не без основания Чапек утверждал, что многое в бульварной литературе восходит к весьма давним традициям авантюрного повествования. Но если приключенческое, мелодраматически-сентиментальное бульварное чтиво принадлежит прошлому, то детективный жанр, который Чапек определил как «холмсиану», есть порождение века двадцатого, он вобрал в себя множество социально-психологических свойств, рожденных именно этим веком, которому свойствен «практический рационализм, методичность, всесторонняя образованность, абсолютный эмпиризм и страсть к наблюдению, анализ и увлечение экспериментом, философская констатация и подавление всякой позорной субъективности...». Заключительные слова Чапека, полные насмешки, ясно показывали, в чем писатель видел опасность широчайшего распространения этих видов словесности. Сам он был убежденным реалистом и противником всяческого субъективизма в искусстве, но, упоминая о подавлении «позорной субъективности», он имел в виду навязывание, прививку индивидууму представлений и навыков, способных подавить развитие живой жизни, направить ее стихийную энергию по ложному пути. В весьма ироничной статье «Похвала газетам» он,

подчеркивая громадную роль ежедневной прессы в формировании обыденного сознания, указывал, что газеты «состоят из общих фраз, общих мест и штампов» и сознательно препарируют факты, о которых сообщают. Поэтому они являются силой, унифицирующей и стандартизирующей общественное мнение.

В те годы, однако, Чапек не до конца понимал политическое содержание этого явления. В полном объеме положение вещей стало ему ясным в пору наступления фашизма и его проникновения в общественную жизнь Чехословакии. Но со свойственной ему чуткостью он предощутил потенциальную угрозу многообразию жизни и человеческой личности, которую несла зарождающаяся индустрия так называемой «массовой культуры».

Сам Чапек был противником элитарного, герметичного и формалистического искусства и литературы. Превыше всего он ценил их доходчивость и демократичность, способность нести в мир «...естественные и непреходящие ценности, такие как любовь, мужество, сообразительность, красота, оптимизм, великие и волнующие деяния, подвиги, приключения, справедливость...». В статьях и эссе, объединенных в книгу «Марсий, или Заметки на полях о литературе» (1931), он защищал народное, проникнутое демократизмом и гуманизмом искусство.

Задумываясь на рубеже двадцатых и тридцатых годов над ходом общественного развития, писатель с особым вниманием исследовал конфликт между стандартизирующими, унификаторскими аспектами современной буржуазной цивилизации и устремлениями личности, которую всевозможные утилитаристски-прагматические и мифотворческие, основанные на наборе бедных, но броских лозунгов — национализма, милитаризма, крови, расы и так далее, демагогические по природе своей идеологические построения стремились подчинить своим догмам. Поэтому важнейшее его создание начала тридцатых годов — его трилогия, при внешней разнотемности входивших в нее романов, обладала духовным единством и большой социальной актуальностью содержания, поскольку в ней писатель стремился показать объективное многообразие творческих потенций жизни и бесконечность возможностей ее развития.

В трилогии Чапек проявил себя не только зорким наблюдателем и аналитиком общественных нравов и повседневности человеческого существования, но и проницательным, вдумчивым психологом. «Гордубал», в основу которого положено подлинное происшествие, был романом одновременно социальным и психологическим. Драматизм его коренился в потаенных пластах обыденной жизни.

Среди «Рассказов из одного кармана» есть небольшая бытовая зарисовка — «Преступление в крестьянской семье», где Чапек описал убийство крестьянином своего тестя — дело, с точки зрения правосудия, рутинное и абсолютно ясное, однако заключавшее в себе несомненную психологическую сложность, поскольку убийца вовсе не считал себя виновным. Представления его, не совпадавшие с нормами обычного права, сложились в недрах отстоявшегося крестьянского уклада жизни. Еще более сложна психология участников деревенской трагедии, описанной в «Гордубале», и логика их поведения, мотивы совершаемых ими поступков отмечены такой своеобычностью, которая несводима к удобопонятным, рационалистическим умозаключениям. Житейская судьба Гордубала, утратившего за годы вынужденной эмиграции привязанность жены и дочери и получившего в конце своего пути удар шилом в сердце от любовника своей жены, осложнена не только страстями и чувствами, но и путаницей имущественных расчетов, непрямо, но неостановимо воздействовавших на мысли и поступки Поланы и Штепана. Расчеты эти заложены в самих основаниях крестьянской жизни, и крестьянин-собственник не может освободиться из-под их власти, ибо они составляют суть и содержание его мировосприятия. Мысль эта, проходящая через весь роман, подтверждала, что Чапек, считавшийся с самовластным диктатом жизни, определявшей характер человеческих связей, тем не менее был противником незыблемости устоявшихся порядков, ибо они нередко порождали неразрешимые, трагические ситуации, не выдерживая суда гуманности, требований «нравственного порядка».

«Гордубал» членится на две почти самостоятельные части. Одна, главенствующая — являет картину доподлинной жизни, изображает взрывчатую конфликтность отношений Юрая Гордубала со Штепаном и Поланой, с родной деревней, куда Юрай вернулся из далекой Америки; его тягостные раздумья над всем случившимся и попытки примирить непримиримое — развязать тугой узел взаимоотношений, разрубить который оказалась способна лишь смерть.

Другая часть — как бы эпилог романа — содержит критический анализ толкования смысла разразившейся драмы судом, опиравшимся в своих оценках личностей Юрая Гордубала, Поланы, Штепана, их отношений на расхожие стереотипные понятия и представления, неспособные, однако, нащупать живой нерв трагического происшествия, взволновавшего покой тихой закарпатской деревушки.

Композиция романа — и это соответствовало сути его философии — перекликалась с композицией «Братьев Карамазовых»

Достоевского, где громадность и бездонная глубина страстей и переживаний героев, спутанность и внешняя алогичность живой жизни противостояли плоскому и ограниченному ее толкованию прокурором и защитником, сводившим к простейшим, а потому бедным схемам клубящееся и бьющееся в противоречиях, полное загадок и тайн бытие и борения человеческого сердца.

На суде Гордубал выглядел недогадливым добряком, Штепан — вымогателем, Полана — сельской мессалиной, старой, костлявой бабой. Но все это далеко от истины.

Гордубал — крестьянин до мозга костей, постоянно, где бы оп ни находился, ощущавший власть земли, — был одним из тех бедняков, кто, подобно героям повести Короленко «Без языка», отправился за океан, работал там как ломовая лошадь, высылая домой каждый грош и поддерживая себя единственной мыслью — вернуться на родину и крепко осесть на земле. Образ для Закарпатья, поставлявшего эмигрантов во все края света, типичный. Штепан Манья — тоже крестьянин, но земля для него важна не сама по себе. Сын мадьярской равнины, он возводил хозяйство Поланы на иной основе, чуждой и враждебной Гордубалу, — разводя коней и барышничая. И хозяин и батрак не могли не столкнуться уже на этой почве.

Штепан вложил в хозяйство всю душу, и Полана была для него не просто богатой хозяйкой: они любили друг друга, хотя их любовь подкреплялась и материальными интересами. Судьи не понимают их человеческих отношений, как и чувства Гордубала к Полане, и потому сводят дело к преднамеренному убийству из корыстных побуждений, то есть живое бытие втискивают в стереотипное, мертвенное о нем представление.

Гордубал тоже нежно любил Полану, но за восемь лет вынужденной разлуки он стал чужим человеком и для семьи и для деревни. И когда он — законный муж своей жены и настоящий хозяин двора — вернулся домой, деревня, ранее терпевшая связь Поланы и Штепана, единодушно встала против явного нарушения сельских обычаев и нравов. Гордубал, ясно понимавший, что у него творится дома, ради своей любви к Полане попробовал привести положение вещей в соответствие с требованиями деревенских обычаев и даже просватал свою малолетнюю дочь Гафию за Штепана. Но все кончилось крахом.

Однако не Штепан — и в этом смысл романа — разрушил семью Гордубала и довел события до катастрофы. Причиной разразившейся трагедии были бедность, социальное несовершенство общества, загубившего любовь и брак Поланы и Гордубала. В этом романе нравов и характеров нет и намека на приписываемый

Чапеку социальный релятивизм, ибо внутренний взгляд писателя на происшедшее непреложен: то, что случилось, есть не преступление, а грех. Не только Полана и Штепан нарушили неписаные законы человеческого долга, воспользовавшись трудами и деньгами Гордубала и отплатив ему злом, но и общество грешно перед Гордубалом и подобными ему, коверкая и ломая их судьбы. Грех этот порожден ложными основаниями жизни. Роман поэтому отличался высоким критицизмом и был крупным художественным обобщением реальных, социально обусловленных противоречий жизни, которые одновременно отражали ее подвижность, неоднозначность, способность к саморазвитию, составляющие ее богатство и красоту, подобно тому, как трепещущая листва венчает крону раскидистого, разветвленного могучего дуба.

Сумрачный колорит лежит на этом романе Чапека, в котором писатель исследовал жизнь в ее повседневности и обыденных формах, зависящих от причинно-следственных связей и, в свою очередь, подобные связи порождающих. Но что представляет собой самый феномен жизни как субстанция человеческого существования, если этот феномен очистить от непосредственных, очевидных связей с обыденностью? Обладает ли оп такой же множественностью потенций, способностью к самопроизвольному развитию, как и человеческое существование, протекающее в будничном бытии? Этот необычайно важный для мировоззрения Чапека вопрос он попытался разрешить в романе «Метеор», где звенит напряженная струна необычного, где пряная экзотика, ленивая и чувственная мелодия тропиков вливается в сухой стук костяшек конторских счетов, где страсти человеческие наполнены тяжелой и густой кровью, где жестокость и коммерческий расчет, волевой напор дельца, коварство конкурентов, надежда на счастье, одиночество и жажда человеческой близости соединены в многоцветный сплав, излучающий мерцающее сияние тайны, будоражащей воображение.

Что, собственно, известно о пассажире частного самолета, летевшего по неясным причинам в страшный ураган через океан в Европу? Самолет загорелся и разбился, пассажир лежит в клинике, обмотанный бинтами, без сознания, изредка произнося английское или испанское слово. Можно ли восстановить жизнь человека по мелким, разрозненным фактам, сопутствовавшим его появлению в больнице, где над его судьбой размышляют врачи, монашка — сестра милосердия, пациент-невропат и писатель. Феномен жизни предстает перед ними в своей чистоте и загадочности, и все они пытаются дать собственную версию судьбы человека, подобно метеору, ворвавшемуся в их мир.

При авантюрности и занимательности сюжета «Метеор» отмечен серьезностью мысли, напоминая в этом отношении философско-психологические, приключенческие романы Джозефа Конрада. Сопоставляя различные способы интерпретации бытия, Чапек стремился определить, какой из них ближе к истине и более способен передать и достичь полноту жизни. Все, кто размышляет над судьбой загадочного незнакомца, отталкиваются в своих предположениях от мелких, но вполне реальных фактов, которые стали им известны.

Самую простую и самую бедную, но безусловно достоверную характеристику пациента дают лечащие врачи, люди прагматического склада мышления: неизвестный страдает редкой тропической болезнью, на теле у него — следы от когтей какого-то зверя, скорее всего ягуара, телосложение — интеллигента, сердце изношенное, печень алкоголика. Видимо, он прибыл откуда-то из Южной Америки, где мог быть кем угодно — плантатором, служащим или искателем приключений. Вариант вполне возможный.

Сестра-монашка через вещие сны, путем своего рода духовного контакта с пациентом, приходит к выводу, что он, рискуя жизнью, мчался сквозь ураган, чтобы загладить тяжелый грех. Беспутный сын состоятельного человека, он соблазнил достойную девушку и бежал от бремени моральной ответственности в мир, на далекие острова Карибского моря, где, проведя полную приключений жизнь, чувствуя приближение смерти, ощутив исчерпанность и ложность собственного существования, мгновенно решает отыскать ту, которую он обманул, и вымолить у нее прощение. Что ж, и эта ситуация возможна и правдоподобна.

Невропат-интуитивист создает версию, в которой незнакомец оказывается человеком, некогда совершившим важное открытие в химии, опрокидывающее канонические взгляды и потому отвергнутое специалистами. Лишь два десятка лет спустя, где-то в тропических лесах, отупевший от пьянства, он случайно узнает, что его открытие сделано другим и обнародовано. И он мчится домой, чтобы там доказать свою правоту, и неизбежно погибает. Жизнь и смерть есть звенья единого целого, зовущегося бытием, и обе эти фазы, лишь соединившись, дают завершенность человеческой жизни и всему им содеянному. Незнакомец должен был закончить свой путь, и в этом проявилась высшая мудрость жизни. И подобное развитие событий могло иметь под собой основания.

Однако лишь искусство, соединяющее в себе логику и интуицию, оперирующее объективными данными и их субъективным толкованием, способно дать наиболее полную и вероятную исто-

рию незнакомца. Писатель мыслит в том же направления, что и другие, но наполняет скудный остов фактов материей творческого воображения, сырье для которого всегда поставляет жизнь. В рассказанной им истории есть бегство из богатого дома, страдание, борьба человека с собственными слабостями, падение на самое дно жизни, грязь и надежда, есть великая цель — любовь, есть борьба и поражение и, как завершение всего, неожиданная гибель. Версия писателя наиболее убеждающая и достоверная, ибо, согласно воззрениям Чапека, искусство адекватнее, чем другой вид умственной деятельности человека, способно постичь и передать живое течение жизни и уловить те возможности развития, которые таятся в ее сердцевине. «Мне мало того, что я вижу, я хочу знать больше; для того и сочиняю всякие небылицы», — говорит писатель в романе. Означает ли это, что Чапек исследовал в романе способы познания мира и счел фантазию, воображение наилучшим инструментом постижения сущего? Нет, роман пронизывала иная мысль: даже самый «чистый» феномен жизни заключен в систему сложнейших связей с бытием и обладает громадными возможностями множественного развития. Для Чапека мир познаваем, как для каждого художника-реалиста, но творческое воображение, используя в качестве строительного материала факты, создает типизированную картину жизни, сообщая реальности более высокий уровень ее существования.

Но можно ли богатство потенций жизни, заключенных в отстоявшемся социальном бытии или в сгустке очищенной жизненной энергии, найти в обыденном существовании заурядного человека — неприметного странника по миру, одного из тех, кто, ничем не выделяясь, начинает и заканчивает свои труды и дни, не оставив после себя никакого следа?

Да, богатства жизни неисчерпаемы, и они включены в каждый человеческий индивидуум подобно тому, как в атоме концентрируется космическая мощь материи. Судьба героя романа «Обыкновенная жизнь» — скромного железнодорожного чиновника, написавшего перед своей тихой, обывательской кончиной нечто вроде исповеди, служит тому подтверждением.

Необычен этот роман: он полон внутренней взрывчатости, исполнен знания человеческого сердца и касается таких его тайн, которые в свое время мучительно стремился разгадать Достоевский в своих размышлениях над тем, почему зло способно овладеть натурой человеческой. Роман создавался в годы, когда Европа уже содрогалась от кровавых эксцессов фашизма, оберегая свой покой и относительное благополучие, наступившее после великого кризиса, и закрывала глаза на то, что разнузданная сти-

хия жестокости неуклонно накатывается на старые, обжитые города, а расползающаяся коричневая плесень губит все творческое в людях и в созданной ими цивилизации.

Для Чапека исторические перемены в общественной жизни в те годы были, как и для многих крупных художников-гуманистов, еще не вполне понятны в своих социальных истоках, по он ощущал сгущенность напряжения в мире, отравленность духовной атмосферы тяжкими испарениями бесчеловечности и насилия, исходившими из темных глубин теряющего устойчивость общественного миропорядка.

Хрупкость и непрочность границ, отделяющих в этом миропорядке дозволенное от недозволенного, доброе от злого, истинное от ложного, возможность быть поглощенным силами разрушительными или устоять под их давлением, открывающаяся перед человеком на его пути по лабиринтам жизни, составляет предмет размышлений героя романа над собственным опытом.

Самое выдвижение этих проблем Чапеком на передний план повествования явилось откликом художника па изменившуюся историческую ситуацию, которая понуждала задумываться над коренными свойствами человеческой натуры. Подобное направление мыслей предопределило и архитектонику романа. Последовательный, строгий, упорядоченный, внешне очень объективный рассказ чиновника о своей жизни, о детстве, проведенном в почтенной семье ремесленника, о первых школьных привязанностях — влюбленностях и дружбе, о беспорядочной поре студенчества, юношеских пробах пера, болезни, безупречной службе, спокойном браке, вдовстве — взрывается и опрокидывается его автокомментарием. Из него возникает совершенно иная картина прожитой им жизни — спутанная, сложная, полная внутренних опасностей, насыщенная борением зла и добра, не укладывающаяся в схему, упорядочивающую и упрощающую сущее. «Жизнь человека — это множество различных жизней, из которых осуществляется лишь одна или несколько...» — приходит к выводу рассказчик, вполне в духе прежних оценок Чапеком феномена человеческого существования.

Но что же осталось нереализованным, невоплощенным в жизни рассказчика? Очень многое. Не только его талант поэта, ибо его юношеские стихи, которые он успел позабыть, были открыты заново молодым ученым и оказались полными внутренней энергии и новизны; не только его способность к некрикливому героизму, поскольку он помогал чешским патриотам в их борьбе против Австро-Венгерской монархии в пору ее крушения и помощь эта была связана с риском для жизни.

Склонности рассказчика к порядку, организации, дисциплине противостояло нечто иное. Его патриархальная семья на деле была лишена подлинной прочности из-за слабости отца: жажда господства владела рассказчиком с детства, понуждая выбирать слабых товарищей и завидовать сильным. Бесовская и страшная власть порока была ведома ему с малых лет; брак его оказался пустым и формальным; работа и поведение — карьеристичным, но — и это главное — он сознавал, что в нем таится нечто темное, адское, то, что заставляло некоего поэта, забулдыгу и циника, с которым рассказчик встречался в молодости, смотреть на него с ужасом, когда он изливал тому свою душу. И, однако, эта адская сторона его натуры не вырвалась наружу: она прорывалась лишь тогда, когда условия жизни создавали для этого предпосылки. Злое в рассказчике подавлялось — и в этом отношении Чапек сближается с Достоевским, — когда рассказчик ощущал наличие отъединяющей дурное от доброго моральной преграды, которую он не переступал.

«При всем том я очень хорошо знаю, что я вовсе по интересная, сложная, раздвоенная или бог весть еще какая личность...» — признавался он, и в его словах заключена большая правда. Но объективная неоднородность его личности показывала, что идея множественности потенций, заложенных в жизни, уже обнаруживала для Чапека свою собственную неоднозначность. Как философская посылка, она бесспорно истинна: однако у Чапека-художника идея эта выражала не столько его гносеологические, сколько общественные воззрения. Полагаясь на стихийную энергию жизни, он думал, что и в сфере социальных отношений она проявится как конструктивная сила и приведет к здоровому равновесию противоборствующих в обществе интересов. Поэтому он длительное время не считал полезным вмешательство в объективный ход вещей и в двадцатые годы серьезно расходился с революционным авангардом чехословацкого рабочего движения. Но роковые тридцатые годы, приход гитлеризма к власти, угроза миру, культуре, человечеству, созданная появлением на общественной арене фашизма, приводила Чапека к мысли, что в стихийной энергии жизни заложены и разрушительные, деструктивные элементы и, кроме блага, она может нести и зло, которое способно взять верх.

При внешней камерности и сосредоточенности на одном характере роман «Обыкновенная жизнь» знаменовал переход Чапека к анализу крупнейших по масштабам исторических процессов европейской жизни тридцатых годов, ибо изображенный им характер был массовидным и слишком многое зависело от того,

каким путем станет развиваться подобный массовидный тип человека. По существу роман этот подготавливал великие антифашистские произведения Чапека. Гуманистический пафос определил идейную тональность его трилогии.

Чапек принадлежал к тем европейским писателям-демократам, кто очень рано почуял опасность фашизма и, подобно Томасу Манну, Ромену Роллану, Генриху Манну, Лиону Фейхтвангеру, выступал против него не только как художник, но как блистательный публицист. Его статьи, написанные в начале тридцатых годов, подтверждали его энергичное внутреннее движение к общественной активности. При всей сложности этого движения, публицистика его была отмечена трезвостью взгляда на историческую обстановку, накалявшуюся с каждым днем.

Одной из важнейших нравственных обязанностей людей интеллектуального труда, в том числе писателей и художников, Чапек считал участие в борьбе за защиту идей гуманизма и свободы и резко критиковал тех, кто пытался снять с себя эту ответственность, уклониться от действия или пойти в услужение реакции. «Есть ли что-нибудь достаточно пагубное, страшное и бессмысленное, чтобы не нашлось интеллигента, который захотел бы с помощью такого средства возродить мир?» — с безмерной горечью написал Чапек в «Войне с саламандрами», имея в виду тех философов, писателей и социологов, которые оправдывали фашизм, видя в нем некую «обновляющую» дряхлый мир силу. В том, что эмоции жестокости, насилия, националистические и воинственные настроения получали широкое распространение, есть, как полагал Чапек, доля вины интеллектуалов, слишком долго созерцательно относившихся к происходившему в реальном мире. В замечательной статье об антивоенной пьесе Карла Крауса — выдающегося австрийского сатирика, одного из ранних критиков зарождающейся буржуазной «массовой культуры» — «Последние дни человечества», этой громадной панорамы империалистической бойни, Чапек писал: «...мы могли верить, что книга Крауса — страшное обвинение того, что было. Сегодня мы начинаем понимать, что это обвинение того, что еще живо», — и с гневом, могущим показаться неожиданным в этом мягком и скромном человеке, обрушивался на всех, кто поддерживал общественную реакцию: «Повинен изобретатель отравляющих веществ, но вина за войну и ее ужасы лежит и на лгущем взахлеб, устраивающем бум журналисте и писателе в тылу. Слова, мысли, идеи служат мотивом или санкцией поступков, и критик выуживает на свет божий затасканные словеса, пустые фразы, жестокий технический жаргон войны, вранье и полуправду, га-

зетные штампы, которые заменяют людям мысли... Современная война — война не между армиями, а между народами — обусловлена массовым духовным рабством, обусловлена обезличкой всех или почти всех». Духовная стерилизация масс, что подчеркивал Краус и с чем соглашался Чапек, есть один из способов поддержания капитализмом собственного существования. Высказываясь о миссии деятелей культуры в современную эпоху, Чапек с тревогой говорил о том, что среди чешской молодежи появились тенденции, «идейно очень близкие немецкому гитлеризму», и резко осудил национализм. Для него важнейшей задачей искусства и художника в накаленной предвоенной обстановке становилась борьба за свободу человека, против фашизма. Вклад Чапека-художника в эту борьбу был велик и непреходящ.

Его антифашистский роман «Война с саламандрами» (1935) стал классическим не только благодаря высоким художественным достоинствам, но и потому, что в нем были обобщены особенности тоталитарной фашистской идеологии и проанализированы те социальные предпосылки, которые создали условия для возникновения формы общественного сознания подобного толка. Роман Чапека не только реалистичен, но он обогащал реализм новыми средствами художественной выразительности, а его притчеобразное построение принципиально отличалось от романов — притч и антиутопий, получивших распространение после второй мировой войны и опиравшихся на распространившуюся в эту пору метафизическую и пессимистическую философию различных оттенков. Такие произведения, как «Чума» Камю, «Повелитель мух» Голдинга или «Обезлюдиватель» Беккета и подобные, изображали некую ситуацию, имеющую, по представлениям их авторов, всеобщий, извечный характер, подтверждающий поверженность человека и его неспособность изменить жизнь и победить социальное зло. Роман Чапека зиждился на иных основаниях: он содержал многосторонний социальный анализ противоречий современного капиталистического общества. Условная форма повествования обостряла критицизм романа, делала его жгуче актуальным и не мешала исторической конкретности. «Это не умозрительная картина некоего отдаленного будущего, но зеркальное отражение того, что есть в настоящий момент и в гуще чего мы живем», — писал он о «Войне с саламандрами».

При внешней легкости и ясности построения структура романа отличалась чрезвычайной сложностью и опиралась на громадную эрудицию и выношенное повествовательное искусство писателя. Начатый, как авантюрный роман, с описания экзотических приключений капитана ван Тоха, открывшего на забытых богом и

людьми островах где-то между Индийским и Великим океанами крупных саламандр, способных выполнять несложные работы, обучаться человеческой речи и пользоваться примитивными орудиями, он постепенно обретал философичность, наполняясь размышлениями над человеческой природой. Роман включал в свою художественную систему пародии на газетные репортажи, научные статьи, содержал сатирические картины нравов высокоразвитой буржуазной цивилизации, анализ политики мировых держав, их антагонистических противоречий, прикрываемых беззастенчивой демагогией и вкрадчивым лицемерием.

Роман язвительно высмеивал самодовольную позитивистскую науку, чехословацких националистов, «миротворческие» международные конференции, заполненные пустой болтовней профессиональных дипломатов, всеми правдами и неправдами протаскивавших свои корыстные интересы. Он взывал к разуму человечества, предупреждая людей о грозящей им страшной катастрофе. Роман полон пророческой тревоги за будущее, боли и тоски, надежды и отчаяния, веры в людей и ненависти к многоликим силам реакции. Он суров, несмотря на мягкую ироничность повествования. Чапек прочно опирается в нем на реальность, монтирует факты, сталкивая их лбами, обнажая алогичность и безрассудство правителей буржуазного мира, ведущих его к гибели. Роман прозвучал как призыв писателя остановить набор бесчеловечия, порожденного и приведенного в действие обществом, которое надеялось в прагматических и эгоистичных целях обратить возникшую разрушительную силу себе на пользу.

«Война с саламандрами» являла собой сгусток воззрений Чапека на общество, высказывавшихся им ранее, но обретших новое качество под воздействием антифашизма, становившегося ведущей чертой его взглядов. Рисуя апокалиптическую картину всемирной войны людей с расплодившимися и обученными людьми же военному искусству саламандрами, гибель под водами Мирового океана стран и континентов, разрушаемых саламандрами из геополитических соображений для устройства на их месте удобных лагун и бассейнов для своих подводных городов, фабрик и заводов, Чапек не оставлял сомнений в том, кто, собственно, повинен в катастрофе, постигшей человечество. Пружиной и двигателем всех бедствий стал не кто иной, как капитан большого бизнеса, финансовый воротила, властитель бирж Г. Х. Бонди.

Г. Х. Бонди поставил торговлю саламандрами на широкую коммерческую основу. Добряк ван Тох надеялся приспособить саламандр всего-навсего для ловли жемчуга, Г. Х. Бонди орга-

низовал саламандровый синдикат, торговал ими, поставляя всем желающим прекрасную рабочую силу для подводных работ. До поры до времени с саламандрами все обходилось более или менее благополучно, если не считать корсарской, контрабандной торговли ими, организованной мелкими предпринимателями. Но расплодившиеся саламандры стали собственностью великих держав, между которыми, естественно, начались трения из-за прав владения, и оружие забряцало. Сами саламандры были рассортированы по их способностям: между ними возникла иерархия, выделились простые рабочие саламандры, затем более квалифицированные, могущие стать и солдатами, потом саламандровая элита — вожаки и интеллектуалы, командовавшие остальными, и, наконец, мало чем примечательный саламандровый сброд. Так под носом у людей, обучавших саламандр, снабжавших их орудиями труда, оружием, в водах Мирового океана сложилась новая цивилизация, повторяющая в ухудшенном виде многие черты человеческой, но все же особая, всей своей сутью чуждая и враждебная миру людей.

Когда Чапек делал Г. Х. Бонди первопричиной происшедшего, то он не оставлял сомнений в ответственности капитализма за бедствия, постигающие человечество, и критицизм его обретал высокий накал и историческую точность. Но что же представляли собой в его понимании саламандры, чьи неисчислимые орды овладевали сушей, отнимая у людей право на жизнь?

Чапек любил снабжать свои произведения автокомментариями, пояснявшими их основные идеи. Но его послесловия или заметки имели, как правило, шутливый характер, нередко с оттенком мистификации, в расчете понудить самого читателя поразмыслить над сутью художественного произведения и не пользоваться уже разжеванной другими духовной пищей. Объясняя замысел «Войны с саламандрами», он говорил, что одним из толчков для создания романа послужила мысль о том, что стихийная энергия жизни могла породить па земле не единственное существо, наделенное разумом, то есть человека. Почему бы другим подобным существом не могли стать, например, гигантские саламандры? Однако если эта мысль и присутствует в романе, она отнюдь не определяет природу образа саламандр — многозначного и весьма емкого.

В этом образе Чапек сконцентрировал все свои прежние наблюдения над обесчеловечивающими и обезличивающими человека воздействиями на его сознание стандартизирующей, нивелирующей людей буржуазной культуры и способа жизни. Фанатизм и обездушенность, стадность и власть инстинктов, полное

отсутствие моральных представлений, чувства личности, сострадания, агрессивность — черты, в той или иной мере присущие и роботам Домина, и «самозародившемуся» Зметеку, и тому «адскому», что таилось в натуре героя «Обыкновенной жизни» и что кроется в прочих духовно стерилизованных потребителях «массовой культуры», — все это спрессовал Чапек в образе саламандр. Одновременно они обладают высокими способностями к приобретению разных, весьма сложных трудовых навыков. Они соединяют в себе все недостатки дегуманизированной буржуазной культуры и лишенного человеческого содержания научно-технического прогресса.

Чапек — органически демократичный художник — был начисто лишен высокомерного презрения к народу и народным массам, столь характерного для постницшеанской философии и социологии, весьма влиятельной в годы написания его романа. Создавая образ саламандр, Чапек имел в виду нечто совсем иное, нежели народ.

Саламандра, жившая в лондонском зоопарке, не только пристрастилась читать вслух ежедневные газеты, но, подобно журналисту из рассказа об эксперименте профессора Роусса, приучилась мыслить газетными штампами, только окрашенными воинственно-проанглийским, империалистическим духом.

Чапек делал совершенно очевидным, кого и что подразумевает он под саламандрами. Это был символ реакции, всего античеловеческого, что рождает капиталистическое общество. В первую очередь саламандры — символ тоталитарной фашистской системы. Их несметные полчища возглавляет Верховный Саламандр, он же Андреас Шульце, бывший фельдфебель первой мировой войны, — прозрачный псевдоним ефрейтора Адольфа Гитлера; под водой саламандры установили культ некоего божества, напоминающий возрождавшееся гитлеровцами поклонение древнегерманскому богу Вотану. Саламандры — это фашизм. Источник опасности для человечества был обозначен Чапеком недвусмысленно и ясно. Но картина мира, нарисованная им, была бы недостаточно реалистична, если бы Чапек не изобразил, конечно резко сатирически, не только противостояние цивилизаций людей и саламандр, но и взаимодействие этих цивилизаций.

На первый план он, разумеется, выдвинул политические связи, которые в годы создания романа характеризовали взаимоотношение буржуазных демократий с третьим рейхом, несмотря на то что гитлеровцы не церемонились в обращении со своими партнерами и открыто готовились к войне за мировое господство. Примерно так ведут себя и великие державы в романе, стремясь приобре-

сти максимум влияния на саламандр, наживаясь на них, снабжая их всем необходимым, начиная от корма и кончая взрывчаткой.

Но саламандрам служат и многие дельцы, профессиональные политики, юристы и так далее, которым наплевать па будущее человечества, если сейчас их ждет профит. Нет заметной границы между массовой буржуазной культурой и тем, что с натяжкой можно назвать культурой саламандр. Как поветрие, возникает подражание животным повадкам саламандр в массовых зрелищах, моде, развлечениях зажиточных классов. Многочисленные ассоциации, лиги, начиная от миссионерских и кончая бойскаутскими организациями, пытаются установить контакты с саламандрами, создать некое равновесие между нечеловеческим и людским обществами и пылко обсуждают подобную возможность. Суть дискуссий вокруг так называемого «саламандрового вопроса» или, иными словами, об отношении к фашизму — этом коренном вопросе истории тех лет — Чапек раскрыл в двух трактатах, которые он включил в роман. Один из них, приписанный некоему философу Вольфу Мейнерту и озаглавленный «Закат человечества», пародировал и высмеивал расхожие профашистские философемы и в первую очередь книги Освальда Шпенглера «Закат Европы» и «Пруссачество и социализм». В своем сочинении Мейнерт, вполне в духе риторики, свойственной сочинениям реакционных авторов, патетически, в торжественно-трагических тонах предвещал близкую гибель человечества и восславлял стадное единство саламандр, основанное на однородности расы, не знающей классовых и прочих антагонизмов. Правда, подобного рода единство, превознесенное Мейнертом как идеал, возможно лишь при истреблении всех других рас и форм разумного живого на земле.

Пораженческим и профашистским утверждениям Мейнерта противостояло анонимное сочинение «ИКС предупреждает», в котором явственно слышался голос самого Чапека.

ИКС исходил из простой и ясной мысли — люди никогда не смогут договориться с саламандрами, поэтому они должны объединиться против них. Безумцы, перестаньте кормить саламандр, работать на них, поставлять им оружие! Но несмотря на самоочевидность и доступность для понимания призывов ИКСа, голос его канул в пустоту. Подобная оценка Чапеком результатов воззваний к чистому разуму говорила о реалистичности его мышления, о понимании недостаточности слова как единственного оружия борьбы.

Но при всем этом «Война с саламандрами», которую писатель называл зеркальным отражением сущего, не содержала ни образов активных борцов с саламандрами, то есть с фашизмом, ни

картин подобной борьбы. Объяснялось это давним недоверием Чапека к активному историческому действию, отдаленностью его общедемократического сознания от революционных сил эпохи. В годы создания романа он лелеял еще некоторую надежду на то, что рассудок, совесть, чувство самосохранения, может быть, подтолкнут демократические общественные силы на объединение против гасителей свободы. Но надежда его меркла, чему подтверждением стал образ пана Повондры — весьма многознаменательный и символичный для романа.

Пан Повондра — так называемый «маленький человек», швейцар Г. Х. Бонди — добровольный летописец саламандровой эпопеи, тоже причастен ко всем бедствиям, обрушившимся на человечество. Это он впустил капитана ван Тоха к Г. Х. Бонди, после чего все в мире и началось. Именно «маленький человек» своей пассивностью, склонностью к компромиссам, преклонению перед авторитарной властью немало содействовал тому, что угроза человечеству и свободе стала реальностью. На склоне лет, увидев саламандру, плывущую по его родной Влтаве, то есть, иными словами, появление фашизма у себя в Чехословакии, пан Повондра понял, что это — конец, и обессиленный поплелся домой умирать. Человек старого закала, еще не потерявший чувства ответственности, он драматично отреагировал на происшедшее. Молодая генерация смотрела на вещи иначе — более практично, что Чапек и показал в драме «Белая болезнь» (1937).

При большом динамизме и цельности сюжета, пьеса столь аде многопроблемна, как и история войны с саламандрами. Все главные действующие лица «Белой болезни» поставлены писателем в резко конфликтные отношения между собой и к тем громадным событиям, которые на них надвинулись. Конфликтность эта порождалась опасностью, угрожавшей всем людям старшего поколения эпидемией белой болезни — особого вида проказы, не щадящей свои жертвы, а также агрессивными националистическими намерениями Маршала — диктатора страны, где разыгрывалось действие пьесы. Иносказание Чапека не оставляло простора для неясностей: в пьесе шла речь об отношении людей к фашистской опасности, ибо и проказа, и воинственные планы, бредовые мечты Маршала о величии его нации, основанном на завоевании, крови других народов, порабощении соседних стран, — это явления принципиально сходного порядка. Будучи злом, втягивающим в сферу своего воздействия людей, их интересы, они подчиняют себе человеческие личности, уродуя их моральный состав.

Маршал выстроил иерархическую систему безжалостной государственности, громадную военную машину и промышленность

и привел все это в движение, подстегивая народ, которым он управляет, националистическими лозунгами, разжигая в нем звер-ские, низменные инстинкты, жажду насилия и жестокости. Маршал окружен людьми, которые, как, например, барон Крюг, фабрикант оружия, полностью связали с ним свою судьбу или прислуживают власти, нарушая правила не только профессиональной, но и человеческой этики, подобно профессору Сигелиусу, директору крупнейшей клиники. Все они, независимо от своего интеллекта, общественного положения, могут мыслить и мыслят лишь в границах авторитарных понятий.

Но и белая болезнь вызывает не только один ужас. Это было очень глубоким умозаключением Чапека. Она вполне устраивает молодежь, которая не подвержена заразе, да и люди среднего возраста тоже надеются устроить свои дела получше, когда повымрут конкуренты или те, кто еще занимает выгодные места. Тотальное зло — какую бы форму оно ни приобрело — извращает нравственный мир человека. Эта мысль была главенствующей для пьесы Чапека. Зло тем опаснее, чем обыденнее и привычнее оно становится. История не однажды подтверждала это. Рядом с заксенхаузенами и освенцимами жили люди, делавшие вид, что они не замечают ужаса, находившегося по соседству с ними. Но разве зло неостановимо и с ним нельзя бороться? Чапек так не думал: в предисловии к пьесе он писал: «В мире войн сам Мир должен быть суровым и беспощадным воителем».

Эта идея придавала его гуманизму е демократичности недостававшую им ранее определенность. Однако носитель идеи мира в пьесе — доктор Гален, открывший средство против белой болезни и стремящийся при посредстве своего открытия принудить Маршала и его пособников отказаться от агрессии, изменить политику, перевести ее на мирные рельсы, — выглядит чрезмерно наивным и оптимистичным в своих надеждах. В твердости и даже беспощадности ему отказать нельзя: он начисто отказывается лечить всех, кто помогает войне, предоставляя их собственной судьбе. Ни пытками, ни угрозой смерти у него нельзя вытащить тайну его средства лечения белой болезни — это понимают все, включая Маршала. Но возможно ли одному человеку, даже владеющему панацеей от бедствий, потрясающих общество, поставившего правителям бескомпромиссный ультиматум — или погибайте, или принимайте мои условия, — можно ли ему в одиночку усмирить стихию ненависти, тупого фанатизма, остервенелого национализма, возможно ли остановить пущенную в ход военную машину, отозвать назад самолеты и танки, сеющие смерть и разрушение в соседних странах?

Для демократической мысли тех лет вопросы эти были не праздными, ибо речь шла о поиске социальных сил, на которые должно опираться в идущей и развертывающейся антифашистской борьбе.

Как и все другие образы пьесы, образ доктора Галена строится на принципе реалистико-символического обобщения, когда художественный характер, сохраняя свою жизненную достоверность, обретает дополнительную наполненность, включает в себя некую идею, универсализированную, но исторически конкретную. Подобного рода принцип создания характера вообще свойствен реализму нашего века. Гален, несомненно, олицетворяет самые дорогие сердцу Чапека гуманистические традиции, противопоставленные разрушительным бесчеловечным тенденциям современной истории. Для художественной демократической и антифашистской литературы тех лет подобный образ был типичен: Сервантес у Бруно Франка, Генрих IV в дилогии Генриха Манна, Иосиф Флавий из романов Лиона Фейхтвангера — вот некоторые из них. В произведениях этих писателей одинокий носитель Разума вставал против общественного неразумия и одерживал над ним если не прямую, то, во всяком случае, моральную победу, что сообщало романам этих писателей дух исторического оптимизма.

У Чапека доктор Гален никакой победы не одерживает: его просто растаптывает озверелая, опьяненная воинственным ражем, одурманенная шовинизмом толпа, когда он, добившись от заболевшего белой болезнью Маршала согласия на мир, нес в своем докторском чемоданчике таинственное лекарство, дарующее спасение всем страждущим.

Финал пьесы выглядит крайне пессимистичным. И все же «Белая болезнь» была пьесой надежды. В ней Чапек прощался с самым заветным убеждением своей жизни — созерцательным гуманизмом. Пьеса стала суровым предупреждением и одновременно поиском подлинно действенных путей борьбы с реакцией, грозящей погубить человечество. Доктор Гален, несомненно, натура героическая, но его героизм одиночки не способен изменить зловещий ход событий: у Галена нет иной опоры, кроме как в собственной совести, но этого явно недостаточно, и он заведомо был обречен на неудачу.

Время одиночных действий одиноких носителей Разума кончилось, если оно когда-либо существовало. Вне подлинной опоры па реальные общественные силы, враждебные фашизму и авторитарной морали Маршала и его присных, конечная победа невозможна. «Белая болезнь» звала не к отчаянию, а к действию,

и в этом была ее горькая мудрость. Трезвый реализм Чапека выявил свои сильные стороны и в характеристике образа диктатора, этого духовно мертвого человека, весь внутренний мир которого сведен к убогим аксиомам национализма и агрессии, для которого важнее *казаться,* чем быть чем-то на самом деле. Поэтому он и создает миф о собственной персоне, лишенной, несмотря на помпезную декоративную мужественность и решительность, даже намека на подлинный героизм и по сути трусливой. Несмотря на все свои танки, войска, полицию, слепое поклонение толпы, Маршал может быть побежден, и эта мысль сообщала глубинный оптимизм внешне весьма пессимистичной пьесе Чапека. Ее пронизывала жажда подлинного действия, что толкало писателя на поиск в живой истории современности активной социальной силы, способной остановить фашизм.

Написанные почти одновременно и духовно связанные между собой произведения, завершающие творческий путь Чапека, — повесть «Первая спасательная» (1937) и одно из великих антифашистских произведений европейской литературы пьеса «Мать» (1938), — отчетливо показывали, где хотел обрести Чапек силу, способную сломать хребет фашизму и реакции. Произведения эти создавались в исключительно накаленной, взрывоопасной атмосфере кануна новой войны. Соседней с Чехословакией стране — Австрии грозило поглощение третьим рейхом; волна политических убийств прокатилась по Европе; геббельсовская пропаганда отравляла сознание множества людей; отгремели тяжкие бои с фашизмом в Испании, явив миру образцы непререкаемого мужества республиканцев; в самой Чехословакии открыто действовала гитлеровская пятая колонна — генлейновцы; доморощенные профашисты разъедали изнутри находившуюся при последнем издыхании масариковскую буржуазную демократию; самое существование Чехословакии становилось проблематичным, что вскоре и подтвердил мюнхенский сговор, отдавший страну во власть третьего рейха. И в этих условиях, требовавших от демократических и революционных сил собранности, твердости и воли, Чапек написал повесть о подвиге рабочих-шахтеров, добровольно вызвавшихся спасать из завала своих товарищей. Обращаясь к героической теме, Чапек искал примеры мужества не среди белозубых, улыбающихся, вооруженных кольтами «героев» мифологизирующей действительность буржуазной «массовой культуры» и не в истории масариковских легионеров, не только поднявших контрреволюционный мятеж в России, но и воевавших на стороне Антанты. Жизнь и труд рабочих — этого костяка народа — привлекли к себе творческое внимание писателя.

Он проявил большой художнический такт, изображая людей из Первой спасательной бригады через восприятие зеленого паренька Станды Пульпана, попавшего на шахту прямо из реального училища и не являющегося кадровым рабочим. Чапек сознавал, что ему трудно показать духовный мир шахтеров и жизнь рабочих изнутри, поскольку в повести своей он овладевал совершенно новым для себя материалом. Несколько восторженный взгляд Станды на старших товарищей понятен, так как он всячески хочет походить на них, работать так же умело, как они. Очень юношеская и очень человеческая жажда подвига находит утоление в самоотверженно раскованной работе спасателей в проклятом забое, где они чутко прислушиваются к слабому стуку товарищей, отрезанных от них обвалившейся породой. В образах рабочих, героях повести, Чапек подчеркивал чувство товарищества, коллективизма, которое, несмотря на различия характеров, судеб, господствует над тем, что может людей разъединить. Коллективизм рабочих — это не пассивное, стадное, а боевое, активное чувство, которое в критических ситуациях способно мобилизовать и сплотить народ на борьбу и сопротивление. Своей повестью Чапек доказал эту мысль, ставившуюся для его мировоззрения определяющей.

Рабочие в повести Чапека не лишены человеческих слабостей и недостатков: они обычные люди, трезво и практически смотрящие на жизнь, знающие цену заработанного хлеба, семейные неурядицы, но им свойственно спокойное мужество людей труда, каждодневно преодолевающих тяготы повседневности, для которых выполнение долга — естественная норма жизненного поведения. Когда возбужденный, обуреваемый героическими помыслами Станда спрашивает у своего товарища, что бы сделать особенное для спасения погибающих шахтеров, он получает резонный ответ: хорошо укладывать камни для опоры. И это был мудрый совет: в последующую пору Сопротивления от его участников потребовалось терпеливое, нередко очень прозаичное выполнение долга.

Рабочих из Первой спасательной Чапек изображает не в одном измерении, затрагивая и сферу их частной жизни: семейную драму Адама Иозефа, домовитость Мартинека, доходящую до педантичности, трудовую честность деда Суханека, тайную восторженную любовь Станды к жене инженера Хансена. Повесть содержит картины обыденных отношений людей, живущих в шахтерском поселке, и отношения эти, как всегда, бывают разными и включают в себя широкую гамму человеческих чувств, начиная от дружбы и кончая личной враждой. Но на этот раз Чапека при-

ковывало к себе не самодвижение живой жизни, а ее кульминация — момент подвига, деяния, объединившего очень разных людей: и рядовых шахтеров, и даже «пса» — десятника Андреса, хозяйского прихвостня.

Чапек стремился показать в своей повести, что в час тяжелых испытаний люди, стоящие на разных общественных уровнях и придерживающиеся неодинаковых воззрений, могут объединиться на широкой платформе активной защиты ценностей человеческой жизни и свободы. Знал ли Чапек, что шахтеры готовы бороться не только с надвигающейся на страну опасностью фашистской агрессии, но и с хозяевами шахт, с теми, кто наживается на их труде, короче — с чехословацкой буржуазией? Писатель, прекрасно разбиравшийся в социальных антагонизмах капиталистического общества, не стоял на позиции «национального примирения». Ни с чехословацкими националистами-аграриями, ни с профашистами, ни с будущими капитулянтами, представлявшими разные политические течения буржуазной Чехословакии, оп не искал примирения и не тешил себя иллюзиями на сей счет. Своей повестью он звал тех, кому подлинно дороги свобода и человечность, объединиться ради их защиты и сохранения, и потому отодвигал на задний план изображение межсоциальных отношений. В этом была и сила и слабость «Первой спасательной». Там, где Чапек опускал конфликтность, существующую между рабочими и администрацией шахты, утрачивалась и достоверность повествования, особенно в описании счастливого завершения судьбы Станды, обогретого хозяевами шахты. Но весь пафос повести, глубокое и искреннее уважение писателя к рабочим, определившее жизненность их характеров, подтверждали, что Чапек связывал свои надежды с той общественной силой, которая и могла возглавить борьбу с фашизмом, и довести ее до конца.

Новые качества, обретенные мировоззрением Чапека, предопределили и героику его пьесы «Мать» — произведения огромной художественной силы, являющего собой сгусток узловых конфликтов времени, смелого и оригинального по форме. На пьесе лежит грозный отблеск гражданской войны в Испании. Главную героиню пьесы — Мать — зовут Долорес, а город, который становится первой жертвой воздушного налета агрессоров, напавших на страну, где происходит действие пьесы, носит испанизированное имя Вильямедия. Остальные реалии пьесы имеют подчеркнуто чехословацкий характер, а в целом ее события символизируют ситуацию, которая сложилась в Западной Европе в годы развязывания германским и итальянским фашизмом второй мировой войны.

Реакционную, националистическую партию «порядка», которая внутри страны ведет борьбу со своим народом, Петр, участник рабочего движения, один из сыновей Матери, называет белыми. К националистам примкнул другой ее сын — Корнель. Сложная картина межсоциальных отношений, возникавшая в пьесе, отражала глубочайшие внутренние конфликты, раздиравшие изнутри масариковско-бенешевскую Чехословакию. Но создавая свою гражданственную пьесу, Чапек черпал мужество в героизме испанских республиканцев и других борцов против фашизма.

На сцену одновременно с живыми людьми Чапек выводил мертвых, которые не только участвовали в трагедии Матери, но и были сопричастны событиям самой жизни, ибо их прошлые дела предопределили во многом ту форму, в которую она отлилась ныне. И в этом заключена сердцевина художественного замысла писателя. Мать просто и естественно общается со своими погибшими и погибающими сыновьями, со своим мужем, сгинувшим в какой-то колониальной войне. В этом нет ничего странного и удивительного, ибо они вечно живы в любящем сердце Матери. Но каждое их появление — знак их гибели, вызывающий страшное потрясение в душе Матери, — нагнетает трагизм пьесы, сообщая ей высокий эмоциональный накал.

Но хотя мертвые одинаково любимы и дороги Матери, соприсутствуют и соучаствуют в ее великом подвиге самоотвержения, когда она, откликаясь на зов Родины, отправляет в бой последнего своего живого сына Тони, — они не равноправны в глазах писателя, что подтверждало существенные изменения его мировоззрения.

Внешне пьеса как бы восстанавливала давние мысли Чапека о субъективном самооправдании мотивов действий и поступков человека, поскольку каждый из близких Матери погибал во имя тех идей или представлений, которые казались ему правильными. Но в пьесе есть тонкая эмоциональная градация мотивов поступков персонажей, говорящая о том, что Чапек ясно различал истинные общественные ценности от ложных, гуманистические мотивы поступков от тех, которые с гуманизмом ничего общего не имеют. Поэтому в пьесе существуют два узловых конфликта. Один из них олицетворяет судьба Матери и Родины, другой — судьба Петра и Корнеля, вливающаяся в общий ход исторической драмы века. Отец, кадровый военный, погиб в бессмысленной стычке с туземцами, выполняя идиотский приказ начальства, ибо выполнение любого приказа считал своим солдатским долгом. Его сын Иржи разбивается при попытке поставить рекорд высоты полета, но он не очень задумывается над целью к

смыслом этого рекорда, который в равной мере мог служить и благу и разрушению. Для него важно достижение само по себе, а не его моральное обоснование. Благородна смерть Ондры — врача, отправившегося в гиблые места для борьбы с желтой лихорадкой и привившего себе эту смертельную болезнь. Несомненно, его решение высоко человечно.

При внешней объективности тона и характера изображения, для Чапека явно неприемлемы и внутренне враждебны и психология Корнеля, и мотивы его действий, — он защищает не только регресс, но и откровенное насилие: во время восстания он был против народа и морально ответствен за расстрел белыми брата Петра. Не случайно в пьесе остаются нераскрытыми обстоятельства его собственной гибели, происшедшей, видимо, в какой-то стычке с восставшими рабочими.

Все симпатии Чапека на стороне Матери и Петра. Оба эти образа концентрируют в себе идейное содержание пьесы. Для писателя Петр, сознательно вставший на сторону народа, несомненно, носитель активного гуманизма, помыслы его высоки, намерения чисты и благородны. Он погибает как герой, как подлинный борец за свободу, бесстрашно глядя в дула винтовок, нацеленных в его сердце. Он вызывает восторженное преклонение у самого младшего брата Тони — поэтической и искренней натуры.

Образ Петра не мог бы возникнуть таким, каким он существует, если бы Чапек не имел в виду перед собой тот жизненный материал, к которому он приобщился в «Первой спасательной», то есть мир рабочих. Но смысловая суть пьесы — образ Матери. То, что в пьесе она является единственным женским образом, дало повод критике рассматривать конфликт «Матери» как противоположение мужского активного начала — женскому, более мягкому и якобы лишенному героических устремлений. На деле Мать олицетворяет стихийную энергию самой жизни, ее созидающую силу, и образ ее героичен. Но героизм ее имеет не внешний, а глубоко органичный, стойкий и упорный характер. Дарительница и хранительница жизни, она выносит страшные удары судьбы, борясь за своих детей, их будущее, и не боится невзгод и тягостей существования, сопровождающих ее путь по терниям бытия. В ней есть мощь и непреклонность, негасимый оптимизм и стойкость. И когда она, в заключительной сцене пьесы, вручала величественным жестом своему последнему сыну винтовку, благословляя его на священную битву, это означало, что вера Чапека в стихийную энергию жизни обрела ясную социальную определенность, и он, долгое время сторонившийся идеи решительного воздействия на самодвижение исторического процесса, при-

знал неизбежность и необходимость борьбы, ибо без нее невозможна свобода. «Мать» достойно венчала творческий путь Чапека.

И после создания проникнутых духом борьбы, социально-активных произведений, в тягостной, предмюнхенской атмосфере, отравлявшей все живое в его стране, Чапек писал много и с громадным подъемом: публицистические статьи, политические апокрифы — памфлеты и наконец роман, оставшийся незавершенным из-за смерти писателя, — «Жизнь и творчество композитора Фолтына» (1938). Роман, весьма неожиданно разнящийся по своей тематике от созданного Чапеком перед этим, всем своим идейным содержанием отвечал, однако, духу и смыслу тех его произведений, которые разоблачали социальную опасность мифов, одурманивающих сознание людей и делающих его беззащитным перед разрушительными влияниями иллюзий и взглядов, размывавших преграды между истиной и ложью, что было присуще, в частности, и фашистской демагогии.

Для Чапека история Бэды Фолтына стала примером фабрикации и распространения мифа, ибо свою незначительную жизнь бесталанного музыкального дилетанта Бэда попытался претворить в легенду, создать вокруг своей персоны ореол гениальности, представить себя в глазах окружающих великим композитором, творящим нечто захватывающее, небывалое, открывающее новые пути в искусстве, а именно оперу «Юдифь».

Главное для Бэды и всех ему подобных, вокруг кого мифологизация создает атмосферу иллюзий, это не быть, а казаться, хотя Бэду, как, вероятно, и многих политиков, кинозвезд, фабрикантов бестселлеров и прочих знаменитостей, чей образ или, говоря языком современной социологии, «имедж» тщательно формируется коммерческой и политической рекламой, и посещало понимание собственной незначительности. Но оно быстро подавлялось, и не только потому, что маска, которую люди подобного рода носят всю жизнь, прирастает к их лицу, но и потому, что избранная жизненная роль отвечает наклонностям той или иной личности, чей «имедж» уже создан. Маршал в «Белой болезни» из человека Войны готов стать человеком Мира, лишь бы не потерять свой маршальский мундир. Бенито Муссолини разработал и внедрил сложный ритуал подачи собственной персоны массам с тем, чтобы создать у них впечатление величия их дуче. Многочисленные оберштурмбаннфюреры и так далее имитировали «волевую нордическую личность», так как этого требовали каноны фашистской идеологии.

Формы мифологизации и тем самым деформации общественного и личного сознания человека чрезвычайно разнообразны, и

на некоторые из них Чапек обратил внимание не только в истории Бэды Фолтына, но и в книге «Как это делается» (1938), юмор которой приправлен горечью и серьезностью. Раскрывая технологию делания газеты и кинофильма, он показал, как они, особенно кино, участвуют в деформации человеческого сознания, поскольку мифы, распространяемые буржуазным кино, ориентированы на низкопробные, стандартизированные вкусы и инстинкты. Так, кинопромышленности ничего не стоит превратить идиллический деревенский роман почтенной старой писательницы Покорной-Подгорной (имя, разумеется, вымышленное) в лихой кинобоевик из жизни миллионеров, а роман молодого писателя «Крупная ставка», посвященный драмам человеческого сердца, — в фильм о скачках и спекуляциях на тотализаторе.

Для Чапека в те годы, когда фашистская и профашистская пропаганда деформировала сознание людей, вопрос о механизме создания мифа имел первостепенное значение, ибо позволял понять сложнейшие процессы, шедшие в социальной психологии той эпохи.

Рассказывая историю возвышения и крушения Бэды Фолтына, писатель подчеркивал, что тот владел лишь одним искусством — приписывания себе достижений других людей, наделенных талантом или способностями, не гнушаясь, покупать или выманивать сочинения бедных молодых композиторов. Одновременно он умел придать мнимую значительность собственной личности, пряча бесталанность за тщательно продуманной манерой поведения, которая, по общепризнанным стандартам, должна быть присуща «артисту». Миф требует веры, и поэтому все, кто делится своими воспоминаниями о Бэде, (а роман построен как совокупность рассказов разных людей о Фолтыне, — прием, характерный для поэтики Чапека), — сообщают о нем не только дурное, то есть истинное, но и нечто хорошее, что является, по сути, ложным. Такова технология воздействия мифа: он трудно искореним, ибо зиждится на вере, как правило слепой. Но у Бэды было и необъятное себялюбие, доходившее до жестокости по отношению к другим людям, что также входит в систему мифологизма, исследовавшегося Чапеком в его романе, на первый взгляд посвященного описанию частной судьбы частного человека, а на деле — одной из самых жгучих сторон духовной жизни тех лет.

В финале незавершенного, последнего романа Чапека содержатся глубокие размышления писателя о роли и месте искусства в борьбе и движении идей своего времени. До известной степени предвосхищая проблематику «Доктора Фаустуса» Томаса Манна, романа о художнике, прозаклавшем душу дьяволу, то есть злу, с громадной тревогой говорит Чапек о проникновении в ис-

кусство того, что он называет сатанизмом: «...всякая чрезмерность, всякое буйство порождены его пагубным дыханием; любая мания величия, все показное раздувается его нечистой и судорожной гордыней». Со страстью и убежденностью доказывал он, что искусство не может стоять вне добра и зла и неизбежно принимает сторону того или другого. Истинное искусство любит мир, таинственность и величие бытия и стремится познать и воплотить богатство и красоту его форм. Это искусство братски обращено к людям и сражается за их свободу, благо, за человека.

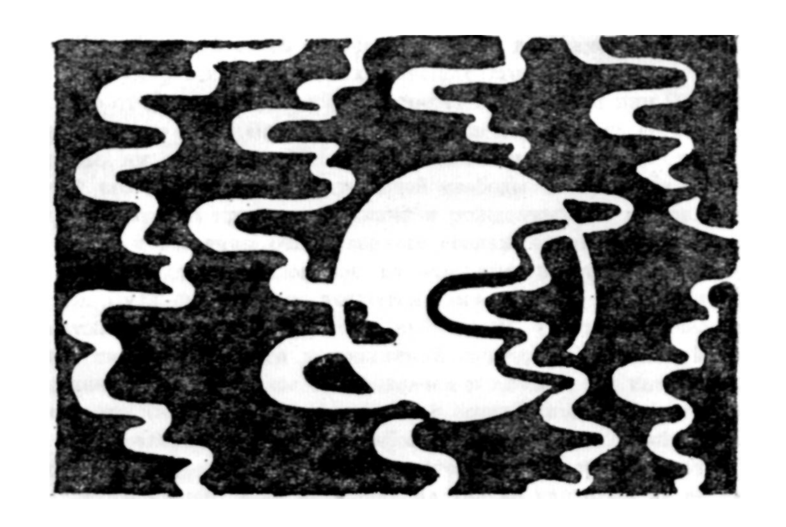
«И напротив, есть искусство нечистое и проклятое». Оно идет в услужение реакции и само суть ее порождение. С ним Чапек на протяжении всей своей творческой жизни вел неустанную борьбу.

Он умер вскоре после мюнхенского сговора, и смерть избавила его от тяжких мучений, ибо впереди его ждали или Освенцим, или, как его брата Иозефа, — концлагерь Берген-Бельзен. Ни гитлеровцы, ни чехословацкие националисты не могли простить Чапеку его постоянной защиты идей свободы и его жестокой, бескомпромиссной критики фашизма и рожденных им мифов.

Как и все виды общественного сознания, искусство движется в потоке истории, влекомое ее могучим, неостановимым течением. Пути, по которым движется сама история, сложны и извилисты. Но в нашем веке стало очевидным, что люди и человечество смогут пробиться к подлинной свободе и социальной справедливости. Чапек тоже был вовлечен в тяжкий ток исторических перемен. Его исполненное доверия к созидательным силам жизни, к «нравственному порядку», обогащенное опытом общественной борьбы творчество обрело действенность. В историю мировой литературы нашего века он вошел не только как один из ее классиков, но как писатель, соединивший свое искусство с освободительными устремлениями эпохи.

Б. Сучков

Ранние рассказы



Искушение брата Транквиллия

Брат Транквиллий бежал из монастыря и удалился в пустынь, ибо, будучи весьма благочестивым, не любил мирского духа, заразившего в те поры монастыри. В пустыни повел он такую святую и праведную жизнь, что вскоре издалека стали стекаться к нему люди послушать мудрое и убедительное слово. Поскольку же отшельников имели обыкновение смущать злые духи, дабы отвратить их от жизни богоугодной и добродетельной (чему есть несколько в высшей степени примечательных примеров), то и брата Транквиллия посещал некий ласковый и отчасти даже сентиментальный бес, который теплыми меланхолическими вечерами искушал святость пустынника, соблазняя его образами прелестных обнаженных дев весьма легкомысленного поведения; впрочем, всему этому святой противостоял с твердостью, достойной всяческого уважения. Зато днем бесу приходилось выслушивать набожные сентенции, чему он и подчинялся без видимого сопротивления. Так и жили они в полном мире и согласии.

* * *

Однажды нежился бес на теплом песке, элегически откинув свой нервный хвостик; настроенный в тот день крайне сентиментально (ибо была весна), он грыз кончики своих мягких горячих пальцев и задумчиво, влажным взором следил за жилистыми руками угодника, который проповедовал, яростно жестикулируя. В конце концов отшельник сбился с литургического стиля и, тоже как-то разнежившись, принялся слагать застенчиво-любовную песнь в честь и во славу святой девы, царицы чистоты, любви и прелести, небесной возлюбленной и супруги; то был гимн, полный страстной нежности, подобный тем, которые певал святой деве Сусо и святой Франциск Ассизский.

В то время как угодник трудился, стараясь излить свои чувства в прекрасных стихах и, зардевшись от нежности, шептал томные слова, бесу, видимо, пришло в голову нечто веселое, ибо его красивые губы дрогнула в улыбке.

На сей раз он слушал угодника с явным интересом.

* * *

На другой день бес нашел пустынника в состоянии экстатического блаженства; глубоко растроганный, захлебываясь от волнения, брат Транквиллий бормотал восторженные молитвы и с фанатическим видом воспевал Марию. Бес следил за ним весьма заинтересованно. Дело в том, что накануне вечером явилась пред отшельником дева — вся белая, такая прекрасная и белоснежная, какой он ее всегда себе представлял, — сказала несколько ободряющих слов и оставила ему в дар красивые старинные четки, искусно вырезанные из слоновой кости.

И костлявый подбородок Транквиллия дрожал от восторженных всхлипываний. Бес же слушал внимательно, ибо был хорошо воспитан и отличался самыми изысканными светскими манерами.

* * *

На следующий день брат Транквиллий, торжествующий и окрыленный, задыхался от радости, поскольку гостья приходила снова, беседовала с ним о добродетели целомудрия и, прощаясь, погладила его по тонзуре. Распалившись сладострастием, пустынник плакал и смеялся воркующим смехом; затем, утирая слезы и бессвязно лепеча что-то, он принялся убирать свою пещеру. Поскольку в счастье человек добр, то он погладил беса по курчавой голове; бесовское лицо приняло выражение серьезное и благосклонное.

* * *

Днем позже дьявол нашел пустынника в состоянии вдохновенного экстаза. Он почти оцепенел от блаженства и говорил путано и мало. Дева беседовала с ним до глубокой ночи, уходя, облобызала его, и осчастливленный угодник просто умирал от сладостной муки. Бес наблюдал за ним весь день с любопытством профессионального психолога.

На другое утро странное беспокойство обнаружил брат Транквиллий. Он исступленно потирал костлявые руки, дергал себя за бороду; то сладко улыбался, то впадал

в глубокую задумчивость. Он сделался еще молчаливее и явно избегал разговоров о небесной возлюбленной; не признался даже, что гостья простерла свою любезность до того, что села к нему на колени.

По мере приближения вечера беспокойство его возрастало, и наконец, схватив четки, он начал упорно молиться. Бес явно был удовлетворен и временами изменял даже своей обычной сдержанности.

Следующий день пустынник провел в состоянии крайнего возбуждения. Оп вообще перестал разговаривать и даже молиться, лишь временами чуть ли не с подозрением поглядывал на беса, чье лицо сохраняло чрезвычайно солидное и глубокомысленное выражение.

* * *

В последний день пустынник стал с опаской избегать беса, глядя на него с немым, скорбным укором. Вид у него был весьма жалкий и поникший, он неотступно твердил молитвы, поминутно вытирая слезы. В полдень оп с такой убедительностью проповедовал собравшимся богомольцам о добродетели целомудрия, что все юноши и девы окрестных мест решили уйти в монастырь, вследствие чего край совершенно обезлюдел. После проповеди бес, играя многозначительной и самодовольной улыбочкой, простился с братом Транквиллием и пошел прочь, хвостом своим, как тросточкой, сшибая головки цветов вдоль дороги. По-видимому, он держал путь к другому отшельнику.

* * *

Diabolus meditatur[1]. Бес удалялся, вполне удовлетворенный, так рассуждая с самим собою: «Глупец, кто боится дьявола, скрытого в грехах и провинностях; ибо дьявол — в экклезии[2], и я есмь экклезия, которая учит молиться: «A tentationibus Diaboli defende nos, Domini»[3]. Ибо я есмь тьма под светильником церкви».

Сказавши так, он усмехнулся и свернул к пустыни.

---

[1] Размышления дьявола (*лат.*).
[2] Ecclesia — церковь (*лат.*).
[3] От искушений дьявола защити нас, господи (*лат.*).

Возвращение прорицателя Гермотима

Прорицателя Гермотима постигла участь большинства пророков: он не был понят. Какими бы благозвучными и мудрыми словами ни излагал он согражданам свою смелую философскую концепцию, основанную на том, что все в мире — призрачно, слушатели расходились, добродушно посмеиваясь на манер абдерских свинопасов, и качали головами, как бы говоря, что прорицатель Гермотим совершенно лишился рассудка.

Не менее горьким разочарованием были вознаграждены и его честные усилия на ниве гражданской. Дело в том, что в той стране власть захватила олигархия во главе с одним разбогатевшим погонщиком скота, а это очень не нравилось такому серьезному человеку, как Гермотим; последствием было то, что все общественное мнение обратилось против него, и о нем тайно распространяли некрасивый анекдот, будто во время последней боевой тревоги он наелся чесноку, чтоб уклониться от участия в битве.

Дело дошло до того, что даже собственная жена Гермотима, по имени Поликедия, — женщина в общем неплохая, — и та однажды, во время бурной семейной ссоры, воскликнула в отчаянии: «О, лучше бы мне выйти замуж за торговца сицилийскими девками, чем за философа! Ибо эти люди ни на что не годны и только болтают без конца всякий вздор о человеческой душе и других ненужных вещах!»

С той поры печален стал прорицатель Гермотим, видя, что и впрямь он ни к чему не пригоден; однако судьба рассудила иначе.

* * *

С некоторых пор стало происходить следующее: тело Гермотима порой целый день оставалось оцепеневшим и безжизненным, в то время как душа, по благосклонному соизволению высших божеств, покидала его, чтобы отправиться к нивам, более пышным, нежели те, что покрывали благословенные долины Эллады. Соскучившись по бренной своей оболочке, душа возвращалась, и прорицатель

Гермотим беспрепятственно возобновлял своя обычные занятия.

И Гермотим привык к таким прогулкам своей души; благодаря им он обретал возможность общаться на берегах Стикса с душами умерших мудрецов и беседовать с ними о возвышенных и серьезных вещах, о призрачности мира и о скверности олигархической власти; равным образом вопрошал он души умерших о грядущем — например, покупать ли ему оливковую аллею у соседа Теофона, или действительно ли старый Калосфен — отец ребенка, рожденного женой этого старца.

Когда же, побуждаемый искренней своей преданностью интересам общества, изрекал Гермотим пророчества и потусторонние советы относительно того, как надлежит поступать его согражданам с их земными делами, — глупцы смеялись еще пуще и только плечами пожимали, твердя, что прорицатель Гермотим свихнулся.

Совершенно понятно, что Поликедия никак но одобряла подобных странных отлучек своего супруга, и это часто вызывало между ними недоразумения; однако теперь Гермотим уже не принимал к сердцу мелочную суету, чувствуя, что кратчайшим путем движется к бессмертию. Однако судьба рассудила иначе.

* * *

Раз как-то отправилась снова душа Гермотима на прогулку, а встретив на берегах Стикса душу прославленного логографа Агенора, задержалась там долее обычного.

Судьба историка Агенора была сходной с судьбою Гермотима: при жизни он не был понят. С тем вящим доверием объяснила ему Гермотимова душа свое учение о призрачности сущего и о бездарности олигархии. Агенор оказался одним из тех немногих, кто понял все значение мыслей Гермотима, подкрепленных примерами из истории, которая, как известно, есть учительница жизни. И так обе души духовным рукопожатием скрепили свое идейное братство.

Затем оба философа посетили острова Блаженных Теней, и Гермотим был представлен самому божественному Гесиоду, которому и прочитал блестящую диссертацию о призрачности земных явлений; Гесиод, со своей стороны,

был настолько любезен, что посвятил Гермотима в тайны всего сущего и показал ему астральное коловращение и происхождение вселенной, из чего неопровержимо явствовало, что все — одно лишь мечтание и призрачность, единственная же реальность — людская глупость, воображающая в ослеплении своем, что мир материален.

Далее Гермотим удостоился беседы со справедливыми судьями (Миносом, Эаком и Радамантом), которые со знаменитым своим беспристрастием назначают награды и кары в загробной жизни. Эти безупречные законодатели очень строго осудили несправедливую олигархию и объяснили Гермотиму, что единственно правильной политикой является правление жрецов, философов, пророков, ясновидящих и магов и вообще тех, кто посвящен в тайны и в сущность мира.

Потом душу Гермотима ввели еще в круг многих отличных усопших философов, и в таких-то возвышенных собеседованиях провела она там целых десять суток. Наконец она почувствовала настоятельное желание вернуться в телесную свою оболочку и, обдумывая по дороге великие планы, двинулась в обратный путь. Однако судьба рассудила иначе.

* * *

По дороге к родным пенатам Гермотим, в восхищении от того духовного богатства, которое он нес с собой, положил совершить следующее: прежде всего развить свою теорию, построив ее на основании фактов истории, астрального коловращения и происхождения вселенной, так, чтобы убедительность ее была признана всей неразумной Элладой, столь наивно верящей в реальность существования мира; во-вторых, решительно выступить против олигархии и установить правление жрецов, философов, пророков, ясновидящих и магов, а так как в небольшой его стране таковых насчитывалось крайне мало, то замыслил Гермотим отдать управление ею в руки свои собственные, затем в руки Косметора, старого жреца Аполлона, и в руки своего дяди, пробавляющегося заговариванием нарывов и оспы.

С такими-то светлыми мыслями спешила домой душа прорицателя, не ведая, что судьба рассудила иначе.

* * *

Ибо супруга его Поликедия, с самого начала весьма встревоженная длительным бесчувствием мужа, в конце концов уверилась в его необратимой кончине.

Горе свое она проявила крайне трогательным образом, ибо с громкими рыданиями рвала на себе волосы, посыпая злосчастную свою голову пеплом. Затем созвала она друзей и знакомых, дабы в их печальном кругу сжечь бездыханное тело супруга на пышном костре; пепел дорогого усопшего она собрала в красивую урну, поставила ее в степной нише и обильным пиром завершила погребальные торжества, чтобы все поминали добром прорицателя Гермотима.

А на другой день гульливая душа вернулась домой и первым долгом хватилась своей оболочки. Можно себе представить, каким неприятным сюрпризом было для нее найти не тело, но ни к чему не пригодный пепел! И заплакала душа над земными своими останками, запечалилась, что не дано ей теперь ни сделать последнего распоряжения, ни свергнуть олигархию, пи с новою убедительностью возвестить старую свою философию.

Ничего не оставалось душе Гермотима, кроме как навек удалиться в царство Аида, к логографу Агенору и божественному Гесиоду, к трем мудрым судьям по ту сторону Стикса; между тем любая, хоть какая ни на есть, нива в долинах Эллады манила несчастную душу куда сильнее, нежели все подземные луга со всеми мудрыми тенями.

Так случилось, что олигархия не была свергнута, а неразумная Эллада по-прежнему верила в реальное существование мира, поскольку судьба рассудила не иначе.

Аргентинское мясо

Правительство разрешило ввоз десяти тысяч тонн мяса из Аргентины; ибо по аргентинской пампе бродят неисчислимые тысячи тонн мороженого мяса — по прекрасной, бескрайней пампе, поросшей деревьями мобу и цветами опунции. Еще там растет репейник величиной с наши

клены, и какао, и томаты, и миндаль, и маниок, и пастухи вырастают там выше наших, все эти гаучо с бахромой на штанах, эти дикари, у которых один глаз выбит, а другой налит кровью; и обо всем этом шел диспут в стане аграрной партии.

— Друзья! — сказал пан Удржал. — У нас на родине Бергман оскорбляет наших жен (о, собрание в Лоунах) ; Аргентина собирается наводнить нас мороженым мясом; друзья мои, слушайте! Наша партия приходит в упадок!

«Чепуха, — подумало его превосходительство пан Прашек. — А я буду скупать пампу, пампу, пампу. Устрою там имение. Сколько может стоить пампа?»

«Там табак растет, — размечтался пан Зазворка. — Вот куплю пампу и стану поставлять в Австрию парламентские сигары. Аргентинские сигары придутся депутатам по вкусу. Возьму вот и открою в Вене табачную лавочку».

Меж тем пан Удржал продолжал:

— Друзья! Поймите же, что аргентинское мясо разорит нас, разорит нацию, все государство! А ведь все-таки мы — это государство...

В стане аграриев поднялось изрядное волнение. Положение и впрямь было серьезное.

— Да ну вас с вашим Бергманом, — возразил Удржалу пан Зазворка. — Все наши жены вместе взятые не весят десяти тысяч тонн! — (Протесты, крики «ого»!) — Предлагаю закрыть австрийские границы для экспорта в Аргентину! Пригрозим ей, что не позволим больше вывозить в Буэнос-Айрес австрийских девок. Повысим цены на кожи, масло и пшеницу. Будем протестовать во имя гигиены. Заразим холерой экипажи аргентинских судов...

«Чепуха», — позитивно думало меж тем его превосходительство пан Прашек.

Вообще в лагере аграриев — небывалое возбуждение.

Но вот все взоры обращаются к оратору, поднимающемуся на трибуну.

— Аграрии! — восклицает этот поборник конституции. — Взвесьте вот что: дело идет о нашем государстве. До сих пор мы кормили население Австрии доморощенным скотом. Господа, вы знаете нашу скотину: она солидна, флегматична и мирна. Можно сказать — она сотворена из материи, из которой создаются образцовые граждане. Мы знаем нашу скотину, мы сами ее выращивали и пестовали; нам известно, что она лояльна, терпе-

лива, послушна и кротка; тяжела на подъем, пассивна, благонадежна; она предана нашему делу. Наш скот — тих, консервативен и патриотичен. Вот каким мясом насыщали мы до сей поры жителей Австрии, вот каким мясом питалась кровь наших граждан, вот из чего вырастали их мышцы и восстанавливались мозги. Теперь же на рынок будут брошены миллионы килограммов аргентинского мяса, и примите во внимание: Аргентина -я республика; точнее, Аргентина — конфедерация четырнадцати республик и трех территорий; прошу принять это в расчет. Население там — дикое, республиканское, воинственное; оно любит государственные перевороты, петушиные бои и стрельбу из пистолетов; вдобавок они там бросают лассо и привыкли обходиться одним глазом, утратив второй во время драки в борделе. Далее: их скот свободно пасется в пампе; нет у него ни колокольчика па шее, ни кормушки; он полудик. Скотина бродит по бесконечной, ничем не огражденной пампе, дорожа волей, свободой, когда можно бегать без ограничений; у нее горячая, тропическая, бурная кровь. Да, их скот одержим мятежным духом; даже силой не заставишь его добровольно идти на убой; он анархичен, не укрощен, он полон бунтарских инстинктов.

Понимаете ли вы, аграрии?! И этим-то скотом предлагают ныне кормить жителей Австрии! Вот какое мясо должно претворяться в их мясо, в их кровь, в их мозг! Плоть наших граждан сделается горячее, их кровь быстрее побежит по жилам, их мозг станет более поворотливым; они полюбят пистолеты, свободу и демонстрации; они впитают в себя неограниченную вольность пампы и республиканские, пролетарские страсти аргентинских быков...

Аргентина отравит нашу кровь! Австрия превратится в конфедерацию четырнадцати республик — четырнадцати земель, представленных в имперском совете, — и трех территорий — национальных социалистов, социал-демократов и христианских социалистов. Люди почувствуют себя свободными и вольными, как стада, бродящие но пампе: они станут свободолюбивы и вспыльчивы. Погибнут тогда гражданские добродетели, покой, летаргия и послушание. Всей страной овладеет мятежный дух...

Пампа — общее достояние; право собственности исчезнет. Кроткий образ мыслей, любовь к своему хлеву, которые мы прививали нашим стадам, а через них и населению Австрии, исчезнут. Культура, цивилизация, гражданское право и охрана порядка — исчезнут.

Но все это произойдет отнюдь не путем эволюции! Знайте — настанет день, которого никто не ждет, и прольется в тот день больше крови, чем во всех законных войнах нашего государства. Вот что сулит нам аргентинское мясо.

Друзья мои, люди ныне набивают желудки картошкой и мукой; они одутловаты, ленивы, малоподвижны, неповоротливы. Поймите — мясо разбудит в них хищника! И на кого же восстанет сей хищник? На нас!

От удешевления продуктов питания возрастет капитал. Против кого обратится этот капитал? Против нас! У людей появятся деньги, чтобы приобретать оружие. Вот что сулит нам аргентинское мясо.

Неужели вы глухи? Повторяю: грядет нежданный день страшной гражданской войны. Клянусь — вы увидите картины, которые я не в силах изобразить, столь ужасны они и потрясающи. Будьте готовы, вооружайтесь! Придет день, когда оружие пригодится вам; и день этот будет последствием ввоза аргентинского мяса...

Тогда безмерный ужас объял аграриев. Меж тем государство слепо катилось к гибели: люди ели мясо из Аргентины, люди богатели, толстели и начали приобретать вкус к жизни. Но аграрии и крупные помещики, зная, к чему это ведет, ждали во всеоружии.

В сельских местностях сугубый страх внушало необычайное явление: люди достигали двухметрового роста, были одноглазы, буйны, веселы и вольнолюбивы. Тревога в сельских районах быстро росла, и столь же быстро росли и крепли горожане. Аграрии и родовое дворянство, косясь на города, шептались, что скоро настанет тот нежданный день.

А люди все росли, делались все независимее, и аграрии все больше пугались наступления нежданного дня, — и в конце концов этот день наступил.

Обезумев от непрестанного страха, аграрии ринулись на города. И начались новые гуситские войны, только куда более страшные. Длились они целых тридцать лет

(1918—1948), после чего в Австрии воцарилась тишина, какой еще не бывало, ибо убивать уже было некому и некого.

И все это явилось следствием ввоза мяса из Аргентины.

Американское сало

Нижеописанные события начались с краткой строчки в биржевых ведомостях: «Американское сало, бочка (75 кг) — 35 фр.».

Это было то самое сало, которое еще год назад рекламировалось во всех городах Европы огромными плакатами: молодая мать намазывает сало на хлеб для трех детишек; под ногами у трех детишек бегают три толстых поросенка, а ниже — надпись: «Американское сало — свиное, свежее, нежное. 1 фр. за килограмм».

Однако с той поры цена на него упала до упомянутых 35 фр. за бочку, каковым снижением воспользовался Ж. Вербан, оптовик из Брюсселя, заказав в январе через посредство агента в Сент-Луисе 1800 бочек американского сала; в том же январе фирма «Ж. Вербан и К^0» подала заявку бельгийскому правительству, обязуясь поставлять в армию свен;ее, гарантированно чистое свиное сало по 1,30 фр. за килограмм, то есть на 45 сантимов дешевле, чем поставлял ее предшественник. В апреле уже все 1800 бочек названного сала были уложены на складе фирмы «Ж. Вербан и К^0» в Медоне под Брюсселем, а три года спустя бельгийское правительство наконец приняло предложение мосье Вербана поставлять армии свежее свиное сало. И мосье Вербан начал поставлять.

Но незадолго до истечения упомянутых трех лет со склада «Ж. Вербан и К^0» пропало пять бочек сала. Воры спокойно подъехали средь бела дня с тележкой, попросили открыть склад, выкатили пять бочек и увезли их в направлении Брюсселя.

Как выяснилось много лет спустя, ворами были некий Монтаньеран, носивший также фамилию Лообе, и бывший писарь, который содержал любовницу по имени Люси Перинк (Perinque) — девицу польского происхождения.

Примерно через месяц после кражи сала в газетах появились объявления такого рода: «Я БЫЛА НЕСЧАСТНА, так как фигура моя лишена была украшения, делающего женщину предметом всеобщего восхищения и почета. Провидение привело меня к случайному открытию средства, по употреблении коего мой бюст увеличился на 15 см...» — и так далее. «Обращаться к мадам Люси Перинк, Брюссель», и так далее. Или еще такое объявление: «ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Дамы, употребляющие мое средство, прекращайте втирать его тотчас, как только Ваш бюст достигнет желаемых размеров, дабы вовремя остановить его рост. Мадам Перинк».

Средство это получило название «Бюстин Идеал».

Предприятие мадам Перинк, по-видимому, процветало; только уже четыре месяца спустя в Брюссельский суд начали поступать жалобы. Помимо анонимов (каковых было большинство) жалобу подали мосье Клод Перрье от имени своей любовницы Лиз, эстрадной актрисы; фрейлейн Густа Фридеманн из Магдебурга (Пруссия), учительница, 42 лет, затем девица Божена Конечная из Праги и ряд других лиц, как правило, представленных своими врачами. Дело в том, что «Бюстин Идеал» обладал существенным недостатком, а именно разъедал кожу до мяса и вызывал стойкое болезненное раздражение.

Тогда городские власти Брюсселя направили в ателье мадам Перинк медицинскую комиссию, каковая конфисковала 80 баночек мази (по 5 фр.), несколько лимонов и флаконов с дешевыми духами. Лавочку прикрыли. Мадам Перинк со своим писарем скрылась на другой же день, не дожидаясь ареста, но две бочки сала, спрятанные в другом месте, остались в собственности Монтаньерана, он же Лообе.

Медицинская комиссия распорядилась закопать 77 баночек мази, оставив для исследования только три. Обычный химический анализ показал, что это — «какой-то жир», в который подмешивали лимонный сок и немного безвредных духов. Так гласило заключение официального эксперта, но тайно опыты над этим средством продолжались в лаборатории брюссельской медицинской комиссии еще три месяца. Под конец они стали производиться даже по ночам, для чего введена была ночная смена химиков. Обо всех этих исследованиях хранилось глубокое молчание. По прошествии трех месяцев остатки жира разделили

на малые дозы и разослали по химическим и физическим лабораториям почти всех европейских университетов, нескольким выдающимся ученым и двум-трем английским фабрикам химических препаратов. После чего все стихло.

А потом в газетах появилась скромная реклама: «Белая вакса для обуви, смягчает кожу, баночка 50 сантимов. Монтаньеран, Брюссель» и т. д. Но через два месяца «Эко де Кордонье» («Эхо обувщика», газета профсоюза) опубликовала предостережение против «Белой ваксы Монтаньерана», которая «портит самую толстую кожу, прожигая дыры даже в прочнейшей юфти». После чего Монтаньеран исчез вместе со своей «Белой ваксой».

Примерно в то же время фирма «Ж. Вербан и К^0» преобразовалась в Анонимное акционерное о-во армейских поставок, которое возглавило несколько высокопоставленных, полуофициальных лиц. Помимо свежего свиного сала это Общество поставляло бельгийской армии другие продукты питания, американскую чечевицу, американскую искусственную капусту и пр. В ту пору скончался сам мосье Ж. Вербан, выдающаяся фигура коммерческого мира.

А Монтаньеран вынырнул в южной Франции, где стал продавать свое сало как крысиный яд. Но поскольку крысы этот яд не жрали, то торговля заглохла, и вскоре после этого Монтаньеран-Лосбе утопился; бесследно исчезло и его сало.

Тем временем почти во всех университетах не прекращалось исследование таинственного вещества, разосланного брюссельской медицинской комиссией. Опыты продолжались более полугода, и можно бы привести здесь все точные методы анализа, примененные в этих работах. К сожалению, мы вынуждены отметить два печальных последствия. Проф. Дворзак (Инсбрукский университет) был разорван на части при первом же опыте, когда он подверг «Бюстин Идеал» воздействию царской водки; ассистенту Майену (Дижон) выжгло глаза.

Но результаты были поразительными. Все университеты дружно подтверждали абсолютную невозможность разложить «Бюстин Идеал» даже с помощью всех известных современной науке способов, то есть огнем, электролизом, спектральным анализом, химическими реакциями и т. д.

Это означало, что «Бюстин Идеал» являет собой до сей поры неизвестный элемент. Величайшая заслуга в этом открытии принадлежит доценту из Гейдельберга Гуго Т. Г. Майеру, который пришел к этому заключению одновременно с учеными английского химического завода в Гулле. Несколько позднее к тому же выводу пришли профессоры и доценты прочих университетов. Возникла угроза спора по поводу названия нового элемента, ибо чуть ли не каждый из исследователей предлагал для этого свое имя. В итоге немецкая наука сохранила за элементом его первоначальное название — бюстин-идеал, в то время как французская и другие остановились на названии свантаррениа в честь знаменитого шведского ученого Сванте Аррениуса.

Главные свойства нового элемента оказались следующие: он не был радиоактивным, не был проводником, не пропускал х-лучи и имел весьма небольшой удельный вес; не соединялся ни с одним другим элементом, зато вступал в бурную реакцию с органическими веществами, разрушая их в большей или меньшей мере. Консистенции вязкой, почти салоподобной.

Исследования продолжались (причем выяснилось множество интересного), и даже медицинские факультеты затребовали для себя этот новый элемент. Д-р Дуайен (Париж) и Кох исследовали его воздействие на туберкулезную палочку — впрочем, без успеха. Ассистент д-ра Дуайена, молодой д-р Ж. Бернар, ставя опыты по излечению рака, сделал многообещающее открытие: возбудитель рака, не восприимчивый ни к каким токсинам, тотчас погибал в новом элементе. Практически раковые опухоли, смазанные свантарренином (или бюстин-идеалом) загнивали, образуя глубокие язвы, которые затем затягивались здоровой тканью. Это возвещало конец раковой болезни.

Открытие д-ра Бернара тотчас проверили на медицинских факультетах; в отчетах об этих опытах сообщалось о полном выздоровлении 98% больных. Но тут оказалось, что малые дозы, разосланные из Брюсселя, почти везде пришли к концу. Брюссельскую медицинскую комиссию засыпали просьбами о новых поставках; председатель вспомнил, что он велел закопать 77 баночек; бросились их откапывать, но не нашли ничего. Окрестные жители припомнили, что в то время там стоял цыганский та-

бор — верно, цыгане выкопали это снадобье и увезли с собой. Выследили табор; оказалось, что он, переправившись через Рейн, прокочевал через Германию, Баварию, Чехию в Венгрию и далее в Румынию. Установив местонахождение табора, к нему послали жандармов. Но цыгане обратились в бегство и, преследуемые жандармами, перешли границы России на побережье Черного моря; отсюда они кинулись на север, на Украину и в Белоруссию, скрываясь по лесам. Население тех мест, убежденное, что раз за цыганами гонятся жандармы, значит, они преступники, много раз нападало на табор и перебило добрую его половину; однако в этих боях было побито и много местных жителей. В конце концов цыгане обратились на запад, но на границе Австрии, у Подволочки, были остановлены жандармами; цыгане бросились бежать, жандармы открыли огонь, убили еще четырех мужчин, остальных задержали. «Остальных» оказалось всего трое: двое мужчин и маленькая девочка. Когда было установлено, что это и есть тот самый, столь усердно разыскиваемый табор, всех троих отправили в Брюссель. Там они сознались, что выкопали те 77 баночек и содержимое съели. Цыган подвергли медицинскому обследованию и констатировали, что они здоровы, что элемент бюстин-идеал не оказал на них вредного воздействия. Но тем самым лопнула надежда на получение новых запасов бюстин-идеала. Стали, конечно, разыскивать Люси Перинк, но безрезультатно.

Так прошло два года. Наконец в Париже обнаружили Люси Перинк вместе с ее писарем. Обоих арестовали и увезли в Брюссель. После долгих допросов они сознались, что сало для «Бюстин Идеала» они похитили со складов Ж. Вербана в Медоне, и показали под присягой, что ничего к нему не подмешивали, кроме лимонного сока и духов. Тогда сделали обыск на складе Анонимного акционерного о-ва армейских поставок — бывшем складе фирмы «Ж. Вербан и К^0». От сала не осталось и следа, ибо за четыре прошедших года все 1800 бочек были поставлены армии и съедены солдатами. Поиски по гарнизонам тоже не дали результатов: драгоценное сало исчезло. В торговых книгах покойного Ж. Вербана отыскали запись о закупке 1800 бочек американского сала через агента в Сент-Луисе. Однако всякий след этого агента давно простыл. Равным образом невозможно было установить, где это

сало производилось; вероятно, фирма давно обанкротилась, а владельцы и рабочие разбрелись по свету.

Подвергли химическому анализу американскую капусту, американскую чечевицу и прочее находящееся на складах Анонимного о-ва в Медоне, но никакого нового элемента в них не обнаружили.

Разумеется, после этого на рынке еще несколько раз появлялось сало с заманчивым эпитетом «американское»; но специальные исследования показали, что всякий раз то было чистое, порою даже свежее свиное сало, то есть всего-навсего ничего не стоящая подделка, мошенничество, американское жульничество.

Сад Краконоша

Автобиографическое предисловие

Занявшись сборниками «Сияющие глубины», «Распятие» и «Лелио», критики вспомнили и об этих прозаических мелочах, которые восемь — десять лет тому назад якобы *раздражали, приводили е ужас и утомляли* читателей разных газет. Они раздражали всем, вплоть до фамилии авторов, хотя она и не столь уж необычна. Толковали тогда, что писателей с такой фамилией вообще не существует, что это попросту блеф или удачный псевдоним, за которым скрывается один человек, некая гонимая миром личность, какой-то разорившийся банкир или, как говорится, человек с прошлым. Утверждали наконец, что все это мистификация, а сами рассказы — переводы произведений неизвестного французского писателя.

За время, прошедшее с тех пор, авторам удалось доказать, что они существуют. Легенда их молодости развеяна. Читатели, которых некогда интриговал легкомысленный банкир и странник, были разочарованы. Прогоревший финансист, по-видимому, милее их сердцу, чем два мальчика, которые пускали в мир мыльные пузыри своей радужной фантазии.

«Мы принимали ваши непристойности всерьез, — могли бы возразить нам некоторые читатели, — и поэтому искали подходящего автора; нам и в голову не приходило, что все это только безудержная и бесцельная игра. По какому нраву вы выказывали такую циничную опытность и дерзкую светскость? Откуда они у вас? И что вы, собственно, хотели этим сказать?»

Именно *к этим* читателям авторы обращаются снова и с радостью предлагают: «Примите и теперь наши непристойности всерьез. Мы никого не хотим мистифицировать; легенда о банкире фальшива с начала до конца. Мы можем предложить другую легенду о происхождении «Сада Краконоша». Она не столь увлекательна, как прежняя, но зато она наша собственная. Недавно один неусыпный критик написал где-то, что своими первыми сочинениями авторы мало поведали о себе. Так вот мы с радостью восполняем этот пробел. Ведь никогда не поздно достичь взаимопонимания.

Сад Краконоша в узком смысле слова — это тот край, та врезавшаяся в земную твердь долина реки Упы, по сторонам которой возвышаются величественные, сказочные, священные силуэты: Снежка, Козий хребет, Бренди, Жалтман, Гейшовина... Здесь вы встретите черные валуны, похожие на каменных идолов, а пермская глина красна тут почти как кровь. Весной со скал и из леса струится серебристая влага, журчат ручейки и низвергаются потоки. И наверное, нигде на свете не цветет столько диких анемонов, богородицыных слезок, вереска и чабреца, горького корня, толии и ятрышников, как здесь. Таинственно расцветает в Краконошах редкостный аконит и дикая лилия. Велика колдовская сила папоротников и диковинных хвощей. Там есть лес, в котором нашли клад арабских монет; туда вела Земская дорога; там наверху, дружище, есть замок с полузасыпанной подземной темницей, где содержали узников, осужденных на голодную смерть; здесь в скалах князь Бржетислав повелел искать золото, а там в травянистой ложбине провалился под землю целый храм. А разве не поразительна и не прекрасна пещера с нежными сталактитами, которую однажды нашел ты сам? А кристаллы и мерцающие прожилки колчедана? А отпечатки доисторических растений на плитках каменного угля? Разве не манил тебя мрак пропасти? И разве не отважился ты забраться в давно заброшенную штольню, из которой непрерывно просачивалась ржавая вода? Я предпочту умолчать о еще более удивительных и прямо-таки невероятных вещах, но ты-то ведь знаешь, что все это — правда.

Вон там — дом священника, где ты учился немецкому; но ты заглядывал и в родники, ловил саламандр и коротконожек, остерегался змей и отыскивал нарядную ящерицу, которую в народе называют девушкой-змеей. Наш священник давно уже почил в бозе, а ты живешь и вспоминаешь Сад Краконоша.

Там твоему зачарованному взору открылся рай света. Этим краем ты прошел спозаранку, не переставая удивляться, в сладкой истоме, растроганный, возбужденный всем тем неведомым, что мир открывает мальчишкам, потрясенным его таинственностью и красотой.

Промышленность. Но долина ощетинилась фабричными трубами и затянулась пеленой копоти и мглы. Фабрики шумно дышат паром и дымом. Грязь течет из них и плывет радужными масляными лохмотьями по горной реке, в которой перевелась рыба; хор визгливых и басовитых фабричных гудков встречает и провожает день. Нескончаемым потоком движутся синие блузы, пахнущие машиной: машинным маслом, джутом, крахмалом и текстильной пылью. И единственный человеческий запах — запах пота. Тогда тебе казалось, что все рабочие больны туберкулезом.

Ты сам — очарован и устрашен машинами. Что влекло тебя в цехи огромных и шумных фабрик, где ты дрожал от страха и любопытства, когда машина начинала сотрясаться и реветь, как связанный великан? Словно тысячи металлических москитов, пронзительно и тонко верещат веретена, оглушительно стучат ткацкие станки, свистят ремни, воет динамо, обжигает дыхание топки котла, сопит и чмокает паровая машина. Ужасен вид ощеренной пасти зубчатых передач, раздробивших уже столько человеческих пальцев. Самое сильное впечатление — маховик, огромное, блестящее, обагренное маслом колесо с шипами, которое вращается безостановочно и бесшумно. Детская мечта и апофеоз: взобраться по тонким железным ребрам на самый верх фабричной трубы.

Горе жизни. Прижавшись носом и губами к окопному стеклу, ты мог смотреть прямо в стеклянные двери трактира, расположенного напротив, а зрение у тебя было прекрасное. Если ты столько раз бегал босиком по черной пыли рабочих кварталов (у тебя прекрасное зрение и чуткий слух), то никто уж не сможет убедить тебя, что в мире мало горя, порока, грязи и ужасов. Их так много, что словами не передать.

И тут же рядом, столь же часто и воочию, ты видел миллионеров, спесь, силу и богатство.

Дом врача. Дома ты ежедневно видел раны, болезни и умирание; твоим первым жизненным впечатлением был танец смерти. Смерть стояла в углу приемной, задернутая занавесом. Посетители очень боялись ее, но ты,

изображая из себя героя, кощунственно подавал ей руку. Наверное, ни один мальчишка не видел такого множества раздавленных рук и ног, столько самоубийц, утопленников, ран, мучений и обнаженной, стонущей, хрипящей и кричащей, жгуче болезненной человеческой плоти. Прости, что я напоминаю об этом.

Сопровождая отца во время посещения больных и обследований трупов, ты исходил этот обширный край вдоль и поперек. Красивые дороги через холмы и леса вели к домам страданий; дома страданий оставались позади красивых дорог, Ты видел одновременно двоякий лик мира.

Экзотика. Говорят, что экзотика — не для чехов, что мы льнем к своей стране, как тесто к кадке. Конечно, это правда; но неужели вы, господа, никогда не зачитывались «Робинзоном Крузо», «Последним из могикан» и Жюлем Верном? И разве сам ты не жил в Чехии и не было у тебя приятелей, таких же, как и ты, из которых одни — и разве случайно? — подался к бродячим комедиантам, другой сгинул где-то в Америке, а третий затерялся в мире, став моряком? И ты был таким же, как они.

Книги. Признаться, первой книгой, которая захватила тебя, была не Библия и не героический эпос, а большое «Природоведение в картинках». Из этой книги ты почерпнул первые сведения о характерах мирных и грозных и научился подозревать коварство в каждом кусте, быть осторожным и бояться. Недавно А. Н. написал о тебе, что ты любишь змей, и ты был возмущен; ведь ты никогда не любил змей, они всегда вызывали у тебя брезгливое отвращение своей осклизлостью, спрятанным ядом и тем, что на солнцепеке они меняют кожу. Свою любовь ты отдал собаке, кошке, бабочкам, льву, слону и лирохвосту. Кроме того, ты читал все дозволенное и недозволенное, лежа на животе под кроватью или раскачиваясь на ветвях в кроне ясеня.

Стать рабочим. Мальчик, который хотел быть шарманщиком, пожарником, капитаном или путешественником, плохо учился, и все решили, что толку из него не выйдет.

Поэтому его отдали на фабрику. Он ковал железные скобы, делал подсчеты, монтировал машины, ткал бесконечные полотна для полотенец и скатертей и наконец над километрами солдатского тика, предназначенного для Китая, так затосковал по природе, что убежал с фабрики и стал художником, хотя и это пока что не принесло ему особого счастья.

Быть анархистом. Мальчику, который имел склонность к тихой жизни, страшно нравились ремесла. Но так как он был хорошим учеником, его отдали учиться дальше. Там он очень быстро влюбился, писал под партой стихи, воевал с учителями и законниками и, попав в весьма невинный кружок анархистов, вынужден был вскоре покинуть негостеприимную провинциальную гимназию. Убеждения его были расшатаны.

Любовь и пол. А теперь, молодой человек, как вы не краснейте и не возражайте, я должен спросить вас еще кое о чем. О сердце, вечно влюбленное! Вспомните с волнением и с любовью — да, с волнением и любовью — тех, кто был для вас образцом красоты и верности, коварства и печали. В годы неиспорченной юности вы писали о женщинах так жестоко и беззастенчиво! Постыдные свидетельства тому есть и в этой книжке, несмотря на тщательный отбор. Сердце, вечно влюбленное! Как вы могли тогда так писать?

Милостивый пан или пани! — не знаю, кто обращается ко мне с вопросом, — я охотнее повинился бы, чем оправдывался. Я не могу объяснить свое тогдашнее поведение ни неопытностью, ни жаждой мести, ни неутоленными желаниями; наоборот, я был тогда вполне счастлив. Но просто не хотелось так легко поддаваться. Вот, собственно, — и все.

Как вы это писали? Мы до сих пор не знаем, как писали братья Гонкуры, братья Рони или как работают либретисты. Мы занялись литературой очень рано, но зато в состоянии полного литературного невежества. Мы даже

не подозревали, что у нас на родине писать вдвоем — совершенно необычное дело. Мы приехали из провинции, где вместе росли; в Праге у нас не было даже друзей, и мы полностью были предоставлены самим себе. Мы писали сообща потому, что так нам казалось легче, и потому, что каждый из нас не доверял себе. Когда мы обязались раз в неделю поставлять в газету материал, то нашей заботой стало как можно быстрее и увереннее решать, что от нас хотят получить. Замысел чаще всего подсказывало чтение газет, события дня, текущий момент и погода, форму — неискушенность и молодость.

Авторы тогда даже не вполне осознавали, какими дикими и эксцентричными казались их вещи публике.

Литературные влияния. Если бы авторам пришлось откровенно перечислить, какие литературные влияния они испытывали, то обнаружилась бы их тогдашняя весьма убогая начитанность. Несомненно, они читали те книжки, которыми портила в те годы свой вкус вся молодежь. Их тоже коснулось очарование красивых глаз Мессалины Альфреда Ярри. Увлекали «Саломея» и «Дориан Грэй» О. Уайльда; их трогал также Стриндберг, Гамсун и Гарборг, а позже Стендаль. Они знали Эдгара По, Бодлера и Гюисманса — иными словами, то, что в переводах было тогда доступно каждому человеку, не владеющему иностранными языками. Но много им говорили в то время также Главачек, Нейман и Дык — да простят они, что мы упоминаем их в этой связи.

И Прага. Сама жизнь. Прежде чем молодые авторы опомнились от удивления перед размахом большого города, от упоения его чувственной роскошью, от первого восхищения его огромными (казалось бы) перспективами, которые его электрическое искусство набрасывало на чистый экран их сознания, — было уже поздно: эта книжка была написана. Так и осталась в ней лирическая очарованность и странный вкус, эксцентричная крикливость, контрастное освещение, увлечение вульгаризмами, радость новизны и наслаждения жизнью.

Дело критики выжечь на челе авторов клеймо литературных влияний, дело авторов — злиться, что тем самым у них умышленно выбивают почву из-под ног. Неоднократно случалось, что критика находила у нас «влия-

ния испанские, итальянские, французские, английские и американские» (к сожалению, почти всегда без более точного указания источников), так что мы выглядели самыми неоригинальными и самыми бедными авторами в Чехии. Однако на такую нечеловеческую скромность авторы не способны, а потому отправляют в свет и эти старые произведения как свидетельство о самих себе.

Астральное влияние Венеры в этой книге несомненно. Что касается литературных влияний, то авторы будут приятно польщены, если кто-нибудь из добрых побуждений отыщет интеллигентных и знаменитых крестных отцов для этих детищ литературного невежества, от которого авторы постепенно избавлялись.

Их дальнейшая жизнь уже не имеет особого отношения к этой книжке. Для них наступает пора новых событий, путей, занятий и интересов. Если путь их литературного развития показался некоторым критикам извилистым и нелогичным, то еще более извилист и нелогичен сам путь жизни. Думается только, что в ранней юности взору человека открывается слишком много и смотрит он смело, смотрит с удивлением и восторгом, и от этого все представляется ему несколько преувеличенным и искривленным. Лишь потом появляется внимание к вещам, наступает пора более пристального рассматривания и вслушивания. В ранней юности человек неясно чувствует многоликость и загадочность жизни и одолевает ео смелостью фантазии и желаний, обращенных в будущее; только позднее он научится наблюдать — наблюдать, даже если сердце дрожит и замирает от страха. Не ищите поэтому в нашей книжке того, чего в ней и быть но может. Это книжка ранней молодости, книга двадцатилетних.

Кто хочет избить собаку, тот всегда найдет палку. И, наоборот, кто хочет приласкать и погладить ее, у того всегда найдется приветливое слово. Так и с книгами... Вот вам на выбор несколько *палок:* книжка незрелая, фривольная, надуманная, рассудочная, не чешская, претенциозная, декадентская, парадоксальная, несерьезная,

неестественная, поверхностная, устаревшая; а вот для сочувствующих — несколько добрых слов: книжка незрелая, лирическая, дерзкая, наивная, молодая, грустная и дикая.

Система

Солнечным воскресным утром мы вступили в Сент-Огюстине на палубу пароходика «Генерал Годдл», который отправлялся в увеселительную морскую п р о г у л к у, — не подозревая, что очутимся в обществе индепендентов. Через полчаса после отплытия из Сент-Огюстина, когда этим набожным людям чем-то не понравилась наша общительность, они за какую-то непристойность вышвырнули нас в море. Мгновение спустя к нам слетел господин в белом костюме, а примерные христиане по доброте душевной скинули вниз три спасательных круга и, распевая религиозные гимны, удалились, предоставив нас воле волн.

— Хвала господу, спасательные пояса фирмы Слэнка — вещь надежная, — попытался было завести разговор господин в белом костюме после того, как мы втиснулись в резиновые круги.

— Это пустяки, г о с п о д а, — успокаивал нас новый п о п у т ч и к. — Надеюсь, часов через шесть, если не переменится юго-восточный ветер, мы выберемся на сушу.

После этой тирады он представился по всей форме: Джон Эндрю Рипратон, владелец плантаций и фабрик в Губерстоне. Владелец плантаций гостил у своей двоюродной сестры в Сент-Огюстине. На пароходе он запротестовал против нашего удаления и вскоре получил возможность короче познакомиться с нами — в условиях, правда, несколько необычных.

Мы обменивались любезностями, а безбрежное море гудело равнодушно и ритмично; ленивое течение относило нас к берегу, то поднимая на гребнях волн, то низвергая в глубины вод.

Меж тем мистер Джон Эндрю Рипратон развлекал нас рассказом о том, как он изучал в Европе экономику; в Лейпциге он слушал Бюхера; в Берлине — Листа и

Вагнера; штудировал Шеффле, Смита, Кери и Тейлора, покорно посещал все капища промышленности, пока эта богоугодная жизнь не была прервана странным и диким происшествием: взбунтовавшиеся рабочие убили его отца и мать.

Тут мы — люди праздные — в один голос воскликнули:

— Ах, рабочие, опять рабочие! Вы — социальная жертва, мистер Рипратон. Рабочий — производственный продукт девятнадцатого столетия. Что с ним делать после векового перепроизводства! Ведь теперь их миллионы, и каждый из них человек, каждый — проблема, загадка и постоянная опасность. Рука рабочего — это бутон, из которого грозит кулак. Нас, избранных, испокон веков — десяток тысяч; мы вырождаемся, а рабочих становится все больше и больше. Вас, мистер, они лишили родителей, а девятнадцатый век — традиций. И раз уж они посягнули на жизнь ваших родителей, то скоро дойдет черед и до нас: убьют вас, убьют нас, наших милых приятельниц за морем — эта опасность уже нависла над всеми нами.

— Осторожно, волна, — любезно предупредил мистер Эндрю Рипратон и самодовольно улыбнулся. — Pardon, господа, но меня они не тронут. Мои заводы, мой Губерстон — приют архиспокойствия. Я провел там культурные преобразования. Благородный цветок промышленности я привил к грубому стволу рабочей проблемы.

— А-а, — вскричали мы, колеблемые волнами, — так, значит, вы реформатор! Вы организуете воскресные школы, народные университеты, кружки домоводства, воюете с пьянством; учреждаете общества, оркестры, стипендии, дискуссионные клубы, проповедуете теософию, дилетантизм — словом, стремитесь облагородить рабочего, пробудить к новой жизни, дать ему образование, приручить и привить любовь к культуре. Но, уважаемый, позволив ему вкусить от плодов цивилизации, вы разбудите в нем зверя. В любом из нас дремлет сверхчеловек. И в один прекрасный день на земле некуда будет деться от вождей и проповедников; миллионы спасителей, интеллектуалов, идеологов, папы и просветители устремятся на нас с фабрик и заводов; и набег их будет сокрушителен. Все, что не спасется бегством, будет уничтожено. Мир, достигнув апогея, обратится в небесную пыль. Последнее сердце —

единственное твердое тело во вселенной — пролетит метеором.

Мистер Джон Эндрю Рипратон выслушал эту декламацию, достал из непромокаемой сигарницы сигару и, закурив ее, предложил нам:

— Не желаете ли, господа? Весьма приятно в столь влажной среде. Что же касается ваших взглядов, то лет двадцать назад я согласился бы с ними. Продолжайте!

Покуривая и ритмично покачиваясь на волнах, мы развивали свои идеи дальше.

— Но ведь можно себе представить идеального рабочего. Это — жаккар, маховое колесо, сельфактор, ротационная машина, это локомотив. Жаккар не желает ни судить, ни властвовать, не объединяется в союзы, не произносит речей; единственная его идея, но сильная, великая и руководящая идея, — нити, как можно больше нитей! Маховик ничего не требует, ничего, только бы ему позволяли вращаться; у него нет иной программы или иных желаний. Вращение — вот величайшая мировая цель, господин Рипратон. Вращение — это все.

— Превосходно, господа, — ликовал Джон Эндрю Рипратон, отталкивая от себя какое-то скользкое морское животное. — Если вы самостоятельно пришли к такому заключению, то наверняка сможете по достоинству оценить мою систему, мое решение рабочего вопроса, конструкцию типа Operarius utilis ripratoni.

Господа, термин «фабрикация» происходит от слова «febris», что означает «лихорадочная деятельность». Да, господа, крупная промышленность — это вам не какой-нибудь мелкий промысел, крупная промышленность — это лихорадка, порождаемая энтузиазмом, взлетом фантазии и честнейшими устремлениями. Уважаемые слушатели! Обработать пятьдесят тысяч мешков хлопка — дело нешуточное, а для того чтобы представить миллион таких мешков, нужна прямо-таки необузданная фантазия художника-энтузиаста. И этот миллион надо обработать! Надо обработать весь мир! Ибо мир — это сырье, не больше. Цель индустрии — обработать мир, господа! Небо, земля, человечество, время, пространство, бесконечность — это всего-навсего сырье для промышленности. Превратить мир в товары!

И мы беремся совершить это. Чтобы справиться с такой грандиозной задачей, необходимо ускорить все про-

цессы. Но дело тормозит проблема рабочей силы, рабочий вопрос. Поэтому мы объявляем войну социализму, туберкулезу, снижению рождаемости, воскресным школам, восьмичасовому рабочему дню и алкоголизму! Ничто не смеет мешать нашему движению вперед! Рабочий должен стать машиной, от него требуется только движение, ничего больше! Любая идея — грубейшее нарушение рабочей дисциплины! Господа! Система Тейлора — это систематизированное заблуждение, ибо эта теория прошла мимо вопроса о душе. Душа рабочего — это вам не механизм; ее необходимо устранить. И это удается в моей системе! Моя система предлагает кардинальное решение всех социальных проблем!

С самого начала своей деятельности я грезил о рабочем, который был бы лишь рабочей единицей — и только. Поэтому я брал к себе на службу людей по строгому отбору — тупиц, убогих, флегматиков, неграмотных, альбиносов, орангутангов, гидро-, макро- и микроцефалов, представителей неполноценных рас и так далее, то есть исключительно тех, кто, пройдя специальный экзамен у профессора Мюнстерберга, обнаруживал полное отсутствие мыслей, знаний, увлечений, кто не имел понятия о поэзии, астрономии, политике, социализме, истории, забастовках и организациях, чья жизнь состояла исключительно из наследственных пороков и благоприобретенных привычек. С помощью своих агентов я выискивал эти редкостные экземпляры по всему миру. Теперь мой Губерстон работает безотказно.

— Эге-ге, мистер Рипратон, осторожнее, как бы вас не задело вон то бревно! — воскликнули м ы . — Конечно, ваша система превосходна! Но вас не пугает, что ваш идеальный рабочий со временем выродится и деградирует? Скажем, разве вследствие неких пагубных влияний он не может испортиться и настолько опуститься, что примется изо всех сил искать применение своим душевным силам? Не считаете ли вы целесообразным раз в неделю проводить медицинские освидетельствования? Не наблюдаются ли у ваших рабочих случаи внезапного прозрения?

— Нет, никогда! — торжествовал мистер Рипратон, отталкивая от себя невесть откуда взявшуюся б а л к у . — Я, уважаемые господа, преобразил своего рабочего, стерилизовал и очистил; прежде всего я уничтожил в зародыше его альтруизм, всякие коллективистские, семейные,

поэтические, трансцендентные чувства; я отрегулировал его пищеварение и половые потребности, все отвлекающие факторы в его окружении, воздействовал на него архитектоническими, астральными, диетическими влияниями, температурой, климатом, четкой систематизацией жизни.

Произнося этот монолог, мистер Джон Эндрю Рипратон запутался в скользких водорослях, — выбраться из них он уже не смог; в то время как слабое течение медленно относило нас к берегу, его узкий спасательный круг все еще белел на горизонте. Торопясь изложить свой метод, мистер Рипратон все громче кричал нам вслед:

— Погодите, господа! У меня каждый рабочий располагает удобствами, он привык к ограничениям и регулярности. Каждый равен себе подобному, как элементы в электрической батарее. Я построил для них казармы. У каждого нечто вроде кельи или камеры, они как две капли воды похожи одна на другую; у моих рабочих одни и те же впечатления, они все делают в одно и то же время, у них одинаковые мечты; им нечего сказать друг другу, нет надобности попросить о какой-нибудь услуге или желания чем-либо поделиться. Секунду, господа! Я окружил их скукой, достатком, равнодушием, удобствами и чистотой. Эге, господа! Вы спросите, а как у вас обстоит дело с женщинами? Женщина? Женщина возбуждает эстетические, семейные, этические, общественные, романтические, поэтические и общекультурные чувства. Да, господа, и во мне тоже; я знаю это по собственному опыту. Женщина — ах, женщина! Женщина — враг любой системы! Женщина, господа... еще один момент, господа!.. Я позволяю рабочим пользоваться женщиной лишь изредка; мастерам — раз в три дня; металлистам — раз в неделю; рабочим прядильных цехов — раз в две недели; поденщикам на плантациях — раз в месяц, и все это лишь ночью, под покровом тьмы, чтобы они не видели женской красоты и не познали эстетического наслаждения, — алло, господа, вы меня еще слышите? — чтобы они не ощутили эстетического и нравственного воздействия или... вообще каких-либо высоких чувств и... господа... я говорю... женщина... умиротворение рабочих... мой метод... Прощайте, господа!

Мистер Джон Эндрю Рипратон вынужден был кричать все громче и громче. Наконец он совершенно скрылся

из виду, плененный водорослями, словно буй, и ветер, дувший в сторону суши, уже не доносил до нас его пронзительного голоса. Вскоре на океан как-то сразу опустилась тихая лунная ночь, а в полночь мы выбрались на берег неподалеку от Чарлстона, откуда послали лодку на розыски мистера Джона. Бедняга явно провел на воде не слишком приятную ночь.

Из Чарлстона, без каких-либо чрезвычайных происшествий, мы на извозчике добрались до Сент-Огюстина и на следующий день нанесли визит мистеру Рипратону и его кузине. Мы застали его в кресле-качалке с письмом в руках; на лице нашего приятеля застыло выражение глубочайшей скорби. Он поклоном ответил на наше приветствие и, не говоря ни слова, протянул письмо следующего содержания:

«Губерстон, 27 января.

Уважаемый сэр!

Письмо мое огорчит Вас. Разразилась катастрофа. Рабочие взбунтовались, подожгли фабрики, спасти ничего не удалось, Ваша супруга и трое детей убиты.

Все произошло неожиданно. У молодого рабочего Боба Гиббона (№ С 10707) случайно (эта случайность оказалась роковой!) забыли выключить свет в ту ночь, когда к нему привели женщину — к несчастью, редкой красоты. В Бобе, видимо, проснулось чувство прекрасного и понимание высокого предназначения человека, в нем возродились все светлые силы души, вследствие чего на следующий день, невзирая на замечания и побои надсмотрщиков, он принялся распевать песни, рисовал что-то, мечтательно улыбался, разговаривал сам с собой, делал значительное лицо и вообще всячески — причем самым гуманным образом — проявлял свои чувства.

По его наущению остальные рабочие запаслись на ночь свечами, и все пришли в неописуемое волнение. После этого их начали интересовать белые манишки, булавки, зеркала, открытки, стихи, музыкальные инструменты, картины и тому подобные предметы, возбуждающие любовные чувства. Они тут же организовали четыре певческих кружка, два общества декораторов, два клуба театралов-любителей и несколько спортивных команд. Администрация оказалась бессильной воспрепятствовать этому движению. Затем рабочим удалось проникнуть

в женские кварталы; разобрав женщин, они стали жить семьями. Назавтра они уже потребовали сокращения рабочего дня и повышения заработной платы, а в последующие дни объявили всеобщую забастовку и основали три профсоюза — металлистов, текстильщиков и батраков-поденщиков. 25 января были основаны три газеты и разбиты лавки и склады в центре города, 26 января свершилось убийство. Такие события имели место в последние дни, пока Вы благоволили пребывать вне стен отчего дома.

Попытайтесь найти утешение, дорогой сэр, если сможете.

Преданный Вам Фрэнсис Д. Мюлберри».

Мистер Джон Эндрю Рипратон отвернулся к окну, чтобы выплакаться всласть. А мы заметили про себя с глубоким вздохом: «Бедный Рипратон! Бедняга Гиббон, новый Адам! Какая опасность таится в вас, о наши милые заморские подруги! Да хранят небеса вашу молодость!»

Пшеница

«Пшеница поднимается в цене на 20%», — прочли мы в своей газете, и господин Гауденциус, агент господина Офена, появившийся в дверях, застал нас глубокомысленно изрекающими эту истину.

— Пшеница поднимается в цене на двадцать процентов, — произнесли мы и с беспокойством присовокупили: — Просвиры подорожают; наверное, и бедняки примут на свои плечи новое бремя забот, поскольку будут затронуты и их особые интересы. Вчера вечером, когда мы шли по предместью, один бедняк сказал нам: «Нам уже невыгодно быть бедными. Если цены не снизятся, мы просто будем лишены средств существования».

— Но боже, — возразил господин Гауденциус, — ведь цены всюду падают. Ожидается кризис. Акции и имущество падают в цене. Ажио снижается. Благодаря Дернбургу и немецким колониям дешевеют бриллианты. Все становится более доступным для бедняков.

— Верно, верно, — возликовали мы.

— И нравственность упала в цене, — продолжал господин Гауденциус — Профессор Антон Шёнбах в Граце констатирует, что девица, не потерявшая чести, нынче попросту неполноценна в общественном отношении. Нравственность сейчас настолько упала в цене, что стала доступна и самому бедному человеку.

— В самом деле, — радовались мы, — ценность человеческой жизни падает. Обесценена даже любовь. Лишь госпоже Офен ее последняя любовь обошлась слишком дорого.

— У госпожи Мэри Офен сегодня званый ужин, и она просит вас пожаловать, — торжественно произнес господин Гауденциус и раскланялся.

Был вечер, когда мы преодолели коридор дома Офена и вступили в салон, где нас приветливо встретила госпожа Офен.

— Meine Herren, — вцепился в нас господин Офен, хозяин, биржевик, спекулянт и торговец хлебом. — Wie schreibt man böhmisch pš enice или pš enice?[1] Позвольте пригласить вас на минутку в бюро. Будьте любезны посмотреть eine Handschrift, ob est gut böhmisch geschrieben ist[2]. Я хочу послать некоторые заметки в газету. Пожалуйте сюда, господа.

«Гана, спец. корр., — читали мы, исправляя текст. — В результате длительных морозов погибли озимые, особенно *пшеница.* Жители края на грани отчаяния. Мы апеллируем к депутатам и правительственным кругам. Львов, соб. корр.; Банат, спец. корр. (Loca nom abwechseln[3].)».

«Буэнос-Айрес. Телегр. сообщ. Неурожай вследствие засухи. *Посевы пшеницы выгорели.* Торговые круги встревожены».

«Из Венгерского сейма. Телегр. Депутат гр. Миклош Эрчи предложил выдать 800 тысяч в качестве субсидий Сатмарскому комитату, пострадавшему от катастрофического неурожая, особенно *пшеницы,* которая погибла под снегом».

---

[1] Дорогие господа... как пишется по-чешски: пшеница или пшеньица? (*нем.*)

[2] ...одну рукопись, хорошо ли она написана по-чешски (*нем.*).

[3] Названия городов заменить (*лат., нем.*).

«Лондонская биржа. Угрожающие сообщения из Сибири, Аргентины и Соединенных Штатов о нехватке *пшеницы.* Уныние в торговых кругах».

«Голод. «Новое время» сообщает о голоде в Казанской губернии в результате прошлогоднего неурожая *пшеницы.* Правительство принимает широкие меры, чтобы воспрепятствовать страшной беде».

«Венская биржа. Паника на хлебном рынке. Предполагается, что цена пшеницы повысится на 35%. Не исключено дальнейшее повышение цен».

— Wissen Sie, — доверительным тоном сказал затем господин Офен, — das sind unsere Stimmungslieder. Zuerst Abshlüsse, dann Musik [1]. Но все это еще пустяки. Нам нужна война. И она будет. Мы организуем ее. Inter arma — cresunt pretia [2], — шептал господин Офен про себя. — Я уже заключил сделки на тысячу вагонов пшеницы. А пшеница поднимется в цене на тридцать пять процентов. Три миллиона... пять... семь с половиной...

А пока господин Офен тихим, мечтательным голосом производил подсчеты, наше внимание привлекла старая гравюра (М. Бертелли) по известной картине Тициана, на которой юная Даная, откинувшись на спину, доверчиво принимает олимпийского сластолюбца, что снизошел на нее в подобии золотого дождя. И сказали мы себе, взирая на картину:

— Отныне Данаи на земле гораздо охотнее будут желать божественного любовника в виде пшеничного дождя.

— Пшеница дорожает на двадцать процентов, — мечтательно шептал господин Офен, забывшись в приливе чувств, — и дальнейшее повышение цен не исключено... О, боже милостивый, не исключено...

— Как это Соломон воспевал Суламифь? — мечтательно вспоминали мы. — «Твой пупок, словно чаша, увитая пшеничными колосьями...» О, Суламифь! Твои зубы как овны, идущие к водопою, твоя шея была башней из слоновой кости; твои груди были как два детеныша серны; но всего прекрасней, неизменно прекрасным был твой пупок, ибо пшеница поднимается в цене на двадцать процентов, и дальнейшее повышение цен не исключено.

[1] В данном случае: «Знаете, это для нас как песни. Сначала сделки, потом музыка» (*нем.*).

[2] Во время войны растут цены (*лат.*).

Аристократия

В комнате под самой крышей, где капеллан Хродеганг, которого раз в год, под рождество, умытого и приодетого выносили в господские покои и показывали гостям как крестного отца и воспитателя уже ставших достоянием истории и несуществующих дедов, коротал свои ревматические дни и служанки кормили его кашами и обкладывали горячими кирпичами и ватой, собралось небольшое общество, чтобы поздравить капеллана Хродеганга с днем рождения, сто двадцатым по счету.

Присутствовали здесь швейцар Лобелиус, с белой бородой и ликом красивого старого короля, камердинер Пайенс, камердинер Франсуа Сиксо, камердинер Альбине Солар — все в летах, с бритыми лицами, пепельными бакенбардами и давно застывшим выражением лиц; мистер Франц Смит, английский портной с тоскливым взглядом, Чантори — лакей с баками, главный повар пан Ижак, весь в белом; мужчины с пряжками на икрах, несколько старцев.

— Ваше преподобие, — вяло начал Сиксо, — мне выпала честь передать вам поздравление и наилучшие пожелания от имени всей прислуги и обитателей славного дома наших знатных господ.

Капеллан Хродеганг задрожал, глядя затянутыми пленкой глазами и пуская слюни дряблыми уголками рта.

— Досточтимый отец, — зашептал Альбине Солар, — только пятисот лет недостает тебе, чтобы ты был современником возникновения нашего знатного рода.

— Святой отец, — растроганно продолжал Сиксо, — мы жалеем, что уже нельзя видеть того, что видел ты, а теперь ты не видишь и не слышишь и видишь только то, чего уже нет. Благослови тебя бог.

— Мир изменился, — холодно сказал Пайенс. — Я стар и с неудовольствием гляжу на то, что происходит. Теперь мне уже четыреста лет, потому что я потомственный... Я был слугой еще во чреве матери и во плоти моего отца, и мои родители служили еще до того, как родились, и мои деды были зачаты отцами-слугами от матерей-служанок. Четыреста лет я был слугой в лице своих предков, а завтра уйду с господской службы, потому что не желаю видеть того, что вижу теперь.

— А что увидишь теперь? Все люди стали равны, — отозвался Альбине Солар. — Уже не считается недостойным не быть дворянином. Да, мир изменился, и быть дворянином считается уже недостаточно высокой честью, а грядут времена, когда будет честью не быть им. И я покину этот дом, ибо недостойно служить людям, которые больше уже не господа.

— Я не желаю видеть того, что творится нынче, — тихо повторил Пайенс. — Барон П. в Кладно стал национальным социалистом. Благородный рыцарь Т. работает на пивоваренном заводе. Князья становятся директорами винодельческих фирм. И татуировкой чаще всего украшают себя теперь преступники и дворяне. Графиня И. О. из Ш. устроилась кормилицей. О, боже, не обманывает ли меня зрение, не ослеп ли я от слез, что застилают мне глаза?

— Мы плачем, проходя по коридорам предков, — присовокупил Альбине Солар. — Уже ни в чем нет величия. Мои предки прикрепляли меч к поясу своего господина, я же надеваю ему бандаж на грыжу и сгораю со стыда. Но, слава богу, я уже ухожу из этого дома, потому что не пристало мне прислуживать рядовым гражданам. Я ухожу, потому что гнушаюсь.

— Какие были времена! — задумчиво и мечтательно проговорил Сиксо. — Вижу величественные кавалькады; и крепостной мужичок, гнущий спину на поле, выпрямляется, чтобы проводить взглядом золотую господскую карету. Ибо почитать можно только блеск и силу.

— О слабые вежды, о демократические зеницы! Вы уже ничем не насладитесь, потому что нет уже иного блеска, кроме блеска пота и машинного масла. Вы не увидите больше ничего, потому что ничто уже не ослепляет вас.

— Когда они возвращались из боевых походов, грудь у каждого пылала алым цветом, — мечтательно продолжал Сиксо. — Грудь благородного дуэлянта была багряной, как перчатка архиепископа. Их власть была пурпурной, как королевский плащ. А теперь не видать уже больше ничего красного.

— Ты не прав, Сиксо, — возразил Альбине Солар. — Разве не алеют знамена собраний и красные галстуки рачителей слов? Ты не прав, Сиксо. Сегодня людям не нужен другой пурпур.

— О, довольно, Сиксо, — запросил пощады Пайенс. — Мы глотаем слезы, поклоняясь портретам предков. И в то время как наши господа подражают тем, кого презирали наши предки, мы остались такими же, как те, что служили предкам наших господ. В то время как наших господ, променявших прошлое на новое и современное, забывают, мы сохранились, как традиция и нерастраченное наследство. Мы исторические люди. О, Сиксо, ведь и все возвышенное — это старое и давнее наследство. На наших ливреях сияет блеск золота и давних времен, и наши лица несут на себе печать столетий, они подобны гербам. Если бы наш предок повстречал сегодня нашего господина, он с презрением посмотрел бы на его слишком демократическое платье. Да, Сиксо, единственно мы сохранили дух и величие давних эпох. Мы — традиция. Мы — история. Мы — старина.

Капеллан Хродеганг захрипел.

— Мы последние аристократы, — закончил Чантори.

О разных средствах

Хоть я знаю массу книг и всяческих премудростей, но нигде ничего не читал о том, сколь различны могут быть средства для достижения цели. Но вот я однажды поднял с пола обычную банную губку и удивился, до чего она легкая. Это навело меня на мысль, а нельзя ли из губки делать пояса для плавания. Свое маленькое изобретение я претворил в жизнь и необыкновенно разбогател.

«Хм... — скажут мне. — Это называется слишком легко разбогатеть». Но у меня уже давно открылись глаза, и я давно знаю, что все в жизни достигается или слишком большими, или слишком малыми средствами.

Я вижу и знаю: существует только хаос, и его надо использовать. Если бы в мире царил закон и строгий порядок, причины и следствия двигались бы друг за другом, как солдаты в строю. Но разве вы не видите, что причины то и дело обгоняют следствия, разве не замечаете бездетных причин и не зачатых следствий, не замечаете танцующих причинно-следственных рядов а Царящего всюду беспорядка?

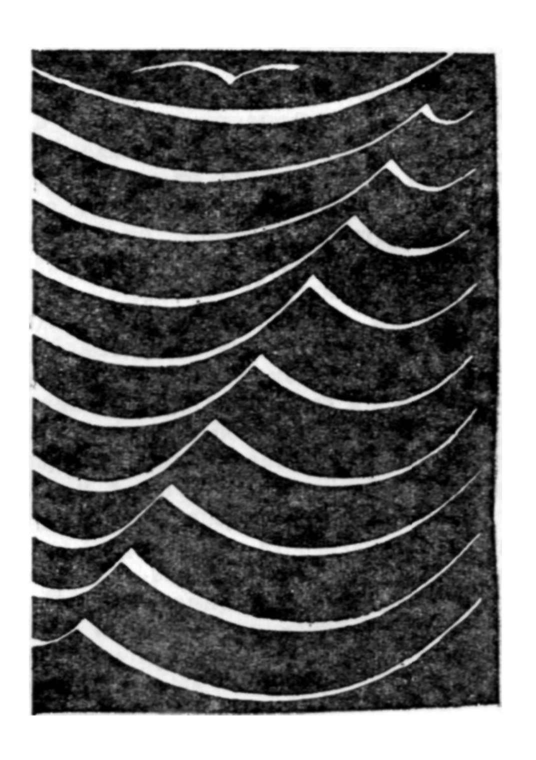
Вы поднимаете камень, чтобы бросить в огород соседа, и находите под ним клад. Обратите внимание, сколько дураков извлекает выгоду из людской хитрости, посмотрите, как умные изобретения превращаются в горы глупой продукции. Нужно уметь использовать хаос. Создавайте маленькие причины, и вы пожнете большие результаты. Результат — чудо, причина для него только повод л предлог. Нынче уже никто не может совладать с миром. В мире господствует закон диспропорции: от маленькой искры вспыхивает большой пожар, за грошовую милостыню грешник попадает в рай, а тяжелый труд дает мизерные доходы.

Подобно большим и малым средствам, существуют большие и малые неожиданности. Но и замыслы бывают большие и малые. *Мы всегда хотим не того, что следовало вы, делаем не то, что хотим, а из наших рук выходит не то, что мы делаем.*

Мы ходим по улице и спотыкаемся о средства, дробим их, сидим на средствах. Средств в мире гораздо больше, чем предметов. Мы живем на культурном слое из средств. Но это зыбкая почва. Все средства прогибаются, колеблются, как живые, меняют места, плодят новые средства, хотя мы и не заботимся о них. Все это великая тайна. Единственно, что мы знаем о средствах — это то, что они бывают большие и малые.

Слишком большие средства используются в любви, в политике и в погоне за деньгами. И слишком малые в этих случаях используются тоже. Чем более сильные средства мы употребляем, чтобы обольстить девушку, тем меньше она нам верит. Поэтому в любви надо делать глупости. Использование мелких средств называется инстинктом. Но если у вас инстинкт отсутствует, не верьте ничему и ждите чуда, вам в равной степени предназначено и малое и великое.

Такова правда о больших и малых средствах.



Красный рассказ

На банкете в фехтовальном клубе уже за полночь толстяк Бартш, стоя с бокалом в руке, произносил пятый и последний тост.

— За наших возлюбленных, — говорил он, понизив голос, — к которым сейчас нисходит сон, и они, раскинувшись на ложе, тихо стенают, волнуемые женскими грезами. — Черный и торжественный пан Бартш слагал галантные дифирамбы прекрасным дамам, которым мы служим, утонченным женщинам с модной прической и шлейфом.

В это мгновение страдания Рихарда стали невыносимыми, его красивые светлые глаза наполнились слезами. И прекрасный юноша положил ладонь на курящуюся сигару, чтобы физической болью превозмочь страдания души. Он сидел бледный и прямой, со снисходительной усмешкой принимая нежное внимание обеспокоенного Пилада, который в приливе сострадания гладил друга по плечу.

— Рихарду изменила возлюбленная, — шептались на другом конце стола.

— Что значит изменила, — тихо промолвил пан Костка, — просто женщина, которая раньше лгала ему, теперь лжет другому. Господа, посмотрите на его ослепительную манишку и поверьте мне, однажды утром на ней появится маленькая дырочка с красным ободком. Юный Рихард навеки прикрепит на левую сторону груди красную орденскую ленточку. Какая нелепость!

Рихард, чувствуя, что о нем говорят, облекся в доспехи благовоспитанности и встал, прощаясь с корректностью подлинного члена клуба.

— Господа, почему мы его не удержали! — воскликнул охваченный тревогой Пилад.

— Зачем? — возразил пан Костка меланхолически. — Ах, Пилад, в женщине, которую он любит, на самом деле нет ни ума, ни красоты. Болтает о музыке, которой не понимает, и о любви, которой не чувствует. Она слывет великосветской дамой только оттого, что принимает визитеров в пеньюаре. Хотя она считает себя несчастной

в супружестве и счастливой в греховной любви, на самом-то деле она просто жена нескольких мужчин, которая от скуки читает Мопассана. Скажите, Пилад, чем эта женщина завоевала любовь Рихарда? Скажите, почему мужчина любит одну женщину, хотя другие подобны ей во всем, кроме имени, которое любовник шепчет между поцелуями? Объясните мне, какими средствами женщина достигает того, что становится судьбой мужчины? Какая нелепость! Бартш, произнесите шестой и последний тост за юного Рихарда, который вчера угостил вас тремя уколами.

— Мне это непонятно, — задумчиво сказал Бартш, — я не болел ни тифом, ни великой любовью. Должен сознаться, что я всего-навсего грешный мужчина и в минуты раскаяния молюсь: «Боже милосердный, это дело твоих рук. Ты сотворил меня с головой, которой знакомо чувство стыда, и плотью, которая его не ведает, и если нельзя взнуздать плоть уздой этики, которая управляет головой, то так устроил ты сам. К тому же у меня есть сердце, это средоточие чувств, и адамов бок, который требует, чтобы ему возвратили вынутую из него женщину; в самом деле, раз уж Ева была вынута из левого бока своего мужа, наше стремление к прелюбодеянию исконно. Потом я хорошо перевариваю хорошие обеды и ношу большой кошелек для мелких расходов — дневных и ночных. Вот вам четыре столпа, на которых зиждутся мои Венеры, а раз они четвероногие — значит, фундамент надежный. Прозит, Пилад, мне не верится, что Рихард убьет свою плоть выстрелом в сердце.

— Он это сделает, — упавшим голосом прошептал Пилад.

— Он это сделает, — сокрушенно подтвердил пан Костка. — Каждая эпоха рождала прекрасных людей, предназначение которых поднимать человеческие страдания до высоты и пафоса героической трагедии. Их страдания воплощаются в поступки, которым мы готовы аплодировать, покоренные трагической игрой, а самих нас грызут отнюдь не великие муки, именуемые любовью, изменой или как-нибудь еще, ведь их множество — названных и безымянных.

Пан Костка задумался.

— Бартш, — продолжал он, — вам не случалось покидать возлюбленную, кусая губы от непонятной боли, которую причиняет мысль, что вы ее любите?

— К стыду своему, — отвечал Бартш тихо, — губы-то я кусал, но возлюбленной не покидал; впрочем, вы правы.

— Бартш, — заговорил снова пан Костка, глядя на толстую, похожую на лик Будды, физиономию своего приятеля, — мужчина говорит девке: ты мне мила, потому что я тебя не люблю. Не правда ли?

— Да, так бывало, — ответил Бартш, — но не со мной, а с нашим другом Горобцем. Ах, мой милый, что вы хотите? — Девка — защита от возлюбленной, средство изгонять *женщину* женщиной. Пр*о*зит, Костка. Любовь — это мучение, роман без любви — тоже мучение. У каждого своя беда, — и Бартш склонился над рюмкой.

И все мужчины на том конце стола приумолкли, посмотрели друг на друга — они знали, что у каждого своя боль: у пана Костки — жена, которую он оставил, а у доктора Вандерера — молодая жена, которая оставила его, у Бартша — неразделенная любовь к замужней женщине, а у пана Крамера — печаль по жене, которая умерла родами.

Тут поднял голову кавалер Нери — маститый учитель фехтования, красивый старец с розовым лицом и седыми кудрями, и, чтобы рассеять мрачное молчание, начал рассказ:

— Господа, что это значит? Вы допустили к нашему столу печаль и заставили меня вспомнить о жене, которая умерла на пятый день после свадьбы! Сорок лет тому назад. Тогда же скончался и мой отец — карбонарий. Это от него я слышал историю о Принципе Бондини и пастухе Лионетти, которые рассказывал вам, а сейчас я мог бы рассказать историю Никколо Беккари, или про невесту Лисиппу, или о любовниках у Святого Павла и множество других, и все они разные, но говорят об одном: люди в те времена были сильнее, а судьбы их— более значительны и трудны, нежели ваши.

Простите меня, я уже так стар, что все минувшее представляется мне прекрасным. Я отвык нормально видеть, от старости мне все представляется в странной, перевернутой перспективе: чем отдаленнее предмет, тем он кажется мне большим. И мужчины, мне думается, раньше были крупнее, и поступки их были ярче, и сам я двигался быстрее и был выше ростом, а ныне я состарился

и ссохся, как Титон, превращенный в цикаду, и теперь мне хорошо быть цикадой и вспоминать о Титоне.

Но еще приятнее мне повторять истории, которые рассказал старик отец, вспоминая о временах, когда он был карбонарием из группы Петруччо в Беллуно на Пьяве.

В группу входили нотариус Ролли, и молодой Паоло Парута, и Беккари, Никколо Беккари, оба — друзья моего отца; потом Фанфани, которого застрелили австрийские стражники; Кресчимбени, де Санктис и патер Эмилиани Джудичи, этих троих потом заключили в тюрьму в Пресбурге; потом француз Базанкур, поверенный Мадзини, убитый на улице. Сам Петруччо был посажен в тюрьму, но бежал за границу. И мой отец, кавалер Джузеппе Нери, бежал в Берн и открыл там школу фехтования. Паоло Парута был убит на поединке своим другом Никколо Беккари, который умер после этого через несколько месяцев. Такова судьба группы Петруччо.

Так вот, у этого Никколо Беккари была невеста по имени Джанина, которая воспитывалась после смерти родителей в монастыре кларисток.

Она была удивительно красива, а поскольку во время молитвы к ней часто нисходил небесный жених, сладчайший Иисус, чьи раны благоухают амброй и раскрываются навстречу поцелуям, как губы возлюбленного, в монастыре надеялись, что она пострижется и станет служить своему Христу и бедным людям к вящей чести и славе монастыря среди других венецианских монастырей.

Однако Козимо, брату Джанины, больше хотелось, чтобы сестра рожала сыновей, и после успения богородицы он с помощью своего друга Никколо увез Джанину из монастыря. Вот тогда-то молодой Беккари и полюбил Джанину. И бывшая воспитанница монастыря кларисток, подчиняясь авторитету брата, была помолвлена с Никколо.

Я не знаю, как любят мужчины сейчас, мне не очень-то понятны страсти молодых людей другой страны и другого поколения. Мне кажется, что в вашей любви вместе с чистым, ангельским настроем чувств диссонансом звучит какой-то странный, словно бы враждебный тон. И в душе у вас есть уголки, куда женщине не проникнуть, потому что ваши души глубоки, более глубоки, чем были в старину, в них уживаются и любовь и ненависть. Поэтому вы и не сможете до конца понять любовь тех времен, чувство, в котором были только страсть и благоговение,

великая страсть и великое благоговение, — ведь это была любовь сильных людей, которые склонялись перед женщиной и грудью встречали мужчин, умели заботиться, чтобы кинжал, который они вонзали в сердце соперника, не царапнул и кончика пальца возлюбленной, — так в те времена относились к женщине. Так любил и Беккари. Но Джанина не понимала этой любви, потому что Иисус коснулся ее сердца, наполнил его благоуханием своих ран и умертвил ее чувственность; она словно и не была женщиной, в ее женском теле как будто и не было беспокойства, страха и любопытства девственницы, грусти, и желания, и всех тех маленьких слабостей, которые бросают девушку в объятия мужчины, учат искать и становиться предметом исканий. Никколо был красивый, сильный мужчина и не умел сдерживать свои порывы; настоящий мужчина и настоящий любовник, он не считал женщину призраком, а любовь райским целомудрием, однако, глядя в ангельские очи Джанины, он терялся, довольствуясь тем, что был рядом с ней, и затихал, погруженный в ее молчание, потому что не находил слов, понятных ей. Джанина была ему за это благодарна, она частенько брала его за руку и говорила, что любит его.

Такой была любовь Беккари до появления Паоло.

Этот Паоло Парута был из деревни Бови, откуда ему пришлось бежать, спасаясь от папских солдат, над которыми он потешался в таверне; в Беллуно его принял в свой дом Козимо, там он подружился с Петруччо, Беккари и моим отцом. Ему нравилось приводить в ужас Беллуно своими дикими выходками: он совращал девиц, буянил в корчмах, пил, пускал в дело нож, пугал прохожих, расхаживая с окровавленным кинжалом в зубах, похожий на сумасшедшего или на дьявола; а то вдруг молчал по нескольку дней, избегая Джанины, целыми часами лежал, грызя платок, которым закрывал себе лицо. Такой он был чудной. Тут как раз Козимо забрали в солдаты, и он, поручив дом и сестру Никколо, отправился в Верону, а Паоло переселился в долину, к моему отцу.

Как-то вечером Никколо сидел в беседке в саду Козимо, ожидая, когда Джанина пойдет молиться деве Марии. Джанина уже подходила, как вдруг он увидел, что Паоло перескочил через ограду и, упав на колени, преградил Джанине путь.

— Джанина, — заговорил он быстро, — слышишь, я люблю тебя. Ох, Джанина, знаешь ли ты, что такое любовь? Любовь сильна, как архангел, и сладостна, как ветерок, она сильнее меня и прекраснее, чем ты. Я схвачу тебя в объятия и понесу, чтобы ты видела, какой я сильный. Понесу на руках до самой Бови и буду останавливаться только, чтобы целовать. Коснись меня пальцем, Джанина, посмотри, как я горю. Я горю с той минуты, когда полюбил.

— Молчи, Паоло, — взмолилась Джанина со слезами.

Тут Паоло громко вскрикнул и, как был на коленях, схватил Джанину и стал целовать ее девственное тело.

— Никколо, — закричала Джанина, плача.

— Пусти ее, — крикнул Никколо и кинулся на Паоло с ножом.

— Брат, я безоружен, — сказал Паоло, вставая. И Беккари стал бить ножом ограду, пока не сломал его, а потом сказал Паоло: — Пошли ко мне Нери. — То есть моего отца.

Кавалер Нери на минуту остановился и продолжал:

— Вот она, любовь. Недавно я прочел в ученой книге, что любовь это только средство продолжения жизни. Но я слишком часто видел, что любови сопутствует смерть, и знаю, что женщины, охваченные страстью, говорят возлюбленному — убей меня! И я думаю иногда, что любовь — творение жизни и смерти, она соткана из счастья и боли, и потому ее наслаждения так двойственны.

На следующее утро Паоло, Никколо и мой отец сошлись на лугу на Пьяве, одетые в красное и черное, потому что в Беллуно был один портной, который всех мужчин одевал одинаково; все трое в черных карнавальных масках, чтобы их не узнали какие-нибудь ненадежные люди.

Начали поединок.

Сначала бились по правилам, потому что оба были хорошими фехтовальщиками и были сильнее нынешних людей. В те времена еще знали прекрасные старые приемы, удобные для маневра, вроде двенадцатого нижнего, старой Сициллы или восьмого обратного парада и другие, сейчас давно забытые. Так было поначалу, потом они разгорячились, забыли о приемах и принялись кружить по кругу, как разъяренные олени. Вдруг одна из рапир сломалась, а другая отлетела в сторону, оба кинулись

к ней, но мой отец, рассердясь на это, схватил ее и переломил.

— Сабли, — потребовал один из двух (отец не разобрал кто). Отец колебался, и только когда оба поклялись ему, что не прикоснутся друг к другу, пока он не вернется, побежал домой за саблями. Тогда сабли были более изогнутые, их называли «чимитары».

Вернувшись, отец нашел противников сидящими друг против друга на камнях, оба были в масках, грудь у одного была окровавлена. И вот они сошлись снова. Вы сами знаете — шпаги звенят, поединок на шпагах — перезвон колокольчиков, который кончается колотой раной шпаги — галантная кадриль с прекрасными ассо и приемами.

Две недели тому назад меня пригласили быть секундантом в поединке на тяжелых драгунских саблях; я стар, мне теперь становится не по себе, когда я вижу длинные рубленые раны, мне неприятно слышать короткий стук сабель. Мне кажется теперь, что бой на саблях более опасен, чем это требуется для поединка. Я прекрасно знаю, что сабли — наиболее честная форма решения спора, но я состарился, и мне страшно видеть проткнутое горло, как это случилось две недели назад. Я считаю, что поединок — не столько проявление гнева, сколько обряд примирения, и смерть — не обязательный финал дуэли. Простите меня, если вам не по душе речь бессильного старца.

Началась вторая половина жестокого боя, как вдруг послышался крик — Джанина стояла на краю поля; услышав звон сабель, она выбежала из купальни на Пьяве и с диким ужасом смотрела на мужчин в черных масках. Что тут началось! Мужчины оглянулись, и оба из-под черных масок увидели Джанину — прекрасную награду победителя. Оба с криком подняли сабли и принялись бешено сечь по головам, плечам, по воздуху, клинок в клинок, разбрызгивая кровь, крутясь, как волчки. Отец с воплем ужаса поднял руки и кинулся между ними, но тут же отскочил с рассеченной ладонью и плечом, а оба безумца погнали его через луг, размахивая саблями. Потом снова завели свой танец, кружась по всему полю, ослепленные собственной кровью. Так гонялись по лугу две маски, а Джанина шла по пятам за этой чудовищной парой, вглядываясь в лица бойцов, чтобы понять, кто

скрыт под черными масками; обезумевшая и страшная, она, казалось, сошла с ума. Соперники, ослепленные кровью, заливавшей им глаза, рубили друг друга, то сталкиваясь, то теряя один другого; вдруг они оказались совсем рядом, кто-то из них, взмахнув чимитарой, нанес удар по голове противника и рассек ее. Мой отец, содрогнувшись, опустился на землю возле умирающего и снял с него маску.

— Паоло, — сказал он тихо, отирая с лица погибшего кровь и мозг.

— Паоло, — ликующе вскричала Джанина, закружилась и упала на землю.

Не снимая с лица иссеченной, пропитанной кровью маски, Никколо, тяжело дыша, опустился на камень, обессиленный битвой и потерей крови. Тут Джанина обняла обнаженными руками его трясущиеся ноги и зашептала:

— Паоло, я не боялась, я знала, что ты его убьешь. Паоло, ты сильнее его.

— Ты его убил, — жестоко и торжествующе вскрикнула она, вскочив, и, стоя над трупом Паоло, обратилась к моему отцу: — Никколо умер? Трижды проверьте, умер ли он, и тогда скажите мне, что Паоло его убил.

Отец в ужасе оглянулся на Никколо. Тот уже поднялся, но его лица под маской не было видно. Джанина обняла его за шею, прижимаясь к нему всем своим охваченным страстью телом, и, опьяненная, целовала его окровавленные губы.

— Паоло, — шептала она, — люблю тебя со вчерашнего вечера, когда ты меня целовал. Теперь неси меня в Бови, Паоло. — И снова целовала его окровавленные губы.

Никколо, не говоря ни слова, поднял на руки драгоценную ношу и, не сняв маски, не отерев окровавленный лоб, побежал к дому Козимо, который стоял ближе других.

— В Бови! — воскликнула Джанина в его объятиях.

Отец омыл в Пьяве свои раны и спрятал труп Паоло, а вечером они с патером Джудичи похоронили его в освященной земле. На счастье, в тот же день на перекрестке кто-то убил австрийского жандарма, поэтому они пустили слух, будто это Паоло Парута убил его и скрылся в горах.

Паоло начали разыскивать. Но так как произошло все это в марте двадцать первого года и у всех на устах было

сражение в Неаполе и трехдневные схватки в Пьемонте, об этом происшествии скоро позабыли.

Старый кавалер задумался и сказал: — В «Ричарде Втором» говорится: «Горе настоящее внутри, а внешние печали проявленья — лишь тени бледные незримой скорби, растущей молча в горестной душе». Лучшее лекарство от горя — действие. Страдания женщин смягчаются слезами и криками — это их счастье. Мужское горе — проклятие, оно замыкает их уста, оставляя на лицах тень страдания, как надпись на закрытой книге. Но хуже всего тем, кто вынужден и эту тень скрывать под маской, загоняя боль внутрь.

На другой день отец пришел в дом Козимо навестить Никколо. Беккари лежал с забинтованной головой и лицом, глаза его были закрыты. Джанина, которая сидела подле него, кивнула отцу:

— Тише, Паоло спит. Целый день не открывает глаз. Этот проклятый дьявол, этот пес Никколо рассек ему всю голову и лицо.

Потом она взяла отца за руку и усадила рядом с собой.

— Пери, — зашептала она, — вы не знали, что я люблю Паоло?! Моя любовь сильна, как архангел, и сладостна, как дуновение ветерка. Если бы Паоло не убил Беккари, я сама убила бы его, я всадила бы ему в сердце иглу, смоченную белладонной, чтобы он умер в мучениях. Но Паоло сильнее Никколо.

Тут повязки на лице Никколо двинулись, и кровь обагрила корпию. Джанина не заметила этого, она прижалась лицом к груди Никколо и целовала со страстью влюбленной женщины. Отец отвернулся к окну, чтобы ничего не видеть. Когда женщина охвачена страстью, руки ее источают негу и даже легкое прикосновение ее пальцев как поцелуй, а от ее поцелуев кружится голова.

Джанина была прекрасна в своей любви. Кто не задрожал бы от блаженства под ее поцелуями, кто бы не закричал от страсти, не протянул бы рук к этой женщине, которая, изнемогая, признавалась, что она побеждена? Нет ничего сильнее слабости женщины, охваченной страстью, нет ничего победительнее ее побежденности, чище ее смущения и ничего привлекательнее ее стремления защититься.

— Нет ничего удивительнее, — заключал мой отец, — пробуждения женщины в девственнице, которая вчера еще была погружена в мечты и томление, а сегодня постигла вдруг все искусство, все тайны соблазнительности и кокетства, смятение, сладость и горение великой минуты, когда женщина отдает всю себя. В полноте женственности, в блаженстве унижения она учится говорить: я твоя! И какой мужчина не преисполнится счастьем обладания, когда женщина — это тело, эти прекрасные руки и дивные ноги, эти движения, томные или страстные, — все это беззащитно покоится в его объятиях, сломленное, счастливое и побежденное познанием великого слова. Но как ни велико это блаженство, несравнимо большими были страдания Никколо.

В то время как мой отец размышлял об этом, а Джанина затихла на груди у Никколо, он открыл глаза, сверкнувшие из-за белой корпии, и взглянул на моего отца, ничего не говоря и не двигаясь, и снова опустил веки. Отец не мог вынести этого взгляда и тихо вышел из дома.

Вот так же он опускал глаза перед Беккари, когда тот уже начал поправляться и с обвязанной головой гулял по саду, поддерживаемый Джаниной, сияющей от счастья и любви и сладко шептавшей: «Паоло».

Так выздоравливал Никколо подле своей возлюбленной, мысли которой помутились во время поединка; хотя на самом-то деле ее ум был помрачен любовью, потому что не было ничего более странного, чем страсть этой девушки, которая незадолго до этого была Христовой невестой, а ныне, обессиленная объятиями, ходила по дому с распущенными волосами и полуоткрытыми жаждущими губами, с расширенными, сухими глазами, будто умоляющими, чтобы новый поток страстей сокрушил ее; чтобы она изнемогла от невыразимых радостей, достойных ее безумия, чтобы она приняла смерть, замученная новым блаженством, которое она будет не в силах пережить.

Я сказал, что Никколо понемногу выздоравливал, потому что раны его были скорее многочисленны, чем серьезны; наконец он снял повязку, и обнажилось его лицо, совсем непохожее на прежнего Никколо, — так оно было бледно и исполосовано длинными шрамами, стягивавшими лоб и щеки и придававшими ему новое подобие и выражение. Это было тягостное выздоровление: часто,

когда Никколо сидел молчаливый, погруженный в себя, его лицо искажала такая гримаса, что швы расходились и раны открывались, набухая свежей кровью.

Порой Джанина, сидя у него на коленях, смотрела в его лицо широко раскрытыми, безумными глазами, и тогда Никколо хватал ее в объятия и нес домой, усыпляя ее память новыми поцелуями.

Так любили друг друга Никколо и Джанина, и не было на свете любви более пылкой и чувственной.

Наконец настало время, когда сияющие глаза Джанины начали тускнеть, когда ее горячие губы крепко сжимались, а движения наполнялись меланхолической усталостью. После таких минут страсть Никколо и Джанины удваивалась, и они бросались в еще более крепкие и страстные объятия, погружаясь в удесятеренное безумие и удесятеренное блаженство, но потом возвращалась апатия, и печальная, хрупкая Джанина долгие часы сидела подле примолкшего Никколо и смотрела в пустоту. По ночам, склонившись на плиты пола, она опять молилась и опять видела, как к ней нисходит ее Иисус, но его раны, прикрытые, как губы возлюбленного, были далеко от ее уст.

Однажды утром, когда Джанина снова искала дорогу в монастырь, возле беседки нашли труп Никколо, лежавшего в луже крови, вытекшей из зияющих, будто совсем свежих ран.

Все раны, уже почти зарубцевавшиеся, сейчас открылись. И маска стягивающих лицо шрамов, скрывавшая его подлинный облик, когда он целовал Джанину в муках, страшнее которых ничего нет, и с наслаждением, которое было еще страшнее мук, эта маска сейчас спала, и на его лице проступило выражение ужаса.

В ту же ночь Джанина снова целовала благоуханные раны своего Христа; когда отец подвел ее к трупу Никколо, могло показаться, что она пытается вспомнить добром этого мертвого мужчину, — но нет, сияя счастьем, с очами, влажными от сладострастия, она начала говорить о своем возлюбленном Христе.

Такова история страданий Никколо.

Румяный кавалер, старик Нери, поднял голову и поглядел на слушателей. Вокруг него сидели Костка и Бартш, доктор Вандерер, Крамер и Пилад, мысли которого были далеко.

«— Благодарю в а с , — произнес к а в а л е р , — за то, что выслушали меня. Вы честные молодые люди, хотя вы слабы и ваши истории, ваши страдания будничны. Но я люблю вас.

Тут Пилад всхлипнул и закрыл лицо руками:

— Сейчас, в эту минуту, Рихард застрелился.

Костка печально пожал плечами. А Бартш, толстый и взволнованный, пеплом своей сигары чертил узоры на скатерти; кавалер Джосуа Нери сидел, задумавшись о великом призраке, который он называл прошедшим.

От поцелуя до поцелуя

Один богатый человек женился на красивой молодой девице, которая, однако, вскоре умерла, оставив ему маленькую дочь Елену. С годами Елена превратилась в горячую и своевольную девушку, нрав ее складывался без смягчающего влияния матери, и потому Елена была неуступчива во всем. И главное, отвергала всех поклонников, искавших ее расположения, словно бы в гордой независимой холодности пренебрегала любовью вообще. В то время среди служащих ее отца был один ветрогон по имени Якуб, и он в Елену без ума влюбился. Она об этом не желала знать, ибо считала себя много выше всех, кто ее окружал, — и вот любовь его росла в муках и ярости, распалявших его еще больше. Ну а Елена мнила, что любовь ей вовсе не нужна. Но время шло — и сердце ее теснилось грустью и разгоралось; глаза украдкой останавливались на Якубе, сверкая, и дразня, и приводя в смущение; теперь Елена, как могла, старалась отвратить свои мысли от Якуба, человека подчиненного.

А это и было началом чувства, которое росло посреди одиночества и гордости, пока не пересилило всю непреклонность Елениного нрава: в угаре девичьих мечтаний и слез Елена поняла, что любит, и решилась.

И началось их постепенное сближение, а значит, пора первых радостей; впервые и без остатка захватывает их блаженство нечаянных встреч и внезапных румянцев, взглядов, намеков; руки сплетаются в мимолетном пожатии и принимают записки; первое «ты», рожденное не-

терпением и неловкостью. Вот они в первый раз наедине, бросаются друг к другу, обжигают поцелуями и нежными словами. И кажется, вовек им не насытиться своими поцелуями, вовек не остудить пыла своих речей; позднее, однако, придется вести себя осмотрительно, уславливаться и задумываться о своей любви и ее последствиях. Но скоро всякая осторожность позабыта — они не расстаются целый день. Их единение непрерываемо во времени; в круговороте радости клялась Елена, что любовь ее — навеки.

Но вот отец застал свою дочь в объятиях Якуба, и молодому человеку указали дверь. Елена по прошествии некоторого срока ощутила себя матерью. Отец тут же устроил ее брак с одним своим малозначительным знакомым, человеком низменного нрава. Вскоре затем родилась у Елены девочка — дочка Якуба. Муж теперь все терзал Елену с превеликой жестокостью и себе в удовольствие, и Елена страдала и чахла от горьких мучений. Якуб обо всем этом знал и однажды на улице так расправился с ее мужем, что он — человек и без этого хворый — от страха и от ран скончался. Якуба судили и приговорили к пяти годам заключения. А Елена с ребенком уехала куда-то далеко и пребывала в трауре, снискав себе похвалы за холодность и стойкость, с какими отвергала всех поклонников, плененных ее красотой.

Якуб же пять лет находился в заточении, и все пять лет сверлила его одна мысль: ждет ли Елена? Это рождало в нем такую неизменную печаль, что все считали его просто слабоумным. В эти пять лет утратил он всю живость своего характера, и ни кровинки не осталось у него в лице; ночи он проводил без сна и, когда через пять лет вышел из тюрьмы, — сразу же принялся разыскивать Елену; но найти след ее ему не удавалось, никто не знал, куда она уехала.

Елена между тем жила далеко в другом городе, с ребенком, к которому проявляла необычную холодность и суровость. Ни мысль, ни сердце ее не искали единения ни с кем. И вот однажды очутился Якуб возле того дома и увидел стоящую на балконе Елену. Тогда он сел возле дороги, не отваживаясь войти: ведь он был острижен поарестантски, и желт лицом, и грязен, как бродяга. Прохожие пугались его и давали ему милостыню.

Просидев так семь дней, он наконец решился и вошел. Но госпожа Елена его не узнала, велела вывести и ничего ему не давать.

А он сказал:

— Я тот, кого называли Якубом.

Тогда она предложила ему сесть и спросила, чем может служить, и при этом смотрела такими глазами, что спазма сдавила ему горло, и он не мог произнести ни слова. Тут в комнату вошла его маленькая дочь, — Елена шлепнула ее и отослала. Якуб потупился, увидел, как он оборван и жалок, и подумал, что видом своим оскорбляет Елену: он арестант и нищий, она же стала важной дамой, — и, не сказав ни слова, ушел, полный любви и горечи, — ведь больше некого ему было любить, кроме Елены.

Елена так и продолжала жить с холодной головой и пустым сердцем, а Якуб уехал далеко оттуда, в другой город, чтоб стать влиятельным, богатым и известным и встретиться потом с Еленой, как равный с равной. Вот понемногу становился он богатым, изнашивался, приобрел известность. Все изумлялись его энергии и воле, Якубом же владела только одна мысль: скорей разбогатеть и встретиться с Еленой.

И вот спустя четыре года приехал он к Елене снова. Приехал в таком великолепном экипаже, что вся ее прислуга встала у дверей, приветствуя его поклонами. Ио он взбежал по лестнице, чтобы скорей увидеться с Еленой; она его, однако, не узнала.

— Я ведь Якуб, — сказал он.

А она сказала:

— Что вам угодно?

Спазма сдавила ему горло, и он не мог произнести ни слова. К Елене в это время подошла их дочь; Якуб ей улыбнулся, но слезы подступили у него к глазам, — он понял, что прошло уж десять лет с того дня, как они с Еленой в первый раз поцеловались. И тут Якуб подумал, что ему надо помочь Елене вспомнить их былую любовь, стал ей припоминать их встречи, интимные подробности, известные только ему и ей, стал рисовать дом, сад, все дни, как протекали они чередой, — что тогда говорилось, что происходило, какими радостями полнились их жизни.

— Я этого не помню, — отвечала она.

Якуб тогда начал рассказывать, как жил пять лет в тюрьме, как принужден был исполнять постыдную, унизительную работу, как вспоминал Елену и ждал встречи; в подробностях описывал муки томительных часов, свою одинокость, терзания любви и опасения; и можно было различить морщины, врезавшиеся в его лицо. Елена оставалась безразличной.

Тогда Якуб начал рассказывать, как он потом искал ее повсюду и наконец нашел, и как не мог заговорить, и как потом хотел ради нее добиться славы и богатства, как это удалось ему, каким он стал богатым и влиятельным. Но чем дольше он говорил, тем все более безучастной и отчужденной казалась Елена.

Тогда Якуб сказал, что хорошо бы им вместе воспитывать ребенка, чтобы у девочки были отец и мать.

— Я не люблю ее, — сказала Елена.

Взяла тогда Якуба страшная тоска: он видел, ничто их не соединяет с Еленой, они словно разделены навеки. Видел, что сердце ее умерло, закрыто для любви, и воскресить его невозможно. Он подумал поэтому, что ему надо бодрствовать возле этого мертвого сердца, как, по обычаю, бодрствуют возле почившего и посвящают памяти его благие поступки. И вот он продал все свое имущество и поселился около Елены; бывал у нее каждый день, но говорить о ней, или о себе, или о чем-то близком им обоим мешали ему слезы, застилавшие глаза, и потому он говорил лишь на возвышенные темы, стоящие над повседневной жизнью; у окружающих Якуб прослыл философом и пользовался величайшим уважением.

Так продолжалось несколько лет, и у него возникла мысль уехать на край света, чтоб забыть Елену. В последний вечер он пришел, но ни о чем ей не сказал, вел легкий разговор о пустяках, чтобы ее р а з в л е ч ь, — Елена оставалась апатичной и холодной. Потом Якуб поднялся, сказал ей «до свидания» и стал сходить по лестнице, но на последней ступени вскрикнул — так сдавило ему сердце — и опрометью бросился обратно, схватил Елену и рванул к себе. Елена сопротивлялась отчаянно; Якуб словно не сознавал происходящего, ему казалось лишь, что долгие и бесконечно тяжкие часы он борется против неодолимой силы, которая не уступает; потом кровь кинулась ему в лицо, и он уже не понимал, что делает. И только спустя некоторое время понял, что Елена

обвила руками его шею и целует горячо и ненасытно, а он несет ее, как двенадцать лет тому назад, и осыпает поцелуями и нежными словами. И вот эти двенадцать лет исчезли: Елена у него в объятиях, целует и зовет его на «ты», в смятении и стыдливости трепещет, льнет к нему всем телом и всем сердцем, сопротивляется и расстается с жизнью, умоляет и смеется. Вовек им не насытиться своими поцелуями, вовек не исчерпать сокровищницу своих радостей; времени не расторгнуть их объятий, и временем не измерить их счастья, вечностью самой не измерить счастья их любви.

А утром, когда Елена спала на плече у Якуба, ему подумалось, что незачем было отсиживать пять лет в тюрьме и сносить унижения постылой работы, ни к чему было наживать капиталы, поместья, искать постов и власти, ни к чему набираться ума, делаться многодумным и почитаемым, как философ: все это было лишь минутой промедления от поцелуя до поцелуя, непрошеной заминкой в ласках двух любовников.

— Сколько воды утекает от поцелуя до поцелуя, — сказал он вслух.

Елена открыла свои прекрасные глаза и посмотрела на Якуба, словно удивляясь, что он с ней; тогда Якуб поцеловал ее и сказал:

— Вчера в отцовском доме ты заснула у меня в объятьях и спала глубоким сном без сновидений, в глубоком сне без сновидений пробыла ты от поцелуя до поцелуя.

Лицо Елены было бледно.

— Сколько сил жизни уходит от поцелуя до поцелуя! — шепнула она.

И где-то в глубине души почувствовал Якуб, что он уже немолод и смерть его не за горами.

Остров

Жил в свое время в Лиссабоне дон Луиз де Фарья, который потом отправился в плавание и, объехав полсвета, умер на самом отдаленном острове, какой только представить себе можно. В бытность свою в Лиссабоне считался он человеком достойнейшим и умнейшим и жил,

как подобает таковому, себе в удовольствие в другим не во вред, имея все, что могли требовать его тщеславие и знатность. Но и такая жизнь ему прискучила и стала в тягость, и, обратив свое состояние в деньги, он отправился с первым же кораблем в дальнее плавание.

Корабль поплыл сначала в Кадис, а потом в Палермо, в Царьград и Бейрут, в Палестину и Египет, вокруг Аравии до самого Цейлона, обогнул Заднюю Индию и остров Яву, снова вышел в открытое море, держа курс на восток и на юг. Случалось ему встречать земляков, направлявшихся к дому, которые плакали от восторга, расспрашивая об отчизне. В каждом крае видел дон Луиз так много диковинного, почти сверхъестественного, что, казалось ему, забывал предыдущие. Однажды в открытом море настигла их буря, корабль подбрасывало на волнах, как пробку, — без направления и опоры. Три дня буря непрерывно крепчала, а в ночь на четвертый ударила кораблем о коралловый утес. Среди громового треска дон Луиз почувствовал, как его приподняло над палубой, а потом упал в воду; по вода вытолкнула его и бесчувственного швырнула на разбитые корабельные балки. Когда он очнулся, был ясный полдень; совсем один, дон Луиз на обломках балок плыл по спокойному морю. И тут впервые ощутил он радость оттого, что жив. Он плыл до вечера, потом всю ночь, потом весь следующий день, но ни разу не видел земли. К тому же бревна, которые его несли, начали понемногу разъезжаться, одно за одним относило их в сторону; тщетно Луиз старался соединить их обрывками своей одежды. И вот уже осталось у него три жалких бревнышка, и сам он, изнемогший от усталости, вконец пал духом; прощаясь с жизнью, положился он на волю божью.

На рассвете третьего дня он увидел, что волны выносят его к прекрасному острову, возносившему над водой благодатные заросли и зеленые кущи. Наконец он, весь в соли и пене, ступил на твердую землю. Из чащи в это время вышло несколько туземцев, дон Луиз встретил их враждебным выкриком: они внушали ему страх. Потом он преклонил колени, творя молитву; упал на землю и уснул на берегу.

На закате солнца его разбудил голод. Песок вокруг весь был покрыт следами плоских босых стоп, и дон Луиз обрадовался, что дикари сидели около него на корточках,

дивились, толковали, но не причинили ему никакого зла. Отправился он поискать себе пропитания, но сумерки уже сгустились. Обогнув скалу, он увидел туземцев, сидящих в кругу за трапезой; мужчин, женщин, детей видел он в том кругу, но стал поодаль, не решаясь приблизиться, — словно нищий в чужом селении. Тут молодая туземка отделилась от остальных и принесла ему плетушку, полную плодов. Луиз бросился к плетушке и стал есть бананы, свежие и сушеные фиги и другие фрукты, живых моллюсков, вяленое мясо и сладкий хлеб, непохожий на наш. Девушка принесла ему и кувшин родниковой воды и, сев на корточки, смотрела, как он ест. Утолив голод и жажду, Луиз ощутил приятную легкость во всем теле и стал выражать девушке признательность за ее даяния и воду, за милосердие ее и остальных туземцев. А по мере того как он говорил, благодарное чувство росло в нем — сладко освобождалось от тесненья переполненное сердце, — и говорил он так красноречиво, как никогда еще не удавалось ему до тех пор. Туземка же сидела рядышком и слушала.

Он подумал, что следует повторить ей слова благодарности, тогда она поймет, и начал повторять их с жаром, как молитву. Тем временем все остальные скрылись в чаще, и Луиз, испугавшись, что останется один после столь радостных минут и в совершенно незнакомом месте, начал рассказывать туземке, кто он, откуда, как потерпел кораблекрушение, какие мытарства пришлось ему перенести в открытом море. А девушка, лежа на животе, спокойно слушала все это время. Тут Луиз увидал, что она уснула, положив лицо на землю, и, сев поодаль, стал глядеть на звезды в небе, слушая шум моря, пока не сморил его сон.

Проснувшись утром, он увидел, что туземки уже нет; только в песке остался отпечаток ее тела; Луиз, казалось, видел его все — удлиненное, плавное, как зеленый побег; он стал ногой на углубление в песке — оно было теплое, разогретое солнцем. А потом он отправился вдоль всего берега изучать остров. Иногда приходилось ему идти лесом или сквозь заросли кустарника, обходить топи и перелезать через гряды камней. Иногда попадались туземцы, но он их уже не боялся. Он видел море небывалой синевы, цветущие деревья, дивную роскошь растительности. Так шел он целый день, любуясь островом, равного

которому по красоте он не встречал; и население его казалось более приятным, чем другие дикие народы. На следующий день он продолжил осмотр и обошел уже весь остров, полный благостных родников и заросший цветами, где все дышало миром и покоем — так мог бы выглядеть рай, — пока не вышел наконец на то же место, куда его вынесло море; молоденькая туземка сидела там одна и заплетала косы. У ног ее лежали балки, на которых он приплыл; до самых этих балок достигали волны большой воды так, что пути дальше не было; тогда дон Луиз сел возле туземки, глядя на волны, следя, как уносят они его мысли, волна за волной. А когда вот так, набежав, откатилась уже не одна сотня волн, сердце Луиза захлестнула безмерная грусть, и стал он горько сетовать, что шел целых два дня по острову, обошел его весь, но нигде не увидел ни города, ни причала, ни человека, себе подобного; товарищи погибли в море, а сам он выброшен на остров, откуда нет возврата, совсем один среди жалких созданий, в речи которых невозможно различить ни слов, ни смысла. Так причитал он, а туземка слушала и наконец уснула, лежа на песке, словно убаюканная излияниями его горя. Тогда умолк и Луиз, и дыхание его стало ровным.

Утром сидели они рядом на скале над морем, откуда виден был целиком горизонт. В мыслях Луиза проходила вся его жизнь: роскошь и блеск Лиссабона, любовь, странствия по свету и то, что он там видел; он закрыл глаза, отыскивая в памяти прекрасные картины прежней жизни. Когда же он открыл их, увидел туземку — присев на пятки, поглядывала она как-то бессмысленно своими раскосыми глазами, — увидел, как она пригожа — с маленькой грудью, тонкими запястьями, прямая и смуглая, как терракота.

Он часто стал сидеть на той скале, в надежде разглядеть на горизонте проплывающее судно; видел, как поднимается из моря солнце и снова опускается за море, — и стало это для него привычным, как и остальное все. Сжился он и с полуденной истомой климата на этом острове блаженной неги. Иногда к Луизу приходили туземцы и выражали ему знаки почитания, опустившись на корточки, по-пингвиньи сидели в кругу; некоторые были очень стары и покрыты татуировкой. Они давали ему долю от своих припасов, чтобы поддерживать

его существование. Когда же наступил сезон дождей, дон Луиз поселился в хижине туземки. Так жил он среди дикарей, был наг, как и они, но все-таки гнушался ими и не выучил ни единого слова из их языка. Не знал, как называют остров, давший ему пристанище, кров, под которым спал, и женщину, которая была пред богом его единственной подругой. Вернувшись в хижину, он находил там приготовленную пищу, постель и тихие объятия темнокожей. Хотя он не считал ее творением себе подобным, а чем-то мало отличающимся от животных, он все же обращал к ней речь на своем языке и был доволен, что туземка со вниманием слушает. Он рассказал ей обо всем, что непрестанно занимало его мысли: о жизни в Лиссабоне, о родных, о том, что с ним бывало в его странствиях; вначале ему было неприятно, что она не понимает слов и не улавливает смысла, потом и это сделалось привычным, он вел рассказ всегда в тех же словах и выражениях и неизменно заключал ее потом в объятия, как жену.

Но время шло — рассказы становились все короче и отрывочней; события ускользали от дона Луиза, как будто были чем-то зыбким, как будто все вообще было чем-то зыбким; по целым дням лежал он на постели, уйдя в себя, и молчал. Все стало для него привычным, — попрежнему сидел он на своей скале, но не пытался уже разглядеть на горизонте судно. Так прошло несколько лет — для Луиза не существовало более ни прошлого, ни мечты о возвращении, ни родной речи, — мысль его бездействовала, как и его язык. Он каждый вечер возвращался в хижину, но не узнал туземцев ближе, чем в тот первый день, когда его прибило к острову.

Однажды летом далеко в глубине леса Луизом неожиданно овладело беспокойство — он выбежал из лесу, и глазам его открылся стоящий на якоре в море великолепный корабль. С бьющимся сердцем бросился он к берегу, чтобы подняться на свою скалу, и, добежав, увидел на побережье группу матросов и офицеров; он спрятался за выступ, словно был дикарь, и стал прислушиваться. Слова пришельцев всколыхнули его память, и он узнал язык родной страны. Тогда, поднявшись, он хотел заговорить, но с уст его сорвался только зычный крик. Пришельцы испугались; он крикнул во второй

раз — они подняли карабины; это вернуло ему дар речи, и он воззвал:

— Сеньоры, пощадите!

Все с радостными возгласами бросились к нему; Луиз же, скованный дикарским страхом, хотел было пуститься наутек, но его уже обступили, обнимали наперебой и закидывали вопросами. А он стоял средь них, нагой и оробелый, не зная, куда скрыться.

— Не бойся, — сказал ему пожилой офицер, — и вспомни, что ты человек. Достаньте ему мяса и вина, он выглядит худым и изможденным. Ты же присядь тут возле нас и отдохни, освойся со звуками человеческой речи вместо криков, какими переговариваются разве что обезьяны.

И принесли дону Луизу сладкого вина, мясное блюдо, сухарей, и он сидел со всеми как во сне, ел и чувствовал, что к нему возвращается память. Пришельцы тоже ели, пили и оживленно разговаривали, довольные, что нашли земляка. Поев, Луиз преисполнился отрадным чувством благодарности, как в день, когда его насытила туземка; он радовался благозвучной речи, какую уже понимал, и дружескому общению с людьми, которые обходились с ним как с братом. И вот язык начал повиноваться Луизу, и он возблагодарил пришельцев, насколько это было в его силах.

— Отдохни еще, — сказал пожилой офицер, — а тогда нам поведаешь, кто ты и как сюда попал. И возвратится к тебе чудесный дар речи, ибо что может быть прекраснее способности человека говорить, излагать события и изливать свои чувства.

И тут какой-то молодой матрос, откашлявшись, негромко затянул красивую песню про морехода, ушедшего в плавание, и его подругу, просившую море, ветры и горизонт возвратить ей любимого; причем тоска ее изображалась самыми прекрасными словами, какие только можно отыскать. После него пели и другие или читали вслух стихи подобного содержания, чем дальше, тем всё более грустные, где говорилось о тоске по милом, о кораблях, уходящих в далекие страны, о море, что вечно меняет свой облик; потом все предались воспоминаниям о доме и о тех, кто там остался. Дон Луиз плакал: он был до боли счастлив, что пережиты все муки и все так разрешилось — отвыкнув от человеческой речи, он слышал

теперь музыку стиха, — и оттого еще, что все это было, как сон, и было страшно, что наступит пробуждение.

Наконец пожилой офицер встал и проговорил:

— Дети мои, осмотрим этот остров, встреченный в пути, а на закате соберемся здесь и переправимся на судно. Ночью поднимем якорь и с божьей помощью начнем обратный путь.

Потом он обратился к Луизу:

— Если ты хочешь взять с собою что-нибудь как память — неси сюда и жди нас до заката.

Моряки рассыпались по побережью, а дон Луиз направился к своей хижине; но чем ближе он подходил к ней, тем ленивее делался его шаг. Дон Луиз все не мог придумать, как он объяснит туземке, что ему надо уехать, а ее оставить. Он сел на камень по пути, раздумывая, что нельзя так: сбежать без слова благодарности той, с которой прожил десять лет; он вспомнил, сколько раз она его выручала, кормила и поила, служила ему своим телом и трудом. Потом вошел он в хижину, сел около туземки и говорил долго и сбивчиво, словно надеясь ее этим убедить; он рассказал ей, что за ним приехали и что отплытия его требуют важные дела, которые он тут же измышлял во множестве. Он обнял ее, и благодарил за все, и давал обещания скоро вернуться, подкрепляя их клятвами и божбой. В разгаре своей речи вспомнил он, что женщина его не понимает, — в досаде выйдя из себя, он с жаром начал повторять все свои доводы, даже ногой затопал в нетерпении. Потом он вдруг решил, что моряки уже отчаливают, без него, и, оборвав себя на полуслове, побежал на берег.

Но никого еще не было, он сел их ждать, и стало ему очень тяжело от мысли, что туземка не разобрала и, верно, не подозревает даже, что он сказал ей об отъезде, — это было так невыносимо, что он не выдержал и бросился обратно втолковывать ей это заново. В хижину он, однако, не вошел, а стал смотреть сквозь щель, что делает там женщина. Он видел, как, нарвав свежей травы, она устилает его ложе, приготовляясь к ночи; видел, как отделила она для него плоды, — и в первый раз заметил, что сама она ела что похуже, незрелые или подгнившие, ему же отбирала наиболее красивые и крупные, без всякого изъяна, — потом она села, недвижная, как изваяние, и стала ждать его. И тут дон Луиз понял с непреложной

ясностью, что не может уехать, пока не отведает припасенных плодов, не сомнет приготовленную постель и не положит предел ожиданию туземки.

Солнце меж тем зашло, и моряки сошлись на берегу, чтоб переправиться на судно; недоставало только дона Луиза — и ему начали кричать:

— Сеньор! Сеньор!

Когда же он не появился, побежали искать его вдоль опушки. Двое бежали совсем близко, не переставая звать, но он забился в чащу, и сердце его колотилось от страха, что он будет найден. Потом все голоса затихли, стало темно; под всплески весел моряки поплыли к кораблю, вслух сожалея, что потерпевший кораблекрушение потерялся. Стало совсем тихо, дон Луиз вышел из чащи и вернулся в хижину; туземка все сидела там, недвижно, терпеливо; он съел плоды, лег на свежеустланное ложе и взял ту, что его ждала.

Когда забрезжило утро, дон Луиз не спал, через отверстие входа смотрел он туда, где за стволами деревьев виднелось спокойное море, по которому плыл величавый корабль, удаляясь от острова. Туземка спала рядом, теперь она казалась не пригожей, как бывало, а невзрачной, отталкивающей; и слеза за слезой падала ей на грудь, когда он шепотом, чтоб женщина не услыхала, твердил прекрасные слова чудесной песни, где выражалась боль тоски и вечная несбыточность мечтаний.

Потом корабль исчез за горизонтом, а дон Луиз остался, — но с тех пор во все годы, что прожил на острове, до скончания дней не промолвил ни слова.

Сияющие глубины

Переступить порог далей, великий океан и увидеть заморские пристани, где тесно от кораблей! Не знаю, что толкало меня покинуть берега Европы и отчего какое-то время все мое существо переполняла мечта о путешествии. Идея странствия занимала меня долго, пока я наконец не решился ступить на борт «Океаника», отправлявшегося из Саутгемптона в Америку. Теперь «Океаник», смятый, искореженный, лежит на дне морском; но тогда

это был огромный семипалубный трансатлантический пароход водоизмещением в пятьдесят тысяч тонн, способный развивать скорость более двадцати узлов. Около трех тысяч пассажиров плыло на нем, наслаждаясь роскошью, не думая об опасности, — никто из них не предполагал, что вся эта пышность и великолепие, казавшиеся *недосягаемыми,* могут погибнуть такой страшной смертью.

Часть пассажиров принадлежала к тем космополитическим слоям общества, которые всегда и везде объединяет жажда развлечений. Тут можно было встретить людей, говоривших на всех языках мира, вынашивавших неведомые миру замыслы; были тут и те, кто опутывает континенты сетью торговли; а иные — вроде меня — отправились в плавание в поисках новых желанных берегов. Сколько здесь молодых интересных женщин! Одни — улыбаются, сияют, оживлены музыкой и счастьем; другие — томно возлежат в шезлонгах, в голосе их звучат нотки горечи, а дразнящие взгляды преследуют мужчин. Еще привлекательнее те, кто в задумчивости любуется океаном, кто розово улыбается от страха и восторга, у кого от одного только вида морского простора болезненно кружится голова.

Солнце и ветер целые дни — целые дни колышется и пенится неспокойное призрачное море, и по его волнам легко и торжественно движется величавый корабль, оглашая воздух звонками, протяжным гудением и вздымая разноцветные фонтаны брызг, — гигантский колосс, какого еще не видывал свет.

Сверкающие дорогим убранством столы ожидают гостей в золотых салонах, а музыка на палубах низвергает каскады радости, ликующий прибой великолепия, победного шествия по морю. Какое это упоение — волшебные дали! Как кружит голову красота моря! Но почему все это не удовлетворяет меня, отчего временами, да, временами я обхожу всех стороной?

Под дымовой трубой сидит негр, потный, перемазанный машинным маслом, и распевает песни. Перекликаются матросы, сверху вниз летят удары склянок, резко сталкиваются хаос и порядок, а из нутра корабля доносится жаркое, энергичное дыхание механизмов. С каждым мгновением растет в нас ощущение дали и теснящей душу скорости.

Отчего же все это не в силах насытить меня? Блуждая по кораблю, я забредал вниз, в трюм, где теснились эмигранты; наверх, к матросам; я плутал по лабиринту лестниц; какая сложная машина этот корабль! Наконец я выбрался на отдаленную часть палубы, где до сих пор никогда не бывал. Я сам не понимал, что творится со мною; прогуливающиеся пассажиры то и дело заслоняли от меня молоденькую девушку, которую мне так хотелось рассмотреть. Только бы видеть ее! Она сидит одна-одинешенька, отвернувшись ото всех; печаль струится по ее платью, и я вижу ее волосы, разметавшиеся на ветру; где витает ее мысль? Умиротворение ли наполнило тишиной ее сердце? Отчего она сидит не шевелясь? Какое чувство привело ее в состояние безграничного покоя, подсказав непринужденную, свободную позу — это застывшее движение распахнутой настежь души?

Я часто спрашивал себя: какая из женщин красивее и лучше? Но хотя я восхищался их красотой, хотя они волновали мои чувства, я никогда прежде не испытывал потрясения от встречи с человеком, душа которого широко распахнута вам навстречу. Никогда не распахивались передо мной такие глаза, как эти, я вовек не забуду их открытого, пристального, преданного взгляда. Не забыть мне и того, что, опустив веки, она не отвернула лица и залилась румянцем. Розовое дыхание овеяло меня негой любви. Никто никогда не поднимал на меня взгляда, исполненного такой любви; в нем не было ничего похожего на влюбленность. Да и кому дано постичь это различие? Вы, ангельские души, постигшие это, вы прочтете любовь по глазам; они озарятся откровением, и в его ослепительном свете ваши приумноженные чувства предстанут с поразительной отчетливостью, словно и вас самих распахнули настежь. И тут вы вздохнете вольно и глубоко, ибо любовь — это необъятная глубина и ширь. Откуда взялось смущение, расцветившее ее щеки румянцем? Какая слабость сделала такими гибкими ее движения, что кажется, будто они сами плывут мне навстречу? И вот настало мгновение, когда она вся застыла недвижно, в позе бесконечного ожидания, в порыве беспредельного замирания, когда рождается любовь. Неизъяснимое ощущение счастья объединило мою угловатость и красоту, воплощением которой была она; именно тогда

родилась связь между мной и ею, вознесенной гордо, как цветок, подобной лилии!

Из каких глубин сердца поднимается печаль, рожденная любовью? Вечер был нескончаем и полон неуверенности, я ощущал смятение, хаос и муку неуверенности во всем, что меня окружало. Предчувствия и заботы сжимали грудь, пронзали ее саднящей болью. Все мое существо раскрылось и преисполнилось любви, ибо в ней заключено все: боль, счастье, чудо, прозрение и сон. Все это — сон; прекрасное сновидение, окутав меня, создало вокруг новую, странную, какую-то расплывчатую жизнь. Все это — любовь; отныне я знаю: все, что я могу, — это отдаться любви *без остатка,* как говорят философы. Чудодейственная любовь, направляй бег моего сердца! Перед тобой вся моя жизнь. Стань для меня первоосновой, моим существованием и целью, сотвори меня, заверши меня, вознесись надо мной. Уноси меня, вечно текущая любовь, в неведомую даль!

Беспредельна разверстая перед нашим взором действительность. Откуда же в минуты высочайшей радости берется ощущение сна? Счастливые люди! В миг блаженства вам кажется, будто все это сон. Охваченный любовью, я испытывал неизъяснимое чувство: да, все это, вероятно, сон. Человеческие сны бессвязны и рождаются из внутренней смуты; в сновидениях проявляется постоянное, неосознанное смятение наших душ, и потому все смутное (ибо величайшая боль и величайшее наслаждение полны смятения) подобно сну и заключает в себе *части сна.* Так и моя любовь, и заключенная в ней радость, и все то ужасное, что случилось потом, слились с глубоким сном; во сне невыразимое горе и ужас объяли мое сердце, и оно никогда уже не избавится от этого ночного *кошмара.*

В эту смертоносную ночь «Океанию), плывущий по морю айсбергов, попал в иной мир — мир призраков; ищите его среди фантомов человеческого страха, извержений вулканов, горящих театров, землетрясений, пылающих кораблей, железнодорожных крушений и подземных взрывов. Самый большой пароход на свете, совершеннейшее творение рук человеческих, венец технических достижений века, чудо-корабль в первое же свое плавание, на самой оживленной морской трассе натолкнулся на айсберг и с пробитым бортом погрузился в бездну, унося

с собой жизни двух тысяч людей, направлявшихся в Новый Свет. Весь мир оцепенел от изумления и ужаса при виде этого страшного зрелища, а меня всю жизнь неотвратимо будет преследовать потрясающая картина: высоко над морем сияет видение корабля, летящего по волнам; радость открытия далей и головокружительный бег через океан; и вдруг все это рушится, повержено в смятение, все гаснет, исчезая в кромешной тьме, в черном колодце без дна и стен, где я отныне замурован.

В гудящей над морем ночи корабль вздрогнул от смертоносного удара. Со звезд или из глубин морских повеяло смертью, словно резким ветром. Всюду, куда ни кинь взгляд (а он проникал в бесконечность, ибо взор умирающих не останавливается ни перед чем), распростерлась область смерти; она была как гул вод, как беспокойное студеное море под молчаливыми небесами. Я увидел смерть вблизи: это был корабль, обреченный на гибель, бесконечные воды, беспредельное небо и несметные толпы людей, сгрудившихся у борта в глубокую полночь.

Глубочайшим средоточием тьмы передо мной раскрылась *мысль о смерти.* Она притягивала меня к себе. В толпе я разыскивал ту, которую любил, тоскуя и страдая от неизбывной боли. Почему влюбленные так часто мечтают умереть вместе? Умереть вместе — какое странное и сильное чувство толкает их на этот шаг! Вместе низринуться в головокружительную бездну, вместе рассеяться в безмерном просторе. Вместе завершить земной путь, соединиться навеки, вечно быть вместе! О, отчего я не умер тогда, отчего мы не умерли вместе? Увы, я потерял ее навсегда, но смерть, не соединившая нас, не смогла нас и разлучить. Она погибла, погибла, мое сердце мертво, но любовь моя к ней, сверхъестественная, посмертная, все еще жива.

О любовь моя, навеки нарекаю тебя этим именем! После смерти, по скончании всего и по прошествии жизни. Могила, которой нет, которая развеялась во вселенной, и ты, навсегда оставшаяся в мире, лишенном реальности! Где это — вместе, вдвоем, навеки и тысячи раз! Вместе, вдвоем! Какое блаженство и какая неизбывная печаль! Вместе! И навсегда! Какие горькие рыдания слышатся в этих странных словах, и я обречен без конца повторять их! Волшебные картины любви, которые я вижу, стоит только закрыть глаза, — неизменно мертвы; и

их отражение, утратившее реальность, притягивает мою жизнь к себе, превращая ее в странный экстаз.

«Океаник» приближался к цели, когда попал в область ледовых полей. К вечеру (была звездная морозная ночь) студеный ветер известил о близости льдов, ибо сфера холода простирается далеко за границы ледовых полей. Стояла глубокая ночь, когда «Океаник» натолкнулся на ледяную гору, и не более чем через три часа этот красавец-корабль со всеми, кто был на его борту, камнем пошел на дно, на глубину двух тысяч метров. Я почувствовал резкий толчок и услышал, что по коридорам бегут люди, множество людей; но только позднее я ощутил: застопорились машины... и душа моя затрепетала. Хотя на палубе царили страх и смятение, никто не верил, что корабль тонет, и каждый боялся сесть в спасательную лодку, ибо взгляд вниз, в глубину, внушал у ж а с, — оттуда веяло холодом, словно из разверстой могилы. Вероятно, лишь после того как пассажиры поняли, что спасательные работы в полном разгаре и на этом сосредоточены все усилия команды, в людях проснулся страх за свою жизнь, дикий инстинкт самосохранения и ужас перед смертью; только после этого разыгрались страшные сцены паники, когда толпа рванулась к спасательным лодкам и пришлось стрелять, чтобы *удержать порядок.*

Мне было известно, что лодок хватит едва лишь на треть пассажиров. Остальные осуждены погибнуть без какой бы то ни было помощи, покинутые всеми, без поддержки и заботы, без тени надежды на спасение. Они обречены умереть с полным сознанием своего бессилия, с открытыми глазами и не отвращая лиц и душ от того невообразимого, что надвигалось на них. Как зримый символ их последних мыслей, взлетали ракеты, взывая о помощи тонущим и обреченным. В течение двух часов корабельный телеграфист передал от их имени всем судам и далекой земле сигнал бедствия — *«спасите наши души».* Он так и погиб у аппарата. Погиб вместе с «Океаником». Ему было двадцать лет. Обрекли себя на добровольную гибель все, кто помогал спасать ближних, погибли, явив всему миру пример мужества; среди них были знаменитости, стоявшие у власти, владевшие большим богатством, познавшие наивысшие радости; тем не менее они не цеплялись за жизнь так, как множество менее удачливых людей. Спасены были дети и большая часть женщин,

ибо они — источник жизни. Все прочие погибли, и каждый по-своему стал поразительным образцом человеческой натуры — примером героизма и слабости, боязни, боли, покорности или самоотверженности.

Весь мир с изумлением взирал на этот призрак смерти и содрогнулся от испуга, столкнувшись лицом к лицу с вечными угрозами, которые окружают нас в мире, где все так надежно. После гибели «Океаника», величайшей катастрофы, разыгравшейся на нашей памяти, многие публично возмутились и спрашивали, кто за нее несет ответственность? Они обвиняли «Компанию синей звезды», построившую этот трагический корабль, и капитана, который вел его в первое и последнее океанское плавание. Они безо всяких оснований говорили о попытке поставить рекорд скорости, совершить самое короткое атлантическое плавание и об огромных пари, которые якобы были заключены. Настолько всем хотелось заглушить свой страх перед неведомым и непонятным, отыскать устранимые причины этого несчастья или обнаружить чью-то наказуемую вину. Капитан погиб при исполнении служебных обязанностей и не может дать никаких показаний. Пароход «Океаник» рекламировался как чудо безопасности и удобства. Количество спасательных лодок было, разумеется, недостаточным, но, *согласно предписаниям закона,* соответствовало тоннажу корабля. Комиссия лондонского Board of trade [1], которой было поручено расследование, пришла к сенсационному выводу: при строительстве и во время плавания «Океаника» *не было никаких нарушений закона или существующей практики.* Зато вышеуказанная комиссия издала распоряжение, чтобы атлантические корабли впредь избегали районов, где встречаются айсберги. Это распоряжение опротестовали все английские и немецкие капитаны, подав особую петицию, в которой говорилось, что близость айсбергов не может служить поводом для изменения курса корабля. Катастрофа вызвана не скоростью движения, а весом обоих тел — корабля и айсберга. Даже если бы «Океаник» плыл с половинной скоростью, он все равно обрушился бы на айсберг с такой силой, что при столкновении неизбежно получил бы пробоину.

---

[1] Министерства торговли (*англ.*).

Именно в подобном случае, когда от всех нас ускользают причины ужасного несчастья, мы должны задуматься над его *существом.* С ростом массы и скорости корабля увеличивается его инерция; с ростом инерции возрастает время, необходимое для остановки или поворота, и во много раз увеличивается возможность столкновения. Слишком большой корабль, преодолевающий все бури и морские течения, становится жертвой уже только собственной величины и скорости, собственного *совершенства.* Беспредельно совершенствуются творения человека, неизменно приближаясь к идеалу и уподобляясь самой человеческой мысли. Но, кажется, извечно существуют *два ряда:* один, в котором по законам причинности и логики развертывается конструктивное творчество человечества и все великие его осуществления; и другой — состоящий из нарушений, не подчиняющихся закону и беспричинных, рожденных хаосом; человек никогда не сможет овладеть им, ибо это ряд бессознательности и стихийного произвола. Жизнь все время проходит через оба ряда, и продолжение одного означает вместе с тем продолжение другого, новое усовершенствование — новые разрушения; если творения рук человеческих подобны чуду, они всегда будут подвержены *магии разрушения.* Но и эта взаимозависимость не представляет собой некоего закона катастроф; если бы это было *закономерностью,* человек сумел бы овладеть ею, но тут он бессилен.

Где же тот человек или то существо, которых можно было бы счесть *причиной* этой бессмысленной катастрофы? Ибо ощущение ненависти или облегчающее душу сознание, что я могу кого-то обвинить, безмерно осчастливили бы меня. Откуда сердцу взять столько доверчивости, чтобы я поверил в вечное предопределение судьбы, скрывающей в себе все поводы и основания? Могу ли я обратиться за утешением к высшим причинам, могу ли ослепить самого себя светом высочайшей воли? Нет, нигде я не вижу никого, кто рассеял бы мой ужас, никого, никого, в чьи руки я мог бы вложить остаток своей жизни. Я стою здесь, в смертельной пустоте, устрашенный хаосом и беспричинностью этой бессмысленной гибели, стою в пустоте, проникающей в самую глубь моей, лишенной содержания, жизни, настоящее которой — боль, а будущее — бездонная черная дыра.

Место, где погиб «Океаник», обозначено лишь звездами на небе. Они вечно горят над этой братской могилой, свидетельствуя о людской смерти и о той, которой одна только моя любовь придает обаяние красоты. Я вижу ее, какой она была в последнюю минуту, возможно, уже став призраком; глаза ее, лишенные света человеческого разума, обрели небесное выражение слабости и страдания, преобразившее мою любовь в вечное сочувствие, в самый чистый плач сердца, на какой только способна наша злая душа.

В моем желании умереть вместе с нею была некая потаенная жестокость; одурманенный злой страстью, я разыскивал ее в толпе; мое оцепеневшее сердце было полно отчаяния, и я вступал в схватку с теми, кто хотел жить и стоял на моем пути к смерти. Я увидел ее издалека, и моя душа очнулась, все таившееся во мне зло в страхе отступило перед откровением ее взгляда. Ничто так не заслуживает права на жизнь, как слабость, нуждающаяся в охране и снисхождении, нет ничего чище взгляда беззащитных, ибо он обращен к одной только доброте человеческого сердца и к его готовности прийти на помощь.

Тогда в последний раз засветилась во мне вся моя жизнь. Это была последняя вспышка чудесного сияния жизни, которое, исходя из глубин человеческой души, проницает и озаряет все заволакивающую тьму. Но потом все вдруг погасло, тьма сгустилась, и из нее исторглось вечное рыдание.

Неожиданно я очутился перед кордоном людей, которые с револьверами в руках сдерживали толпу; и она исчезла за ними столь же непонятно, как исчезает и кончается сон.

Когда на воду была спущена *последняя лодка,* корабль показался мертвым и темным; все ближе слышался гул волн и все дальше отодвигалось небо, словно при бесконечном падении в глубину. Толпы на палубе вознесли к небесам душераздирающий крик, подобный реву моря, и к звенящему гулу целого света присоединились первые звуки погребального хорала.

Шестнадцать лодок врассыпную покидали место смерти. Я знал, что той, которая была моей последней мыслью, пет на палубе «Океаника» и что я ее *никогда не увижу.*

Я вновь искал смерти или какого-либо иного избавления; бросился в воду и поплыл за лодками, ибо человек

не умеет умирать, не сопротивляясь смерти до последнего вздоха. *Тут «Океаник» накренился так, что корма его отвесно повисла в воздухе, на миг застыл и разом погрузился в морскую пучину.*

Когда под утро подоспела на помощь «Карпатия», на поверхности океана не осталось никого, кроме тех, кто спасся в лодках. Но ее не было ни среди спасенных, ни среди тех, кого доставили на сушу для погребения.

Жизнь угасла в моих глазах, и безграничная пустота обступила меня. Вокруг нет ничего, к чему бы я мог прикоснуться; все на свете исчезло, я вижу только смутные тени вещей, не выношу их, но не могу от них и укрыться.

В руках у меня список утонувших, список всех пассажиров «Океаника», но я не знаю, какое из имен принадлежит ей. А там есть нежные имена, — хочется плакать и без конца повторять их.

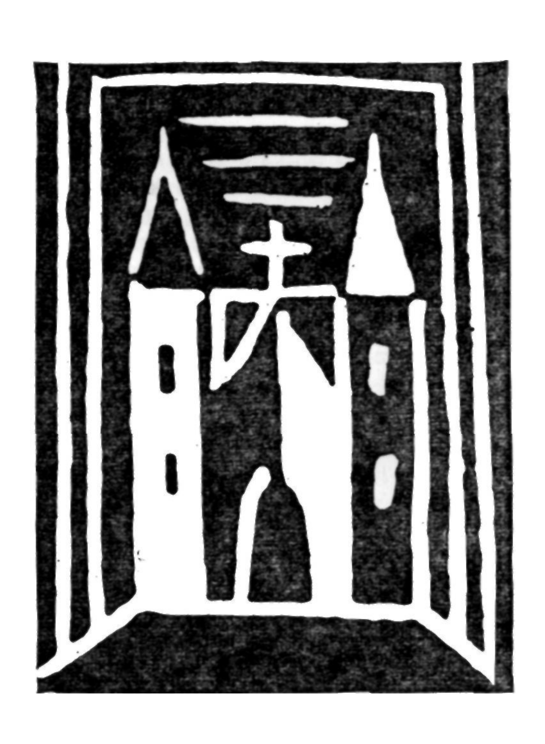
Все прочее — тени, а я могу думать лишь о фактах, о том, что я видел воочию, — о призрачном корабле, который нес на своем борту подобия людей и растворился в воде, как кусок льда; обо всем этом сне, навсегда наполнившем грустью мое сердце.

Я думаю о ней, пребывающей в странном мире исчезновения, и неустанно соединяюсь с ней, переходя в небытие, как и она.

Вокруг меня нет ничего, ничего, моя жизнь только грезится мне и ничем не кончается.

Смилуйтесь над моею душою!

Распятие



След

Бесконечно и покойно падал снег, покрывая стылую землю. «Почему-то вместе со снегом всегда опускается тишина», — подумал Боура, укрывшись в какой-то конуре; на душе у него было торжественно и грустно; он чувствовал себя всеми покинутым среди этой пустынной равнины. Спрятав под волнистым снежным покровом путаные следы жизни, земля опрощалась и выравнивалась у него на глазах, делаясь однообразно унылой и беспредельной. Наконец снег поутих, и танец снежинок — единственное движение в этой упоительной тишине — прекратился.

С робостью и трепетом бороздит пешеход нетронутую снежную целину, и странно ему оставлять первым длинную цепочку следов. Однако с противоположного конца навстречу движется еще кто-то, чернея из-под белой пороши; теперь две цепочки, встретившись, побегут рядом, и на девственно-чистой поверхности появятся первые признаки людской суеты.

Но встречный вдруг остановился; на усах у него снег; человек напряженно всматривается куда-то в даль. Боура замедлил шаг и проследил за направлением его взгляда; цепочки следов встретились и застыли.

— Во-он там видите — след? — спросил запорошенный снегом незнакомец и показал на какую-то вмятину метрах в шести от того места, где они стояли.

— Да, это след человека.

— Разумеется, но откуда он там взялся?

«Наверное, прошел кто-нибудь», — хотел было ответить Боура, но смутился: след был единственный; ни впереди, ни сзади — нигде ничего; резко и отчетливо отпечатавшись на снежной поверхности, след не вел никуда; он был одинок.

— Откуда он там взялся? — подивился Боура и двинулся было поглядеть.

— Погодите, — удержал его собеседник, — наделаете вокруг лишних отпечатков и все затопчете. А тут надо разобраться, — недовольно добавил он. — Куда это годится — один-единственный след? Положим, кто-то прыгнул

отсюда прямо на середину поля; в таком случае следов рядом могло не быть. Но кому под силу прыгнуть так далеко? И как этому прыгуну удалось устоять на одной ноге? Ведь он неизбежно должен был бы потерять равновесие, а тогда ему пришлось бы опереться на другую ногу; к тому же он пробежал бы еще дальше — как всегда, когда на ходу соскакиваешь с трамвая. Но тут других отпечатков *нет.*

— Чепуха, — произнес Боура, — если он прыгал отсюда, следы остались бы и на дороге, а здесь шли только мы. Перед нами никого не было.

— След повернут пяткой к дороге; неизвестный двигался именно в том направлении. Если бы к деревне, то он повернул бы направо, потому что слева — чистое поле, а какого черта теперь искать в чистом поле?

— Позвольте, но путник должен был куда-то уйти, а я уверяю, что он вообще не трогался с места, потому как других следов не видно. Это же ясно. Следовательно, тут никто не проходил. Значит, разгадка в чем-то ином.

Боура усиленно соображал.

— Знаете, могло быть углубление на почве, а может, чей-то след отпечатался на подмерзшей земле и потом его припорошило снегом. Или представьте, что там стоял старый брошенный башмак и, когда прекратилась метель, его унесла ворона. Вот на земле и осталось пятно, напоминающее формой башмак. Этому нужно найти естественное объяснение.

— Если бы башмак стоял в поле перед снегопадом — под ним чернела бы земля, а там теперь снег.

— Значит, ворона унесла башмак, когда еще мела метель; или птица уронила башмак на лету, и он шлепнулся в чистый снег, но она снова его подняла. А, кроме того, это может быть не обычный след.

— Что же, птицы глотают башмаки, по-вашему? Или устраивают в них гнезда? Малая птаха башмака не поднимет, а большая в таком гнезде не поместится. Тут приходится рассуждать отвлеченно. Я полагаю, что это — след, но если его оставил не человек, то, значит, снег примят кем-то сверху. Вы считаете, что тут замешана птица, но вполне возможно, что кто-то сделал это с... аэростата, например. Допустим, некто повис на аэростате и одной ногой коснулся снега, чтобы всех подурачить. Не улыбайтесь, мне самому неловко давать столь неправдопо-

добное объяснение, но... Я буду счастлив, если это — не след.

Спутники двинулись в сторону загадочного отпечатка.

Открывшаяся им картина не могла быть ясней. От придорожного рва покато простиралась снежная целина, и одинокое пятно темнело где-то посредине поля; неподалеку от него, все в снежных хлопьях, стояло хрупкое деревце. Пространство от дороги до отпечатка башмака — нетронуто, нигде — ни намека на самолегчайшее прикосновение ноги; поверхность снега — белым-бела. Снег — мягкий и податливый, не то что сыпучая морозная пыль.

Посредине поля на самом деле был след — отпечаток большого американского сапога, на широкой подошве и с пятью крупными гвоздями на каблуке. Чистый снег плотно спрессован, нигде ни одной непримятой снежинки; значит, след появился после снегопада. Отпечаток глубокий и четкий. Тяжесть, пришедшаяся на небольшую площадь подошвы, должна была быть много больше веса любого из мужчин, склонившихся теперь над следом. Гипотеза птицы и поднятого башмака отпала сама собой.

Как раз над отпечатком башмака деревце протянуло свои длинные веточки, тоненькие, укутанные снегом; снег на них не был ни ссыпан, ни стрясен. Малейший щелчок — и он обвалился бы тяжелыми комьями. Гипотеза «шага сверху» теперь совершенно исключалась. «Сверху» ничего нельзя было предпринять, не сбив с дерева снег. Не осталось ни малейшего сомнения — перед ними был обычный след.

Вокруг — лишь чистое искрящееся пространство. Путники поднялись вверх по косогору и пробежали по гребню холма; по-прежнему далеко-далеко вниз тянулся засыпанный белым снегом склон, за ним подымался другой, еще обширнее и белее. И до самого горизонта не было даже намека на след второй ноги.

Возвращаясь обратно, спутники обнаружили лишь сдвоенные ряды собственных следов, такие ровные и четкие, словно их провели по линейке. PI в самом центре пространства, окруженного этими рядами, зиял след иной, более крупной ноги, циничный в своей обособленности; что-то удерживало людей от желания растоптать этот след, избавиться от него с общего молчаливого согласия. Обессиленный и опустошенный Боура опустился на придорожную тумбу.

— Над нами кто-то подшутил, — проговорил он.

— Возмутительно, — заметил другой, — ужасно глупая шутка, но... черт побери, есть же пределы физически возможного! Ведь это все-таки неестественно... Знаете, — вырвалось у него, и в голосе послышался ужас, — ежели там один след, то, может, это был одноногий? Не улыбайтесь, я понимаю, все это глупо, но какое-то объяснение *должно* ведь быть? Тут под сомнение поставлен разум, это же начало чего-то... Либо мы оба спятили, либо я валяюсь дома в горячке, но только всему *должна быть* причина.

— Мы оба спятили, — задумчиво произнес Боура, — нам все подай «естественное» объяснение; мы хватаемся за сложнейшие, невероятнейшие, бессмысленнейшие предположения — только потому, что они «естественные». А, наверное, было бы куда проще и естественнее признать, что это просто чудо. Мы подивились бы и спокойно разошлись по своим делам... Без смятения в душе, скорее всего даже довольные.

— Нет, я не был бы доволен. Если бы след ознаменовал нечто великое... принес счастье... я сам упал бы на колени и возгласил: «Чудо!» Но это ведь просто неловко; это ничтожно мало — оставить один отпечаток вместо обычной вереницы следов.

— Если бы у вас на глазах воскресили умершую девушку — вы пали бы ниц и смирились; но не успеет на ваших коленях растаять снег, как вам придет в голову, что это был обман, лишь мнимая смерть. А тут как раз никакого обмана, ничего мнимого, тут вам продемонстрировали чудо в простейших условиях, как при чистом физическом эксперименте.

— Я, вероятнее всего, не поверил бы даже воскрешению из мертвых. Но и я жажду спасения, и я надеюсь на чудо... будто вот-вот произойдет что-то и перевернет всю мою жизнь. Этот след не спасет меня, не перевернет моей жизни, не выведет никуда, он лишь мучит, словно заноза, засевшая в мозгу, и я не могу от этого избавиться. Я в него не верю. Чудо успокоило бы меня, но этот след — первый шаг к сомнению. Лучше бы уж его вовсе не видать.

Оба надолго умолкли. В воздухе снова закружились снежинки, снег повалил гуще прежнего.

— Кажется, у Юма, — прервал молчание Боура, — я читал об одиноком следе на песке. Значит, такое встречается не впервые; по-моему, таких следов — тысячи, бесконечное множество, а мы их не замечаем, потому что привыкли к определенным правилам. Иной, например, на этот след и внимания не обратит; ему и в голову не придет, что это — уникальное явление, что он — единственный, что на свете существуют вещи, которые ни с кем и ни с чем не связаны. Посмотрите, как похожи наши с вами следы, но этот, единственный, — больше и глубже, чем наши. Когда я думаю о своей жизни, мне представляется, что в ней есть следы, которые ниоткуда и никуда не ведут. Это невероятно трудно — представлять все, что ты пережил, в виде звена некоей цепи, которое возникло однажды и в свой черед уступит место следующему звену. Бывает, что вдруг вам явится откровение или вы нежданно ощутите нечто, чего не было раньше и никогда не будет потом. Среди людских дел есть такие, которые ни с чем не соединишь, они тотчас обнаруживают свою обособленность. Мне известны поступки, которые ничем не кончались, ничто и никого не спасали, и все-таки... Случалось такое, что никуда не вело, от чего никому не стало легче жить, но, возможно, это и было самым главным в жизни. Вы не находите, что этот одинокий след — прекраснее всех, виданных вами до сих пор?

— А мне, — отозвался собеседник Боуры, — припомнились семимильные сапоги. Наверное, когда-то люди тоже наткнулись на подобный след и не смогли подыскать подходящего объяснения. Кто знает, может, предшествующий след обнаружится где-нибудь у Пардубиц или у К*о*лина, а последующий — у самого Р*а*ковника? Я вполне могу себе представить, что второй такой след отпечатался не на снегу, а, скажем, среди толпы, на земле, во время празднества, там, где нечто уже произошло или еще произойдет; что этот шаг — звено в некоей непрерывной цепи шагов. Вообразите ряд таких чудес, и этот наш след найдет среди них свое естественное место. Если бы газеты были полностью информированы обо всем происходящем, возможно, из «Новостей дня» мы могли бы узнать о последующих шагах и проследить чей-то путь. Может, это некое божество сейчас шествует себе не спеша, но вполне продуманно и последовательно; возможно, его путь — это и есть некий высший знак, за который

нужно ухватиться. И может быть, нам следовало бы пойти по стопам этого божества. Не исключено, что для нас это было бы спасением. Все, все вполне вероятно... Но разве не страшно — *с предельной отчетливостью* различить пред собою один-единственный след и не быть в состоянии сделать дальше ни шагу?

Боура, содрогнувшись, встал. По земле мело, мело все сильнее. Истоптанное поле и единственный отпечаток американского сапога исчезли под слоем свежевыпавшего снега.

— Я не отступлюсь, — буркнул заснеженный мужчина.

«От следа, которого уже нет и не будет больше...» — про себя договорил Боура, и путники разошлись в разные стороны.

Лида

Голуб еще нежился в постели, когда к нему ворвался молодой Мартинец и бросил: «Пропала Лида!» Он был бледен и очень взволнован; с трудом выдавил из себя, что он и мать рассчитывают на дружеское участие Голуба и нуждаются в его совете. Лида ушла из дому вчера после обеда будто бы навестить кого-то и до сих пор не вернулась.

Голуб молчал; он был бы рад сказать что-либо утешительное, но не знал что. Перед его глазами всплыл образ Лиды, какой он видел ее в последний раз: девушка сидела на кушетке, сжавшаяся в комок, притихшая и трогательная; пристально глядя на собеседника, она тем не менее слушала его рассеянно; не удаляясь от общества, она словно старалась остаться в тени, не быть на глазах. Голубу Лида показалась странной и подавленной.

I

В последнее время Лида и впрямь вела себя странно. В голосе ее и жестах проскальзывала печаль, девушка была стеснена ею и не могла сделать ни одного движения непринужденно; потом, однако, как-то освободилась от

этих пут и только говорила и смотрела откуда-то издали, словно из полной и безликой пустоты; но вскоре исчезло и это, остались лишь следы легкой рассеянности.

В тот день Лида с аппетитом ела, была оживлена и до мельчайших подробностей обсуждала фасон своего нового платья. Потом ей вздумалось навестить приятельниц. Ушла она в хорошем настроении и без каких-либо признаков беспокойства. Ничто не предвещало беды.

Только с вечера потянулись тревожные часы ожидания. Малейший скрип входных дверей — и перехватывало дыхание; чуть забрезжившая надежда, становясь явственнее, рождала в душе томительное волнение, по, продлившись несколько нестерпимо напряженных мгновений, рушилась: никто не появлялся. С еще большим беспокойством ждали очередного стука двери; при любом отдаленном глухом ударе мимолетное мгновение замирало, тянулось мучительно долго, терзало самое себя и вновь съеживалось, словно пружина. Наконец, в девятом часу, дом затих. Теперь надо всем распростерлось бездонное, безнадежное и безмерное время; ожидание сделалось непрестанной болью; не исчезая, боль распространялась вширь и вглубь одновременно. Лишь бой часов отдавался в мозгу, как пульсация крови в разбереженной ране.

Беспокойство прижало всех к стеклам окон. Внизу, на мокром дне улицы, несколько прохожих; любая женская фигура чем-то напоминает Лиду; все кажется, будто любой пешеход — спешит он или бредет медленно — несет весть от Лиды. Вот один остановился возле дома — и невыносимое, с замиранием сердца ожидание теснит грудь; но прохожий уже двинулся дальше — и снова ожиданье непомерной тяжестью опускается куда-то в глубь вашего существа. Внезапно на улице показались дрожки; их пронзительное дребезжание звучит взволнованным, прерывистым, поспешным объяснением; вы уже готовы лететь вниз по лестнице, но дрожки протарахтели, и стук их еще долго слышен откуда-то издали, словно у улицы пет конца. Прохожие редеют. И всякий раз удаляющиеся шаги уносят безмолвную печаль все дальше и дальше; уже только издали доносится звук шагов, словно слабое тиканье безнадежности. Улица пустынна; налево и направо расстилается необозримый путь одиночества. Ожидание обмерло. Слилось в бесформенный ужас.

Он воцарился тут с самого начала — сперва подвижный, текучий, то слабеющий, то усиливающийся. Мало-помалу ужас окаменел, сделался ощутимой тяжестью, неизъяснимым бременем, сжимающим грудь. Но это была обманчивая недвижность гигантского яйца, которое сосредоточенно готовится ожить. Оно вздувается, как нарыв; вместе с ним непрерывно растет тупое, гнетущее напряжение; оно кажется безучастным, но вдруг сосредоточивается где-то в глубине души, в одной точке пронзительной боли. И вся тоска сливается в едином предчувствии, что с Лидой случилось непоправимое. Дикий ужас взрыл ночь людей, не находивших себе места. Взметнувшаяся со дна души смутная тревога прорвалась наружу и обернулась ощущением ужаса; предчувствие, словно призрак, обрело почти явственное существование. «Мне привиделось, — записал позже Мартинец, — будто желтые входные двери окроплены кровью; я знал: за ними в подъезде лежит мертвая Лида, потому что *я это видел доподлинно;* облик двери, устрашающий, бесчувственный, по-людски зловещий, переполнял меня ужасом и мукой. (После той памятной ночи я стал замечать, что у *любой* двери есть свое, особое обличье.) Я не смог отогнать это наваждение, несмотря на отчаянные усилия. Но вдруг видение желтой двери потухло и передо мной явились бегущие люди, «скорая помощь» и нескончаемая череда замерших трамваев — беспощадный, беспредельно разрастающийся миг уличной катастрофы. В голове роились и другие образы, столь же навязчивые, словно внушенные извне, и реальные; до сих пор я не в состоянии понять, откуда взялось столько голой, чуждой и внешней реальности в образах, рожденных одной лишь тревогой».

Тревога все глубже врастала в явь. В истерической поспешности одевалась мать, готовая стучаться ко всем знакомым, бежать на поиски, хоть куда-нибудь... Сын удержал ее; если беда стряслась у друзей — они давно сообщили бы об этом; сам он побежал в полицию. Лестница внизу зияла, словно черный колодезь; с каждой следующей ступенькой отчаяние становилось все безнадежней; с каждым шагом случившееся все неумолимее представлялось ему грубым, осуществившимся фактом. Мертвенно-пустынные проходы улиц были пропитаны сырой мглой, происшествие облекалось плотью, овеществлялось и разрасталось, словно в него проникало все больше

и больше необработанного и тяжелого вещества. Коридоры полицейского управления и днем выглядят уныло; теперь же их холодная, пустынная печаль сделалась естественной частью призрака беды, и желтая, крайне неприветливая приемная уместилась в этой картине непреложным и мучительным фактом; несчастье обрело какое-то чуждое звучание в безучастном голосе чиновника, проговорившего: «Никаких сведений не поступало; имя и фамилия вашей сестры?»

Мартинец уходил с тяжелым сердцем; дело принимало все более страшный и неприятный оборот; по сонному городу — к полицейским отделениям, к приемному покою «Скорой помощи» катят дрожки, от госпиталя к госпиталю, — всюду ожидание, пустынность, тягостная тишина, в конце концов — шаги по коридору и недовольный, заспанный голос: «Девушки — мертвой или раненой — в этот день нигде не зарегистрировали», — однако все фактическое и внешнее, удручающее и отчужденное, с чем он столкнулся сегодня на своем изнурительном пути, сомкнулось с призраками несчастья в один общий безмерный и непостижимый мир горя и беды.

Мартинец медленно брел домой; но уже в дверях его встретил вопрошающий взгляд матери, и он понял, что рухнула их последняя надежда. С быстротою молнии в голове пронеслось: с самого начала они всё делали лишь с одной целью — скрыть друг от друга страшную муку предчувствия, что Лида сделалась жертвой преступления. Как будто вдруг обнажилась отвратительная рана — холодный, ясный страх, отчетливый и жуткий. Оба вдруг осознали то, что втайне предчувствовали: над Лидой совершено насилие, она похищена, грубо изнасилована и теперь лежит где-то, беспомощная, обесчещенная или мертвая; это была кульминация кризиса, которая не могла Длиться долго, и все же ощущение ее не исчезало до самого конца; хотя страх давно отпустил их, миг этот продолжал отбрасывать свою тень, словно вечное memento[1] боли.

В час кризиса пани Мартинцова упала на колени и читала молитвы, горячо и поспешно:

«Господи Иисусе, луч света извечного, смилуйся над нами! Господи всевышний на небесах, смилуйся над

[1] напоминание (*лат.*).

нами! Господи всеблагий, помилуй нас! Господи Иисусе, всевидящий отец наш, смилуйся над нами! Господи Иисусе, ангел небесный, смилуйся! Иисусе, тихий и покорный сердцем, смилуйся! Господи Иисусе, творец мира и покоя, смилуйся над нами! Ради таинства святого твоего преображения, освободи нас, господи! Ради смертной твоей тоски и мук твоих, господи, освободи нас!»

Монотонно и механически падали слова молитв, словно капли воды или уходящие мгновенья; этот призыв повторялся непрестанно, до умопомрачения, как бы измеряя глубину горя. Это был вопль страдания, который, многократно повторяясь, вливается в беспредельное и странно нудное однообразие застоявшейся печали. С каждым новым обращением к господу, с каждым повтором печаль водворялась все полнее, неся тишину и оцепенение. Вскрик за вскриком — и вокруг становится все более одиноко и пусто; все измерения времени растут, как растет глубина от ритмического вращения бура. Все окружающее будто испарилось и улетучилось; куда-то отступила, отодвинулась мучительная близость предметов; и. словно по безграничному пустому простору, сквозь оцепеневшее сознание несется монотонное: «Господи Иисусе, смилуйся над нами».

Каждое слово молитвы исполнено таинства и уносится в бесконечность; не сетует и не обвиняет, не впитывает человеческое горе и не рассказывает о нем, но уносится в бесконечность и уносит с собой людское страдание. Чем же ты сделалась, боль, окруженная этим горизонтом без конца и края? Что еще осталось от тебя, сущее мгновение, во все стороны распахивающееся в вечность? О, скорбное сердце, есть ли в мире что-нибудь большее, чем милосердие и избавленье?

«Всемилостивый боже, очи твои провидят мою печаль и по вздохам моим читают мою тоску, ты, кто так часто бывал милостив ко мне, взываю к тебе ныне из глубин души своей. Услышь голос мой и приди на зов мой, ибо судьба моя в твоих руках».

Мало-помалу, почти неощутимо, пустота заполняется. Как будто из молитвы хлынуло что-то изобильное и бесформенное. Каждое слово раскрывается до беспредельной глубины; нечто изменчивое, неизъяснимое раздвигает человеческое восприятие за пределы очевидного — до нереального и неопределенного. В перерывах между молит-

вами близость вещей снова обрушивается на душу, и оттого с удвоенной силой и повышенной настоятельностью звучат потом молитвенные вскрики. Вещи, вновь омертвев, расступаются; из неисчерпаемого богатства весомых слов образуется странная атмосфера, которая обволакивает вещи, хороня их в своей глубине. Это — мучительные и страшные вещи, они напоминают о Лиде и о ее несчастье. И все это недвижно, омертвело, погружено в беспредельную глубину; это — лишь тела, помещенные в прозрачный стеклянный шар, в недвижно-тихую атмосферу, которая держит их в плену, в глубинах безмолвия и покорности.

После томительного часа молитв пани Мартинцова поднялась, словно очнувшись. Все переменилось вокруг; прах и пепел, из которых слагается реальность, тихо сгустились в новый порядок; все, вплоть до последней мертвой вещи, надело новую маску — терпеливое выражение покоя: «Будь что будет».

Меж тем молодой Мартинец до самого рассвета метался из угла в угол. Чем дольше размышлял он над происшествием с Лидой, тем таинственнее оно ему представлялось. Его мучили уже не догадки, а вопросы. Мерзкое преступление, жертвой которого стала Лида, вовсе не мираж; это проблема, разрастающаяся с каждым новым вопросом и ответом. Ибо в абсолютном мраке случившегося *не исключено самое страшное.*

Боже, что предпринять? Довериться полиции? Но полиция начнет допрашивать, и прежде всего — Лидиных знакомых; ее злополучное несчастье разнесут по всему свету и осудят, а если Лида вернется, ее уже успеют пригвоздить к позорному столбу; постыдное клеймо останется на ней навсегда. Лучше уж все скрыть — да, но тем временем прибегут Лидины подружки, будут расспрашивать, что с ней; если больна — они захотят ее навестить. Если болезнь опасная — явятся тетки и ни за что на свете не отрекутся от своего права бодрствовать, как всегда, у изголовья своей любимицы. Притворяться, будто она уехала, тоже нельзя, так как Лида не пришлет никому даже самой скромной открытки и привета. Они поймут, что от них нечто утаивается, учуют атмосферу лжи и недомолвок.

Скорее всего, Лида вернется; но привычный доброжелательный мир, в котором она жила прежде, окажется разрушенным; капля по капле жестокость будет просачиваться в ее жизнь, тысячи разнообразных вещей коснутся раны, с которой она придет в дом, ибо девичья жизнь соткана из тончайшей и нежнейшей пряжи и легко ранима.

Боже, что предпринять? Да-да, найти ее, живой или мертвой; живую — защитить от позора и муки; мертвую — оградить от неуместного вмешательства газет, жаждущих сенсаций; любой ценой защитить Лиду!

День занимался серый и холодный; сегодня Лида должна быть найдена, но Мартинец, надев шляпу, все еще колеблется и не уходит из дому...

Где Лида? Что же, собственно, с ней приключилось и где ее искать? У него уже сложился определенный план и четкая гипотеза; но сейчас все как-то отпало само собой... Впопыхах вырисовывается новая альтернатива действий; таинственное исчезновение Лиды выглядит уже по-иному, обрастает новыми мучительными подробностями; одна за другой в мозгу рождаются все новые идеи и внезапные догадки. Мартинец неутомимо перебирает все «за» и «против» — одно за другим; с лихорадочной поспешностью набрасывается на каждую новую возможность, развивает, а затем отвергает ее. Господи, что предпринять?!

Терпеливо, словно убогий наук, мозг ткет все новые и новые альтернативы. Медленно, мучительно, словно из маленьких камешков, воздвигается очередная гипотеза. Трепетно, боязливо тянется тоненькая нить еще одной возможности. Все чаще останавливается мысль, и приходится страшно напрягаться, чтобы сдвинуться с места; одно и то же слово, как бы произнесенное вполголоса, возвращается многократно, и нет на всем белом свете слова, которое можно было бы поставить рядом с ним.

Молодой Мартинец стоит нахмурившись и силится поймать какой-то ускользающий образ. Ничего, кроме непомерной усталости. Все догадки рассыпались в прах. Предположения отпадали, словно отмершие чешуйки; все подсказанное разумом отделилось от него и отпало, все очевидное и мыслимое было отброшено, как пустая скорлупа; и где-то на дне души осталось лишь взбудораженное, беспомощное, нагое ядрышко слепой воли. Это был уже только страстный, безрассудный порыв к борьбе за

Лиду, без оговорок и колебаний; это было бесповоротное решение, это был окончательный выбор.

— Пойду искать Л и д у , — сказал он матери.

— И д и , — прошептала о н а , — да направит господь бог стопы твои.

II

Тогда-то, в полной растерянности, Мартинец и обратился к Голубу за советом. Он пытался рассказать все, что ему было известно, но не находил причин, которые хоть как-нибудь проясняли бы тайну Лидиного исчезновения. Голуб вертел и комбинировал факты и так и сяк, пока не уверился, что из них ровно ничего не следует. Каждый предполагаемый шаг неизбежно заводил в тупик неизвестности. Оставалась лишь острая необходимость и очевидная невозможность действовать. Голуб колебался; воображению то и дело представлялась съежившаяся фигурка...

— По-моему, — начал о н , — Лида сбежала; вам неприятно это слышать, но это — единственное, что я могу предположить. Право, я с радостью выдвинул бы более приемлемую версию. Я не настолько глубоко знаю Лиду, чтобы точно определить, какие поступки соответствовали бы ее натуре. Вы — ее брат; наверное, вы знаете сестру лучше и можете с полной уверенностью сказать: нет, сбежать она не могла, на это она не способна.

— Этого я утверждать не м о г у , — сокрушенно признался М а р т и н е ц , — я вообще не понимаю, что можно, а что — нет; ручаюсь только — поводов для побега у нее не было.

— Речь идет не о поводах: поводы девушка всегда находит только в себе самой. Любая Лида способна нас поразить, совершив то, чего *от нее* никто не ожидал. Их побуждения нам неведомы. В душу не влезешь. Поводы, дружище, в расчет принимать не приходится; поводов может быть великое множество. Но вот поступков — куда меньше, и потому логика их проще. Мы можем выдвинуть бесконечное количество мотивов, сообразно которым вела себя Лида, а вот число поступков, которые она могла совершить сама либо предпринять по чьему-то наущению, ограничено. Собственно, поступок кладет предел любой неопределенности. Поступки уже не столь субъек-

тивны, как их мотивы; в них есть единообразие, повторяемость и закономерность, которые не зависят от мотивов и вообще не подчиняются нашим желаниям или побуждениям. Поступки фатальны.

Раскольникова толкнули на преступление необычайные мотивы; его план был обдуман до последних мелочей и совершенно оригинален; однако исполнение оказалось вполне заурядным — обыкновенное убийство с целью ограбления, каких до него и после совершались сотни. И самое поразительное, что произошло оно как-то случайно.

Скажем, мотивы любого самоубийства *сугубо индивидуальны.* И все же каждое такое самоубийство обыкновенно повторяет другие: служанки, как правило, прибегают к яду, а не к бельевой веревке; это — не обязательно, но это — обычно. Совершая свои поступки, мы бессознательно принимаем за образец наиболее часто встречающиеся решения; вероятно, и сама действительность движется в том же направлении. И чем событие обыкновенное, тем чаще оно повторяется. Временами оказывает свое действие закон серийности, не из-за какой-либо внутренней причинной связи, но скорее всего случайно, бессознательно, по привычке... Словом, сие от нас не зависит. Чистейшее стечение обстоятельств. А значит, мы имеем право предполагать, что и в Лидином случае «обычность» играет определенную роль.

— Лидин случай совсем особый, — возразил Мартинец.

— Ну хорошо, допустим, что он совершенно необычен, — согласился Голуб, — однако наблюдается парадокс необычных случаев: они повторяются. Повторяются несчастья, самоубийства, преступления и рекорды. Игроки в рулетку прямо-таки вынуждены считаться с парадоксальностью случаев, с повторяемостью редких явлений. Словом, даже самые необычайные поступки подпадают под правило фатального однообразия и повторяемости. И Лидино несчастье тоже имеет аналогии в недавнем прошлом.

Вы хотите разыскать Лиду, хотите разгадать тайну, ключи от которой вам не даны. Все ваши предположения могут соответствовать истине; ведь чем меньше мы знаем, тем многообразнее вероятность. Значит, остается одно: отыскать среди всех мыслимых возможностей — самую

правдоподобную и реальную; а это и есть заурядная возможность, более или менее обыкновенная, будничная и повседневная.

Все обычное — правдоподобно не потому, что оно основательнее мотивировано, а потому, что чаще случается. Говоря о правдоподобии, необходимо принимать в расчет обычность происшествий, непроизвольную повторяемость поступков; нужно считаться с тем, что даже при абсолютно непостижимых, сугубо индивидуальных мотивах результаты получаются однообразные, фатально безличные, а следовательно, вполне предсказуемые; и задача состоит не в том, чтобы обнаружить факт, а в том, чтобы угадать волю рока, который действует слепо и по шаблону.

Для нас необъясним факт Лидиного исчезновения, и мы силимся представить хотя бы его правдоподобное развитие; но — заметьте! — тем самым мы искушаем судьбу. То-то и то-то мы считаем правдоподобным; будем надеяться, что рок и впрямь подчинил себе Лидины поступки и, хотя она этого не сознавала, управлял ею.

Я, так же как и вы, полагаю, что здесь играют роль обстоятельства, которые затрагивают честь Лиды-женщины. Это в высшей степени правдоподобно, поскольку Лида — прелестна. Вопрос только в том, насилие ли это? Разумеется, для вас этот вопрос решается однозначно... Но совершить насилие вовсе не так легко, как вам кажется. Так просто, ни с того ни с сего, на Лиду не нападешь. Обратите внимание: лишь только вы захотите представить, как это *могло* произойти, — вы теряетесь. Затащить и изнасиловать взрослую девушку здесь, в городе, можно лишь при исключительно благоприятном стечении обстоятельств; а исключительные обстоятельства — это плод фантазии, но никак не реальность.

К сожалению, я не могу убедить вас более основательными доводами; их у меня нет. Но если исключено самоубийство и несчастье, значит, речь может идти либо о насилии, либо о бегстве. Насилия совершаются чаще всего при совершенно других отношениях, в другой среде, среди крестьян. Я вообще не припомню ни одного случая, чтобы нечто подобное случалось в наших с вами обстоятельствах; и, напротив, помню десятки и сотни побегов из дому. Следовательно, Лидин случай в значительно большей мере похож на побег, чем на изнасилование, поскольку побег — дело более обыкновенное.

— По-вашему, Лида — обыкновенная девушка? — тихо спросил Мартинец.

— Нет, но тем хуже для нее. Обычно влюбленные, решаясь на побег, преодолевают какое-то препятствие. Поскольку Лиде ничего не возбранялось, значит, ей мешало *нечто неразрешимое,* нравственное, что она преодолевала в себе самой. Вероятно, тут замешан некто, кого никто из вас не знает. Очевидно, препятствие заключалось *в нем.* Вы вольны воображать какие угодно романтические истории, но обыкновенно все выглядит довольно прозаично. Истинная любовь обладает слишком высокой способностью переносить страдания, чтобы опуститься до подобного решения. В большинстве случаев девушка становится жертвой, она запутывается в сетях страсти; в подобных случаях обычно все происходит так, словно решающим был самый низменный мотив. Вы молоды, и если вы разыщете этого человека, то, очевидно, сочтете своим долгом, долгом чести... короче, вы не должны вести себя с ним как с равным, — добавил Голуб с внезапным участием.

Молодой Мартинец поднялся.

— Вы кончили?

— Не совсем. Есть в этой истории одно весьма красноречивое обстоятельство: Лида ушла из дому совершенно спокойно и перед уходом с аппетитом поела. Аппетит, по-видимому, единственное, что не может быть поддельным. Значит, она даже понятия не имела, что не вернется. Вероятнее всего, она шла на заурядное свидание с этим незнакомцем; но что приключилось с ней потом, в каком положении она оказалась — этого мы не можем сказать: считайте это ослеплением — но все равно это только слово для обозначения мотивов, совершенно нам неизвестных. Что-то произошло с ней внезапно; и если бы она еще заглянула домой, то, думаю, уже не нашла бы в себе сил покинуть вас. Вообще все это страшно загадочно. По-моему, вы разыщете сестру, Мартинец, но не расспрашивайте, не вынуждайте к признаниям, *не унижайте ее.*

— Где же мне ее искать? — нетерпеливо перебил Мартинец.

— Где-нибудь за городом. Существуют десятки тысяч мест, где она может очутиться. На выбор цели могли оказать влияние самые разные обстоятельства; но о них нам

ничего не известно. Если бы Лида действовала рассудительно, исходя из каких-то, нам неведомых обстоятельств, любые наши догадки ни к чему бы не привели; но если она принимала решение вслепую, в состоянии аффекта, случайно, — попробовать можно. И это — парадокс случая. Если бы кто-то, играя в рулетку, ставил по какому-то неизвестному нам плану, мы не могли бы предугадать его действии, но если он играет необдуманно, как бог на душу положит, мы с большей или меньшей уверенностью можем сказать, на какие цифры он машинально поставит: на количество прожитых лет, на счастливое для него число, на круглую дату и т. д. Точно так же в лотерее и в любой азартной игре; и у Лиды — мы можем угадать, где она скрывается, если только она действовала слепо и необдуманно, словно в горячке.

Люди не стали бы участвовать в лотерее, если бы определенные числа не имели для них своего особого, необычного значения. Убежище, избранное Лидой в состоянии аффекта, должно иметь для нее какой-то особый смысл. У любого человека обнаруживается пристрастие к тем или иным местам — потому ли, что там он бывал в молодости, или оттого, что именно там он еще не бывал, а может — просто из-за того, что нравится их название. Это не важно, такие места всегда для нас предпочтительнее, чем остальной мир. Наверное, вы уже припоминаете, о каких местах Лида любила говорить. Или, быть может, она рассказывала, будто во сне ей хотелось уехать куда-то. Может, какое-то название просто застряло у нее в памяти. Лида охотно делится своими фантазиями — попробуйте припомнить... главным образом случайно оброненные слова. Вот видите, вам уже и пришло что-то в голову.

Мартинец молчал, покрывшись потом от слабости.

— Итак, мы можем предположить, что Лида с кем-то бежала, — монотонно продолжал Голуб, — скорее всего, это был человек, встречи с которым по каким-то соображениям считались предосудительными. Судя по всему, Лида сделала это, поддавшись внезапному порыву, запутавшись, поспешно, и тут есть для нас какая-то зацепка, — по-видимому, укрыться она решила в том месте, которое прежде чем-то привлекало ее. Это — самое естественное и самое правдоподобное предположение; но это только предположение, поскольку мы не принимаем в расчет тысячи неизвестных нам фактов; мы не можем ска-

зать, что произошло на самом деле, речь идет лишь о том, что могло произойти вероятнее всего. Полагаю, я не сказал ничего необычного, ведь чем обычнее обстоятельства, тем больше шансов, что все произошло именно так, как мы думаем. Всем этим я не могу убедить ни вас, ни себя. Но даже если я угадаю *реальные* обстоятельства дела — пережитое Лидой все равно останется непостижимым.

Молчание Мартинца ставило Голуба в затруднительное положение. «Я строил на песке, — думал он, — на песке *множества случаев.* Но боже мой, неужто Лида — в самом деле энный случай среди многих других? Разве она не единственная и не самая прекрасная? Не чудо жизни? Но *если я прав,* то имеют ли значение «нераскрытые мотивы» ее поведения, ее муки и метания? Ей принадлежат лишь мотивы поступков и расплата; «события» же развиваются независимо от ее воли — так, словно бы все это служило для них лишь *поводом свершиться».*

Голуб был поражен. «Все, что я говорил, было чудовищно и бессердечно; я совершенно пренебрег тем, что Лида — женщина и человек. Мне бы только подвести свой сомнительный баланс. Я унизил ее ради своих расчетов».

Ужасная тоска охватила Голуба. «Отчего, — думал он, — именно «обыденность» моих предположений так угнетает меня? Бог мой, вся наша жизнь есть не более как «обыденность», только мы этого не замечаем и лишь потому можем существовать и совершать поступки. И вдруг, нежданно-негаданно, эта самая обыденность пугает и поражает нас. Когда мы ее осознаем, она представляется чудовищной; неожиданно мы сталкиваемся с чем-то безличным даже в своих собственных поступках; вдруг обнаруживается, что наша воля — лишь мираж и предчувствие событий, которые от нас не зависят. В каждом нашем поступке остается нечто случайное; однако случайность — это открытый путь, по которому в нашу жизнь вторгается рок. Рок — не железная необходимость, а железная случайность. Даже самое будничное, самое обыкновенное — всего лишь следствие жестокой, неумолимой случайности».

Мартинец пожал плечами.

— Не знаю, что предпринять. Я не могу решиться. Не могу пересилить ужас.

— Вот и я не могу избавиться от страха, — тихо признался Голуб.

— Буду искать, — решил Мартинец, — но иначе. По-моему, здесь необходимо идти путем более глубоких, внутренних решений. Не знаю, может быть, правда окажется в конце концов на вашей стороне, но к Лиде это не относится... Пожалуй, я все-таки туда съезжу. А пока двинусь вслепую, куда глаза глядят, может, увижу след на мостовой и различу оттиск ее каблучков среди тысяч других... Буду надеяться на счастливый случай. Может, произойдет нечто необычное, непредставимое, и это мне поможет. Очевидно, вы правы, но вам не понять, что это значит — разыскивать любимого человека.

Мартинец колебался; ждал, что Голуб посоветует еще что-нибудь; он жаждал этого, чтобы убедиться до конца; но Голуб молчал.

— Ну так скажите же, — выкрикнул Мартинец, — если вы убеждены... если...

— Я убежден меньше вашего, — ответил Голуб.

Мартинец ушел, поблагодарив; обещал зайти после полудня, но не появился; а к вечеру от него принесли записку.

«Ваши догадки подтверждаются, — писал Мартинец, — и, собственно, чисто случайно. Я бесцельно метался по городу; и впрямь разглядывал землю под ногами, не пропустил ни одного закоулка — я понимал, что это безумие, но ничего не мог с собой поделать. Под конец я встретил одного знакомого, и тот — невзначай, сам по себе (заметьте, что и тут есть нечто особенное), — рассказал, что вчера во второй половине дня встретил Лиду и проводил ее к подъезду дома, где ее ждала на примерку портниха. Но я-то знал, что Лида шла не к портнихе, потому что была у нее утром. Она явно хотела избавиться от своего провожатого, чтобы встретиться с кем-то другим. В самом деле она что-то скрывала от нас... Должен сообщить Вам одну очень странную деталь: я вдруг обнаружил, что довольно долго стою на улице возле вокзала; я понятия не имел, что мне здесь нужно, и потому принялся изучать расписание поездов. Станция, название которой вертелось у меня в голове во время нашего разговора, была *подчеркнута ногтем,* таким же способом была выделена и другая остановка, о которой я прежде не думал, но которую Лида определенно упоминала. Создавалось впечатление, словно Лида была тут и выбирала поезд. У меня нет уверенности, но совпадение столь необычно, что я туда поеду.

Да, е щ е , — если я ее разыщу, что будет причиной: Ваша максимально правдоподобная версия или мой счастливый случай? Мама заметила бы, что это перст божий. Не знаю. Еду».

Весь следующий день Голуб провел в чрезвычайном напряжении. К вечеру пришла телеграмма, и он надорвал ее чуть ли не в лихорадке.

В телеграмме сообщалось: «Напрасно побывал обоих местах Мартинец».

В этот миг Голуб ощутил невыразимое, глубокое облегчение. Он улыбался, бегал но комнате, словно на его долю выпал нечаянный выигрыш. «Значит, это не т а к , — твердил он самому с е б е , — значит, это не так! Лида так не поступила!» Его охватила бесконечная нежность и сочувствие к девушке; с губ готовы были сорваться тысячи полуосмысленных слов, которые он мог высказать ей либо просто кому-нибудь...

В тот вечер Голуб ощутил неодолимую потребность быть на людях, среди уличной толпы, в кафе. Ему хотелось растянуть день как можно дольше — на всю ночь и даже до следующего вечера — и не отпускать его от себя ни за что на свете. Побег Лиды теперь представлялся ему в высшей степени поэтическим; Голуб был в каком-то экстазе, веселился от души и сам не сознавал, что просидел в одиночестве и тишине целую ночь. Он чувствовал, что мгновения эти чересчур значительны, чтобы пропустить их; его переполняло нечто огромное, и он боялся раздробить это состояние работой мысли. «Я освобожд е н , — ликовал о н , — боже, сделай так, чтобы искупление было даровано мне надолго! Да не настанет миг пробужденья! Да продлится мой сон! Может быть, Лида сейчас спит, — умиленно думал он, — затерявшись в мире, как белочка в лесу; а я знаю о ее шагах не больше, чем о ее грезах. Но это прекрасно, что она грезит; что живет непостижимой и такой отдельной от меня жизнью, и если заблуждается, то по-своему, а если блуждает, то никому неведомо где. Где бы она ни была, хорошо уже то, что ее нет на месте, отмеченном судьбой, она недоступна, привлекательна и стоит на перекрестке неисповедимых путей; такой я вижу ее теперь. Господи, я ошибался; несчастье, преступление либо рок... Каждый, кто хочет попасть в цель — метит в черное, в черное-пречерное; однако самое черное обмануло меня; то самое черное, ночи черней, чего я *больше всего боялся,* — не случилось».

Вся эта ночь была отдыхом, будто с плеч свалилась тяжелая ноша; но уже на следующий день Голуба согнуло новое бремя. «Отчего я не могу избавиться от всего этого? Почему Лидино несчастье не идет у меня из головы? Отчего, собственно, меня так заботит ее участь? Откуда взялась во мне эта мания?» Перед его глазами снова возник образ молодой девушки — такой, какой он видел ее в последний раз. Она сидела на кушетке, погруженная в свои думы, сжавшаяся в комок, притихшая и почти безучастная ко всему, — и вдруг вздрогнула всем телом. Казалось, будто она сидит на огромной ладони, и ладонь эта постепенно сжимается. Этот неотступный образ терзал его сердце.

Наконец пришло еще одно письмо от Мартинца: «Дорогой пан Голуб, мне так необходимо поговорить, что я должен хотя бы в письме поделиться с Вами. Лида наверху, в постели, и не спит, плачет, сама не своя. Я все еще на той, второй станции, куда поехал из Праги. Здесь я не нашел их, но мне не сразу удалось выбраться отсюда. И пока я ждал поезда, появились те, ради которых я здесь очутился. Две ночи они провели в Карловых Барах, прежде чем попасть сюда, в этот безлюдный немецкий край. Это единственное обстоятельство, которое Вы не предвидели. Вышеупомянутый человек уже скрылся; мы мало общались, но я с ужасом вспоминаю наше объяснение. Лида молчит, причитает и плачет, и мне ее до боли жаль. В таком состоянии я не могу везти ее обратно. С трудом уговорил послать хотя бы открытки знакомым в Прагу — свидетельство «семейной загородной прогулки» брата с сестрой.

Ей прямо-таки не терпится вызвать скандал, унизиться до последней степени, — мне это непонятно, но я надеюсь, что со временем она опомнится. Приехать сюда пожелала, разумеется, она; на остановке в Карловых Барах он настоял уже по пути; это была отчаянная неосмотрительность. Не могу Вам описать сцены, свидетелем которой мне пришлось стать; порой мне казалось, будто я на грани ада или помешательства. Лиде я сказал, что разыскать ее мне помог счастливый случай — помните, я говорил Вам о нем; я понимаю, это обман, но я не в силах был признаться, что, в сущности, нашли ее Вы. Напротив, я рассчитываю на Вас, на то, что сразу же после нашего возвращения Вы навестите Лиду и первым убе-

дите ее, что никто ни о чем не догадывается. Мне хочется, чтобы она как можно быстрее успокоилась».

Голуб выронил письмо. Да, ради Лидиного спокойствия. Какое несчастье — Лида!

Гора

Ребенок, который играл возле отвесной скалы, на дне заброшенной каменоломни, возводя плотины из грязи, образовавшийся после вчерашнего ливня, наткнулся на труп мужчины с размозженной головой. И хотя малыш ничего не знал о смерти, он испугался и побежал прятаться в мамкин подол. И вот он уже забавляется с кошкой, и ему непонятно, отчего отец бросил работу и выбежал из дому. Играть с кошкой приятнее, чем возиться в грязи.

Для того, кто поднялся наверх, деревня открылась бы как на ладони. Он увидел бы мальчишку, который, громко крича и всхлипывая, улепетывает домой, дробную фигурку мужчины, что выскочил из дому и теперь, подобно муравью, торопливо семенит через всю деревню. И невесть откуда взявшееся скопище людей, которые размахивают руками и суматошно, один за другим устремляются вниз, на дно каменоломни. Наблюдателю, находящемуся наверху, показалось бы смешным, как эти фигурки суетятся, отыскивая более короткий путь.

Но если бы этот наблюдатель оказался внизу, среди толпы, его охватил бы ужас; благочестиво отводя глаза от трупа, он измерил бы взглядом страшную высоту скалы, от подножия до самой вершины, где, обнесенная низкими перилами, вьется тропка и ползут облака. Здесь, в толпе, он стоял бы притихший, словно скованный странною силой, боясь тронуться с места.

Как раз в это время мимо проходил Славик; он чувствовал себя покинутым между небом и землей, среди откосов и домиков, где ему выпало пережить дождливую пору.

— Барин! — кричали е м у . — Тут убитый!

Славик пошел поглядеть.

В задумчивости вернулся он домой; но и дома, встав у окна, продолжал смотреть в сторону каменоломни, зиявшей, словно отверстая рана в боку горы. Каменоломня представлялась ему пугающей и почти загадочной.

Никакими силами мне не стереть из памяти эту картину: грузный человек уткнулся лицом в окровавленный песок; в раскинутых руках и ногах — отчаянное усилие, словно он все еще, даже теперь, силился подняться и смахнуть со лба грязь. О, что за вид! Две руки вопиют из оскверненной разбитой материи, — полные грязи, о господи! — и все же такие человеческие! Эту картину уже никакими силами...

Мне доводилось видеть самых близких людей мертвыми; они словно спали, закрыв глаза и скрестив руки на груди; на лицах у них было такое выражение, словно они благословляли меня. Величавые, покоились они в окружении цветов и свечей и были похожи на святых. Ах, какой другой, более человеческий смысл может быть в смерти, если не *прославление* человека!

Однако нет ничего страшнее смерти, которая не возвышает ни мертвых, ни живых. Смерть с гримасой движения, мгновения, случайности. Смерть, которая не успевает стереть последние следы жизни. Нет ничего более отталкивающего, чем живой жест мертвеца! Трудно представить себе более наглядный пример осквернения всего святого.

Только спустя несколько томительных часов перед карьером остановился автомобиль, и из него выскочили трое. Славик побежал за ними. Двое склонились над трупом, а третий обследовал откос.

— Он упал лицом вниз, — заметил один и выпрямился, — все фрактуры спереди. Смерть наступила мгновенно. Лицо разбито в... гм, а? Его уже невозможно узнать.

— Невозможно, — как-то по-особому значительно произнес второй. Сидя на корточках, он переворачивал труп. — Сам черт не узнает.

— Чего же вы ищете?

— Ничего, так просто рассматриваю.

— И обнаружили что-нибудь?

Склоненный господин выпрямился.

— Ничего. У меня потухло. Спасибо, — поблагодарил он Славика, который протянул ему спички. — Я — полицейский комиссар Л*е*беда. Да, — задумался он, — Как вы считаете, доктор, давно он тут лежит?

— День, может, два.

— Два дня! За два-то дня тот уже далеко уйдет.

— Кто?

— Да убийца, — бросил удивленный комиссар. — Тот, кто его столкнул.

— Быть не может, — возразил доктор, — так уж и убийство! Отчего...

— Так просто, ни отчего. Вот у погибшего шляпа на голове целехонька, не смялась, не запачкалась: странно, а?

— Пожалуй, — весьма неуверенно протянул доктор.

Комиссар пошевелил губами, словно хотел выругаться, и в упор уставился на доктора.

— С одежды пострадавшего срезаны все монограммы, — вдруг сообщил он.

— Накройте его, — пробормотал доктор и с внезапным отвращением посмотрел на свои руки: — Надо вымыть.

— Постойте, — остановил его комиссар. — Предположим, жертва защищается, — представляете, схватка на краю пропасти... — все тщетно; только шляпа осталась там, наверху. Убийца поднимает ее и видит на подкладке монограмму или фирменный знак — впрочем, убедитесь сами, — спохватился комиссар и, взяв в руки шляпу, показал подкладку; кусочек кожаной ленты был вырезан острым ножом. — Тут ему пришло в голову, что монограммы есть на белье, на одежде, в карманах, вот он и спустился по откосу со шляпой в руке... Впрочем, это слишком глупо; он просто мог швырнуть ее.

Тут агент, исследовавший гору, что-то крикнул им.

— Пилбауэр на что-то наткнулся, — сказал комиссар. — Итак, здесь, внизу, он режет, кромсает, рвет и забирает с собой все — монограммы, шнурки от ботинок, фирменные знаки, документы... Все, любые приметы личности или обозначения места. Он ничего не забыл. Потом надел ему на голову шляпу и ушел. А это оставил тут. Обезличенный, безымянный труп. Уничтоженную личность. Тайну. Чересчур молчаливого свидетеля. С какого конца разматывать этот клубок? Пилбауэр, что у вас там?

— Следы, — отозвался третий, спускаясь. — Кто-то стремглав бежал вниз, скользя по размокшей земле.

— Вы думаете, это было вчера после полудня?

— Да. У него были туристические ботинки номера на три больше моих.

— Великан. Турист. В самом деле, — удивился комиссар, погружаясь в задумчивость.

— Очень мне это не нравится, — ворчал доктор. — Терпеть не могу убийств. Накройте же его наконец!

Славик подошел к комиссару и хмуро сказал:

— Это ведь просто бессмыслица.

— Что бессмыслица?

— Да эти монограммы. Зачем убийце их срывать? Если бы он их не трогал, все бы поверили, что произошел обыкновенный несчастный случай. А не убийство. Просто кто-то разбился. И против преступника не было бы никаких улик. Зачем ему понадобилось это делать?

— Не имею понятия.

— Во-вторых. Какая глупость — нести шляпу в руках. Очевидно, он растерялся. А тут, внизу, рассудительности... у него было хоть отбавляй. Он ни о чем не забыл. Судя по всему, голова у него отлично работала... Нет ли здесь противоречия?

— Не имею понятия.

— В-третьих, с шоссе и из деревни все хорошо просматривается. Убийца подвергал себя страшному риску и тем не менее действовал обдуманно, просто-таки методически, не торопясь. Ничего не пропустил. Это — прямо парадоксально.

— Мерзкая история, — проворчал доктор.

— Мерзкая и нелепая. Для объяснения такого поступка вам либо придется допустить таинственные и необыкновенные мотивы, либо предположить существование таинственной и необыкновенной личности, совершившей преступление. Дело более странное, чем представляется на первый взгляд. Видимо, вам предстоит его разрешить, и я хотел бы обратить ваше внимание...

— Благодарю, — отозвался прилежно слушавший комиссар, — это весьма любопытно; но простите, вы меня не поняли. Мне тут разгадывать нечего.

Славик тщетно пытался возразить.

— Я ничего не решаю. Я — представитель исполнительной власти. Если вам интересно, могу взять вас с собой.

«Он ничего не решает, — сверлило у Славика в мозгу, — гм, тогда, собственно, зачем он здесь?»

Спустя некоторое время он спросил и об этом.

— Я ничего не решаю, — ответил комиссар, — просто потому... Послушайте, я ведь действую не от своего имени и ничего решать не могу. Я действую от имени власти,

которая не решает, а приказывает. Любая власть лишь выносит постановления; в этом ее сила и сущность. Приказ — вот единственное и неопровержимое доказательство. Это — логика власти. Нет, дружище, нам решать не приходится.

Со скучающим видом комиссар приступил к расследованию. Постепенно все больше объявлялось людей, которые накануне там или сям видели «незнакомца». То он оказывался высокий, худой бородач; то — могучий, чисто выбритый, рыжий иностранец, погруженный в себя, а то — необыкновенной силы рослый турист, лица которого не видел никто. Вот этот последний, по-видимому, и впрямь бежал от кого-то, оставляя после себя следы паники и разрушения.

За день до того, как был обнаружен труп, лил проливной дождь, тогда-то старичок-возница, ехавший на станцию, обогнал огромного незнакомца в гольфах.

— Полезайте под брезент, — крикнул ему возница.

— Нет, не хочу, — отказался незнакомец.

Дед двинулся было дальше, но ему стало жаль промокшего до нитки пешехода, и он пригласил его во второй раз.

— Не хочу, — зло огрызнулся незнакомец и рысью помчался на станцию. «Странным» казалось то, что он «был такой огромный и что все-таки его было страшно жалко». (Свидетельское показание старика-возницы.)

Несколько позже этот огромный детина в спортивном костюме появился на станции; поджидая вечерний поезд, он расхаживал по перрону невзирая на дождь. Начальник станции пригласил его в зал ожидания, но незнакомец поднял воротник и промолчал. Немного погодя начальник подошел к нему сообщить, что поезд сегодня вообще не пойдет, поскольку на сорок пятом километре дождем подмыло скалу и засыпало путь. Тут верзила-незнакомец громко чертыхнулся и спросил, когда следующий поезд. «Примерно через сутки», — предположил начальник станции и прямо-таки испугался ярости и отчаяния, промелькнувших в глазах собеседника.

— Вы можете переночевать в местечке, — участливо посоветовал железнодорожник.

— Не ваша забота, — грубо оборвал его путешественник и ушел. Лица его не было видно, однако возникало

странное и «мучительное» ощущение, «словно это было лицо человека, которому грозит смертельная опасность». (Показания начальника станции.)

Тот же иностранец объявился вечером в местном трактире, приказал протопить комнату и принести еду.

Спустя некоторое время трактирщик постучал к нему.

— Что такое? — испуганно вскрикнул гость.

— Вы не турист? — решился спросить трактирщик. — Я бы рекомендовал вам толкового возницу; его даже прозвали «С божьей помощью»; может, господин...

— Я подумаю, — ответил гость и захлопнул дверь. Однако тут же выскочил на лестницу и крикнул вслед: — Закажите мне этого извозчика на пять утра, на целый день.

— Рано утром он, стало быть, уехал; клиент был огромный, страшный, в туристском костюме, а лицо — както занавешено. «Мы все его боялись. И ходили здесь, внизу, как в воду опущенные». (Показания трактирщика.)

«Он стоял у окна, словно статуя, голова чуть ли не касалась потолка. Ничего не говорил, только хрипел. Не пойму, отчего меня вдруг разобрал страх». (Из допроса кельнера.)

— Ну, что теперь? — спросил Славик комиссара.

Комиссар пожал плечами, затем приказал позвать супругу извозчика «С божьей помощью», а сам погрузился в изучение карты окрестностей.

Славик все более приходил в замешательство. «Боже мой, — терзался он в мучительной тоске, — что же это за след, удивительно! Что тут приключилось? Неужели всего-навсего убийство? Непонятно. Бессмысленно. Поразительная нелепость».

Между тем комиссар допрашивал жену извозчика; она ни о чем не подозревала, и на всякий случай, руководствуясь нехитрым, чисто народным инстинктом, ото всего отпиралась. Пилбауэр спокойно изучал старый прейскурант, который нашел на окне.

«Все это непонятно и ужасно, — горевал Славик. — Свершилось нечто необъяснимое. Мы можем расследовать разыгравшуюся здесь трагедию, а все чего-то ждем. Ждем бесконечно...»

Над сонным, тупым полднем городишка непрерывной чередой тянулись тучи и барабанил непрекращавшийся, назойливый дождь. Через вымершую городскую

площадь спешит комиссар — на телеграф. По водосточному желобу журчит вода, и Славику мерещится, будто аппарат Морзе выстукивает бесконечные и странные рапорты и приказы об аресте. Разобраться тут невозможно.

Дело выглядит все более будничным и запутанным. Славиком овладело угрюмое нетерпение. Поздно, уже поздно.

Наконец-то прибежал с телеграфа комиссар. Из соседнего городка только что телеграфировали, будто там в кабаке сидит возница «С божьей помощью», пьяный вдребезги; рассказывает посетителям, что утром вез какого-то верзилу, а тот всю дорогу прикрывал лицо платком и не вымолвил ни единого слова. Насмерть перепуганный извозчик не мог этого выдержать, высадил пассажира на полпути и удрал. Где это произошло — он понятия не имеет.

Теперь, по крайней мере, известно, в каком направлении искать. Словно соскальзывая с извивающейся ленты дороги, автомобиль комиссара помчался к ближайшему городку. У Славика не было критерия определения скорости. Лишь физическое ощущение страха, вроде позыва к плачу или тошноте, и тоскливое чувство, будто холодную струю воздуха через рот протолкнули в грудь, где она застряла меж мучительно трепещущих легких, — позволяли думать, что автомобиль мчится на предельной скорости. Уносимый этим движением, судорожно вцепившись в дверцы, Славик чувствовал, как в душе поднимаются два великих, примитивных и безотчетных чувства: восторг и ужас.

И вдруг — стоп! Взмах платка: «Остановитесь!» «Я узнал вашу м а ш и н у, — торопливо произносит к т о - т о, — и как раз бегу за жандармами; у нас в «Святой Анежке» стряслась беда». Утром туда вроде бы примчалась повозка с перепуганными лошадьми и без пассажира; за ним пешком приплелся какой-то гигант и, «словно мешок, рухнул на лавку», потом велел протопить комнату и заперся там. В полдень к нему постучали — спросить, не нужно ли чего. А он стал орать, дескать, сбросит всякого, кто вздумает подняться к нему наверх. И теперь все боятся. Он стоял на лестнице с обвязанной полотенцами головой и грозил собравшимся кулаком. Пришли лесники и тоже не знают, что делать; он наводит на всех безмерный ужас.

Автомобиль понесся к «Святой Анежке»; это — небольшой курорт у подножия самой высокой горы в этих краях, славящихся чудодейственными непрекращающи-

мися все лето дождями. Не успел еще автомобиль подкатить к «Святой Анежке», а полицейским уже стало известно, что чужеземец-великан примерно час назад спустился в холл, спросил счет и ушел по тропинке, которая ведет к одинокой хижине на вершине горы, а девять мужчин, запершись в комнате, совещались, каким путем до него добраться. Горничная видела, как он уходил, но теперь где-то спряталась.

Девять мужчин окружили комиссара; среди них были лесники, дачники, местный люд и какой-то маленький человечек в очках, — он тут же бросился Славику на шею; это был скрипач и композитор Евишек; музыкант приехал на лето в родные места, где ему по наследству достался дом, и умирал со скуки.

— Как *же* вы его проглядели! — возмущался комиссар.

— Не успели...

— Как-то не смогли договориться...

— Боялись, — откровенно признался Евишек.

— Словом, не хватило организованности, — шепнул Славику комиссар.

Гора, у подножья которой они теперь очутились, представляла собой отвесную с плоской вершиной скалу, тонувшую среди лесов; на вершину ее вели лишь два пути: тропа и неприметная стежка. Наверху — небольшое поле и одинокая хижина, а вокруг — гладкий отвес голой, скалистой стены.

Теперь гора смутной массой проступала сквозь туман. Комиссар вышел из дома и бросил взгляд на огромный массив скалы, словно вызывая ее на бой.

Славику предстояло сделаться очевидцем операции, которая поражала его не только отдельными своими эпизодами, но и неповторимым своим характером.

Очутившись среди толпы, Славик стал участником коллективных действий. У него на глазах внезапно родилась и начала почти по-военному работать небольшая организация; несмотря на это, у него не исчезало впечатление хаоса и бессмысленности происходящего.

Лишь позднее он признал, что, очевидно, иначе и быть не могло; но в самый момент действия, когда ему тоже пришлось войти в состав ведомого комиссаром отряда, он невыносимо страдал от этой топорной неповоротливо-

сти, напрасной траты времени, выжидания и бесконечных проволочек; в не меньшей степени его раздражал и резкий, с места в карьер, переход к действиям, неудержимая быстрота совершившегося и нескладная поспешность проведения всей операции. Почти с удивлением вспоминал он о той поре, когда осуществлял свои замыслы в одиночку; в своих поступках он обнаруживал столько особого, ему только свойственного и осмысленного ритма, что с трудом узнавал сам себя в суматошливом, лишенном ритмичности коллективном действии, участником которого он являлся. На душе у него было тягостно и смутно.

Как-то, в один из самых напряженных моментов преследования, спотыкаясь на каждом шагу в ночной темноте, Славик осознал всю безнадежность создавшегося положения; в голову приходили мысли о солдатах, о бесчисленном войске, о сторожевом посту, ожидающем приказа, о небольшом отряде, преследующем в горах преступника, человека одинокого и странного, который именно в своем одиночестве черпает бог знает какое превосходство, — и о себе самом; Славик присел на камень и, несмотря на темень, своим мелким, убористым, скучным почерком занес в записную книжку:

«Сущность организации: сотворить из тебя материю. Ты послушное орудие власти, направляемое чужой волей, ты часть целого — а следовательно, нечто зависимое по самой своей *сути.* Признав над собой вождя, ты на него переложил ответственность за мотивы и цель поступков, ему передал свою волю и право решать; и у тебя не остается ничего, кроме совершенно *пассивной* души, бездеятельность которой ты воспринимаешь *как страдание».*

— Ладно, — сказал наконец комиссар, — гору придется окружить. Нас двенадцать, кроме того, я посылаю за жандармами, тогда нас станет двадцать. Четверо займут проезжую дорогу, поведете их вы, дружище. Четверо останутся сторожить стежку. Вы, дорогой мой, позаботитесь об этом. Ни в каком другом месте ночью убийца пройти не отважится. Сам я поднимусь по тропе наверх. Со мною пойдет кто-нибудь еще.

— Я, — вызвался Славик.

— Ладно. Встретимся у хижины. Когда подойдут жандармы. Пусть двое останутся внизу — караулят дороги.

Вместе со всеми вы подыметесь на вершину горы к хижине. Исполняйте, друзья.

И гора была окружена.

Уже смеркалось, когда комиссар Лебеда и Славик подобрались к вершине. Хотя моросил дождь и было темно и промозгло, комиссар тоненько насвистывал, словно беззаботная пташка. «Что вы скажете на это?» — неожиданно спросил он.

— Я не перестаю удивляться, — ответил Славик, — я думал... представлял себе все иначе. Меня занимало решение, во всем мне чудилась тайна... А оказалось — это только охота. Охота на медведя. Преследование преступника.

— А чего же вы ждали?

— Решения. Происшествие остается непонятным с начала до конца. В нем есть нечто необычное. Уже сам безымянный мертвец — разве вы не отметили этого сразу, еще стоя над ним?

— Да, — согласился комиссар, — да, хотя, собственно, не знаю отчего, но... тут есть какая-то загадка. Но я не хочу ломать над ней голову.

— Эта тайна мучит меня с утра, — продолжал Славик, — всякая тайна — как задача, и уже поэтому я должен в ней разобраться. Меня не волнует — преступление это или не преступление; но интересно, почему все это так непостижимо? Уже поэтому я обязан идти по его следу.

— Пока мы его не схватим, — заметил комиссар.

— Да, вместо того чтоб разгадать тайну, — возразил Славик, — мы хотим дознаться, попросту — устроить допрос. Как раз это мне и не нравится. Весьма неинтеллигентно. Наверное, мы его поймаем, но в этом уже останется только грубая занимательность факта. А таинство — это область духа; любая загадка словно овеяна его дыханием. Лишь столкнувшись с тайной, человек ощущает в себе присутствие духа и чувствует трепет восторга и страх. Timor Dei — ...Смятение духа. Материализм вообще обходится без таинства. Без страха. Без мужества испытать страх. Словом, я ждал более глубокого решения.

— У вас, наверное, нет с собой револьвера? — спросил комиссар.

— Нет, — раздраженно отозвался Славик.

— Жаль. У меня тоже.

— Вот видите, — не унимался Славик, — все это — сплошная романтика. Ночь! Горы! А ко всему прочему еще и револьвер! Кстати, мы сбились с пути. Как все это поверхностно!

— Нет, голубчик, вы не правы, — миролюбиво возразил комиссар, — мы, сыщики, конечно, никак не философы. Для нас это чисто техническая задача, дело практики. Но поверьте мне, всякая практическая деятельность издали выглядит романтично. А револьвер — всего лишь орудие труда, совершенно такое же, как клещи или плуг. К тому же с пути мы не сбились.

Они в молчании шагали вверх по неровной тропе, призрачно белевшей под темным пологом леса; она казалась ненастоящей и опережала их шаги, смутно, словно предчувствие.

— Вы ждали более глубокого решения? — внезапно раздался голос комиссара. — Но наше ремесло не признает проникновенных решений. Вероятно, можно сделать землю плодородной одной лишь молитвой, но с технической стороны это никуда не годится. Наверное, глубокие решения обеспечивают самый прямой и короткий путь, но технически они несостоятельны. По-видимому, можно разгадать преступление исключительно нравственным чувством, но интуиция — это любительщина. В романах все детективы обнаруживают крайнюю техническую несостоятельность. Слишком своеобразно, слишком изобретательно они работают. Их метода — метода преступников, а не детективов. Настоящий путь — иной.

— Какой?

— Социально отработанные приемы. Организация. Вы только посмотрите — ведь существует техника управления людьми, именно техника, поскольку с человеком обращаются как с неким инструментом. И тут наблюдается прогресс: то, что прежде было индивидуальным мастерством, делается техникой. Все, к чему бы мы ни прикоснулись, превращается в некий инструмент. В том числе человек. И вы тоже. И только тот, *там, наверху,* ускользает от нас.

— Бог?

— Нет, человек. Преступник, спасающийся бегством. И, значит, я — не что иное, как рука властей. Я ничего не решаю, я только сжимаю кулак, и чем сильнее я его сжимаю, тем больше осознаю в себе власть, которая осу-

ществляется через меня. Я — только рука, пусть так, но я, по крайней мере, чувствую ту страшную и непреклонную силу, которая мною наносит удар, которая нынче ударит опять. Я чувствую силу закона.

Комиссар умолк; наступила ночь, и было тяжко подниматься вверх, пробираясь через корни и каменья. Они и впрямь потеряли тропку и вслепую взбирались по откосу, ломая мокрый, колючий кустарник, цепляясь за землю исцарапанными руками. Потом наткнулись на какой-то навес, под которым лесники, наверное, подкармливали лесных животных. Место не роскошное, но тут можно было хотя бы закурить посреди немолчного гула мокнувших под дождем гор... Среди необъятных просторов ночи шумели темные струи дождя; порой слышался треск сломанной ветки да изредка срывался вниз камень и летел, подскакивая, по склону, грохоча будто гигантскими сапогами; все остальные звуки поглощал непрерывный шум дождя.

Славик прислушивался к звукам с тоской человека, затерявшегося во всеобъемлющей и непроницаемой тьме, поглотившей мир. Комиссар, стоявший возле него, словно окаменел. Но вдруг по спине его пробежала слабая, словно электрическая дрожь; дрожь повторялась, все усиливаясь и делаясь продолжительнее; тело комиссара бил непрекращающийся судорожный озноб.

— Что с вами? — воскликнул Славик.

— Ничего, — стуча зубами, проговорил полицейский, — ничего... Только страх... Это сейчас пройдет! Сию минуту!

— Отчего вам страшно?

— Не могу понять... Верно, от всего того, что о *нем* наговорили... Я ведь не хотел об этом думать. Вы ничего подобного не испытываете?

— Нет. Только смятение духа.

— Нет, не то. Что-то хуже, страх... Я не вынесу!

— Пойдемте-ка лучше, — настаивал Славик, которому становилось не по себе.

— Сейчас... Вы идите вперед. Только тихо. Пошли! Идти между скалами было нельзя — они с трудом ползли на четвереньках. Очевидно, подняться выше было уже невозможно. «Идите!» — выдавил комиссар сквозь зубы. Обдирая руки и колени, Славик карабкался вверх; и лишь когда снова наткнулся на тропку, у него от ужаса похолодела спина: ведь стоило поскользнуться...

Комиссар молча обогнал его и быстро взбежал на вершину. В хижине горел свет. Комиссар тихонько постучал, дверь приоткрылась чуть-чуть, на полглаза. «Полиция», — шепнул комиссар, и дверь распахнулась, словно от вздоха облегчения.

— Благодарение богу, — загадочно прошептал хозяин, откладывая в сторону ружье, — благодарение богу.

— Когда он пришел? — поспешно спросил комиссар.

— Час назад. Хотел переночевать. На чердаке.

— Я сейчас спущусь, — раздался сверху громкий хриплый голос. — Только накину на себя что-нибудь.

Комиссар одним махом очутился на лестнице, словно подброшенный неведомой силой.

— Именем закона.

— Сейчас, — проговорил голос, удаляясь вглубь, — я, знаете, простудился... немного...

— Эй вы там, сторожите окно! — крикнул комиссар вниз, — ловите беглеца! Скорее!

Славик и хозяин с ружьем бросились вон.

Чердачное окно распахнуто настежь. Тишина. Ни шороха. Комиссар вышел с зажженным фонарем; и тут Славик, едва разбирая смысл, прочитал на щипце крыши давнюю надпись:

Дай бог счастья дому сему,
Который я выстроил, не зная кому.

Между тем Пилбауэр с Евишеком поднимались в гору по проезжей дороге. Евишек ничего не видел в двух шагах от себя и боялся сбиться с пути. Детектив Пилбауэр молча и невозмутимо шагал впереди.

— Вы знаете эту дорогу? — выдохнул Евишек.

— Никогда здесь не бывал, — ответил Пилбауэр.

— А как попадете на место?

— Согласно приказу.

Снова воцарилась тишина. Евишек начал было напевать, но перестал: ему импонировало, что он идет бок о бок с сыщиком, — и проникся важностью момента.

— А усы у вас — фальшивые? — неожиданно сорвалось у него с языка.

— Нет, зачем же? — удивился невозмутимый полицейский.

— Значит, вы не переодеты?

— Нет, это я сам и есть, — скромно ответил сыскной агент.

Евишек тотчас проникся симпатией к этому печальному и тихому человеку.

— Это трудно — быть детективом?

— Нет, все зависит от характера. Вы, наверное, музыкант? Это куда более легкое занятие.

— О нет, не верьте, — воскликнул Евишек. — Вот нынче, например... писал я, что называется, большую вещь... квартет... И зашел в тупик. Не знаю, что писать дальше. Мелодия ускользнула.

— Надо идти по следу, — заметил детектив.

— О, художники идут по следу, они вечно ищут. Всю жизнь. А я вот выдохся. Оттого и пошел с вами, чтоб немножко забыться, отдохнуть.

— А я думал: вы из любопытства, как тот, другой.

— Да нет, я, собственно, пошел безо всякого интереса. Надеялся увидеть что-нибудь этакое необыкновенное, волнующее. Иногда необходимо потрясение... Ах, берите меня с собой почаще!

— С моим удовольствием, — серьезно сказал детектив, — но только если будет приказано. Без приказа лучше не ходить. Это нехорошо — преследовать человека.

У Евишека заговорила совесть.

— Но ведь это убийца, — защищался он.

Детектив кивнул.

— Да, нехорошо упустить такого человека.

— Что же хорошо?

— Ничего. Все одинаково нехорошо. Плохо бить и не бить, осуждать и прощать. На всякое добро есть столько же худа.

Евишек задумался.

— А что, собственно, вы делаете?

— Только то, что обязан. Самое разумное — слушаться. Подчиняться приказу.

— А тот, кто приказывает?

— Плохо делает, сударь. Приказывать нехорошо, это самое страшное из всех заблуждений.

— И все же — подчиняться необходимо?

— Разумеется. Что это за приказ, если ему не подчиняются.

— Вы, верно, не могли бы заниматься искусством, — удивился Евишек.

— Нет, — ответил детектив. — Искусство чересчур своевольно.

— О нет, искусство тоже имеет правила, которые надо соблюдать.

— Приказы?

— Нет, это не приказы.

— Ну вот видите, — буркнул Пилбауэр.

Евишек был в замешательстве; ему пришли на память неуверенность, сомнения, что мучили его в творческих поисках; несравненно легче стало бы на душе, если бы некий высший глас просто приказал — что и как... Отдаленно и мелодично зазвучал вдруг в ушах мотив некоего высшего гласа. Неслышно побрел Евишек за высоким, угрюмым человеком, который абсолютно безошибочно находил в потемках дорогу, незнакомую прежде, в то время как он, Евишек, местный житель, без конца путался, спотыкался, отыскивая поворот, которого тут не было, либо тропу в тех местах, где первый же шаг грозил падением со скалы.

«Как они в себе уверены, — думал он. — Славик, с его жаждой познания, комиссар, который имеет право приказывать, — какою уверенностью наделяет человека власть! И Пилбауэр, исполненный покорности. Как они уверены в себе, один я все не обрету покоя... Красота гонит от меня сон и лишает спокойствия; никогда, никому не сообщает она уверенности...»

«Лучше уж быть детективом, — мелькнула в голове Евишека тоскливая мысль, — и если уж искать, то, по крайней мере, что-нибудь сверхъестественное, что ускользает от внимания человека! Да ведь и я, — сообразил он, — всегда в погоне, то тут, то там натыкаюсь на след или слышу отзвук; ах, вечно удаляющийся отголосок чего-то совершенного! Словно голос поющего ангела...»

— Что это вы поете? — внезапно прозвучал вопрос Пилбауэра.

Евишек вздрогнул, его словно обдало жаром.

— Я пою?

— Да, вы пели. Себе под нос. Что-то очень красивое.

Евишека залила новая, радостная волна.

— В самом деле? Спасибо! А я и понятия не имел. И что же я такое пел?

— Пели... гм... не помню уж. Всякий раз по-новому... Теперь уж и не знаю. Только что-то очень красивое.

Они подходили к вершине горы.

Евишек уже не напевал и не раздумывал. Пилбауэр молча, уверенно шел впереди.

— Кто-то бежит, стойте, — внезапно прошептал он. Евишек напряг слух, но услышал лишь, как органом гудели горы.

— Тихо! — повторил сыщик.

Разрывая потоки дождя, гигантскими прыжками пронеслась перед ними огромная человеческая фигура и исчезла во тьме. Потрясенный Евишек онемел и припустил за ним, подталкиваемый неким древним охотничьим инстинктом. Пилбауэр побежал было следом, но мгла поглотила обоих, и он, махнув рукой, направился к хижине.

Меж тем дождь прекратился, и горные вершины окутала мгла. Небо расчистилось, и от лунного света густая пелена тумана стала молочно-белой, бескрайний простор окутала мягкая, почти сладостная тишина.

Евишек со всех ног бежал за стремглав уносившимся от него человеком; это безумное петляние по верху горы было молчаливым и упорным. У Евишека не хватало дыхания.

— Не могу! — выдохнул он и остановился.

— Я тоже не могу, — прозвучал из тумана гулкий голос.

Евишек опустился на камень, с трудом переводя дух.

— За больным охотитесь, — громко прохрипел голос. — Выгнали из постели, лишили крова. Неужто вам этого мало? Мало вы мне зла причинили?

— Вы больны? — воскликнул Евишек.

— Чего вам еще нужно? — сетовал голос. — Это не по-людски! Отвратительно! Оставьте меня наконец в покое!

— Идти вам некуда! — воскликнул встревоженный Евишек. — Вас наверняка схватят. Гора окружена.

— Неужто вас так много? — проговорил голос с беспредельной горечью. — Какой стыд! Что же теперь делать? Господи, что же мне теперь делать?

Евишек оцепенел в мучительном смятении.

— Господи Иисусе! — жаловался голос. — Что делать? Гора окружена... Господи Иисусе.

У Евишека стало вдруг светло и ясно на сердце.

— Дружище, — неуверенно начал он.

— Что делать... — трепетал во мгле голос. — Я пропал! Пропал! Пропал! Господи, неужто это возможно, — и как ты допускаешь такое, господи!

— Я вам помогу! — торопливо воскликнул Евишек.

— Выдать задумал, — простонал голос. — Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя... воля твоя. Дай мне уйти! Дай мне уйти, господи!

Тут почувствовал Евишек скорбь, восторг, вдохновение, ужас — любовь и боль, радость, слезы и страстную мужественность; и поднялся он, содрогаясь, и произнес:

— Пойдемте, они сторожат только дороги. Я проведу вас, не бойтесь.

— Не подходите! — выкрикнул голос.

— Я провожу вас. Не бойтесь меня. Где вы?

— Господи Иисусе! — запинаясь от страха, проговорил голос. — Не хочу, ничего от вас не хочу!

Евишек увидел перед собой бесформенную тень, и горячечное дыханье обожгло ему лицо.

— Оставьте меня! — прохрипел голос, чья-то рука коснулась его груди, и внезапно, сделав несколько скачков, тень растворилась во мгле.

Комиссар грыз ногти на пороге хижины. Славик подошел к нему.

— Пан комиссар, — начал он, — я думал о нашем деле. Вы слышали свидетелей; все говорили о нем как-то странно. Словно бы он вырастал у них на глазах. Он разрастался до бесконечности. Своеобразный гипноз.

Комиссар поднял утомленные глаза.

— Вероятно, гипнотическое действие производит его поведение, — продолжал Славик. — Оно ошеломляет людей. Это безумец, страдающий манией величия. И этим все объясняется.

Комиссар покачал головой и опустил веки.

Отряд цепью развернулся во всю ширь плоской горной вершины. Человек десять — двадцать. Тянутся не спеша, молча, с опутывающей механистичностью. Порой лишь тихонько бряцало оружие. Комиссар разжал сомкнутые зубы. Я устал, слишком устал. Нет сил идти дальше.

Он прислонился к дереву и закрыл глаза. От усталости почувствовал себя совсем маленьким. Идти дальше нет сил. «Так что же? Вот уж ты и устал, шалопай? — неожиданно прозвучал голос отца. — Иди сюда, садись на закорки». Ах, сынок ничего иного и не желал. Спина у отца широкая, словно у великана; сидишь высоко-высоко, как на коне.

Дорога убегает вдаль. От отца исходит запах табака и ощущение силы. Словно он великан. И нет в мире никого сильнее, чем он. Застонав от прилива нежности, мальчонка прижимается щекой к его влажной бычьей шее.

Комиссар очнулся. Я устал. Если бы я мог сосредоточиться! Сколько, например, семь умножить на тринадцать? Начал считать, наморщив лоб и шевеля губами. Ничего не получалось. Он без конца твердил оба эти числа. Они почему-то особенно противные, никак не поддаются счету, ни на что не делятся. Самые скверные из чисел. Комиссар в отчаянии бросил считать.

И вдруг услышал, ясно и раздельно: «Сколько получится, если тринадцать взять семь раз?» В испуге замерло сердце: это пан учитель. Сейчас он вызовет меня, сейчас, вот сейчас. Господи боже, куда бы спрятаться? Что предпринять? Дай мне уйти, господи! Позволь мне скрыться!

Внезапно грянул выстрел.

Меж тем Евишек, не разбирая дороги, плутал по холму. Прислушивался, но никогда мир не был столь безмолвен, столь замкнут в самом себе; от этого было больно и кружилась голова. Евишек брел дальше, ни о чем не думая, не ведая даже, где он.

Вдруг грянул выстрел. От горы к горе эхо летело словно сигнал тревоги, звуча все отдаленнее, тише, страшнее. Снова воцарилась тишина, еще более беспощадная, чем прежде. И только тогда Евишек осознал, что он тут один, совсем один, ничтожная песчинка, бесцельно затерявшаяся среди гор, что бредет он снова к дому, а из сердца через какую-то трещинку сочится озабоченность и стесненно струится безмерная печаль.

Пилбауэр продирался сквозь заросли кустарника, вода заливалась за шиворот, хлюпала в сапогах, проворно пробиралась, проникала, проскальзывала всюду, коварно и

враждебно; Пилбауэр забыл о себе и, как баран, напролом пустился через чащу.

И вдруг грянул выстрел. Он грохнул прямо перед ним, на расстоянии нескольких шагов.

— Нужно все же смотреть, — загудел детектив, и вынужден был опереться на что-нибудь, чтобы не упасть; колени у него подломились. Это могло бы случиться уже сегодня — осознал он вдруг, — чуть-чуть не случилось! Уже теперь! Уже сегодня! Это уже могло бы случиться! Могло свершиться наконец!

Внезапно Славик увидел тень, которая вышагивала судорожно и автоматически, словно кукла. С трудом догадался, что это комиссар, и направился к нему.

— Послушайте! — торопливо проговорил он, — мне только что пришло в голову. Помните эти монограммы? Дело яснее ясного. Убитый был иностранцем.

Славику почудилось, что комиссар шепчет какие-то слова.

— Да, — продолжал он, — это, конечно, иностранец, человек, о котором никто не спросит. Иначе все лишено смысла. Его личность никогда не будет установлена, никто никогда его не хватится... И если убийца скроется, против него уже не будет никаких улик. Он не безумец. Он хорошо знал, что делает. Уничтожил жизнь, личность и имя человека. Наверное, важнее всего для него было уничтожить имя; о, конечно, самое страшное заключалось как раз в имени. В имени, которое, словно перст, указывало на убийцу. И даже если бы я никогда в жизни не дознался, что это за имя, — теперь мне уже все ясно.

— Да, да, — как во сне выдавил из себя комиссар, — однако... Со-хранять дистанцию. Выровнять строй!

Евишек был уже дома; тихо, покойно шипит лампа над партитурой начатого квартета, где последний тон, необычайный, трепетный, словно жаворонок, прямо-таки молит о завершении.

Нерешительно и боязливо вчитывается Евишек в свою рукопись. Все тут как было: ликующая радость музыкальной фразы; певучая и непринужденная кантилена. Не изменилось ничего. Никто не может нарушить красоты и

не может ее коснуться; ничто не дрогнуло, не померкло, не потускнело в волшебной и призрачной ткани тонов. Ничего, ровно ничего не произошло. И прежние сомнения остались. То там то сям чувствуется страх и неуклюжая, переменчивая робость, напряженность кружащейся танцовщицы, скрытая за деланной улыбкой...

Евишек задумался, припоминая мотив некоего высшего голоса, который звучал у него в душе, когда он шел в гору: громовые перекаты голоса, повелевающего на века. Евишек замотал головой — нет, не то: этот некий голос звучит в самом тебе, он не повелевает. Он обращается к твоей боли.

Печальнее ночи рождение дня. Даль темна; внезапно, словно преодолевая напряжение кризиса, дрогнул воздух; чище становятся контуры, обнаженнее и строже делаются предметы. Мертвенно светят собственной белизной стены, краски блекнут, каждая вещь еще расплывчата, неотступна, и чем больше ты смотришь, тем больше все представляется нереальным. Светлеет восток; мир пробуждается при свете далеком и неверном; ты видишь все с удивительной ясностью, а все-таки это еще не свет... Люди просыпаются в жаркой духоте постели и вглядываются в грядущий день, который будет хуже и суровее минувшего.

На рассвете в дверь Евишека постучали. Маленький скрипач очнулся от полузабытья и в испуге побежал открывать. На пороге стояли Славик, комиссар и Пилбауэр.

— Куда вы подевались ночью? — закричал Славик. — Мы так беспокоились!

— Ну что, он скрылся? — прошептал Евишек.

— Скрылся, — уклончиво ответил Славик. — Сорвался со скалы и...

— Насмерть?

Славик кивнул.

— Насмерть. Лежит там, уткнувшись лицом в землю... прикрытый хвоей. Все кончено.

Евишек молча пошел развести огонь, чтобы сварить гостям кофе... «Все кончено», — твердил он, глядя на языки пламени; разбился насмерть, прикрыт хвоей. Пламя жгло глаза, и он, сняв очки, вытер слезы. Все кончено.

Славик тщился что-то доказывать комиссару насчет ясного случая. Евишек совсем не понимал его и не мог взять в толк, почему это он так оживлен. Трясущейся рукой Евишек тронул струну скрипки. Струна распелась, и Евишек отдернул руку, будто обжегся. Славик замолк на полуслове, комиссар вздрогнул, а Пилбауэр поднял свои припухшие веки.

— Простите, — прошептал Евишек.

— Это звучало как рыданье, — растерянно проговорил взволнованный Славик. — Грустная, в общем, история. Если бы я только знал...

В комнатке никто не шелохнулся. Славик до крови кусал губы.

— В нем было нечто необычное, — начал он опять, — это все чувствовали. На наших глазах он вырастал в сверхчеловека. Мне хотелось бы его понять, и поэтому, только поэтому я преследовал его. Эх, наверное, лучше не раскрывать тайны, чем... чем... — Славик помрачнел. — И теперь он мертв — затравили.

— По крайней мере... отмучился... — неожиданно отозвался Пилбауэр.

В комнатенке воцарилась гнетущая тишина. Евишек близорукими лазурно-голубыми глазами оглядывал своих гостей; видел неподвижно застывшего Пилбауэра, который, опустив веки, погрузился в раздумье и, казалось, о чем-то вспоминал; видел Славика, истязавшего себя упреками и угрызениями совести; видел комиссара, изнуренного, уставшего и сгибающегося под тяжестью скорби и слабости, будто малый ребенок. «Ведь вы могли бы с ним договориться — все вы! — думал Евишек. — Он был так несчастен и желал лишь спастись — как легко вы могли бы его понять!»

— Я говорил с ним, — робко обронил он. — В нем не было ничего загадочного.

Славик поднял удивленный взгляд.

— Как так не было?..

— Не было, — повторил Евишек, — ведь он жаловался, страшно жаловался на все.

— И вы его не боялись? — спросил комиссар, внезапно пробуждаясь.

— Нет. Если бы вы только слышали... Ах, как легко вы поняли бы друг друга!

Песнь любви (Лида, II)

После загадочного Лидиного бегства, когда девушка вновь вернулась в семью, у Мартинцев началась новая жизнь — не новая, конечно, отнюдь, она была похожа на что угодно, но только не на новую жизнь; новое несет в себе некое искупление, и даже самая горькая печаль становится побудительной причиной резкого движения вперед. Жизнь семьи Мартинцев не обновилась; просто все пришли к молчаливому согласию вести себя так, словно ничего не произошло. С той минуты, когда возвратившаяся домой Лида в ответ на первые вопросы матери разразилась душераздирающим плачем и после целой ночи сцен и упреков не вымолвила ни единого слова признания, никто больше не напоминал о случившемся. Осторожно обходили стороной все, что как-то касалось грустного происшествия; но именно эта «обходительность» всем слишком ясно давала знать: потрясение не забыто, хотя о нем и не говорится. От первого утреннего пожелания «доброго утра» до той минуты, когда Лида, прощаясь с матерью перед сном, целовала ей руку, дни тянулись однообразно-угрюмо и спокойно, но чем невозмутимее был этот покой на поверхности, тем явственнее чувствовалась тоска и глубинность молчания.

Все сделалось иным, совершенно иным; когда Лиде желали «доброго утра», это звучало чуть ли не робко, словно первый шаг на пути к сближению; когда же вечером Лида склонялась над материнской рукой, протянутой для поцелуя, она делала это с такой покорностью, с таким жалким и виноватым видом, что мать потихоньку отнимала руку движением, мучительным для обеих.

Исчезла былая естественность; все боялись что-либо изменить, хотя и желали страстно вернуться к прежней жизни. Им казалось, что любая внешняя перемена напомнит о страшной дате безжалостного Лидиного проступка, и жили по-старому, каждый про себя мучительно переживая изменения, коснувшиеся всего и вся.

Лида погрузилась в самоуничижение. Молча уклонялась от встреч с давними знакомыми и сидела дома, у матери на глазах. Письма свои отдавала читать матери, а получив их обратно нераспечатанными, откладывала в сторону не читая, — и все-таки среди возвращенных

этих писем были два таких, которые привели ее в волнение. Казалось, она беззвучно благодарит мать и брата за молчание, за каждое оброненное слово, за любое незначительное поручение; она принимала все с выражением униженной покорности, даже беззащитности, словно любезности, которых она недостойна и которые терзают ее. И в самом деле — мать и брат уже ничего не делали без задней мысли: а вдруг именно это развлечет и заинтересует Лиду? Разговаривали они только ради Лиды, исподволь окидывая ее взглядом, исполненным нежности и тревоги, но, заметив лишь выражение униженной благодарности на ее прекрасном, измученном лице, вдвойне растроганные, делались еще более предупредительны, наперебой оказывали ей всевозможные знаки внимания, от которых она ужасно страдала.

В таком состоянии нашел девушку Голуб, когда, вспомнив о просьбе друга, зашел к Мартинцам с визитом. Мартинец и его мать встретили Голуба со вздохом облегчения; он был для них тем единственным, кто *обо всем знает* и, значит, может войти в их безмолвный и тайный сговор, не нарушая ту паутинную сеть бережного отношения к Лиде, которой они опутали себя. И вот он увидел перед собой трех человек, которые сами себя унижают чрезмерной любовью; мать и брат коленопреклоненно жертвуют всем ради прелестной великомученицы, а та, распростершись ниц, посыпает голову пеплом в неутолимой жажде самоуничижения.

Голубу как-то передалось все это, и он прежде всего обратился к Лиде. В его присутствии она держалась более или менее стойко; разумеется, он был для нее человеком, который ни во что не посвящен. «Хорошо, что они никого не принимают, — подумал Голуб, видя просиявшие лица молодого Мартинца и его матери, — тут и слепой бы заметил, что творится в доме». Он побыл недолго и распрощался с легким сердцем. Как ни странно, Лидина история на сей раз оставила его равнодушным.

Однако дня через два он получил от Мартинцев письмо с настоятельной просьбой навестить их еще раз. Вероятно, они уже считали его обязанным посвятить себя Лидиной трагедии. Пожав плечами, Голуб покорился.

Вскоре он понял, что рана глубже, чем ему показалось поначалу. Нелегко давались ему посещения этого маленького семейства. И, не склонный к покорности, он

задыхался в атмосфере смиренной заботы об одной лишь Лиде. Среди этих людей он казался себе шумным и будничным; столько самопожертвования, самозабвенья скрывалось за всем, что здесь говорилось; любая мелочь была настолько насыщена вниманием, любовью, боязнью задеть Лиду, что его собственные слова казались ему застывшими ошметками грязи, оставленными у постели больного, горластой болтовней в комнате, где разговаривают только шепотом, невольной грубостью непосвященного человека; и тогда он терзался угрызениями совести, честя себя за ту дань внешней светскости, которую он вынужден был воздавать здесь.

Лида, съежившись, сидела на диване, молчаливая и неподвижная, безвольная и равнодушная ко всему, что бы ни происходило вокруг. Она уже почти не скрывала своего горя, оно читалось по ее пересохшим губам, в ее уклончивом взгляде; она радовалась тому, что при нем хотя бы смеет молчать. И мало-помалу Голуб понял, что это не только мука, но и депрессия. Лида купается в унижении; очевидно, для нее это бог знает какое наслаждение — погрузиться в свой позор как можно глубже; она настолько сжилась с ним, что не имеет воли стряхнуть его и позабыть наконец. Она даже не пытается оправдаться в собственных глазах; по-видимому, это и называется пребывать во грехе.

Лида отупела, отупела до откровенности; она уже ничего не скрывает от себя, уже не пытается прикрыться девическим целомудрием, не опускает, скромничая, глаз, заглядывая в собственную душу; грубо, почти бесстыдно обнажает она свой позор и свое унижение; уже не смущается и не ищет оправданий. Наверное, даже находит радость или удовольствие в том, чтобы переживать свой грех с такой опустошающей откровенностью.

Если бы некий демон надоумил ее сказать, что она думает, признание было бы столь беспощадное, безжалостное, такое неискупимое, что сам демон устрашился бы. Если бы существовало такое слово, которое могло бы разом снять с нее всю вину, она похоронила бы его и предпочла принять всю тяжесть осуждения, которого, возможно, и не заслужила. И если теперь она молчит — то ради лишь того унижения, которое кроется в молчании.

Но, глядя на Лиду, прелестную и тихую, такую красивую, что, казалось, все радости жизни нетерпеливо ждут

ее, он уже не мог понять, какой жаждой или страстью, каким усилием воли обрекает она себя на неприятную и унизительную муку самоистязания.

«Лида одержима, — решил он. — Она одержима демоном равнодушия. Не по собственной прихоти цепляется она за страдание; это само страдание и стыд держат ее, увлекая и подчиняя себе ее волю. Для радости необходимо огромное жизнелюбие; радость рождается по твоей собственной инициативе; страдания, напротив, не требуют ничего, только твоей покорности. Вероятно, Лида находит в этом какое-то мрачное удовлетворение; она чувствует, что ее несет по воле волн, что ею овладевает кто-то, что она опутана по рукам и ногам; стоит лишь поддаться — и больше ничего не нужно, ничего. Определенно — в потаеннейшей глубине любого поражения скрывается нечто жуткое и сладостное: паралич, лишающий тебя воли».

Голуба охватило ужасное и щемящее душу предчувствие. Наверное, даже Лидин грех не был ничем иным; наверное, и согрешила она под влиянием того же чувства, которое ныне движет ее раскаянием. Его неотступно преследовал образ мужчины, соблазнившего Лиду; воображению рисовался авантюрист, дерзкий и видавший виды; тип, предприимчивый, но не мужественный, агрессивный из простого цинизма, грубый и примитивный в деле совращения; он представлял на его месте любого из десятков и сотен тех испорченных, бесстыжих и самонадеянных мужчин, привыкших действовать скорее бесцеремонно, нежели безрассудно, мужчин, достигающих цели фактически с помощью единственного средства — умения пользоваться моментом. Он понимал, что Лида, встречаясь с этаким типом, была просто ошеломлена, но не очарована, ошеломлена откровенной, не знающей колебаний волей. Не ведая сомнений, он поступал с ней так же, как с любой уличной девчонкой. Достаточно сильная, чтобы противостоять более тактичному давлению, Лида растерянно и тупо поддалась сокрушительному напору, безрадостно подчинившись воле, более примитивной и внешней, чем ее. Так, мучительно и тяжело, рисовал себе Голуб Лидино падение; он видел Лиду уже послушную демону-соблазнителю, слабо сопротивляющуюся, потерянную, покоренную и предавшуюся апатии; он видел, как она бесцельно бродит по улицам, преследуемая кем-то,

чьи слова обнимают ее, словно наглые руки; и, наконец, он видел ее падение — она отдавалась безвольно, неприкрыто, не испытывая ни наслаждения, ни желания, скорее всего лишь затем, чтобы все поскорее закончилось.

В такие мгновения Голуб поднимал на сжавшуюся в комок Лиду взгляд, полный ужаса и отвращения. Он ощущал в ней нечто темное, неизменно плотское: ленивую и беспомощную материю, в тайники которой не проникло дыхание божье; опечаленный, он любовался красотой, которая, невзирая ни на что, освещала Лиду чарующей и неоскверненной одухотворенностью.

Так уплывали недели, но Голуб не замечал в окружающих существенных перемен, кроме, пожалуй, некоторого отупения и равнодушия. Семейство Мартинцев уже не могло обходиться без него, ибо и печаль делается механической, превращаясь в тягостную скуку. Они привыкли поджидать Голуба по вечерам, когда сгущались сумерки. И он приходил, внося с собой прохладу улицы, громогласный и смущенный, приходил даже охотно, поскольку нет ничего более приятного, чем мгновения, проведенные в семье. Иногда света не зажигали вовсе, и в простоте и свежести таких вечеров Голуб остро и резко ощущал дыхание женственности.

В одно из таких посещений разговор зашел о воспоминаниях детства. Голуб рассказывал о своем отрочестве, о мельнице, где он родился, о плотине, у которой тонул; и вдруг случилось нечто такое, чего никто не ожидал. В потемках зазвучал тихий и печальный, глухой, волнующий альт Лидиного голоса; она вспомнила о самом раннем своем детстве, о первой исповеди, о деревне, о платьицах, о том, как заблудились в лесу, о сотнях очень далеких и очень незначительных происшествий; в памяти ее всплыли такие подробности, словно они сотни и сотни раз уже вертелись у нее на языке, но — увы! — никак не находилось удобной минуты, когда можно было бы об этом рассказать. Очарованные домашние слушали этот голос и эти милые, ничего не значащие подробности; в тот вечер хозяйка забыла даже зажечь свет, а когда спохватилась, Лида уже не изменила своей свободной позы, так и осталась сидеть, поджав под себя ноги; и ничто уже не могло разрушить очарования возникшей интимности.

А потом опять пошли вечера, исполненные неловкости и стеснения, когда Лида оживала лишь ненадолго; Голуб

заметил, что оживление приходило чаще всего, когда вспоминали о детстве, о сновидениях и предчувствиях, о суеверных страхах, о любви к животным, о вещах, начисто лишенных действия и глубоко интимных; в этих случаях Лида поддерживала беседу охотно, всякий раз оживляясь, и Голуб с удивлением отмечал, насколько потаенны, хрупки и робки самые, казалось бы, стойкие побеги жизни.

Как многие разочарованные люди, Голуб с подозрением относился к жизни. Он не слишком верил в людей, в благородство их побуждений; его ничуть не убеждала высокая патетика; он тотчас раскрывал мошенничество и истерию широковещательных жестов; и — как многие — отдавал предпочтение всему незначительному и неприметному. Всегда готовый отвергать любое оригинальничание и претенциозность, он терялся перед всем, в чем обнаруживал неосознанную, трепещущую, слепую жизнь души, полуслабость либо полуманию; подвергая сомнению любую истину, он низко склонялся предо всем, в чем слышал подлинный голос сердца.

Таким вот, ни с чем не сравнимым наслаждением было для него теперь слушать Лиду; сначала она будто бы делилась с собой одной, не реагируя на его присутствие, и это уже звучало как доверие; может быть, поэтому Голуб раньше других заметил в ней первый признак возрождения: потребность рассказать о себе.

Да, это было обновление! Пусть хрупкое, как медленное выздоровление, нестойкое, скрытное и одновременно страстное, полное грусти и надежды. Теперь Голуб подмечал у Лиды то зоркий испытующий взгляд больной, которой снова хочется нравиться; то прищур кошки, которая ждет, чтоб ее погладили, или выражение глаз захворавшего ребенка, просящего чего-то немыслимого; взгляд, который то останавливается, то мечется, то кажется сладостно-манящим, то сонным, то вызывающим; руки, переплетенные на коленях, нервно крошат что-то и успокаиваются; все это — беспокойство, чувственность, слабость — дразнило и волновало Голуба.

Лида вновь начинала жить — странной, неровной жизнью, но душа словно еще не участвовала в этом. В девушке как будто очнулось несколько разных людей.

Ее разрозненные переживания были обрывочны и бессвязны. Она находила прямо-таки сладострастное удовольствие в том, чтобы выражать себя, и Голуб был ей нужен для того, чтобы он разгадывал ее порывы. Она не уставала слушать его предсказания; быть может, желая таким путем обрести свою собственную душу, надеясь раскрыть в себе нечто глубокое и неповторимое, она ловила знаки одобрения, отыскивая в них проникновенное понимание своей души. Погружаясь в чтение романов, она везде обнаруживала сходство; Лида спорила с Голубом о каждой героине, любую готова была оправдать, ссылаясь на какие-то безграничные права жизни. Голуб опасался, что она признается ему в своем проступке; однако Лида этого не касалась, словно ничего подобного с ней и не случалось. Удивительно, но главное для нее состояло в том, чтобы он *понял ее* в каком-то необычном и романтическом смысле этого слова.

Голуб не мог не понимать, что Лида раскрывается перед ним с поразительной доверчивостью и прямотой; в те мгновения, когда они оставались одни, она, не сводя с него чарующих, мерцающих глаз, наклонялась к нему так близко, что он пил ее дыхание, и касалась его плеча; очарованный и ослабевший, с трепетом ощущая безнравственную природу этого возрождения, он тем не менее не мог отказаться от удовольствия, которое им обоим доставляли эти трепетные прикосновения.

И увидев Лиду снова такой близкой и трогательной, читая в ее взгляде вопрос, — что же, что же ждет меня? — он забывал о безнравственности и обо всем на свете, отдаваясь ощущению счастья или муки; переполненный своим чувством, уходил, унося с собой воспоминание о прикосновении ее локона или о свежем дыхании, коснувшемся его лица. Казалось, никого не заботила эта их взаимная приязнь. Но отчего нее они меняли позы, если в комнату входила мать?

Однажды Голуб уловил подозрительность и беспокойство во взгляде пожилой дамы, мудром и предостерегающем; как же это вы, *кому обо всем известно...* Он смутился и опомнился; наверное, я сам порочен, я воспользовался их доверием и тем, что Лида, как сломленный цветок, клонит голову к кому угодно, бесцельно, бездумно, слепо... Терзаясь раскаянием, Голуб побрел домой, давая себе клятву, что ноги его здесь больше не будет.

Три воскресенья он не заглядывал к Мартинцам; в конце концов брат Лиды прибежал к нему сам и с дурацким усердием потащил к себе, словно редкостную добычу. Хозяйка тоже благосклонно приветствовала его приход. Лида была грустна и замкнута. Нет, пожалуй, не грустна, но пленительна, как никогда, и искоса поглядывала на него; господи, как же все-таки она грустна и нерешительна, и непонятна, и обворожительна, и загадочна. Такой он не видел ее никогда. Голуба охватила бесконечная печаль, и он не знал, о чем говорить; когда же говорили другие — их речи казались ему пусты и ничтожны; он прямо избегал называть Лиду по имени и ушел, не подав ей руки.

И в следующий раз за Голубом пришел молодой Мартинец — им, дескать, очень его недостает. На какое-то время они с Лидой остались одни, но он не пересел к ней поближе и пережил это как самоотречение. Лида казалась притихшей и покойной — в ней не было и тени соблазна минувших дней, — такой естественной, гармоничной и такой чистой, что он снова ушел больной от восхищения.

После этих приглашений визиты его стали регулярны; ничего, абсолютно ничего не происходило, и тем не менее старая дама была полна озабоченности и едва отваживалась поднять на него взгляд; Лида жила глубинной жизнью; от нее исходило ощущение силы и подлинности. Она была задумчива и, когда они оставались одни, неожиданно вскидывала на него глаза, словно намереваясь признаться в чем-то, да и сам Голуб...

Как-то, прощаясь с ним, Лида проводила его до передней и на пороге торопливо, едва слышно шепнула: «Приходите завтра».

В ту ночь Голуб возвратился домой втайне счастливый и тут же уснул; но вскоре проснулся и предался размышлениям. Вся Лидина история, с начала до конца, в строгой последовательности событий, предстала перед ним. Снова взвешивал он результаты своих расчетов, казавшихся ему теперь глупыми и — тем не менее — по-прежнему неопровержимыми; снова из головы не шло Лидино падение, проступок и позор; снова вспоминались ему ее смиренная покорность и воскрешение. На душе становилось все мрачней и мрачней — не из-за Лиды, нет, Лида тут

вообще ни при чем, но из-за реально случившегося. Тут некого судить. Нечего прощать. Но ведь без суда и прощения — жить горше и безутешнее. Мучимый беспокойством, он вылез из-под одеяла. Отчего, отчего, собственно, я не посмел осудить ее? Отчего не достало во мне ни гнева, ни милосердия? Чувство было такое, словно он что-то безвозвратно упустил. «Да что же, собственно? — возразил он сам себе. — К чему в конце концов осуждать? Затем, что твой суд очистил бы е е , — вдруг прозвучало у него в у ш а х , — оттого, что осуждение я прощение — это искупление вины. И если нет греха в ее падении, то в нем нет и смысла; оно напрасно и непоправимо; это хуже, чем вина. Ничто, ничто уже не искупит свершившегося».

На душе становилось все тяжелее. Он расхаживал по комнате, пытаясь возродить в себе то ощущение неизбывного счастья, которое переполняло его недавно, старался восстановить облик Лиды, ее пристальный взгляд и прелестные руки. В ушах зазвучал ее приглушенный, низкий голос: «Вы один можете мне помочь! Ах, что я натворила! Убежала из дому и три дня жила с негодяем. Помогите мне! — по-детски трогательно расплачется она. — Я не могу больше жить во лжи!»

Голуб остановился, будто громом пораженный, и повернулся к дивану, словно там ожидал увидеть Лиду. «Нет, Лида, — горячо и взволнованно думал он, — нет, вы не виновны; и вообще — зачем осуждать себя? Не говорите больше об этом, не придавайте случаю такого уж серьезного значения. Это должно было произойти — не спрашивайте почему, это лишнее. Не терзайте себя, не мучьте; это ни к чему не приведет, ничего не докажет. Вы — так хороши, Лида, и достойны любви, как никто другой».

Но Лида опускается на колени — какое безумие! — и плачет навзрыд: «Судите меня, если я порочна!»

Тут он и сам бросается перед ней на колени: «Мне ли судить вас, Лида? Разве вы не видите, что я люблю? Неужто это менее важно, чем если бы я судил вас — милосердно, как бог, или снисходительно, как дьявол? Я никогда вас не осуждал!»

Голуб снова принялся расхаживать по комнате. «Что это я, — возмутился он, — ведь этого никогда не произойдет. Лида никогда не признает своей вины; она не... не столь нравственна. Пусть уж лучше молчит и забудет обо всем — *пусть хоть она* забудет об этом!»

Охваченный неуемной тревогой, Голуб лег, но так и не сомкнул глаз.

На следующий день, уже стоя перед домом, куда столько раз приходил, он чуть было не растерял всей своей решимости. Лида пригласила меня в такой необычной форме. Зачем? Как тут себя вести? Томимый сомнениями, Голуб курил, расхаживая по тротуару. И вдруг увидел, что из дома вышли пани Мартинцова под руку с сыном. С громко бьющимся сердцем Голуб укрылся в соседнем подъезде. Значит, Лида дома одна. К такой неожиданности Голуб готов не был.

Крадучись, поднимался он по лестнице и не чувствовал ничего, кроме дрожи, учащенного биения сердца и какой-то непривычной тишины, воцарившейся вокруг. Остановившись, протянул руку к кнопке звонка, на удивление четко представляя его протяжное и звонкое звучание. Кто откроет — прислуга или Лида сама? Помертвев, он приложил ухо к дверям: нет, ничего, тишина, полная тишина, ни звяканья кастрюль, ни шарканья шагов; видно, никого нет. Лида одна. Остаться с Лидой один на один — слишком... Такая жуткая тишина. В смертельной панике Голуб оперся о перила.

«Очевидно, Лида не предполагала, что останется дома совершенно одна, — мелькнуло у него в голове. — Иначе она не пригласила бы меня! А если знала — то что задумала? Что будет? Как поступить? Что произнести, когда она откроет? Ах, да ничего не может случиться, умею же я владеть собой! В конце концов чему быть, того не миновать! Только бы не явилась мама!»

«К чему эти колебания? — сурово оборвал он себя. — Если бы еще я был первый... — Голуб ужаснулся. — А что, если увидят, как я выхожу отсюда? Что станет с Лидой? — Тут перед ним возникли Лидины мерцающие очи и сильные, покойные руки; он изнемог от ощущения их близости. — Ах, вот поцеловать двери и сбежать, словно влюбленный мальчишка!»

Что же это так тихо внутри? Голуб тоскливо прислушался. Что же будет? Губы у него пересохли, он попытался ни о чем не думать; только чувствовал, как душа замирает от страха и смятения. Слишком тихо. «Наверное, и Лиды нет дома», — с облегчением и болью мелькнуло в голове. «Я должен убедиться, что ее нет», —

в ослеплении твердил он и уже дотронулся до кнопки, как вдруг этажом выше хлопнула дверь и кто-то начал спускаться по лестнице. «Увидят еще», — перепугался Голуб и, словно вор, пустился наутек.

На улице Голуб не мог отделаться от ощущения, что все рухнуло. С безмерно тяжким сознанием утраты побрел он домой. «Это даже лучше, — утешал он себя, — как могу я, *кому все известно,* так вести себя! Неужели я мог... *воспользоваться случаем!* Для этого нужно быть или безумно влюбленным, или развратником. Так лучше», — пытался он воззвать к своей совести. Но едва переступил порог дома, как отчаянная тоска навалилась на него. «Лида, наверное, все еще ждет, ей больно и стыдно — а кроме того, ничего серьезного она и не замышляла! Может, вернуться? Да и вообще — что же тут плохого? Ведь она была так несчастна. И что дурного в том, если бы вышло... как она хотела... Такая очаровательная девушка! Кто посмел бы ее осудить?» Голуб стал у окна; ком подкатывал к горлу. «Еще есть время. Могу вернуться». Но минута за минутой убегает время, истекает счастье, уплывает высшее счастье жизни. Теперь... теперь уже, наверное, поздно. Конец надеждам.

Внезапно коротко, резко прозвучал звонок. Голуб, перепугавшись, пошел отворить. На пороге стояла Лида.

— Лида, вы, — в смятении проговорил он, — я не знал... Я как раз собирался к вам...

— Да, — не менее смущенно ответила Лида, — мне необходимо с вами поговорить. Я ждала, а вы не шли... Пригласите меня хотя бы войти.

Голуб отступил от двери, и Лида вошла; от нее свежо, обольстительно пахнуло холодом и духами. Вот она остановилась посреди комнаты и не знает, что предпринять; под вуалью не видно лица (раньше она не носила вуали), на шубке — росинки дождя; тщетно пытается стянуть плотно облегающие руку перчатки.

«Какой у меня беспорядок, — в тревоге замечает Голуб, — как бы прикрыть, побыстрее прибрать. Все эти опостылевшие вещи — книги, перья, бумаги, пепел...» Он беспомощно огляделся. Куда бы все это деть?

— Вы промокли? — с состраданием воскликнул он. Лида оставила попытки снять перчатки и подняла на него темные горестные глаза. Лицо под вуалью выглядело бледным и измученным.

— Мне необходимо было с вами говорить. Я не могу, не могу больше жить так, слышите? («Господи, иже еси на небеси, — ужаснулся Голуб, — значит, все-таки!»)

— Что с вами, Лида? На вас лица нет!

Лида бессильно опустилась на кушетку.

— Не могу, — повторила она и вдруг зарыдала, — простите, что я пришла. Мне так тяжело. Что вы обо мне подумаете? Почему я не знала вас раньше?

— Не говорите так, Лида!

— Я хотела все вам объяснить; но как я могу! Господи, как я могу — ведь я сама не понимаю ничего, ровно ничего... Сколько я думала, как бы вам обо всем рассказать! Вы должны, должны знать обо мне все, — в беспамятстве твердила она, — нет, нет, не отнимайте у меня решимости, я на коленях умоляю выслушать меня. Я уже не хочу больше оставаться такой подлой, не хочу скрывать от вас правду!

— Успокойтесь, Лида, — в отчаянии защищался Голуб.

Лида как-то запнулась на полуслове, опустила глаза. И вдруг подняла взгляд, открытый и честный.

— Это было незадолго до того, как вы появились у нас, — медленно выговорила она. — Я убежала... с одним человеком; только через три дня за мной приехал брат.

Голуб оцепенел. Услышать это для него оказалось все-таки очень тяжело.

— Зачем, господи, зачем, — зашептал он, даже не прося ответа.

Из Лидиных глаз потекли слезы.

— Не знаю. Я могу вам назвать его имя. Я не знаю, как это случилось, это была не любовь, нет, нет. Но такая уж была пора, это обрушилось на меня как болезнь; меня вообще подмывало вырваться из дому и натворить бог знает чего; я не хотела, просто приходили такие мысли; тогда-то он и встретил меня на улице, начал преследовать и сразу же позвал... не понимаю, почему он отважился; но для меня это было страшно, я понятия не имела ни о чем подобном. Так откровенно и грубо он хотел меня. Потом всюду меня подстерегал, изо дня в день, и все время твердил одно и то же, одно и то же, жал мне руки, заглядывал в глаза, куда бы я ни шла — он шел за мной и только угрожал. Как-то он до того разозлился, что больше не пришел, и тут я сама написала ему. Не знаю, не знаю, зачем я это сделала...

От горечи и муки Голуб плотно сжал зубы.

— Тогда он захотел, чтобы я приходила к нему, — продолжала Лида тихо и печально. — Но это никуда не годится, не годится, согласитесь — ведь это правда? Если уж — то навеки, как в омут. И чтобы никого больше не видеть, ни маму, никого. «Бежим со мной, — предложила я, — а потом ты меня убьешь». Как-то он пришел на свидание и говорит: «Поедем. Куда хочешь». Мы вместе пошли к нему на квартиру — там он взял дорожный мешок и револьвер. И мы поехали. Уже в первую ночь, когда он уснул, я разбудила его! «Теперь убей меня». А он насмехался надо мной, начинал снова и снова... И опять я умоляла убить меня. Тогда он взял патроны и выбросил их из окна в сад. «Спи», — только и сказал, и я подумала, что это уже все, конец. Но через два дня нас разыскал брат и увез меня домой... Может ли человек совсем перемениться?

— Как перемениться?

— Господи, как: начать жизнь заново. В силах ли человеческих сделать себя другим?

— Не т-терзайтесь, Лида, — торопливо проговорил Голуб.

— Что же мне делать? — навзрыд расплакалась она. — Ведь так жить больше невозможно. Когда вы к нам приходили — это было до того страшно... Все могло повториться... как с ним... или выйти по-другому, иначе... Я могу стать лучше... — Лида в муке ломала пальцы. — Верьте, верьте, могу. Если бы не встретила вас — наверное, не смогла бы; но теперь, теперь...

— Лида, — хрипло выговорил Голуб.

— Нет, нет, нет, оставьте, — рыдала Лида, — я знаю, теперь вы отвернетесь от меня, я это знаю наверное, наверное... Но и эту жертву я принесу, чтобы искупить свою вину, даже если никогда не увижу вас больше. Я знаю, понимала и раньше, что после моего признания все примет ужасный оборот, все полностью переменится; меня страшила эта минута, и, только идя к вам, я нашла в себе силы. Лишь на мосту...

Не помня себя, Лида рухнула на колени.

— Судите меня, грешницу.

— Лида, Лида, — тоже почти в беспамятстве твердил Голуб.

Лида воздела руки.

— Нет, нет...

— Ведь мне все давно известно, — выкрикнул Голуб.

Лида поднялась, словно ее ударили по лицу.

— Вы знали...

— Я все знал с самого начала. Когда ваши думали, что вас нет в живых, я знал, что это — бегство, что вы убежали с дурным человеком, я все-все знаю... Собственно, ведь это я вас нашел.

— Но как же так, как же... — в испуге шептала она.

— Не спрашивайте как. Отгадать не представляло труда. Мне все было известно, но это не мешало мне навещать вас — ради вас, Лида. Если это может вас успокоить, — добавил он, сжимая руки, — я никогда бы не смог отказаться от вас!

Лицо Лиды под вуалью стало белым, как плат.

— Вы не должны были приходить к нам, — бросила она резко и страдальчески.

— Нет, Лида, это лучше, что я все знал. Я научился сострадать вам.

— Не лучше, нет, нет, — в отчаянии твердила Лида. — Если бы я только знала! Если бы только могла предположить!

— И что тогда?

— Ничего, ничего похожего на сегодняшнее... Ведь не могла я желать... Боже мой, что вы все это время думали обо мне!

«Все это время, — ужаснулся Голуб, — боже милостивый, как я сам теперь выгляжу в ее глазах!»

— Все это время, — проговорил он смущенно, — я думал о вас только с любовью.

— Нет, — выкрикнула Лида, — это невозможно, невозможно! Разве могли бы вы?!

Голуб схватил ее за руки.

— Лида, вы пришли ко мне потому, что вы знали об этом.

Лида не отпиралась.

— Невозможно, — шептала она в отчаянии.

Руки ее безвольно повисли.

«Ах, Лида, — с беспредельной жалостью думал Голуб, — зачем вы пришли? На что решились? Какого наказания ждали? Могло ли это мгновение спасти вас? А эта жертва — искупить вину? Зачем вы хотели довести все до крайности? Видите, как это нас ранило!

Что же великое и чудесное вы намеревались совершить? Каких великих, славных свершений ждали от меня? Вы унижаетесь перед человеком, который сам бесславно проиграл все битвы; бесполезно всякое деяние, и нет ни победителей, ни побежденных».

Лида отступила в нерешительности и отчаянии; удивленно оглядела она комнату, где должно было свершиться искупление... Увидела незнакомую, чужую, убогую обстановку...

— Лида, — смущенно начал Голуб, — вы, вероятно, знаете, что ваша матушка... словом, я не могу больше запросто приходить к вам.

Лида молча кивнула.

— Если бы вам захотелось вновь навестить меня... — тихо произнес он.

На глаза Лиды навернулись слезы жалости к себе самой.

— Ничего другого не остается... — повторил Голуб.

Лида склонила голову движением трогательным и печальным.

Элегия (След, II)

В этот вечер несколько утомленный Боура читал доклад в Аристотелевском обществе. Хотя слушателей собралось немного, ему было как-то не по себе, и вскоре он почувствовал, что изнемогает; Боура понял, что аудитория не удовлетворена и дискуссии не избежать, а это почему-то не радовало его. Время от времени он слышал свой собственный голос, какой-то глухой, бесцветный, с тяжелой каденцией и неестественными ударениями. Боура попытался овладеть им, но — тщетно; слышать себя было мучительно и неприятно.

Кроме того, лектора удручали слушатели. Ощущение было такое, будто они отгорожены стеною и невероятно далеки от него; было досадно, что он вынужден делиться с ними своими сокровенными мыслями. Все казались ему на одно лицо и ужасно наскучили. Все было настолько безжизненно, что Боура терял ощущение реальности и блуждал в какой-то пустоте, которую не мог превозмочь

и заполнить словами. С трудом заставив себя вглядеться в отдельные лица, он различил среди них знакомых, но чувствовал к ним неприязнь и был прямо-таки поражен теми бесчисленными подробностями их внешности, которые впервые бросились ему в глаза. «Что же это происходит? — спрашивал он себя в недоумении, уже приступив к выводам, — отчего мне так безразлично то, о чем я толкую?»

Боура вполне отчетливо представлял себе план доклада и говорил уверенно, без запинки; он развивал давно выношенную идею, которая некогда блеснула у него как озаренье, а теперь сделалась убеждением. Но сейчас, в непривычной тишине аудитории, все, произнесенное им, показалось ему странным и чуждым. «Ведь это истина, — спохватывался он, — настолько явная и безусловная, что в ней уже нет ничего моего, я сообщаю лишь факты, которые не имеют ко мне ни малейшего отношения. Он вспоминал, какими близкими, *глубоко интимными* представлялись ему эти мысли, когда впервые осенили его. Тогда он мучился сомнениями и радовался любому новому доказательству, словно это был его личный успех; тогда они составляли суть его внутренней, духовной жизни. А сегодня — это голая истина, нечто внешнее и безликое, никак с ним не связанное; нечто столь бездушное, что он невольно спешил, стремясь отделаться поскорее. Однако чем более он торопился, тем более мучили его собственные слова — абстрактные и невыразительные, ничем не похожие на те, что некогда подсказывало ему вдохновение; тем не менее каждое слово, каждый оборот были донельзя знакомы и звучали назойливым повторением пройденного. Теперь он думал только о том, как бы поскорее закруглиться; с каждым словом он все неудержимее стремился к концу — лишь бы отбыть номер! Слушатели не сводили с него глаз. «Ага, теперь я ими завладел, вот сейчас я им все докажу; теперь подошло время главных аргументов. Господи, только бы не пасть духом, только бы преодолеть слабость и апатию!»

Но именно тут, перескочив с пятого на десятое, опустив ряд доказательств, Боура закончил лекцию, словно отрезал.

«Аристотелики» не были удовлетворены; несколько человек выступило с вопросами и возражениями — Боура воспринимал их не более чем наполовину; теперь, когда

высказанные им идеи он слышал из чужих уст, они показались ему еще более безликими и банальными.

«Зачем мне их отстаивать? — думал он в тупой меланхолии, — ведь это не имеет ко мне никакого отношения; это голая истина и ничего больше; меня это нисколько не интересует!» Он говорит тяжело, мучительно заставляя себя сосредоточиться, и чувствовал, что речь его стала убедительной, что он выигрывает «свое дело». «Но это ведь вовсе не мое дело», — снова с удивлением отметил он...

Слово взял следующий оппонент — мужчина с зачесанными под гребенку волосами, отчего Боуре он показался особенно ретивым спорщиком.

— Убедительно прошу дать ваше определение истины, — воинственно начал оратор.

— Вопросы гносеологии не были предметом моей лекции, — возразил Боура.

— Убедительно прошу, — саркастически ухмыльнулся оппонент, — это чрезвычайно меня занимает.

— Вы мешаете ходу прений! — возроптали «аристотелики».

— Прошу прощения, — торжествующе усмехнулся щетинистый человек, — но вопрос задан по существу.

— Не по существу! — загудело Общество.

— Да, это вопрос по существу, — неожиданно согласился Боура.

— В таком случае будьте любезны ответить на мой вопрос, — повторил оппонент.

Боура поднялся:

— А я прошу прекратить дискуссию.

«Аристотелики» онемели от изумления.

— Полезнее было бы обсудить вопрос до конца, — заметил председатель. — Такова традиция Общества. Но, разумеется, я не могу настаивать на своем предложении.

— Мне нечего добавить к своему сообщению, — упрямо твердил Боура.

«Аристотелики» разразились смехом; доклад провалился, и председательствующему не оставалось ничего другого, как закрыть заседание, выразив сожаление, что «собравшиеся лишены удовольствия принять участие в обсуждении, обещавшем быть столь интересным».

Боура наконец выбрался из зала заседаний. В горле у него пересохло, голова была пуста.

Он вышел. Был мягкий зимний вечер; казалось, вот-вот повалит снег.

Глухо звучали трамвайные звонки, словно их обернули плотной ватой. Боура услышал, что его кто-то догоняет, и спрятался за дерево. Догонявший остановился, тяжело переведя дух.

— Моя фамилия Голечек, — произнес он торопливо, — я узнал вас... Вы меня помните?

— Нет, — поколебавшись, отозвался Боура.

— Вспомните в прошлом году... след на снегу...

— А-а, — обрадовался Боура. — Так это вы. Душевно рад. Я часто думал о вас. Так что же, отыскали вы другие следы?

— Какое! Искал, конечно... А почему на заседании Общества вы не ответили на последний вопрос?

— Не знаю. Не хотелось.

— Послушайте, меня вы почти убедили. Все было так ясно! И когда эта щетинистая образина вылезла со своим вопросом, мне даже захотелось вскочить и крикнуть: «Да как же так? Целый час для вас глаголет самое истина, а вы все еще не поняли, что это такое! Тут приводились бесспорные доказательства! В изложении не было ни ошибок, ни лакун. Ничего иррационального, все было продумано с начала и до конца». Отчего вы не стали ему отвечать?

— К чему? — удрученно возразил Боура. — Мне не известно, что такое истина. Я знаю: все, о чем я говорил, было убедительно, логично, очевидно — как угодно. Но это не было ни самоочевидно, ни логично, когда впервые пришло мне в голову. Тогда это выглядело до того сумбурно и странно, что порою я просто хохотал. Я сам себе казался безумцем. И был невыразимо счастлив. А ведь тогда в моих соображениях не было ни на волос рассудка. Не понимаю, откуда что бралось, — все было так беспричинно и бесцельно.

— Следы, которые ниоткуда и никуда не ведут, — вспомнил вдруг Голечек.

— Вот именно. А теперь я построил систему или, если угодно, установил истину, в этой системе все логично и ясно. Но тогда — не знаю, как бы вам передать — тогда это было куда удивительнее, прекраснее и больше походило на чудо. Тогда из моих мыслей ничего не следовало, они ни на что не годились. Я понимал, что существует возможность бесконечного множества иных, противопо-

ложных соображений, столь же поразительных, сверхъестественных и прекрасных. Тогда я понимал, что такое беспредельная свобода. Совершенство нельзя опровергнуть. Но едва я взялся конструировать истину, все как-то материализовалось; я должен был опровергать многое, чтобы осталось только одно: истина; я должен был доказывать и убеждать, быть логичным, быть понятным... Но сегодня, во время доклада, я вдруг осознал: прежде, да, прежде я был ближе к чему-то иному, более совершенному. И когда этот фанатик допытывался, что такое истина, у меня готово было сорваться с языка, что «не в истине дело».

— Этого лучше не говорить, — рассудительно заметил Голечек.

— Есть нечто большее, чем истина, — то, что не связывает, а высвобождает. Случались дни, когда я жил, словно в экстазе; я был свободен... Ничто не представлялось мне более естественным, чем чудеса. Ведь чудеса — всего лишь более яркие проявления свободы и совершенства. Это только счастливые случаи среди тысяч неудач и несчастий. Как близок был мне тогда тот единственный след! А потом, уже с точки зрения поисков истины, я иногда ненавидел его. Боже мой, ответьте мне, неужто мы собственными глазами видели это?

— Видели.

— Я так рад нашей встрече, — ликовал Боура. — Собственно, я вас ждал. Давайте посидим где-нибудь, где вам больше по душе. У меня в горле — пустыня. Представляете, были мгновения, когда я *смотрел* на себя словно со стороны, словно сам сидел в аудитории.

Они спустились в первый попавшийся кабачок. Боура был возбужден, много говорил, подсмеивался над «аристотеликами», в то время как Голечек молча вертел в руках бокал. «Что же ты ищешь, неукротимый? — думал он, поглядывая на Боуру. — Тебе являлось чудо — но ты не узрел в нем спасения. Ты постиг истину — и не покорился ей. К тебе слетало вдохновение, однако и оно не смогло навеки озарить твою жизнь. Ах, мне бы твои крылья!

О, просветленный дух! Наверное, крыла даны тебе лишь для того, чтобы все отринуть? Чтобы нигде не было для тебя ни пристанища, ни покоя? Чтобы стремиться в пустоту и наслаждаться простором, освежая грудь холодом небытия? Если бы мне выпало познать чудо —

был бы спасен. Если бы мне открылась истина — я ухватился бы за нее обеими руками; если бы во мне разгорелась искра божья — неужто я не уподобился бы часовне, где пылает неугасимая лампада?

Даже огненный куст — и тот не спасет тебя. А ведь взор у тебя пламенный, и ты различил бы бога и в терниях и в купине, а я вот — слеп, отягощен плотью, и не увидеть мне чуда.

Ах, тебе, верно, недостает египетского плена, чтобы искупить все верой; но кто в силах связать тебя, парящий и безбожный дух?»

— Помните, — обратился к нему Боура, — в прошлом году, склонясь над тем единственным следом, вы предположили, что там, наверное, прошел бог и что можно было бы пойти по его стопам.

— Да нет, — нахмурился Голечек. — Бога нельзя выслеживать полицейскими методами.

— А как же?

— Никак. Можно лишь ждать, пока меч господень не пресечет твоих корней: тогда только поймешь, что держишься на земле лишь чудом, и навек застынешь в удивлении и благоденствии.

— Этот меч уже коснулся ваших корней?

— Нет.

Тут из-за стола в углу поднялся какой-то посетитель я направился к ним. Огромный, дюжий, большелицый и рыжий, он в задумчивости остановился подле них, да так и стоял, наклонив голову и рассматривая Боуру будто издали.

— Что вам угодно? — удивленно спросил Боура.

Человек молчал, лишь взгляд его словно приближался, становясь все более пристальным, неотвратимым, испытующим.

— Вы не пан Боура? — спросил он вдруг.

Боура поднялся.

— Я пан Боура. А кто вы?

— У вас есть брат?

— Есть... где-то за границей. Что вам от него нужно?

Человек подсел к их столу.

— Так, значит, — неопределенно начал он; потом поднял глаза и сказал: — Я и есть ваш брат.

Боура преувеличенно бурно обрадовался и переполошился.

— Ты?! Неужто в самом деле ты?

— Я, — рассмеялся человек. — Как вы поживаете?

— «Вы?..» Я... Отчего ты обращаешься ко мне на «вы»?

— Отвык, — отозвался человек и попытался улыбнуться, но на лице отразилось лишь напряжение и сосредоточенность.

— Вылитая мать, — заметил он, очерчивая пальцем голову Боуры.

— Я бы ни за что тебя не узнал, — восторженно лепетал Боура. — Боже мой, сколько воды утекло! А ну-ка, покажись! А ты в отца, в отца!

— Возможно.

— Какая случайность, — восхищался Боура, — мы ведь случайно заглянули сюда, я и мой приятель Голечек.

— Очень рад, — с достоинством произнес человек и протянул Голечеку большую, жаркую руку.

— Ну, как живешь? — смущенно спросил Боура.

— Да вот, приехал по делу. У меня там, на юге, свой заводишко. Но на родину все-таки съездил.

— Я там не бывал... со смерти родителей, — признался Боура.

— Дом наш разрушили. А на его месте что-то выстроили, кажется, школу, — словом, какое-то уродство из кирпича. Я заглянул внутрь, побродил, пока меня не окликнули — чего, дескать, мне надобно. Такие глупцы, ни о чем понятия не имели. Зато домик напротив цел, как и прежде, вот такой низенький, — прибавил он и показал рукой.

— Не помню, забыл, — смутился Боура. Рыжий детина наклонился к нему; усиленно что-то припоминая, он напряг взгляд, отчего глаза словно сдвинулись к переносице.

— А жил там... жил там Ганоусек, — вдруг радостно воскликнул он. — Ганоусек, нищий.

— С дочками, — просиял Боура.

— Да, у дочек были еще такие воспаленные глаза, с болезненными кругами. И я заходил к ним поесть.

— Вот об этом слышу впервые, — удивился Боура.

— Заходил. Они жарили для меня на плите хлеб. Что бы старик нищий ни приносил — объедки, корки, горох, чудовищную гадость, — я все ел. А потом заваливался спать и откармливал его вшей.

— Вот отчего мы не могли тебя дозваться, — улыбнулся Боура.

Нет, когда вы меня звали, я прятался наверху, на склоне, в высокой — вот такой, по пояс, — траве. Никто

про то место не знал, а у меня была там своя норка — как у зайца, — и оттуда я следил за тем, что происходит дома. Оттуда было прекрасно видно, как выбегала мама, искала, звала меня, плакала от жалости и страха, а мне было и больно, и нестерпимо сладко, но я не отозвался бы ни за что на свете. Я боялся, что она меня заметит, и все-таки махал ей рукой. Мне хотелось высунуться на минутку, показаться, но так, чтоб узнать меня она не могла.

— Она тебя часто искала, — всплыло в памяти Боуры.

— Да, а я хотел лишь проверить, будет ли она и дальше искать, сидел, затаив дыхание, и ждал, когда она появится. Она искала, звала; правда, плакать потом перестала. А как-то даже не вышла на порог. Я прождал ее до вечера; мне страшно было одному, совсем-совсем одному. Но она так и не появилась; после этого случая я уже не прятался на косогоре, я шлялся где придется, забредая все дальше и дальше.

— Прости, а в какие края занесло тебя теперь?

— В Африку. Я думал, никто меня не любит, потому скитался по белу свету. Мне хотелось испытать, не приключится ли чего со мной. Я очень любил эти ощущения. Но дома меня никто ни о чем не расспрашивал, и я уходил поболтать на куче щебня к дорожным мастерам. Старый Ганоусек обычно молчал, изредка только поругивался, зато дочки его тараторили... тихо, но без умолку.

— А что было с тобой потом? — почти робко спросил Боура.

— Да что... — Рыжий богатырь задумался. Боура тоскуя ждал. Не расскажет ли брат чего-нибудь о себе? Их разделяла такая длительная разлука, такие дальние расстояния, что словами трудно заполнить эту брешь. Долго, брат, придется нам сидеть, болтая о ерунде, о пустяках, обыденных и незначительных, обо всем, что взбредет в голову, понадобится пропасть житейских мелочей, не важных на первый взгляд, чтобы люди сблизились и поняли друг друга.

Старший брат курил и сплевывал, глядя на пол, и в Боуре проснулось давнее детское ощущение: вот он, большой брат, и он смеет делать все, что вздумается, у него свои тайны. Мне бы хотелось расспросить его обо всем, что он делает, но он всего не расскажет. Я с удовольствием рассказал бы ему о себе, но он ни о чем не спросит! Ах, мне ни за что его не постичь.

Сколько раз я видел, как ты возвращаешься откуда-то, и выражение лица у тебя было отсутствующее, таинственное и довольное, как у кошки, которая с жадностью и наслаждением слопала на чердаке воробья и направляется домой, грязная, преступная, а глаза у нее так и светятся! Как часто я обследовал те места, которые ты покинул, чтобы разгадать, что тебе открылось или что ты скрываешь там; перерыв все и вся, я, обманутый в своих ожиданиях, с досадой обнаруживал лишь затканную паутиной изнанку вещей. Вот и сегодня у тебя знакомое выражение лица; ты снова возвращаешься откуда-то тайно, как и прежде, словно кошка, которая насладилась добычей и уже предвкушает новое приключение.

— Ну, ладно, — неожиданно произнес большой брат с каким-то облегчением. — Я пошел. Очень, очень рад был вас повидать.

Боура в смущении поднялся.

— И я был рад. Да ты останься! Ведь мы столько лет не виделись!

Большой брат надел пальто.

— Правда, много лет. Жизнь слишком длинная.

Братья стояли в растерянности, не зная, как проститься: большой брат наклонил голову, будто искал чего-то, какое-то более емкое, задушевное слово; криво усмехаясь, с трудом пошевелил губами.

— Денег хочешь? — выдавил он наконец. — У меня хватает.

— Нет, нет, — отказался Боура, вдруг почувствовав себя счастливым и растроганным. — Нет, пожалуйста, не нужно, но все равно спасибо, ты очень добр. Поезжай с богом, поезжай с богом.

— Отчего же не нужно? — буркнул старший брат и, поколебавшись, добавил: — Мне они без надобности. Ну как хотите. Прощайте.

Он вышел, огромный и прямой, слегка склонив голову к плечу. Голечек проводил его взглядом до самой двери, рыжий брат еще раз махнул на прощание рукой и пропал из виду.

Боура не поднимал глаз.

— Он забыл трость, — воскликнул Голечек и бросился вслед уходящему; впрочем, он был даже рад на время оставить Боуру в одиночестве. На лестнице он еще услышал шаги.

— Послушайте, сударь...

В два прыжка Голечек очутился у дверей. Но улица, куда ни глянь, была пуста. На землю падал мокрый снег и тут же таял.

Пораженный Голечек еще раз оглянулся. Никого, только лестница, ведущая вниз.

От стены отделились две фигуры. Полицейские.

— Здесь никто не пробегал? — поспешно спросил Голечек.

— У вас украли что-нибудь?

— Нет. Куда он пошел?

— Вообще никто не появлялся, — сказал один из полицейских. — Пока мы тут, никто из кабака не выходил.

— Мы здесь уже минут десять, — добавил его напарник.

— Наверно, он еще внизу.

— Нет, — возразил потрясенный Голечек. — Он ушел чуть раньше меня. Он забыл внизу свою трость.

— Трость, — задумчиво повторил полицейский. — Нет, на улицу никто не выходил.

— Но не мог же он провалиться сквозь землю, — с неожиданной злостью крикнул Голечек.

— Провалиться не мог, — миролюбиво согласился полицейский.

— Спускайтесь, сударь, вниз, — посоветовал другой. — Метет.

«Они думают, что я пьян, — догадался Голечек, — а я ведь и не пил вовсе. Что же это такое опять, а?»

— Он обогнал меня всего на несколько шагов, — в отчаянии снова принялся объяснять Голечек, — не может все-таки человек взять да и провалиться? Но если бы он вышел, вы его заметили бы, правда?

Полицейский вынул из кармана записную книжку:

— Его фамилия, сударь?

— Ерунда, — возмутился Голечек, — что вы хотите затеять?

— Бог знает, не стряслось ли с ним чего? Может, несчастье, а может...

Губы Голечека искривились от страшного гнева.

— Если бы только это! — воскликнул он и, бухнув дверьми, сбежал вниз.

Боура все сидел за бокалом вина, пил от огорчения и, возможно, даже не успел заметить отсутствия Голечека.

— Ваш брат исчез, — бросил Голечек, не в силах унять дрожь и волнение.

Боура кивнул головой.

— Это на него похоже.

— Позвольте, — поразился Голечек, — но ведь он поднимался по лестнице и вдруг исчез; на улицу вообще не выходил, словно провалился сквозь землю.

— Именно так, да, да, — кивнул Боура, — словно сквозь землю. Он всегда был такой. Убегал — и никто не знал об этом, а потом возвращался, занятый своими мыслями, и лицо у него было странное, словно он видел нечто большее, чем дано видеть людям.

— Черт возьми, да поймите вы наконец: он не убежал, он исчез. Это ж абсурд! Провалился прямо на лестнице; двое полицейских стояли у дверей, а его не видели.

— Чудак, ей-богу чудак. Он с детства такой... никогда не поймешь, что у него на уме; нелюдим, переменчив, жестокий и замкнутый. Вы его не знаете.

— Да неужели вы не понимаете, — возмутился Голечек, — он просто испарился, как дух, он словно прошел сквозь стену.

— Понимаю. Он ни в чем не знал меры, всегда был очень непостоянен. И никогда его не заботило, что можно, а чего — нельзя, он как бы не ведал угрызений совести и не знал пределов допустимого. Ах, как часто он ставил нас в тупик!

— Неужели возможно так вот исчезнуть?

— Не знаю. Мой брат не учился в школе, он не имеет ни малейшего представления о том, что возможно, а что — нет. Право, он питал неизъяснимое отвращение ко всякой учености.

— Да ведь теперь не о том речь! — Голечек стукнул кулаком по столу.

— О чем же? — спросил Боура и поднял взгляд на собеседника.

— Взять да исчезнуть ни с того ни с сего не может никто. Вы понимаете, есть же...

— ...пределы физически возможного, знаю; вы уже говорили об этом, рассматривая отпечаток американского сапога. Физические пределы! Как будто это так уж важно! Знаете, на своем веку я успел кое-что повидать, а прочитал и того больше; и все же никогда ничто не казалось мне более естественным, чем воскрешение дочери Иаира.

Я видел умершую девушку... Ах, в чудовищном механизме нашего мира единственно подлинным и естественным остается чудо. Только оно соответствовало бы человеку по самой своей сути...

— Чудо, конечно! — проговорил Голечек. — Кого-то спасти, излечить немощных и прежде всего — воскресить тех, кто умер молодым. Но для чего все то, что я сейчас видел? Кому это на пользу? Если уж это чудеса — то почему они столь бесцельны? Из этого ничего, — увы! — ничего не следует.

— Даже если из этого ничего не следует, даже если это ни на что не годится! Чудо остается чудом... И внутри нас свершается такое, что, вероятно, не имеет иной цели... кроме собственного совершенства. Нежданные проблески свободы... Пусть всего лишь проблески! Вот если бы *все* происходило по естественным законам нашей души — *тогда творились бы подлинные чудеса.*

История без слов

Ночью леса таинственны, словно бездонный омут, и ты в молчании любуешься звездой, поднявшейся над Мелатином, думая о зверушках, что сладко спят в глуши леса, о глубоком сне, объявшем вселенную, и о том, что неизменно бодрствует в твоей душе.

Нескончаемы, бесконечны пасмурные дни; сколько раз ты бродил по лесу в такое время, — о, неисчислимые шаги и неодолимые воспоминания! — и никогда тебе не удавалось пройти всех дорог и припомнить все былое: так обширны и таинственны леса над Мелатином.

Но сегодня — знойный августовский полдень: жаркие просеки меж кронами дерев и глушь, рассеченная серпом света; день такой ясный и яркий, словно вы поредели и расступились перед солнцем, темные, глубокие леса. Зной иссушил мои воспоминания, и я погрузился в дрему — не знаю отчего: от истомы ли, а может — от усталости, убаюканный белыми зонтиками, что раскачиваются над моей головой...

В один из таких дней Ежек шел по лесу, довольный, что голова пуста и нет надобности ни о чем думать.

Вольно веет теплом от стволов. Упала шишка — позабыла, наверное, что надо держаться, — ведь вокруг так безветренно; верхушки дерев дрогнули, и отовсюду полился свет. О, какой славный, дивный день! Какое серебристое сверкание излучают трепетные колоски метлицы!

Радость или что-то похожее на тихую печаль разлилось в душе Ежека, и он, умиротворенный, вслушивался в томное бормотание леса.

Ослепленный солнцем, стоял он на краю пасеки, где неслышно, чуть дрожа, струился знойный воздух. Но что это? Перед ним человек. Лежит, уткнувшись носом в землю, и не двигается. Мухи ползают по его вытянутой руке, а он и не пытается спугнуть их. Неужто мертв?

В благоговейном ужасе наклонился Ежек над напряженно вытянутой рукой, в которой была зажата старая широкополая шляпа. Мухи даже не подумали улететь. На потертой подкладке еще можно было разобрать несколько букв... эрто, ел... сол.

«Пуэрто-дель-Соль», — догадался Ежек и, пораженный, заглянул в лицо мертвому. Но человек вдруг открыл глаза и проговорил:

— Нет ли у вас закурить?

— Пожалуйста, — поспешно откликнулся Ежек и вздохнул с немалым облегчением. Человек взял сигарету, старательно размял ее и, перевалившись на другой бок, закурил.

— Благодарю, — проговорил он и умолк.

Человек был немолод, с сединой в волосах, с расплывшимися чертами широкого лица; по-видимому, он сильно исхудал, одежда собиралась на нем странными, неживыми складками. Вытянувшись во весь рост, он лежал на боку и курил, уставясь взглядом в землю.

«Пуэрто-дель-Соль, — размышлял Ежек. — Ворота солнца. Что же он делал в Испании? На путешественника не похож... Видно, нездоров, глаза, словно у великомученика. Пуэрто-дель-Соль в Мадриде».

— Вы были в Мадриде? — неожиданно вырвалось у Ежека.

Незнакомец согласно засопел, но не ответил.

«Мог бы сказать, кто он и откуда, — подумал Ежек, — слово за слово, разговорились бы... Впрочем, он мог бы и подтвердить — да, мол, был в Мадриде, но это не са-

мый далекий город, где я побывал; есть места куда красивее, жизнь там — совсем непохожа на нашу. Бог знает, чего можно выдумать. Ага, он о чем-то вспомнил».

Незнакомец едва заметно шевельнул рукой и в задумчивости уставился куда-то.

«Может, он догадается. Вижу, мол, вы смотрите на меня с интересом; вы решили, что я мертвый, и с жалостью склонились надо мной; за это я расскажу вам историю своей жизни. Не прерывайте меня, если что-нибудь покажется несвязным или легковесным. Отгадайте по моему лицу — легко ли, просто ли мне жилось. Вот так мог бы он начать...»

Но человек все молчал и не спеша затягивался, обратив светлый, невидящий взгляд в пространство.

«Наверняка он о чем-нибудь расскажет, — думалось Ежеку, — просто трудно подыскать слова для описания собственной жизни. Ладно, подожду».

Он лег на спину. Солнце ударило ему в лицо и проникло под опущенные веки; красные и черные круги заплясали перед глазами. Тепло набегало плавными, огненными волнами, и Ежеку было легко, словно его качало на черных и красных кругах, уносило приливом плавных волн, движением вечным и неизменным. Куда увлекает нас это сильное, захватывающее движение? Ах, не все ли равно? Ведь это лишь незримые движения жизни, лишь жизнь может двигаться, неизменно оставаясь самой собой.

Внезапно он повернулся. По руке пробирается светленький муравьишка, не ведая, зачем и куда он спешит по поверхности, слишком для него просторной. «И нас, — подумалось Ежеку, — волнует мир, он и для нас слишком широк, так же, как для тебя, муравей: эти дали, странник, это неутишимое смятение! Отчего ты торопишься? Погоди, не спеши, я не сделаю тебе ничего плохого, хоть я и большой. Ах ты, маленький любитель приключений, неужто только страх гонит тебя вперед? Странный, безотчетный и отчаянный страх одиночества? Или смутная тоска? А где ж врата, через которые ты хотел спастись?»

Совсем рядом — стоит протянуть руку — на цветок опустилась бабочка; она раскачивается на белом зонтике, широко раскинувшись, трепеща легкими крылышками, закрывая и раскрывая их движением чарующим и сладостным, сладостным до боли. Ах, не исчезай, очарование! Не сокрушай моего сердца извечным движением

отлета! Остановись и позволь убаюкать тебя, о мгновение любви, мгновение утраченного равновесия, жест незавершенного совершенства... Прелестная встреча после тяжких страданий дороги! Волшебные крылья девственно дрогнули, и бабочка, легкая, словно мимолетное мгновение, исчезла внезапно, непостижимо, как будто за ней вдруг захлопнулись ворота.

Ежек посмотрел вверх. Куда же это унеслось? Куда несетесь вы, легкие светлые облака, в своем бесцельном и неутомимом движении? Ах, унестись бы вместе с вами — просто ради величия неба; унестись по той лишь простой причине, что небесный простор велик и бесконечен, оттого, что велика и бесконечна мечта. О милосердное небо, душа моя безыскусна, как и мой взор. Но отчего вы устремлены далеко за горизонт, мирные очи? Отчего, безыскуснейшая душа, ты вмещаешь в себе демоническую добродетель смятения? Как высоко, головокружительно высоко плывут облака — где-то у врат солнца.

Пуэрто-дель-Соль! Ежек оглянулся. Человек, на которого он наткнулся, спал; лицо его казалось неясным и измученным, мягким и широким.

Тогда Ежек поднялся, стараясь не разбудить незнакомца, и побрел по разогретому лесу — в рассеянии, без дум, словно обогащенный чем-то. Как будто выслушал историю жизни, не очень попятную, но близкую, не слишком связную, но тем не менее историю... У него было такое чувство, словно он выслушал историю чужой жизни и уже забывает ее.

Надпись

Вздохнув, Квичала остановился у дверей, теша себя мыслью, что его визит развлечет Матиса — они поболтают, и это немножко расшевелит больного.

Звонок прозвенел так коротко и нетвердо, что у Квичалы тоскливо сжалось сердце; ему почудилось, будто там, за дверью, звук боязливо, вслепую пробивает себе путь сквозь толщу застоявшейся мертвой тишины. Не снимая пальца с кнопки, Квичала прислушался. Дверь отворила старушка мать в домашних шлепанцах,

шепотом пригласила войти. Квичала ступал на цыпочках, сам не зная почему; через приоткрытую дверь он увидел Матиса, который лежал на постели, отвернувшись к стене, и будто бы дремал.

— Кто там? — равнодушно спросил больной.

— Пан Квичала, — шепнула старушка и скрылась.

Матис посмотрел на приятеля повеселевшим взглядом.

— Очень мило с вашей стороны! Да болезнь пустяковая... плеврит... какой-то эксудативный... Недели через две поднимусь.

Квичала заставил себя улыбнуться. Ему было худо в душной комнате, где слабо и неприятно пахло компрессами, потом, чаем и яйцами. Его умилил небритый подбородок Матиса и его прояснившийся взгляд; он пожалел, что не захватил с собой ни прохладного апельсина, ни свежего букетика, который можно было бы поставить на ночном столике среди скомканных носовых платков, остатков пищи и неразрезанных книг. Он с трудом превозмогал брезгливую тошноту.

Квичала попытался было завязать разговор, пересказывая новости, и сердился на то, что голос у него стал вдруг чужим, будто подернулся пленкой. Он чувствовал на себе взгляд больного, пристальный и в то же время отсутствующий, — и спешил выложить свои новости, мечтая поскорее убраться восвояси.

Матис расспрашивал о знакомых, но Квичала угадал, что это — лишь завистливый интерес больного к здоровым, и отвечал все более скупо. Вскоре все темы были исчерпаны. Хоть бы распахнуть окно! Послушать, как там, на воле! Перенестись туда хотя бы частицей души! Квичала угрюмо избегал упорных и каких-то отрешенных взглядов друга; старался не смотреть на жаркую и смятую постель; нарочито не замечал засохшей грязи на ночном столике; он перевел глаза на окно, пыльное, почти не пропускавшее света, на окно, через которое можно вырваться наружу...

— Взгляните-ка, — вдруг произнес больной, показывая пальцем на стену у изголовья.

Квичала наклонился; на стене виднелось еле заметное, полустершееся слово, дважды подчеркнутое карандашом.

— «Назад», — прочитал Квичала.

— Что вы на это скажете? — тихо спросил Матис.

— По-видимому, это было написано много лет назад.

— Сколько, по вашему?

— Трудно сказать. Может, пять, а может — десять... Когда здесь в последний раз делали ремонт?

— Я спрашивал маму, — ответил Матис, разглядывая серый потолок, — наверное, лет десять прошло, а то и больше. Я не позволял делать у себя ремонт.

Квичала поспешно отвернулся к окну.

— Нет, вы присмотритесь, — настаивал больной, — вам это ничего не говорит?

Квичала снова перегнулся через постель.

— Написано мужской рукой. В волнении и спешке, так что в одном месте даже обломился графит. Дальше писавший прямо царапал стену. Причем в потемках. Этот крючок выведен как-то странно... А вызывающе длинные линии у «з» и «д» говорят о решимости.

— «Назад», — повторил Матис. — Что бы это значило, как по-вашему?

— Бог его знает; видно, какое-то решение. Скажем, что-то вернуть...

— Или самому к чему-нибудь возвратиться?

— Возможно. Но отчего вы меня спрашиваете об этом?

— Да просто так. Вот думаю, к чему было здесь это писать?

— Видно, кого-то посетила счастливая идея, а может — озарение. Вот он и начертал нечто вроде девиза, чтоб не запамятовать. Но отчего вас это так волнует?

— Оттого что надпись сделана моей рукой, явно моей, а я не могу даже вспомнить, когда и зачем я ее нацарапал. Вот и ломаю себе голову, что бы это значило?

— Ну, теперь-то уже ничего...

— Теперь — нет, а вот тогда... Я разглядел надпись недавно, во время болезни. Раньше я никогда ее не замечал, только теперь. И вот размышляю от нечего делать...

— Над чем? — встрепенулся отвлекшийся было Квичала.

— Я редко думал о прошлом, — признался Матис, прикрыв глаза. — К чему? Ведь в минувшем все так просто. Человек привыкает к прошлому. Все в нем представляется ему знакомым. А вот теперь я не могу припомнить, на что я тогда решался; не помню, куда я хотел возвратиться и что так угнетало меня здесь; не помню даже, когда это происходило. Никакого проблеска в памяти... А вас кинувшее не поражает, не приводит порой... в смятение?

— Нет, — чистосердечно признался Квичала.

Больной нетерпеливо передернул плечами и умолк.

— Не знаю, когда и для чего я это нацарапал, — начал он снова, — но мне припомнилось множество случаев, когда это слово могло показаться мне спасительным. В голову приходят все новые и новые моменты, когда я мог это написать. Или, более того, исполнить.

— То есть как исполнить?

— Не знаю. Меня уже давно занимает мысль, каким образом это можно было исполнить. «Назад», да, «назад», по к какому пределу? Пока лежишь, чего только не всплывает в памяти... Что же в прошлом было такого, к чему все-таки стоило возвратиться? Там было немало прекрасного. Мне многого жаль. И прежде всего — ушедшей любви. Изредка мелькнет давняя излюбленная идея. Но много, невероятно много я накрепко позабыл, и об этом думаю сейчас непрестанно. Прошлое так поразительно живо! Оно — неисчерпаемо.

Квичала вздохнул; духота становилась нестерпимой. Эх, улица за окном! Свет, простор! Быстрота, движение!

— Прошлое вовсе не так понятно, как мне представлялось, — обронил Матис словно про себя. — Оно совсем неоднолико. В минувшем творились такие невообразимые, немыслимые дела. Мне иногда кажется, будто я стою на краю почти неведомого мира; кое-что для себя я открыл, а остальное уходит куда-то в бесконечность, в такие дали, о которых я и не подозревал, не имел представления... И надо считать великим милосердием то заблуждение, будто наше прошлое нам известно; известно лишь немногое, а все остальное... Большую часть прошлого нам следовало бы пережить *заново.*

Квичала вслушался: на улице звенит трамвай, все громче шум шагов, гулко рассыпается грохот дребезжащей повозки; пронзительно-звонко кричит ребенок, а здесь от звуков, проникших сквозь стекло, остаются лишь бледные тени; они лишены всего осязаемого и реального; отсечены от шума, который бьется о стекло снаружи, и сливаются с тишиной.

— У нас здесь так т и х о , — проговорил б о л ь н о й , — и время тянется бесконечно. Я думаю о прошлом, многое из него не должно было бы исчезнуть бесследно. О чем ни подумаю — ничто не заслуживает забвения. Только

теперь стоило бы пережить все это заново, сознательно продлевая минуты... даже тягчайшие. Я словно выпустил их из рук, не понимая еще, что они такое; и самые драгоценные из них...

— Ты слишком одинок, — заметил Квичала.

— Да. Через две недели я снова встану на ноги и, наверное, опять забуду, что некогда написал «назад». Но теперь это слово будто высечено на скале. «Назад». Прошлое — лишь намек, эскиз; все осталось незавершенным, только обозначенным — как начало и предвестие грядущего... «Назад!» Наверное, каждый из нас в свое время ощутит потребность в этом и захочет вернуться — словно домой — «назад»! Нет, нет — не «назад», не к самым началам, к самым первым шагам; но «назад» к концу, к «довысказыванию», «довершению» самого себя, «назад» — к последним шагам... Немыслимое возвращение, но не к тому, что уже бесплодно. Нет, «назад» — ни в коем случае.

Квичала поднялся.

— Значит, недели через две встретимся, — улыбнулся Матис. — Извините, я так давно молчу, не с кем словом перемолвиться. Кланяйтесь всем от меня.

Рука у него была горячая и сухая. Ох, поскорее бы на улицу! Животворная прохлада, улица, люди, люди! И «вперед» — от всего, что здесь есть!

Зал ожидания

«Скоротаю ночь в ресторане», — решил Заруба, когда поезд уже подходил к станции, — или проваляюсь где-нибудь на лавке в зале ожидания, подремлю часа три-четыре и с первым утренним поездом отправлюсь дальше. Боже мой, только бы побыстрее! Еще есть надежда, еще все можно спасти; впереди еще столько времени!»

Однако ресторан был уже закрыт, а единственный зал ожидания заполнили солдаты воинского эшелона. Они устроились на лавках и на столах; словно груды трупов валялись, уткнувшись лицом в смятую бумагу. Заруба к поисках спасения пробрался в коридор; здесь было холодно; два газовых рожка еле мерцали в промозглом сум-

раке; пахло дегтем и уборными; несколько человек дрожало от холода и зевало на лавочках, тупо покорившись неизбежности долгого ожидания. Но здесь нашлось небольшое местечко, где можно было приклонить голову усталому человеку.

Заруба приглядел себе лавочку и угнездился там, соорудив из себя самого закуток для сна, постель, пристанище... «Ох и неудобно! — Заруба стряхнул оцепенение. — Как бы уложить ноги?» Он долго и упорно размышлял над этим; в конце концов ему совсем по-детски захотелось растянуться во весь рост, и он разлегся на лавке.

Но лавка оказалась слишком коротка. Заруба отчаянно воевал со своими размерами, огорченный столь яростным их сопротивлением; он лежал, будто стреноженный, без движения, по-мальчишески щуплый, и смотрел на большие световые пятна, которые кружились во тьме, словно на вертящемся диске. «Ведь я уже сплю», — блеснуло у него в голове, и в то же мгновение он открыл глаза; он увидел, как отдаляется, словно убегая, угол стены, и пришел в страшное замешательство. Заруба в испуге искал хоть какой-нибудь знакомый ориентир, но не мог сообразить, где он и что с ним. Собрав всю свою волю, он встал. Снова увидел длинный и холодный коридор, но в еще более мрачном свете и, поняв, что сон совершенно прошел, ощутил во рту горький привкус пробуждения.

Опершись локтями о колени, он думал о своем. «Ах да, еще завершить вот это, последнее, да, да, добиться спасения! Ведь у меня еще столько времени!»

Он в рассеянье разглядывал грязные плитки коридора, видел растоптанные бумажки, мерзкие плевки, следы бесчисленных ног... А там вот словно лицо: глаза — из грязи и рот — из слюней, безобразное подобие ухмылки...

Почувствовав отвращение, Заруба поднял взгляд.

Вот лежит на лавке солдат, запрокинул голову и стонет, будто умирающий. Спит женщина; на ее коленях — голова девочки; у женщины злое и жалкое лицо; она спит, а девчушка смотрит по сторонам бесцветными глазами и что-то шепчет; у нее длинный, выступающий вперед подбородок; на худеньком личике прочерчен широкий рот — этакая маленькая старушонка с бегающим взглядом печальных, широко расставленных глаз.

А на этой скамейке сморило дородного дядю, и он безвольно клонится вниз с тупым удивлением на опух-

шем от сна лице и будет валиться, словно мягкий куль, до тех пор, пока не наткнется на какую-нибудь опору.

Из-под зеленой шляпы выглядывают черные живые глаза молодого мужчины. «Иди ко мне», — насвистывает он сквозь щели съеденных зубов. «Иди сюда», — шепчет он и улыбается. Бледноокая девчушка вертится от смущения и улыбается страшной старушечьей улыбкой; зубов у нее нет вовсе. «Иди сюда», — продолжает свистящим шепотом молодой человек и подсаживается к ней сам. «Как тебя зовут?» — спрашивает он и гладит ладонью ее коленки. Девчушка недоверчиво и неприятно усмехается. Спящий солдат храпит, словно пришел его смертный час. Заруба дрожит от холода и отвращения.

Половина первого ночи. Время двигалось мучительно медленно, и от растущего помимо воли напряжения Заруба почувствовал себя развинченным и бессмысленно издерганным. «Ладно, — сказал он себе, — надо закрыть глаза и так вот, не думая, не двигаясь, продержаться как можно дольше, целые часы, пока не пройдет время».

В полном оцепенении застыл он на лавке, принуждая себя держаться, пока хватит сил; бесконечно долго тянулись минуты; счет без чисел, пауза за паузой, промедление за промедлением. Наконец, спустя какое-то время, казавшееся невыносимо долгим, он открыл глаза. Пять минут второго. Коридор, бумажный мусор, девочка, все тот же дробный, старческий смех. Ничего не изменилось. Все оцепенело в недвижной, неотступной реальности.

И вдруг Заруба открыл для себя еще одного человека. Тот сидел в углу неподвижно, как и он сам, и не спал. «С ним творится то же, что и со мной, — подумал Заруба, — эта пытка временем не дает уснуть и ему. О чем он думает? О бесконечности ожидания — как и я?»

Человек вздрогнул, будто этот вопрос был ему неприятен. Заруба невольно задержал взгляд на его бесформенном лице; заметил, что оно беспокойно дергается, словно человек пытается согнать назойливую муху. Неожиданно незнакомец поднялся, на цыпочках прошел весь коридор и сел возле Зарубы.

— Вас побеспокоил мой взгляд? — понизив голос, спросил Заруба.

— Да.

Оба помолчали.

— Посмотрите, — после длительной паузы заговорил

незнакомец, показав пальцем на пол, — это пятно похоже на человеческое лицо.

— Я уже заметил.

— Уже заметили, — задумчиво проговорил человек, — значит, состояние у вас такое же, как у меня.

— Какое?

— Нет ничего мучительнее ожидания, — ответил человек.

— Но какое у меня состояние?

— Вам тяжко. Тяжко ждать. Что бы ни произошло — все равно это освобождение. Нет ничего мучительнее ожидания.

— Зачем вы мне об этом говорите?

— Просто потому, что ждать действительно тяжело. Вы, как и я, разглядывали лицо, нарисованное на полу грязью и плевками; и вас томило ожидание. Нет ничего мучительнее настоящего.

— Отчего?

— Оттого, что ждать тяжко. — Человек умолк и уставился в землю.

— Куда вы едете? — немного погодя спросил Заруба.

— Куда глаза глядят, — рассеянно ответил незнакомец. — Лишь бы отвлечься. Часто встречаются красивые места. Едешь-едешь, ничего уже не ждешь и вдруг — такой прекрасный уголок. Представьте себе речку, или родник в лесу, либо дети, то есть нечто неожиданное и прекрасное. И вы в полном изумлении осознаете, что это и есть счастье.

— А что такое счастье?

— Да ничто. Просто его встречаешь. Словом, это нечто удивительное. Вы когда-нибудь думали о языческих божествах?

— Нет, никогда.

— А дело было так: никто их не ждал — но они вдруг объявлялись: где-то в кустах, в воде, а может, в пламени костра. Оттого они и были так прекрасны. О, если бы я мог это выразить! Если бы мог!

— Почему вы вспомнили о богах?

— Просто так. Счастье нужно встречать случайно и с лета. Счастье — это такой редкий случай! Такая неожиданность, что невольно воскликнешь: «Ах, вот это приключение!» С вами случалось такое?

— Случалось.

— И тогда вам представляется, что это сон. И самое прекрасное — похоже на приключение. Там, где любовь перестает быть приключением, она становится мукой!

— Но отчего это, отчего?

— Не знаю. Любовь не могла бы длиться, если бы не становилась мукой. Вы помните, у древних одно и то же слово обозначало счастье и случай. И слово это было именем богини.

«Фортуна, — с тоской подумал Заруба. — Если бы только она встретилась мне теперь! Но трудно рассчитывать на Фортуну!»

— Ждать трудно, — снова проговорил человек, — трудно и мучительно; чего бы вы ни ждали, вы ждете единственного: конца ожидания, освобождения от ожидания. Ждать так тяжко, что чего бы вы ни дождались, это уже не принесет ни наслаждения, ни счастья, это будет само по себе удивительно и печально, пронизано болью ожидания — не знаю, как тут выразиться. Таково всякое искупление: оно никогда не бывает настоящим счастьем.

«Зачем он все это говорит? — подумал Заруба. — Неужто я не буду счастлив, если дождусь?»

— Люди ждали самого бога, — продолжал незнакомец, — а что за человек явился избавить их от ожидания! Он не был ни пригож, ни приметен с виду, никудышный из никудышных, страстотерпец; он нес недуги наши, страдал нашими печалями, словно и не был богом.

— К чему вы говорите об этом?

— Ожидание — ах, как тяжело ожидание! Даже бога оно сломит и унизит. Долгие годы люди ждут счастья, большого и прекрасного события, и наконец оно приходит — крохотное, убогое, словно печаль; но вы говорите: «Да, господи, это то, чего я столько лет ждал! В этом мое искупление».

— Что вы хотите сказать?

— Я понимаю это так: единственная награда за ожидание — конец ожидания, и только поэтому ждать стоит. И только поэтому ждать нужно. В этом смысл нашей веры.

— Какой веры?

— Любой, — ответил человек и умолк.

Люди, спавшие в коридоре, пробуждались, расхаживали мимо них. Беззубая девчушка уснула на руках у матери, скрывшись под ее шалью. Жизнь пробудилась, она

была бесцельной и нескладной, но она началась и уже не могла замереть.

— А что вы имели в виду, когда вспомнили о богах? — громко спросил Заруба у незнакомца.

— Они были прекрасны, — ответил человек, — достаточно было везения либо случайности — и ты мог их увидеть и сам немножко стать богом. Вот я и думаю: удивительное дело — счастье, диво дивное — красота и счастье, — оттого они и могут случиться лишь по чудесной случайности. Но ожидающий всегда ждет чего-то, что должно произойти; должно наступить нечто такое, что завершит его ожидание. Право, каждый чего-нибудь ждет... и вы тоже; мы сошли со стези радости, чтобы дождаться великого. Ах, ждать — это страшное напряжение, почти как религия. Но чем больше мы ждем... Пускай же приходит *что угодно,* все равно это будет *искупление.* Смотрите, уже рассвело...

На вокзал хлынул поток людей — со смехом, кашлем и гомоном. Гомон большой метлой пронесся по коридору, смел слежавшуюся тишину и овеял пропыленные голоса. Пассажиры поднимались с лавок, стряхивали путы сна и оглядывали друг друга без неприязни, словно совместный ночлег объединил их.

А на улице, за окнами, занимался день.

Незнакомец, разговаривавший с Зарубой, затерялся между людьми. Снова толпа, билеты, крик и звонки. Черный и грохочущий поезд въехал на вокзал, всосал толпу, посипел, выдохнул пар и рванулся к цели. «Господи, только бы побыстрее, — думал Заруба, — еще не все потеряно; пока еще есть надежда».

На помощь!

Он обнаружил, что стоит на просторном откосе, поросшем прекрасными деревьями. «Ведь это Франция, — догадался он вдруг, — видно, я сел не на тот поезд». И в самом деле это странный поезд — сплошь незнакомые лица, все смеются над ним, словно он плохо одет; а поезд мчится со страшной скоростью, так что дребезжат стекла.

Брож очнулся ото сна; кто-то стучал в окно.

— Что нужно? — крикнул Брож заплетающимся языком.

— Умоляю, — произнес с улицы дрожащий женский голос. — Помогите нам, пожалуйста, поскорее!

— Пошли вы к черту! — сердито бросил Брож и зарылся с головой в подушки. Лишь бы ухватить прерванную нить! Лишь бы досмотреть сон именно с того момента, когда он прервался! «Поезд. Что-то мне снилось о поезде, — старался припомнить Брож; и вдруг осознал с мучительной отчетливостью: — Я должен был спросить, что с ними случилось!»

Он вскочил с постели и бросился отворить окно. Холодом, чернотою повеяло от пустынной ночи.

— Кто тут? — несколько раз крикнул он, но ни звука не услышал в ответ. Его пробрала дрожь, и он пошел прилечь; юркнув под одеяло, отыскал уже нагретое место и зарылся в тепло страстно и жадно; веки у него снова смежились, а члены расслабились в блаженстве. Ох, только бы уснуть!

Широко раскрытыми глазами Брож глядел во тьму. Кто же там все-таки был? Тут, в деревне, никому нет до меня дела. Кто бы стал искать у меня помощи? Голос был женский. И в нем слышалось безмерное страдание. Видимо, женщине грозила смерть. Впрочем, я ведь не врач. Но, наверное, речь шла о жизни и смерти.

Измучившись, Брож повернулся к окну. Оно вырисовывалось холодным голубоватым прямоугольником в черной, обставшей его тьме. Нигде ни огонька. Тихо; только сухо, отрывисто тикают в изголовье часы. Что же все-таки там произошло? Какая стряслась беда? Наверное, где-то по соседству кто-то умирает или ведет отчаянную борьбу с болезнью? Я, конечно, не врач.

Но в постели жарко, нестерпимо жарко. Брож сел на перину и по привычке взял очки. «И вообще, — раздумывал он, — какой от меня толк? Как им помочь? Способен ли я совершить хоть что-нибудь полезное? Господи, я не умею ни посоветовать, ни утешить; даже словами, даже простой участливостью я не смог бы облегчить чье-либо бремя. Ведь сам я ничего не прошу, только покоя; только избавления от людей. Но что все-таки произошло?»

Тут ему пришло в голову засветить лампу. «Может, увидят свет, — сказал он сам себе, — и постучат снова. Буду светить как маяк. А постучат — спрошу, что слу-

чилось. По крайней мере, узнаю, что я действительно ничем не мог помочь».

Утешив себя, Брож подоткнул подушки под спину и напряженно ждал: вот-вот скрипнут ворота и тот же женский голос попросит помощи. Но мерное тиканье часов томило его. Тщетно пытался он остановить время. Было три часа ночи. Исподволь в груди разрасталась непомерная тяжесть беспокойства и волнения. Никто не возвращался.

Брож суетливо и поспешно принялся одеваться. «Конечно, — решил он, — если в доме что-то случилось, свет не погасят, и я постучу в окно. Все равно теперь не уснуть. Пользы от меня никакой, но все же... Они, наверное, совсем уж беспомощны...» Брож спешил и второпях тихо чертыхался, проклиная тонкие шнурки ботинок; в конце концов ему удалось затянуть какой-то немыслимый узел, и он выскочил на улицу.

На улице было темно — хоть глаз выколи. Брож пустился по улочке в поисках освещенного окна; до сих пор он никогда не видел деревни, столь глубоко забывшейся сном, настолько чуждой любому проявлению жизни, настолько чужой... Нигде не проливался жалобный свет ночной лампы, ни единый луч не проникал из-за ставен. В испуге Брож остановился возле часовни; на ее окнах дрожал блуждающий тусклый отблеск пламени. «Лампада», — понял Брож и прошел мимо, но больше нигде не было ни огонька; повсюду — тьма, лишь слабо отсвечивает белизна стен.

Брож медленно брел обратно, вслушиваясь в тишину немых домов. Не раздастся ли изнутри стенание, не возропщет ли тихая беспомощность? Не всхлипнет ли рыданием женский голос? Цепенея от ужаса, Брож исследовал замкнутые просторы немоты: ничего, ни звука, ни учащенного дыхания — ничего...

Разве не может долететь из просторов ночи, из дальней дали, с другого конца света рвущий душу крик о помощи?

Как непривычен спящий мир! Безмолвный! Не кричащий от боли! Не молящий о спасении! Если бы сейчас пронесся тишайший стон, разве Брож не услышал бы его, разве не оперся бы о него, как о столп, не ухватился бы, как за луч, вспыхнувший во тьме...

«Хочешь помогать другим, — прозвучало в нем насмешливо и резко, — а себе помочь не можешь! Но разве, — подумал Брож в болезненном изумлении, — это не так? Ведь это, скорее всего, потому, *именно потому,* что сам себе ты помочь не можешь... — Тот, кто может себе помочь, — тот будет помогать себе; но ты, ты, неспособный помочь сам себе, — пожалуй, это именно так...»

Брож остановился, словно ударенный. Значит, он не способен помочь сам себе! Неужели это правда?.. Да и нужна ли мне помощь... и от себя самого, и от кого-либо другого? Неужто мне и впрямь очень худо? О боже, нет же, нет! Ведь я живу по-своему и не хочу ничего больше. Лишь бы прожить свои дни ради самого себя. У меня кет неисполненных желаний. Наверное, у меня желаний нет вообще. Ведь и себе самому я помочь не в силах. Мне не в чем себе помогать. Мне это никогда не приходило в голову. Пусть все остается так, как есть: день за днем — до бесконечности.

День за днем? Брож опустился на тумбу и недвижно уставился во тьму, словно тайком досматривал прерванный сон. Или будто видел, как уходят в прошлое день за днем, месяц за месяцем и год за годом — до бесконечности.

Ничто уже не изменится. Да и что менять? Стремительно уносятся прочь события и годы; но день следует за днем, словно вообще ничего не происходило. Прошел день. Ну и что в том? Ведь такой же в точности день настанет завтра. Только и он пройдет столь же бесследно! Изо дня в день я могу повторять себе: «Я ничего не потерял, кроме дня. Только день, ничего больше». Откуда же в таком случае этот страх? Брож до боли сдавил себе виски. Чтобы очнуться. «Я не выспался. Я остановился, а дни наросли вокруг меня, словно стены; день за днем однообразно и тяжко накладывались один на другой — словно кирпичи. Я уже скоро проснусь: но то, что я обнаружу вокруг, — будет ли это новый и небывалый день? Или день, возведенный из тысяч минувших — как стена? И я снова спрошу себя: неужели это еще один среди тысяч других, нагроможденных, как стены? Зачем он явился? Вчера было лишь на один-единственный день меньше! Стоило ли просыпаться ради этого единственного дня?»

Сонливость разом слетела с него. «Да ведь это тюрьма! — осознал он в ужасе. — Столько лет я жил как в тюрьме! — Глаза его расширились; казалось, как-то гру-

стно осветились минувшие годы: они были странно чужие и еще более странно знакомые; все и ничто, дни без счета... — Да, тюрьма, — опомнился Брож, — неужто я так никогда и не проснусь в небывалом дне? Разве я не жду его до сих пор (ах, тюрьма!) — и *не ждал все время,* — понял он вдруг (...минувшие годы озарились светом), — разве я остановился не для того, чтобы не пропустить небывалый день?»

Минувшие годы озарились светом. «Господи, — шептал Брож, глядя в просторы неба, — я не стану таиться от тебя дольше: я ждал твоей помощи, чудодейственного высвобождения; свершится, — думалось мне, — некое великое событие, пробьется в расщелинах свет, и после сильных ударов в дверь прогремит громкий приказ: «Лазарь, восстань!» Столько лет ждал я громоподобного гласа триумфатора; ты не явился, и я уже ни на что не надеюсь больше.

И если я еще жду чего-то, так это помощи и высвобождения. Некоего гласа, что взовет ко мне в моем заточении. Видно, он не громок, а так слаб, что я должен поддержать его собственным голосом. И видно, это голос не приказывающий, но просительный: «Восстань, Лазарь! Восстань, чтобы помочь нам!»

Если ты не в силах помочь себе сам, то кто поможет тебе? Кто придет высвободить тебя, если ты не способен на это? Все объято сном в неведомом мире; по-детски всхлипнет боль губами спящего; ребяческий сон, что-то о поезде; исчезающий сон чертит что-то на стенах тюрьмы. И вдруг он явится — постучит в окно и призовет тебя воспрянуть ото сна, — тот небывалый день. Распознаешь ли ты его, очнешься ли, воспрянешь ли духом?

Ты, видно, ждал светопреставления: так услышь тихий, просительный зов. Может быть, день, встретить который ты жаждал, наступит не как праздник, а как будни, как понедельник жизни, как обычный грядущий день.

Над лесами брезжит рассвет.

Мучительные рассказы

PRAHA

Отцы

Небо безоблачно, и площадь с утра пылает, как огромная раскаленная каменная плита. Белые фронтоны, аркады, в окнах цветущие кактусы и герань; рыжая собачонка отряхивается на мостовой. От мрачных фасадов богатых домов, как всегда в знойный день, дышит прохладой; большие темные ставни закрытых окон хранят благодатный сумрак.

Перед домом аптекаря, словно сфинкс, спит сенбернар. Тихо на этой площади; здесь всегда тихо: тихо в дождь, тихо в полуденную жару, тихо по воскресеньям, тихо по будним дням. Посреди площади, словно огромный корабль, высится костел. Вот здесь и ходила девочка, пока была жива.

Она умерла, и никогда прежде городок не видел горя большего, чем горе ее отца. В последние дни он не покидал изголовья ее кровати; лишь когда малютка засыпала, отец подходил к окну и смотрел на площадь. Здесь он с ней гулял, пока она не заболела, держал ее за руку и разговаривал; аптекарский сенбернар всегда вставал, подметая землю тяжелым хвостом, чтобы она могла его погладить. Старый аптекарь совал руку в стеклянную банку и давал ей горсть серых леденцов от кашля. А девочка потом с отвращением их выплевывала, и ее тоненькие пальчики еще долго оставались измазанными и липкими.

Этой дорогой он спускался с ней к реке. Девочка боялась некоторых домов и никогда не говорила почему; боялась людей, злых собак, колодцев с железными ведрами, мостов, нищих и лошадей, боялась реки и машин. В страхе она крепко стискивала руку отца, а он в ответ покровительственно пожимал ее ручонку: не бойся, я тут. Здесь он ходил с ней на прогулку в лес, бросал шишки с откоса и заставлял себя шутить; ребенок никогда ни о чем не спрашивал. Их знали все: он, степенный отец, толстый, заботливый, склонившийся над ребенком; она, безвкусно одетая шестилетняя светловолосая и светлоглазая девочка с запавшими щечками. Дети кричали ей вслед: «Заморыш», — отец багровел и ходил к родителям жаловаться на озорников. Так они гуляли.

Сенбернар встает и оглядывается. Три недели проболела девочка и умерла. Несколько нищенок уже стоят перед осиротевшим домом; сходятся люди на похороны, немного погреются на площади, а потом заходят в дом. Уже ждут музыканты и служки с крестами и светильниками, четыре работницы из отцовской мастерской в новых черных платьях несут погребальные носилки, покрытые длинным суконным покрывалом, в белом одеянии подходят девочки, довольные и немного смущенные, певчие с нотами под мышкой, рослые, смеющиеся девушки — светлые платья, букеты цветов; не спеша собираются сливки городского общества — длинные черные сюртуки, тяжелые цилиндры, дамы в шелковых юбках, чинные и торжественные лица; сходится весь город, ибо отец богатый и видный здесь человек. Наконец появляется каноник, и с ним два священника в белых облачениях — знак благости небес. Наверху, в большом зале, лежит девочка, на русых волосах венок, в восковых ручках сломанная свеча.

Тихо на площади, и сенбернар ложится, подняв голову к затихшему дому. И вот в открытое окно несется звучный голос священника: «Sit nomen Domini» [1]. Нищенки падают на колени. «Laudate, pueri, Dominum: laudate nomen Domini» [2]. Мужской хор вступает: «Sit nomen Domini benedictum» [3]. Нищенки перед домом начинают неразборчиво что-то бормотать, и лишь постепенно становятся различимыми слова молитвы «Отче наш». «Hic accipiet» [4], — поет мощный голос каноника. «Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Et ne nos inducas in tentationem. Sed Libera nos a malo» [5]. Сенбернар, поджав хвост, убегает домой. «Oremus» [6]. Тихо в доме, даже нищенки смолкли. Лишь фонтан журчит посреди площади.

Умерла девочка, была она слабенькая и совсем некрасивая; боялась широкой площади, боялась большого пса и фонтана, который казался ей бездонным, шла по жизни, держась за руку отца, заболела у него на руках, а ныне —

---

[1] Да будет имя господне (*лат.*).

[2] Хвалите, рабы, господа, хвалите имя господне (*лат.*).

[3] Да будет имя господне благословенно (*лат.*).

[4] Да приимет он (*лат.*).

[5] Господи, помилуй. Иисусе Христе, помилуй. Господи, помилуй. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого (*лат.*).

[6] Помолимся (*лат.*).

восхвалите за это имя господне — преставилась в свои несчастные шесть лет, дабы стать ангелочком.

По раскаленной площади движется траурная процессия: служки с крестами и светильниками, заунывная музыка, девочки с веночками розмарина и сломанными свечками на подушках, священники с горящими свечами, а за ними гробик, легонький, несмотря на все роскошные украшения, жесткие, широкие ленты, восковые венцы и банты из черного крепа, согбенный отец, с лицом как бы стертым горем, бледная, хрупкая мать под черной вуалью, следом люди в черном, хмурые, с лысинами, блестящими на солнце, с белыми носовыми платками, небольшая перешептывающаяся толпа, а позади, как отдаленный и бормочущий островок, нищенки со своей нескончаемой молитвой.

Выжженной ложбиной процессия восходит на голгофу человеческой скорби. За голой стеной лежит новое кладбище, белое и сухое, песчаная земля мертвых, на ней не выросло ничего, кроме белых крестов, лилий из жести да тонкой башни погребальной часовни. Все голо и высохло добела, точно кости. Белый, мертвый полдень. Белая раскаленная дорога. Плывет в вышине маленький гробик и тянет за собой черную толпу; маленький гробик, маленькая покойница в белом платье и со сломанной свечой; сюда ходила она, держась за руку отца.

— Бедняга, он так ее любил! Женился поздно и очень хотел ребенка, а потом, да вы сами знаете, приехал сюда новый регент и соблазнил его супругу. Всему городу об этом известно. Вот и родилась русая девочка у брюнетов; вся в органиста, похожи друг на друга как две капли воды. Будто пальцем указывала на своего настоящего отца.

Легкий гробик, видно, превратился в свинцовый. Носильщики останавливаются и ставят носилки на землю. Да, именно здесь бывала она со своим отцом; вот тут они садились и смотрели вниз, на дорогу с повозками комедиантов, деревенскими колясками и бричками, смотрели отсюда на улицы городка, стараясь угадать, кто там идет.

Весь городок знал, за кем бегает его жена, лишь он ничего не видел; у него был ребенок, светловолосая и светлоглазая девчушка, с ней он нянчился, пока жена его устраивала сцены ревности каждой девице, которую ее музыкант учил тыкать пальцами в клавиши. В конце

концов, чтобы не лишиться уроков, пришлось ему бросить любовницу; причем каждому, кто интересовался, он давал читать ее письма, а интересовались этим все.

Вновь зазвучал надрывный похоронный марш, и процессия медленно, под звон колоколов, тяжело подымается в гору. Маленькая дама под вуалью со строго поджатыми губами путается в подоле юбки; она держится прямо, как бы бросая вызов всем любопытным, а потом снова скроется дома, со своим бесконечным вышиванием сядет у окна, бледнея от одиночества и злобы.

Да, он бросил ее, и осталась она с немилым и противным ей ребенком и мужем, все чувства которого принадлежали этой умершей девочке, хотя он не был ее отцом. Он привязался к ней всей своей унылой душой, и городок не знал, то ли смеяться, то ли жалеть его, когда он выводил нелепо одетую девочку, бледную и испуганную, из холодных комнат дома на площадь.

Звон колоколов вдруг оборвался коротким гулом.

Маленький гробик стучится в ворота вечности. Покоится на досках над свежей могилой, посреди большой, безмолвной толпы; в мертвой тишине лишь хористы шелестят нотами да каноник не спеша перелистывает черную книжку. В толпе заплакал ребенок. Узкая тень башни пересекает раскаленное поле мертвых. Только год, как здесь хоронят, а может, это кладбище слишком велико и его никогда не заполнят, может, никогда оно не зарастет и навеки останется таким пустым и голым. Толпа дышит тяжело и беспокойно. В чем дело? Почему не начинают? Тишина становится все мучительней, тревожней, все более угнетающей...

«Laudate Dominum de coelis, laudate eum in excelsis. Laudate eum omnes angeli eius [1], — возвещает х о р . — Laudate eum omnes virtutes eius» [2]. Толпа перевела дух. «Laudate eum sol et luna; laudate eum stellae et lumen. Laudate eum coeli coelorum» [3]. Легкий ветерок, словно разбуженный хором мужских голосов, овеял прохладой бледные лица, поднял облачко ладана, зашелестел лентами и

---

[1] Хвалите господа с небес, хвалите его в вышних. Хвалите его, все ангелы его (*лат.*).

[2] Хвалите его, все воинство его (*лат.*).

[3] Хвалите его, солнце и луна, хвалите его, все звезды света. Хвалите его, небеса небес (*лат.*).

венками, дохнул из могилы холодом глины. Отец склонился, словно падает, не сводит глаз с гробика; люди становятся на цыпочки, чтобы лучше его видеть: вот-вот начнется прощание.

«Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison». Молодой священник раскачивает кадило; цепочки его слабо позвякивают, из кадила выходит дымок и расплывается в воздухе... «Oremus». Широкое пылающее небо безмолвно разверзается над белым кладбищем; мгновение тревожней вечности; лишь сердце бьется сильнее от напряжения страшного, величественного и мучительного момента. «Per omnia saecula saeculorum. Amen» [1]. Капли освященной воды окропляют гробик, отец, громко рыдая, опускается на колени; гроб медленно спускают в могилу, и хор приглушенно начинает нежный, печальный хорал: «Призвал господь...»

Маленькая дама под вуалью стоит как пригвожденная. Слишком хорошо знаком ей этот сочный, звучный, самоуверенный и самодовольный голос. Когда-то она слушала его в другой обстановке и страстно млела, завороженная его звучанием. Горожане слушают, склонив головы: поет сам регент с первой певицей хора Марией, Венерой городка, высокой, цветущей девушкой. Из всего хора выделяются эти два голоса. Говорят, она к нему ходит, эта Мария. Два голоса ласкаются и обнимаются при ярком солнце, сам каноник внимает им, закрыв глаза; маленькая дама судорожно рыдает, голубое облачко ладана летит к небу, и тихо, еле слышно разносятся над кладбищем заключительные слова хорала. Каноник, как бы пробудившись от сна, наклоняется к земле. Один, два, три комочка глины.

Один, два, три комочка; каждый пробирается к открытой могиле, где отец стоит на коленях на куче земли и всхлипывает так, словно уже никогда не сможет остановиться. Все уже бросили свои три комочка в могилу и рады бы уйти. Они только ждут, когда подымется отец, чтобы пожать ему руку. Священники переминаются, нужно еще идти к часовне; могильщик громко сморкается и лопатой бросает сухую, раскаленную землю в могилу. Вся толпа, изнывая, растерянно молчит.

---

[1] И во веки веков. Аминь (*лат.*).

Среди хористов пронесся легкий смешок. Пан регент сверкает глазами, он рад удачной шутке. Бледная Анежка порозовела, Матильда кусает платок, а Мария корчится в беззвучном хохоте. Регент, с довольным видом причесав волосы и усы, наклонился к Марии и что-то шепнул ей. Мария прыснула и убежала. Люди оглядываются, одни с улыбкой, другие укоризненно.

Отец быстро встает, дрожит и хочет что-то сказать.

— Вам... вам всем, кто моей единственной, любимой доченьке оказал... — Он не в силах продолжать и уходит, рыдая, не подав никому руки, словно во сне. Поднимается суматоха. Пока священники идут в часовню, толпа рассеивается. Одни наспех ставят три крестика на могилах своих близких, другие ненадолго останавливаются у чьего-нибудь надгробия, и почти никто не ждет конца обряда; только регент с Марией и певчими, громко смеясь, поднимаются на хоры кладбищенской часовни.

Несколько женщин в черном молятся у могил и, утирая слезы, оправляют жалкие засыхающие цветы.

Из открытой часовни доносится пение каноника: «Benedicite omnia opera Domini Domino». «Benedicite angeli Domini Domino»[1], — вторит регент. «Benedicite coeli Domino»[2].

Могильщик полными лопатами зарывает ребенка двух отцов.

Трое

Солнце, с самого раннего утра припекавшее желтую стену противоположных дворов, медленно передвинулось в напряженной тишине. Стены напротив очутились в тени, и показалось, что стало чуть прохладнее. Сейчас узкая солнечная полоска, зацепившись за оконную раму, начнет шириться и, как только попадет в комнату, муж рядом в спальне проснется, громко зевнет и, как всегда по воскресеньям, войдет сюда. Мария, передернув плечами от тоски и отвращения, опустила шитье на колени.

---

[1] Благословите все дела бога богов. Благословите, ангелы, бога богов (*лат.*).

[2] Благословите, небеса, господа (*лат.*).

Невидящим взглядом она уставилась в окно. Каштан во дворе еще недавно цвел, а теперь на нем остался только обглоданный околоцветник. Почему даже ни в чем не повинное дерево становится противным? Беспокойная, растущая, непосильная тяжесть теснит грудь Марии... Если бы она захотела рассказать о себе, то, наверное, все это показалось бы ей воспоминанием; однако ни мужу, ни тому, другому, она никогда о себе не рассказывала. Да и какие там воспоминания! Скорее — прошлое как бы смоталось в тяжелый клубок, ухватишь кончик — и начнет разматываться событие за событием: и то, что она с радостью воскресила бы в утешение себе, и то, что хотела бы навеки позабыть. Ни о чем Мария не думает, ни о чем не хочет думать, но многое могла бы вспомнить. Прошлое — все тут — так близко, что страшно задумываться, — того и гляди, коснешься его.

Полоска солнечного света протянулась за оконную раму.

Мучило бессильное сознание, что все об этом знают, что каждому известны даже подробности ее супружеской неверности. Ах, вначале она сердилась, когда столько людей давали ей понять, что знают... одни грубо, иные с бесстыдной прямотой, третьи попреками, а остальные... да, каждый считал себя вправе сказать ей какую-нибудь гадость. Одна соседка, встречая ее, громко говорит о распутницах, другая качает головой, дескать, почему же молодому человеку не воспользоваться тем, что ему предлагают от чистого сердца, третья неустанно намекает о муже, четвертая не отвечает на приветствие, а иная преисполнена показным сочувствием и то и дело прибегает что-нибудь одолжить. Ах, боже милостивый, неужели она должна все сносить?

Да, вначале Мария пыталась сопротивляться, но трудно сопротивляться угрызениям своей нечистой совести. А потом безутешно плакала от ярости и обиды. Она даже не могла пожаловаться возлюбленному, ибо, покоренная тихой, тяжелой и властной любовью этого страстного, нескладного человека, просто не знала, что ему говорить. В конце концов Мария сделала вид, что не понимает намеков, как будто речь шла не о ней. Человеку постепенно все становится привычным, однако от этого «все» не очистится, не изменится, не переделается»

Солнечная полоска скользнула на шнур жалюзи.

Да, еще муж у нее. Вначале он, видимо, не верил тому, что люди говорили о его жене, затем впал в отчаяние и, не сказав ей ни слова, запил. Пил страшно, он, такой порядочный, и вскоре опустился самым плачевным образом. Но когда на службе пригрозили вывести его на пенсию, он сразу бросил пить, стал прежним, только еще более бережливым и домовитым. С Марией он долго не разговаривал вообще, потом пришлось говорить о расходах, о белье, о пище... После своего «исправления» муж стал скупым и разборчивым в еде, потребовал к себе особого внимания и на этом успокоился. Однажды он застал дома Баудыша, возлюбленного Марии; ни на кого не глядя, хлопнул дверью и уединился в другую комнату, но едва гость ушел, откликнулся на приглашение ужинать, вначале молчал, а поев, завел речь о том о сем с мучительными паузами, словно понимая, что ему лучше бы помолчать. И когда после того Мария предпочла сама ходить к Баудышу, он не раз поднимал крик, что она отсутствовала слишком долго: ему, мол, приходится ждать с ужином. Люди называли его добряком. Марии муж опротивел и потому, что она ему изменяла, и потому, что он совсем перестал следить за собой.

Солнечный луч переместился на стену. Мария следила за ним, как за стрелкой роковых часов: пока еще слышен равномерный храп мужа, но вот-вот заскрипит кушетка, муж начнет зевать, с трудом поднимется и, почесывая затылок, в расстегнутом жилете, в одних носках войдет сюда, как каждое воскресенье. Будет расхаживать по комнате, ощупывать мебель, рассматривать старые щербинки, ворча при этом о расходах, и осторожно, окольными путями заведет свой странный, еженедельный разговор... Мария вздрогнула. Этот разговор он начал уже давно. Тысячи раз говорил о том, как дорого обходится человеку жена, сколько денег стоит супружество. «А лучше всего, — заявил он в одно воскресенье, — устраиваются молодые люди, которые обхаживают замужних женщин. Кто-то ее кормит, кто-то ее одевает, а им это ничего не стоит. Разве что преподнесут букетик фиалок», — добавил он, уставившись на Марию... — Им это дешево обходится, — без конца повторял он нарочито, словно открыл что-то новое. Целый месяц муж жил этой мыслью, и Мария думала, что он ревнует.

Однажды она пришивала отделку на платье. Муж пришел, выспавшись, и спросил, сколько стоят кружева, а сколько то-то и то-то... Впрочем, в таких вещах он ее никогда особенно не ограничивал, видимо, понимая, что жена должна хорошо одеваться, но тем не менее заговорил об этом и пожаловался на расходы. «Нынче, — сказал он, — мужу *одному* не по силам одеть свою жену, нет, *одному* мужу по нынешним временам столько не заработать. Кое-кому, конечно, это обходится дешево, жена ему ничего не стоит, она ведь чужая...» Мария начала понимать и почувствовала, как холодеет сердце, но молчала, словно это ее не касалось. Муж уставился на нее тяжелым взглядом и вдруг выпалил:

— А как Баудыш?

Он впервые произнес его имя.

— Что Баудыш? — сразу испугалась Мария.

— Ничего, — ответил он уклончиво и, помолчав, спросил: — Он-то сколько зарабатывает?

Тогда и началось, вспоминает Мария. А теперь разговор об этом заходит каждое воскресенье. Что это оu заспался сегодня? Вот придет и, почесывая спину, спросит: «Говорила с Баудышем? А сколько раз? А что, много оп зарабатывает?» Затем переведет разговор на себя. Денег, мол, нет, а ему нужна новая шляпа, — шляпа и в самом деле уже неприличная. «Да что поделаешь, коли хозяйство все поглощает?» Говорит он один. У Марии противный ком подкатывает к горлу, хочется его выплюнуть. Муж покачивает головой и неожиданно грустно заключает: «Тебе-то что, ты никаких забот не знаешь».

Мария смотрит на движущийся луч и впивается ногтями в ладонь. Ах, если бы хоть об этом не вспоминалось! Она пришла к любовнику как раз после того воскресенья. Баудыш посадил ее на кушетку, а она сопротивлялась и плакала, считая необходимым плакать, и долго-долго заставила его просить, прежде чем объяснила причину слез: муж жадный, не дает денег ни на платье, ни на что другое... Любовник слушал мрачно и как-то холодно, был он... видно, тугодум и в уме подсчитывал, сколько это может стоить. Наконец произнес неуверенно и даже неохотно: «Об этом, Мария, позабочусь я!» Мария почувствовала, что сейчас могла бы расплакаться без притворства, но ей пришлось уступить его поцелуям; ах, пришлось быть гораздо уступчивее, чем до тех пор!

На следующий раз он ждал ее с подарком — материей на платье, которая ей не понравилась; домой она возвращалась подавленная стыдом. До того дня Мария встречалась с любовником как жена с мужем; ласки ее были искренни и беззаветны, теперь же она закрывала глаза на все, чтобы не ужаснуться самой себе. Когда она раскраивала материю, пришел муж.

— Это от Баудыша? — спросил он с живостью.

Мария вздохнула и стала сметывать материю крупными стежками. Она шила себе шелковую блузку, этот отрез ей тоже купил любовник. Даже странно, что ему понравилось засыпать ее дорогими, роскошными и соблазнительными подарками. Временами она с радостью думала, что это от большой любви, но порой чувствовала иное, и ей становилось не по себе. Кончилась ее сдержанная, целомудренная любовь, от этих подарков веяло распущенностью и безрассудством, и Мария принуждала себя к неестественной, легкомысленной необузданности, которая была чужда ее спокойному, сильному телу. Эту резкую перемену любовник воспринял как запойный пьяница, а Мария — как нечто неизбежное и отвратительное. Такая любовь казалась ей невыразимо грешной, ибо была противна ее натуре. Но отступать она уже не могла, примирилась и в отчаянии тщетно старалась просто не думать об этом. На этой неделе он заставлял ее пить вино, а сам был уже пьян. Пить она отказалась, но когда оп дохнул ей в лицо пьяным, горячим и возбужденным дыханием, она от ужаса готова была закричать.

Луч солнца бесшумно скользнул на фотографию ее матери. Он осветил круглое, ясное, жизнерадостное лицо деревенской женщины, которая нарожала детей и, благодарная, с лихвой вернула жизни все, что та дала ей. Мария уронила руки на колени; не слышно дыхания мужа, невыносимо жарко и угнетающе тихо. Но вот за стеной закряхтел муж, затрещала кушетка, скрипнули половицы под неуверенными шагами. Мария сразу принялась за шитье. Муж открыл дверь, громко зевнул и, почесывая затылок, растрепанный, потный и разомлевший от сна, вошел к ней. Мария даже глаз не подняла, лишь иголка быстрее замелькала в ее руках.

Муж прошелся по комнате в носках, наклонился над шитьем жены, зевнул и поинтересовался:

— Чего шьешь?

Мария молча разложила перед ним свою работу.

— Это от Баудыша? — спросил он равнодушно.

Она взяла в рот иглу и промолчала. Муж вздохнул и с видом знатока пощупал шелк, как будто знал толк в материи.

— Это от Баудыша, — сам ответил он на свой вопрос.

— Давно уже, — проронила Мария уголком губ.

— Охо-хо! — зевнул муж и принялся расхаживать по комнате.

— Ради бога, надень хоть туфли, — не сразу отозвалась Мария.

Муж молча продолжал ходить из угла в угол.

— Ну, да, — начал он, — без конца тряпки да тряпки! На что только такая ерунда? Тебе не жаль денег! Тебе, Мария, не жаль денег!

— Но ведь ты не платишь, — решительно возразила Мария. Она знала, что он заведет тот же разговор, как в прошлые воскресенья.

— Не плачу, — согласился муж. — Знаешь, что не плачу. Откуда мне взять? У меня... другие расходы. Опять надо уплатить страховые взносы... На лишнее у нас денег нет. Ты расходов не считаешь. Сто двадцать за квартиру. А страховые? Тебе все нипочем. Говорила с Баудышем?

— Говорила.

— Боже ты мой, — зевнул муж, разглядывая шитье жены. — И не жаль тебе, Мария, этих денег? Сколько же стоит такая материя, не знаешь?

— Нет.

— Сколько раз ты говорила с ним за эту неделю?

— Два.

— Два раза, — повторил муж задумчиво. — Жалко этих денег. Ведь у тебя столько тряпок! Послушай, Мария!

Молодая женщина опустила голову: начинается.

— За два года мы ничего не сэкономили. Так-то, Мария! А не ровен час, заболеет кто, или еще что приключится... нарядов у тебя хватает. Не правда ли?

Мария упорно молчала.

— Нам надо бы хоть немного отложить да угля купить на зиму. Я хотел бы к старости... чтобы у тебя было... Ты хоть о своей старости могла бы подумать!

Наступила мучительная тишина; Мария машинально, куда ни попадя втыкала иглу. Муж смотрел в окно поверх ее светловолосой головы и собирался что-то сказать, как вдруг его небритый подбородок, жалкий, с застрявшими крошками, задрожал.

— Перестань, — крикнула Мария.

Подбородок застыл, муж глотнул слюну и сказал:

— И мне бы надо кое-что из одежды, но знаю, у нас на это денег нет. Так-то, Мария!

Он сел, сгорбившись, и уставился на пол.

Мария втыкала иглу в шелк. Да, неделю тому назад он говорил то же самое; она готова была плакать над его изношенной одеждой: каждый день держала ее в руках, знала каждую протертую нитку и уже стыдилась, когда он в таком виде шел на службу.

Вчера она была у любовника; шла к нему с готовым планом, но вышло не так, как ей хотелось. Она села к нему на колени (решив, что сегодня это необходимо) и заставила себя быть озорной и веселой, однако он сразу насторожился и спросил, что ей надо. Она, смеясь, ответила, чтобы он больше не делал ей подарков, уж лучше она сама купит, что ей вздумается, если у нее будет на что... Он посмотрел на нее и опустил руки. «Встань!» — сказал он, поднялся, походил по комнате, затем отсчитал двести крон и положил их возле ее сумочки. Ах, она не случайно оставила сумочку на столе, все обдумано заранее; почему он не понял этого, почему заставил ее при прощании собирать бумажки и торопливо, неловко совать их в сумку? Почему он хотя бы не отвернулся, почему так испытующе и пристально смотрел на нее? Мария сухими, широко раскрытыми глазами следила за острием иглы, машинально царапая шелк и бессознательно делая в нем извилистую дыру.

— Так-то, Мария, — глухо отозвался муж. — Не хватает у нас денег.

— Сумку, — раздраженно произнесла Мария.

— Что тебе?

— Возьми... мою сумку!

Он открыл сумку, нашел скомканную пачку банкнот, которую она вчера туда запихнула.

— Это твои? — вырвалось у него.

— Наши, — обронила Мария.

Муж, оцепенев, глядел на склоненную голову жены, не зная, что сказать.

— Могу их спрятать? — тихо осведомился он.

— Как хочешь.

Он в одних носках переминался с ноги на ногу, подыскивая то ли оскорбительное, то ли нежное слово, и наконец молча ушел с деньгами в соседнюю комнату. Был он там долго, а вернувшись, застал жену в той же позе, иглой царапающую шелк.

— Мария, — спросил он мягко. — Не хочешь ли пойти со мной погулять?

Мария покачала головой.

Муж растерянно помолчал; говорить сейчас было невозможно...

— Ну, что ж, Мария, — произнес он наконец с облегчением. — Может, мне сегодня заглянуть в кофейню? Ведь уж столько лет я...

— Иди, — шепнула Мария.

Он одевался, не зная, что еще сказать. Мария даже не пошевелилась, склонившись над пестрым шелком, прелестная, женственная, безмолвная...

Он торопливо одевался — скорее бы уйти; в дверях еще остановился и, поколебавшись, сказал нерешительно:

— Слушай, Мария, если тебе захочется пойти куда-нибудь... так ты... иди. Я найду, где поужинать.

Мария опустила голову на разодранный шелк. В этот день ей не даны были спасительные слезы.

В замке

— Ре, Мери, ре, — машинально повторяет Ольга. Девочка нехотя разыгрывает на рояле легонький этюд, который они долбят уже две недели, но дело идет все хуже и хуже. Ольгу даже во сне преследует этот несносный детский мотивчик.

— Ре, Мери, слушайте же! До, ре, соль, ре, — терпеливо напевает Ольга слабым голоском и наигрывает на рояле. — Будьте повнимательней: до, ре, соль, ре... Нет, Мери, ре, ре! Почему вы все время берете ми?

Мери не знает, почему она фальшивит, она помнит только одно: надо играть. В глазах у нее ненависть, она бьет ногой по стулу и вот-вот убежит к «папа». Пока что девочка упорно берет «ми» вместо «ре». Ольга, перестав следить за игрой, устало глядит в окно. В парке светит солнце, громадные деревья раскачиваются под горячим ветром; однако и в парке нет свободы, как нет ее в ржаном поле за парком. Ах, когда же конец уроку? И опять «ми», «ми», «ми»!

— Ре, Мери, ре! — в отчаянии повторяет Ольга и вдруг взрывается: — Вы никогда не научитесь играть!

Девочка выпрямляется и окидывает гувернантку высокомерным взглядом:

— Почему вы не скажете этого при пап*а*, мадемуазель?

Ольга закусывает губу.

— Играйте же! — восклицает она с ненужной резкостью, ловит враждебный взгляд девочки и начинает нервно считать вслух:

— Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. До, ре, соль, ре... Плохо! Раз, два, три, четыре...

Дверь гостиной чуть приоткрылась. Это, конечно, старый граф — стоит и подслушивает. Ольга понижает голос.

— Раз, два, три, четыре. До, ре, соль, ре. Вот теперь правильно... (Положим, неправильно, но ведь под дверью стоит старый граф!) Раз, два, три, четыре. Теперь хорошо. Ведь не так уж это трудно, не правда ли? Раз, два...

Дверь распахнулась, хромой граф вошел, постукивая тростью.

— Кхм, Mary, wie gehts? Hast du schön gespielt! [1] А, мадемуазель?

— О да, ваше сиятельство, — поспешно подтвердила Ольга, вставая из-за рояля.

— Mary, du hast Talent! [2] — воскликнул хромой старик и вдруг — это было почти отталкивающее зрелище — тяжело опустился на колени, так что заскрипел пол, и с каким-то умиленным завыванием принялся осыпать поцелуями свое чадо.

---

[1] Мери, как дела? Ты хорошо играла! (*нем.*)

[2] Мери, у тебя талант! (*нем.*)

— Mary, du hast Talent, — бормотал он, громко чмокая девочку в шею. — Du bist so gescheit, Mary, so gescheit! Sag'mal was soll dir dein Papa schenken? [1]

— Danke, nichts [2], — ответила Мери, слегка ежась под отцовскими поцелуями. — Ich möchte nur... [3]

— Was, was möchtest du? [4] — восторженно залепетал граф.

— Ich möchte nur nit so viel Stunden haben [5], — проронила Мери.

— Ха-ха-ха, ну, natürlich! [6] — рассмеялся растроганный отец. — Nein, wie geseheit bist du! [7] Не правда ли, мадемуазель?

— Да, — тихо сказала Ольга.

— Wie gescheit! [8] — повторил старик и хотел встать. Ольга поспешила помочь ему. — Не надо! — резко крикнул граф и, стоя на четвереньках, попытался подняться сам. Ольга отвернулась. В этот момент пять пальцев конвульсивно стиснули ее руку; уцепившись за Ольгу и опираясь на нее всем телом, старый граф поднялся. Ольга чуть не упала под тяжестью этого громоздкого, страшного, параличного тела. Это было свыше ее сил. Мери засмеялась.

Граф выпрямился, нацепил пенсне и посмотрел на Ольгу с таким видом, словно видел ее впервые.

— Мисс Ольга?

— Please? [9] — отозвалась девушка.

— Miss Olga, you speak too much during the lessons: you confound the child with your eternal admonishing. You will make me the pleasure to be a little kinder» [10].

— Yes, sir [11], — прошептала Ольга, зардевшись до корней волос.

---

[1] Ты такая умница, Мери, такая умница! Скажи своему папе, что тебе подарить? (*нем.*)

[2] Спасибо, ничего (*нем.*).

[3] Я хотела бы только... (*нем.*)

[4] Что, что бы ты хотела? (*нем.*)

[5] Я хочу, чтобы у меня было поменьше уроков (*нем.*).

[6] конечно! (*нем.*)

[7] Ах, какая же ты умница! (*нем.*)

[8] Какая умница! (*нем.*)

[9] Что вам угодно? (*англ.*)

[10] Мисс Ольга, вы слишком много говорите во время урока и лишь путаете ребенка своими вечными наставлениями. Сделайте одолжение — будьте поласковее с девочкой (*англ.*).

[11] Да, сэр (*англ.*).

Мери поняла, что пап*а* отчитывает гувернантку, и сделала безразличное лицо, будто разговор шел не о ней.

— Итак, всего хорошего, мадемуазель, — закончил граф.

Ольга поклонилась и направилась к выходу, но, поддавшись жажде мщения, обернулась и, сверкнув глазами, заметила:

— Когда учительница уходит, надо попрощаться, Мери!

— Ja, mein Kind, das kannst du[1], — благосклонно подтвердил граф.

Мери ухмыльнулась и сделала стремительный книксен.

Выйдя за дверь, Ольга схватилась за голову. «О боже, я не выдержу, не выдержу этого! Вот уже пять месяцев нет ни дня, ни часу, чтобы они не мучили меня...»

«Нет, тебя никто не мучит, — твердила она, прижимая руки к вискам и прохаживаясь в прохладном холле. — Ты для них чужой, нанятый человек, никто и не думает о тебе. Все они такие, нигде человек так не одинок, как на службе у чужих людей. А Мери злая девчонка, — внезапно пришло Ольге в голову, — ненавидит меня. Ей нравится меня мучить, и она умеет это делать. Освальд озорник, а Мери злючка... Графиня высокомерна и унижает меня, а Мери — злючка... И это девочка, которую я должна была бы любить! Ребенок, с которым я провожу целые дни! О господи, сколько же лет мне здесь еще жить?»

Две горничные хихикали в коридоре. Завидев Ольгу, они притихли и поздоровались с ней, глядя куда-то в сторону. Ольге стало завидно, что они смеются, ей захотелось свысока приказать им что-нибудь, но она не знала — что. «Жить бы в людской вместе с этими девушками, — подумала гувернантка. — Они там хохочут до полуночи, болтают, возятся... С ними лакей Франц; то одна взвизгнет, то другая... как это противно!» Ольга с омерзением вспомнила вчерашний случай: в пустой «гостевой» комнате, рядом со своей спальней, она случайно застала Франца с кухонной девчонкой. Ей вспомнилась его глупая ухмылка, когда он застегивался... Ольге хотелось в ярости ударить лакея своим маленьким кулачком...

[1] Да, дитя мое, это тебе известно (*нем.*).

Она закрыла лицо руками. «Нет, нет, я не выдержу! До, ре, соль, ре... До, ре, соль, ре... Эти горничные хоть развлекаются! Они не так одиноки, им не приходится сидеть за столом вместе с господами, они болтают между собой весь день, а вечером тихонько поют во дворе... Принимали бы меня по вечерам в свою компанию!» Со сладким замиранием сердца Ольга вспоминает песенку, которую служанки пели вчера во дворе, под старой липой:

...Сердце у меня болит,
Слезы просятся...

Ольга слушала их, сидя у окна, глаза у нее были полны слез, и она вполголоса подпевала служанкам. Она все им простила и мысленно от всей души протягивала руку дружбы. «Девушки, ведь я такая же, как вы, — всего лишь прислуга, и самая несчастная из вас!»

«Самая несчастная! — повторяла она, расхаживая по холлу. — Как это сказал граф? «Мисс Ольга, вы слишком много говорите во время урока и лишь путаете ребенка... своими вечными... наставлениями. Сделайте одолжение — будьте поласковее с девочкой».

Ольга повторяла эти фразы слово за словом, чтобы до конца прочувствовать их горечь. Она стискивала кулаки, пылая от гнева и обиды. Да, в этом ее слабость: она слишком серьезно отнеслась к роли воспитательницы. Она приехала сюда, в замок, полная энтузиазма, заранее влюбленная в девочку, воспитание которой ей доверили, и с восторгом взялась за уроки, была усердна, точна, всегда подготовлена. Она безгранично верила в значение образования, а сейчас еле копается со скучающей Мери в азах арифметики и грамматики, постоянно раздражается, постукивает пальцами по столу и подчас в слезах убегает из классной комнаты, где, торжествуя, остается своенравная Мери.

Сначала Ольга пыталась играть с девочкой. Она делала это с живым интересом, даже с увлечением, а потом поняла, что, собственно, играет одна, а Мери смотрит на нее холодным, скучающим и насмешливым взглядом. Совместным играм пришел конец. Ольга, как тень, тащилась за своей воспитанницей, не зная, о чем говорить с ней, чем ее развлечь. Да, она приехала сюда, исполненная благоговейной готовности любить, быть снисходительной и терпеливой, а сейчас поглядите в ее горящие глаза, при-

слушайтесь, как быстро и прерывисто бьется ее сердце. В этом сердце только мука и ни капли любви. «Будьте поласковее с девочкой», — повторяла Ольга, содрогаясь. — О боже мой! Способна ли я еще быть ласковой?»

Щеки Ольги пылали от волнения, и она металась среди рыцарских лат и доспехов, которые прежде так потешали ее. В голове у нее рождались тысячи возражений графу, ответы на его упреки, слова, полные достоинства, решительные и гордые, — они раз и навсегда создадут ей независимое положение в этом доме. «Граф, — могла бы сказать она, вскинув голову, — я знаю, чего хочу. Я хочу научить Мери серьезно относиться ко всему окружающему и быть взыскательной к себе, хочу сделать из нее человека, который остерегается ошибок. Дело не в фальшивой ноте, ваше сиятельство, дело в фальшивом воспитании. Я могла бы быть безразличной к Мери и не замечать ее недостатков, но если я ее люблю, то буду к ней требовательна, как к себе самой...»

Мысленно произнося этот монолог, Ольга разволновалась, глаза у нее сверкали, сердце еще жгла недавняя обида. Ей стало легче, и она твердо решила поскорее, завтра же поговорить с графом. Граф — неплохой человек, иногда он даже великодушен, и, кроме того, он так страдает! Если бы только не эти его страшные, светлые глаза навыкате и пронзительный взгляд сквозь пенсне!..

Она вышла из замка. Солнце ослепило ее. Только что политая водой, мостовая блестела, и от нее поднимался пар.

— Берегитесь, мадемуазель! — крикнул ломающийся мальчишеский голос, и мокрый футбольный мяч шлепнулся прямо на белую юбку Ольги. Освальд хихикнул, но умолк, заметив испуг несчастной девушки: юбка была вся в грязи. Ольга приподняла ее и молча заплакала. Освальд покраснел и сказал, запинаясь:

— Я... я не заметил вас, мадемуазель...

— Beg your pardon, Miss...[1] — вставил гувернер Освальда, мистер Кеннеди, валявшийся на газоне в белой рубашке и в белых брюках. Одним прыжком он вскочил, дал Освальду подзатыльник и снова лег.

Ольга ничего не видела, кроме своей испорченной юбки — она так любила этот белый костюмчик! Не сказав

---

[1] Прошу извинения, мисс... (*англ.*)

ни слова, девушка повернулась и вошла в дом, с трудом сдерживая слезы.

В горле у нее стоял комок, когда она открыла дверь своей комнаты. Тут Ольга остановилась в изумлении и испуге, не понимая, что такое происходит: посреди комнаты восседала на стуле графиня, а горничная рылась в платяном шкафу.

— Ah, c'est vous? [1] — сказала графиня, даже не обернувшись.

— Oui, madame la comtesse [2], — с трудом ответила Ольга, едва дыша и широко раскрыв глаза.

Горничная вытащила целую охапку платьев.

— Ваше сиятельство, здесь этого наверняка нету!

— Так, карашо, — отозвалась графиня и, тяжело поднявшись, направилась к двери. Остолбеневшая Ольга даже не посторонилась, чтобы дать ей пройти. Графиня остановилась в трех шагах.

— Mademoiselle?

— Oui, madame? [3]

— Vous n'attendez pas, peut-être, que je m'excuse? [4]

— Non, non, madame! [5] — воскликнула девушка.

— Alors il n'y a pas pourquoi me barrer le passage [6], — сильно картавя, сказала графиня.

— Ah, pardon, madame la comtesse [7], — прошептала Ольга и посторонилась. Графиня и горничная вышли. Разбросанные платья Ольги остались на столе и на постели.

Ольга как истукан сидела на стуле. Глаза ее были сухи. Ее обыскивали, как вороватую служанку! «Уж не ждете ли вы от меня извинений?» Нет, нет, ваше сиятельство, упаси боже, зачем же извиняться перед девушкой, которой платят жалованье! Можете обыскать еще мои карманы и кошелек, вот они, и выяснить, что еще я украла. Ведь я бедна и наверняка не чиста на руку... — Ольга тупо уставилась в пол. Теперь ей стало ясно, почему она так часто находила в беспорядке свое белье и

---

[1] Ах, это вы? (*франц.*)
[2] Да, ваше сиятельство (*франц.*).
[3] Да, сударыня? (*франц.*)
[4] Уж не ждете ли вы от меня извинений? (*франц.*)
[5] Нет, нет, сударыня! (*франц.*)
[6] Тогда позвольте мне пройти (*франц.*).
[7] Ах, извините, ваше сиятельство (*франц.*).

платья. — А я сижу с ними за одним столом, отвечаю на их вопросы, улыбаюсь, составляю им компанию, стараюсь быть веселой!..» Чувство безграничного унижения охватило Ольгу. Глядя перед собой широко открытыми глазами, она прижимала руки к груди; в голове не было ни одной связной мысли, лишь сердце мучительно колотилось.

Муха уселась на сжатые руки девушки, потерла себе лапками головку, потом поползла, шевеля крылышками. Руки Ольги были по-прежнему неподвижны. Время от времени из конюшни доносился стук копыт или звяканье цепи в стойле. В буфетной звенела посуда, над парком свистел чеглок, вдали, на повороте железной дороги, прогудел паровоз. Мухе наскучило сидеть, она взмахнула крылышками и вылетела в окно. В замке воцарилась полная тишина.

Один, два, три, четыре... Четыре часа! Громко зевнув, кухарка пошла готовить ленч. Кто-то пробежал по двору, заскрипело колесо колодца, в доме возникло легкое оживление. Ольга встала, машинально провела рукой по лбу и начала аккуратно складывать свои платья на столе. Потом нагнулась к комоду, вынула белье и выложила его на постель. Свои книги она собрала на стуле и, когда все было готово, остановилась, как над развалинами Иерусалима, и потерла себе лоб: «А чего я, собственно, хочу? Зачем я это делаю?»

«Да ведь я уезжаю отсюда! — ответил ей ясный внутренний голос. — Заявлю, что ухожу немедленно, и уеду завтра утром, с пятичасовым поездом. Старый Ваврис отвезет мои вещи на станцию». — «Нет, это не годится, — смущенно возразила сама себе Ольга. — Куда же ехать? Что я буду делать без работы?» — «Домой поедешь, домой!» — отвечал внутренний голос, который уже все решил и взвесил. «Мамочка, правда, будет плакать, но отец одобрит мой поступок». — «Правильно, доченька, — скажет он, — честь дороже, чем сытный харч». — «Но, папочка, — возразит Ольга с тихой и гордой радостью, — что же мне теперь делать?» — «Пойдешь работать на фабрику, — отвечает голос, который все решил. — Займешься физическим трудом, раз в неделю будешь получать получку. Матери начнешь помогать по хозяйству, она уже стара и слабеет, — белье простирнешь, пол вымоешь. Устанешь — сможешь отдохнуть, проголодаешься — найдется еда, собирайся домой, доченька!»

Ольга даже раскидывает руки от радости. «Уехать, уехать отсюда! Завтра к вечеру я буду дома! И почему только я раньше не решилась на это? И как только я выдерживала здесь? Сразу же после ленча заявлю об уходе и уеду домой. Вечером сложу свои вещи, приведу сюда графиню, покажу ей: вот это я беру с собой, если тут есть хоть одна ваша нитка, забирайте. Из вашего я увожу с собой только вот эту грязь на платье!»

Радостная, раскрасневшаяся Ольга сняла с себя испачканное платье. «Завтра, завтра! Заберусь в уголок вагона, никто меня и не заметит... Улечу, как птичка из клетки!» Ольгой овладело озорное настроение. Насвистывая, она повязала красный галстук и, улыбнувшись зеркалу, гордая, со взбитыми волосами, засвистела еще громче: до, ре, соль, ре, до, ре, соль, ре...

По двору торопливо прошли люди; дребезжащий гонг прозвонил к ленчу. Ольга устремилась вниз по лестнице, ей захотелось в последний раз увидеть занимательное зрелище — торжественный выход графской семьи в столовую. Вот входит старый, хромой граф, опираясь на плечо долговязого Освальда. Грузная, болезненная графиня злится на Мери и поминутно дергает ее за ленту в волосах. Шествие замыкает атлетическая фигура мистера Кеннеди, которому в высшей степени безразлично все, что творится вокруг.

Старый джентльмен первым спешит к дверям, распахивает их и произносит:

— Madame?

Графиня тяжелыми шагами вступает в столовую.

— Mademoiselle? — Граф оглядывается на Ольгу. Та входит, вскинув голову. За ней следует граф, Кеннеди, Мери, Освальд. Граф усаживается во главе стола, справа от него — графиня, слева — Ольга. Графиня звонит. Неслышной поступью, опустив глаза, входят горничные, похожие на марионеток, которые ничего не слышат, кроме приказа, ничего не видят, кроме барского кивка. Кажется, что эти молодые губы никогда не произносили ни звука, эти опущенные глаза ни на что не смотрели с интересом и вниманием. Ольга впивается глазами в эту пантомиму: «Чтобы никогда не забыть!»

— Du beurre, mademoiselle?[1] — осведомился граф.

---

[1] Масла, мадемуазель? (*франц.*)

— Merci! [1]

И Ольга пьет пустой чай с сухим хлебом. «Через неделю, — восхищенно думает она, — я буду ходить на фабрику!»

Граф жует, усиленно двигая своей вставной челюстью, графиня ничего не ест, Освальд пролил какао на скатерть, Мери увлеклась конфетами, и только мистер Кеннеди мажет толстым слоем масло на хлеб. Торжествующее презрение ко всему и ко всем наполняет сердце Ольги. «Жалкие люди! Я одна буду завтра свободна и с отвращением вспомню эти застольные встречи, когда нечего сказать друг другу, не на что пожаловаться, нечему радоваться».

Все свое безмолвное презрение Ольга обратила на мистера Кеннеди. Она ненавидела его от всей души с первого же дня; ненавидела за непринужденное безразличие, с которым он умел жить так, как ему хотелось, ни с кем не считаясь; ненавидела за то, что никто не осмеливался его одернуть, а он всем пренебрегал с равнодушной независимостью. Бог весть почему он попал сюда. Он свирепо боксировал с Освальдом, ездил с ним верхом, разрешал мальчику обожать себя, уходил на охоту когда вздумается, а если валялся где-нибудь в парке, ничто не могло заставить его сдвинуться с места. Иногда, оставшись один, он садился за рояль и импровизировал. Играл он превосходно, но без души, думая только о себе. Ольга тайком прислушивалась к этой музыке и чувствовала себя просто оскорбленной, не понимая этой холодной, сложной, себялюбивой игры. Кеннеди не обращал внимания ни на кого и ни на что, а если ему задавали вопрос, он едва раскрывал рот, чтобы ответить «yes» [2] или «no» [3]. Молодой атлет, жестокий, честолюбивый и ленивый, делал все как-то снисходительно и свысока. Иной раз старый граф отваживался предложить ему партию в шахматы. Не говоря ни слова, мистер Кеннеди садился за шахматную доску и, почти не думая, несколькими быстрыми и беспощадными ходами делал шах и мат старику, который потел от волнения и лепетал, как дитя, по полчаса обдумывая ходы и по нескольку раз беря их назад. Ольга

---

[1] Спасибо! (*франц.*)
[2] да (*англ.*).
[3] нет (*англ.*).

не скрывала возмущения, наблюдая за этим неравным поединком. Она сама иногда играла в шахматы с графом, хорошим и вдумчивым игроком, и обычно это бывали бесконечные партии, когда партнеры подолгу размышляли и задумывали различные комбинации; разгадать их было лестно для противника, это означало воздать должное его игре. Сама не зная почему, Ольга считала себя выше мистера Кеннеди со всеми его совершенствами, которые не стоили ему никаких усилий, с его самоуверенностью и высокомерной независимостью, подчинявшей себе всех. Она презирала Кеннеди и давала ему понять это. Вся ее девическая гордость и самолюбие, так часто уязвляемые в замке, выливались в этом подчеркнутом презрении.

Сейчас мистер Кеннеди невозмутимо завтракал, не обращая ни малейшего внимания на убийственные взгляды разгневанной Ольги. «Игнорирует, — возмущенно думала Ольга, — а сам каждую ночь, когда идет спать, стучится в мою дверь: «Open, miss Olga...» [1]

В самом деле, это была одна из тайн замка. Ольга даже не подозревала, как сильно эта «тайна» занимала прислугу. Молодой англичанин, прямо оскорбительно пренебрегая горничными, давно уже вел на Ольгу тайные ночные атаки. Ему вздумалось поселиться в башне замка, где, как издавна считалось, бродят привидения. Ольга, разумеется, не верила в них и считала, что со стороны Кеннеди это просто позерство, что между тем не мешало ей самой, оказавшись ночью в коридоре или на лестнице, дрожать от страха... Впрочем, иной раз по ночам в замке слышались звуки, которые нельзя было объяснить любовными похождениями лакея Франца или эротическими забавами в девичьей... Словом, однажды ночью, когда Ольга была уже в постели, Кеннеди постучал в ее дверь. «Open, miss Olga!» Ольга набросила халат и, приоткрыв дверь, через щелку спросила гувернера, что ему нужно. Мистер Кеннеди начал молоть по-английски какой-то амурный вздор, из которого Ольга смогла разобрать едва ли четверть, но все же поняла, что он называет ее «милой Ольгой» (sweet Olga) и другими нежными именами. Этого было достаточно, чтобы она захлопнула и заперла дверь у него перед носом, а утром, при первой же встрече, строго глядя на гувернера широко открытыми глазами,

[1] Откройте, мисс Ольга... (*англ.*)

спросила, что он делал ночью у ее дверей. Мистер Кеннеди не счел нужным объяснить или вообще показать, что он помнит что-то, но с тех пор стучал ежедневно, повторяя: «Open, miss Olga», нажимал на ручку двери и отпускал какие-то шуточки, а Ольга, спрятавшись чуть не с головой под одеяло, кричала в слезах: «You're a rascal!»[1] — или: «Вы с ума сошли!» — пользуясь всем богатым запасом синонимов, которым располагает для этих понятий только английский язык. Она была возмущена и приходила в отчаяние, оттого что этот негодяй и кретин смеется. Смеется — первый и единственный раз за день.

Блестящими глазами смотрит сейчас Ольга на мистера Кеннеди. «Когда оп поднимет взгляд, — решила она, — я спрошу его при всех: «Мистер Кеннеди, почему вы каждый вечер ломитесь в мою комнату?» То-то будет скандал. Перед уходом я скажу им и еще кое-что!» Ольгой овладела жажда мести.

И вот мистер Кеннеди устремляет на нее безмятежный взгляд серо-стальных глаз. Ольга, уже готовая заговорить, вдруг заливается краской. Она вспомнила...

В этом была повинна одна чудная лунная ночь. Неописуемо прекрасны эти волшебные ночи в летнее полнолуние, подобные серебристым ночам языческих празднеств! Ольга бродила около замка, у нее не хватало сил уйти спать в такую ночь. В одиночестве она чувствовала себя счастливой и окрыленной, очарованная красотой, что окутывала спящий мир. Медленно и робко, замирая от восторга, девушка отважилась спуститься в парк. Она любовалась березами и темными дубами на сверкающих серебром лужайках, таинственными тенями и обманчивым лунным светом... Это было слишком прекрасно!

По широкой лужайке Ольга дошла до бассейна с фонтаном и, обогнув кусты, увидела на Краю бассейна белую, похожую на изваяние, нагую мужскую фигуру. Лицо человека было обращено к небу, руки заложены за голову, могучая выпуклая грудь выдавалась над узкими бедрами. Это был мистер Кеннеди.

Ольга не была шальной девчонкой — она не вскрикнула и не бросилась бежать. Прищурясь, она пристально глядела на белую фигуру. Изваяние жило напряженным

---

[1] Вы негодяй! (*англ.*)

движением мышц. От икр поднималась «мышечная волна» — атлет поочередно напрягал мускулы ног, живота, груди и красивых, сильных рук. Вот опять волна прошла по мышцам от стройных ног до каменных бицепсов... Мистер Кеннеди занимался гимнастикой по своей системе, не двигаясь с места. Вдруг он прогнулся, поднял руки и, сделав заднее сальто, нырнул в бассейн. Всплеснув, зашумела вода, Ольга отошла и, не думая больше о таинственных и пугающих ночных тенях, направилась прямо домой. Почему-то теперь она не замечала красавиц берез и вековых дубов на серебристых полянах...

Воспоминание об этом заставило девушку покраснеть.

Право, Ольга не знала, почему, собственно, краснеет. Во встрече не было ничего постыдного, наоборот, столько странной красоты ощутила девушка в этом неожиданном приключении. Но через день произошло кое-что похуже. Ночь снова выдалась чудесная, ясная. Ольга прохаживалась перед замком, но в парк, разумеется, не пошла. Она думала о Кеннеди, который, наверное, и сегодня опять купается, о таинственных тенях в глубине парка, о белом живом изваянии на краю бассейна. Заметив невдалеке болтливую экономку, Ольга обошла ее стороной, желая побыть в одиночестве. Тем временем пробило одиннадцать, и Ольга побоялась идти одна по лестницам и коридорам замка в такой поздний час. Кеннеди, засунув руки в карманы, возвращался из парка. Увидев Ольгу, он хотел было опять начать свое нелепое ночное ухаживание, но Ольга резко оборвала гувернера и повелительным тоном приказала проводить ее со свечой. Кеннеди смутился и молча понес свечу. Около двери в комнату Ольги он совсем кротко сказал: «Good night» [1]. Ольга стремительно обернулась, бросила на Кеннеди необычайно потемневший взгляд, и вдруг ее рука безотчетно вцепилась в его волосы. Волосы были влажные, мягкие, как шерсть молодого, только что выкупанного ньюфаундленда. Глубоко вздохнув от удовольствия, Ольга, сама не понимая зачем, изо всех сил рванула их, и не успел англичанин опомниться, как она захлопнула за собой дверь и повернула ключ в замке. Мистер Кеннеди поплелся домой как пришибленный. Через полчаса он вернулся, босиком, наверное, полуодетый, и тихо постучал, шепча:

[1] Спокойной ночи (*англ.*).

«Ольга, Ольга!..» Ольга не отозвалась, и Кеннеди, крадучись, убрался восвояси.

Таково было происшествие, которого стыдилась Ольга. Этакое глупое сумасбродство! Ольга готова была провалиться сквозь землю. Теперь она удвоенным пренебрежением мстила Кеннеди, который в какой-то мере был причиной этого инцидента. На следующую ночь она взяла к себе в комнату пинчера Фрица, и, когда Кеннеди постучался, песик поднял оглушительный лай. Мистер Кеннеди пропустил несколько вечеров, а затем опять являлся два раза и молол какую-то любовную чушь. Возмущенная Ольга, охваченная брезгливым презрением к этому бесстыдному человеку, закрывала голову подушкой, чтобы не слышать.

Честное слово, ничего больше не произошло между Ольгой и мистером Кеннеди. Поэтому Ольге было невыносимо досадно, что она покраснела под его взглядом; ей хотелось побить себя за это. Безмерная тяжесть легла на девичье сердце. «Хорошо, что я уезжаю, — думала Ольга. — Из-за него одного стоит уехать, если бы даже не было других причин». Ольга чувствовала, что устала от ежедневной борьбы, собственное малодушие было унизительно; ее душили слезы досады и такого отчаяния, что хотелось кричать. «Слава богу, я уезжаю, — твердила она, стараясь не вдумываться в свое решение. — Останься я здесь еще на день, я устроила бы ужасный скандал».

— Prenez des prunes, mademoiselle[1].

— Pardon, madame?[2]

— Prenez des prunes.

— Merci, merci, madame la comtesse[3].

Ольга перевела взгляд с Кеннеди на красивое лицо Освальда. Оно немного утешило ее ласковым и приветливым выражением. Для Ольги не было тайной, что мальчик по-детски влюблен в нее, хотя это проявлялось лишь в излишней грубоватости и в уклончивом взгляде. Ольге нравилось мучить мальчика: обняв его красивую нежную шею, она ходила с ним по парку, забавляясь тем, что он злится и млеет. Вот и сейчас, почувствовав ее взгляд, Освальд проглотил огромный кусок и сердито посмотрел

---

[1] Возьмите слив, мадемуазель (*франц.*).

[2] Простите, сударыня? (*франц.*)

[3] Спасибо, спасибо, ваше сиятельство (*франц.*).

по сторонам. «Бедняжка Освальд! Во что ты превратишься здесь, в этом страшном доме, ты, подросток, еще только формирующийся в юношу, неженка и дичок одновременно? К чему потянется твое сердце, какие примеры ты здесь увидишь?» Грусть охватила Ольгу. Ей вспомнилось, что недавно, войдя в комнату Освальда, она увидела, как он борется с горничной Паулиной, самой испорченной из всех служанок. Ну конечно, мальчик просто играл, словно задиристый щенок. Но почему он был возбужден, почему ярко горели глаза и щеки у Паулины? Что это за забавы? Вести себя так мальчик не должен. Охваченная подозрениями, Ольга с тех пор была настороже. Она больше не ерошила волосы Освальда, не обнимала его, а как Аргус стерегла мальчика, тревожась за него. Она унижалась даже до слежки, чтобы порочный опыт преждевременно не омрачил детство Освальда. Нередко Ольга покидала Мери ради ее брата. Она стала обращаться с мальчиком холодно и строго, но достигла лишь того, что его юная любовь начала постепенно превращаться в упрямую ненависть.

«Зачем, зачем, собственно, я его сторожу, — спрашивала себя теперь Ольга. — Что за дело мне, чужому человеку, какой жизненный урок преподаст Освальду Паулина или еще кто-нибудь? К чему мучиться тревогой и страдать от собственной строгости, которая для меня еще мучительнее, чем для мальчика? Прощай, прощай, Освальд, я не скажу тебе ласковых слов, не скажу, как любила тебя за твою мальчишескую чистоту, которая прекраснее чести девической. Не буду больше сторожить тебя, иди, раскрывай объятия, лови момент, — меня ужо не будет здесь, я не заплачу над твоим падением... А вы, графиня, — Ольга мысленно перешла к последнему объяснению с графиней, — вы не доверяли мне, подглядывали за мной во время уроков с Освальдом, вы дали мне понять, что «для мальчика будет лучше находиться в обществе мистера Кеннеди». Может быть, для него больше подходит и общество Паулины, вашей наушницы... Когда однажды ночью Освальд тайком отправился с Кеннеди на охоту за выдрой, вы явились в мою комнату и заставили меня отпереть вам; вы искали мальчика даже у меня под одеялом. Ладно, графиня, это ваш сын. И вы посылаете по утрам Паулину будить его, Паулину — ей

за тридцать, и она распутна, как ведьма. Вы обыскиваете мой шкаф и роетесь в моих ящиках, а потом сажаете меня к себе в карету, чтобы я развлекала вас, угощаете меня сливами! Ах, спасибо, madame, вы так любезны! Если вы считаете меня распутницей и воровкой, не приглашайте меня к столу, пошлите обедать с прислугой, а еще лучше с прачками. Я предпочту грызть корку хлеба, политую слезами гнева и унижения, зато... зато мне не придется улыбаться вам».

— Вы слышите меня, мадемуазель?

— Pardon, — вспыхнула Ольга.

— Может быть... вам... нездоровится? — осведомился граф, пристально глядя на девушку. — Нет ли у вас... температуры?

— Нет, ваше сиятельство, — торопливо возразила Ольга. — Я совсем здорова.

— Тем лучше, — протянул граф. — Я не люблю... больных людей.

Ольгина решимость разом сдала. «Нет, я слабее их, — чувствовала она в отчаянии, — я не могу противиться им. Боже, дай мне силы!» Ольга заранее ощущала, как страшен ей предстоящий разговор с графом. Он, конечно, поднимет брови и скажет: «Сегодня же хотите уехать, барышня? Так это не делается».

«Что бы такое придумать? Как объяснить, что мне нужно, нужно ехать домой немедля, вот сейчас же! Я сбегу, если они меня не отпустят, обязательно сбегу! Ах, как это страшно!» — с ужасом думала Ольга о предстоящем разговоре.

Семейство поднялось из-за стола и уселось в соседней гостиной. Граф и Кеннеди закурили, графиня принялась за вышиванье. Все ждали дневной почты. «Вот уйдут дети, — решила Ольга, — тогда я и скажу все». Сердце у нее учащенно билось, она старалась думать о родном доме, представляла себе мамин синий передник, некрашеную, чисто вымытую мебель, отца без пиджака, с трубкой в руке, неторопливо читающего газету... «Дом — единственное спасение, — думала Ольга, а на сердце у нее становилось все тревожнее, — здесь я не выдержу больше ни одного дня! Боже, дай мне силы в эту последнюю минуту!»

Паулина, опустив глаза, вошла с письмами на серебряном подносе. Граф смахнул их себе на колени, хотел

взять и последнее письмо, лежавшее отдельно, но Паулина вежливо отступила. «Это барышне», — прошептала она.

Ольга издалека узнала дешевенький грязный конверт, ужасную мамину орфографию — одно из тех писем, которых всегда стеснялась и которые все же носила на груди. Сегодня она тоже покраснела: «Прости меня, мама!» Дрожащими пальцами девушка взяла деревенское письмецо и, растроганная, прочла адрес, написанный как-то слишком старательно и подробно, словно иначе письмо в этом недоброжелательном мире не дошло бы по назначению, туда, далеко, к чужим людям. И вдруг словно камень упал с души Ольги: «Мамочка, как ты мне помогла! Начну читать письмо и воскликну: «Отец заболел, нужно немедля ехать к нему». Соберусь и уеду, и никто не сможет меня задержать! А через неделю напишу, что остаюсь дома совсем, пусть пришлют мне мой чемодан. Так будет проще всего», — радостно подумала Ольга. Как для всякой женщины, отговорка была для нее легче, чем аргументация. Она спокойно разорвала конверт, вынула письмо — ах, как кольнуло в сердце! — и, затаив дыхание, стала читать.

«Милая доченка

сопчаю тибе пичальную весть што Отец у нас занемог доктор говорит сердце и он ослап ноги опухли ходить неможет Доктор говорит Его ни за што нельзя волноват говорит Доктор не пиши нам што тебе плохо Отец оттого мучится и страдаит Так ты непиши а пиши што тибе хорошо штобы он не тревожился Знаишь как он тибе любит и што ты живьошь на хорошим месте слава богу.

Помолис за нашиво Отца а приизжат к нам ни надо сюды на край света Денги мы получили спасибо Тибе доченка Дела у нас плохи как Отец слег Франтик у ниво украл часы а сказат ему нелзя это Отца убьет так мы говорим что они в починки Он все спрашивает когда будут готовы мол хочу знат сколько время а я даже плакать при Нем несмею.

Милая доченка пишу тебе штоб ты молилась Богу што послал тибе такое хорошие место Молис господу Богу за твоих хозяив и служи старайся им угодит где ищо найдешь такое место штобы так кормили это тибе на ползу для здоровья ты ведь унас слабенкая и нам

посылаиш каждый месяц спасибо тибе доченка и бог тебя наградит за Родителей.

Слушайся хозяив во всем как прослужит им много лет они тибе обеспечат досмерти все равно как на казенной службы будь без задоринки Кланийся господам отминя с Отцом плохо с ним таит как свича

Кланиетца тибе Твоя мать Костелец № 37».

Граф перестал читать свои письма и уставился на Ольгу.

— Вам нехорошо, мадемуазель? — воскликнул он в непритворном испуге.

Ольга встала ни жива ни мертва, прижала руки к вискам.

— Только мигрень, ваше сиятельство, — прошептала она.

— Идите лягте, мадемуазель, идите! — резко и встревоженно крикнул граф.

Ольга машинально поклонилась и медленно вышла. Граф вопросительно поглядел на свою супругу. Та пожала плечами и строго сказала:

— Oswald, gerade sitzen! [1]

Мистер Кеннеди курил, глядя в потолок. Царило гнетущее молчание.

Графиня вышивала, поджав губы. Немного погодя она позвонила. Вошла Паулина.

— Паулина, куда пошла барышня? — спросила графиня сквозь зубы.

— В свою комнату, ваше сиятельство, — ответила та. — И заперлась там.

— Вели запрягать.

На дворе прошуршали по песку колеса экипажа, кучер вывел коней и начал запрягать.

— Papa, soll ich reiten? [2] — робко спросил Освальд.

— Ja [3], — кивнул граф, тупо глядя в одну точку. Графиня метнула на него враждебный и испытующий взгляд.

— Wirst du mitfahren? [4] — спросила она.

— Nein [5], — рассеянно ответил граф.

---

[1] Освальд, сиди прямо! (*нем.*)
[2] Папа, я поеду верхом? (*нем.*)
[3] Да (*нем.*).
[4] Ты тоже поедешь? (*нем.*)
[5] Нет (*нем.*).

Конюх вывел верховых лошадей и оседлал их. Конь Кеннеди плясал по всему двору и не сразу дал взнуздать себя. Полукровный мерин Освальда спокойно рыл землю ногой и печальным глазом косился на собственное копыто.

Семейство вышло во двор. Ловкий наездник, Освальд тотчас вскочил в седло и не удержался, чтобы не бросить взгляд на окно Ольги, откуда она частенько махала ему рукой, когда он выезжал верхом. В окне никого не было.

Графиня, тяжело дыша, села в экипаж.

— Мери! — бросила она.

Юная Мери с недовольной усмешкой последовала за матерью. Графиня еще колебалась.

— Паулина! — подозвала она горничную. — Поди взгляни, что делает барышня Ольга. Только потихоньку, чтобы она не слышала.

Мистер Кеннеди отбросил сигарету, одним прыжком очутился в седле и дал коню шенкеля. Конь пустился рысью, копыта гулко простучали по деревянному настилу проезда и зацокали по мостовой.

— Hallo, Mister Kennedy! [1] — крикнул Освальд и пустился вслед за гувернером.

Прибежала Паулина, засунув руки в кармашки белого фартучка.

— Ваше сиятельство, — доложила она вполголоса, — барышня Ольга вешает платья в шкаф и укладывает белье в комод.

Графиня кивнула.

— Ну, поезжай! — крикнула она кучеру.

Экипаж тронулся, старый граф помахал вслед отъезжающим и остался один.

Он уселся на скамейке под аркадой, поставил трость между колен и, скучая, стал мрачно смотреть во двор. Так он просидел полчаса, потом встал и, топая негнущимися ногами, пошел в гостиную. Там он опустился в кресло около шахматного столика, где осталась незаконченной партия, начатая вчера с Ольгой. Граф стал обдумывать партию: он явно проигрывал. Конь у Ольги продвинулся вперед и грозил противнику атакой. Склонившись над доской, граф старался разгадать замысел гувернантки. Это ему в конце концов удалось, — да, его ждет изрядный разгром. Граф встал и, выпрямившись и стуча палкой,

---

[1] Алло, мистер Кеннеди! (*англ.*)

направился наверх, в крыло, где были комнаты для гостей. У Ольгиной комнаты он остановился. Там было тихо, страшно тихо, ни шороха. Граф, наконец, постучал.

— Мадемуазель Ольга, как вы себя чувствуете?

Минута молчания.

— Теперь лучше, спасибо, — раздался приглушенный голос. — Есть какие-нибудь распоряжения, ваше сиятельство?

— Нет, нет, лежите! — И вдруг, словно опасаясь, что он слишком снисходителен, граф добавил: — Чтобы завтра вы смогли давать уроки!

И с шумом вернулся в гостиную.

Останься граф на минуту дольше, он услышал бы слабый стон, а за ним тихий плач.

Долго, бесконечно долго тянутся часы, проведенные в одиночестве. Вот наконец вернулся экипаж, конюх водит по двору разгоряченных лошадей; в кухне, как всегда, слышно торопливое звяканье. В половине восьмого бьет гонг к ужину. Все идут к столу, только Ольги нет. Некоторое время собравшиеся делают вид, что не замечают этого, потом старый граф поднимает брови и удивленно осведомляется:

— Was, die Olga kommt nicht? [1]

Графиня бросает на него быстрый взгляд и молчит. После долгой паузы она зовет Паулину:

— Спроси у барышни Ольги, что она будет есть.

Через минуту Паулина возвращается.

— Ваше сиятельство, барышня велела благодарить, говорит, что не голодна и завтра утром придет к завтраку.

Графиня слегка покачивает головой: в этом жесте есть что-то большее, чем недовольство.

Освальд ковыряет вилкой в тарелке и бросает просительные взгляды на своего гувернера, — вызволи, мол, меня отсюда сразу после ужина. Но мистер Кеннеди, как обычно, предпочитает ничего не замечать.

Спускаются сумерки, наступает вечер, милосердный для усталых, нескончаемый для несчастных. Было светло, и вот свет померк, приближалась ночь. Незаметно все окутала тьма, удушливая и гнетущая. Тьма, подобная пропасти, на дне которой залегло отчаяние.

---

[1] Что, Ольга не придет? (*нем.*)

Ты все знаешь, тихая ночь, ибо ты слышишь дыхание спящих и стоны больных. Ты чутко прислушивалась и к слабому, горячему дыханию девушки, которая так долго плакала, а теперь молчит. Ты приложила ухо к ее груди и сдавила горло под разметавшимися волосами. Ты слышала плач, приглушенный подушкой, а потом еще более страшное молчание.

Ты все знаешь, безмолвная ночь, ибо ты слышала, как затихал замок, этаж за этажом, комната за комнатой. Горячей рукой ты заглушила страстный женский стон где-то под лестницей. Ты разнесла эхо шагов молодого человека с мокрыми после купания волосами, который, тихо насвистывая, последним идет по длинному коридору.

Темная ночь, ты видела, как измученная слезами девушка вздрогнула при звуке этих бодрых шагов, ты видела, как она, словно гонимая слепой силой, вскочила с постели, откинула волосы с пылающего лица, бросилась к двери, отперла ее и оставила полуоткрытой.

И снова замерла в жаркой постели, как человек, для которого уже нет спасения.

Деньги

Ему опять стало плохо: едва он съел несколько ложек супа, как все тело охватила сильная слабость, голова закружилась, на лбу выступил холодный пот. Отставив тарелку, он подпер голову руками, упрямо отводя глаза от преувеличенно заботливого взгляда квартирохозяйки. Наконец она ушла, вздыхая, а он лег на диван отдохнуть, с испуганным вниманием прислушиваясь к жалобным голосам своего тела. Дурнота еще не прошла, Иржи казалось, что в желудке у него лежит камень; сердце билось быстро и неровно, слабость была такая, что даже лежа он обливался потом. Ах, если бы уснуть!

Через час постучалась квартирохозяйка. Телеграмма. Иржи вскрыл ее с опаской и прочитал: «19 10 7 ч 34 приеду вечером Ружена». Он никак не мог понять, что это значит? Иржи через силу поднялся, снова перечитал цифры и слова и наконец понял: телеграмма от Ружены, замужней сестры. Она приезжает сегодня вечером, значит,

надо ее встретить. Наверное, собралась в Прагу за покупками... Он вдруг рассердился на женскую бесцеремонность, которая всегда причиняет столько хлопот. Шагая по комнате, он злился: вечер испорчен! Лежать бы с книгой в руке на своей старой кушетке. Рядом приветливо гудит лампа... Зачастую такие вечера тянулись бесконечно, но сейчас, бог весть почему, Иржи показалось, что это были приятнейшие часы, исполненные покоя ж мудрости. Пропащий вечер. Конец спокойствию! В приступе мальчишеской досады он разорвал злополучную телеграмму в клочки.

Вечером, когда в высоком сыром вокзальном зале Иржи дожидался запоздавшего поезда, его охватила еще более глубокая тоска: вокруг только грязь и нужда да усталые лица напрасно ожидающих людей. Потом, в нахлынувшей толпе, он с трудом отыскал свою маленькую, худенькую сестру. Глаза у нее испуганные, в руках большой чемодан. Иржи сразу понял: случилось что-то серьезное. Он посадил Ружену на извозчика и повез домой. Дорогой он вспомнил, что не позаботился о ночлеге для сестры, и спросил, не хочет ли она остановиться в гостинице, но в ответ услышал только всхлипывания. Какая уж тут гостиница, если женщина в таком состоянии! Иржи сдался, взял нервную, тонкую руку Ружены в свою и очень обрадовался, когда сестра наконец слабо улыбнулась ему.

Дома он рассмотрел ее внимательнее и ужаснулся. Измученная, дрожащая, глаза горят, губы пересохли. Сидя на кушетке среди подушек, которыми обложил ее Иржи, Ружена начала рассказывать. Брат попросил говорить потише — ведь уже ночь.

— Я ушла от мужа! — торопливо говорила она. — Ах, если бы ты знал, Иржи, если бы ты знал, что я перенесла! Знал бы ты, как он мне противен! Я убежала и приехала к тебе за советом... — Она расплакалась.

Иржи мрачно расхаживал по комнате. Из рассказа сестры слово за словом возникала картина ее жизни с мужем, человеком жадным, низменным, грубым, который оскорблял ее в присутствии служанки, унижал в спальне и отравлял жизнь дикими придирками; этот человек глупо растратил ее приданое, скупердяйничал дома и наряду с этим позволял себе дорогие прихоти, порожденные его дурацкой ипохондрией... Иржи услышал историю мелочных попреков, унижений, жестокостей и напускного ве-

ликодушия, злых ссор из-за грубых домогательств и колкостей заносчивого глупца.

...Иржи ходил по комнате, задыхаясь от отвращения и сострадания, слушал нескончаемые излияния обид и муки; и в душе его росла безмерная, невыносимая боль. Перед ним маленькая, испуганная женщина, которую он никогда хорошо не знал, его своенравная, гордая и неугомонная сестренка. Какая она была прежде задорная, несговорчивая, как сердито вспыхивали ее глаза! А сейчас! У нее дрожат губы, она плачет и не может сдержать жалоб; она измучена, полна горечи. Иржи хочется погладить сестру по голове, но он не решается.

— Замолчи, — резко обрывает он. — Хватит, я все понял.

Но разве ее удержишь!

— Дай мне выговориться, — в слезах возражает Ружена, — ведь ты один у меня.

И снова льется поток обвинений и жалоб, но более прерывистый, вялый, тихий. Подробности начинают повторяться. Ружене нечего больше рассказывать брату. Она умолкает на минуту, а потом спрашивает:

— Ну, а тебе как живется, Иржик?

— Что ж я? — бурчит Иржи. — Мне жаловаться не на что. Скажи лучше, ты к нему вернешься?

— Никогда! — взволнованно отвечает Ружена. — Это невозможно! Лучше умереть... Знал бы ты, что это за человек!

— Погоди, — уклоняется Иржи. — Ну, а что ты думаешь делать?

Ружена ждала этого вопроса.

— Я это уже давно решила, — оживленно начинает она. — Буду давать уроки, или поступлю гувернанткой, или куда-нибудь на службу... или вообще. Вот увидишь, работать я сумею. Прокормлю себя. Ах, с какой радостью, Иржик, я возьмусь за любую работу! Ты мне посоветуешь, что делать. Сниму маленькую комнатку... Я так рада, так рада, что буду работать. Скажи, удастся ли мне где-нибудь устроиться?

Ей не сиделось, она вскочила и принялась ходить но комнате. Лицо ее пылало.

— Я все уже обдумала. Перевезу к себе ту старую мебель, что осталась после наших. Вот увидишь, как у меня будет уютно! Ведь мне ничего, ничего не надо,

кроме покоя. Пусть я буду бедна, лишь бы не... Нет, мне ничего не надо от жизни, мне хватит самого малого, я всем буду довольна, лишь бы подальше... от всего этого... Я так рада, что начну трудиться... Сама буду себе шить и петь песни... Ведь я столько лет не пела! Ах, если бы ты знал, Иржик!

— Устроиться... — в сомнении размышлял брат. — Не знаю, может, и найдется какая-нибудь работа... Но... ты ведь не привыкла работать, Руженка, тебе будет трудно, да, да, трудно...

— Нет! — вспыхивает Ружена. — Ты не представляешь себе, что значит терпеть попреки из-за каждого куска, каждой тряпки, из-за всего!.. Вечно слышать, что я ничего не делаю, а только сорю деньгами. Я готова была швырнуть ему все эти платья, — так он меня извел. Нет, Иржик, ты увидишь, с какой охотой я буду трудиться, с какой радостью жить. Каждый кусок, заработанный своими собственными руками, станет для меня отрадой, пусть это будет даже сухой хлеб. Я оденусь в ситец, сама стану стряпать и буду спать спокойно, с чистой совестью... Скажи, нельзя ли мне поступить на фабрику работницей? Если не найду ничего, пойду на фабрику. Ах, я так хочу этого!

Иржи взглянул на нее в радостном изумлении. О боже, сколько сердечной ясности, сколько мужества, несмотря на такую трудную жизнь! Ему стало стыдно собственной вялости и безразличия; заразившись восторгом этой странной, взволнованной женщины, он вдруг с любовью и радостью подумал и о своей работе. Ружена даже помолодела, она выглядит как девушка, разрумянилась, возбуждена, по-детски наивна... Ах, все наладится, иначе быть не может!

— Устроюсь, вот увидишь, — говорит сестра. — Мне ни от кого ничего не надо. Прокормлю себя сама. Как-нибудь на еду и на букетик цветов я заработаю. А если не хватит на букетик, буду бродить по улицам и смотреть, что творится вокруг. Знал бы ты, как у меня легко на душе с тех пор, как я... решила уйти. Как мне весело! Началась новая жизнь!.. Я и не представляла себе, как прекрасен мир. Ах, Иржи, — со слезами восклицает она, — я так рада.

— Глупенькая, — блаженно усмехается Иржи. — Не так-то все это будет легко. Ладно, попробуем. А сей-

час ложись спать, а то разболеешься. Теперь оставь меня одного, мне еще надо кое-что обдумать. Утром я тебе скажу. Ложись спать и не болтай...

Как он ни настаивал, ему не удалось уговорить сестру лечь в постель; Ружена, не раздеваясь, прилегла на кушетке, брат накрыл ее всем теплым, что у него нашлось, убавил огонь в лампе. Было тихо, слышалось только частое, детское дыхание Ружены; оно словно взывало к состраданию, и Иржи осторожно открыл окно.

Стояла холодная октябрьская ночь; мирный высокий небосвод искрился звездами. Когда-то в родительском доме он и маленькая Ружена вот так же стояли у распахнутого окна. Сестренка вздрагивала от холода и жалась к брату. Дети ждали падающей звезды.

— Когда пролетит звездочка, — шептала Ружена, — я пожелаю стать мужчиной и прославиться!

В комнате спит отец, крепкий, точно ствол, даже здесь слышно, как поскрипывает постель под его мощным, усталым телом. У Иржи тоже как-то празднично на душе, он тоже думает о великих и славных делах и с мужской серьезностью обнимает за плечи маленькую сестру, дрожащую от холода и волнения. Над садом падает звезда...

— Иржи! — слышен за спиной тихий голос Ружены.

— Сейчас, сейчас! — отзывается брат, ежась от прохлады и внутреннего волнения. «Да, да, надо свершить нечто великое, другого пути нет! — думает он. — Безумный, можешь ли ты свершить великое? Неси собственное бремя. А если жаждешь совершить нечто великое, неси еще и чужое. Чем тяжелее бремя, которое ты несешь, тем более велик ты сам. Ничтожный, ты падаешь под собственным бременем? Встань и помоги встать другому. Только так ты должен поступить, чтобы не упасть!»

— Иржи! — вполголоса зовет Ружена.

Брат оборачивается к ней.

— Слушай, — нерешительно начал он, — я думал над твоими словами. По-моему, тебе не найти подходящей работы... Вернее, работа-то найдется, да не такая, чтобы тебе хватило на жизнь... Это фантазия!

— Я удовольствуюсь любым заработком... — тихо сказала Ружена.

— Погоди, ты ведь ничего не понимаешь в таких делах. Вот послушай. У меня сейчас, слава богу, приличное

жалованье, и я мог бы брать еще работу на дом. Иной раз я даже не знаю, как убить вечером время... В общем, я на свои заработки вполне проживу. А тебе я уступил бы проценты...

— Какие? — прошептала Ружена.

— Ну, с той доли наследства, что осталась мне от родителей. И проценты, которые на нее наросли. Это получается... получается тысяч пять в год, нет, не пять, а только четыре. Понимаешь, это только проценты. Мне пришло в голову уступить их тебе, вот и будет на что жить.

Ружена вскочила с кушетки.

— Быть не может! — воскликнула она.

— Не кричи, — проворчал Иржи. — Говорю же: это только проценты. Когда у тебя не будет нужды в деньгах, можешь не брать их из банка. Но сейчас, на первое время...

Ружена стояла ошеломленная.

— Да как же так, тебе-то что останется? — вырвалось у нее.

— Об этом ты не беспокойся, — сказал Иржи. — Я давно собирался взять вечернюю работу, да все стыдно было отнимать кусок у сослуживцев. Видишь ведь, как я живу: для меня только удовольствие чем-нибудь заняться по вечерам. Поняла? А эти деньги мне просто мешали. Так как, хочешь или нет?

— Хочу, — шепнула Ружена, на цыпочках подошла к брату, обняла и прижалась к его лицу своей мокрой щекой.

— Иржи, — тихо произнесла она, — мне и во сне ничего подобного не снилось. Клянусь, я от тебя ничего не хотела... но если ты такой хороший!

— Погоди, — волнуясь, сказал он. — Дело совсем не в этом. Просто мне эти деньги не нужны. Ружена, когда человек жизнью сыт по горло, он должен что-то сделать для своих близких. Но что именно, если ты одинок? Что ни делай, в конечном счете видишь самого себя, живешь словно среди зеркал и, куда ни глянешь, всюду видишь только свое лицо, свою скуку, свое одиночество... Знала бы ты, что это такое! Не хочу распространяться о себе, но я так рад, что ты здесь, так рад, что все это произошло! Гляди, сколько там звезд! Помнишь, как мы однажды дома ждали падающей звезды?

— Не помню что-то, — сказала Ружена, подняв к нему бледное лицо; в холодном сумраке ее глаза сияли, как звезды. — Почему ты такой, Иржи?

Его даже слегка знобило от избытка чувств. Он погладил сестру по голове.

— Хватит о деньгах. Так хорошо, что ты пришла ко мне! О боже, как я рад! Словно окно открылось среди... среди этих зеркал! Понимаешь? Я все время был занят только собой, мне это так надоело, я так устал от самого себя! Как все это было бессмысленно! Помнишь, как падали тогда звезды и какое ты загадывала желание? Чего бы ты пожелала сейчас, если бы упала звезда?

— Чего мне желают? — ласково улыбнулась Ружена. — Чего-нибудь для себя... Нет, и для тебя тоже: чтобы исполнилось и какое-нибудь твое желание.

— У меня нет желаний. Ружена, я так рад, что избавился... Скажи, как ты устроишься? Завтра я найду тебе хорошую комнату. У меня окно выходит на двор: днем, когда нет звезд, вид довольно унылый. А тебе нужен простор, тебе нужен вид покрасивее...

Он увлекся и, бегая по комнате, рисовал ей будущее, восхищался каждой новой подробностью, смеялся, болтал, обещал. Жилье, работа, деньги — все будет! Главное — начать жить по-новому. Иржи чувствовал, как во тьме блестят смеющиеся глаза сестры, как она следит за ним сияющим взглядом. Ему хотелось смеяться от радости на весь дом, он не умолкал, пока наконец, утомленные счастьем и разговорами, они не стали затихать, полные усталости и взаимопонимания.

Наконец он уложил Ружену спать. Она не противилась его смешной материнской заботливости и не в силах была благодарить. Но поднимая глаза от пачки газет, где он искал объявления о сдаче комнат внаем, Иржи встречал взгляд сестры, исполненный восторга и безмерного ликования, и сердце его сжималось от счастья. Так он просидел до утра.

Да, это была новая жизнь! Приступы слабости и вялости у Иржи исчезли: он быстро съедал обед и бежал по бесчисленным адресам — с этажа на этаж — искать комнату для Ружены; возвращался он усталый, как охотничий пес, и счастливый, как жених, а вечерами сидел над сверхурочной работой и засыпал как убитый в

восторге от хлопотливого дня. Пришлось, правда, удовольствоваться комнатой без вида, скверной комнатой с бархатной мебелью, к тому же безбожно дорогой. Иногда во время работы Иржи охватывала слабость, веки у него дрожали, в глазах темнело, холодный пот выступал на бледном лбу. Но он умел овладеть собой. Стиснув зубы, он клал голову на прохладную доску стола и упрямо твердил: держись, держись, ты должен держаться, ты живешь не только для себя!

И он действительно свежел со дня на день. Это была новая жизнь!

Но однажды к Иржи явилась нежданная гостья, его вторая сестра Тильда, жена незадачливого мелкого предпринимателя; жили они где-то недалеко от Праги, и Тильда всегда навещала брата, когда приезжала в столицу, — она бывала здесь по торговым и хозяйственным делам. Зайдя к брату, она обычно сидела опустив глаза и тихими, скупыми фразами рассказывала о трех своих детях и о множестве домашних хлопот, словно на свете не могло быть других интересов.

Иржи ужаснулся, взглянув на сестру: она тяжело дышала; забота покрыла ее лицо паутиной морщинок. При взгляде на обезображенные шитьем и работой руки Тильды сердце брата мучительно сжалось.

— Дети, слава богу, здоровы и ведут себя хорошо, — отрывисто рассказывала сестра. — Да вот мастерская стоит, станки больше не нужны, приходится искать покупателя...

— А Ружена здесь?! — сказала она вдруг полувопросительным тоном, тщетно стараясь глядеть в глаза брату.

На какую бы вещь ни падал ее взгляд, всюду она видела то дыру в ковре, то драный чехол на мебели; обстановка в комнате была жалкая, запущенная, ветхая... «А ведь в самом деле, — подумал Иржи, — ни я, ни Ружена как-то не замечали этого». Он смутился и стал смотреть в сторону, стесняясь измученного, вечно озабоченного взгляда Тильды, ее бдительных глаз.

— Она сбежала от мужа, — вяло начала Тильда. — Говорит, что он ее мучил... Может, и мучил, но... на все есть свои причины... Вот и у него была причина, — продолжала она, не дождавшись реплики брата. — Видишь ли, Ружена... Я и сама не знаю... — Сестра замолчала и уставилась на большую дыру в ковре. — Ружена — не хо-

зяйка, — начала она после паузы. — Ну, конечно, детей у нее нет, заботиться не о ком. Но все-таки...

Иржи хмуро смотрел в окно.

— Ружена — мотовка, — выдавила из себя Тильда. — Делала долги, вот что. Ты заметил, какое у нее белье?

— Нет.

Тильда вздохнула и провела рукой по лбу.

— Знал бы ты, сколько оно стоит... Она, например, купит себе меха... тысячные! А потом их продает за сотню-другую, чтобы купить туфли. Счета от мужа прятала — и получались неприятности... Разве ты об этом не знаешь?

— Нет. Я с ним не разговариваю.

Тильда покачала головой.

— Видишь ли, он странный человек, не спорю... Но если жена мужу даже белья никогда не починит и он ходит весь драный, а сама одевается как герцогиня... Да еще обманывает его, гуляет с другими...

— Перестань! — взмолился измученный Иржи.

Тильда грустно оглядела рваное покрывало на постели.

— А Ружена не предлагала тебе помочь по хозяйству? — спросила она неуверенно. — Чтобы ты взял квартиру побольше, а она бы тебе стряпала?

У Иржи больно сжалось сердце. Об этом он до сих пор даже не подумал. Да и Ружена тоже! А как бы он был счастлив!

— Я и не хотел этого, — резко сказал он, едва владея собой.

Тильде наконец удалось поднять взгляд.

— Да и она бы, вероятно, не захотела. Тут у нее... этот офицер. Его перевели в Прагу. Потому она и сбежала сюда. Погналась за женатым. Этого она тебе тоже, конечно, не сказала?

— Тильда, — хрипло сказал Иржи, гневно глядя на нее, — ты лжешь!

У Тильды вздрагивали руки и щеки, но она пока не сдавалась.

— Увидишь сам, — запинаясь, возразила она. — Ты такой добряк. Я бы не сказала этого, если бы... если бы не жалела тебя. Ружена никогда тебя не любила. Она говорит, что ты...

— Уходи! — крикнул Иржи вне себя от гнева. — Ради бога, оставь меня в покое!

Тильда медленно поднялась.

— Снял бы ты себе квартиру получше, Иржи, — невозмутимо продолжала она. — Погляди, как здесь грязно. Не оставить ли тебе корзиночку груш?

— Ничего мне не надо.

— Мне пора... У тебя тут такая темень... Ах, боже, Иржик... Ну, до свидания!

Кровь стучала в висках у Иржи, в горле стоял комок. Он попытался работать, но, едва усевшись за стол, сломал от злости перо, вскочил и побежал к Ружене. Запыхавшись, он поднялся по лестнице и позвонил. Открыла квартирная хозяйка. Жиличка, мол, ушла с утра. Передать ей что-нибудь?

— Ничего, — пробурчал Иржи и потащился домой, словно под тяжестью непосильного бремени. Дома он снова сел за стол, подпер голову руками и стал вчитываться в документы. Прошел час, но Иржи не перевернул ни одной страницы. Настали сумерки, в комнате стемнело, а он все еще не зажег света. В передней бодро и весело звякнул звонок, зашуршало платье, и в комнату вбежала Ружена.

— Спишь, Иржи, — ласково засмеялась она. — Как здесь темно! Да где же ты?

— Гм... я работал, — отчужденно сказал Иржи.

В комнате повеяло морозной свежестью и легким ароматом дорогих духов.

— Слушай... — весело начала Ружена.

— Я хотел зайти к тебе, — прервал он, — но подумал, что тебя, наверное, нет дома...

— Где же мне еще быть? — искренне удивилась она. — Ах, здесь так хорошо, Иржи! Я так люблю бывать у тебя!

Она вся дышала радостью, молодостью и счастьем.

— Поди посиди со мной, — попросила она и, когда брат уселся рядом с ней на кушетке, обняла его и повторила: — Я очень люблю бывать у тебя, Иржик!

Он прижался щекой к холодному меху ее шубки, чуть влажному от осеннего тумана, и, пока сестра легонько баюкала его, думал: «Не все ли равно, где она была? Зато она сразу же пришла ко мне». И сердце у него замирало и сжималось от странной смеси чувств — острой скорби и сладостного томления.

— Что с тобой, Иржик? — испуганно спросила она.

— Ничего, — сказал он, убаюканный. — Заходила Тильда.

— Тильда! — ужаснулась Ружена и, помолчав, сказала: — Пусти!.. А что она говорила?

— Ничего.

— А обо мне говорила? Плохое что-нибудь?

— Так, кое-что...

Ружена разразилась злыми слезами.

— Подлая женщина! От нее хорошего не жди! Виновата я разве, что им плохо живется? Она наверняка разнюхала, что ты мне помог. Вот и притащилась! Живи они лучше, Тильда и не вспомнила бы о тебе! Как это низко! Все только для себя... и для своих противных детей...

— Хватит об этом! — попросил Иржи.

Но Ружена не унималась.

— Ей хочется испортить мне жизнь! — плакала она. — Только-только все стало налаживаться... а эта Тильда тут как тут, поносит меня и хочет все отнять... Скажи, ты веришь тому, что она наболтала?

— Нет.

— Ведь я решительно ничего не хочу, кроме свободы. Разве у меня нет права хоть на капельку счастья? Мне так мало нужно, я тут так счастлива, и вот является она и...

— Не бойся, — сказал он, вставая, чтобы зажечь лампу.

Ружена тотчас перестала плакать. Брат пристально глядел на нее, словно видел впервые. Потупленный взгляд, вздрагивающие губы... Но как она молода и прелестна! Новое платье, шелковые чулки, перчатки туго обтягивают руки... Маленькие нервные пальцы перебирают бахрому рваного чехла на кушетке.

— Извини, — сказал Иржи со вздохом, — мне надо работать.

Ружена послушно встала.

— Ах, Иржи... — начала она и замолкла, не зная, что сказать. Прижав руки к груди, она стояла как олицетворение испуга: губы у нее побелели, в бегающем взгляде было страдание.

— Не беспокойся, — лаконично сказал Иржи и взялся за перо.

На следующий день он до темноты сидел над бумагами, стараясь погрузиться в механизм работы, и писал все быстрее, но с каждой минутой в сознании нарастала мучительная тревога, рабочее настроение падало.

Пришла Ружена.

— Пиши, пиши, — шепнула она. — Я тебе не помешаю.

Она тихонько села на кушетку, но Иржи все время чувствовал на себе пристальный, беспокойный взгляд сестры.

— Что ж ты не зашел ко мне? — внезапно спросила она. — Я сегодня весь день была дома.

Иржи угадал в этом признание, которое тронуло его. И, положив перо, повернулся к сестре. Она была в черном платье, похожая на кающуюся грешницу. Лицо ее казалось бледнее обычного, и даже издалека было заметно, как озябли робко сложенные на коленях руки.

— У меня довольно холодно, — виноватым тоном проворчал он и попытался разговаривать с сестрой спокойно, не вспоминая о вчерашнем. Ружена отвечала покорно и нежно, тоном благодарной девочки.

— Ох уж эта Тильда! — неожиданно вырвалось у нее. — Им потому не везет, что муж у нее просто дурак. Поручился за чужого человека, а потом пришлось за него платить. Сам виноват, надо было подумать о своей семье. Но что поделаешь, если он ничего не понимает! Держал коммивояжера, а тот его обобрал, и вообще он доверяет первому встречному... Ты знаешь, что его обвиняют в умышленном банкротстве?

— Я ничего не знаю, — уклонился от ответа Иржи. Он понял, что она всю ночь обдумывала *это,* и ему стало как-то стыдно. Но Ружена не почувствовала тихого протеста брата: она разошлась, раскраснелась и принялась выкладывать свои главные козыри.

— Они просили моего мужа помочь им. Но он навел справки и поднял их на смех... Дать им деньги, говорит, — все равно что выбросить. У них триста тысяч пассива... Дурак будет тот, кто вложит в их дело хоть геллер: все вылетит в трубу!

— Зачем ты говоришь это мне?

— Чтобы ты знал. — Она старалась говорить непринужденно. — Ведь ты такой добряк, чего доброго, дашь еще обобрать себя до нитки...

— Ты хорошая, — сказал он, не сводя с нее глаз.

Ружена напряглась, как натянутый лук. Ей, видно, очень хотелось сказать еще что-то, но смущал пристальный взгляд брата; побоявшись переборщить, она перевела разговор на другое и стала просить найти ей какую-

нибудь работу, потому что она никому, никому не хочет быть в тягость. Она ограничит себя во всем, ей не нужна такая дорогая квартира...

«Вот сейчас, сейчас она, может быть, предложит вести у меня хозяйство...» Иржи ждал с бьющимся сердцем, но Ружена отвела взгляд к окну и переменила тему.

Через день пришло письмо от Тильды.

«Милый Иржи,

жаль, что мы расстались, так и не поняв друг друга. Если бы ты знал все, я уверена, ты по-другому отнесся бы и к этому письму. Мы в отчаянном положении. Но если мы сумеем заплатить сейчас 50 000, мы будем спасены, потому что у нашего дела надежное будущее и года через два оно будет приносить доход. Мы готовы дать тебе все гарантии на будущее, если ты нам сейчас одолжишь эту сумму. Ты стал бы нашим компаньоном и получал бы долю с прибылей, как только они будут. Приезжай поглядеть на наше предприятие и убедись своими глазами, что это верное дело. Познакомься с нашими детьми, увидишь, какие они милые и послушные, как прилежно учатся, и твое сердце не позволит тебе погубить их будущее. Помоги нам хотя бы ради них, ведь мы кровная родня, а Карел уже большой и смышленый, оп многого достигнет в жизни. Извини, что я так пишу, мы все очень волнуемся и верим, что ты спасешь нас и будешь любить наших детей, ведь у тебя доброе сердце. Приезжай обязательно. Тильдочка, когда вырастет, охотно пойдет к тебе в économки, вот увидишь, какая она славная. Если ты нам не поможешь, мой муж не переживет этого, и дети останутся нищими.

Будь здоров, дорогой Иржи,

твоя несчастная сестра Тильда.

P. S. Насчет Ружены ты говорил, что я вру. Мой муж будет в Праге и предъявит тебе доказательства. Ружена не заслуживает твоей великодушной поддержки, она позорит нас всех. Пусть лучше вернется к своему мужу, он ее простит, и пусть она не отнимает хлеб у невинных детей».

Иржи отшвырнул письмо. Ему было горько и противно. От работы, разложенной на столе, веяло отчаянной пустотой, душу переполняло отвращение. Он бросил все и

пошел к Ружене, но уже на лестнице, у дверей, остановился, махнул рукой и отправился бродить по улицам. Увидя вдалеке молодую женщину в мехах, под руку с офицером, он, как ревнивец, побежал за ней, но оказалось, что это не Ружена. Иржи шел, заглядывая в ясные женские глаза, слышал смех, видел счастливых женщин, овеянных радостью и красотой.

Наконец, усталый, он вернулся домой. На кушетке лежала Ружена и плакала. На полу валялось раскрытое письмо Тильды.

— Какая подлая! — безутешно всхлипывала Ружена. — И как ей не стыдно! Она хочет обобрать тебя, Ирка, обобрать до нитки. Не поддавайся, не верь ни единому слову! Ты и представления не имеешь, до чего это лживая и жадная баба! За что она меня травит? Что я ей сделала? Из-за твоих денег... так меня... позорит. Ведь ей от тебя нужны только деньги! Это просто срам!

— У нее дети, Ружена, — тихо сказал Иржи.

— Не надо было заводить детей! — грубо воскликнула Ружена, обливаясь слезами. — Всегда она нас обирала, ей дороги только деньги! Она и замуж-то вышла по расчету, еще девчонкой хвалилась, что будет богата!.. Бессовестная, низкая, глупая!.. Ну скажи, Иржи, что это за человек? Знаешь, как она держалась, когда им везло? Зажиревшая, спесивая завистница... А теперь хочет... отыграться на мне... Неужели ты допустишь, Иржи? Неужели выгонишь меня? Я лучше утоплюсь, а обратно не поеду!

Иржи слушал, опустив голову. Да, сейчас Ружена борется не на жизнь, а на смерть, отстаивает все — свою любовь, свое счастье... Она плачет от ярости, в ее голосе страстная ненависть и к Тильде, и к нему, Иржи, который может лишить ее всего. Деньги! Это слово бичом хлестало Иржи каждый раз, когда Ружена произносила его; оно казалось ему гнусным, циничным, оскорбительным...

— Я не поверила, когда ты предложил мне деньги, — плакала Ружена. — Ведь они означают для меня свободу и все в жизни. Ты сам мне предложил эти проценты, Иржи. Не надо было предлагать, если ты собирался отнять их. А теперь, когда я так рассчитываю...

Иржи не слушал. Жалобы, выкрики, плач Ружены доносились до него словно издалека... Он чувствовал себя безгранично униженным. Деньги, деньги и деньги!

Да разве все дело в деньгах? Что же такое случилось, господи боже? Почему так отупела, ожесточилась замученная заботами, хлопотливая мать Тильда? Почему скандалит другая сестра, почему очерствело его собственное сердце? Да разве в деньгах дело? Иржи с удивлением почувствовал, что способен и даже хочет оскорбить Ружену, сказать ей что-то злое, обидное, презрительное.

Он встал, полный решимости.

— Погоди, — сказал он холодно. — Это ведь *мои деньги.* А я... — Он сделал эффектный отрицательный жест. — Я раздумал!

Ружена вскочила, в глазах у нее был испуг.

— Ты... ты... — запиналась она. — Ну, конечно... само собой, разумеется, ты вправе... Прошу тебя, Иржи, ты, наверное, не понял меня. Я совсем не хотела.

— Ладно, — отрезал он. — Я сказал, что раздумал.

Молния ненависти сверкнула в глазах Ружены, но она закусила губу, опустила голову и вышла.

Назавтра к Иржи явился новый посетитель — муж Тильды, неуклюжий, краснолицый, застенчивый человек, с выражением какой-то собачьей покорности в лице и фигуре. Иржи был вне себя от стыда и злости и даже не сел, чтобы не предлагать сесть гостю.

— Что вам угодно? — спросил он безразличным, чиновничьим голосом

Неуклюжий человек вздрогнул и с трудом проговорил:

— Я... я... то есть Тильда... посылает вам документы, которые вы просили... — Он стал лихорадочно шарить по карманам.

— Ничего я не просил! — Иржи отмахнулся.

Настала мучительная пауза

— Тильда писала вам, шурин... — начал несчастный фабрикант, покраснев еще больше, — что наше предприятие... в общем... если вы захотите войти в долю...

Иржи упорно молчал, не желая выручать зятя.

— Собственно говоря... положение не такое уж плохое... Если бы вы захотели участвовать... короче говоря... у нашего дела есть будущее... и вы... как совладелец...

Дверь тихо отворилась — на пороге стояла Ружена. Она остолбенела, увидев мужа Тильды.

— В чем дело? — резко спросил Иржи.

— Иржи... — прошептала Ружена.

— У меня гость, — отрезал Иржи и повернулся к зятю. — Пожалуйста, продолжайте.

Ружена не шевелилась. Муж Тильды обливался потом от стыда и страха.

— Вот... пожалуйста... эти бумаги... письма от ее мужа и другие... перехваченные...

Ружена ухватилась за косяк.

— Покажите, — сказал Иржи и взял письма, словно собираясь просмотреть их, но скомкал в руке и протянул Ружене.

— На, возьми, — сказал он со злой усмешкой. — А теперь извини. И в банк за процентами больше не ходи. Не получишь.

Ружена молча отступила, лицо у нее стало пепельным. Иржи закрыл за ней дверь и сказал хрипло:

— Итак, вы говорили о вашем заводе.

— Да, у него самые лучшие перспективы... и если бы нашелся капитал... пока что, разумеется, без процентов...

— Слушайте, — бесцеремонно прервал его Иржи, — мне известно, что вы сами довели завод до краха. У меня есть сведения, что вы неосторожный и даже... даже не деловой человек.

— Я бы... я бы так старался... — бормотал зять, собачьими глазами глядя на Иржи, избегавшего его взгляда.

— Как же я могу вам доверять? — Иржи пожал плечами.

— Уверяю вас, что я высоко ценил бы ваше доверие... и всячески стремился бы... У нас дети, шурин!

Сердце Иржи сжалось от страшной, мучительной жалости.

— Приходите... через год! — закончил он последним усилием воли.

— Через год... о боже! — вздохнул Тильдин муж, и в его потухших глазах показались слезы.

— Прощайте, — заключил Иржи, протягивая ему руку. Зять, не замечая ее, пошел к выходу и, натыкаясь на стулья, нащупал ручку двери.

— Прощайте... — надломленным голосом сказал он с порога, — и... спасибо вам.

Иржи остался один. Неимоверная слабость охватила его, пот выступил на лбу. Он собрал бумаги, все еще разложенные на столе, и позвал квартирохозяйку. Когда

она вошла, он расхаживал по комнате, держась руками за грудь, и уже не помнил, что хотел сказать.

— Погодите, — воскликнул он, когда она уходила. — Если сегодня или завтра... или вообще когда-нибудь придет... моя сестра Ружена, скажите ей, что я нездоров и просил к себе никого не пускать.

Он лег на свою ветхую кушетку и уставился на новую паутину, которая появилась в углу у него над головой.

Жестокий человек

В бухгалтерию, освещенную двумя десятками ламп и сиявшую, как операционный зал, доносился грохот и лязг из цехов. Был шестой час вечера. Сотрудники уже поднимались со своих мест и шли к умывальникам. Вдруг зазвонил внутренний телефон. Бухгалтер снял трубку и услышал одно слово: «Блисс». Положив трубку, он кивнул молодому человеку, который, облокотясь на сейф и сверкая золотыми зубами, болтал с двумя машинистками. Молодой человек блеснул всеми своими пломбами и коронками, отбросил сигарету и вышел.

Прыгая через три ступеньки, он бегом поднялся на второй этаж. В холле никого не было. Блисс постоял, кашлянул и через двойные двери вошел в кабинет Пеликана. У стола принципала он увидел директора завода; тот стоял навытяжку, как солдат, рапортующий командиру.

— Pardon! — извинился Блисс и отступил.

— Останьтесь! — послышалось ему вслед.

На лице директора, выражавшем напряженное внимание, конвульсивно, как от тика, дергалась одна щека. Пеликан писал и, закусив сигару, говорил сквозь зубы. Внезапно он бросил перо и сказал:

— Завтра объявите об увольнениях.

— Это вызовет забастовку, — мрачно заметил директор.

Пеликан пожал плечами.

У директора нервно подергивалось лицо — у него, видимо, накипело на сердце. Блисс деликатно отвернулся к окну, как бы желая показать, что его, Блисса,

собственно, тут нет. Но ему было совершенно ясно, в чем дело. Уже год он следил за титанической борьбой, которую вел Пеликан. Немецкая конкуренция, что ни день, все сильнее душила огромный, шумный завод, и завтра он, быть может, затихнет навсегда. Хочешь не хочешь, а немцы продают свои изделия на тридцать процентов дешевле! Год назад Пеликан расширил завод, вложил сумасшедшие деньги в новое оборудование, — все для того, чтобы удешевить свои товары. Он приобрел новые патенты и рассчитывал, что производительность труда поднимется наполовину. Но она не поднялась ни на один процент: сказывалось сопротивление рабочих. Пеликан устремился в атаку на нового врага, терроризировал цеховых уполномоченных и постарался выжить их с завода. Однако этим он только вызвал две ненужные забастовки и в конце концов был все же вынужден повысить оплату труда и попытался купить рабочих премиями. Но накладные расходы возросли ужасающе, а производительность еще больше снизилась. Молчаливая вражда между фабрикантом и рабочими превратилась в открытый поединок. Неделю назад Пеликан вызвал к себе уполномоченных и предложил участие в прибылях. В душе он задыхался от злобы, но перед представителями рабочих распинался с необыкновенным красноречием: повысьте, мол, выработку, проявите добрую волю, и завод будет наполовину ваш.

Рабочие отказались. Значит, быть сокращению! Блисс знал, что Пеликану нужна передышка и что фабрикант не считает себя побежденным.

— Это вызовет *стачку*, — повторил директор.

— Блисс! — крикнул Пеликан, как кричат любимой собаке, и снова стал писать.

Директор откланялся и ушел, нарочито медля и явно рассчитывая, что его остановят, но Пеликан и бровью не повел.

Блисс молча прислонился к шкафу и стал ждать дальнейших событий, с улыбкой разглядывая то свои блестящие ботинки, то ногти, то узор ковра... Он щурил свои томные еврейские глаза, как довольный кот, задремавший здесь в тепле, под шорох пера, бегающего по бумаге.

— Поезжайте в Германию, — сказал Пеликан, продолжая писать.

— Куда? — улыбнулся Блисс.

— К конкурентам, поглядеть... Вы знаете, на что.

Польщенный Блисс улыбнулся. Это был прирожденный лазутчик и промышленный шпион. Найдись государственный деятель, который захотел бы использовать мягкую элегантность и изумительную дерзость этого человека с девическими глазами, Блисс охотно служил бы любой политике или предательству. Пока же он разъезжал по разным странам, проникая взглядом своих прищуренных, насмешливых глаз в производственные и коммерческие тайны и патенты различных предприятий и продавая их конкурентам. Он был до странности предан Пеликану, который «открыл» и вывел в люди его, безвестного нищего беженца из Польши. Сейчас надо было подставить ножку немецким конкурентам, и Блисс это сразу понял. Впервые Пеликан сам попросил его о такой услуге.

— Съездить в Германию, — повторил Блисс и блеснул всеми своими золотыми зубами. — И больше ничего?

— Если представится возможность, почему бы и нет, — процедил Пеликан. — Но долго не задерживайтесь.

Наступила минутная пауза. Блисс неслышно отошел к окну и посмотрел на улицу. Завод уже затих и сверкал огромными окнами, как стеклянный дворец.

Пеликан все еще сосредоточенно писал.

— Сегодня утром я видел вашу жену, — раздался от окна сдавленный, серьезный голос.

— Та-ак... — произнес Пеликан, не шевелясь, но скрип пера вдруг прекратился, словно писавший замер в ожидании.

— Она поехала в Стромовку, — не оборачиваясь, сказал Блисс. — Там вышла, переехала на тот берег, в Трою. В павильоне ее ждал...

— Кто? — не сразу спросил Пеликан.

— Доцент Ежек. Они пошли по набережной... Ваша супруга плакала... У перевоза они расстались.

— О чем они говорили? — спросил Пеликан как-то слишком спокойно.

— Не знаю. Он сказал: «Ты должна решиться, так больше нельзя, невозможно!..» Она заплакала.

— Он с ней...

— ...на «ты». Потом он сказал: «До завтра». Это было в одиннадцать утра.

— Спасибо.

Перо снова заскрипело по бумаге. Блисс повернулся лицом к хозяину. Он щурился и улыбался по-прежнему.

— Я заеду в Швецию, — добавил он, осклабясь, — у сталелитейщиков там есть кое-что новенькое.

— Счастливого пути! — отозвался Пеликан и подал ему чек.

Было видно, что принципал намерен еще работать, и Блисс на цыпочках вышел. В кабинете воцарилась такая тишина, словно Пеликан окаменел.

Внизу, под окнами, в ожидании ходит продрогший шофер. Какие-то голоса озябших людей доносятся со двора. Пробили часы: семь мелодичных металлических ударов. Пеликан запер письменный стол, взял трубку, набрал номер своего домашнего телефона.

— Барыня дома?

— Да, — последовал ответ. — Позвать?

— Нет. — Он повесил трубку и снова опустился в кресло.

«Так, значит, сегодня утром, — твердил он себе. — Вот почему Люси была такая смущенная... такая... бог знает...» Когда он днем приехал обедать, она играла на рояле и не заметила мужа. Пеликан слушал ее игру, сидя в соседней комнате. Никогда прежде он не думал, что на свете может быть нечто столь страшное, душераздирающее и властное, как то, что слышалось ему в этой музыке. К обеду жена вышла бледная, с горящими глазами и почти не дотронулась до еды. Они обменялись несколькими словами — в последнее время, слишком занятый борьбой на заводе, о которой жена даже не подозревала, он не знал, о чем говорить с ней. После обеда Люси опять играла и не слышала, как он уходит. Что за страшную, исполненную отчаяния силу и окрыляющую решимость, какой тайный смысл искала она в этой буре звуков, чем она упивалась, с кем говорила, взволнованная, потрясенная? Пеликан покорно опустил голову. Его крепкий лоб был словно забронирован от звуков, он умел спокойно работать под грохот парового молота и пронзительный вой металлорежущих станков. Крик страдания и нежности, который извергал раскрытый рояль, был для Пеликана чужой, непонятной речью, и он тщетно пытался ее понять.

Пеликан ждал, пока жена доиграет и встанет из-за рояля. Тогда он посадит ее рядом с собой на диван, ска-

жет ей, как он устал, скажет, что все, что он сейчас делает, — выше сил человеческих... Он даже не закурил сигары, чтобы дым не беспокоил Люси. Но она не замечала его, погруженная в иной мир. Наконец он поглядел на часы и на цыпочках вышел — пора было ехать на завод.

Пеликан стиснул зубы, словно стараясь перекусить что-то. Так, значит, Ежек, друг детства... Ему вспомнилось, как он впервые ввел Ежека в гостиную своей жены, волосатого, бородатого, сутулого Ежека, очкастого ученого, немного смешного и рассеянного, с удивленным, детским выражением глаз. Тогда Пеликан привел приятеля почти насильно, притащил с благодушным превосходством, как новую забавную игрушку. Ежек изредка заходил, стеснялся и вскоре безумно влюбился в молодую хозяйку дома. Пеликан отметил это с удовлетворением собственника: он был горд своей интересной женой, образованной, одаренной женщиной.

«Приходи почаще», — говаривал он приятелю. Ежек робко уклонялся, краснея от смущения и сердечных терзаний, и предпочел бы совсем не показываться у Пеликанов, однако не выдерживал и приходил снова, все более измученный, молчаливый, тревожный и вместе с тем безмерно счастливый в те минуты, когда хозяйка дома, уводя его от других гостей, садилась за рояль и говорила с Ежеком языком прелюдов, разыгранных ее белыми руками; ее глаза, сияющие и чуть насмешливые, были устремлены на взъерошенную шевелюру несчастного доцента. О, тогда Пеликан не питал ни малейшего сочувствия к этому мученику и по-королевски забавлялся его терзаниями, уверенный, слишком уверенный в своих силах, чтобы предположить...

Сильные челюсти Пеликана дрогнули. «А ведь это происходило не только у меня дома», — лишь теперь вспомнил он. Он изредка сопровождал жену на концерты и, довольный уже тем, что сидит рядом с Люси, думал о своих делах. На концертах всегда оказывался и доцент Ежек: опустив голову, он стоял где-нибудь у стены. Бог весть что такое кроется в музыке, но минутами Люси вздрагивала и бледнела от волнения; и в ту же минуту Ежек поднимал голову и издалека глядел на нее напряженным, пылким взглядом, словно вся эта музыка извергалась из его сердца. И Люси тоже искала его

взглядом или, в каком-то безмолвном сговоре с ним, замыкалась в себе самой. Они понимали друг друга на расстоянии, они говорили сверхчеловеческим языком звуков, заполнявших концертный зал. По пути домой Люси бывала молчалива, не отвечала на вопросы, прятала лицо в меха, словно изо всех сил старалась сохранить в своей душе что-то великое, созданное музыкой... и неведомо чем еще.

Пеликан закрыл лицо руками и застонал. Он сам виноват, что дело зашло так далеко! В последние месяцы он действительно совсем не уделял Люси внимания, отгородился от нее молчанием. Но ведь у него столько работы, он был так занят жестокой борьбой! Приходилось сидеть на заводе, в банке, в десятке правлений. Нужны деньги, а доход от завода слишком мал. Нужны деньги... прежде всего для Люси! У нее такие широкие запросы. Он никогда не говорил ей об этом, но, черт побери, ведь все его время уходит на то, чтобы обеспечить ей ту жизнь, которую она ведет. Все его время, все дни! Да, последние месяцы Пеликан чувствовал: что-то не в порядке, что-то происходит в его семье. Почему Люси такая грустная и отчужденная, почему она побледнела от раздумий, как-то осунулась и замкнулась в себе? Пеликан ясно видел это и тревожился за жену, но усилием воли подавлял свое беспокойство. Приходилось думать о других, более важных делах...

В памяти Пеликана вдруг с мучительной отчетливостью всплыл последний визит Ежека. Доцент пришел поздно, какой-то всклокоченный, сам не свой, сел в сторонке, ни с кем не разговаривал. Люси, чуть побледнев, подошла к нему и принужденно улыбнулась. Ежек встал и, словно бы тесня ее взглядом, заставил отойти к нише у окна. Там он шепотом сказал ей несколько слов. Люси наклонила голову в знак грустного согласия и вернулась к гостям. У Пеликана тогда сжалось сердце от беспокойного предчувствия, и он решил, что надо быть настороже. Но у него столько забот, столько неотложных дел!

Часы мелодично пробили восемь.

...На набережной Трои стоит пара. Красивая дама плачет, прижимая платочек к глазам. К ней склоняется бородатое лицо со страдальческой и страстной улыбкой. «Ты должна, должна решиться, — говорит он. — Так больше нельзя, невозможно!» Эта картина терзает Пеликана сво-

ей беспощадной отчетливостью. «Как далеко зашли у них отношения? — подавленно спрашивает он себя. — Боже, что же мне делать? Объясниться с Люси или с ним? А как быть, если они скажут: «Да, мы любим друг друга»? И зачем добиваться того, чтобы услышать это, если... если и так все ясно?»

Тяжелые руки Пеликана сжаты в кулаки и лежат на столе. Он ждал бешеной вспышки гнева, но чувствует лишь, что его гнетет неимоверная слабость. Сколько сражений уже решено за этим столом! Отсюда он распоряжается людьми и вещами, здесь получает и наносит удары, стремительные, страшные удары, как на матче бокса. А сейчас с каким-то ужасом и глухим гневом на самого себя сознает, что не способен ответить на этот удар.

Масштабы своего поражения он измеряет своей слабостью. «Надо что-то предпринять, что-то сделать», — мрачно твердит он и тотчас же представляет себе рояль, Люси с прикрытыми, горящими глазами, Люси, бледную и пошатывающуюся, на влтавской набережной... И снова нестерпимая мука бессилия охватывает Пеликана.

Наконец, собрав все силы, он встает и идет к машине. Автомобиль тихо спускается к центру Праги. Глаза Пеликана вдруг наливаются кровью.

— Скорей, скорей, — кричит он шоферу и тяжело дышит от внезапного прилива ярости. Ему хочется врезаться в толпу, как пушечное ядро, давить людей, с грохотом налететь на какую-нибудь преграду... — Быстрее, быстрее, ты, олух! Зачем ты объезжаешь препятствия?

Испуганный шофер гонит машину на предельной скорости, непрерывно сигналя. Слышны крики прохожих, кто-то чуть не попал под колеса...

Домой Пеликан вернулся внешне спокойным. Ужин прошел в молчании. Люси не проронила ни слова и была чем-то подавлена. Сделав несколько глотков, она встала, чтобы уйти.

— Погоди, — попросил он и с дымящейся сигарой подошел, чтобы заглянуть ей в глаза. Люси подняла взгляд, внезапно исполненный отвращения и страха.

— Оставь меня, — попросила она и нарочно кашлянула, словно от табачного дыма.

— Ты кашляешь, Люси, — сказал Пеликан, пристально глядя на жену. — Тебе надо уехать из Праги.

— Куда? — в испуге шепнула она.

— В Италию, к морю, куда угодно. На курорт. Когда ты выедешь?

— Я не поеду! — воскликнула она. — Никуда я не хочу. Я совершенно здорова!

— Ты бледна, — продолжал он, не сводя с нее испытующего взгляда. — Пражский климат вреден тебе! Надо полечиться два-три года.

— Я никуда не поеду, никуда! — воскликнула Люси в страшном волнении. — Прошу тебя... что это... Я не поеду! — еще раз крикнула она срывающимся голосом и выбежала из комнаты, чтобы не разрыдаться. Пеликан, сгорбившись, ушел к себе в кабинет.

Ночью старый слуга долго ждал Пеликана в комнатке около спальни, чтобы приготовить ванну. Вот уже полночь, а хозяин все еще не выходит из кабинета. Слуга на цыпочках подошел к двери и прислушался. Слышны равномерные, тяжелые шаги из угла в угол. Старик вернулся на свой диванчик и задремал, иногда просыпаясь от холода. В половине четвертого он вскочил, пробудившись от крепкого сна, и увидел хозяина, который надевал шубу; лакей забормотал извинения.

— Я ухожу, — прервал его Пеликан. — Вернусь к вечеру.

— Вызвать машину? — осведомился слуга.

— Не надо.

Пеликан зашагал пешком к ближайшему вокзалу. Морозило. Спящие улицы были безлюдны. Город будто вымер. На вокзале несколько человек спали на скамейках, другие тихо, терпеливо мерзли, свернувшись в клубок, как звери. Пеликан выбрал в расписании первый же отходящий поезд и в ожидании стал расхаживать по коридору. О поезде он забыл, и поезд ушел. Пришлось выбирать другой, и вот наконец Пеликан едет один, в пустом купе, сам не зная куда. Еще не рассвело. Пеликан убавил свет лампы и забился в угол.

Его сознание затуманила безмерная усталость. С каждым оборотом колес на него словно накатывалась новая волна слабости. Было смертельно тоскливо и вместе с тем безгранично покойно, словно он впервые за много лет отдыхал всем своим существом. Впервые в жизни, не сопротивляясь, принять удар и со странным удовлетворением сознавать, как глубоко он тебя ранит. Он уехал, попросту бежал из дому, чтобы весь день пробыть одному,

все обдумать и твердо, без колебаний решить, как быть с Люси, что делать, как вообще покончить с этим ужасным положением. Но сейчас он не может — и не хочет — ничего, только бы терзаться своей мукой. Там, за окном, рождаются огоньки нового дня, люди, просыпаясь, неохотно расстаются с теплым сном. Люси сейчас еще спит... Он представил себе большую подушку, русые, разметавшиеся волосы. Быть может, они еще мокры от слез, детских слез, утомивших ее. Она бледна и прекрасна... ах, Люси! Ведь моя слабость — не что иное, как любовь. Какое же решение я ищу, ведь и так все решено, я люблю тебя!

«Действовать, действовать, действовать!» — настойчиво стучат колеса. «Нет, нет, зачем? Как ни действуй, от любви никуда не уйдешь. Но если Люси несчастна, значит, надо сделать так, чтобы она стала *счастливой*». — «Действовать, действовать!» — «Погоди, Люси, погоди, я покажу тебе, что такое любовь! Ты должна быть счастлива, если даже...» — «Итак, каково же решение? Раз ты любишь Люси, докажи это. Какая жертва достаточно велика, чтобы стоило принести ее?..»

Над землей распростерся рассвет.

Спокойно, сильно бьется мужское сердце, проникнутое великой любовью. «Люси, Люси, я верну тебе свободу! Иди к своему любимому и будь счастлива. Я принесу и эту жертву. Слабая и прекрасная Люси, иди и будь счастлива!..» За окном пейзаж сменялся пейзажем. Крепкий, упрямый лоб прижат к холодному стеклу — Пеликан преодолевает дурман страдания. Но в израненное сердце уже вливается мир решения.

«Скажу ей сегодня вечером, что мы *разводимся*, — думает Пеликан. — Она испугается, но ненадолго, потом согласится и через полгода будет счастлива. Ежек будет носить ее на руках, он понимает ее лучше, чем я. А Люси...»

Пеликан вскакивает, как от удара. Разве может быть Люси счастлива в нужде? Люси, которая привыкла к роскоши и дорогим туалетам, Люси, которую в свой богатый дом он взял из богатого дома ее отца, владельца крупной торговой фирмы, правда, как раз накануне банкротства. Люси, которая по прихоти, из каприза, по наивности, по внезапному импульсу и бог весть почему еще безрассудно сорит деньгами. Всех заработков Ежека ей не

хватит на одно платье... «Ну что ж, — возражает сам себе Пеликан, — после развода мне все равно придется платить ей алименты, вот я и дам ей достаточно, чтобы...»

«Нет, какие же алименты, — спохватился вдруг он, — ведь она выйдет за Ежека, и я, конечно, не смогу содержать ее. Значит, ей нельзя выходить замуж! Не то пусть остается свободной и получает от меня содержание... Ну, а что же тогда с ней будет? Отношения с Ежеком неизбежно пойдут своим путем. Если они не поженятся, значит, это будет более или менее открытое... сожительство. Общество, в котором она живет, даст ей это почувствовать, оно изгонит ее и унизит. И она, гордая и впечатлительная Люси, будет безмерно страдать: ведь она воспитана в определенных правилах... Нет, так нельзя! Если мы разведемся, пусть выходит за Ежека и научится жить в бедности... если может. А я... я время от времени буду давать Ежеку денег... — Но Пеликан сам смущается такой мысли. — Нет, ведь Ежек ни за что не возьмет».

В смятении Пеликан сходит с поезда на первой же остановке, не зная, на какую станцию попал. Сидеть в купе — выше его сил, хочется бежать по темным полям с полосами смерзшегося снега, хочется прийти в себя. Светает. Серое и сырое утро. Пеликан выходит из вокзала, тут же садится на придорожную тумбу и задумывается.

Можно сказать ей и так: «Я уйду от тебя, но дам тебе кое-какие средства — вроде приданого, понимаешь? Капитал, чтобы ты жила на проценты». А потом пусть выходит замуж. Пеликан наскоро прикинул, какую часть своего состояния он может реализовать. Вышло, что почти ничего. Весь капитал в обороте. Ничего не поделаешь, Люси, придется тебе вести скромный образ жизни, самой шить себе платья, стоять у плиты, а вечерами озабоченно подсчитывать дневные расходы...

Он поежился от холода, поднялся и наугад пошел по дороге. «Люси, Люси, что же мне с тобой делать? Не могу же я допустить, чтобы ты нуждалась! Послушай меня, детка, это не для тебя, ты не знаешь, как буднична и утомительна бедность. Возьмись за ум, Люси, подумай, к какой жизни ты привыкла!..»

Согревшись от быстрой ходьбы, Пеликан напряженно думает. Сам того не замечая, он вдруг начинает разрабатывать грандиозный план новой промышленной кампа-

нии, которая принесет ему новые миллионы. Он уже представляет себе, что и как нужно сделать, рассчитывает средства и силы, ломает предстоящее сопротивление... При этом в голове таится нелепая мысль, что, если он осыплет Люси новыми, еще большими богатствами, она, быть может, передумает...

Запыхавшись, Пеликан останавливается на вершине холма, потом быстро сбегает с него. Кругом не видно ни шоссе, ни проселка, одни рыжеватые холмики и черные перелески южной Чехии. Продрогший и безмерно усталый, Пеликан шагает напрямик по полям. Наконец он добирается до какой-то деревни и входит в первый попавшийся трактир.

В низкой избе нет никого, кроме Пеликана. Золотушный подросток подает ему оранжевый чай с ромом, пахнущий нюхательным табаком. Пеликан жадно пьет неаппетитную жидкость и понемногу обретает силы. «Нет, Люси не будет страдать, ведь я живу, чтобы не допустить этого... Сейчас она, наверное, проснулась... встает как малое дитя... вспоминает вчерашние терзания». Пеликан смертельно устал, он чувствует себя очень старым; кажется, он годится Люси в отцы. «Нет, ты не попадешь в нужду, Люси! Ничто не изменится в твоей жизни, я ни словом, ни взглядом не покажу, что знаю все. Живи в своих прекрасных мечтах, Люси, люби, поступай как знаешь. Меня все равно целыми днями нет дома и я не могу дать тебе ничего, кроме богатства. Пользуйся же, Люси, чем хочешь, и будь счастлива; твое гордое сердце не позволит тебе пасть слишком низко...»

Подросток то и дело выходит в зал и неприветливо поглядывает на гостя. Что нужно здесь этому высокому господину в шубе, который уселся в углу, вертит в руках пустой стакан и как-то странно улыбается? Почему он не расплачивается и не уходит — ведь есть же у него дела?

«...Нет, это невозможно, — пугается Пеликан. — Люси уже сейчас страдает от своих отношений с Ежеком, сейчас, когда между ними еще ничего нет, кроме пустых разговоров. Уже сейчас она избегает меня, плачет от душевной муки и терзается сознанием вины. Что же будет завтра и послезавтра, когда отношения зайдут далеко? Разве Люси, гордая и порывистая Люси, сможет и... изменить?.. Она не вынесет унижения, истерзает свое сердце страхом и стыдом. Могу ли я оставить ее в таком

состоянии? — спрашивает себя подавленный Пеликан. — Неужели я не в силах ничего сделать?..»

— Рассчитаться не хотите? — хмуро спрашивает подросток.

Пеликан резким движением вынимает часы: одиннадцать.

— Когда идет первый поезд в Прагу?

— В половине двенадцатого.

— А далеко до станции?

— Час ходьбы.

— У вас есть подвода?

— Нету.

«Одиннадцать часов, — думает Пеликан. — Именно в этот час они встречаются на набережной Трои...» Он представил себе длинную каменную дамбу. Люси стоит, глядя на свинцовую воду, и плачет, прижав платочек к глазам. «Может быть, как раз сейчас они принимают решение, безумное, бессмысленное, может быть, как раз сейчас безрассудная Люси решает свою судьбу, а я сижу тут...»

Он вскакивает.

— Найдите мне подводу!

Подросток, ворча, уходит. Пеликан с часами в руке стоит у трактира. Сердце у него колотится. Неужели не будет подводы? Он выходит из себя от нетерпения. Десять минут пролетают впустую. Наконец подъезжает деревенский тарантас, запряженный белой лошадкой. Пеликан кричит деду, сидящему на козлах:

— Быстро! Заплачу, сколько спросите, если поспеем к поезду!

— Это можно! — отвечает дед, тихонько понукая коня.

Тряский тарантас тащится с горки на горку.

— Скорей! — кричит Пеликан, и дед на козлах всякий раз потряхивает вожжами, отчего белая кобылка начинает чуть живее перебирать ногами. Но вот за спиной старика поднимается мощная фигура, вырывает у него вожжи и хлещет лошадь, хлещет по голове, по ногам, по спине, по чем попало... Бедная лошадка, исполосованная в кровь, пускается во всю прыть. Вон уже и железнодорожное полотно. Но на повороте заднее колесо натыкается на придорожный камень и тарантас валится набок: колесо сломалось, как игрушечное. Пеликан кричит от бешенства, бьет лошадь кулаком по морде и, как был,

в распахнутой шубе, опрометью подбегает к станции, где уже стоит поезд.

«Действовать, действовать, действовать!» — стучат колеса. Взмокший от пота Пеликан сидит в переполненном вагоне, в нетерпеливой ярости постукивает ногой, сжимает кулаки. До чего медленно тащится поезд, словно назло! Станции уплывают куда-то назад, тянутся аллеи, мостики, перелески, бегут телеграфные столбы... Пеликан рывком опускает окно и глядит прямо на рельсы: по крайней мере, хоть здесь бесконечная полоса щебня и шпал убегает назад с головокружительной скоростью.

Прага. Пеликан выбегает из вокзала и едет прямо к Ежеку. Запыхавшись, он звонит у дверей.

— Господина профессора нет дома, — говорит квартирохозяйка. — Но он скоро вернется с обеда — наверное, в половине третьего.

— Я подожду, — бормочет Пеликан и садится в комнате Ежека.

Пробило три часа, скоро половина четвертого. Ежека нет как нет. В комнате постепенно темнеет. Пеликан дышит как загнанный зверь. Может быть, он приехал слишком поздно? Наконец около пяти распахивается дверь, и на пороге появляется Ежек. Увидя Пеликана, он застывает на месте.

— Ты... как ты здесь? — произносит он не своим голосом. — Ведь ты уехал...

Самообладание сразу возвращается к Пеликану.

— Откуда ты знаешь, что я уехал? — холодно спрашивает он.

Ежек понимает, что проговорился. Он краснеет, его лоб покрывается испариной, но он не произносит ни слова.

— Я уже вернулся, — после паузы говорит Пеликан, — и теперь хочу кое в чем навести порядок. Позволь, я закурю.

Ежек молчит. Ему кажется, что сердце стучит слишком громко, и он дрожащими пальцами барабанит по столу, стараясь заглушить этот стук. Вспыхивает огонек спички, освещая твердое, как маска, лицо Пеликана, его прищуренные глаза и крепкие, жестокие челюсти.

— Словом, — начинает Пеликан, — *этому* надо положить конец, понял? Ты подашь заявление о переводе в другой город.

Ежек молчит по-прежнему.

— Мою жену оставь в покое, — продолжает фабрикант. — Надеюсь, ты не осмелишься писать ей... с нового места службы.

— Я не уеду из Праги, — неверным голосом говорит Ежек. — Что угодно делай, не уеду! Я знаю, ты думаешь... Ты не понимаешь, что это такое! Ты вообще не понимаешь...

— Да, я ничего не понимаю, — прерывает его Пеликан. — Мне ясно только одно: этому надо положить конец. Ничего у тебя не выйдет... ничего! Ты должен уехать.

Ежек вскакивает.

— Верни ей свободу! — торопливо и взволнованно говорит он. — Выпусти ее из золотой клетки! Выпусти! Я не для себя прошу, сжалься над ней! Будь человеком хоть раз в жизни! Неужели ты не чувствуешь, что она тебя не выносит, что для нее мука — жить с тобой? Зачем ты держишь ее насильно? У вас нет ни общих интересов, ни общих взглядов. Скажи: есть у тебя, что сказать ей, что дать ей... кроме денег?

— Нет! — слышится в темноте.

— Верни же ей свободу! Я знаю... она знает, что ты ее по-своему любишь. Но все это не то... В последние месяцы вы стали совсем чужими. Слушай, разведись с ней!

— Пусть сама возбуждает дело о разводе.

— Разве ты не понимаешь? Ей не хватает решимости, не хватает смелости сказать тебе... Ты так щедр. Но ты ее не понимаешь, не знаешь, как она щепетильна. Она скорее умрет, чем скажет тебе. Это такая тонкая натура и целиком зависит от тебя! Она не сможет сама... Вот если бы ты сказал, что расстаешься с ней! От этого зависит ее счастье... Пеликан, я знаю, ты не привык к разговорам о любви, для тебя это пустые фразы... и вообще тебе не понять такой жены... Да ведь и ты не чувствуешь счастья. Скажи, зачем тебе Люси? Какая тебе от нее радость? Ты терзаешь ее своим вниманием, и только. Неужто ты не понимаешь, как все это ужасно?!

— А ты бы потом на ней женился, да? — спросил Пеликан.

— Один бог знает, с какой радостью! — с надеждой и облегчением воскликнул растерявшийся Ежек. — Лишь бы она согласилась. Я ни о чем не думал — только о ее

счастье... Знал бы ты, как мы понимаем друг друга. Лишь бы она решилась! — продолжает он, чуть не плача от радости. — Чего бы только я для нее не сделал! Ведь я с ума по ней схожу, дышу ею и живу. Ты... ты не понимаешь. Я и не думал, что можно так любить!

— Сколько ты получаешь?

— Что? — недоумевает Ежек.

— Какой у тебя доход?

— А причем здесь... — Ежек смущен. — Сам знаешь, что небольшой... Но она приучилась бы жить скромно, мы уже говорили об этом. Если бы ты знал, как мало придаем мы значения деньгам! Ты этого не понимаешь, Пеликан, у нас есть другие, высшие мерила. Она так безразлична к богатству! Даже не хочет говорить о том, что произойдет... в будущем. Люси прямо-таки презирает деньги.

— Ну а ты как себе это представляешь?

— Я?.. Видишь ли, ты человек иной природы, чем мы, ты думаешь только о материальной стороне... Люси настолько выше тебя... Она и булавки от тебя не возьмет, если ты ее отпустишь. Главное, я этого не допущу, понимаешь? Для нее начнется новая жизнь...

Красный огонек сигары поднимается до высоты человеческого роста.

— Жаль! — говорит Пеликан. — Я охотно послушал бы тебя, да пора на завод. Так вот, имей в виду, Ежек...

— ...Ведь твое богатство ее связывает!..

— Да. Так вот, ты подашь заявление о переводе, Привет, Ежек! Если ты придешь к нам, я велю тебя выставить. И пока ты в Праге, не удивляйся, что за тобой будут следить. И не ходи по набережной Трои, чтоб тебя не столкнули в воду. Моей жены ты больше не увидишь.

Ежек тяжело дышит.

— Я не уеду из Праги!

— Тогда уедет она. Хочешь довести дело до этого? Но с моей женой ты больше не встретишься. Привет!..

Некоторое время спустя привратница, слезая по лестнице с чердака, увидела на ступеньках человека в шубе.

— Вам нехорошо? — участливо спросила она.

— Да... нет, — сказал человек, словно приходя в себя. — Пожалуйста, вызовите мне извозчика.

Привратница побежала за извозчиком, и, когда человек с трудом садился в пролетку, привратнице показалось, что он пьян. Пеликан сказал извозчику адрес своего дома, но через минуту стукнул его в спину: «Поверните, я еду на завод!»

Рубашки

Как ни старался он думать о других, более серьезных вещах, тягостная мысль, что служанка обкрадывает его, была неотвязна. Иоганна так давно служит, что он отвык думать о том, какие вещи у него есть. Откроешь утром комод, вынешь чистую рубашку... Сколько времени проходит, — бог весть! — является Иоганна и показывает изношенную рубашку: мол, все они такие, пора, хозяин, покупать новые. Ладно, хозяин идет в первый попавшийся магазин и покупает полдюжины рубашек, смутно припоминая, что недавно делал какие-то покупки. «Ну и товары нынче», — думает он. А сколько всяких вещей необходимо человеку, даже если он вдовец: воротнички и галстуки, костюмы и обувь, мыло и множество разных мелочей. Время от времени запасы всего этого приходится пополнять. Но у старого человека вещи почему-то быстро снашиваются и ветшают, бог знает что происходит с ними: вечно покупаешь обновки, а заглянешь в гардероб — там болтается несколько поношенных и выцветших костюмов, — и не разберешь, когда они сшиты. Но, слава богу, можно ни о чем не заботиться: Иоганна подумает за него обо всем.

И только теперь, через много лет, хозяину пришло в голову, что его систематически обкрадывают. Вышло это так: утром он получил приглашение на банкет. Господи боже, годами он нигде не бывал, друзей у него мало, так что эта неожиданность прямо-таки сбила его с толку — обрадовала и испугала. Прежде всего он сунулся в комод: а найдется ли приличная рубашка? Он вынул из ящика все рубашки и не нашел ни одной не обношенной на обшлагах или на манишке. Позвав Иоганну, он осведомился, нет ли у него белья получше.

Иоганна вздохнула, помолчала, потом решительно объявила, что, мол, все равно пора покупать новые, она не успевает чинить, остались одни обноски, а не рубашки... Хозяин, правда, смутно припоминал, что он недавно покупал что-то, но, не вполне уверенный в этом, промолчал и немедленно стал одеваться, собираясь в магазин. Начав «наводить порядок», он заодно извлек из карманов старые бумажки, чтобы убрать или выбросить их, и обнаружил последний счет за рубашки: заплачено столько-то такого-то числа. Всего каких-нибудь полтора месяца назад! Полтора месяца назад куплено полдюжины новых рубашек! Вот так открытие!..

В магазин он не пошел, а стал бродить по комнате, перебирая в памяти годы своей одинокой жизни. После смерти жены хозяйство вела Иоганна, и ему ни разу не приходило в голову заподозрить ее в чем-нибудь или не доверять ей. Но сейчас его встревожила мысль, что служанка обкрадывала его все эти годы. Он оглядел окружающую обстановку и, хотя не мог сказать, чего тут не хватает, заметил, как пусто и неуютно вокруг. Он попытался вспомнить, как выглядела комната, когда в его доме было больше вещей, больше уюта, интимности, больше жизни... В тревоге открыл шкаф, где на память о жене хранились ее вещи — платья, белье... Там лежало несколько очень поношенных предметов, от которых так и повеяло прошлым... Но боже мой, где же все, что осталось от покойной? Куда все это делось?

Он закрыл шкаф и попытался думать о другом, хотя бы о сегодняшнем банкете. Но неотступно возвращались воспоминания о протекших в одиночестве годах, и они показались ему еще более одинокими, горькими и пустыми, чем прежде. Словно кто-то обобрал его прошлое, сейчас от этих лет веяло мучительной тоской. А ведь иногда он даже бывал доволен жизнью, усыплен ею, как в люльке. И вот теперь он в испуге увидел себя, убаюканного бобыля, у которого чужие руки выкрали даже подушку из-под головы. Тоска сжала его сердце, такая тоска, какой он не испытывал с того дня... с того дня, как вернулся с похорон. И ему вдруг подумалось, что он стар и слаб, что жизнь обошлась с ним слишком жестоко.

Одно было ему непонятно: зачем она крала у него эти вещи? На что они ей? «Ага, — неожиданно вспомнил

он со злобным удовлетворением. — Вот оно что! У нее где-то есть племянник, которого она любит бессмысленной старушечьей любовью. Разве мне не приходилось сотни раз выслушивать от нее всякий вздор о том, какой это превосходный образчик человеческой породы? Она даже показывала его фотографию: курчавый, курносый молодчик с нахальными усиками; тем не менее Иоганна даже прослезилась от гордости и волнения. Так вот куда идут все мои вещи!» — подумал он. Во внезапном припадке ярости он выскочил в кухню, обругал Иоганну «чертовой бабой» и убежал обратно в комнату. Удивленная служанка испуганно поглядела ему вслед круглыми слезящимися глазами навыкате, словно у старой овцы.

Остаток дня он не разговаривал с ней. Иоганна обиженно вздыхала, швыряла все, что попадало ей под руку, и никак не могла понять, что же такое происходит. Днем хозяин подверг ревизии все шкафы и ящики. Картина открылась удручающая. Он вспоминал то одно, то другое, какие-то мелочи, семейные реликвии, которые сейчас казались ему необычайно ценными. Ничего этого не было, решительно ничего! Как на пожарище! Ему хотелось плакать от гнева и одиночества.

Запыхавшийся, весь в пыли, сидел он среди раскрытых ящиков и держал в руке единственную уцелевшую реликвию: расшитое бисером дырявое отцовское портмоне. Сколько же лет Иоганна воровала, пока не растащила всего! Он был разъярен; попадись ему сейчас служанка на глаза, он ударил бы ее. «Что мне с ней делать? — взволнованно думал он. — Выгнать? Заявить в полицию?.. А кто завтра сварит мне обед?.. Пойду в ресторан! А кто протопит печь и согреет воду?.. — Он изо всех сил отгонял эти мысли. — Завтра будет видно, — уверял он себя, — как-нибудь обойдусь. Я же от нее не завишу!» И все же это угнетало его больше, чем он ожидал. Только сознание нанесенной ему обиды и необходимости возмездия придавали хозяину решимости.

Когда стемнело, он собрался с духом и пошел в кухню.

— Съездите туда-то и туда-то, — сказал он Иоганне самым безразличным тоном и дал ей какое-то якобы срочное поручение, сложное и неправдоподобное, которое он не без труда выдумал. Иоганна не сказала ни слова и с видом жертвы стала собираться в дорогу. Наконец за ней захлопнулась дверь, и он остался в квартире один.

С бьющимся сердцем он на цыпочках подошел к кухне и, взявшись за ручку двери, заколебался: ему было стыдно, он почувствовал, что никогда не сможет открыть шкаф Иоганны. Как вор! И вдруг, когда он уже решил бросить эту затею, все произошло как-то само собой: он открыл дверь и вошел в кухню.

Там все сверкало чистотой. Вот и шкаф Иоганны, но он, должно быть, заперт, а ключа нет. Теперь это обстоятельство лишь утвердило хозяина в его намерении, и он попытался открыть замок кухонным ножом, но только исцарапал шкаф. Обшарив все ящики в поисках ключа и перепробовав все свои ключи, он после получасовых ожесточенных попыток обнаружил, что шкаф вообще не заперт и его можно открыть крючком для застегивания сапог.

На полках лежало отлично выглаженное, аккуратно сложенное белье, и тут же, сверху, шесть его новых рубашек, перевязанных еще в магазине голубой ленточкой. В картонной коробочке нашлась аметистовая брошь покойной жены, перламутровые запонки отца, портрет матери — миниатюра на слоновой кости... Боже, и на это позарилась Иоганна!

Он стал вынимать из шкафа все, что там было. Вот его носки и воротнички, коробка мыла, зубные щетки, старомодный шелковый жилет, наволочки, старый офицерский пистолет и даже прокуренный и не годный ни на что янтарный мундштук. Все это, очевидно, были остатки, а большая часть вещей давно перекочевала к курчавому племянничку. Приступ ярости прошел, осталась только тоскливая укоризна: так вот оно что!.. «Ах, Иоганна, Иоганна, за что же вы со мной так обошлись?»

Вещь за вещью он уносил украденное к себе и раскладывал на столе. Солидная коллекция! Вещи Иоганны он свалил в ее шкаф, хотел даже аккуратно сложить их, но после неудачной попытки бросил эту затею и ушел к себе, оставив шкаф настежь, словно после грабежа. И вдруг он оробел: Иоганна вот-вот вернется и надо будет серьезно поговорить с ней... Ему стало противно, и он начал поспешно одеваться. «Скажу завтра, не все ли равно... На сегодня с нее хватит: она увидит, что все открылось...»

Он взял одну из новых рубашек. Она была тугая, будто картонная; сколько он ни старался, ему не

удалось застегнуть воротничок. А Иоганна, того и гляди, вернется!

Он быстро натянул старую рубашку, хотя она была сильно поношена, и, кое-как одевшись, украдкой, словно преступник, вышел из дому и целый час бродил под дождем по улицам, так как идти на банкет было еще рано.

На банкете он оказался в одиночестве. Из попытки поговорить запросто и по-приятельски с былыми однокашниками ничего не вышло, — бог весть, как их развела судьба за эти годы... Ведь они почти не понимали друг друга! Но он ни на кого не обиделся, стал в сторонке, слегка ошеломленный светом и многолюдьем, и улыбался. Вдруг сердце у него екнуло: а как я выгляжу! На манжетах бахрома, фрак в пятнах, а что за обувь, господи боже! Ему хотелось провалиться сквозь землю. Куда бы спрятаться? Кругом ослепительной белизны манишки. Ах, если бы незаметно исчезнуть! Если пойти к дверям, все, пожалуй, станут глядеть на меня... Он даже вспотел от волнения. Делая вид, что стоит на месте, он медленно и едва заметно подвигался к выходу. Вдруг к нему подошел старый знакомый, товарищ по гимназии. Только этого не хватало! Он отвечал несвязно, рассеянно, чуть не обидел человека. Оставшись один, с облегчением вздохнул и прикинул расстояние до дверей. Наконец он выбрался на улицу и поспешил домой, хотя еще не было и двенадцати.

По дороге его снова одолевали мысли об Иоганне. Возбужденный быстрой ходьбой, он обдумывал, что скажет ей. Пространные, энергичные, исполненные достоинства фразы складывались в его мозгу с необычайной легкостью — целая рацея, исполненная сурового порицания и, наконец, снисхождения. Да, снисхождения, ибо в конце концов он простит Иоганну. Не выгонять же ее на улицу! Она будет плакать, обещая исправиться. Он выслушает ее молча, с неподвижным лицом, по потом скажет серьезно: «Даю вам возможность загладить ваш проступок, Иоганна. Будьте честной и преданной, большего я от вас не требую. Я старый человек и не хочу быть жестоким».

Его так обрадовала такая возможность, что он даже не заметил, как подошел к дому и отпер дверь. На кухне еще горел свет. Хозяин на ходу заглянул туда сквозь занавеску на кухонной двери и опешил. Что же это та-

кое? Красная, опухшая от слез Иоганна возится в кухне, собирая свои вещи в чемодан. Хозяин изумился. Почему чемодан? Смущенный, подавленный, он на цыпочках прошел в свою комнату. Разве Иоганна уезжает?

На столе лежат все вещи, которые она у него стащила. Он потрогал их, но теперь они не доставили ему никакой радости. «Ага, — подумал он, — Иоганна увидела, что я уличил ее в воровстве, и решила, что я немедленно выгоню ее, и потому укладывается. Ладно, пусть думает так до утра... в наказание. А утром я с ней поговорю. Впрочем, она, быть может, еще придет с повинной? Будет плакать передо мной, чего доброго, упадет на колени и всякое такое. Ладно, Иоганна, я не жесток, вы можете остаться».

Не снимая фрака, он сел и стал ждать. В доме тихо, совсем тихо, так что слышен каждый шаг Иоганны. И снова тишина. Вот она со злобой захлопнула крышку чемодана... И снова тишина. Но что это? Хозяин испуганно вскочил и прислушался. Протяжный, прямо-таки нечеловеческий вой... Потом какой-то лающий истерический плач. Стук колен об пол и жалобный стон... Иоганна плачет!

Хозяин ожидал чего-то похожего. Но это? Он стоял, прислушиваясь к тому, что происходит в кухне, сердце у него колотилось. Слышен только плач. Теперь Иоганна опомнится и придет просить прощения.

Он зашагал по комнате, стараясь укрепить в себе решимость, но Иоганна не появлялась. Он несколько раз останавливался, прислушивался. Плач продолжался, не ослабевая, — равномерный, однообразный вой. Хозяина испугало такое глубокое отчаяние. «Пойду к ней, — решил он, — и скажу лишь: «Ладно, запомните это, Иоганна, и больше не плачьте. Я вас прощаю, если будете вести себя честно».

И вдруг стремительные шаги, двери настежь, в дверях Иоганна. Стоит и воет. Страшно смотреть на ее опухшее лицо.

— Иоганна... — тихо произносит он.

— Разве я это заслужила!.. — восклицает служанка. — Вместо благодарности... Как с воровкой... Такой срам!..

— Но Иоганна... — хозяин потрясен. — Ведь вы же взяли у меня все это... Поглядите! Взяли или не взяли?

Но Иоганна не слушает.

— Чтобы я да стерпела такой срам! Обыскать меня! Как какую-то... цыганку... Так осрамить меня... Рыться у меня в шкафу! У меня! Разве можно так поступать, сударь! Вы не имеете права... оскорблять. Я этого... до смерти... не забуду. Что я, воровка? Я, я воровка?! — восклицала она в отчаянии. — Я воровка?.. Я из такой семьи!.. Вот уж не ожидала, вот уж не заслужила!

— Но... Иоганна, — возразил ошеломленный хозяин, — рассудите же здраво: как эти вещи попали к вам в шкаф? Ваши они или мои?.. Скажите-ка, разве они ваши?

— Слышать ничего не хочу! — всхлипывала Иоганна. — Господи боже, какой срам!.. Как. с воровкой... Обыскали!.. Ноги моей здесь больше не будет! — кричит она в неистовстве. — Сейчас же ухожу! И до утра не останусь, нет, нет!..

— Ведь я вас не гоню... — возразил он в смятении. — Оставайтесь, Иоганна. Забудем о том, что произошло, бывает и хуже. Я вам ничего даже не сказал, не плачьте же!

— Ищите себе другую, — Иоганна захлебывается рыданиями, — я у вас и до утра не останусь... Я человек, а не собака... Не стану все терпеть... Не стану! — восклицает она с отчаянием. — Хоть бы вы мне тысячи платили. Лучше на мостовой заночую...

— Да почему же, Иоганна! — беспомощно защищается он. — Чем я вас обидел? Я вам даже слова не сказал...

— Не обидели?! — кричит Иоганна с еще большим отчаянием. — А это не обида... обыскать шкаф... как у воровки? Это ничего? Это я должна стерпеть? Никто меня так не позорил... Я не какая-нибудь... потаскушка! — Она разражается конвульсивным плачем, переходящим в вой, и убегает, хлопнув дверью...

Хозяин поражен беспредельно. И это вместо повинной? Да что же это такое? Что и говорить, ворует, как сорока, и она же оскорблена, что он дознался до правды. Воровать она не стыдится, но жестоко страдает оттого, что ее, воровство обнаружено... В своем ли она уме?

Ему становилось все больше жаль служанку. «Вот видишь, — говорил он себе, — у каждого человека есть, свои слабости, и больше всего ты оскорбишь его тем, что узнаешь о них. Ах, как безгранична моральная уязвимость человека, совершающего проступки! Как он мни-

телен и душевно слаб в грехах своих! Коснись сокрытого зла и услышишь вопль обиды и муки. Не видишь ты разве, что хочешь осудить виноватого, а осуждаешь оскорбленного?»

Из кухни доносился плач, приглушенный одеялом. Хозяин хотел войти, но кухня была заперта изнутри. Стоя за дверью, он уговаривал Иоганну, корил ее, успокаивал, но в ответ слышались только рыдания, все более громкие и безутешные. Подавленный, полный бессильного сострадания, он вернулся в свою комнату. На столе все еще лежали украденные вещи — отличные новые рубашки, много всякого белья, разные сувениры и бог весть что еще. Он потрогал их пальцем, но от этого прикосновения только росли чувство одиночества и печаль.

Трибунал

В небольшом станционном здании шел суд. Привели человека — его схватили в ту минуту, когда он добивал раненого солдата. Преступник был еще молод, мертвенно-бледен и обливался потом от страха; из губ, разбитых ударом приклада, текла кровь, он размазывал ее по лицу окровавленными, до кости ободранными руками. Он был страшен до омерзения: дрожал всем телом, грязный, гнусный и жалкий, утративший человеческий облик.

Председательствующий офицер задавал вопросы. Человек не отвечал. Он даже имени своего не назвал. Лишь злобно блуждали глаза, полные безумного ужаса. Потом давали показания солдаты — громко, с мстительным злорадством. Впрочем, случай был совершенно ясный: человек этот добил раненого и снимал с его руки часы на браслетке. Председатель барабанил пальцами по столу, где еще вчера стучал аппарат Морзе; больше спрашивать было не о чем. «Согласно закону военного времени, — сказал он, — приговариваю этого человека к расстрелу. Увести!» Человек не понял ни слова, он не сопротивлялся и пошел, шмыгая носом и утирая рот окровавленными руками. Суд был окончен.

Председательствующий офицер отстегнул саблю и вышел из помещения подышать свежим воздухом. Была

лунная ночь. Все словно замерло в мраморном свете. Белая дорога, белые деревья, светлые, уходящие в бесконечную даль луга. Прозрачная белизна, хрустальная печаль, безмерное и гнетущее напряжение. Бесконечность. Бесконечное, гнетущее и светлое молчание. Светлая ночь, мертвая, холодная, безмолвная. Даже звезды не мерцают — нет ничего, что могло бы подать тебе знак; нет ничего, ничего, кроме холодного блеска.

Офицер опустил голову. Из зала ожидания донесся храп спящих солдат. Это сама тьма здоровым и теплым храпом восстает против величия лунной ночи, подает голос, чтобы превозмочь страх. А там, позади, за рельсами, домик, где заперт осужденный, где царят тьма и покой, и только в щель проникает жуткий свет месяца.

Как он потел, как он потел от страха! Офицер припоминает, что не сводил глаз со лба мародера. Вдруг, из ничего, появляется, выступает и тут же скатывается капелька пота, а следом новая, одна за другой. Лоб словно плакал.

Ах, неужто все омертвело под холодным инеем света? Не шелохнется зверь, крот не юркнет в траву, птенец не пискнет, чтобы подать знак жизни? Неужели все сущее — призраки и нет ничего, кроме неземного сияния и одинокого человека, дрожащего от зябкого света?

И вдруг раздался величественный, звучный голос, словно лунный свет заговорил:

«Закона нет!»

Офицер оцепенел: «Кто говорит, кто смеет сказать, что закона нет? Слышишь, все мы тут живем согласно закону! Закон ограничивает нас, как линия горизонта. Разве могли бы мы делать хоть что-нибудь, если бы нас не обязывал закон? Как бы я держал в повиновении тридцать солдат, как мог бы им приказывать, не будь закона? Куда бы я теперь делся, не будь закона? Не было бы справедливости, даже человека не стало бы без закона, не было бы ничего, и весь мир обратился бы в прах».

А невозмутимый голос, излучавший лунный свет, отвечал:

«Справедливости нет!»

«Как нет? — возмущенно возразил офицер. — Как ты можешь говорить, что справедливости нет? Я осудил его за то, что он убил раненого; я действовал именем закона. А не будь закона, я действовал бы по совести, застрелил

бы его на месте или проломил череп рукояткой пистолета — и совесть моя осталась бы чиста».

А неуемный голос изрек:

«Совести нет!»

Председатель трибунала выпрямился, чтобы воспротивиться страшному голосу.

«Посмотри на перрон, — возразил он горячо, — там лежат трое убитых солдат. Трое молодых парней, которые утром были живы. Утром они смеялись и забавы ради говорили грубыми, озорными голосами. Поневоле заплачешь и рассвирепеешь и, вне себя от ярости, станешь жестоким во имя совести и справедливости и начнешь порицать и судить во гневе и жалости. И будь ты сам бог — ты не сможешь поступить иначе, тебе придется признать мою правоту».

Голос, говорящий лунным светом, молчал. Человек в своем одиночестве обратился к самому небу, похожему на млечный купол, залитый стылым светом.

И тут голос сказал:

«Бога нет!»

Человек содрогнулся, объятый ужасом. Казалось, сейчас восстанут против неба и, протестуя, возопиют и самая крошечная былинка, и дорожная пыль, и белый камень, и капли крови осужденного, что засыхают на крыльце; казалось, они начнут защищать бога, страстно отстаивать его, хотя бы отзовутся! Хотя бы устрашатся! Нет, тишина — мертвая тишина; лишь там, позади, бормочет во сне спящий солдат, ничто не шелохнулось. Вселенским молчанием скован весь необъятный край.

«А я-то, — пугается человек, — почему же во мне не звучит голос ответный? Почему ничто не подаст мне знака? Неужто никто и ничто не поможет мне?»

Кто-то из солдат заговорил, кто-то с трудом просыпался — полночь, смена караула. Ворча, кашляя, позвякивая амуницией, солдатик выходит на пост.

Офицер стряхнул с себя оцепенение и пошел обратно. В коридоре его приветствовал мерцающий свет фонаря — теплый, мягкий, ласковый, и человек подхватил светильник как друга и вышел с ним на перрон. У самой колеи три мертвых тела, трое убитых солдат. Ничего больше. Лунный свет, отливающий инеем, полон неземного безразличия.

У дощатых ворот сарая ходит солдат. Десять шагов туда, десять обратно; ярко поблескивает штык на поворотах. Песок перрона, рельсы, белый куб сарая — все белое, ослепительное, потустороннее, призрачное. Нет ничего. Ничего вообще. Одна Вселенная.

Офицер медленно возвращается в канцелярию, где вершил суд, ложится на диван, а на стол в головах ставит тусклый станционный фонарь: желтое маслянистое пламя пляшет, извивается, греет самое себя, и человек на диване не сводит с него глаз, пока не польются слезы и он не заснет в изнеможении и тоске.

Рассказы из одного кармана

Случай с доктором Мейзликом

— Послушайте, господин Дастих, — озабоченно сказал полицейский чиновник доктор Мейзлик старому магу и волшебнику, — я к вам, собственно, за советом. Я вот ломаю голову над одним случаем.

— Ну, выкладывайте! — сказал Дастих. — С кем там и что стряслось?

— Со мной, — вздохнул доктор Мейзлик. — И чем больше я об этом случае думаю, тем меньше понимаю, как он произошел. Просто можно с ума сойти.

— Так кто же все это натворил? — спросил Дастих успокаивающе.

— Никто! — крикнул Мейзлик. — И это самое скверное. Я сам совершил что-то такое, чего понять не в состоянии.

— Надеюсь, все это не так страшно, — успокаивал доктора Мейзлика старый Дастих. — А что же вы все-таки натворили, дружище?

— Поймал медвежатника, — мрачно ответил Мейзлик.

— И это все?

— Все.

— А медвежатник оказался ни при чем, — подсказал Дастих.

— Да нет, он же сам признался, что ограбил кассу в Еврейском благотворительном обществе. Это какой-то Розановский или Розенбаум из Львова, — ворчал Мейзлик. — У него нашли и воровской инструмент, и все прочее.

— Так чего же вы еще хотите? — торопил его старый Дастих.

— Я бы хотел понять, — сказал полицейский чиновник задумчиво, — каким образом я его поймал. Подождите, сейчас я вам все расскажу по порядку. Месяц тому назад, третьего марта, я дежурил до полуночи. Не знаю, помните ли вы, что в первых числах марта три дня подряд лил дождь. Я заскочил на минутку в кафе и собрался было уже идти домой, на Винограды. Но вместо этого почему-то пошел в противоположную сторону, по

направлению к Длажденой улице. Скажите, пожалуйста, почему я пошел именно в ту сторону?

— Возможно, просто так, случайно, — предположил Дастих.

— Послушайте, в *этакую* погоду человек не болтается по улицам просто так, от нечего делать. Я бы хотел знать, какого черта меня понесло туда? Не думаете ли вы, что это было предчувствие? Знаете, нечто вроде телепатии.

— Да, — утвердительно кивнул головой Дастих. — Вполне возможно!

— Вот видите, — заметил Мейзлик как-то озабоченно. — То-то и оно! Но это также могло быть и просто подсознательное желание взглянуть, что делается «У трех девиц».

— А-а, вы имеете в виду ночлежку на Длажденой улице, — вспомнил Дастих.

— Вот именно. Там обычно ночуют карманники и медвежатники из Будапешта или из Галиции, когда приезжают в Прагу по своим «делам». Мы за этим кабаком следим. Как по-вашему, может быть, я просто по привычке решил заглянуть туда?

— Вполне может быть, — рассудил Дастих, — такие вещи иногда делаются совершенно механически, в особенности если они входят в круг служебных обязанностей. Тут нет ничего удивительного.

— Так вот, пошел я по Длажденой улице, — продолжает Мейзлик, — заглянул мимоходом в список ночлежников «У трех девиц» и отправился дальше. Дойдя до конца улицы, остановился и повернул обратно. Скажите, пожалуйста, ну почему я повернул обратно?

— Привычка, — предположил Дастих, — привычка патрулировать.

— Возможно, — согласился полицейский чиновник. — Но ведь я уже кончил дежурство и хотел идти домой. Может быть, это было предвидение?

— Такие случаи тоже известны, — признал Дастих, — но в них нет ничего загадочного. Просто это значит, что человек обладает сверхъестественным чутьем.

— Черт возьми, — закричал Мейзлик, — так это была привычка или сверхъестественное чутье? Вот это-то мне и хотелось бы знать. Да, погодите. Когда я повернул обратно, то повстречал какого-то человека. Вы спросите — ну и что же, разве кому-либо возбраняется ходить в час

ночи по Длажденой улице? В этом нет ничего подозрительного. Я и сам ничего в том не заподозрил; однако остановился под самым фонарем и стал закуривать сигарету. Знаете, мы всегда так поступаем, когда впотьмах хотим кого-нибудь внимательно разглядеть. Как вы думаете, это была случайность, привычка, или... некая неосознанная тревога?

— Не знаю, — сказал Дастих.

— Я тоже, черт побери! — злобно воскликнул Мейзлик. — Зажигаю я сигарету под самым фонарем, а человек проходит мимо меня. Господи, я даже не взглянул ему в лицо, стоял, уставившись в землю. Этот парень уже прошел, и тут что-то мне в нем не понравилось. «Проклятие! — сказал я сам себе. — Тут что-то не в порядке, но что именно? Ведь я этого типа даже не разглядел». Стою я у фонаря, под проливным дождем, и раздумываю. И вдруг меня осенило... Ботинки! У этого человека что-то странное было на ботинках.

— «Опилки!» — неожиданно громко проговорил я.

— Какие опилки? — спросил Дастих.

— Обыкновенные металлические опилки. В ту минуту я понял, что у прохожего на ранте ботинок были опилки.

— А почему бы у него на ботинках не могли быть опилки? — спросил Дастих.

— Могли, разумеется, — воскликнул Мейзлик, — но именно в этот момент я просто видел, да, да, видел вскрытый сейф, из которого на пол сыплются металлические опилки. Знаете, опилки от стальных пластин. Я просто видел, как эти ботинки шлепают по этим опилкам.

— Так это интуиция, — решил Дастих, — гениальная, но бессознательная.

— Бессмыслица! — сказал Мейзлик. — Да не будь дождя, я бы на эти опилки и внимания не обратил. Но когда идет дождь, обычно на обуви не бывает опилок, понимаете?

— Ну так это эмпирический вывод, — уверенно произнес Дастих. — Блестящий вывод, сделанный на основе опыта. А что дальше?

— Я, конечно, пошел за этим парнем, и, само собой разумеется, он закатился к «Трем девицам». Потом я по телефону вызвал двух сыщиков, и мы устроили

облаву: нашли и Розенбаума с опилками на ботинках, воровской инструмент, и двадцать тысяч из кассы Еврейского благотворительного общества. В этом уж не было ничего необычного. Знаете, в газетах писали, что на сей раз наша полиция проявила блестящую оперативность. Какая бессмыслица! Скажите, пожалуйста, что было бы, если бы я случайно не пошел по Длажденой улице и случайно не поглядел этому прохвосту на ботинки? То-то и оно! Так вот, была ли это только случайность? — удрученно спросил доктор Мейзлик.

— А это и не важно, — произнес Дастих. — Поймите, молодой человек, ведь это успех, с которым вас можно поздравить.

— Поздравить! — выпалил Мейзлик. — Господин Дастих! Да как же тут поздравлять, когда я не знаю, чему я обязан своим успехом? Своей сверхъестественной проницательности? Полицейской привычке или просто счастливой случайности? А может, интуиции или телепатии? Подумать только! Ведь это — мое первое настоящее дело! Человек должен чем-то руководствоваться! Предположим, завтра меня заставят расследовать какое-нибудь убийство. Господин Дастих, что я буду делать? Начну бегать по улицам и пристально смотреть на все ботинки? Или побреду куда глаза глядят в надежде, что предчувствие или внутренний голос приведут меня прямо в объятия убийцы? Вот ведь какая история получается! Вся полиция теперь твердит: у этого Мейзлика нюх, из этого парня в очках будет толк, у него талант детектива. Отчаянное положение! — ворчал Мейзлик. — Какая-то метода должна у меня быть?! Понимаете, до этого случая я верил во всякие бесспорные методы, где важную роль играют внимание, опыт, систематическое следствие и прочая чепуха. Но когда я задумываюсь над этой историей, то вижу... Послушайте! — воскликнул доктор Мейзлик с облегчением. — Я думаю, что все это — просто счастливая случайность.

— Да, похоже, — сказал Дастих мудро. — Но известную роль здесь сыграли логика и пристальное внимание.

— И обычная рутина, — горько добавил молодой полицейский чиновник.

— И еще интуиция. А также в какой-то мере дар предвидения. И инстинкт.

— Господи боже мой! Так вы теперь видите, как все это сложно, — огорчился Мейзлик. — Скажите, что же мне теперь делать?

— Доктор Мейзлик, вас к телефону, — позвал его метрдотель. — Звонят из полицейского управления.

— Вот вам, пожалуйста! — проворчал удрученный Мейзлик.

Когда Мейзлик вернулся, он был бледен и взволнован.

— Кельнер, счет! — крикнул он раздраженно. — Так оно и есть, — сказал он Дастиху. — Нашли какого-то иностранца, убитого в отеле, проклятие...

И Мейзлик ушел.

Казалось, этот энергичный молодой человек сам не свой от волнения.

Голубая хризантема

— Я расскажу вам, — сказал старый Фулинус, — как появилась на свет «Клара». Жил я в ту пору в Лубенце и разбивал парк в имении князя Лихтенберга. Старый князь, сударь, знал толк в садоводстве. Он выписывал из Англии, от Вейча, целые деревья и одних луковиц тюльпанов заказал в Голландии семнадцать тысяч. Но это так, между прочим. Так вот, однажды в воскресенье иду я по улице и встречаю юродивую Клару, глухонемую дурочку, которая вечно заливается блаженным смехом. Не знаете ли вы, почему юродивые всегда так счастливы? Я хотел обойти ее стороной, чтобы не полезла целоваться, и вдруг увидел в лапах у нее букет: укроп и какие-то еще сорняки, а среди них, знаете что?... Немало я на своем веку цветов видел, но тут меня чуть удар не хватил: в букетике у этой помешанной была махровая голубая хризантема! Голубая, сударь! И такая голубая, какой бывает только Phlox Laphami; лепестки с чуть сероватым отливом и атласно-розовой каемкой; сердцевина похожа на Campanula turbinata; — цветок необыкновенно красивый, пышный. Но это еще не все. Дело в том, сударь, что такой цвет у индийских хризантем устойчивых сортов тогда, да и сейчас, совершенная невидаль. Несколько лет назад я побывал в Лондоне у старого сэра Джеймса Вейча, и он

как-то похвалился мне, что однажды у них цвела хризантема, выписанная прямо из Китая, голубая, с лиловатым оттенком; зимой она, к сожалению, погибла. А тут в лапах у Клары, у этого пугала с вороньим голосом, такая голубая хризантема, что красивее трудно себе и представить. Ладно...

Клара радостно замычала и сует мне этот самый букет. Я дал ей крону и показываю на хризантему.

— Где ты взяла ее, Клара?

Клара радостно кудахчет и хохочет. Больше я ничего от нее не добился. Кричу, показываю на хризантему — хоть бы что. Знай лезет обниматься.

Побежал я с этой драгоценной хризантемой к старому князю.

— Ваше сиятельство, они растут где-то тут, совсем рядом. Давайте искать.

Старый князь тотчас велел запрягать и сказал, что мы возьмем с собой Клару. А Клара тем временем куда-то исчезла, будто провалилась. Стоим мы около коляски и ругаемся на чем свет стоит — князь-то прежде служил в драгунах. Примерно через час — мы уж и ждать перестали — прибегает Клара с высунутым от усталости языком и протягивает мне целый букет голубых хризантем, только что сорванных. Князь сует ей сто крон, а Клара от обиды давай реветь. Она, бедняжка, никогда не видела сотенной бумажки. Пришлось мне дать ей одну крону. Тогда она успокоилась, стала визжать и пританцовывать, а мы посадили ее на козлы, показали ей на хризантемы: ну, Клара, куда ехать?

Клара на козлах прямо визжала от удовольствия. Вы себе не представляете, как злился почтенный кучер, которому пришлось сидеть рядом с ней. Лошади шарахались от визга и кудахтанья Клары, в общем чертовская была поездка. Так вот, едем мы этак часа полтора. Наконец я не выдержал.

— Ваше сиятельство, мы проехали не меньше четырнадцати километров.

— Все равно, — проворчал князь, — хоть сто!

— Ладно, — отвечаю я. — Но ведь Клара-то вернулась со вторым букетом через час. Стало быть, хризантемы растут не дальше чем в трех километрах от Лубенца.

— Клара! — крикнул князь и показал на голубые хризантемы. — Где они растут? Где ты их нарвала?

Клара закаркала в ответ и все тычет рукой вперед. Вернее всего, ей понравилось кататься в коляске. Верите ли, я думал, князь пристукнет ее со злости, уж он-то умел гневаться! Лошади были в мыле, Клара кудахтала, князь бранился, кучер чуть не плакал с досады, а я ломал голову, как найти голубые хризантемы.

— Ваше сиятельство, — говорю, — так не годится. Давайте искать без Клары. Обведем на карте кружок вокруг Лубенца радиусом в три километра, разделим его на участки и будем ходить из дома в дом.

— Милейший, — говорит князь, — в трех километрах от Лубенца нет ведь ни одного парка.

— Вот и хорошо, — отвечаю я. — Черта с два вы нашли бы ее в парке, разве только ageratum или канны.

Смотрите, тут, внизу, к стеблю хризантемы прилипла щепотка земли. Это не садовый перегной, а вязкая глина, удобренная, скорее всего, фекалиями. А на листьях следы голубиного помета, стало быть, надо искать там, где много голубей. Скорее всего, эти хризантемы растут где-то у плетня, потому что вот тут, среди листьев, застрял обломок еловой коры. Это верная примета.

— Ну и что? — спрашивает князь.

— А то, — говорю. — Эти хризантемы надо искать около каждого домика в радиусе трех километров. Давайте разделимся на четыре отряда: вы, я, ваш садовник и мой помощник Венцл, и пойдем.

Ладно. Утром первое событие было такое: Клара опять принесла букет голубых хризантем. После этого я обшарил весь свой участок, в каждом трактире пил теплое пиво, ел сырки и расспрашивал о хризантемах. Лучше не спрашивайте, сударь, как меня пронесло после этих сырков. Жарища была адская, такая редко выдается в конце сентября, а я лез в каждую халупу и терпеливо слушал разные грубости, потом что люди были уверены, что я спятил или что я коммивояжер или какой-нибудь инспектор. К вечеру для меня стало ясно: на моем участке хризантемы не растут. На трех других участках их тоже не нашли. А Клара снова принесла букет свежих голубых хризантем!

Вы знаете, мой князь — важная персона в округе. Он созвал местных полицейских, дал каждому по голубой хризантеме и посулил им бог весть что, если они отыщут место, где растут эти цветы. Полицейские — образован-

ные люди, сударь. Они читают газеты и, кроме того, знают местность как свои пять пальцев и пользуются авторитетом у жителей. И вот, заметьте себе, в тот день шестеро полицейских, а вместе с ними деревенские старосты и стражники, школьники и учителя, да еще шайка цыган облазили всю округу в радиусе трех километров, оборвали все какие ни на есть цветы и принесли их князю. Господи боже, чего там только не было, будто на празднике божьего тела! Но голубой хризантемы, конечно, ни следа. Клару мы весь день сторожили; вечером, однако, она удрала, а в полночь принесла мне целую охапку голубых хризантем. Мы велели посадить ее под замок, чтобы она не оборвала все цветы до единого, но сами совсем приуныли. Честное слово, просто наваждение какое-то: ведь местность там ровная, как ладонь...

Слушайте дальше. Если человеку очень не везет или он в большой беде, он вправе быть грубым, я понимаю. И все-таки когда князь в сердцах сказал мне, что я такой же кретин, как Клара, я ответил ему, что не позволю всякому старому ослу бранить меня, и отправился прямехонько на вокзал. Больше меня в Лубенце не увидят! Уселся я в вагон, поезд тронулся, и тут я заплакал, как мальчишка. Заплакал потому, что не увижу больше голубой хризантемы, потому что навсегда расстаюсь с ней. Сижу я так, хнычу и гляжу в окно, вдруг вижу: у самого полотна мелькнули какие-то голубые цветы. Господин Чапек, я не мог с собой совладать, вскочил и, сам уже не знаю как, ухватился за ручку тормоза. Поезд дернулся, затормозил, я стукнулся о противоположную лавку и при этом сломал себе вот этот палец. Прибегает кондуктор, я бормочу, что, мол, забыл что-то очень нужное в Лубенце. Пришлось заплатить крупный штраф. Ругался я, как извозчик, ковыляя по полотну к этим голубым цветам. «Олух ты, — твердил я себе, — наверное, это осенние астры или еще какая-нибудь ерунда. А ты вышвырнул такие сумасшедшие деньги!» Прошел я метров пятьсот и уж было решил, что эти голубые цветы не могут быть так далеко, наверное, я их не заметил или вообще они мне померещились. Вдруг вижу на маленьком пригорке домик путевого обходчика, а за частоколом что-то голубое. Гляжу — два кустика хризантем!

Сударь, всякий младенец знает, что растет в садиках у таких сторожек: капуста да дыня, подсолнечник да

несколько кустиков красных роз, мальвы, настурции, ну, георгины. А тут и этого не было; одна картошка и фасоль, куст бузины, а в углу, у забора, — две голубые хризантемы!

— Приятель, — говорю я хозяину через забор, — откуда у вас эти голубые цветочки?

— Эти-то? — отвечает сторож. — Остались еще от покойного Чермака, он был сторожем до меня. А ходить по путям не велено, сударь. Вон там, глядите, надпись: «Хождение по железнодорожным путям строго воспрещается». Что вы тут делаете?

— Дядюшка, — я к нему, — а где же дорога к вам?

— По путям, — говорит он. — Но по ним ходить нельзя. Да и чего вам тут делать? Проваливай-ка отсюда, дурень, только не по шпалам.

— Куда же мне проваливать?

— Мне все равно, — кричит сторож. — А по путям нельзя, и все тут!

Сел я на землю и говорю:

— Слушайте, дед, продайте мне эти голубые цветы.

— Не продам, — ворчит сторож. — И катись отсюда. Здесь сидеть не положено.

— Почему не положено? — возражаю я. — На табличке ничего такого не написано. Тут говорится, что воспрещается ходить — я и не хожу.

Сторож опешил и ограничился тем, что стал ругать меня через забор. Старик, видимо, жил бобылем; вскоре он перестал браниться и завел разговор сам с собой, а через полчаса вышел на обход путей и остановился около меня.

— Ну что, уйдете вы отсюда или нет?

— Не могу, — говорю я. — По путям ходить запрещено, а другого выхода отсюда нет.

Сторож на минуту задумался.

— Знаете что? — сказал он наконец. — Вот я сверну на ту тропинку, а вы тем временем уходите по путям. Я не увижу.

Я поблагодарил его от души, а когда сторож свернул на тропинку, я перелез через забор и его собственной мотыгой вырыл оба кустика голубой хризантемы. Да, я украл их, сударь! Я честный человек и крал только семь раз в жизни, и всегда цветы.

Через час я сидел в поезде и вез домой похищенные голубые хризантемы. Когда мы проезжали мимо сторожки, там стоял с флажком этот старикан, злой, как черт. Я помахал ему шляпой, но, думаю, он меня не узнал.

Теперь вы понимаете, сударь, в чем было все *дело*, — там торчала надпись: «Ходить воспрещается». Поэтому никому — ни нам, ни полицейским, ни цыганам, ни школьникам — не пришло в голову искать там хризантемы. Вот какую силу имеет надпись «запрещается»... Может быть, около железнодорожных сторожек растет голубой первоцвет, или древо познания, или золотой папоротник, но их никто никогда не найдет, потому что ходить по путям строго воспрещается, и баста. Только Клара туда попала — она была юродивая и читать не умела.

Поэтому я и назвал свою голубую хризантему «Клара» и вожусь с ней вот уже пятнадцать лет. Видимо, я ее избаловал хорошей землей и поливкой. Этот вахлак-сторож совсем ее не поливал, земля там была твердая, как камень. Весной хризантемы у меня оживают, летом дают почки, а в августе уже вянут. Представляете, я, единственный в мире обладатель голубой хризантемы, не могу отправить ее на выставку. Куда против нее «Бретань» и «Анастасия», они ведь только слегка лиловатые. А «Клара» — о сударь, когда у меня зацветет «Клара», о ней заговорит весь мир!

Гадалка

Каждый понимающий человек смекнет, что эта история не могла произойти ни у нас, ни во Франции, ни в Германии, потому что в этих странах, как известно, судьи обязаны судить и карать правонарушителей согласно букве закона, а отнюдь не по собственному разумению и совести. А так как в этой истории фигурирует судья, который выносит свое решение, исходя не из статей законов, а из здравого смысла, то ясно, что произошла она в Англии, и, в частности, в Лондоне, точнее говоря, в Кенсингтоне, или нет, постойте, кажется, в Бромцтоне, а может быть, в Бейсуотере. В общем, где-то там.

Судья, о котором пойдет речь, — магистр права мистер Келли, а женщину звали просто Мейерс. Миссис Эдит Мейерс.

Да будет вам известно, что эта почтенная дама обратила на себя внимание полицейского комиссара Мак-Лири.

— Дорогая моя, — сказал однажды вечером Мак-Лири своей супруге. — У меня не выходит из головы эта миссис Мейерс. Хотел бы я знать, на какие средства она живет. Подумайте только: сейчас, в феврале, она посылает кухарку за спаржей! Кроме того, я выяснил, что у нее в день бывает около дюжины посетительниц — начиная с лавочницы и до герцогини. Я знаю, дорогая, вы скажете, что она, наверное, гадалка. А что, если это только ширма, например, для сводничества или шпионажа? Хотел бы я выяснить это дело.

— Хорошо, Боб, — сказала бравая миссис Мак-Лири, — предоставьте это мне.

И вот на следующий день миссис Мак-Лири — разумеется, без обручального кольца, легкомысленно одетая и завитая, как девица на выданье, которой давно пора устроить свою судьбу, — позвонила у дверей миссис Мейерс и, войдя, сделала испуганное лицо. Ей пришлось немного подождать, пока миссис Мейерс примет ее.

— Садитесь, дитя мое, — сказала эта пожилая дама, внимательно разглядывая смущенную посетительницу. — Чем могу быть вам полезна?

— Я... я... — запинаясь, проговорила Мак-Лири. — Я хотела бы... завтра мне исполнится... двадцать лет... Мне бы очень хотелось узнать свое будущее.

— Ах, мисс... как, извиняюсь, ваше имя? — осведомилась миссис Мейерс и, схватив колоду карт, начала энергично тасовать их.

— Джонс... — прошептала миссис Мак-Лири.

— Дорогая мисс Джонс, — продолжала миссис Мейерс, — вы ошиблись, я не занимаюсь гаданием. Так, иной раз случается, как всякой старухе, раскинуть карты кому-нибудь из знакомых... Снимите карты левой рукой и разложите их на пять кучек. Так. Иногда для развлечения раскину карты, а вообще говоря... Ага! — воскликнула она, переворачивая первую кучку. — Бубны, это к деньгам. И валет червей. Отличные карты!

— Ах! — сказала Мак-Лири. — А что дальше?

— Бубновый валет, — объявила миссис Мейерс, открывая вторую кучку. — Десятка пик, это дорога. А вот трефы — трефы всегда означают неприятность, удар. Но в конце — червонная дама.

— Что это значит? — спросила миссис Мак-Лири, тараща глаза.

— Опять бубны, — размышляла миссис Мейерс над третьей кучкой. — Дитя мое, вас ждет богатство. И кому-то предстоит дальняя дорога, не знаю еще, вам или кому-нибудь из ваших близких.

— Мне надо съездить в Саутгемптон, к тетке, — сказала миссис Мак-Лири.

— Нет, это дальняя дорога, — молвила гадалка, открывая еще одну кучку карт. — И вам будет мешать какой-то пожилой король.

— Наверно, папа! — воскликнула миссис Мак-Лири.

— Ага, вот оно! — торжественно объявила гадалка, открыв последнюю кучку. — Милая мисс Джонс, вам выпали самые счастливые карты, какие мне доводилось видеть. Года не пройдет, как вы будете замужем. На вас женится молодой и очень, очень богатый человек — миллионер или коммерсант, так как много путешествует. Но для того, чтобы соединиться с ним, вам придется преодолеть большие препятствия. У вас на пути станет какой-то пожилой король. Но вы должны добиться своего. Выйдя замуж, вы уедете далеко отсюда, скорее всего за море... С вас одна гинея на дело обращения в христианство заблудших язычников-негров.

— Я так благодарна вам, — сказала миссис Мак-Лири, вынимая из сумочки деньги. — Так благодарна! Скажите, пожалуйста, миссис Мейерс, а сколько будет стоить, если без неприятностей?

— Судьба неподкупна, — с достоинством произнесла старая дама. — Чем занимается ваш папа?

— Служит в полиции, — с невинным видом соврала миссис Мак-Лири. — Знаете, в сыскном отделении.

— Ага! — сказала гадалка и вынула из колоды три карты. — Дело плохо, совсем плохо... Передайте ему, милое дитя, что ему грозит серьезная опасность. Не мешало бы ему посетить меня и узнать подробности. У меня бывают многие из Скотленд-Ярда, делятся своими горестями, а я им, случается, раскидываю карты. Так что,

вы пошлите ко мне своего папашу. Вы, кажется, сказали, что он служит в политической полиции? Мистер Джонс? Передайте ему, что я буду ждать его. Всего хорошего, милая мисс Джонс... Следующая!

— Это дело мне не нравится, — сказал мистер Мак-Лири, задумчиво почесывая затылок. — Не нравится оно мне, Кети. Эта дама слишком интересовалась вашим покойным папашей. Кроме того, фамилия ее не Мейерс, а Мейергофер и родом она из Любека. Чертова немка, как бы поймать ее с поличным? Ставлю пять против одного, что она выведывает у людей сведения, до которых ей нет никакого дела. Знаете что, я доложу об этом начальству.

И мистер Мак-Лири действительно доложил начальству. Вопреки ожиданиям, начальство не пропустило мимо ушей его слова, и почтенная миссис Мейерс была вызвана к судье мистеру Келли.

— Итак, миссис Мейерс, — сказал судья, — в чем там дело с вашим гаданием?

— Ах, сэр, — отвечала старая дама. — Надо же чем-то зарабатывать на жизнь. В моем возрасте не пойдешь плясать в варьете.

— Гм, — сказал судья, — но вас обвиняют в том, что вы плохо гадаете. Милая миссис Мейерс, это все равно что вместо шоколада продавать плитки из глины. За гинею люди имеют право на настоящее гадание. Отвечайте, почему вы беретесь гадать, не умея?

— Не все жалуются, — оправдывалась старая дама. — Я, видите ли, предсказываю людям то, что им нравится, и за такое удовольствие стоит заплатить несколько шиллингов. Случается, я угадываю. На днях одна дама сказала мне: «Миссис Мейерс, еще никто так верно не гадал мне, как вы». Она живет в Сайнт-Джонс-Вуде и разводится с мужем...

— Постойте, — прервал ее судья. — Против вас есть свидетельница. Миссис Мак-Лири, расскажите, как было дело.

— Миссис Мейерс предсказала мне по картам, — бойко заговорила миссис Мак-Лири, — что не пройдет и года, как я выйду замуж. На мне, мол, женится молодой богач, и я уеду с ним за океан...

— А почему именно за океан? — поинтересовался судья.

— Потому что во второй кучке была пиковая десятка. Миссис Мейерс сказала, что это дорога.

— Вздор! — проворчал судья. — Пиковая десятка — это надежда. Дорогу предвещает пиковый валет. А если с ним рядом ляжет семерка бубен — это значит дальняя дорога с денежным интересом. Меня не проведешь, миссис Мейерс. Вот вы нагадали свидетельнице, что не пройдет и года, как она выйдет за молодого богача, а она уже три года замужем за примерным полицейским комиссаром Мак-Лири. Как вы объясните такую несообразность?

— Господи боже, — невозмутимо ответила старая дама, — без промахов не обходится. Эта особа пришла ко мне франтихой, а левая перчатка у нее была рваная. Значит, в кошельке у нее не густо, а пыль в глаза пустить хочется. Сказала, что ей двадцать лет, а самой двадцать пять.

— Двадцать четыре! — воскликнула миссис Мак-Лири.

— Это одно и то же. Видно было, что ей хочется замуж: она корчила из себя барышню. Поэтому я нагадала ей замужество и богатого жениха. Я считала, что это для нее самое подходящее.

— А при чем тут трудности, пожилой король и заокеанское путешествие?

— Для полноты впечатления, — откровенно призналась миссис Мейерс. — За гинею надо наговорить с три короба...

— Достаточно, — сказал судья. — Миссис Мейерс, такое гадание — не что иное, как мошенничество. Гадать надо умеючи. В этом деле существуют разные теории, но имейте в виду, что десятка пик никогда не означает дороги. Приговариваю вас к пятидесяти фунтам штрафа на основании закона против фальсификации продуктов и продажи поддельных товаров. Кроме того, вас подозревают в шпионаже, в чем, я полагаю, вы не сознаетесь?

— Как бог свят!.. — воскликнула миссис Мейерс, но судья прервал ее:

— Хватит разговаривать. Поскольку вы иностранка и лицо без определенных занятий, органы политического надзора, используя предоставленное им право, вышлют вас за пределы страны. Всего хорошего, миссис Мейерс,

благодарю вас, миссис Мак-Лири. И не забудьте, миссис Мейерс, что такое гадание бессовестно и цинично.

— Вот беда, — вздохнула старая дама... — А у меня только-только образовалась клиентура...

Спустя год судья Келли и комиссар Мак-Лири встретились.

— Отличная погода, — приветливо сказал судья, — кстати, как поживает миссис Мак-Лири?

Мак-Лири поморщился.

— Видите ли, мистер Келли, — не без смущения сказал он, — миссис Мак-Лири... Словом, мы в разводе.

— Да что вы! — удивился судья. — Такая красивая молодая женщина!

— Вот в том-то и дело, — проворчал Мак-Лири. — В нее ни с того ни с сего по уши влюбился один молодой бездельник... какой-то миллионер или коммерсант из Мельбурна... Я ее всячески удерживал, но... — Мак-Лири безнадежно махнул рукой. — Неделю назад они уехали в Австралию.

Ясновидец

— Меня не так легко провести, уверяю вас, господин прокурор, — сказал Яновиц. — Недаром я еврей, а? Но то, что делает этот человек, выше моего разумения. Тут не только графология, тут бог весть что такое. Представьте себе, дают ему образец почерка в незапечатанном конверте. Он даже не поглядит, только сунет пальцы в конверт, ощупает строчки и при этом малость скривит рот, словно ему больно. И тут же начинает описывать характер человека по почерку... Да как описывать — диву даешься! Все насквозь видит! Я дал ему в конверте письмо старого Вейнберга, так он все выложил: и что у старика диабет, и что он на краю банкротства. Что вы на это скажете?

— Ничего, — сухо ответил прокурор. — Может, он знает старого Вейнберга.

— Но ведь он даже не видел почерка, — живо возразил Яновиц. — Он уверяет, что у каждого почерка свой флюид, который вполне отчетливо ощутим. Это, говорит

он, такое же физическое явление, как радиоволны. Господин прокурор, тут нет жульничества: этот самый князь Карадаг даже денег не берет, он, говорят, из очень старинной бакинской семьи, мне один русский рассказывал. Да что я буду вас убеждать, приходите лучше сами поглядеть, сегодня вечером он будет у нас. Обязательно приходите!

— Послушайте, господин Яновиц, — отвечал прокурор, — все это очень мило, но иностранцам я верю мало, от силы наполовину, особенно если источники их существования мне неизвестны. Русским я верю еще меньше, а этим факирам тем более. Если же он к тому же еще и князь, то я не верю ему ни на грош. Где, вы говорите, он научился этому? Ага, в Персии. Оставьте меня в покое, господин Яновиц. Восток — это сплошное шарлатанство.

— Ну, что вы, господин прокурор, — возразил Яновиц. — Этот молодой человек все объясняет с научной точки зрения. Никакой магии или потусторонних сил. Говорю вам, чисто научный метод.

— Тем более это шарлатанство, — изрек прокурор. — Удивляюсь вам, господин Яновиц. Всю жизнь вы обходились без «чисто научных методов», а теперь ухватились за них. Ведь будь здесь что-нибудь серьезное, все это давно было бы известно науке, как вы полагаете?

— М-да... — промычал Яновиц, слегка поколебленный. — Но ведь я сам свидетель того, как он раскусил старого Вейнберга. Это было просто гениально. Знаете что, господин прокурор, приходите все-таки посмотреть. Если это жульничество, вы сразу увидите, на то вы и крупный специалист. Вас ведь никто не проведет, а?

— Да, едва ли, — скромно отозвался прокурор. — Ладно, я приду, господин Яновиц. Приду только затем, чтобы раскусить этот ваш феномен. Просто позор, до чего у нас легковерны люди. Но вы ему не говорите, кто я такой. Вот погодите, я ему покажу один почерк, это будет твердый орешек. Ручаюсь, что я изобличу его в обмане.

* * *

Надобно вам сказать, что прокурору (или, точнее говоря, старшему государственному прокурору доктору прав господину Клапке) предстояло на ближайшей сессии суда

присяжных выступить обвинителем по делу Гуго Мюллера, обвиняемого в убийстве с заранее обдуманным намерением. Фабрикант и богач Гуго Мюллер был обвинен в том, что, застраховав на громадную сумму жизнь своего младшего брата Отто, утопил его в Доксанском пруду. Подозревали его и в том, что несколько лет назад он отправил на тот свет свою любовницу, но этого, разумеется, нельзя было доказать. В общем, это был крупный процесс, и Клапке хотелось блеснуть. Он работал над делом Мюллера со всей свойственной ему энергией и проницательностью, стяжавшими ему славу одного из самых грозных прокуроров. Дело, однако, было не вполне ясное, и прокурор отдал бы что угодно хотя бы за одно бесспорное доказательство. Но, для того чтобы отправить Мюллера на виселицу, обвинителю приходилось больше полагаться на свое красноречие, чем на материалы следствия. Да будет вам известно, что добиться смертного приговора для убийцы — дело чести прокурора.

В тот вечер Яновиц даже немножко волновался, представляя ясновидца прокурору.

— Князь Карадаг, — сказал он тихим голосом. — Доктор Клапка... Пожалуй, можно начинать, не так ли?

Прокурор испытующе взглянул на этот экзотический экземпляр. Перед ним стоял худощавый молодой человек в очках, лицом похожий на тибетского монаха. Пальцы у него были тонкие, воровские. «Авантюрист!» — решил прокурор.

— Господин Карадаг, — тараторил Яновиц. — Пожалуйте сюда, к столику. Бутылка минеральной воды там уже приготовлена. Зажгите, пожалуйста, торшер, а люстру мы погасим, чтобы она вам не мешала. Так. Прошу потише, господа. Господин про... м-м, господин Клапка принес некое письмо. Если господин Карадаг будет столь любезен, что...

Прокурор откашлялся и сел так, чтобы получше видеть ясновидца.

— Вот письмо, — сказал он и вынул из кармана незапечатанный конверт. — Пожалуйста.

— Благодарю, — глухо сказал ясновидец, взял конверт и, приоткрыв глаза, повертел его в руках. Вдруг он вздрогнул и покачал головой. — Странно! — пробормотал он и отпил воды, потом сунул свои тонкие пальцы в конверт и замер. Его смуглое лицо побледнело.

В комнате стояла такая тишина, что слышен был легкий хрип Яновица, который страдал одышкой.

Тонкие губы Карадага дрожали и кривились, словно он держал в руках раскаленное железо, на лбу выступил пот.

— Нестерпимо! — брезгливо процедил он, вынул пальцы из конверта, вытер их платком и с минуту водил ими по зеленому сукну, будто точил их, как ножи. Потом нервно отпил глоток воды и осторожно взял конверт.

— В человеке, который это писал, — сухо начал он, — большая внутренняя сила, но... — Карадаг, видимо, искал слово, — такая, которая подстерегает... Это страшно! — воскликнул он и выпустил конверт из рук. — Не хотел бы я, чтобы этот человек был моим врагом.

— Почему? — не сдержался прокурор. — Он совершил что-нибудь нехорошее?

— Не задавайте вопросов, — сказал ясновидец. — В каждом вопросе кроется ответ. Я знаю лишь, что он способен на что угодно... на великие и ужасные поступки. У него чудовищная сила воли... и жажда успеха... богатства... Жизнь ближнего для него не помеха. Нет, он не заурядный преступник. Тигр ведь тоже не преступник. Тигр — властелин. Этот человек не способен на подлости... но он уверен, что распоряжается судьбами людей. Когда он выходит на охоту, люди для него — добыча. Он убивает их.

— Он стоит по ту сторону добра и зла, — пробормотал прокурор, явно соглашаясь с ясновидцем.

— Все это только слова, — ответил тот. — Никто не стоит по ту сторону добра и зла. У этого человека свой строгий моральный кодекс. Он никому ничего не должен, он не крадет и не обманывает. Убить для него все равно, что дать шах и мат на шахматной доске. Такова его игра, и он честно соблюдает ее правила. — Ясновидец озабоченно наморщил лоб. — Не знаю, что это значит, но я вижу большой пруд и на нем моторную лодку.

— А дальше что? — сгорая от любопытства, воскликнул прокурор.

— Больше ничего не видно, все расплывается. Как-то странно расплывается и становится туманным под натиском жестокой и безжалостной воли человека, приготовившегося схватить добычу. Но в ней нет охотничьей страсти, есть только доводы рассудка. Рассудочность в каждой детали. Словно решается математическая задача

или техническая проблема. Этот человек никогда ни в чем не раскаивается, он уверен в себе и не боится упреков собственной совести. Мне кажется, что он на всех смотрит свысока, он очень высокомерен и самолюбив. Ему нравится, что люди его боятся. — Ясновидец выпил еще глоток воды. — Но вместе с тем он актер. По сути дела, он честолюбец, который любит позировать перед людьми. Ему хотелось бы поразить мир своими деяниями... Хватит, я устал. Он мне противен.

— Слушайте, Яновиц, — обратился к хозяину взволнованный прокурор. — Ваш ясновидец в самом деле поразителен. Он нарисовал точнейший портрет: сильный и безжалостный человек, для которого люди только добыча; мастер в своей игре; рассудочная натура, которая логически обосновывает свои поступки и никогда не раскаивается; джентльмен и притом позер. Господин Яновиц, этот Карадаг разгадал его полностью!

— Вот видите, — обрадовался польщенный Яновиц. — Что я вам говорил! Это было письмо от либерецкого Шлифена, а?

— Что вы! — воскликнул прокурор. — Господин Яновиц, это письмо одного убийцы.

— Неужели! — изумился Яновиц. — А я-то думал, что оно от текстильщика Шлифена. Он, знаете ли, великий разбойник, этот Шлифен.

— Нет. Это было письмо Гуго Мюллера, этого братоубийцы. Вы обратили внимание, что ясновидец упомянул о пруде и моторной лодке. С этой лодки Мюллер бросил в воду своего брата.

— Быть не может, — изумился Яновиц. — Вот видите, господин прокурор, какой изумительный талант!

— Бесспорно, — согласился тот. — Как он анализировал характер этого Мюллера и мотивы его поступков! Это просто феноменально! Даже я не сделал бы этого с такой глубиной. А ясновидец только ощупал пальцами строчки письма, и пожалуйста... Господин Яновиц, здесь что-то есть. Видимо, человеческий почерк действительно испускает некие флюиды или нечто подобное.

— Я же вам говорил! — торжествовал Яновиц. — А кстати, господин прокурор, покажите мне почерк убийцы. Никогда в жизни не видывал!

— Охотно, — сказал прокурор и вытащил из внутреннего кармана тот самый конверт. — Кстати, письмо интересно само по себе... — добавил он, извлекая листок из конверта, и вдруг изменился в лице. — Вернее... Собственно говоря, господин Яновиц, — с трудом произнес прокурор, — письмо — документ из судебного дела... так что я не могу вам его показать. Прошу прощения...

Через несколько минут прокурор бежал домой, не замечая даже, что идет дождь. «Я — осел! — твердил он себе с горечью. — Я — кретин! И как только могло это со мной случиться?! Идиот! Вместо письма Мюллера второпях вынуть из дела собственные заметки к обвинительному заключению и сунуть их в конверт! Обормот! Стало быть, это мой почерк! Покорно благодарю! Погоди же, мошенник, я тебя еще подстерегу!»

«А впрочем, — прокурор начал успокаиваться, — он ведь не сказал ничего очень дурного. Сильная личность, изумительная воля, не способен к подлостям... Согласен. Строгий моральный кодекс... Очень даже лестно! Никогда ни в чем не раскаиваюсь... Ну и слава богу, значит, не в чем: я только выполняю свой долг. Насчет рассудочной натуры тоже правильно. Вот только с позерством он напутал... Нет, все-таки он шарлатан!»

Прокурор вдруг остановился. «Ну, ясно! — сказал он себе. — То, что говорил этот князь, можно сказать почти о каждом человеке. Все это просто общие места. Каждый человек немного позер и честолюбец. Вот и весь фокус: надо говорить так, чтобы каждый мог узнать самого себя. Именно в этом все дело», — решил прокурор и, раскрыв зонтик, зашагал домой своей энергической походкой.

— Господи боже мой, — огорчился председатель суда, снимая судейскую мантию. — Уже семь часов! Ну и затянули опять! Еще бы, прокурор говорил два часа. Но выиграл процесс! При таких слабых доказательствах добиться смертного приговора — это называется успех! Да, пути присяжных заседателей неисповедимы. А здорово он выступал! — продолжал председатель, моя руки. — Главное, как он охарактеризовал этого Мюллера — великолепный психологический портрет. Этакий чудовищный, нечеловеческий характер, слушаешь, и прямо бросает в дрожь. Помните, коллега, как он сказал: «Это не зау-

рядный преступник. Он не способен на подлости, не крадет, не обманывает. Но, убивая человека, он спокоен, словно делает на доске шах и мат. Он убивает не в состоянии аффекта, а холодно, в здравом уме и твердой памяти, словно решает задачу или техническую проблему...» Превосходно сказано, коллега! И дальше: «Когда он выходит на охоту, человек для него лишь добыча...» Сравнение с тигром было, пожалуй, слишком театрально, но присяжным оно понравилось.

— Или, например, когда он сказал: «Этот убийца никогда ни в чем не раскаивается, — подхватил член суда. — Оп всегда уверен в себе и не боится собственной совести...»

— А взять хотя бы такой психологический штрих, — продолжал председатель, вытирая полотенцем руки, — что обвиняемый — позер, которому хотелось бы поразить мир...

— М-да, — согласился член суда, — Клапка — опасный противник!

— «Гуго Мюллер виновен» — единогласное решение двенадцати присяжных. И кто бы мог подумать! — удивился председатель суда. — Все-таки Клапка добился своего. Для нашего прокурора судебный процесс — все равно что охота или игра в шахматы. Он прямо-таки впивается в каждое дело... Да, коллега, не хотел бы я иметь его своим врагом.

— А он любит, чтобы люди его боялись, — вставил член суда.

— Да, самонадеянность в нем есть. — Почтенный председатель задумался. — А кроме того, у него изумительная сила воли... и жажда успеха. Сильный человек, коллега, но... — Председатель суда не нашел подходящего слова. — Пойдемте-ка ужинать!

Тайна почерка

— Рубнер, — сказал главный редактор, — сходите-ка поглядите на этого графолога Енсена, сегодня он выступает перед представителями печати. Говорят, нечто потрясающее. И дайте о нем пятнадцать строк.

— Ладно, — проворчал Рубнер безразличным тоном искушенного службиста.

— Но смотрите не поддавайтесь на мистификацию, — наставлял его редактор. — Хорошенько все проверьте, по возможности лично. Для того я и посылаю такого опытного репортера, как вы...

— ...Таковы, господа, основные принципы научной, точнее говоря, психометрической графологии, — закончил графолог Енсен свои теоретические пояснения. — Как видите, вся система построена на чисто экспериментальных основах. Разумеется, практическое применение этих эмпирических методов настолько сложно, что я не смогу подробно изложить их в этой единственной лекции. Поэтому я ограничусь тем, что продемонстрирую вам анализ двух-трех почерков, не входя в подробные объяснения аналитического процесса, на это у нас, к сожалению, сегодня нет времени. Прошу, господа, дать мне какой-нибудь образец почерка. Рубнер, уже ожидавший этого момента, тотчас подал знаменитому графологу исписанный листок. Енсен нацепил свои волшебные очки и воззрился на почерк.

— Ага, женская рука, — усмехнулся он. — Мужской почерк обычно выразительнее и интереснее для анализа, но в конце концов... — Бормоча что-то себе под нос, графолог внимательно смотрел на листок. — Гм, гм... — произносил он, покачивая головой. Стояла мертвая тишина.

— Скажите, эта особа — ...близкий вам человек? — спросил вдруг Енсен.

— Нет, что вы! — решительно возразил Рубнер.

— Тем лучше, — сказал великий Енсен. — Тогда слушайте. Эта женщина лжива! Таково самое первое впечатление от ее почерка: ложь, привычка лгать, лживая натура. Впрочем, у нее довольно низкий духовный уровень, образованному человеку с ней и поговорить не о чем. Ужасная чувственность, смотрите, какие жирные линии нажима... И страшно неряшлива, в доме у нее, наверное, черт знает какой беспорядок, да. Таковы основные черты почерка, как я вам уже объяснял. Они отражают те привычки, свойства, особенности характера, которые видны сразу и проявляются непроизвольно, так сказать, механически. Собственно, психологический анализ начинается с тех черт и свойств, которые данная личность прячет или подавляет, боясь предстать без прикрас перед окружающими. Вот, например, эта женщина, — продолжал Ен-

сен, приставив палец к н о с у, — она ни с кем не поделится своими мыслями. Она примитивна, но эта примитивность, так сказать, с двойным дном: у нее много мелких интересов, за которыми она прячет подлинные мысли. Эти скрытые помыслы тоже ужасающе убоги: я сказал бы, что это порочность, подчиненная душевной лени. Обратим, например, внимание на то, какая отвратительная чувственность в этом почерке (это же и признаки расточительности) сочетается с низменной рассудочностью. Эта особа слишком любит свои удобства, чтобы пускаться в рискованные похождения. Разумеется, если подвертывается удобный случай, она... впрочем, это не наше дело. Итак, она необычайно ленива и при этом многоречива. Если она что-нибудь сделает, то говорит потом об этом полдня, так что слушать противно. Она слишком много занимается своей особой и явно никого не любит. Однако ради собственного благополучия она вцепится в кого угодно и будет уверять, что любит его и бог весть как о нем заботится. Одна из тех женщин, с которыми всякий мужчина становится тряпкой просто от скуки, от бесконечной болтовни, от всей этой низменной чувственности. Обратите внимание, как она пишет начало слов, в особенности фраз, — вот эти размашистые и мягкие линии. Ей хочется командовать в доме, и она действительно командует, но не благодаря своей энергии, а в результате многословия и какой-то деланной значительности. Самая подлая тирания — это тирания слез. Любопытно, что каждый размашистый штрих завершается спадом, свидетельствующим о малодушии. У этой женщины есть какая-то душевная травма, она постоянно чего-то боится, вероятно, разоблачения, которое разрушило бы ее материальное благополучие. Видимо, она мучительно скрывает что-то... гм... я не знаю что. Возможно, свое прошлое. После каждого такого невольного спада она собирает силу воли, а вернее, силу привычки, и дописывает слово с тем же самодовольным хвостиком в конце, — она уже опять прониклась самонадеянностью. Отсюда и первое впечатление лживости, которое мы уже отмечали. Таким образом, вы видите, господа, что подробный анализ подтверждает наше первое общее, несколько интуитивное впечатление. Это совпадение выводов мы называем методической взаимопроверкой.

Я уже сказал, что у этой женщины низкий духовный уровень, но он обусловлен не примитивностью, а дисгармоничностью ее натуры, весь почерк проникнут притворством, он как бы старается быть красивее, чем на самом деле, но только в мелочах. Особа, чей почерк мы исследуем, в мелочах заботится о порядочности, старательно ставит точки над «и», а в больших делах она неряшлива, безответственна, аморальна — полная распущенность. Особенно обращают на себя внимание черточки над буквами. Почерк имеет обычный наклон вправо, а черточки она ставит в обратном направлении, что производит странное впечатление — точно удар ножом в спину... Это говорит о вероломстве, коварстве. Фигурально выражаясь, эта женщина способна нанести удар в спину. Но она не сделает этого из-за лени... и потому что у нее слишком вялое воображение. Полагаю, что этой характеристики достаточно. Есть еще у кого-нибудь образец почерка поинтереснее?

Рубнер пришел домой мрачный, как туча.

— Наконец-то! — сказала жена. — Ты уже ужинал где-нибудь?

Рубнер сурово взглянул на нее.

— Опять начинаешь? — угрожающе проворчал он.

Жена удивленно подняла брови.

— Что начинаю, скажи, пожалуйста? Я только спросила, будешь ли ты ужинать.

— Ага, ну, конечно! — с отвращением сказал Рубнер. — Только и можешь говорить что о жратве. Вот она, низменность интересов! Как это унизительно — вечно пустые разговоры, грубая чувственность и скука... — Он вздохнул, безнадежно махнув рукой. — Я знаю, вот так мужчина становится тряпкой!..

Жена положила шитье на колени и внимательно посмотрела на него.

— Франци, — сказала она озабоченно, — у тебя неприятности?

— Ага! — язвительно воскликнул супруг. — Проявляешь заботу обо мне, не так ли? Не воображай, что ты меня проведешь! Не-ет, голубушка, в один прекрасный день у человека раскрываются глаза, и он видит всю лживость, видит, что женщина вцепилась в него единст-

венно ради материального благополучия... ради низкой чувственности! Бр-р-р, — содрогнулся он, — какая гнусность!

Жена Рубнера покачала головой, хотела что-то сказать, но лишь сжала губы и стала шить быстрее. Воцарилось молчание.

— Поглядеть только кругом! — прошипел через минуту Рубнер, мрачно оглядываясь по сторонам. — Неряшливость, беспорядок... Ну, конечно, в мелочах она сохраняет видимость порядка и благопристойности. Но в серьезных вещах... Что это тут за тряпка?!

— Чиню твою рубашку, — с трудом произнесла жена.

— Чинишь рубашку? — саркастически усмехнулся Рубнер. — Ну, конечно, она чинит рубашку, и весь мир должен знать об этом! Полдня будет говорить о том, что она чинит рубашку! Сколько разговоров и саморекламы. И ты думаешь, что можешь командовать мною? Пора положить этому конец!

— Франци! — изумленно воскликнула жена. — Я обидела тебя чем-нибудь?

— Откуда я знаю, — накинулся на нее Рубнер. — Я не знаю, что ты натворила, о чем думаешь и что замышляешь. Вообще мне ничего о тебе не известно, потому что ты чертовски ловко все скрываешь. Я даже не знаю, каково твое прошлое!

— Позволь! — вспыхнула пани Рубнерова. — Это уже переходит всякие границы! Если ты скажешь еще хоть... — Усилием воли она сдержалась. — Милый, — сказала она в испуге, — да что с тобой случилось?

— Ага! — восторжествовал Рубнер. — Вот оно! Чего ты так испугалась? Ясно, боишься разоблачения, которое грозит твоему мещанскому благополучию? Не так ли? Знаю, знаю! Ты ведь, при всей твоей лени, не упустишь случая завести интрижку, а?

Жена просто окаменела от обиды.

— Франци, — произнесла она, глотая слезы. — Если ты имеешь что-то против меня, скажи лучше прямо. Умоляю!

— О, ровно ничего! — провозгласил Рубнер с уничтожающей иронией. — В чем я мог бы тебя упрекнуть? Это ведь совершенные пустяки, если жена распущена, аморальна, лжива, непорядочна, вульгарна, ленива, расточительна и ужасающе чувственна... Да к тому же с таким низким духовным уровнем, что...

Жена всхлипнула и встала, уронив шитье на пол.

— Прекрати! — с презрением крикнул Рубнер. — Самая подлая тирания — это тирания слез!

Но жена уже не слышала этого: сдерживая рыдания, она убежала в спальню.

Рубнер трагически расхохотался и сунул голову в дверь.

— Всадить человеку нож в спину — ты вполне способна, — воскликнул он. — Но и для этого ты слишком ленива!

На следующий день Рубнер зашел в свой излюбленный ресторанчик.

— Как раз читаю вашу газету, — приветствовал его пан Плечка, глядя через очки. — Расхваливают графолога Енсена. В самом деле, это крупный успех, а, господин журналист?

— И какой! — ответствовал Рубнер. — Господин Янчик, подайте-ка мне антрекот, только не жесткий... Да, скажу я вам, этот Енсен просто чудо. Я видел его вчера. Почерк он анализирует абсолютно научно.

— Значит, это жульничество, — заметил Плечка. — Сударь, я верю чему угодно, только не науке. Как с этими витаминами: пока их не было, человек знал, что он ест. А теперь не знает. Теперь в этом антрекоте есть неизвестные «жизненные факторы». Плевать мне на них! — недовольно воскликнул Плечка.

— Графология — совсем другое дело, — возразил Рубнер. — Долго рассказывать, что такое психометрия, автоматизм, первичные и вторичные признаки и всякое такое. Но я вам скажу, что этот графолог читает по почерку, как по книге. Так распишет характер человека, что вы буквально видите его перед собой. Расскажет вам, кто он такой, какое у него прошлое, о чем он думает, что скрывает, ну, словом, все! Я сам слышал, пан Плечка!

— Рассказывайте! — скептически пробурчал собеседник.

— Я вам приведу один пример, — начал Рубнер. — Один человек — не буду называть его фамилии, ее все хорошо знают — дал этому Енсену почерк своей жены. Енсен только взглянул и сразу говорит: «Эта женщина насквозь лживая, неряшливая, ужасающе чувственная и

поверхностная, ленивая, расточительная, болтливая. Дома она командует, прошлое у нее темное, да еще хочет убить своего мужа». Представляете себе, этот человек побледнел как смерть, потому что все это была чистая правда. Вы только подумайте, он жил с ней счастливо двадцать лет и решительно ничего не замечал! За двадцать лет брака он не увидел в своей жене и десятой доли того, что Енсен обнаружил с первого взгляда! Здорово, а? Это должно убедить и вас!

— Удивляюсь, — сказал Плечка, — что же за шляпа этот муж, если за двадцать лет ничего не заметил?

— Не говорите! — поспешно возразил Рубнер. — Эта женщина так ловко притворялась, что муж с ней был вполне счастлив... Счастливый человек слеп. Кроме того, знаете ли, он не владел точным научным методом. Вот, к примеру, вы видите невооруженным глазом белый цвет, а при научном анализе он распадается на несколько цветов. Личный опыт, друг мой, ничего не значит, современный человек верит только в научное исследование. И потому не удивляйтесь, что этот муж и понятия не имел, какая стерва его жена: просто он не подходил к ней с научных позиций, вот и все.

— А теперь, наверное, он с ней развелся? — вмешался в разговор ресторатор Янчик.

— Не знаю, — небрежно ответил Рубнер. — Такие пустяки меня не интересуют. Мне важно одно: как по почерку можно узнать то, что иначе никак не узнаешь. Представьте себе, что вы знакомы с человеком много лет, всегда считали его порядочным и честным, и вдруг, хлоп, по его почерку узнаете, что он вор или закоренелый негодяй. Да, друзья мои, внешности нельзя верить. Только научный анализ покажет, что скрыто в человеке!

— Ну и ну! — удивлялся подавленный Плечка. — Выходит, что и письма-то писать рискованно.

— Вот именно, — подтвердил Рубнер. — Представьте себе, какое значение графология получает для криминалистики. Вора можно будет посадить раньше, чем он украдет что-нибудь: допустим, в его почерке нашлись «вторичные воровские штрихи» — ну и хвать его в кутузку. У графологии огромное будущее! Это настоящая наука, в этом не может быть никакого сомнения! — Рубнер взглянул на часы. — Гм, десять часов. Мне пора домой.

— Что сегодня так рано? — осведомился Плечка.

— Да, видите ли, — мягко сказал Рубнер, — чтобы жена не ворчала, что я все время оставляю ее одну.

Бесспорное доказательство

— Видишь ли, Тоник, — сказал следователь Матес своему лучшему другу. — Это дело опыта: я лично не верю никаким оправданиям, никакому алиби, никаким словам; не верю ни обвиняемому, ни свидетелям. Человек лжет, сам того не желая. Например, свидетель клянется, что не питает никакой вражды к обвиняемому и сам при этом не понимает, что где-то, в глубине души, ненавидит его из скрытой зависти или из ревности. А уж показания обвиняемого всегда заранее продуманы и подстроены. Свидетель же в своих показаниях может исходить из сознательного или неосознанного стремления выручить или утопить обвиняемого. Я всех их знаю, голубчик: человек — существо лживое.

Чему же я верю? Случайностям, Тоник! Этаким непроизвольным, безотчетным, я бы сказал, импульсивным побуждениям, поступкам или высказываниям, которые бывают свойственны всякому. Все можно изобразить и фальсифицировать, всюду царит притворство или умысел, только не в случайностях, их видно сразу. У меня такой метод: я сижу и даю человеку выболтать все, что он заранее придумал, делаю вид, что верю ему, даже помогаю выговориться и жду, когда у него сорвется случайное, невольное словечко. Для этого надо быть психологом. Иные следователи стараются запугать обвиняемого, то и дело прерывают его, сбивают с толку, так что человек наконец сознается и в том, что он убил императрицу Елизавету. А я ищу полной ясности, хочу действовать наверняка. Вот почему я сижу и терпеливо выжидаю, пока среди упорного вранья и уверток, которые на юридическом языке называются показаниями, случайно мелькнет частица правды. Понимаешь ли, чистая правда в нашей юдоли слез открывается только по недосмотру, когда человек проговорится или сорвется.

Послушай, Тоник, у меня нет от тебя секретов, мы ведь друзья детства. Помнишь, как тебя выпороли, когда я разбил окно?.. Никому другому я бы и не мог сказать, как-то стыдно признаваться в этом. Но у человека возникает потребность излить свою душу. Я тебе расскажу, как этот мой метод оправдал себя в... в моей личной жизни, точнее говоря, в супружестве. А ты потом скажи мне, что я олух и хам, что так мне и надо!

Видишь ли... в общем, я подозревал свою жену Мартичку, словом, ревновал ее, как безумный. Мне почему-то взбрело в голову, что у нее роман с этим... с молодым... ну, назовем его Артуром. Ты его, кажется, даже не знаешь. Погоди, я ведь не какой-нибудь мавр: знай я, что она его любит, я бы сказал: «Мартичка, давай разойдемся». Но вся беда была в том, что все ограничивалось одними сомнениями. Ты и не представляешь себе, что это за мука! Тяжелый был год! Знаешь ведь, какие глупости выкидывает ревнивый муж: выслеживает, подстерегает, допытывается у прислуги, устраивает сцены... Да еще учти, что я следователь по профессии. Говорю тебе, моя семейная жизнь за последний год была сплошным перекрестным допросом, с утра и до поздней ночи.

Подследственная... я хочу сказать Мартичка, держалась превосходно. Она и плакала, и обиженно молчала, и подробно отчитывалась передо мной, где была и что делала в течение всего дня, а я все ждал, когда же она проговорится и выдаст себя. Сам понимаешь, лгала она часто, я хочу сказать, что лгала по привычке, как все женщины. Женщина ведь не скажет тебе прямо, что провела два часа у модистки, она придумает, что ходила к зубному врачу или была на могиле покойной матушки. Чем больше я терзал ее ревностью, — а ревнивый мужчина хуже бешеного пса, Тоник! — чем больше придирался, тем меньше у меня было уверенности в моих догадках. Десятки раз я перетолковывал и обдумывал каждое ее слово и отговорку, но не находил ничего, кроме обычных полуправд, из которых складываются нормальные человеческие отношения, а супружеские в особенности. Я знаю, как худо приходилось мне, но когда подумаю, что довелось вынести бедной Мартичке, то хочется надавать самому себе пощечин.

Этим летом Мартичка поехала на курорт, во Франтишковы Лазни. У нее были какие-то женские недомо-

гания, в общем, выглядела она плохо. Я, конечно, устроил там за ней слежку, нанял одного мерзкого типа, который больше шлялся по кабакам. Удивительно, какой нездоровой и гнилой становится вся жизнь, едва лишь что-то одно в ней оказывается не совсем в порядке. Запачкаешься в одном месте, и весь ты уже нечистый... В письмах Мартички ко мне чувствовалась какая-то неуверенность и запуганность, словно она не знала, что писать. А я, конечно, копался в этих письмах и все искал чего-то между строк. И вот однажды получаю от нее письмо, на конверте адрес: «Франтишеку Матесу, следователю» и так далее. Вскрываю письмо, вынимаю листок и вижу обращение: «Милый Артур!..»

У меня и руки опустились. Вот оно наконец. Так это и бывает: человек напишет несколько писем и перепутает конверты. Дурацкая случайность, а, Мартичка? Знаешь, мне даже стало жаль, что жена так попалась.

Представь себе, Тоник, моим первым побуждением было вернуть Мартичке письмо, предназначенное... этому Артуру. При любых других обстоятельствах я так бы и поступил, но ревность — это гнусная и грязная страсть. Дружище, я прочитал это письмо и покажу тебе его, потому что с тех пор не расстаюсь с ним. Вот слушай:

— «Милый Артур,
не сердитесь, что я вам долго не отвечала, но я все тревожилась о Франци (*это я, понимаешь*?), потому что от него долго не было писем. Я знаю, что он очень занят, но когда долго не получаешь весточки от мужа, то ходишь словно сама не своя. Вы, Артур, этого не понимаете. В следующем месяце Франци приедет сюда, приехали бы и вы тоже! Он мне писал, что сейчас расследует какое-то очень интересное дело, но не сообщил подробностей. Я думаю, что это преступление Гуго Мюллера. Меня оно очень интересует. Очень жаль, что вы с Франци теперь не встречаетесь, но это только потому, что у него много работы. Будь у вас прежние отношения, вы могли бы иногда вытащить его в компанию или на автомобильную прогулку. Вы всегда были так внимательны к нам, вот и теперь не забываете, хотя, к сожалению, знакомство разладилось. Франци стал какой-то нервный и странный.

Вы даже не написали мне, как поживает ваша девушка. Франци жалуется, что в Праге жарища. Надо бы

ему приехать сюда отдохнуть, а он наверняка день и ночь сидит на службе. А когда вы поедете к морю? Надеюсь, ваша девушка поедет с вами? Вы и не представляете себе, как для нас, женщин, трудна разлука с любимым человеком.

Сердечно вас приветствую.

Марта Матесова».

Что скажешь, а, Тоник? Конечно, письмо не очень-то умное, просто даже мало интересное и написано безо всякого блеска. Но, друг мой, какой свет оно бросило на Мартичку и ее отношение к этому бедняге Артуру. Я никогда бы не поверил, если бы это говорила она сама. Но в руках у меня было такое бесспорное доказательство... да еще полученное помимо ее воли. Вот видишь, подлинная и бесспорная правда открывается только случайно! Мне хотелось плакать от радости... и от стыда за свою глупую ревность!

Что я сделал потом? Связал шпагатом все документы по делу Гуго Мюллера, запер их в письменный стол и через день был во Франтишковых Лазнях. Мартичка, увидев меня, зарделась и смутилась, как девочка; вид у нее был такой, словно она бог весть что натворила. Я — ни гугу.

— Франци, — спросила она немного погодя, — ты получил мое письмо?

— Какое письмо? — удивился я. — Ты мне пишешь чертовски редко.

Мартичка оторопело уставилась на меня и с облегчением вздохнула.

— Наверное, я забыла его послать, — сказала она и, порывшись в сумочке, извлекла помятый листок, начинавшийся словами «Милый Франци!». Я мысленно улыбнулся: видимо, Артур уже вернул ей это письмо.

Больше на эту тему не было сказано ни слова. Я, разумеется, стал рассказывать Мартичке о Гуго Мюллере, который ее так интересовал. Она, по-видимому, и поныне уверена, что я так и не получил от нее никакого письма.

Вот и все. С тех пор мы живем мирно. Не идиот ли я был, скажи, пожалуйста, что так дико ревновал жену? Теперь я, конечно, стараюсь вознаградить ее. Только после того письма я понял, как она заботится обо мне,

бедняжка. Ну вот, я и рассказал тебе все. Знаешь, собственной глупости человек стыдится даже больше, чем греха.

И весь этот случай — классический пример того, каким бесспорным доказательством является полнейшая и неожиданная случайность.

Приблизительно в то же время молодой человек, именуемый здесь Артуром, сказал Мартичке:

— Ну как, девочка, помогло то письмо?

— Какое, мой дорогой?

— То, что ты послала мужу как бы по рассеянности.

— Помогло, — сказала Марта и задумалась, — Знаешь, мой мальчик, мне даже стыдно, теперь Франци так беспредельно верит мне. С тех пор он со мной очень добр. А то письмо он все еще носит на груди. — Марта вздрогнула. — Вообще говоря... это ужасно, что я его так обманываю, а?

Но Артур был другого мнения. По крайней мере, он утверждал, что все это вовсе не так страшно.

Эксперимент профессора Роусса

Среди присутствующих были: министры внутренних дел и юстиции, начальник полиции, несколько депутатов парламента и высших чиновников, видные юристы и ученые и, разумеется, представители печати — без них ведь дело никогда не обойдется.

— Джентльмены! — начал профессор Гарвардского университета Роусс, знаменитый американец чешского происхождения. — Эксперимент, который я вам... э-э... буду показать, основан на исследованиях ряда моих ученых коллег и предшественников. Таким образом, indeed [1], мой эксперимент не является каким-нибудь откровением. Это... э-э... really... [2] как говорится, новинка с бородой, — профессор просиял, вспомнив, как звучит по-чешски это сравнение. — Я, собственно, разработал лишь метод практи-

---

[1] право же (*англ.*).

[2] в действительности... (*англ.*)

ческого применения некоторых теоретических открытий. Прошу присутствующих криминалистов судить о моих experimences[1] с точки зрения их практических критериев. Well[2].

Итак, мой метод заключается в следующем: я произношу слово, а вы должны тотчас же произнести другое слово, которое вам придет в этот момент в голову, даже если это будет чепуха, nonsens, вздор. В итоге я, на основании ваших слов, расскажу вам, что у вас на уме, о чем вы думаете и что скрываете. Понимаете? Я опускаю теоретические объяснения и не буду говорить вам об ассоциативном мышлении, заторможенных рефлексах, внушении и прочем. Я буду сказать кратко: при опыте вы должны полностью выключить волю и рассудок. Это даст простор подсознательным ассоциациям, и благодаря им я смогу проникнуть в... э-э... — Известный профессор подыскивал слова. — Well, what's on the bottom of your mind...

— В глубину вашего сознания, — подсказал кто-то.

— Вот именно! — удовлетворенно подтвердил Роусс. — Вы должны automatically[3] произносить все, что вам приходит в данный момент в голову без всякий control. Моей задачей будет анализировать ваши представления. That's all[4]. Свой опыт я проделаю сначала на уголовном случае... э-э... на одном преступнике, а потом на ком-нибудь из присутствующих. Well, начальник полиции сейчас охарактеризует нам доставленного сюда преступника. Прошу вас, господин начальник.

Начальник полиции встал.

— Господа, человек, которого вы сейчас увидите, — слесарь Ченек Суханек, владелец дома в Забеглице. Он уже неделю находится под арестом но подозрению в убийстве шофера такси Иозефа Чепелки, бесследно исчезнувшего две недели назад. Основания для подозрения следующие: машина исчезнувшего Чепелки найдена в сарае арестованного Суханека. На рулевом колесе и под сиденьем шофера — следы человеческой крови. Арестованный отрицает свою вину и твердит, что купил авто у Чепелки за шесть тысяч, так как хотел стать шофером такси. Ус-

[1] опытах (*англ.*).
[2] Хорошо (*англ.*).
[3] автоматически (*англ.*).
[4] Вот и все (*англ.*).

тановлено: исчезнувший Чепелка действительно говорил, что думает бросить свое ремесло, продать машину и наняться куда-нибудь шофером. Однако его до сих пор нигде не нашли. Поскольку больше никаких данных нет, арестованный Суханек должен быть передан в подследственную тюрьму на Панкраце... Но я получил разрешение, чтобы наш прославленный соотечественник профессор Ч. Д. Роусс произвел над ним свой эксперимент. Итак, если господин профессор пожелает...

— Well! — сказал профессор, усердно делавший пометки в блокноте. — Пожалуйста, пустите его идти сюда.

По знаку начальника полиции полицейский ввел Ченека Суханека, мрачного субъекта, на лице которого было написано: «Подите вы все к... меня голыми руками не возьмешь». Видно было, что Суханек твердо решил стоять на своем.

— Подойдите, — строго сказал профессор Ч. Д. Роусс. — Я не буду вас допрашивать. Я только буду произносить слова, а вы должны в ответ говорить первое слово, которое вам придет в голову. Понятно? Итак, внимание! Стакан.

— Дерьмо! — злорадно произнес Суханек.

— Слушайте, Суханек! — быстро вмешался начальник полиции. — Если вы не будете отвечать как следует, я велю отвести вас на допрос, и вы пробудете там всю ночь. Понятно? Заметьте это себе. Ну, начнем сначала.

— Стакан, — повторил профессор Роусс.

— Пиво, — проворчал Суханек.

— Вот это другое дело, — сказала знаменитость. — Теперь отлично.

Суханек подозрительно покосился на него. Не ловушка ли вся эта затея?

— Улица, — продолжал профессор.

— Телеги, — нехотя отозвался Суханек.

— Надо побыстрей. Домик.

— Поле.

— Токарный станок.

— Латунь.

— Очень хорошо.

Суханек, видимо, уже ничего не имел против такой игры.

— Мамаша.

— Тетка.

— Собака.
— Конура.
— Солдат.
— Артиллерист.

Перекличка становилась все быстрее. Суханека это забавляло. Похоже на игру в карты, и о чем только не вспомнишь!

— Дорога, — бросил ему Ч. Д. Роусс в стремительном темпе.

— Шоссе.
— Прага.
— Бероун.
— Спрятать.
— Зарыть.
— Чистка.
— Пятна.
— Тряпка.
— Мешок.
— Лопата.
— Сад.
— Яма.
— Забор.
— Труп!

Молчание.

— Труп! — настойчиво повторил профессор. — Вы зарыли его под забором. Так?

— Ничего подобного я не говорил! — воскликнул Суханек.

— Вы зарыли его под забором у себя в саду, — решительно повторил Роусс. — Вы убили Чепелку по дороге в Бероун и вытерли кровь в машине мешком. Куда вы дели этот мешок?

— Все это неправда! — закричал Суханек. — Я купил такси у Чепелки. Я не позволю взять себя на пушку!

— Помолчите! — сказал Роусс. — Прошу послать полисменов на поиски трупа. А остальное уже не мое дело. Уведите этого человека. Обратите внимание, джентльмены: весь опыт занял семнадцать минут. Это очень быстро, потому что преступник был глуп. Обычно требуется около часа. Теперь попрошу ко мне кого-нибудь из присутствующих. Я повторю опыт. Он продлится довольно долго. Я ведь не знаю его secret, как это назвать?

— Тайну, — подсказал кто-то из аудитории.

— Тайну! — обрадовался наш выдающийся соотечественник. — Я знаю, это одно и то же. Опыт займет у нас много времени, прежде чем испытуемый раскроет нам свой характер, прошлое и самые сокровенные ideas...

— Мысли! — подсказали из публики

— Well. Итак, прошу, господа, кто хочет подвергнуться опыту?

Наступила пауза. Кто-то хихикнул, но никто не шевелился.

— Прошу, — повторил профессор Роусс. — Ведь это не больно.

— Идите, коллега, — шепнул министр внутренних дел министру юстиции.

— Иди ты, как представитель нашей партии, — подталкивали друг друга депутаты.

— Вы — директор департамента, вы и должны пойти, — подбивал чиновник своего коллегу из другого министерства.

Возникала атмосфера неловкости: никто из присутствующих не вставал.

— Прошу вас, джентльмены, — в третий раз повторил американский ученый. — Надеюсь, вы не боитесь, что будут открыты ваши сокровенные мысли?

Министр внутренних дел обернулся к задним рядам и прошипел:

— Ну, идите же кто-нибудь.

В глубине аудитории кто-то скромно кашлянул и встал. Это был тощий, жалкий старичок — кадык у него так и ходил от волнения.

— Я... г-м-м... — застенчиво сказал он, — если никто... то я, пожалуй, разрешу себе...

— Подойдите! — повелительно перебил его американец. — Садитесь здесь. Говорите первое, что вам придет в голову. Задумываться и размышлять нельзя, говорите mechanically, бессознательно. Поняли?

— Да-с, — поспешно ответил испытуемый, видимо смущенный вниманием такой высокопоставленной аудитории. Затем он откашлялся и испуганно замигал, как гимназист, державший экзамен на аттестат зрелости.

— Дуб, — бросил профессор.

— Могучий, — прошептал испытуемый.

— Как? — переспросил профессор, словно не поняв.

— Лесной великан, — стыдливо пояснил старик.

— Ага, так. Улица.
— Улица... Улица в торжественном убранство.
— Что вы имеете в виду?
— Какое-нибудь празднество. Или погребение.
— А! Ну, так надо было просто сказать «празднество». По возможности одно слово.
— Пожалуйста...
— Итак. Торговля.
— Процветающая. Кризис нашей коммерции. Политические махинации.
— Гм... Учреждение.
— Какое, разрешите узнать?
— Не все ли равно! Говорите какое-нибудь слово. Быстро!
— Если бы вы изволили сказать «учреждения»...
— Well, учреждения.
— Соответствующие! — радостно воскликнул человек.
— Молот.
— ...и клещи. Вытягивать ответ клещами. Голова несчастного была размозжена клещами.
— Curious[1], — проворчал ученый. — Кровь!
— Алый, как кровь. Невинно пролитая кровь. История, написанная кровью.
— Огонь!
— Огнем и мечом. Отважный пожарник. Пламенная речь. Mene tekel.
— Странный случай, — озадаченно сказал профессор. — Повторим еще раз. Слушайте, вы должны реагировать лишь на самое первое впечатление. Говорите то, что automatically произносят ваши губы, когда вы слышите мои слова. Go on[2]. Рука.
— Братская рука помощи. Рука, держащая знамя. Крепко сжатый кулак. Не чист на руку. Дать по рукам.
— Глаза.
— Завязанные глаза Фемиды. Бревно в глазу. Открыть глаза на истину. Очевидец. Пускать пыль в глаза. Невинный взгляд дитяти. Хранить как зеницу ока.
— Не так много. Пиво.
— Настоящее пльзеньское. Дурман алкоголя.
— Музыка.

[1] Любопытно (*англ.*).
[2] Продолжайте (*англ.*).

— Музыка будущего. Заслуженный ансамбль. Мы — народ музыкантов. Манящие звуки. Концерт держав. Мирная свирель. Боевые фанфары. Национальный гимн.

— Бутылка.

— С серной кислотой. Несчастная любовь. В ужасных мучениях скончалась на больничной койке.

— Яд.

— Наполненный ядом и желчью. Отравление колодца.

Профессор Роусс почесал затылок.

— Never heard that...[1] Прошу вас повторить. Обращаю ваше внимание, джентльмены, на то, что всегда надо начинать с самых plain[2], заурядных понятий, чтобы выяснить интересы испытуемого, его profession[3], занятие. Так, дальше. Счет.

— Баланс истории. Свести с врагами счеты. Жить на чужой счет.

— Гм... Бумага.

— Бумага краснела от стыда, — обрадовался испытуемый. — Ценные бумаги. Бумага все стерпит.

— Pless you[4], — кисло сказал профессор. — Камень.

— Побить камнями. Надгробный камень. Вечная память, — резво заговорил испытуемый. — Ave, anima pia[5].

— Повозка.

— Триумфальная колесница. Колесница Джаггернаута. Карета «Скорой помощи». Разукрашенный грузовик с мимической труппой.

— Ага! — воскликнул ученый. — That's it[6]. Горизонт.

— Пасмурный, — с видимым удовольствием откликнулся испытуемый. — Тучи на нашем политическом горизонте. Узкий кругозор. Открывать новые горизонты.

— Оружие.

— Браться за оружие. Вооруженный до зубов. С развевающимися знаменами. Нанести удар в спину. Отравленные стрелы, — радостно бубнил испытуемый. — Пыл битвы. Мы не покинем поле боя. Избирательная борьба.

— Стихия.

---

[1] Никогда не встречал ничего подобного... (*англ.*)
[2] простых (*англ.*).
[3] профессию (*англ.*).
[4] Благодарю вас (*англ.*).
[5] Привет тебе, благочестивая душа (*лат.*).
[6] Вот оно что (*англ.*).

— Разбушевавшаяся. Стихийный отпор. Злокозненная стихия. В своей стихии.

— Довольно! — остановил его профессор. — Вы журналист, а?

— Совершенно верно, — учтиво отозвался испытуемый. — Я репортер Вашатко. Тридцать лет работаю в газете.

— Благодарю, — сухо поклонился наш знаменитый американский соотечественник. — Finished, gentlemen[1]. Анализом представлений этого человека мы установили, что... м-м, что он журналист. Я думаю, нет смысла продолжать. It would only waist our time. So sorry, gentlemen![2]

— Смотрите-ка! — воскликнул вечером репортер Вашатко, просматривая редакционную почту. — Полиция сообщает, что труп Чепелки найден. Зарыт под забором в саду у Суханека и обернут в окровавленный мешок! Этот Роусс — молодчина! Вы бы не поверили, коллега: я и не заикался о газете, а он угадал, что я журналист. «Господа, говорит, перед вами выдающийся, заслуженный репортер...» Я написал в отчете о его выступлении: «В кругах специалистов выводы нашего прославленного соотечественника получили высокую оценку». Постойте, это надо подправить. Скажем так: «В кругах специалистов интересные выводы нашего прославленного соотечественника получили заслуженно высокую оценку». Вот теперь хорошо!

Пропавшее письмо

— Боженка, — сказал министр своей супруге, накладывая себе обильную порцию салата. — Сегодня днем я получил письмо, которое тебя заинтересует. Придется представить его на рассмотрение кабинета. Если оно станет достоянием гласности, одна политическая партия сядет в изрядную лужу. Да вот, ты прочти сама, — министр

[1] Заканчиваю на этом, джентльмены (*англ.*).
[2] Не будем зря тратить время. Простите, джентльмены! (*англ.*)

пошарил сперва в одном, потом в другом внутреннем кармане. — Постой, куда же я его... — пробормотал он, снова ощупывая левый карман на груди, потом положил вилку и стал рыться во всех остальных. Внимательный наблюдатель заметил бы при этом, что у министра такое же несчетное количество карманов во всех частях костюма, как и у простых смертных. Там лежат ключи, карандаши, блокноты, вечерняя газета, портмоне, служебные бумаги, часы, зубочистка, нож, расческа, старые письма, носовой платок, спички, использованные билеты в кино, вечное перо и многие другие предметы повседневного обихода. Наблюдатель убедился бы в том, что и министр, ощупывая карманы, бормочет: «И куда ж я его дел?!», «Ах я, безголовый », «Погоди-ка...» — в общем, те же фразы, что произносит в таких случаях любой другой обыкновенный смертный. Но супруга министра не уделила должного внимания этой процедуре, а сказала, как всякая жена:

— Да ты ешь, а то остынет.

— Ладно, — сказал министр, рассовывая содержимое по карманам. — Видимо, я оставил письмо на столе в кабинете. Я его там читал. Представь себе... — начал он бодро, тыкая вилкой в жаркое. — Представь себе, кто-то прислал мне оригинал письма от... Одну минуточку, — с беспокойством прервал он сам себя и встал. — Все-таки я загляну в кабинет. Должно быть, я оставил его на столе.

И он исчез. Когда он не вернулся и через десять минут, супруга пошла в кабинет. Министр сидел посреди комнаты на полу и рылся в бумагах и письмах, которые смахнул с письменного стола.

— Разогреть тебе ужин? — несколько сурово осведомилась супруга.

— Сейчас, сейчас... — рассеянно пробормотал министр. — Скорее всего, я засунул его в бумаги. Что за глупость! Никак не найду его. Странно, ведь он где-то тут...

— Поешь, а потом ищи, — посоветовала жена.

— Сейчас, сейчас! — раздраженно отозвался министр. — Вот только найду. Этакий желтый конверт... Ах, какой я безголовый! — И он снова принялся рыться в бумагах. — Я читал это письмо здесь, у стола, и не выходил из кабинета, пока меня не позвали ужинать... Куда же оно могло деться?

— Я пришлю тебе ужин *сюда*, — решила жена и оставила министра на полу, среди бумаг. В доме воцарилась тишина, только за окном шумели деревья и падали звезды. В полночь Божена стала зевать и пошла на цыпочках заглянуть в кабинет.

Министр, без пиджака, потный и взлохмаченный, стоял посреди кабинета, где все было перевернуто вверх дном: пол завален бумагами, мебель отодвинута от стен, ковры брошены в угол. На письменном столе стоял нетронутый ужин.

— О господи, что ты делаешь? — ужаснулась министерша.

— Ах, отстань, пожалуйста! — рассердился *супруг*. — Что ты пристаешь ко мне каждые пять минут? — Впрочем, он тут же сообразил, что не прав, и произнес уже спокойнее: — Искать надо систематически, понимаешь? Осмотреть все подряд. Где-то оно должно все-таки быть, ведь сюда никто не входил, кроме меня. Если бы не чертова уйма всяких бумаг!

— Хочешь, я тебе помогу? — сочувственно предложила супруга.

— Нет, нет, ты только наделаешь у меня беспорядок! — замахал руками министр, стоя среди ужаснейшего *хаоса*. — Иди спать, я сейчас...

В три часа утра министр, тяжело вздыхая, пошел спать.

— Быть не *может*, — бормотал *он*. — Письмо в желтом конверте пришло с пятичасовой почтой. Я читал его здесь, сидя за столом, где работал до восьми. В восемь я пошел ужинать и уже минут через пять побежал искать письмо. За эти пять минут никто не мог...

Тут министр вскочил с постели и устремился в кабинет. Ну, конечно, окна открыты! Но ведь кабинет во втором этаже и к тому же окна выходят на улицу... Нет, в окно никто не мог влезть! Но все-таки надо будет утром проверить и такую гипотезу.

Министр снова уложил свое тучное тело в постель. Ему вдруг вспомнилось, как он однажды где-то читал, что письмо всего незаметнее, если оно лежит прямо перед носом. «Черт подери, как же я не подумал об этом!» Он снова побежал в кабинет поглядеть, что именно там лежит под носом, но обнаружил лишь кучи бумаг, раскрытые ящики письменного стола и весь безнадежный развал, оставшийся после долгих поисков. Чертыхаясь и

вздыхая, министр вернулся на свое ложе, но уснуть не мог.

Так он дотерпел до шести утра, а в шесть уже кричал в телефон, требуя, чтобы разбудили министра внутренних дел «по неотложному делу, понимаете, почтенный?». Наконец его соединили с министром, и он взволнованно заговорил:

— Алло, коллега, пожалуйста, немедля пошлите ко мне трех или четырех ваших способнейших людей... Ну да, сыщиков... и, разумеется, надежных. У меня пропал важный документ... Да, коллега, видите ли, совершенно непостижимый случай... Да, буду их ждать... Что, ничего не трогать, оставить все, как есть?.. Вы считаете, что так нужно?.. Ладно... Украден?.. Не знаю. Конечно, все это строго конфиденциально, никому ни слова!.. Благодарю вас и извините, что... Всего хорошего, коллега!

В восемь часов утра в дом министра прибыло целых семеро субъектов в котелках. Это и были «способнейшие и надежнейшие люди».

— Так вот, поглядите, господа, — сказал он, вводя надежную семерку в свой кабинет, — здесь, в этой комнате, я вчера оставил некий... э-э... весьма важный документ... м-м... в желтом конверте... адрес написан фиолетовыми чернилами...

Один из способнейших понимающе присвистнул и заметил с восхищением знатока:

— Ишь чего он тут натворил! Ах, бродяга!

— Кто бродяга? — смутился министр.

— Этот вор, — ответил сыщик, критически оглядывая хаос в кабинете.

Министр слегка покраснел.

— Это... м-м... это, собственно, я сам немного разбросал бумаги, когда искал документ. Дело в том, господа, что... он где-то здесь, э-э... в общем, не исключено, что я куда-нибудь его засунул или этот документ за что-нибудь завалился. Точнее говоря, ему негде быть, кроме как в этой комнате. Я полагаю... я даже прямо утверждаю, что надо систематически обыскать весь кабинет. Это, господа, ваша специальность. Сделайте все, что в человеческих силах.

В человеческих силах немалое, а потому трое способнейших, запершись в кабинете, начали там систематический обыск, двое взялись за допрос кухарки, горничной,

привратника и шофера, последняя пара отправилась куда-то в город, чтобы, как они сказали, начать необходимое расследование.

К вечеру того же дня трое из способнейших заявили, что полностью исключено, чтобы пропавшее письмо находилось в кабинете господина министра. Ибо они даже вынимали картины из рам, разбирали по частям мебель и перенумеровали каждый листок бумаги, но письма не нашли. Двое других установили, что в кабинет входила служанка, которая, по приказанию хозяйки дома, отнесла туда ужин; министр в это время сидел на полу среди бумаг. Поскольку не исключено, что служанка при этом могла унести письмо, было выяснено, кто ее любовник. Им оказался монтер с телефонной станции, за которым теперь незаметно следит один из семи «способнейших». Последние два ведут расследование «где-то там».

Ночью министр никак не мог уснуть и все твердил себе: «Письмо в желтом конверте пришло в пять часов, я читал его, сидя за столом, и никуда не отлучался до самого ужина. Следовательно, письмо должно было остаться в кабинете, а его там нет... экая гнетущая, прямо-таки немыслимая загадка!» Министр принял снотворное и проспал до утра, как сурок.

Утром он обнаружил, что около его дома, неведомо зачем, околачивается один из способнейших. Остальные, видимо, вели расследование по всей стране.

— Дело движется, — сказал ему по телефону министр внутренних дел. — Вскоре, я полагаю, мне доложат о результатах. Судя по тому, что вы, коллега, говорили о содержании письма, нетрудно угадать, кто может быть заинтересован в нем... Если бы мы могли устроить обыск в одном партийном центре или в некоей редакции, мы бы узнали несколько больше. Но, уверяю вас, дело движется.

Министр вяло поблагодарил. Он был очень расстроен, и его клонило ко сну. Вечером он почти не разговаривал с женой и рано лег спать.

Вскоре после полуночи — была ясная, лунная ночь — министерша услышала шаги в библиотеке. С отвагой, присущей женам видных деятелей, она на цыпочках подошла к двери в эту комнату. Дверь была распахнута настежь, один из книжных шкафов — открыт. Перед ним стоял министр в ночной рубашке и, тихо бормоча что-то, с серьезным видом перелистывал какой-то толстый том.

— О господи, Владя, что ты тут делаешь? — воскликнула Божена.

— Надо кое-что посмотреть, — неопределенно ответил министр.

— В темноте? — удивилась супруга.

— Я и так вижу, — заверил ее муж и сунул книгу на место. — Покойной ночи! — сказал он вполголоса и медленно пошел в спальню.

Божена покачала головой. Бедняга, ему не спится из-за этого проклятого письма.

Утром министр встал румяный и почти довольный.

— Скажи, пожалуйста, — спросила его супруга, — что ты там ночью искал в книжном шкафу?

Министр положил ложку и уставился на жену.

— Я? Что ты выдумываешь! Я не был в библиотеке. Я же спал как убитый.

— Но я с тобой там разговаривала, Владя! Ты перелистывал какую-то книгу и сказал, что тебе надо что-то посмотреть.

— Не может быть! — недоверчиво отозвался министр. — Тебе приснилось, наверное. Я ни разу не просыпался ночью.

— Ты стоял у среднего шкафа, — настаивала жена, — и даже света не зажег. Перелистывал в потемках какую-то книгу и сказал: «Я и так вижу».

Министр схватился за голову.

— Жена! — воскликнул он сдавленным голосом. — Не лунатик ли я?.. Нет, оставь, тебе просто, видно, померещилось... — Он немного успокоился. — Ведь я не сомнамбула!

— Это было в первом часу ночи, — настаивала Божена и добавила немного раздраженно: — Уж не хочешь ли ты сказать, что я ненормальная?

Министр задумчиво помешивал чай.

— А ну-ка, — вдруг сказал он, — покажи мне, где это было.

Жена повела его к книжному шкафу.

— Ты стоял тут и поставил какую-то книгу вот сюда, на эту полку.

Министр смущенно покачал головой; всю полку занимал внушительный многотомный «Свод законов и установлений».

— Значит, я совсем спятил, — пробормотал он, поче-

сав затылок, и почти машинально взял с полки один том, поставленный вверх ногами. Книга раскрылась у него в руках на странице, заложенной желтым конвертом с адресом, написанным фиолетовыми чернилами...

— Подумать только, Божена, — удивлялся министр, — я готов был присягнуть, что никуда не отлучался из кабинета! Но теперь я смутно припоминаю, что, прочтя это письмо, я сказал себе: надо заглянуть в закон, тысяча девятьсот двадцать третьего года. И вот я принес этот том и положил его на письменный стол, чтобы сделать выписки. Но книга все время закрывалась, и я заложил ее конвертом. А потом, очевидно, захлопнул том и машинально отнес на место. Но почему же я бессознательно, во сне, пошел взглянуть именно на эту книгу?.. Гм... ты лучше никому не рассказывай об этом... Подумают бог весть что... Всякие эти психологические загадки производят, знаешь ли, плохое впечатление...

Через минуту министр бодро звонил по телефону своему коллеге из министерства внутренних дел:

— Алло, коллега, я насчет пропавшего письма... Нет, нет, вы не могли напасть на след, оно у меня в руках!.. Что?.. Как я его нашел?.. Этого я вам не скажу, коллега. Есть, знаете ли, такие методы, которые и в вашем министерстве еще не известны... Да, да, я знаю, что ваши люди сделали все возможное. Они не виноваты, что не умеют... Не будем больше говорить об этом... Пожалуйста, пожалуйста! Привет, дорогой коллега!

Похищенный документ № 139/VII отд. «С»

В три часа утра затрещал телефон в гарнизонной комендатуре.

— Говорит полковник генерального штаба Гампл. *Немедленно* пришлите ко мне двух чинов военной полиции и передайте подполковнику Врзалу, — *ну да,* из отделения разведки и контрразведки, — *все это вас не касается, молодой человек,* — чтобы он *сейчас же* прибыл ко мне.

Да, сейчас же, ночью. Да, пускай возьмет машину. Да *побыстрее,* черт вас возьми! — и повесил трубку.

Через час подполковник Врзал был у Гампла — где-то у черта на куличках, в районе загородных особняков. Его встретил пожилой, очень расстроенный господин в штатском, то есть в одной рубашке и брюках.

— Подполковник, произошла пренеприятная история. Садись, друг. Пренеприятная история, дурацкое свинство, нелепая оплошность, черт бы ее побрал. Представь себе: позавчера начальник генерального штаба дал мне один документ и говорит: «Гампл, обработайте это дома. Чем меньше людей будет знать, тем лучше. Сослуживцам ни гугу! Даю тебе отпуск, марш домой и за дело. Документ береги как зеницу ока». Ну и вот...

— Что это был за документ? — осведомился подполковник Врзал.

Полковник с минуту колебался.

— Ладно, — сказал он, — от тебя не скрою. Он был из отделения «С».

— Ах, вот как! — произнес подполковник с необыкновенно серьезным видом. — Ну а дальше?

— Так вот, видишь ли, — продолжал удрученный полковник. — Вчера я работал над ним целый день. Но куда деть его на ночь, черт побери? Запереть в письменный стол? Не годится. Сейфа у меня нет. А если кто-нибудь узнает, что документ у меня, пиши пропало. В первую ночь я спрятал документ к себе под матрац, но к утру он был измят, словно на нем кабан валялся...

— Охотно верю... — заметил Врзал.

— Что поделаешь, — вздохнул полковник. — Жена еще полнее меня. На другую ночь жена говорит: «Давай положим его в жестяную коробку из-под макарон и уберем в кладовку. Я кладовку всегда запираю сама и ключ беру к себе». Знаешь ли, наша толстуха-служанка — страшная обжора. «А в кладовой никто не вздумает искать документ, не правда ли?», — еще предположила жена. Этот план мне понравился.

— В кладовой простые или двойные рамы? — перебил подполковник.

— Тысяча чертей! — воскликнул полковник. — Об этом-то я и не подумал. Простые! А я все думал о сазавском случае и всякой такой чепухе и забыл поглядеть в окно. Этакая чертовская неприятность.

— Ну, а дальше что? — спросил подполковник.

— Дальше? Ясно, что было дальше! В два часа ночи жена слышит, как внизу визжит служанка. Жена вниз, в чем дело? Та ревет: «В кладовке вор». Жена побежала за ключами и за мной, я бегу с револьвером вниз. Подумай, какая подлая штука — окно в кладовке взломано, жестянки с документом нет, а вора и след простыл. Вот и все, — вздохнул полковник.

Врзал постучал пальцами по столу.

— А было кому-нибудь известно, что ты держишь этот документ дома?

Несчастный полковник развел руками.

— Не знаю. Эх, друг мой, эти проклятые шпионы все пронюхают... — Тут, вспомнив характер работы подполковника Врзала, он слегка смутился. — То есть... я хотел. сказать, что они очень ловкие люди. Я никому не говорил о документе, честное слово. А главное, — добавил полковник уверенно, — уж во всяком случае, никто не мог знать, что я положил его в жестянку от макарон.

— А где ты клал документ в жестянку? — небрежно спросил подполковник.

— Здесь, у этого стола.

— Где стояла жестянка?

— Погоди-ка, — стал вспоминать полковник. — Я сидел вот тут, а жестянка стояла передо мной.

Подполковник оперся о стол и задумчиво поглядел в окно. В предрассветном сумраке напротив вырисовывались очертания серо-красной виллы.

— Кто там живет? — спросил он хмуро.

Полковник стукнул кулаком по столу.

— Тысяча чертей, об этом я не подумал. Постой, там живет какой-то еврей, директор банка или что-то в этом роде. Черт побери, теперь я кое-что начинаю понимать. Врзал, кажется, мы напали на след!

— Я хотел бы осмотреть кладовку, — уклончиво сказал подполковник.

— Ну, так пойдем. Сюда, сюда, — услужливо повел его полковник. — Вот она. Вон на той верхней полке стояла жестянка. Мари! — заорал полковник. — Нечего вам тут торчать! Идите на чердак или в погреб.

Подполковник надел перчатки и влез на подоконник, который был довольно высоко от пола.

— Взломано долотом, — сказал он, осмотрев раму. — Рама, конечно, из мягкого дерева, любой мальчишка шутя откроет.

— Тысяча чертей! — удивлялся полковник. — Черт бы побрал тех, кто делает такие паршивые рамы!

На дворе за окном стояли два солдата.

— Это из военной полиции? — осведомился подполковник Врзал. — Отлично. Я еще пойду взгляну снаружи. Господин полковник, должен тебе посоветовать без вызова не покидать дом.

— Разумеется, — согласился полковник. — А... собственно, почему?

— Чтобы ты в любой момент был на месте, в случае, если... Эти двое часовых, конечно, останутся здесь.

Полковник запыхтел и проглотил какую-то невысказанную фразу.

— Понимаю. Не выпьешь ли чашку кофе? Жена сварит.

— Сейчас не до кофе, — сухо ответил подполковник. — О краже документа никому не говори, пока... пока тебя не вызовут. И еще вот что: служанке скажи, что вор украл только консервы, больше ничего.

— Но послушай! — в отчаянии воскликнул полковник. — Ведь ты найдешь документ, а?

— Постараюсь, — сказал подполковник и официально откланялся, щелкнув каблуками.

Все утро полковник Гампл терзался мрачными мыслями. То ему представлялось, как два офицера приезжают, чтобы отвезти его в тюрьму. То он старался представить себе, что делает сейчас подполковник Врзал, пустивший в ход весь громадный секретный аппарат контрразведки. Потом ему мерещился переполох в генеральном штабе, и полковник жалобно стонал.

— Карел! — в двадцатый раз говорила жена (она давно уже на всякий случай спрятала револьвер в сундук служанки). — Съел бы ты что-нибудь.

— Оставь меня в покое, черт побери! — огрызался полковник. — Наверно, нас видел тот тип из виллы напротив...

Жена вздыхала и уходила на кухню плакать.

В передней позвонили. Полковник встал и выпрямился, чтобы с воинским достоинством принять офицеров» пришедших арестовать его. («Интересно, кто это будет?» —

рассеянно подумал он.) Но вместо офицеров вошел рыжий человек с котелком в руке и оскалил перед полковником беличьи зубы.

— Разрешите представиться. Я — Пиштора из полицейского участка.

— Что вам надо? — рявкнул полковник и незаметно переменил позу со «смирно» на «вольно».

— Говорят, у вас обчистили кладовку, — осклабился Пиштора с конфиденциальным видом. — Вот я и пришел.

— А вам какое дело? — отрезал полковник.

— Осмелюсь доложить, — просиял Пиштора, — что это наш участок. Служанка ваша говорила утром в булочной, что вас обокрали. Вот я и говорю начальству: «Господин полицейский комиссар, я туда загляну».

— Не стоило беспокоиться, — пробурчал полковник. — Украдена всего лишь жестянка с макаронами. Бросьте это дело.

— Странно, — сказал сыщик Пиштора, — что не сперли ничего больше.

— Да, очень странно, — мрачно согласился полковник. — Но вас это не касается.

— Наверное, ему кто-нибудь помешал, — просиял Пиштора, осененный внезапной догадкой.

— Итак, всего хорошего, — отрубил полковник.

— Прошу извинения, — недоверчиво улыбаясь, сказал Пиштора. — Мне надо бы сперва осмотреть эту кладовку.

Полковник хотел было закричать на него, но смирился.

— Пойдемте, — сказал он неохотно и повел человечка к кладовке.

Пиштора с интересом оглядел кладовку.

— Ну да, — сказал он удовлетворенно, — окно открыто долотом. Это был Пепик или Андрлик.

— Кто, кто? — поспешно переспросил полковник.

— Пепик или Андрлик. Их работа. Но Пепик сейчас, кажется, сидит. Если было бы выдавлено стекло, это мог бы быть Дундр, Лойза, Новак, Госичка или Климент. Но здесь, судя по всему, работал Андрлик.

— Смотрите не ошибитесь, — пробурчал полковник.

— Вы думаете, что появился новый специалист по кладовкам? — спросил Пиштора и сразу стал серьезным. — Едва ли. Собственно говоря, Мертл тоже иногда работает долотом, но он не занимается кладовыми.

Никогда. Он обычно влезает в квартиру через окно уборной и берет только белье. — Пиштора снова оскалил свои беличьи зубы. — Ну так я забегу к Андрлику.

— Кланяйтесь ему от меня, — проворчал полковник. «Как потрясающе тупы эти полицейские сыщики, — думал он, оставшись наедине со своими мрачными мыслями. — Ну, хоть бы поинтересовался оттисками пальцев или следами, в этом был бы какой-то криминалистический подход. А так идиотски браться за дело! Куда нашей полиции до контрразведки! Хотел бы я знать, что сейчас делает Врзал...»

Полковник не удержался от соблазна позвонить Врзалу. После получаса бурных объяснений с телефонистками он наконец был соединен с подполковником.

— Алло! — начал он медовым голосом. — Говорит Гампл. Скажи, пожалуйста, как дела?.. Я знаю, что ты не имеешь права, я только... Если бы ты был так добр и сказал только — удалось ли... О господи, все еще ничего? Я знаю, что трудное дело, но... Еще минуточку, Врзал, прошу тебя. Понимаешь, я бы охотно объявил награду в десять тысяч тому, кто найдет вора. Из моих личных средств, понимаешь? Больше я дать не могу, но за такую услугу... Я знаю, что нельзя, ну а если приватно... Ну ладно, ладно, это будет мое частное дело, официально этого нельзя, я знаю. Или, может, разделить эту сумму между сыщиками из полиции, а? Разумеется, ты об этом ничего не знаешь... Но если бы ты намекнул этим людям, что, мол, полковник Гампл обещал десять тысяч... Ну, ладно, пусть это сделает твой вахмистр... Пожалуйста! Ну, спасибо, извини!

Полковнику как-то полегчало после этой беседы и своих щедрых посулов. Ему казалось, что теперь и он как-то участвует в розысках проклятого шпиона, выкравшего документ. Устав от волнений, он лег на диван и представил себе, как сто, двести, триста сыщиков, (все рыжие, все с беличьими зубами и ухмыляющиеся, как Пиштора) обыскивают поезда, останавливают несущиеся к границе автомашины, подстерегают свою добычу за углом и вырастают из-под земли со словами: «Именем закона! Следуйте за мной и храните молчание». Потом полковнику померещилось, что он в академии сдает экзамен по баллистике. Он застонал и проснулся в холодном поту. Кто-то звонил у дверей.

Полковник вскочил, стараясь сообразить, в чем дело. В дверях показались беличьи зубы сыщика Пишторы.

— Вот и я, — сказал он. — Разрешите доложить, это был он.

— Кто? — не понимая, спросил полковник.

— Как кто? Андрлик! — удивился Пиштора и даже перестал ухмыляться. — Больше ведь некому. Пепик-то сидит в Панкраце.

— А ну вас с вашим Андрликом, — нетерпеливо отмахнулся полковник.

Пиштора вытаращил свои блеклые глаза.

— Но ведь Андрлик украл жестянку с макаронами из вашей кладовой, — сказал он обиженным тоном. — Он уже сидит у нас в участке. Я, извиняюсь, пришел только спросить... Андрлик говорит, что там не было макарон, а только бумаги. Врет или как?

— Молодой человек! — вскричал полковник вне себя. — Где эти бумаги?

— У меня в кармане, — осклабился сыщик. — Куда же это я их сунул? — говорил он, роясь в карманах люстринового пиджачка. — Ага, вот. Это ваши?

Полковник вырвал из рук Пишторы драгоценный документ № 139/УП отд. «С» и даже прослезился от радости.

— Дорогой мой, — бормотал он. — Я готов вам за это отдать... не знаю что. Жена! — закричал он. — Поди сюда! Это господин полицейский комиссар... господин инспектор... э-э-э...

— Агент Пиштора, — осклабясь, сказал человечек.

— Он нашел украденный документ, — разливался полковник. — Принеси же коньяк и рюмки... Господин Пиштора, я... Вы даже не представляете себе... Если бы вы знали... Выпейте, господин Пиштора!

— Есть о чем говорить... — ухмылялся Пиштора. — Славный коньячок! А жестянка, мадам, осталась в участке.

— Черт с ней, с жестянкой! — блаженно шумел полковник. — Но, дорогой мой, как вам удалось так быстро найти документы? Ваше здоровье, господин Пиштора!

— Покорно благодарю, — учтиво отозвался сыщик. — Ах, господи, это же пустяковое дело. Если где очистят кладовку, значит, ясно, что надо взяться за Андрлика или Пепика. Но Пепик сейчас отсиживает два месяца.

А ежели, скажем, очистят чердак, то это специальность Писецкого, хромого Тондеры, Канера, Зимы или Гоуски.

— Смотрите-ка! — удивился полковник. — Слушайте, ну, а что, если, к примеру, шпионаж? Прошу еще рюмочку, господин Пиштора.

— Покорно благодарю. Шпионажем мы не занимаемся. А вот кража бронзовых дверных ручек — это Ченек и Пинкус. По медным проводам теперь только один мастер — некто Тоушек. Пивными кранами занимаются Ганоусек, Бухта и Шлезингер. У нас все известно наперед. А взломщиков касс по всей республике — ик! — двадцать семь человек. Шестеро из них сейчас в тюрьме.

— Так им и надо! — злорадно сказал полковник. — Выпейте, господин Пиштора.

— Покорно благодарю, — сказал Пиштора. — Я много не пью. Ваше здоровьице! Воры — ик! — знаете, неинтеллигентный народ. Каждый знает только одну специальность и работает на один лад, пока мы его опять не поймаем. Вроде вот как этот Андрлик. «Ах, — сказал он, завидев меня, — господин Пиштора! Пришел не иначе как насчет той кладовой. Господин Пиштора, ей-богу, не стоящее дело, ведь мне там достались только бумаги в жестянке. Скорей сдохнешь, чем украдешь что-нибудь путное». — «Идем, дурень, — говорю я ему, — получишь теперь не меньше года».

— Год тюрьмы? — сочувственно спросил полковник. — Не слишком ли строго?

— Ну, как-никак кража со взломом, — ухмыльнулся Пиштора. — Премного благодарен, мне пора. Там в одной лавке обчистили витрину, надо заняться этим делом. Ясно, что это работа Клечки или Рудла. Если я вам еще понадоблюсь, пошлите в участок. Спросите только Пиштору.

— Послушайте, — сказал полковник. — Я бы вам... за вашу услугу... Видите ли, этот документ... в нем нет ничего особенного, но я не хотел бы его потерять... Вот вам, пожалуйста, возьмите, — быстро закончил он и сунул Пишторе бумажку в пятьдесят крон. Пиштора был приятно поражен и даже стал серьезным.

— Ах, право, не за что! — сказал он, быстро пряча кредитку. — Такой пустяковый случай. Премного благодарен. Если я вам понадоблюсь...

— Я дал ему пятьдесят крон, — благодушно объявил жене полковник Гампл. — Такому болвану хватило бы и двадцати, но... — полковник махнул рукой, — будем великодушны, ведь документ-то нашелся!

Человек, который никому не нравился

— Господин Колда, — сказал Пацовский вахмистру Колде, — у меня тут кое-что есть для вас.

Пацовский во времена Австро-Венгерской монархии тоже был полицейским и даже служил в конной полиции, но после войны никак не мог приспособиться к новым порядкам и ушел на пенсию. Малость поосмотревшись, он наконец арендовал деревенскую гостиницу под названием «На вышке». Гостиница была, конечно, где-то на отшибе, но теперь это как раз начинает нравиться людям: всякие там загородные прогулки, сельский пейзаж, купание в озерах и разные такие вещи.

— Господин Колда, — сказал Пацовский, — я тут чего-то не возьму в толк. Остановился у меня один гость, некий Ройдл, живет уже две недели, и ничего ты о нем не скажешь: платит исправно, не пьянствует, в карты не играет, но... Знаете что, — вырвалось у Пацовского, — зайдите как-нибудь взглянуть на него.

— А в чем же дело? — спросил Колда.

— В том-то и загвоздка, — продолжал Пацовский огорченно, — что я и сам не знаю. Ничего, кажется, особенного в нем нет, но как бы это вам сказать? Этот человек мне не нравится, и баста.

— Ройдл, Ройдл, — вслух размышлял вахмистр Колда. — Это имя мне ничего не говорит. Кто он?

— Не знаю, — сказал Пацовский. — Говорит, банковский служащий, но я не могу из него вытянуть название банка. Не нравится мне это. С виду такой учтивый, а... И почта ему не приходит. Мне кажется, он избегает людей. И это мне тоже не нравится.

— Как это — избегает людей? — заинтересовался Колда.

— Он не то чтобы избегает, — как-то неуверенно продолжал Пацовский, — но... скажите, пожалуйста, кому

охота в сентябре сидеть в деревне? А если перед гостиницей остановится машина, так он вскочит даже во время еды и спрячется в свою комнату. Вот оно как! Говорю вам, не нравится мне этот человек.

Вахмистр Колда на минутку задумался.

— Знаете, господин Пацовский, — мудро решил он. — Скажите-ка ему, что на осень вы свою гостиницу закрываете. Пусть себе едет в Прагу или куда-нибудь еще. Зачем нам держать его здесь? И дело с концом.

На следующий день, в воскресенье, молодой жандарм Гурих, по прозвищу Маринка или Паненка, возвращался с обхода; по дороге решил он заглянуть в гостиницу. И прямо из леса черным ходом направился во двор. Подойдя к двери, Паненка остановился, чтобы прочистить трубку, и тут услышал, как во втором этаже растворилось со звоном окно и из него с шумом что-то вывалилось. Паненка выскочил во двор и схватил за плечо человека, который ни с того ни с чего вздумал прыгать из окна.

— Что это вы делаете? — укоризненно спросил жандарм.

У человека, которого он держал за плечо, лица было бледно и невыразительно.

— Разве нельзя прыгать? — спросил он робко. — Я ведь здесь живу.

Жандарм Паненка не долго обдумывал ситуацию.

— Может быть, вы тут и живете, — сказал он, — но мне не нравится, что вы прыгаете из окна.

— Я не знал, что это запрещено, — оправдывался человек с невыразительным лицом. — Спросите господина Пацовского, он подтвердит, что я здесь живу. Я Ройдл.

— Может быть, — произнес жандарм. — Тогда предъявите мне ваши документы.

— Документы? — неуверенно спросил Ройдл. — У меня нет с собой никаких документов. Я попрошу их прислать.

— Мы уж сами их запросим, — сказал Паненка не без удовольствия. — Пройдемте со мной, господин Ройдл.

— Куда? — воспротивился Ройдл, и лицо его стало просто серым. — По какому праву... На каком основании вы хотите меня арестовать?

— Потому что вы мне не нравитесь, господин Ройдл, — заявил Паненка. — Хватит болтать, пошли.

В жандармском участке сидел вахмистр Колда в теплых домашних туфлях, курил длинную трубку и читал ведомственную газету. Увидев Паненку с Ройдлом, он разразился страшным криком:

— Мать честная, Маринка, что же вы делаете? Даже в воскресенье покоя не даете! Почему именно в воскресенье вы тащите ко мне людей?

— Господин вахмистр, — отрапортовал Паненка, — этот человек мне не понравился. Когда он увидел, что я подхожу к гостинице, то выпрыгнул во двор из окна и хотел удрать в лес. Документов у него тоже нет. Я его и забрал. Это какой-то Ройдл.

— Ага, — сказал Колда с интересом, — господин Ройдл. Так вы уже попались, господин Ройдл.

— Вы не можете меня арестовать, — беспокойно пробормотал Ройдл.

— Не можем, — согласился вахмистр, — но мы можем вас задержать, не правда ли? Маринка, сбегайте в гостиницу, осмотрите комнату задержанного и принесите сюда его вещи. Садитесь, господин Ройдл.

— Я... я отказываюсь давать какие-либо показания... — заикаясь, произнес расстроенный Ройдл. — Я буду жаловаться. Я протестую.

— Мать честная, господин Ройдл, — вздохнул Колда. — Вы мне не нравитесь. И возиться с вами я не стану. Садитесь вон там и помалкивайте.

Колда снова взял газету и продолжал читать.

— Послушайте, господин Ройдл, — сказал вахмистр немного погодя. — Что-то у вас не в порядке. Это прямо по глазам видно. На вашем месте я бы рассказал все и обрел наконец покой. А не хотите — не надо. Дело ваше.

Ройдл сидел бледный и обливался потом. Колда посмотрел на него, скорчил презрительную гримасу и пошел поворошить грибы, которые у него сушились над печкой.

— Послушайте, господин Ройдл, — начал опять Колда после некоторого молчания. — Пока мы будем устанавливать вашу личность, вы будете сидеть в здании суда, и никто там не станет с вами разговаривать. Не сопротивляйтесь, дружище!

Ройдл продолжал молчать, а Колда что-то разочарованно ворчал и чистил трубку.

— Ну, хорошо, — сказал он. — Вот посмотрите: пока мы вас опознаем, может, и месяц пройдет, но этот месяц, Ройдл, вам не присчитают к сроку наказания. А ведь жаль зря просидеть целый месяц.

— А если я признаюсь, — нерешительно спросил Ройдл, — тогда...

— Тогда сразу же начнется предварительное заключение, понимаете? — объяснил Колда. — И этот срок вам зачтут. Ну, поступайте как знаете. Вы мне не нравитесь, в я буду рад, когда вас увезут отсюда в краевой суд. Так-то, господин Ройдл.

Ройдл вздохнул, в его бегающих глазах появилось горестное и какое-то загнанное выражение.

— Почему? — вырвалось у него, — почему все мне говорят, что я им не нравлюсь?

— Потому что вы чего-то боитесь, — наставительно сказал Колда, — вы что-то скрываете, а это никому не нравится. Почему вы, Ройдл, никому не смотрите в глаза? Ведь вам нигде нет покоя. Вот в чем дело, господин Ройдл.

— Роснер, — поправил бледный человек удрученно.

Колда задумался.

— Роснер, Роснер, подождите. Какой это Роснер? Это имя мне почему-то знакомо.

— Так ведь я Фердинанд Роснер! — выкрикнул человек.

— Фердинанд Роснер, — повторил Колда. — Это уже мне кое-что напоминает. Роснер Фердинанд...

— Депозитный банк в Вене, — подсказал вахмистру бледный человек.

— Ага, — радостно воскликнул Колда. — Растрата! Вспомнил! Дружище, ведь у нас уже три года лежит ордер на ваш арест. Так, значит, вы Роснер, — повторил он с удовольствием. — Что же вы сразу не сказали? Я вас чуть не выставил, а вы Роснер! Маринка! — обратился Колда к входящему жандарму Гуриху, — ведь это Роснер, растратчик.

— Я попрошу... — сказал Роснер и как-то болезненно вздрогнул.

— Вы к этому привыкнете, Роснер, — успокоил его Колда. — Будьте довольны, что все уже выяснилось. Скажите, бога ради, милый человек, где же вы все эти годы прятались?

— Прятался, — горько сознался Роснер, — или в спальных вагонах, или в самых дорогих отелях. Там тебя никто не спросит, кто ты и откуда прибыл.

— Да, да, — сочувственно поддакнул Колда. — Я понимаю, это действительно огромные расходы!

— Еще бы, — с облегчением произнес Роснер, — разве я мог заглянуть в какой-нибудь плохонький отель, где, того и гляди, нарвешься на полицейскую облаву? Господи! Да ведь все это время я вынужден был жить не по средствам! Дольше трех ночей нигде не оставался. Вот только здесь... но тут-то вы меня и сцапали.

— Да, жаль, конечно, — утешал его Колда. — Но ведь у вас все равно кончались деньги, неправда ли, Роснер?

— Да, — согласился Роснер. — Сказать по правде, больше я все равно бы не выдержал. За эти три года я ни с кем по душам не поговорил. Вот только сейчас. Не мог даже поесть как следует. Едва взглянет кто, я уже стараюсь исчезнуть. Все смотрели на меня как-то подозрительно, — пожаловался Роснер. — И все казалось, что они из полиции. Представьте себе, и господин Пацовский тоже.

— Не обращайте на это внимания, — сказал Колда. — Пацовский тоже бывший полицейский.

— Вот видите! — проворчал Роснер. — Попробуй тут скройся! Но почему все смотрели на меня так подозрительно? Разве я похож на преступника?

Колда испытующе поглядел на него.

— Я вам вот что скажу, Роснер, — произнес он. — Теперь уже нет. Теперь вы уже выглядите совсем как обычный человек. Но раньше вы мне, приятель, не нравились. Я даже не знаю, что всех против вас так восстанавливало... Но, — решительно добавил Колда, — Маринка сейчас отведет вас в суд. Еще нет шести часов, и сегодняшний день вам зачтут. Не будь сегодня воскресенья, я бы сам вас отвел. Чтобы вы знали, что... что против вас мы ничего не имеем. Все это было из-за вашей необщительности, Роснер. А теперь все в порядке. Маринка, наденьте ему наручники!

* * *

— Знаете, Маринка, — заявил вечером Колда, — я вам скажу, мне этот Роснер понравился. Очень милый человек, не правда ли? Я думаю, больше года ему не дадут.

— Я попросил, — сказал жандарм Паненка, *краснея*, — чтобы ему принесли два одеяла. Он ведь не привык спать на тюремной койке.

— Это *хорошо*, — заметил *Колда*. — А я скажу надзирателю, чтобы он поболтал с ним немного. Пусть этот Роснер снова почувствует себя среди людей.

Поэт

Заурядное происшествие: в четыре часа утра на Житной улице автомобиль сбил с ног пьяную старуху и скрылся, развив бешеную скорость. Молодому полицейскому чиновнику д-ру Мейзлику предстояло отыскать это авто. Как известно, молодые полицейские чиновники относятся к делам очень серьезно.

— *Гм...* — сказал Мейзлик полицейскому номер *141*. — Итак, вы увидели в трехстах метрах от вас быстро удалявшийся автомобиль, а на земле — распростертое тело. Что вы прежде всего сделали?

— Прежде всего подбежал к *пострадавшей*, — начал *полицейский*, — чтобы оказать ей первую помощь.

— Сначала надо было заметить номер *машины*, — проворчал Мейзлик, — а потом уже заниматься этой бабой... Впрочем, и я, вероятно, поступил бы *также*, — добавил он, почесывая голову карандашом. — Итак, номер машины вы не заметили. Ну, а другие приметы?

— *По-моему*, — неуверенно сказал полицейский номер 141, — она была темного цвета. Не то синяя, не то темно-красная. Из глушителя валил дым, и ничего не было видно.

— О, господи! — огорчился *Мейзлик*. — Ну, как же мне теперь найти машину? Бегать от шофера к шоферу и спрашивать: «Это не вы переехали старуху?» Как тут быть, скажите сами, любезнейший?

Полицейский почтительно и равнодушно пожал плечами.

— Осмелюсь доложить, у меня записан один свидетель. Но он тоже ничего не знает. Он ждет рядом в комнате.

— Введите его, — мрачно сказал Мейзлик, тщетно стараясь выудить что-нибудь в куцем протоколе. — Фамилия и местожительство? — машинально обратился он к вошедшему, не поднимая взгляда.

— Кралик Ян — студент механического факультета, — отчетливо произнес свидетель.

— Вы были очевидцем того, как сегодня в четыре часа утра неизвестная машина сбила Божену Махачкову?

— Да. И я должен заявить, что виноват шофер. Судите сами, улица была совершенно пуста, и если бы он сбавил ход на перекрестке...

— Как далеко вы были от места происшествия? — прервал его Мейзлик.

— В десяти шагах. Я провожал своего приятеля из... из кафе, и когда мы проходили по Житной улице...

— А кто такой ваш приятель? — снова прервал Мейзлик. — Он тут у меня не значится.

— Поэт Ярослав Нерад, — не без гордости ответил свидетель. — Но от него вы ничего не добьетесь.

— Это почему же? — нахмурился Мейзлик, не желая выпустить из рук даже соломинку.

— Потому, что он... у него... такая поэтическая натура. Когда произошел несчастный случай, он расплакался, как ребенок, и побежал домой... Итак, мы шли но Житной улице; вдруг откуда-то сзади выскочила машина, мчавшаяся на предельной скорости...

— Номер машины?

— Извините, не заметил. Я обратил внимание лишь на бешеную скорость и говорю себе — вот...

— Какого типа была машина? — прервал его Мейзлик.

— Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, — деловито ответил студент-механик. — Но в марках я, понятно, не разбираюсь.

— А какого цвета кузов? Кто сидел в машине? Открытая или лимузин?

— Не знаю, — смущенно ответил свидетель. — Цвет, кажется, черный. Но, в общем, я не заметил, потому что, когда произошло несчастье, я как раз обернулся к приятелю: «Смотри, говорю, каковы мерзавцы: сбили человека и даже не остановились».

— Гм... — недовольно буркнул Мейзлик. — Это, конечно, естественная реакция, но я бы предпочел, чтобы вы заметили номер машины. Просто удивительно, до чего

не наблюдательны люди. Вам ясно, что виноват шофер, вы правильно заключаете, что эти люди мерзавцы, а на номер машины вы — ноль внимания. Рассуждать умеет каждый, а вот по-деловому наблюдать окружающее... Благодарю вас, господин Кралик, я вас больше не задерживаю.

Через час полицейский номер 141 позвонил у дверей поэта Ярослава Нерада.

— Дома, — ответила хозяйка квартиры. — Спит.

Разбуженный поэт испуганно вытаращил заспанные глаза на полицейского. «Что же я такого натворил?» — мелькнуло у него в голове.

Полицейскому наконец удалось объяснить Нераду, зачем его вызывают в полицию.

— Обязательно надо идти? — недоверчиво осведомился поэт. — Ведь я все равно уже ничего не помню. Ночью я был немного...

— Под мухой, — понимающе сказал полицейский. — Я знаю многих поэтов. Прошу вас одеться. Я подожду.

По дороге они разговаривали о кабаках, о жизни вообще, о небесных знамениях и многих других вещах; только политике были чужды оба. Так, в дружеской и поучительной беседе, они дошли до полиции.

— Вы поэт Ярослав Нерад? — спросил Мейзлик. — Вы были очевидцем того, как неизвестный автомобиль сбил Божену Махачкову?

— Да, — вздохнул поэт.

— Можете вы сказать, какая это была машина? Открытая, закрытая, цвет, количество пассажиров, номер?

Поэт усиленно размышлял.

— Не знаю, — сказал он. — Я на это не обратил внимания.

— Припомните какую-нибудь мелочь, подробность, — настаивал Мейзлик.

— Да что вы! — искренне удивился Нерад. — Я никогда не замечаю подробностей.

— Что же вы вообще заметили, скажите, пожалуйста? — иронически осведомился Мейзлик.

— Так, общее настроение, — неопределенно ответил поэт. Эту, знаете ли, безлюдную улицу... длинную... предрассветную... И женская фигура на земле... Постойте! — вдруг вскочил поэт. — Ведь я написал об этом стихи, когда пришел домой.

Он начал рыться в карманах, извлекая оттуда счета, конверты, измятые клочки бумаги.

— Это не то, и это не то... Ага, вот оно, кажется. — И он погрузился в чтение строчек, написанных на оборотной стороне конверта.

— Покажите мне, — снисходительно предложил Мейзлик.

— Право, это не из лучших моих стихов, — скромничал поэт. — Но если хотите, я прочту.

Закатив глаза, он начал декламировать нараспев:

Дома в строю темнели сквозь ажур,
Рассвет уже играл на мандолине.
Краснела дева.
    В дальний Сингапур
Вы уносились в гоночной машине.
Повержен в пыль надломленный тюльпан.
Умолкла страсть. Безволие... Забвенье.
О шея лебедя!
О грудь!
О барабан и эти палочки —
                трагедии знаменье!

— Вот и все, — сказал поэт.

— Извините, что все это значит? — спросил Мейзлик. — О чем тут, собственно, речь?

— Как о чем? О происшествии с машиной, — удивился поэт. — Разве вам непонятно?

— Не совсем, — критически изрек Мейзлик. — Как-то из всего этого я не могу установить, что «июля пятнадцатого дня, в четыре часа утра, на Житной улице автомобиль номер такой-то сбил с ног шестидесятилетнюю нищенку Божену Махачкову, бывшую в нетрезвом виде. Пострадавшая отправлена в городскую больницу и находится в тяжелом состоянии». Обо всех этих фактах в ваших стихах, насколько я мог заметить, нет ни слова. Да-с.

— Все это внешние факты, сырая действительность, — сказал поэт, теребя себя за нос. — А поэзия — это внутренняя реальность. Поэзия — это свободные сюрреалистические образы, рожденные в подсознании поэта, понимаете? Это те зрительные и слуховые ассоциации, которыми должен проникнуться читатель. И тогда он поймет, — укоризненно закончил Нерад.

— Скажите пожалуйста! — воскликнул Мейзлик. — Ну, ладно, дайте мне этот ваш опус. Спасибо. Итак, что

же тут говорится? Гм... «Дома в строю темнели сквозь ажур...» Почему в строю? Объясните-ка это.

— Житная улица, — безмятежно сказал поэт. — Два ряда домов. Понимаете?

— А почему это не обозначает Национальный проспект? — скептически осведомился Мейзлик.

— Потому что Национальный проспект не такой прямой, — последовал уверенный ответ.

— Так, дальше: «Рассвет уже играл на мандолине...» Допустим. «Краснела дева...» Извиняюсь, откуда же здесь дева?

— Заря, — лаконически пояснил поэт.

— Ах, прошу прощения. «В дальний Сингапур вы уносились в гоночной машине»?

— Так, видимо, был воспринят мной тот автомобиль, — объяснил поэт.

— Он был гоночный?

— Не знаю. Это лишь значит, что он бешено мчался. Словно спешил на край света.

— Ага, так. В Сингапур, например? Но почему именно в Сингапур, боже мой?

Поэт пожал плечами.

— Не знаю, может быть, потому, что там живут малайцы.

— А какое отношение имеют к этому малайцы? А?

Поэт замялся.

— Вероятно, машина была коричневого цвета, — задумчиво произнес он. — Что-то коричневое там непременно было. Иначе откуда взялся бы Сингапур?

— Так, — сказал Мейзлик. — Другие свидетели говорили, что авто было синее, темно-красное и черное. Кому же верить?

— Мне, — сказал поэт. — Мой цвет приятнее для глаза.

— «Повержен в пыль надломленный тюльпан», — читал далее Мейзлик. — «Надломленный тюльпан» — это, стало быть, пьяная побирушка?

— Не мог же я так о ней написать! — с досадой сказал поэт. — Это была женщина, вот и все. Понятно?

— Ага! А это что: «О шея лебедя, о грудь, о барабан!» Свободные ассоциации?

— Покажите, — сказал, наклонясь, поэт. — Гм... «О шея лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки...» Что бы все это значило?

— Вот и я то же самое *спрашиваю*, — не без язвительности заметил полицейский чиновник.

— *Постойте*, — размышлял *Нерад*. — Что-нибудь подсказало мне эти образы... Скажите, вам не кажется, что двойка похожа на лебединую шею? Взгляните.

И он написал карандашом 2.

— Ага! — уже не без интереса воскликнул *Мейзлик*. — Ну, а это: «грудь»?

— Да ведь это цифра три, она состоит из двух округлостей, не так ли?

— Остаются барабан и палочки! — взволнованно воскликнул полицейский чиновник.

— *Барабан и палочки*... — размышлял *Нерад*. — Барабан и палочки... Наверно, это пятерка, а? *Смотрите*, — он написал цифру 5. — Нижний кружок словно барабан, а над ним палочки.

— *Так*, — сказал Мейзлик, выписывая на листке цифру 235. — Вы уверены, что номер авто был двести тридцать пять?

— Номер? Я не заметил никакого *номера*, — решительно возразил *Нерад*. — Но что-то такое там было, иначе бы я так не написал. По-моему, это самое удачное место? Как вы думаете?

Через два дня Мейзлик зашел к Нераду. На этот раз поэт не спал. У него сидела какая-то девица, и он тщетно пытался найти стул, чтобы усадить полицейского чиновника.

— *Я на минутку*, — сказал *Мейзлик*. — Зашел только сказать вам, что это действительно было авто номер двести тридцать пять.

— Какое авто? — изумился поэт.

— «О шея лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки»! — одним духом выпалил Мейзлик. — И насчет Сингапура правильно. Авто было коричневое.

— Ага! — вспомнил поэт. — Вот видите, что значит внутренняя реальность. Хотите, я прочту вам два-три моих стихотворения? Теперь-то вы их поймете.

— В другой раз! — поспешил ответить полицейский чиновник. — Когда у меня опять будет такой случай, ладно?

Происшествия с паном Яником

Пан Яник, о котором пойдет речь, это не доктор Яник из министерства, не тот Яник, что застрелил землевладельца Ирсу, и даже не торговый посредник Яник, который прославился тем, что ему удались подряд триста двадцать шесть карамболей, а пан Яник, глава фирмы «Яник и Голечек, оптовая торговля бумагой и целлюлозой». Это вполне добропорядочный господин, только невысокого роста. Когда-то он ухаживал за барышней Северовой, а расстроившись после неудачного сватовства, так никогда и не женился; словом, во избежание недоразумений, речь пойдет о Янике по прозванию Оптовик.

Так вот, значит, этого пана Яника впутали в сыскные дела совершенно случайно, когда он отдыхал где-то на С*а*заве; в то время искали Ружену Регнерову, убитую ее женихом Индржихом Баштой; облив труп керосином, он сжег его да и закопал в лесу. Хотя Башту в убийстве уличили, но ни трупа, ни костей его жертвы найти не могли; уже девять дней блуждали жандармы по лесам, где Башта показывал им различные места; сыщики рылись и копали, но нигде ничего не обнаружили. Было ясно, что обессилевший Башта или сам запутался, или рассчитывает выиграть время. Этот Индржих Башта происходил из состоятельной семьи, но, скорее всего, акушер во время родов как-то повредил ему голову; словом, после этого у парня «колесиков не хватало» — такой он был чудной и распутный малый. Ну вот, девять дней водил Башта жандармов по лесам, сам бледный, как привидение; глаза бегают, веки дрожат от ужаса — страх глядеть, да и только. Жандармы таскались за ним по черничным кустам и болотам, от злости только что не кусались, а про себя думали: «Ну ладно, бестия, мы тебя изведем — все равно пощады запросишь!» Башта, едва переставлявший ноги от изнеможения, порою валился на землю и хрипел: «Вот здесь, здесь я ее закопал!»

— Встань, Башта! — орал на него ж а н д а р м. — Не здесь. Пошел дальше!

Башта, шатаясь, поднимался и плелся еще немножко, пока снова не падал от усталости. Так и шествовала эта

процессия: четыре жандарма, двое агентов в штатском, несколько лесников, дядьки с мотыгами и с трудом державшийся на ногах, мертвенно-бледный обломок человека — Индржих Башта.

Пан Яник познакомился с жандармами в трактире, и ему позволили сопровождать это трагическое шествие, то есть никто не гнал его — нечего, мол, тебе тут делать. К тому же, в запасе у пана Яника имелись коробочки сардинок, колбаса, коньяк и все такое прочее, что оказалось весьма кстати. Но на девятый день всем стало невмоготу. Совсем невмоготу. И пан Яник решил, что пойти еще раз его не заманишь. Жандармы прямо-таки ревели от ярости; лесники заявили, что с них довольно, что их давно ждут другие дела; дядьки с мотыгами ворчали, что за этакую каторгу двадцати крон в день мало, а рухнувший на землю Индржих Башта корчился в судорогах и уже не отвечал на крики и брань жандармов. И в эту полную безысходности минуту пан Яник совершил нечто неожиданное: он опустился перед Баштой на колени, сунул ему в руки бутерброд с ветчиной и жалостливо так произнес:

— Прошу, пан Башта, — ну вот, пан Башта, вы слышите?

Башта взвыл и разразился плачем.

— Я найду... найду... — всхлипывал он и попытался подняться; тут к нему подскочил один из тайных агентов и почти нежно подхватил под руки.

— Обопритесь на меня, пан Башта, — уговаривал он его, — пан Яник поддержит вас с другой стороны, вот так. А теперь, пан Башта, теперь вы покажете пану Янику, где это случилось, не правда ли?

Через час Индржих Башта, дымя сигаретой, стоял над неглубокой ямой, откуда торчала берцовая кость.

— Это труп Ружены Регнеровой? — подавленно спросил вахмистр Трнка.

— Да, — невозмутимо ответил Индржих Башта и стряхнул пальцем пепел прямо в разверстую яму. — Не угодно ли господам узнать что-нибудь еще?

— Послушайте, пан Яник, — восторгался вечером в трактире вахмистр Трнка. — Вы настоящий психолог, ничего не скажешь. Ваше здоровье, пан Яник! Парень растаял, стоило вам обратиться к нему: «Пан Башта!» Его человеческое достоинство страдало, видите ли! Мерзавец

этакий! А мы-то, мы-то таскались за ним... Но ради бога — как вы догадались, что на него подействует вежливое обращение?

— Да просто, — ответствовал герой дня, от смущения заливаясь румянцем, — ничего особенного... У меня привычка такая, понимаете? Мне то есть жалко стало этого пана Башту, захотелось угостить его булочкой...

— Инстинкт, — определил вахмистр Трнка. — Вот это я называю нюх и знание людей. Ваше здоровье, пан Яник. Эх, жаль, надо бы вам работать по нашей части.

* * *

Некоторое время спустя ехал пан Яник ночным поездом в Братиславу — на общее собрание акционеров какой-то словацкой бумажной фабрики: пан Яник постоянно имел с нею дела и был весьма заинтересован в том, чтобы попасть на это заседание.

— Разбудите меня перед Братиславой, — попросил он проводника, — а то еще завезут на самую границу.

После этого пан Яник влез в купе спального вагона, радуясь, что едет один, улегся удобненько, словно покойничек, поразмышлял маленько о своей торговле и заснул. Он даже не сообразил, в котором часу проводник открыл купе новому пассажиру: раздевшись, тот взобрался на верхнюю полку. Спросонья пан Яник увидел над головой пару штанин и необычайно волосатые ноги, услышал кряхтенье человека, закутывающегося в одеяло; потом щелкнул выключатель, и снова все погрузилось в грохочущую колесным перестуком темноту.

Пан Яник спал беспокойно, его все преследовали какие-то волосатые ноги; проснулся он оттого, что долго было тихо, а за вагонным окном кто-то прокричал: «До встречи в Жилине!» Подскочив к окну, он увидел, что на улице уже светло, что поезд стоит на братиславском вокзале, и понял — проводник забыл про его наказ. С перепуга он не стал даже ругаться, с лихорадочной поспешностью, прямо на пижаму, натянул брюки и прочую верхнюю одежду, распихал по карманам свои пожитки и выскочил на перрон как раз в тот момент, когда дежурный по станции поднял руку, давая сигнал к отправлению поезда.

«Тьфу!» — плюнул в сердцах пан Яник, погрозил кулаком отъезжающему скорому и отправился в уборную завершать свой туалет.

Проверив содержимое карманов, пан Яник остолбенел: в нагрудном кармане вместо одного бумажника он обнаружил два. В более пухлом оказалось шестьдесят новеньких чехословацких купюр достоинством в пятьсот крон каждая. Очевидно, бумажник принадлежал его ночному попутчику, но как он очутился в его кармане, этого заспанный пан Яник сообразить был не в силах. Разумеется, перво-наперво он кинулся искать кого-нибудь из полиции, чтобы избавиться от чужого бумажника. В полиции пана Яника долго морили голодом и звонили в Галанту — дескать, пусть передадут пассажиру ночного скорого, занимающему четырнадцатое место, что его бумажник с деньгами находится в братиславском полицейском участке. После этого пан Яник сообщил свои данные и отправился завтракать. Однако вскоре его разыскал полицейский и все интересовался, нет ли в сведениях пана Яника ошибки; оказывается, пассажир ночного скорого, занимающий четырнадцатое место, ответил, что никакого портмоне у него не пропадало. Пану Янику пришлось вернуться в участок и снова пояснять, как он обнаружил у себя чужой бумажник. Между тем два тайных агента куда-то отнесли переданные деньги, и пан Яник полчаса просидел под охраной двух детективов, после чего предстал перед каким-то высоким полицейским чином.

— Пан Я н и к , — обратился к нему этот ч и н , — мы сейчас телеграфируем в Паркань-Нанью, чтобы пассажир из вашего купе был задержан. Не припомните ли вы его приметы?

Пан Яник смог припомнить только одно: что у пассажира были необычайно волосатые ноги. Высокий чин остался не слишком доволен таким ответом.

— Эти банкноты — ф а л ь ш и в ы е , — ошеломил он пана Яника откровенным п р и з н а н и е м , — придется вам побыть у нас, пока мы не устроим вам очную ставку с вашим спутником.

Пан Яник на чем свет клял в душе проводника, который не разбудил его вовремя, из-за чего он в спешке засунул себе в карман этот треклятый бумажник. Приблизительно через час из Паркань-Наньи поступила депеша, что пассажир, занимающий четырнадцатое место,

вышел в Новых Замках; куда он пошел или поехал потом, никому неизвестно.

— Пан Яник, — объявил наконец высокий полицейский чин, — мы не станем дольше задерживать вас; мы передаем это дело в Прагу инспектору Грушке, он занимается фальшивомонетчиками; но вам я скажу, что дело, надо полагать, очень серьезное. Возвращайтесь поскорее в Прагу, там вас вызовут. А пока благодарю вас — вы весьма счастливо напали на эти фальшивки. Это, знаете ли, не простая случайность.

Не успел пан Яник вернуться в Прагу, как его призвали в полицейское управление; там его принял грузный, огромного роста человек, к которому все обращались «пан президент», и желтый, жилистый инспектор по фамилии Грушка.

— Садитесь, пан Яник, — предложил грузный господин и распечатал небольшой сверток. — Это — тот бумажник, который вы... гм... обнаружили у себя в кармане на братиславском вокзале?

— Да, с вашего позволения, — вздохнул пан Яник.

Грузный господин пересчитал новенькие банкноты, лежавшие в бумажнике.

— Шестьдесят купюр, — заметил он. — И все серии двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят один. Нам уже сообщили об этом номере из Хеба.

Жилистый инспектор взял в руки одну купюру и, закрыв глаза, помял ее пальцами, а потом обнюхал.

— Эти — из Граца, — сказал он. — Женевские не такие клейкие.

— Грац! — задумчиво повторил грузный чиновник, — там такие бумажки фабрикуют для Будапешта, а?

Жилистый человечек только моргнул в знак согласия.

— Вы хотите послать меня в Вену? Но тамошняя полиция нам его не выдаст.

— Гм, — буркнул грузный президент. — Тогда попробуйте заполучить его иным путем. Если не выйдет, пообещаем за него Лебергардта. Желаю успеха, Грушка. А вас, — сказал он, обращаясь к пану Янику, — и не знаю, как благодарить. Ведь невесту Индржиха Башты тоже вы нашли?

Пан Яник зарделся.

— Дак это просто счастливая случайность, — поспешно проговорил он. — Право, я... не думал даже...

— Легкая у вас рука, — с признательностью промолвил президент, — Не иначе как божий дар, пан Яник. Иной за всю жизнь ничего не раскроет, а тут дела одно другого лучше прямо сами собой лезут вам в руки. Вам бы к нам перейти, пан Яник.

— Да куда уж, — отнекивался пан Яник, — я... видите ли, у меня дело... налаженная торговля... старая фирма, еще от дедушки...

— Как знаете, — вздохнул толстяк, — но жаль. Такой дар — редкость. Но я с вами не прощаюсь, пан Яник.

* * *

Спустя месяц пан Яник ужинал со своим компаньоном из Дрездена. Само собой, такой деловой ужин всегда хорош, но в этот раз коньяк был просто отменный; словом, пану Янику никак не хотелось добираться домой пешком, и он, поманив кельнера, приказал: «Машину!» Выйдя из отеля, пан Яник увидел, что такси уже стоит у подъезда; забравшись внутрь, он захлопнул дверцу и, будучи в самом прекрасном расположении духа, начисто забыл сообщить шоферу адрес. Тем не менее машина набрала скорость, и пан Яник, удобно приткнувшись в уголке, заснул.

Как долго длилось путешествие, пап Яник не знал; проснулся он оттого, что машина остановилась и шофер отворил перед ним дверцу со словами:

— Это здесь. Поднимитесь наверх, сударь.

Хотя пан Яник очень удивился, очутившись невесть где, но, поскольку после выпитого коньяка ему и море было по колено, поднялся по какой-то лестнице наверх и открыл двери, из-за которых доносились громкие голоса.

В зале сидело около двадцати человек, все они нетерпеливо обернулись. И вдруг воцарилась немыслимая тишина; один из собравшихся встал и, подойдя к пану Янику, спросил:

— Чего вам тут нужно? Кто вы?

Ошеломленный пан Яник огляделся и узнал пять или шесть знакомых — очень богатых людей, о которых поговаривали, будто у них особые интересы в области политики; но в политические дела пан Яник не вмешивался.

— Бог помощь! — дружески приветствовал он собрание. — Вон там пан Коубек и пан Геллер. — Привет, Ферри! Я бы выпил, братцы!

— Откуда этот тип взялся? — рассвирепел кто-то. — Он что, тоже наш?

Двое незнакомцев вытолкали пана Яника в коридор.

— Как вы здесь очутились? — грубо спросил один из них. — Кто вас сюда звал?

Расслышав этот не слишком дружелюбный вопрос, пан Яник мгновенно протрезвел.

— Где я? — возмутился он. — Черт возьми, куда меня привезли?

Один из незнакомцев слетел вниз по лестнице и накинулся на шофера:

— Идиот, — орал он, — где вы подобрали этого человека?

— Возле гостиницы, — оборонялся шофер. — Сегодня после полудня я получил указание в десять часов остановиться у гостиницы и ждать какого-то господина, а потом доставить его сюда. Этот господин ровно в десять сел в машину, ни слова мне не сказал; вот я и доставил его сюда...

— Черт побери! — бесновался внизу какой-то человек, — так ведь это не тот! Ну и заварили вы кашу, голубчик!

Пап Яник смиренно уселся на ступеньках.

— Ах, значит, я попал на какое-то тайное сборище, — с удовольствием отметил он. — Теперь вы должны меня задушить, а труп зарыть в землю. Стакан воды!

— Вы заблуждаетесь, приятель, — сказал один из незнакомцев. — Там не было ни пана Коубека, ни пана Геллера, понятно? Это ошибка. Мы доставим вас в Прагу; извините, но произошло недоразумение.

— Ничего страшного не произошло, — великодушно произнес пап Яник. — Я понимаю, ваш шофер прикончит меня по дороге и зароет в лесу. Какая разница! Я, болван, забыл дать адрес, вот и влип в историю.

— Вы пьяны, да? — спросил незнакомец с явным облегчением.

— Отчасти, — подтвердил пан Яник. — Видите ли, я ужинал с Мейером из Дрездена. Яник, оптовая торговля бумагой и целлюлозой, — представился он, не поднимаясь со ступенек. — Старая фирма, унаследована от дедушки.

— Идите проспитесь, — посоветовал ему незнакомый господин. — Проспавшись, вы и не вспомните, что... гм... мы вас нечаянно потревожили.

— Совершенно верно, — с достоинством произнес пан Яник. — Идите и вы спать, голубчик. Где тут можно лечь?

— У вас дома, — произнес незнакомец. — Шофер подвезет вас. Позвольте, я помогу вам встать.

— Это лишнее, — запротестовал пан Яник. — Я нализался не больше вашего. Идите-ка и тоже проспитесь. Водитель, Бубенеч.

Машина повернула обратно; пан Яник, хитро помаргивая, примечал, куда это его везут.

Утром пан Яник сообщил в полицейское управление о своих ночных похождениях.

— Пан Яник, — после небольшой паузы ответили ему из президиума. — Это дело представляет для нас *чрезвычайный* интерес. Настоятельно просим вас *немедленно* явиться в полицию.

Пан Яник явился в полицию, где его уже поджидали четверо полицейских с толстяком-президентом во главе. Пришлось пану Янику повторить свой рассказ о том, что с ним случилось и кого он видел.

— Машина была под номером два икса семьсот пять, — уточнил толстяк. — Машина частная. Из шести названных паном Яником лиц, о троих я слышу впервые. Теперь я вас покину, господа. Пан Яник, зайдите ко мне!

Пан Яник, затаившись, словно мышь, сидел в огромном кабинете толстяка-президента, который в глубокой задумчивости расхаживал из угла в угол.

— Пан Яник, — проговорил он наконец, — прежде всего я должен попросить вас: никому ни слова — из государственных соображений, понятно?

Пан Яник молча кивнул. «Господи, — думал он, — во что это я снова вляпался?»

— Пан Яник, — внезапно предложил грузный президент, — я не хотел бы вам льстить, но вы нам необходимы. Вам дьявольски везет. Говорят, детективу прежде всего нужен метод: но если ему попросту не везет — он нам ни к чему. Нам нужны везучие люди. Разума у нас и и самих хватает, но мы желали бы приобрести счастливый случай. Знаете, идите-ка работать к нам, а?

— А торговля? — удрученно прошептал Яник.

— Торговлю поведет ваш компаньон; а вам, с вашим даром, тратить себя на это жалко; ну так как?

— Я... я еще подумаю о вашем предложении, — заикаясь, бормотал несчастный пан Яник. — Я к вам еще загляну на будущей неделе... Однако так ли уж это необходимо... и есть ли у меня способности... я еще проверю; я к вам загляну...

— Договорились, — согласился толстяк, крепко пожимая пану Янику руку. — Не сомневайтесь. До свидания.

* * *

Не прошло и недели, как пан Яник снова появился в полиции.

— Ну вот я и тут, — громко объявил он, сияя улыбкой.

— Решились? — спросил грузный полицейский президент.

— Упаси бог, — проговорил пан Яник, переводя дух, — я пришел вам сказать, что у нас с вами ничего не выйдет, я для этого дела не гожусь.

— Да полноте! Почему же это вы не годитесь?

— Вы подумайте, — ликовал пан Яник, — пять лет меня обкрадывал мой собственный управляющий, а я даже не догадывался! Вот болван, а? Согласитесь сами, какой же из меня детектив? Слава богу! Пять лет сижу бок о бок с этим мошенником, а до сих пор ничего не заподозрил! Как видите, никуда я не гожусь! А я уж так переживал! Господи, до чего же я рад, что из меня ничего не получится! Ну, стало быть, теперь вы на меня не рассчитываете, не так ли? Покорнейше благодарю...

Гибель дворянского рода Вотицких

Однажды в кабинет полицейского чиновника д-ра Мейзлика вошел озабоченный человек в золотых очках.

— Архивариус Дивишек, — представился он. — Господин Мейзлик, я к вам за советом... как к выдающемуся криминалисту. Мне говорили, что вы умеете... что вы особенно хорошо разбираетесь в сложных случаях, А это как

раз и есть чрезвычайно загадочный случай, — заключил он убежденно.

— Рассказывайте, в чем дело, — сказал Мейзлик, взяв в руки блокнот и карандаш.

— Надо выяснить, — воскликнул архивариус, — кто убил высокородного Петра Берковца, при каких обстоятельствах умер его брат Индржих и что произошло с супругой высокородного Петра Катержиной.

— Берковец Петр? — задумался Мейзлик. — Что-то не припомню, чтобы к нам поступал акт о его смерти. Вы хотите официально поставить нас в известность об этом?

— Да нет же! — возразил архивариус. — Я к вам только за советом, понимаете? Видимо, у них там произошло нечто ужасное.

— Когда произошло? — пришел ему на помощь Мейзлик. — Прежде всего прошу сообщить точную дату.

— Да это же тысяча четыреста шестьдесят пятый год, — отозвался Дивишек, укоризненно воззрившись на полицейского следователя. — Это вы должны бы знать, сударь. Дело было во времена блаженной памяти короля Иржи из Подебрад.

— Ах, так!.. — сказал Мейзлик и отложил блокнот и карандаш. — Вот что, мой друг, — продолжал он с подчеркнутой приветливостью. — Ваш случай больше относится к компетенции доктора Кноблоха. — Это был наш полицейский врач. — Я его приглашу сюда, ладно?

Архивариус приуныл.

— Как жаль! — сказал он. — Мне так рекомендовали вас! Видите ли, я пишу исторический труд об эпохе короля Иржи из Подебрад и вот споткнулся — да, именно споткнулся! — на таком случае, что не знаю, как и быть.

«Безвредный», — подумал Мейзлик.

— Друг мой, — быстро сказал он, — боюсь, что не смогу вам помочь. В истории я очень слаб, надо сознаться.

— Это упущение с вашей стороны, — строго заметил Дивишек. — Историю вам надо бы знать. Но если даже вы непосредственно не знакомы с соответствующими историческими источниками, сударь, я изложу вам все известные обстоятельства этого дела. К сожалению, их немного. Прежде всего имеется письмо высокородного Ладислава Пхача из Олешной высокородному Яну Бор-овскому из Черчан. Это письмо вам, конечно, известно?

— Простите, нет, — сокрушенно признался Мейзлик, словно неуспевающий ученик.

— Что вы говорите! — возмутился Дивишек. — Ведь это письмо еще семнадцать лет назад опубликовал историк Шебек в своих «Извлечениях». Хоть это вам следовало бы знать. Но только, — добавил он, поправив очки, — ни Шебек, ни Пекарж, ни даже Новотный — в общем, никто не уделил письму должного внимания. А ведь именно это письмо, о котором вам следовало бы знать, навело меня на след.

— Н-да, — произнес Мейзлик. — Что же дальше?

— Итак, прежде всего о письме, — продолжал архивариус. — У меня, к сожалению, нет с собой полного текста, но нам важны только несколько фраз, которые относятся к данному делу. Дворянин Ладислав Пхач сообщает в нем дворянину Боршовскому, что его, то есть Боршовского, дядя, высокородный Ешек Скалицкий из Скалице, не ожидается при дворе в Праге в этом, то есть в тысяча четыреста шестьдесят пятом году, поскольку, как пишет автор письма, «после тех недостойных деяний в Вотице Веленовой его милость король лично повелел, чтобы высокородный Ешек Скалицкий ко двору королевскому более не являлся, а предался молитвам и покаянию за свою вспыльчивость и уповал на правосудие божие». Теперь вы понимаете? — втолковывал архивариус Мейзлику. — Мы бы сказали, что его милость король тем самым наложил опалу на высокородного Ешека и сослал его в собственное сего дворянина родовое имение. Не кажется ли это вам странным, сударь?

— Пока что нет, — сказал Мейзлик, выводя карандашом на бумаге замысловатые спирали.

— Ага! — торжествующе воскликнул Дивишек. — Вот видите, и Шебек тоже не нашел в этом ничего особенного. А ведь *очень* странно, сударь, то обстоятельство, что его королевская милость не вызвал дворянина Ешека — каковы бы ни были проступки последнего — на обычный светский суд, а предоставил его правосудию божьему. Король ясно дал этим понять, — почтительно произнес архивариус, — что проступки эти такого свойства, что сам государь изымает их из ведения светского правосудия. Если бы вы побольше знали о его королевской милости Иржи Подебраде, вы сразу поняли, что это исключитель-

ный случай, ибо блаженной памяти король всегда неукоснительно придерживался строгого соблюдения законов.

— Может быть, он побаивался дворянина Ешека? — заметил Мейзлик. — Во времена его правления это...

Архивариус возмущенно вскочил.

— Что вы говорите, сударь! Чтобы король Иржи боялся кого-нибудь! Да еще простого дворянина!

— Значит, у Ешека была протекция,— заметил Мейзлик. — Сами знаете, у нас...

— Никакой протекции! — вскричал Дивишек, покраснев. — О протекции может идти речь, когда мы говорим о правлении короля Владислава, а при Иржи Подебраде... Нет, сударь, при нем протекция не помогала! Он бы вас выгнал. — Архивариус немного успокоился. — Нет, никакой протекции быть не могло! Очевидно, сами недостойные деяния были таковы, что его королевская милость препоручил виновного божьему правосудию.

— Что же это были за деяния? — вздохнул Мейзлик.

Архивариус удивился.

— Именно вы и должны это установить. Ведь вы криминалист. Для этого я к вам и пришел.

— Ради бога... — запротестовал Мейзлик, но посетитель не дал ему договорить.

— Прежде всего вы должны познакомиться с фактами, — сказал он наставительно. — Итак, обратив внимание на туманное указание письма, я поехал в Вотице искать следы упомянутых недостойных деяний. Там, однако, о них не сохранилось никаких записей. Зато в местной церкви я обнаружил могильную плиту дворянина Петра Берковца, и эта плита, сударь, датирована как раз тысяча четыреста шестьдесят пятым годом! А Петр Берковец был, видите ли, зятем дворянина Ешека Скалицкого, он женился на его дочери Катержине. Вот фотография с этого камня. Вы не замечаете ничего особенного?

— Нет, — сказал Мейзлик, осмотрев снимок с обеих сторон; на могильной плите была высечена статуя рыцаря со скрещенными на груди руками. Вокруг него шла надпись готическим шрифтом.— Постойте-ка, вот тут, в углу, отпечатки пальцев!..

— Это, наверное, мои,— сказал архивариус. — Но обратите внимание на надпись!

— «Anno Domini MCCCCLXV», — с трудом разобрал Мейзлик. — «Год от рождества Христова тысяча

четыреста шестьдесят пятый». Это дата смерти того дворянина, не так ли?

— Разумеется. А больше вы ничего не замечаете? Некоторые буквы явно чуть покрупнее других. Вот поглядите. — И он быстро написал карандашом Anno D**O**mini MC**C**C**C**LXV». Мастер нарочно сделал буквы О, С и С побольше. Это криптограмма, понимаете? Напишите-ка эти буквы подряд — ОСС. Вам ничего не приходит в голову?

— ОСС, ОСС, — бормотал Мейзлик. — Это может быть... ага, это сокращение слова «occisus» — «убит», а?

— Да! — торжествующе вскричал архивариус. — Мастер, сделавший могильную плиту, хотел сообщить потомству, что высокородный Петр Берковец из Вотице Веленовой был злодейски умерщвлен. Вот что!

— А убийца — его тесть, тот самый Ешек Скалицкий! — провозгласил Мейзлик по внезапному историческому наитию.

— Чушь! — пренебрежительно отмахнулся Дивишек. — Если бы высокородный Ешек убил высокородного Берковца, его милость король предал бы убийцу уголовному суду. Но слушайте дальше, сударь. Рядом с этой надгробной плитой лежит другая, под ней покоится Henricus Berkovec de Wotice Welenova, то есть брат высокородного Петра. И на этой плите высечена та же дата: тысяча шестьдесят пятый год, только без всякой криптограммы. Рыцарь Индржих изображен уже с мечом в руке. Мастер, видимо, хотел дать понять, что покойный пал в честном бою. А теперь объясните мне, пожалуйста, какова связь между этими двумя смертями?

— Может быть, тот факт, что Индржих умер в том же году, — просто чистая случайность? — неуверенно предположил Мейзлик.

— Случайность! — рассердился архивариус. — Сударь, мы, историки, не признаем никаких случайностей. Куда бы мы докатились, если бы допустили случайности! Не-ет, тут должна быть причинная связь! Но я еще не изложил вам все факты! Через год, в тысяча шестьдесят шестом году, почил в бозе высокородный Ешек из Скалице, и — обратите внимание! — его родовые владения Скалице и Градек перешли по наследству к его родственнику, уже известному нам дворянину Яну Боршовскому из Черчан. Вы понимаете, что это означает? Это означает, что

дочери покойного, Катержины, которую, как известно каждому младенцу, в тысяча четыреста шестьдесят четвертом году взял себе в жены высокородный Петр Берковец, тоже уже не было в живых. Но могильной плиты с именем высокородной Катержины нигде нет! Разрешите спросить вас, разве тот факт, что после смерти высокородного Петра мы не находим никаких следов и его супруги, это тоже случайность? Что? И это вы называете случайностью? Почему же нет могильной плиты? Случайно? Или дело тут именно в тех самых недостойных деяниях, из-за которых его милость король препоручил высокородного Ешека правосудию божьему?

— Вполне возможно, — уже не без интереса отозвался криминалист.

— Не возможно, а несомненно! — непререкаемо изрек Дивишек. — А теперь все дело в том, кто же кого убил и как связаны между собой все эти факты. Смерть рыцаря Ешека нас не интересует, поскольку он пережил эти недостойные деяния. Иначе король Иржи не велел бы ему каяться. Нам надо выяснить, кто убил высокородного Петра, как погиб рыцарь Индржих, куда девалась высокородная Катержина и какое отношение имеет ко всему этому высокородный Ешек из Скалице.

— Погодите, — сказал Мейзлик. — Давайте-ка запишем всех участников:

1. Петр Берковец — убит.

2. Индржих Берковец — пал с оружием в руках, не так ли?

3. Катержина — бесследно исчезла.

4. Ешек из Скалице — препоручен правосудию божьему. Верно?

— Да, — просмотрев запись, сказал архивариус. — Только надо было говорить «высокородный Петр Берковец», «высокородный Ешек» и так далее. Итак.

— Мы исключаем возможность, что Ешек убил своего зятя Петра Берковца, потому что в этом случае он угодил бы под суд присяжных...

— Предстал бы перед судом, — поправил архивариус. — В остальном вы правы.

— Погодите, тогда, стало быть, остается только брат Петра — Индржих. Вернее всего, это он убил своего братца...

— Исключено! — проворчал архивариус. — Убей он брата, его не похоронили бы в церкви, да еще рядом с убитым.

— Ага, значит, Индржих только подстроил убийство Петра, а сам пал в какой-то схватке. Так?

— А почему же тогда рыцарь Ешек попал в опалу за свою вспыльчивость? — возразил архивариус, беспокойно ерзая на стуле. — И куда делась Катержина?

— М-да, в самом деле, — буркнул Мейзлик. — Слушайте-ка, а ведь это сложный случай. Ну, а допустим так: Петр застиг Катержину in flagrati [1] с Индржихом и убил ее на месте. Об этом узнает отец и в приступе гнева убивает своего зятя...

— Тоже не выходит, — возразил Дивишек. — Если бы рыцарь Петр убил Катержину за супружескую измену, ее отец одобрил бы такую расправу. В те времена на этот счет было строго!

— Погодите-ка, — размышлял Мейзлик. — А может быть, он убил ее просто так, в ссоре...

Архивариус покачал головой.

— Тогда она была бы похоронена честь честью: под могильной плитой. Нет, и это не выходит. Я, сударь, уже год ломаю голову над этим случаем, и ни в какую!

— Гм... — Мейзлик в раздумье разглядывал «список участников». — Экая чертовщина! А может быть, тут не хватает еще пятого участника дела?

— Зачем же пятый, — укоризненно заметил Дивишек. — Вы и с четырьмя-то не можете разобраться...

— Ну, стало быть, один из двух — убийца Берковца: или его тесть, или его брат... Э-э, черт подери, — вдруг спохватился Мейзлик, — а что, если это Катержина?

— Батюшки мои! — воскликнул подавленный архивариус. — Я и думать об этом не хотел! Она — убийца, о, господи! Ну и что же с ней потом случилось?

У Мейзлика даже уши покраснели от напряженной работы мысли.

— Минуточку! — воскликнул он, вскочил со стула и взволнованно зашагал по комнате. — Ага, ага, уже начинаю понимать! Черт подери, вот так случай! Да, все согласуется... Ешек здесь главная фигура!.. Ага, круг зам-

---

[1] на месте преступления (*лат.*).

кнулся. Вот почему король Иржи... теперь мне все понятно! Слушайте-ка, он был голова, этот король!

— О да, — благоговейно подтвердил Дивишек. — Он, голубчик мой, был мудрым правителем.

— Так вот, слушайте, — начал Мейзлик, усаживаясь на свою собственную чернильницу. — Наиболее вероятная гипотеза следующая, я за нее голову даю на отсечение! Прежде всего надо сказать, что гипотеза, признаваемая приемлемой, должна включать в себя все имеющиеся факты. Ни одно самое мелкое обстоятельство не должно ей противоречить. Во-вторых, все эти факты должны найти свое место в едином и связном ходе событий. Чем он проще, компактнее и закономернее, тем больше вероятия, что дело было именно так, а не иначе. Это мы называем реконструкцией обстановки. Гипотезу, которая согласует все установленные факты в наиболее связном и правдоподобном ходе событий, мы принимаем как несомненную, понятно? — И Мейзлик строго взглянул на архивариуса. — Такова наша криминалистическая метода!

— Да, — послушно отозвался тот.

— Итак, факты, из которых нам нужно исходить, следующие. Перечислим их в последовательном порядке:

1. Петр Берковец взял себе в жены Катержину.

2. Он был убит.

3. Катержина исчезла, и могила ее не найдена.

4. Индржих погиб в какой-то вооруженной схватке.

5. Ешек Скалицкий за свою вспыльчивость попал в опалу.

6. Но король не предал его суду, следовательно, Ешек Скалицкий в какой-то мере был прав. Таковы все наличные факты, не так ли? Теперь далее. Из сопоставления этих фактов следует, что Петра не убивали ни Индржих, ни Ешек. Кто же еще мог быть убийцей? Очевидно, Катержина. Это предположение подтверждается и тем, что могила Катержины не обнаружена. Вероятно, ее похоронили где-нибудь, как собаку. Но почему же ее не предали обычному суду? Видимо, потому, что какой-то вспыльчивый мститель убил ее на месте. Был это Индржих? Ясно, что нет. Если бы Индржих покарал Катержину смертью, старый Ешек, надо полагать, согласился бы с этим. С какой же стати король наказал бы его за вспыльчивость? Таким образом, получается, что Катержину убил

ее собственный отец в припадке гнева. Остается вопрос, кто же убил Индржиха в бою? Кто это сделал, а?

— Не знаю, — вздохнул подавленный архивариус.

— Ну, конечно, Ешек! — воскликнул криминалист. — Ведь больше некому. Итак, весь казус округлился, понятно? Вот слушайте: Катержина, жена Петра Берковца... гм... воспылала, как говорится, греховной страстью к его младшему брату Индржиху...

— А это подтверждено документально? — осведомился Дивишек с живейшим интересом.

— Это вытекает из логики событий, — уверенно ответил д-р Мейзлик. — Я вам скажу так: причиной всегда бывают деньги или женщина, уж мы-то знаем! Насколько Индржих отвечал ей взаимностью, неизвестно. Но, во всяком случае, это и есть причина, побудившая Катержину отправить своего мужа на тот свет. Говорю вам прямо, — громогласно резюмировал Мейзлик, — это сделала она!

— Я так и предполагал! — мрачно произнес архивариус.

— Но тут на сцене появляется ее отец, Ешек Скалицкий, в роли семейной Немезиды. Он убивает дочь, чтобы не отдавать ее в руки палача. Потом он вызывает на поединок Индржиха, ибо сей несчастный молодой человек в какой-то мере повинен в преступлении единственной дочери Ешека и в ее гибели. Индржих погибает в этом поединке... Возможен, разумеется, и другой вариант: Индржих своим телом закрывает Катержину от разъяренного отца и в схватке с ним получает смертельный удар. Но первая версия лучше. Вот они, эти недостойные деяния! И король Иржи, понимая, сколь мало суд человеческий призван судить такой дикий, но справедливый поступок, мудро передает этого страшного отца, этого необузданного мстителя правосудию божьему. Хороший суд присяжных поступил бы также... Через год старый Ешек умирает от горя и одиночества... скорее всего, в результате инфаркта.

— Аминь! — сказал Дивишек, благоговейно складывая руки. — Так оно и было. Король Иржи не мог поступить иначе, насколько я его знаю. Слушайте, а ведь Ешек — замечательная, на редкость цельная натура, а? Теперь весь случай совершенно ясен. Я прямо-таки все вижу воочию! И как логично! — в восторге воскликнул

архивариус. — Сударь, вы оказали исторической науке ценнейшую услугу. Эта драма бросает яркий свет на тогдашние нравы... и вообще... — Исполненный признательности, Дивишек махнул рукой. — Когда выйдут мои «Очерки правления короля Иржи Подебрада», я позволю себе презентовать вам экземпляр, сударь. Вот увидите, какое научное истолкование я дам этому прискорбному случаю.

Через некоторое время д-р Мейзлик действительно получил толстенный том «Очерков правления короля Иржи Подебрада» с теплым авторским посвящением. Мейзлик прочитал том от корки до корки, ибо — скажем откровенно — был очень горд тем, что сделал вклад в историческую науку. Но во всей книге он не обнаружил ни строчки о драме в Вотице. Только на странице 471, в библиографическом указателе, Мейзлик прочитал следующее:

Шебек Ярослав, Извлечения из документов XIV и XV столетия, с. 213, письмо дворянина Ладислава Пхача из Олешны дворянину Яну Боршовскому из Черчан. Особого внимания заслуживает интересное, научно еще не истолкованное упоминание о Ешеке Скалицком из Скалице.

Рекорд

— Господин судья, — рапортовал полицейский вахмистр Гейда участковому судье Тучеку, — разрешите доложить: случай серьезного членовредительства... Черт побери, ну и жара!

— А вы располагайтесь поудобнее, — посоветовал судья.

Гейда поставил винтовку в угол, бросил каску на пол, снял портупею и расстегнул мундир.

— Уф, — сказал он. — Проклятый парень! Господин судья, такого случая у меня еще не было. Взгляните-ка. — С этими словами вахмистр поднял тяжелый сверток, который он, войдя, положил у двери, развязал узлы синего носового платка и вынул камень величиной с чело-

веческую голову. — Вы только взгляните, — настойчиво повторил он.

— А что тут особенного? — спросил судья, тыча карандашом в камень. — Простой булыжник, а?

— Да к тому же увесистый, — подтвердил Гейда. — Итак, позвольте доложить, господин судья: Лисицкий Вацлав, девятнадцати лет, работающий на кирпичном заводе, проживающий там же... — записали? — швырнул прилагаемый камень — вес камня пять килограммов девятьсот сорок девять граммов — во Франтишека Пудила, земледельца, проживающего в поселке Дольний Уезд, дом номер четырнадцать... — записали? — попав Пудилу в левое плечо, в результате чего потерпевший получил повреждение сустава, переломы плечевой кости и ключицы, открытую рваную рану плечевых мышц, разрыв сухожилий и мышечного мешка... — записали?

— Да, — сказал судья. — А что же в этом особенного?

— Вы удивитесь, господин судья, — торжественно объявил Гейда, — когда я расскажу вам все по порядку. Три дня назад за мной послал этот самый Пудил. Вы его, впрочем, знаете, господин судья.

— Знаю, — подтвердил Тучек. — Мы его два раза притягивали к суду: один раз за ростовщичество, а другой... гм...

— Другой раз за недозволенные азартные игры. Так вот, у этого самого Пудила в усадьбе есть черешневый сад, который спускается к самой реке, как раз у излучины, где Сазава шире, чем в других местах. Итак, Пудил послал за мной, — с ним, мол, случилось несчастье. Прихожу. Он лежит в постели, охает и ругается. Так и так, вчера вечером он будто бы вышел в сад и застиг на дереве какого-то мальчишку, который совал в карманы черешни. Этот Пудил — мужик крутой. Он снял ремень, стащил мальчика за ногу и давай его полосовать. А тут кто-то и закричи ему с другого берега: «Оставь мальчишку в покое, Пудил!» Пудил немного близорук — наверное, от пьянства. Посмотрел он на тот берег, видит, там кто-то стоит и глазеет на него. Для верности Пудил закричал: «А тебе что за дело, бродяга?» — и давай еще сильнее лупцевать мальчишку. «Пудил! — кричит человек на том берегу, — отпусти мальчишку, слышишь?» Пудил подумал: «Что он мне может сделать?» И отвечает:

«Поди-ка ты к такой-то матери, дубина!» Только сказал он ото, как почувствовал страшный удар в левое плечо и грохнулся наземь. А человек на том берегу кричит: «Вот тебе, скупердяй чертов!» И представьте себе, Пудил даже встать не смог, пришлось его унести. Рядом с ним лежал этот булыжник. Ночью послали за доктором, тот хотел отправить Пудила в больницу, потому что у него разбиты все кости и левая рука навсегда изуродована. Но Пудил не согласился, ведь сейчас жатва. Утром посылает он за мной и просит арестовать негодяя, который его изувечил. Ладно. Но когда мне показали этот камень, я прямо глаза вытаращил. Это кварц, с примесью колчедана, так что он даже тяжелее, чем кажется. Попробуйте. Я на глаз определил вес в шесть кило и ошибся только на пятьдесят один грамм. Швырнуть такой камень — это надо уметь! Пошел я посмотреть на сад и на реку. Гляжу: от того места, где упал Пудил — там примята трава, — до воды еще метра два, а река, господин судья, в излучине уже четырнадцать метров. Я так и подпрыгнул, поднял крик и велел немедленно принести мне восемнадцать метров шпагата. Потом в том месте, где упал Пудил, вбил колышек, привязал к нему шпагат, разделся, взял в зубы другой конец веревки и переплыл на тот берег. И что бы вы сказали, господин судья: ее едва хватило. А ведь надо еще прикинуть несколько шагов до насыпи, по которой проходит тропинка, где стоял Вацлав Лисицкий. Я три раза промерял — от моего колышка до тропинки ровно девятнадцать метров двадцать семь сантиметров.

— Милый человек, — возразил судья, — это же невозможно. Девятнадцать метров — такое громадное расстояние. Слушайте, может быть, он стоял в воде, посреди реки.

— Мне это тоже пришло в голову, — сказал Гейда. — Но дело в том, что в той излучине у самого берега обрыв и глубина больше двух метров. А в насыпи еще осталась ямка от этого камня. Насыпь-то выложена булыжником, чтобы ее не размывала вода, вот Лисицкий и вытащил один такой камень. Швырнуть его он мог только с тропинки, потому что из воды это невозможно, а на крутой насыпи он бы не удержался. А это значит, что камень пролетел девятнадцать метров двадцать семь сантиметров. Представляете себе?

— Может быть, у него была праща? — неуверенно предположил судья.

Гейда укоризненно взглянул на собеседника.

— Господин судья, вы, наверное, не держали в руках пращи. Попробуйте-ка метнуть из нее шестикилограммовый камень! Для этого понадобилась бы катапульта. Я два дня возился с этим камнем: все пробовал метнуть его из петли, знаете, вот так — закрутить и кинуть с размаху. Ничего не выходит, камень вываливается из любой петли. Нет, господин судья, это было самое настоящее толкание ядра. И знаете какое? Мировой рекорд, вот что! — воскликнул взволнованный Гейда.

— Да бросьте! — поразился судья.

— Мировой рекорд! — торжествующе повторил Гейда. — Спортивное ядро, правда, немного тяжелее, в нем семь кило. В нынешнем году рекорд по толканию ядра — шестнадцать метров без нескольких сантиметров. А до этого в течение девятнадцати лет рекорд держался на пятнадцати с половиной метрах. Только нынче какой-то американец — не то Кук, не то Гиршфельд толкнул почти на шестнадцать. Допустим, что шестикилограммовое ядро он мог бы толкнуть на восемнадцать, ну, девятнадцать метров. А у нас здесь на двадцать семь сантиметров больше. Господин судья, этот парень без всякой тренировки толкнул бы спортивное ядро не меньше чем на шестнадцать с четвертью метров! Вот это да! Шестнадцать с четвертью метров! Я давно занимаюсь этим спортом, господин судья, еще на войне ребята, бывало, звали меня на подмогу: «Гейда, забрось-ка туда ручную гранату!» Однажды во Владивостоке я состязался с американскими моряками и толкнул на четырнадцать метров, а их судовой священник перекрыл меня на четыре сантиметра. В Сибири, вот где была практика! Но этот булыжник, господин судья, я бросил только на пятнадцать с половиной метров. Больше ни в какую! А тут девятнадцать метров! Черт побери, сказал я себе, надо найти этого парня, он поставит нам мировой рекорд. Представляете себе — перекрыть американцев!

— Ну, а что с тем Пудилом? — осведомился судья.

— Черт с ним, с Пудилом! — воскликнул Гейда. — Я объявил розыск неизвестного лица, поставившего мировой рекорд. Это в интересах всей страны, не правда ли?

Поэтому я прежде всего гарантировал безнаказанность виновному.

— Ну, это уж з р я , — запротестовал судья.

— Погодите. Безнаказанность при том условии, что он перебросит шестикилограммовый камень через Сазаву. Всем окрестным старостам я объяснил, какое это замечательное спортивное достижение, о нем, мол, будут писать во всех газетах мира, а рекордсмен заработает кучу денег. Вы бы видели, что после этого началось! Все окрестные парни бросили жать, сбежались к насыпи и давай швырять камни на тот берег. Там уже не осталось ни одного булыжника. Теперь они разбивают межевые камни и каменные ограды, чтобы было чем кидать. А все деревенские мальчишки только тем и заняты, паршивцы, что кидают камнями, пропасть кур перебили... А я стою на насыпи и наблюдаю. Ну, конечно, никто не докинул дальше чем до середины реки... Наверно, уже русло наполовину засыпали.

Вчера вечером приводят ко мне того парня, что будто бы угостил Пудила булыжником. Да вы его увидите, этого прохвоста, он ждет здесь. «Слушай, Лисицкий, — говорю я е м у , — так это ты бросил камнем в Пудила?» — « Д а , — отвечает он, — Пудил меня облаял, я осерчал, а другого камня под рукой не было...» — «Так вот тебе другой такой же камень, — говорю я, — кинь его на тот берег, а если не докинешь, я тебе покажу, голубчик, где раки зимуют». Взял он камень, — ручищи у него, как лопаты, — стал на насыпи и размахнулся. Я наблюдаю за ним: техники у него никакой, о стиле броска понятия не имеет, ногами и корпусом не работает. И все же махнул камень на четырнадцать метров! Это очень прилично, однако же... Я его поучаю: «Ты недотепа, надо стать вот так, правое плечо назад, и, когда бросаешь, сделать рывок этим плечом. Понял?» — «Понял, — говорит он, скривившись, как Ян Непомуцкий, и бросает камень... на десять метров.

Тут я рассвирепел, понимаете ли. «Ты бродяга, — кричу на него, — разве это ты попал камнем в Пудила? Врешь!» — «Господин вахмистр, — отвечает он, — бог свидетель, я в него угодил! Пускай Пудил встанет там еще раз, я ему, собаке, снова влеплю». Я бегу к Пудилу, объясняю, что речь идет о мировом рекорде, прошу, чтобы он пошел на берег и опять ругнул этого парня, а тот

в него кинет камнем. Куда там, вы не поверите, Пудил ни в какую. У этих людей совсем нет высоких идеалов...

Я опять к Лисицкому: «Ты обманщик, — кричу на него, — это вранье, что ты изувечил Пудила. Пудил сказал, что это не ты». — «Врет он, — отвечает Лисицкий, — это я». — «Докажи, — требую я, — добрось туда камень». А он почесывается и смеется: «Господин вахмистр, зря не умею. А в Пудила попаду, я на него зол». — «Слушай, — уговариваю я его, — если докинешь камень, отпущу тебя по-хорошему. Не докинешь — пойдешь в кутузку за нанесение увечья. Полгода отсидишь». — «Ну и пусть, если зимой», — отвечает он. Тут я его арестовал именем закона. Он сейчас ждет здесь в сенях. Господин судья, добейтесь от него, правда он бросил камень или только бахвалится. Наверное, он, бродяга, отопрется. Тогда надо припаять ему хоть месяц за обман властей или за мошенничество. В спорте не должно быть обмана, за это надо строго карать, господин судья. Я его сейчас приведу.

— Так это вы Вацлав Лисицкий? — сурово спросил судья, воззрившись на белобрысого арестанта. — Признаетесь вы в том, что с намерением совершить членовредительство бросили этим камнем во Франтишека Пудила и нанесли ему серьезное увечье?

— Господин судья, — заговорил парень, — дело было так: Пудил там молотил мальчишку, а я ему кричу через реку, чтобы бросил, а он давай меня честить...

— Бросили вы этот камень или нет? — рассердился судья.

— Бросил, — сокрушенно ответил парень. — Да ведь он меня ругал, а я хвать тот камень...

— Проклятие! — воскликнул судья. — Зачем вы лжете, голубчик? Знаете ли вы, что ложные показания строго караются законом? Нам хорошо известно, что не вы бросили этот камень...

— Извиняюсь, бросил, — бормотал парень, — так ведь Пудил-то меня послал... знаете куда?

Судья вопросительно посмотрел на вахмистра Гейду. Тот беспомощно пожал плечами.

— Разденьтесь! — гаркнул судья на ошеломленного виновника. — Быстро! И штаны тоже!

Через минуту верзила стоял перед ним в чем мать родила и трясся от страха, думая, что его будут пытать — для того и велели раздеться.

— Взгляните, Гейда, на его дельтовидную мышцу, — сказал судья. — И на двуглавую. Что вы скажете?

— Недурны, — тоном знатока отозвался Гейда. — Но брюшные мышцы недостаточно развиты. А для толкания ядра требуются мощные брюшные мышцы, господин судья. Они вращают корпус. Взглянули бы вы на мои брюшные мышцы!

— Нет, все-таки живот неплох, — бормотал судья. — Вот это живот! Вон какие бугры. Черт возьми, вот это грудная клетка! — И он ткнул пальцем в рыжие заросли на груди подследственного. — Но ноги слабы. У этих деревенских всегда слабые ноги.

— Потому что они не тренируются, — критически заметил Гейда. — Разве это ноги? У спортсмена, толкающего ядро, ноги должны быть одно загляденье.

— Повернитесь! — крикнул судья на парня. — Ну, а какова, по-вашему, спина?

— Наверху от плеч хороша, — заявил Гейда, — но внизу ерунда, просто пустое место. С таким корпусом не может быть мощного замаха. Нет, господин судья, он не бросал камня.

— Одевайтесь! — рявкнул судья на Лисицкого. — Вот что, в последний раз: бросили вы камень или нет?

— Бросил! — с ослиным упрямством твердил парень.

— Идиот! — крикнул судья. — Если вы бросили камень, значит, вы совершили членовредительство, и за это краевой суд упечет вас на несколько месяцев в тюрьму. Бросьте дурачить нас и признайтесь, что все это выдумка. Я вам только три дня дам за обман должностных лиц, и отправляйтесь восвояси. Ну так как же: бросили вы камень в Пудила или нет?

— Бросил, — насупившись, сказал Вацлав Лисицкий. — Он меня с того берега крыл почем зря...

— Уведите его, — закричал судья. — Проклятый обманщик!

Через минуту Гейда снова просунул голову в дверь.

— Господин судья, — сказал он мстительно, — припаяйте ему еще за порчу чужого имущества: булыжник-то он вынул из насыпи, а теперь там не осталось ни одного камешка.

Дело Сельвина

— Гм — мой самый большой успех, то-есть такой, который доставил мне самую большую радость? — Старый маэстро Леонард Унден, великий писатель, лауреат Нобелевской премии и прочее и прочее, погрузился в воспоминания. — Ах, молодые мои друзья, в моем возрасте уже мало обращаешь внимания на все эти лавры, овации, на любовниц и тому подобные глупости, тем паче когда все это уже кануло в вечность... Пока человек молод, он радуется всему, — и был бы ослом, если б не делал этого; но в молодости обычно нет средств на то, чтобы доставлять себе радость. В сущности, жизнь должна бы строиться наоборот; сначала человеку следовало бы быть старым, отдаваться целиком своему любимому делу, поскольку ни на что другое он не годился бы: и лишь под конец добирался бы он до молодости, чтоб пользоваться плодами своей долгой жизни... Ну вот, совсем заболтался старик! О чем же это я хотел говорить? Ах да, о моем самом большом успехе. Так вот, таким успехом я не считал ни одну из моих книг или пьес, хотя в свое время мои сочинения действительно читались; величайшим моим успехом было дело Сельвина.

Вы, конечно, уже вряд ли помните, в чем это дело заключалось — с тех пор прошло двадцать шесть... или нет, двадцать девять лет. Итак, двадцать девять лет тому назад в один прекрасный день пришла ко мне седовласая, маленькая такая дама в черном; и прежде чем я успел — со всей моей приветливостью, в ту пору весьма высоко ценимой, — спросить, что ей нужно, она — бух на колени и заплакала; не знаю, как вы — я не выношу вида плачущей женщины...

— Сударь, — сказала эта добрая мамаша, когда я немножко ее успокоил, — вы писатель; заклинаю вас вашей любовью к людям — спасите моего сына! Вы, конечно, знаете из газет про дело Сельвина.

Вероятно, я походил в ту минуту на младенца, хотя и бородатого, — разумеется, я читал газеты, но дело Сельвина как-то пропустил. Насколько можно было понять мою посетительницу, продолжавшую рыдать и вздыхать, заключалось дело в следующем: единственный ее сын, двадцатидвухлетний Франк Сельвин, только что был при-

говорен к пожизненному одиночному заключению за то, что убил с целью ограбления свою тетку Софию; отягчающим обстоятельством в глазах присяжных было то, что он в преступлении не сознался.

«Он невиновен, сударь! — рыдала пани Сельвинова. — Клянусь вам, он невиновен! В этот злосчастный вечер он сказал мне: «Маменька, у меня болит голова, пойду прогуляюсь за город». Поэтому-то, сударь, он и не может доказать свое алиби! Кто же ночью обратит внимание на молодого человека, даже если случайно и встретит его? Мой Франтик немножко легкомысленный; но ведь и вы были молоды! Вдумайтесь, сударь, ему только двадцать два года! Можно ли так губить всю жизнь молодому человеку?» — ну и так далее. Послушайте, если бы вы видели эту сломленную горем седую женщину, вы тоже поняли бы то, что тогда понял я: одну из самых тяжких мук доставляет нам бессильное сострадание. Что вам сказать — я обещал в конце концов ей сделать все возможное и не отступаться, пока не разберусь в этом деле: и дал честное слово, что верю в невиновность ее сына. При этих словах она чуть ли не целовала мне руки... Когда бедняжка благословляла меня, я сам чуть не встал перед ней на колени. Представляете, какой дурацкий вид у человека, если его благодарят, словно бога...

Ладно — с той минуты интересы Франка Сельвина стали моими кровными интересами. Прежде всего я изучил судебные документы. Честное слово, я в жизни не видал подобного головотяпства! То был просто юридический скандал. Само дело было, в сущности, несложно: как-то ночью служанка этой самой тетки Софии, пятидесятилетняя Анна Соларова, личность психически неполноценная, услышала шаги в комнате барышни, то есть тетки Софии. Она пошла узнать, почему барышня не спит, и, войдя в спальню, увидела, как через распахнутое окно выпрыгнул в сад какой-то мужчина. Служанка подняла страшный крик, и, когда явились соседи со светом, на полу нашли барышню Софию, задушенную ее собственным полотенцем; ящик комода, где она держала деньги, был выдвинут, часть белья выброшена, но деньги оказались на месте — видимо, служанка спугнула убийцу в тот самый момент, когда он до них добрался. Таковы были факты.

Франка Сельвина арестовали на другой же день, так как служанка показала, что узнала «молодого барина», когда он прыгал из окна. Установили, что в этот час дома его не было: он вернулся примерно полчаса спустя и сразу лег спать. Далее выяснилось, что у глупого мальчишки были кое-какие долги. Затем объявилась какая-то сплетница, которая с важным видом показала, будто за несколько дней до убийства тетка София рассказывала, что к ней приходил племянник Франтик и просил взаймы несколько сотен; и когда она отказала — ибо была невероятно скупа, — Франк будто бы бросил: «Берегитесь, тетя, как бы не случилось такого, что все ахнут!» Вот все, что было известно о Франке.

Теперь обратимся к самому процессу: он занял всего-навсего полдня. Франк Сельвин просто твердил, что он невиновен, что он уходил гулять, после чего прямиком отправился домой и лег спать. Никто из свидетелей не был подвергнут перекрестному допросу. Адвокат Франка — назначенный, конечно, ex offo[1] — у пани Сельвиновой не было денег, чтобы нанять лучшего, — ограничился тем, старая шляпа и идиот, что указывал на молодость своего безрассудного подзащитного и со слезами на глазах просил снисхождения у великодушных присяжных. Прокурор тоже не дал себе много труда; он обрушился на присяжных, напоминая им, что накануне они уже вынесли два оправдательных приговора, и в какую же, мол, пропасть скатится человечество, если народные судьи по своей безответственной снисходительности и мягкости будут оставлять безнаказанным всякое преступление? Присяжные, видимо, вняли этому аргументу и пожелали показать, что их никак нельзя обвинить в снисходительности и мягкости; одиннадцатью голосами они попросту признали Франка Сельвина виновным в убийстве. Вот и все дело.

Так вот, когда я все это установил, я просто пришел в отчаяние; все во мне так и кипело, хотя я не юрист, — а может быть, именно потому. Вы только представьте: главная свидетельница — психически неполноценна, к тому же ей пятьдесят лет, то есть у нее наступил, по-видимому, период климакса, что не может не снизить достоверность ее показаний. Мужчину в окне она видела

[1] по должности (*лат.*).

ночью; как я позднее выяснил, ночь тогда была, теплой, но очень темной; следовательно, эта женщина не могла бы даже приблизительно кого-либо разглядеть. В темноте нельзя с точностью определить даже рост человека — это я тщательно проверил на себе самом. Ко всему прочему служанка эта ненавидела «молодого барина», то есть Франка Сельвина, причем совершенно истерической ненавистью, за то, что он-де над ней насмехался: он называл ее белорукой Гебой, что Анна Соларова считала почему-то смертельным оскорблением.

Второе обстоятельство: тетка София ненавидела свою сестру пани Сельвинову, и они, строго говоря, даже не общались друг с другом; старая дева слышать не могла имени Франковой матери. Так что если тетка София утверждала, что Франк ей чем-то угрожал, то это вполне можно было приписать ядовитому нраву старой девы, выдумавшей эту сплетню, чтоб унизить сестру. Что же до самого Франка, то это был малый средних способностей, служивший письмоводителем в какой-то конторе; была у него девушка, которой он писал сентиментальные письма и плохие стихи, а в долги он залез, как говорится, не по своей вине: он пил из той же сентиментальности. Мать его была женщина превосходная и несчастная, снедаемая раком, бедностью и горем. Вот как выглядели обстоятельства при ближайшем рассмотрении.

Эх, если бы вы знали меня в пору цветущей зрелости! Когда я приходил в азарт, то не помнил себя. Я опубликовал в газетах серию статей под заголовком «История Франка Сельвина»; пункт за пунктом я разоблачил несостоятельность свидетелей, особенно главной свидетельницы; анализировал противоречия в свидетельских показаниях и предвзятость некоторых из них; доказал абсурдность утверждения, что главная свидетельница могла опознать убийцу; обнажил полную неспособность председателя суда и грубую демагогию обвинительной речи прокурора. Но этого мне было мало: раз взявшись за дело, я стал громить уже все наше правосудие, уголовный кодекс, институт присяжных, весь равнодушный и эгоистический общественный строй. Не спрашивайте, какой тут поднялся шум; к тому времени у меня уже было кое-какое имя, за мной стояла молодежь; как-то вечером перед зданием суда была даже устроена демонстрация. Тогда ко мне прибежал адвокат Сельвина и, ломая руки, запричитал:

мол, что же это я натворил, он-де уже подал кассацию, опротестовал приговор, в Сельвину наверняка сократили бы срок до двух-трех лет тюрьмы, а теперь — не могут же высшие инстанции уступить давлению улицы, они отклонят все его ходатайства! Я сказал почтенному юристу, что дело уже не в одном только Сельвине, что мне важно восстановить истину и справедливость.

Адвокат оказался прав; апелляция была отклонена, но и председателя суда отправили на пенсию. Милые мои, вот тогда-то с удвоенной энергией я ринулся в бой. Знаете, я и сегодня скажу, что это была святая борьба за справедливость. Посмотрите — с тех времен у нас многое стало лучше; так признайте же в этом хоть частичку и моей, старика, заслуги! Дело Сельвина перекочевало в мировую печать. Я выступал с речами на рабочих собраниях и на международных конгрессах перед делегатами со всего мира. «Пересмотрите дело Сельвина» было в свое время таким же международным лозунгом, как, например, «Разоружайтесь» или «Votes for Women» [1]. Если говорить обо мне, то это была борьба отдельной личности против государства; но за мной была молодость. Когда скончалась матушка Сельвина, за гробом этой маленькой иссохшей женщины шло семнадцать тысяч человек, и я говорил над открытой могилой, как не говорил никогда в жизни; бог знает, друзья, что за страшная и странная сила — вдохновение...

Семь лет вел я борьбу; и эта борьба сделала меня тем, что я есть. Не книги мои, а дело Сельвина доставило мне всемирную известность. Я знаю, меня называют Глас Совести, Рыцарь Правды и как-то еще; что-нибудь в этом роде напишут и на моем надгробном камне. Лет через четырнадцать после моей смерти в школьных учебниках наверняка будут писать о том, как боролся за правду писатель Леонард Унден, — а потом и об этом забудут...

На седьмой год умерла главная свидетельница Анна Соларова; перед смертью она исповедалась и с плачем созналась, что ее мучат угрызения совести, потому что тогда, на суде, она дала ложную присягу, ибо не могла сказать по правде, был ли убийца в окне действительно Франком Сельвином. Добрый патер поспешил ко мне; я к тому времени уже лучше понимал взаимосвязь вещей

[1] Право голоса для женщин (*англ.*).

в этом мире, поэтому не стал обращаться в газеты, а направил моего патера прямо в суд. Через неделю вышло решение о пересмотре дела. Через месяц Франк Сельвин снова предстал перед судом; лучший адвокат, выступавший бесплатно, не оставил от обвинения камня на камне; затем поднялся прокурор и рекомендовал присяжным оправдать подсудимого. И те двенадцатью голосами вынесли решение, что Франк Сельвин невиновен.

Да, то был величайший триумф в моей жизни. Никакой другой успех не приносил мне столь чистого удовлетворения — и вместе с тем какого-то странного ощущения пустоты; по правде сказать, мне уже немного недоставало дела Сельвина — после него осталась какая-то брешь... Как-то — это было на следующий день после суда — входит ко мне вдруг моя горничная и говорит, что какой-то человек хочет меня видеть.

— Я Франк Сельвин, — сказал этот человек, остановившись в дверях... И мне стало... не знаю, как это выразить — я почувствовал какое-то разочарование оттого, что этот мой Сельвин похож на... скажем, на агента по распространению лотерейных билетов: немного обрюзгший, бледный, начинающий лысеть, слегка потный — и невероятно будничный... Вдобавок, от него разило пивом.

— Прославленный маэстро! — пролепетал Франк Сельвин (представьте, он так и выразился — «прославленный маэстро», я готов был дать ему пинка!), — я пришел поблагодарить вас... как моего величайшего благодетеля... — Казалось, он затвердил эту речь наизусть. — Вам я обязан всей моей жизнью... Все слова благодарности бессильны...

— Да будет вам, — поторопился я прервать его, — это был мой долг; коль скоро я убедился, что вы осуждены безвинно...

Франк Сельвин покачал головой.

— Маэстро, — грустно промямлил он, — не хочу лгать моему благодетелю: старуху-то действительно убил я.

— Так какого же черта! — вскричал я. — Почему же вы не признались на суде?!

Он посмотрел на меня с упреком:

— А это было мое право, маэстро; обвиняемый имеет право отпираться, не так ли?

Признаюсь, я был раздавлен.

— Так что же вам от меня надо? — буркнул я.

— Я пришел лишь поблагодарить вас, маэстро, за ваше благородство, — проговорил он уныло, полагая, вероятно, что этот тон выражает его растроганность. — Да матушку мою вы не оставили в беде... Благослови вас бог, благородный бард...

— Вон! — гаркнул я вне себя; он скатился с лестницы как ошпаренный.

Через три недели Сельвин остановил меня на улице; он был слегка под хмельком. Я не мог от него отвязаться; долго не понимал я, чего он хочет, пока он не объяснил мне наконец, придерживая меня за пуговицу. Объяснил, что я, в сущности, испортил все дело; если б я не писал так о его процессе, кассационный суд принял бы протест его адвоката, и ему, Сельвину, не пришлось бы сидеть семь лет понапрасну; так чтоб я теперь вошел в его стесненное положение, коему сам был причиной, занявшись его делом... Короче, пришлось сунуть ему сотню-другую.

— Благослови вас бог, благодетель, — сказал он с увлажненным взором.

В следующий раз он вел себя более угрожающе. Я-де успел погреть руки на его деле; защищая его, я-де обрел славу, так с какой же стати и ему самому на этом не подработать? Я никак не мог доказать, что вовсе не обязан платить ему никаких комиссионных; короче говоря, я снова дал ему денег.

С той поры он стал появляться у меня через небольшие промежутки времени; садился на софу и вздыхал, что теперь его мучат угрызения совести, зачем он укокошил старуху. «Пойду отдам себя в руки правосудия, маэстро, — говорил он мрачно. — Только для вас это будет позор на весь мир. Не знаю, как мне обрести покой...» Страшная это, наверное, штука, угрызения совести — если судить по тому, сколько денег выплатил я этому типу, лишь бы он мог сносить их и дальше. В конце концов я купил ему билет в Америку; обрел ли он там покой, не знаю.

Так вот это и был мой величайший успех; молодые мои друзья, когда будете сочинять некролог Леонарду Ундену, напишите, что, защищая Сельвина, он золотыми письменами вписал свои имя в... и так далее; вечная ему благодарность.

Следы

Той ночью пан Рыбка возвращался домой в самом радужном настроении — во-первых, потому, что выиграл свою партию в шахматы («Превосходный мат конем», — всю дорогу восхищался он), а во-вторых, оттого, что свежевыпавший снег мягко хрустел под ногами в пустынном ночном безмолвии. «Господи, красота-то какая! — умилился пан Рыбка, — город под снегом вдруг привидится этаким маленьким, старосветским городишком — тут и в ночных сторожей, и в почтовые кареты не трудно поверить. Вот поди ж ты, ведь испокон веков снег выглядит так по-старинному и по-деревенски».

Хруп, хруп, пан Рыбка выискивал непримятую тропку, и все не мог нарадоваться, слушая этот приятный хруст. Жил он в тихой окраинной улочке, а потому, чем дальше шел, тем следов становилось все меньше. «Смотри-ка, у этой калитки свернули мужские башмаки и женские туфельки, скорее всего — это супруги. Интересно, молодые ли? — размягченно подумал пан Рыбка, словно желая благословить их. — А вон там перебежала дорогу кошка, на снегу видны отпечатки лапок, похожие на цветочки; спокойной ночи, киска, уж и зазябнут у тебя нынче ножки». А теперь осталась только одна цепочка следов мужских, глубоких, ровная и отчетливая борозда, проведенная одиноким путником. «Кто же это мог забрести сюда? — спросил себя пан Рыбка с дружеским участием, — здесь так мало людей, ни одной протоптанной стежки на снегу, это ведь — окраина жизни, вот добреду до дома, улочка до самого носа укроется белой периной, и покажется ей, будто она — детская игрушка. Обидно, что уже утром эту белизну нарушит почтальонша с газетами; она-то уж испещрит тут все вдоль и поперек, как заяц...»

Пан Рыбка внезапно остановился: собравшись пересечь беленькую улочку и пройти к своей калитке, он Увидел, что следы, оставленные кем-то, свернули с тротуара и тоже направились к его воротцам. «Кто же это приходил ко мне?» — поразился пан Рыбка и проследил взглядом направление четких отпечатков. Их было пять; точно посредине улицы они кончались явственным оттиском левой ноги, а дальше не было ничего, лишь нетронутый чистый снег.

«Дурак я, дурак, — подумал пан Рыбка, — видно, прохожий вернулся на тротуар!» Однако — насколько хватало взгляда — тротуар был ровно застелен пышным снежным покровом без единого человеческого следа. «Черт побери, — подивился пан Рыбка, — скорее всего, следы обнаружатся на противоположной стороне!» И он обогнул оборвавшуюся цепь следов; но на противоположной стороне тоже не было ни единого отпечатка; вся улица светилась целомудрием пушистого снега, так что от этой чистоты захватывало дух; с тех пор как выпал снег, здесь не проходил никто. «Странно, — бормотал пан Рыбка, — видно, прохожий вернулся на тротуар, ступая по своим прежним следам; но тогда он должен был пятиться до самого перекрестка, потому как, начиная оттуда, я увидел перед собой *эти отпечатки,* именно они вели сюда, а других следов не было... Да, но к чему это было делать? — изумился пан Рыбка. — И как, идя задом наперед, пешеход ухитрялся попадать *точно* в свой след?»

Недоуменно качая головой, пан Рыбка отворил калитку и вошел в дом; понимая, что это глупость, он все-таки решил осмотреть, нет ли *внутри* дома ошметков снега; разумеется, откуда бы им там взяться! «Наверное, померещилось! — обеспокоенно буркнул пан Рыбка и высунулся из окна; на улице в свете фонаря он ясно различил пять четких, глубоких отпечатков, обрывающихся посреди улицы; и ничего больше. «Гром их разрази! — чертыхнулся пан Рыбка и протер глаза. — Когда-то мне попадался рассказик о единственном отпечатке на белом снегу; но здесь их — несколько, а дальше — пустота. Куда же этот тип подевался?»

Не переставая недоуменно качать головой, пан Рыбка принялся раздеваться, но вдруг передумал и, подняв трубку телефона, сдавленным голосом попросил полицейский участок:

— Алло, это комиссар Бартошек? Знаете, тут такое *странное* дело, *очень* странное... Не могли бы вы послать кого-нибудь, или лучше придите сам... Хорошо, я подожду на углу. О чем речь, затрудняюсь сказать... Нет, по-моему, опасности нет, важно только, чтобы эти следы никто не затоптал. *Чьи* следы, неизвестно! Так, значит, я вас жду.

Пан Рыбка оделся и снова вышел на улицу; осторожно обогнул следы, стараясь не затоптать их даже на тро-

туаре. На углу, дрожа от холода и возбуждения, стал поджидать комиссара Бартошека. Было тихо, и земля, населенная людьми, покойно светилась во вселенной.

— Какая здесь приятная тишина, — меланхолически заметил подошедший комиссар Бартошек. — А в отделении мне пришлось унимать драчунов и возиться с пьяницей. Тьфу! Так что у вас?

— Проследите за этими отпечатками на снегу, — произнес пан Рыбка дрожащим от волнения голосом. — Это недалеко, всего в двух шагах.

Комиссар осветил дорогу электрическим фонариком.

— Ничего себе дылда; наверно, метр восемьдесят, — ответил он, — судя по величине следа и размаху шагов. Сапоги приличные, по-моему, ручной работы. Пьян он не был и шагал довольно твердо. Я не понимаю, что вам в них не поправилось?

— Вот это, — коротко ответил пан Рыбка и указал на цепь следов, оборвавшуюся посреди улицы.

— А-а, — прогудел комиссар Бартошек, не долго думая, присел на корточки возле последнего следа и посветил себе фонариком.

— Ничего особенного, — удовлетворенно проговорил он, — совершенно нормальный, рельефный след. Центр тяжести приходится скорее на пятку. Сделай он еще шаг либо прыжок, центр тяжести был бы перенесен на кончики пальцев, понятно? И это тоже было бы видно.

— Значит... — весь напрягшись, спросил пан Рыбка.

— Да, — спокойно подтвердил комиссар, — это значит, что дальше он не сделал ни шагу.

— Куда же он делся? — в необычайном волнении вырвалось у Рыбки.

Комиссар пожал плечами.

— Не могу знать. Вы что... подозреваете кого-нибудь?

— Какое подозрение? — поразился пан Рыбка. — Любопытно только, куда он делся. Посудите сами: выходит, вот тут он сделал последний шаг, а куда же, ответьте Христа ради, шагнул потом? Ведь здесь больше нет никаких отпечатков?

— Сам вижу, — сухо сказал комиссар. — А вам-то не все ли равно, куда он шагнул? Или это кто-нибудь из ваших близких? Уж не пропал ли кто? Нет? Но тогда, черт побери, какое вам дело, куда он провалился?

— Но все-таки... хорошо бы выяснить... — пролепетал пан Рыбка. — Вы не находите, что он двинулся обратно по своим собственным следам?

— Чепуха, — буркнул комиссар. — Когда человек движется задом наперед, шаги у него короче и ноги он расставляет шире, чтобы не потерять равновесия; кроме того, он не поднимает ног, так что на снегу были бы вырыты целые канавы. А тут ступили только один раз. Видите, какой отчетливый отпечаток?

— Но если он не возвращался, — упрямо твердил свое пан Рыбка, — то *куда же он пропал?*

— Это уж его забота, — ворчал пан комиссар. — Послушайте, коли он ничего не натворил, мы не имеем права вмешиваться! Для этого надо, чтоб на него *донесли;* только тогда мы можем начать предварительное расследование...

— Но разве бывает, чтоб человек взял да провалился посреди улицы? — не переставал удивляться пан Рыбка.

— Давайте подождем, сударь, — посоветовал невозмутимый комиссар. — Ежели кто исчез, то через несколько дней об этом заявит его семья либо кто другой; вот тогда мы и начнем розыски. А покуда ничего не обнаружено, нам делать нечего. Не положено.

В душе пана Рыбки поднималось мрачное чувство гнева.

— Простите, — язвительно проговорил он, — но по-моему, полиция *обязана*-таки немножко поинтересоваться тем, как это ни с того ни с сего мирный пешеход провалился посередине улицы!

— Да ведь с ним ничего плохого не случилось, — успокаивал Рыбку пан Бартошек, — тут никаких признаков драки... Ведь если бы на него напали, уволокли, то понатоптали бы столько следов... Крайне сожалею, сударь, но я ничем не могу быть вам полезен.

— Однако, пан комиссар, — всплеснул руками пан Рыбка, — вы хоть растолкуйте мне... это ведь какая-то загадка...

— Пожалуй, — задумчиво согласился пан Бартошек. — Но вы не можете себе представить, сколько на свете разных загадок. Каждый дом, каждая семья — настоящая тайна. Когда я шел сюда, то вон в том доме навзрыд запричитал молодой женский голос. Загадки, сударь, это не наше дело. Нам платят за поддержание порядка. Неужто

вы думаете, будто мы разыскиваем жуликов из любопытства? Нет, голубчик, мы разыскиваем их, чтоб отвести в тюрьму. Порядок есть порядок.

— Вот видите, — вырвалось у пана Рыбки, — даже вы признаете, что это непорядок, если кто-то посреди улицы... скажем, взлетел прямо в воздух, не правда ли?

— Все зависит от того, как на это взглянуть, — заметил комиссар. — Существует такое полицейское правило — если возникла опасность падения с некоей высоты, то человека нужно привязать. Тут в первую голову предупреждают, а потом берут штраф. Ежели кто вознесся ввысь самовольно, полицейский обязан, само собой, напомнить, чтобы он пристегнул предохранительные ремни; однако полицейского, как видно, поблизости не оказалось, — произнес он извиняющимся тоном. — Ведь после него тоже остались бы следы. Впрочем, этот чудак мог исчезнуть и как-нибудь иначе, не правда ли?

— Но как? — быстро спросил пан Рыбка. Комиссар Бартошек покачал головой:

— Трудно сказать. Может, вознесся, а может, поднялся по лестнице Иакова, — неуверенно предположил он. — Вознесение можно расценить как похищение, если оно совершалось насильственно; но, по-моему, обычно это происходит с согласия потерпевшего. А вдруг этот человек обладал способностью летать... Вы никогда не видели во сне, как вы летаете? Легонечко так оттолкнешься от земли и летишь... Некоторые летают, словно воздушный шар, а я, когда летаю во сне, время от времени отталкиваюсь ногой; по-моему, тяжелое обмундирование и сабля тянут меня вниз. Может, человек этот уснул и улетел во сне? И это не возбраняется, сударь. Конечно, на людной улице полицейский обязан был бы сделать такому летуну предупреждение. Постойте, а может, это левитация? Спириты верят в левитацию; но спиритизм тоже не запрещен. Пан Баудыш рассказывал мне, будто сам видел, как медиум висел в воздухе. Кто знает, в чем тут дело.

— Но, пан комиссар, — укоризненно произнес пан Рыбка, — вы же сам себе не верите! Это же нарушение всех естественных законов!

Пан Бартошек уныло пожал плечами.

— Кому-кому, а мне-то слишком хорошо известно, как некоторые лица преступают всевозможные законы и

установления; если бы вы служили в полиции, то узнали бы об этом получше... — Комиссар махнул рукой. — Я бы не удивился, если бы они принялись нарушать и естественные законы. Люди — большая пакость, сударь. Ну, спокойной ночи; что-то холодно стало.

— А не выпить ли нам вместе чашечку чая... или рюмку сливовицы? — предложил пан Рыбка.

— Отчего бы и н е т , — устало ответил к о м и с с а р . — Знаете, в нашем мундире даже в кабак запросто не войдешь. Оттого-то полицейские такие трезвенники.

— З а г а д к а , — продолжал он, устроившись в кресле и задумчиво следя за тем, как на носке его сапога тает с н е г . — Девяносто девять прохожих из ста прошли бы мимо этих следов и не обратили бы на них внимания. Да и вы тоже пройдете мимо девяноста девяти из сотни загадочных случаев. Черта лысого мы знаем о том, как все обстоит на самом деле. Лишь немногие вещи лишены тайны. Нет тайны в порядке. Нет ничего загадочного в справедливости. В полиции тоже нет никакой загадки. Но уже любой прохожий на улице — загадка, потому как мы над ним невластны, сударь... Однако и он, стоит ему совершить кражу, перестанет быть загадочным, — мы попросту запрем его в камеру, и — конец; по крайней мере, нам будет ясно, чем он занимается, и мы сможем взглянуть на него хотя бы через дверной глазок, понимаете? Это журналисты могут писать: «Загадочная находка — труп!» Скажите на милость! Что же в трупе загадочного? Когда труп поступает к нам, мы его обмеряем, фотографируем и производим вскрытие; мы изучим на нем все до нитки; узнаем, что он ел в последний раз, отчего наступила смерть и все такое прочее; сверх того, нам станет известно, что убийство совершено, скорее всего, из-за денег. И все так просто и ясно... Мне, пожалуйста, чаю покрепче, пан Рыбка. Преступления обычно просты, пан Рыбка; в них, по крайности, видны мотивы да и вообще все, что с ними связано. А загадочно, скажем, то, о чем думает ваша кошка, что снится вашей прислуге, отчего так задумчиво смотрит в окно ваша жена. Все загадочно, сударь, кроме преступлений; криминальный казус — это ведь точно определенная частица реальности, такая частица, которую мы будто бы осветили фонарем. Обратите внимание, если бы я принялся разглядывать вашу квартиру, я кое-что узнал бы

и о вас, но я смотрю на носок своего ботинка, потому что служебных дел у меня к вам нет; на вас нам никто не доносил, — добавил он, отхлебывая горячий чай.

— Странное все-таки представление, — начал он снова, помолчав, — будто полицию и, главное, тайных агентов интересуют загадки. Да чихать мы на них хотели; нас интересуют нарушения порядка. Преступление интересует нас не потому, что оно загадочно, а потому что оно противозаконно. Мы преследуем негодяев не ради интеллектуального интереса; мы преследуем их, чтобы именем закона засадить в тюрьму.

— Послушайте, подметальщики бегают с метлой по улицам не затем, чтобы в пыли читать человеческие следы, но чтобы замести и убрать всяческие непотребства, которые наворотила жизнь. Порядок — ничуть не таинствен. А наводить порядок — это черная работа, сударь; и тому, кто взялся наводить чистоту, приходится совать пальцы в любую грязь. Кому-то ведь нужно этим заниматься, не так ли? — устало произнес полицейский. — Так же как забивать телят. Забивать телят из любопытства — жестоко; это занятие должно стать повседневным ремеслом. Коли человек обязан совершать поступки, то он, по крайней мере, должен знать, что у него на это есть право. Обратите внимание, справедливость должна быть абсолютна и однозначна, как таблица умножения. Не знаю, в состоянии ли вы мне доказать, что *любая кража* предосудительна; я же берусь доказать вам, что всякая кража запрещена законом, и если вы вор — я тут же вас арестую. Даже если вы начнете сорить на улицах жемчугом, полицейский только укажет вам, что вы загрязняете общественные места. А ежели вздумаете творить чудо — вам этого никто не запретит, разве что ваши действия вызовут публичное возмущение либо будут расценены как безнравственные. В ваших поступках должна заключаться некая непристойность, чтобы мы могли принять меры.

— Но, сударь, — возразил пан Рыбка, которому не сиделось на месте, — неужто для вас этого достаточно? Речь идет о таком странном, таком таинственном случае... а вы...

Пан Бартошек пожал плечами.

— Это меня не касается. Ежели вам желательно, я прикажу засыпать следы, чтоб они не мешали вам спать,

сударь. Но больше я ничем помочь не могу. Вы ничего не слышите? Ничьих шагов? Идет наш патруль; значит, сейчас два часа семь минут. Покойной ночи, сударь.

Пан Рыбка проводил комиссара за калитку; посреди улицы все еще была заметна резко и необъяснимо оборвавшаяся цепочка следов. По противоположному тротуару шествовал полицейский.

— Мимра! — крикнул комиссар. — Что новенького?

Полицейский Мимра взял под козырек.

— В общем, ничего, господин комиссар, — доложил он. — Там вон, возле дома номер семнадцать, мяукала кошка. В девятом забыли запереть двери. На перекрестке раскопали улицу и не повесили красный фонарь, а у лавочника Маршика вывеска висит на одном гвозде; рано утром придется снять, чтоб не свалилась кому-нибудь на голову.

— И все?

— Все, — подтвердил полицейский Мимра. — Утром придется посыпать тротуары, чтоб люди не поломали ноги; надо бы в шесть часов позвонить дворникам...

— Ну ладно, — сказал комиссар Бартошек. — Спокойной ночи!

Пан Рыбка еще раз оглянулся на следы, что вели в неизвестность. Но на месте последнего отпечатка сейчас виднелись основательные оттиски сапог полицейского Мимры; оттуда его следы размеренной и ясной чередой следовали дальше.

«Ну слава богу!» — с облегчением вздохнул пан Рыбка и отправился спать.

Купон

В тот жаркий августовский день на Стршелецком острове было очень людно. Минке и Пепику пришлось сесть к столу, где уже сидел какой-то человек с густыми унылыми усами.

— Разрешите? — спросил Пепик. Человек молча кивнул. «Противный! — подумала Минка. — Надо же, торчит тут, за нашим столиком!» И она немедленно с осанкой герцогини уселась на стул, который Пепик вытер платком,

затем взяла пудреницу и припудрила нос, чтобы он, боже упаси, не заблестел в такую жару. Когда Минка вынимала пудреницу, из сумочки выпала смятая бумажка. Усатый человек нагнулся и поднял ее.

— Спрячьте это, барышня, — сказал он угрюмо.

Минка покраснела, во-первых, потому, что к ней обратился незнакомый мужчина, а во-вторых, потому, что ей стало досадно, что она покраснела.

— Спасибо, — сказала она и повернулась к Пепику. — Это купон из магазина, помнишь, где я покупала чулки.

— Вы даже не знаете, барышня, как может пригодиться такой купон, — меланхолически заметил сосед по столику.

Пепик счел своим рыцарским долгом вмешаться.

— К чему беречь всякие дурацкие бумажки? — объявил он, не глядя на соседа. — Их набираются полные карманы.

— Это не беда, — сказал усатый. — Иной раз такой купон окажется поважнее... чего хотите.

На лице у Минки появилось напряженное выражение. («Противный тип, пристает с разговорами. И почему только мы не сели за другой столик!»)

Пепик решил прекратить этот обмен мнениями.

— Почему поважнее? — сказал он ледяным тоном и нахмурил брови. («Как это ему идет!» — восхитилась Минка.)

— Потому что он может быть уликой, — проворчал противный и прибавил, как бы представляясь: — Я, видите ли, служу в полиции, моя фамилия Соучек. У нас недавно был такой случай... — Он махнул рукой. — Иногда человек даже не знает, что у него в карманах.

— Какой случай? — не удержался Пепик. (Минка заметила, что на нее уставился парень с соседнего столика. «Погоди же, Пепа, я отучу тебя вести разговоры с посторонними!»)

— Ну, с той девушкой, что нашли около Розптил, — отозвался усатый и замолк, видно, не собираясь продолжать разговор.

Минка вдруг живо заинтересовалась, наверное потому, что речь шла о девушке.

— С какой девушкой? — воскликнула она.

— Ну, с той, которую там нашли, — уклончиво ответил сыщик Соучек и, немного смутившись, вытащил из

кармана сигарету. И тут произошло неожиданное: Пепик быстро сунул руку в карман, чиркнул своей зажигалкой и поднес ее соседу по столику.

— Благодарю вас, — сказал тот, явно польщенный. — Видите ли, я говорю о трупе женщины, которую жнецы нашли в поле, между Розптилами и Крчью, — объяснил он, как бы в знак признательности и расположения.

— Я ничего о ней не слыхала. — Глаза у Минки расширились. — Пепик, помнишь, как мы с тобой ездили в Крч? А что случилось с этой женщиной?

— Задушена, — сухо сказал Соучек. — Так и лежала с веревкой на шее. Не стану при барышне рассказывать, как она выглядела. Сами понимаете, дело было в июле... а она там пролежала почти два месяца. — Сыщик поморщился и выпустил клуб дыма. — Вы и понятия не имеете, как выглядит такой труп. Родная мать не узнает. А мух сколько!.. — Соучек меланхолически покачал головой. — Эх, барышня, когда у человека на лице уже нет кожи, тут не до наружности! Попробуй-ка опознай такое тело. Пока целы нос и глаза, это еще возможно, а вот если оно пролежало больше месяца на солнце...

— А метки на белье? — тоном знатока спросил Пепик.

— Какие там метки! — проворчал Соучек. — Девушки обычно не метят белье, потому что думают: все равно выйду замуж и сменю фамилию. У той убитой не было ни одной метки, что вы!

— А сколько ей было лет? — участливо осведомилась Минка.

— Доктор сказал, что примерно двадцать пять. Он определяет по зубам и по другим признакам. Судя по одежде, это была фабричная работница или служанка. Скорее всего, служанка, потому что на ней была деревенская рубашка. А кроме того, будь она работница, ее давно бы уже хватились, ведь работницы встречаются ежедневно на работе и нередко живут вместе. А служанка уйдет от хозяев, и никто ею больше не поинтересуется, не узнает, куда она делась. Странно, не правда ли? Вот мы и решили, что если ее никто два месяца не искал, то, вернее всего, это служанка. Но самое главное — купон.

— Какой купон? — живо осведомился Пепик, который, несомненно, ощущал в себе склонности стать сыщиком, канадским лесорубом, капитаном дальнего плавания или еще какой-нибудь героической фигурой, и его лицо при-

няло подобающее случаю энергичное и сосредоточенное выражение.

— Дело в том, — продолжал Соучек, задумчиво уставясь в пол, — что у этой девушки не было решительно никаких вещей. Убийца забрал все сколько-нибудь ценное. Только в левой руке она зажала кожаную ручку от сумочки, которая валялась неподалеку во ржи. Видно, преступник пытался вырвать ее, но, увидев, что ручка оборвалась, бросил сумочку в рожь, прежде, конечно, все из нее вынув. В этой сумочке между складками застрял и трамвайный билет седьмого маршрута, и купон из посудного магазина на сумму в пятьдесят пять крон. Больше мы там ничего не нашли.

— А веревка на шее? — сказал Пепик. — Это могла быть улика.

Сыщик покачал головой.

— Обрывок обыкновенной веревки для белья не может навести на след. Нет, у нас решительно ничего не было, кроме трамвайного билета и купона. Ну, мы, конечно, оповестили через газеты, что найден труп женщины, лет двадцати пяти, в серой юбке и полосатой блузке. Если два месяца назад у кого-нибудь ушла служанка, подходящая под это описание, просьба сообщить в полицию. Сообщений мы получили около сотни. Дело в том, что в мае служанки чаще всего меняют места, бог весть почему... Все эти сообщения оказались бесполезными. А сколько возни было с проверкой! — меланхолически продолжал Соучек. — Целый день пробегаешь, пока выяснишь, что какая-нибудь гусыня, служившая раньше в Дейвице, теперь нанялась к хозяйке, обитающей в Вршовице или в Коширже. А в конце концов оказывается, что все это зря: гусыня жива да еще смеется над тобой... Ага, играют чудесную вещь! — с удовольствием заметил он, покачивая головой в такт мелодии из «Валькирии» Вагнера, которую оркестр исполнял, как говорится, не щадя сил. — Грустная музыка, а? Люблю грустную музыку. Потому и хожу на похороны всех значительных людей — ловить карманников.

— Но убийца должен был оставить хоть какие-нибудь следы? — сказал Пепик.

— Видите вон того ферта? — вдруг живо спросил Соучек. — Он работает по церковным кружкам. Хотел бы я знать, что ему здесь нужно... Нет, убийца не оставил

никаких следов... Но если найдена убитая девушка, то можно головой ручаться, что ее прикончил любовник. Так всегда бывает, — задумчиво сказал сыщик. Вы, барышня, не пугайтесь... Так что мы могли бы найти убийцу, но прежде надо было опознать тело. В этом-то и была вся загвоздка.

— Но ведь у полиции есть свои методы... — неуверенно заметил Пепик.

— Вот именно, — вяло согласился сыщик. — Метод тут примерно такой, как при поисках одной горошины в мешке гороха: прежде всего необходимо терпение, молодой человек. Я, знаете ли, люблю читать уголовные романы, где написано, как сыщик пользуется лупой и всякое такое. Но что я тут мог увидеть с помощью лупы? Разве поглядеть, как копошатся черви на теле этой несчастной девушки... извините, барышня! Терпеть не могу разговоров о методе. Наша работа — это не то, что читать роман и стараться угадать, как он кончится. Скорее, она похожа на такое занятие: дали вам книгу и говорят: «Господин Соучек, прочти от корки до корки и отметь все страницы, где имеется слово «хотя». Вот какая это работа, попятно? Тут не поможет ни метод, ни смекалка, надо читать и читать, а в конце концов окажется, что во всей книге нет ни одного «хотя». Или приходится бегать по всей Праге и выяснять местожительство сотни Андул и Марженок для того, чтобы потом «криминалистическим путем» обнаружить, что ни одна из них не убита. Вот о чем надо писать романы, — проворчал Соучек, — а не об украденном жемчужном ожерелье царицы Савской. Потому что это, по крайней мере, солидная работа, молодой человек!

— Ну и как же вы расследовали это убийство? — осведомился Пепик, заранее уверенный, что он-то взялся бы за дело иначе.

— Как расследовали? — задумчиво повторил сыщик. — Надо было начать хоть с чего-нибудь, так мы сперва взялись за трамвайный билет. Маршрут номер семь. Допустим, стало быть, убитая служанка — если только она была служанкой — жила вблизи тех мест, где проходит семерка. Это, правда, не обязательно, она могла проезжать там и случайно, но для начала надо принять хоть какую-нибудь версию, иначе не сдвинешься с места. Оказалось, однако, что семерка, как на беду, идет через всю Прагу:

из Бржевнова, через Малую Страну и Нове Место, на Жижков. Опять ничего не получается. Тогда мы взялись за купон. Из него хотя бы стало ясно, что некоторое время назад эта девушка купила в посудном магазине товара на пятьдесят пять крон. Пошли мы в тот магазин...

— И там ее вспомнили! — воскликнула Минка.

— Что вы, барышня! — проворчал Соучек. — Куда там! Но наш полицейский комиссар, Мейзлик, спросил у них, какой товар мог стоить пятьдесят пять крон. «Разный, — говорят ему, — смотря по тому, сколько было предметов. Но есть один предмет, который стоит ровно пятьдесят пять крон: это английский чайничек на одну персону». — «Так дайте мне такой чайничек, — сказал наш Мейзлик, — он может быть даже с браком, чтоб такой хлам так дорого не стоил...»

Потом он вызвал меня и говорит: «Вот что, Соучек, это дело как раз для вас. Допустим, эта девушка — служанка. Служанки то и дело бьют хозяйскую посуду. Когда это случается в третий раз, хозяйка обычно говорит ей: «Купите-ка теперь на свои деньги, растяпа!» И служанка идет и покупает за свой счет предмет, который она разбила. За пятьдесят пять крон там был только этот английский чайничек». — «Чертовски дорогая штука», — заметил я. «Вот в том-то и дело, — говорит Мейзлик. — Прежде всего это объясняет нам, почему служанка сохранила купон: для нее это были большие деньги, и она, видимо, надеялась, что хозяйка когда-нибудь возместит ей расход. Во-вторых, учтите вот что: это чайничек на одну персону. Стало быть, девушка служила у одинокой особы, а может, у ее хозяйки была одинокая жиличка и ей подавали в этом чайничке утренний чай. Эта одинокая особа, по-видимому, старая дева — ведь холостяк едва ли купит себе такой красивый и дорогой чайничек. Холостякам все равно из чего пить, не так ли? Вернее всего, это какая-нибудь одинокая барышня; старые девы, снимающие комнату, страшно любят красивые безделушки и часто покупают ненужные и слишком дорогие вещи».

— Это верно, — воскликнула Минка. — Вот и у меня, Пепик, есть красивая вазочка...

— Вот видите, — сказал Соучек. — Но купона от нее вы не сохранили... Потом комиссар и говорит мне: «Итак, Соучек, будем продолжать наши рассуждения. Все это очень спорно, но надо же с чего-то начать. Согласитесь,

что особа, которая может выбросить пятьдесят пять крон за чайничек, не станет жить на Жижкове. (Это он имел в виду трамвайный билет с семерки.) Во внутренней Праге почти нет комнат, сдающихся внаем, а на Малой Стране никто не пьет чай, только кофе. Так что, по-моему, наиболее вероятен квартал между Градчанами и Дейвице, если уж придерживаться того трамвайного маршрута. «Я почти готов утверждать, — сказал мне Мейзлик, — что старая дева, которая пьет чай из такого английского чайничка, наверняка поселилась бы в одном из домиков с палисадником. Это, знаете ли, Соучек, современный английский стиль!..»

У нашего комиссара Мейзлика, скажу я вам, иной раз бывают несуразные идеи. «Вот что, Соучек, — говорит он, — возьмите-ка этот чайничек и поспрошайте в том квартале, где снимают комнаты состоятельные барышни. Если у одной из них найдется такая штука, справьтесь, не было ли у ее хозяйки до мая молодой служанки. Все это чертовски сомнительно, но попытаться следует. Идите, папаша, поручаю это дело вам».

Я, знаете ли, не люблю этакие гадания на кофейной гуще. Порядочный сыщик — не звездочет и не ясновидец. Сыщику нельзя слишком полагаться на умозаключения. Иной раз, правда, угадаешь, но чисто случайно, и это не настоящая работа. Трамвайный билет и чайничек — это все-таки вещественные доказательства, а все остальное только... гипотеза, — продолжал Соучек, не без смущения произнеся это ученое слово. — Ну, я взялся за дело по-своему: стал ходить в этом квартале из дома в дом и спрашивать, нет ли у них такого чайничка. И представьте себе, в сорок седьмом домике служанка говорит: «О-о, как раз такой чайничек есть у нашей квартирантки!» Тогда я сказал, чтобы она доложила обо мне хозяйке.

Хозяйка, вдова генерала, сдавала две комнаты. У одной из ее квартиранток, некоей барышни Якоубковой, учительницы английского языка, был точно такой английский чайничек. «Сударыня, — говорю я хозяйке, — не было ли у вас служанки, которая взяла расчет в мае?» — «Была, — отвечает она, — ее звали Маня, а фамилии я не помню». — «А не разбила ли она чайничек у вашей квартирантки?» — «Разбила, и ей пришлось на свои деньги купить новый. А откуда вы об этом знаете?» — «Э-э, сударыня, нам все известно...».

Тут все пошло как по маслу: первым делом я разыскал подружку этой Мани, тоже служанку. У каждой служанки всегда есть подружка, причем только одна, но от нее уже нет секретов. У этой подружки я узнал, что убитую звали Мария Паржизекова и она родом из Држевича. Но важнее всего для меня было, кто кавалер этой Марженки. Узнаю, что она гуляла с каким-то Франтой. Кто он был и откуда, подружка не знала, но вспомнила, что однажды, когда они были втроем в «Эдене», какой-то хлюст крикнул Франте: «Здорово, Ферда!» У нас в полиции есть такой Фриба, специалист по всяческим кличкам и фальшивым именам. Вызвали его для консультации, и он тотчас сказал: «Франта, он же Ферда, это Круотил из Коширже. Его настоящая фамилия Пастыржик. Господин комиссар, я схожу забрать его, только надо идти вдвоем». Ну, пошел я с Фрибой, хоть это была и не моя работа. Загребли мы того Франту у его любовницы, он даже схватился за пистолет, сволочь... Потом отдали в работу комиссару Матичке. Бог весть, как Матичке это удается, но за шестнадцать часов он добился своего: Франта, или Пастыржик, сознался, что задушил на меже Марию Паржизекову и выкрал у нее две сотни крон, которые она получила, взяв расчет у хозяйки. Он обещал ей жениться, они все так делают... — хмуро добавил Соучек.

Минка вздрогнула.

— Пепа, — сказала она, — это ужасно!

— Теперь-то не так ужасно, — серьезно возразил сыщик. — Ужасно было, когда мы стояли там, над ней, в поле, и не нашли ничего другого, кроме трамвайного билета и купона. Только две пустяковые бумажки. И все-таки мы отомстили за Марженку! Да, говорю вам, ничего не выбрасывайте. Ничего! Самая ничтожная вещь может навести на след или быть уликой. Человек не знает, что у него в кармане нужное и что ненужное.

Минка сидела, глядя в одну точку. Глаза ее были полны слез. В горячей ладони она все еще нервно сжимала смятый купон. Но вот она в беззаветном порыве обернулась к своему Пепику, разжала руку и бросила купон на землю...

Пепик не видел этого, он смотрел на звезды. Но полицейский сыщик Соучек заметил и усмехнулся грустно и понимающе.

Конец Оплатки

В третьем часу ночи агент тайной полиции Крейчик заметил, что в булочной на Неклановой улице в доме № 17 наполовину приподнята железная штора. Крейчик нажал кнопку звонка к дворнику и, хотя уже не был при исполнении служебных обязанностей, заглянул под штору. В этот момент из булочной выскочил человек. Оказавшись лицом к лицу с Крейчиком, он выстрелил ему в живот и пустился бежать.

Полицейский Бартош, совершавший в это время обход Иеронимовой улицы, услышал выстрел и бросился в ту сторону со всех ног. На углу он чуть не столкнулся с бегущим человеком. Не успел Бартош крикнуть: «Стой!» — как раздался выстрел, и Бартош, раненный в живот, свалился на мостовую.

Улица проснулась от полицейских свистков, рысью сбегались патрули со всего района; из участка, застегивая на ходу куртки, бежали трое полицейских; через несколько минут из управления полиции примчался на мотоцикле дежурный офицер, но Бартош был уже мертв, а Крейчик умирал, держась за живот.

До рассвета полиция арестовала около двадцати человек. Арестовывали наобум, потому что убийцу никто не видал. Но, с одной стороны, полицейским хотелось отомстить за смерть двух товарищей, а с другой — так обычно делается в расчете на то, что кто-нибудь из арестованных проговорится. Допросы продолжались непрерывно день и ночь. Бледные, измученные рецидивисты изнывали на нескончаемых допросах, но больше всего боялись остаться наедине с двумя полицейскими, которые поведут их после допроса. В сердцах полицейских бушевала темная и страшная злоба — ведь убийца нарушил неписаный договор между полицией и преступным миром. Что он стрелял — это еще куда ни шло, но стрелять в живот — так не поступают даже с диким зверем.

К началу вторых суток вся полиция вплоть до последнего заштатного участка знала имя убийцы: Оплатка! Проговорился один из арестованных. «Ну, да! — сказал о н . — Вальта трепался, что Оплатка пришил двух легавых на Неклановой. Он, мол, пришьет еще и других, ему на все наплевать, у него чахотка!»

Ладно, значит — Оплатка. В ту же ночь арестовали Вальту, потом любовницу Оплатки и трех его приятелей. Но никто из них не знал или не хотел сказать, где скрывается Оплатка. Немало полицейских и сыщиков получили задание искать Оплатку. Но, кроме них, каждый полицейский, придя со службы домой и выпив чашку кофе, переодевался и, пробурчав что-то жене, шел искать убийцу на свой страх и риск. Наружность Оплатки была знакома каждому — этакий тщедушный, бледный человечек с тонкой шеей.

В одиннадцатом часу вечера полицейский Врзал, вернувшийся с поста в девять, переоделся в штатское и сказал жене, что пойдет поглядеть, что делается на улице. Около Райского сада он увидел человека, прятавшегося в тени. Врзал, хотя и не был вооружен, подошел поближе. Когда он был в трех шагах от неизвестного, тот быстро сунул руку в карман, выстрелил полицейскому в живот и пустился бежать. Схватившись руками за живот, Врзал бросился за ним, но через десяток шагов повалился наземь. Кругом уже заливались полицейские свистки, и несколько человек гналось за убегающей тенью. За садами Ригера раздалось два-три выстрела. Через четверть часа несколько автомобилей, набитых полицейскими, промчалось на окраину города, к верхней части Жижкова, и патрули из четырех-пяти человек стали прочесывать тамошние новостройки. Около часа ночи раздался выстрел за Ольшанским прудом, уже за чертой города, — кто-то на бегу выстрелил в парня, возвращавшегося от своей девушки из Вацкова, но промахнулся. Во втором часу ночи полицейские и сыщики, шаг за шагом приближаясь друг к другу, цепью окружили пустошь так называемых Еврейских печей. Начался мелкий дождь. Утром было получено сообщение, что на шоссе, недалеко от таможенного поста за Малешицами, кто-то стрелял в таможенника. Таможенник побежал было за стрелявшим, но вернулся, благоразумно рассудив, что это не его дело. Стало ясно, что Оплатка вырвался из города.

Человек шестьдесят полицейских в касках и дождевиках возвращались от Еврейских печей, промокшие, усталые и разъяренные — чуть не плача от злости. И было на что злиться: этот босяк прикончил трех полицейских — Бартоша, Крейчика и Врзала, а теперь бежит прямо в лапы сельских жандармов. «Он по праву принадлежит

нам, — твердили полицейские в форме и сыщики в штатском, — а вот, подумайте, приходится этого негодяя отдать жандармам! Слушайте, ведь он стрелял в нас, значит, это *наше* дело! Пусть жандармы не суются, пусть они только преградят ему путь и заставят вернуться в Прагу...»

Весь день моросил холодный дождь. Вечером в сумерках жандарм Мразек возвращался из селения Черчаны, куда ходил купить батарейку для радио. Мразек был без оружия и шел, весело посвистывая. По дороге ему попался невысокий человек. Мразек не обратил бы на него внимания, если бы человек не остановился, словно в нерешительности. Что за тип? — насторожился Мразек, но уже блеснул огонек, и Мразек упал, схватившись рукой за бок.

В тот же вечер жандармы всего округа были подняты на ноги.

— Слушай, Мразек, — сказал умирающему жандармский капитан Гонзатко. — Ты не горюй, честное слово, мы этого гада поймаем. Это Оплатка, и я головой ручаюсь, что он пробирается в Собеслав, потому что оттуда родом. Черт их знает, почему, но когда этим людям грозит петля, их тянет на родину... Дай мне руку, Вацлав, обещаю тебе, что мы с ним разделаемся, чего бы это ни стоило.

Вацлав Мразек постарался улыбнуться, но из головы у него не выходили дети, а было их трое... Потом он представил себе, как со всех сторон собираются жандармы... наверное, придет и Томан из Черного Костельца... и Завада из Вотиц, — этот наверняка не отстанет! — и... и Роусек из Сазавы... Все наши парни, все свои... Сколько бравых ребят вместе! Мразек усмехнулся в последний раз; потом начались невыносимые боли.

Той же ночью жандармскому вахмистру Заваде вздумалось осмотреть ночной поезд из Бенешова. Кто знает, может, там Оплатка? Что, если он осмелился сесть в поезд? В вагонах тускло мерцали фонари; пассажиры, скорчившись, словно усталые зверьки, дремали на лавках. Вахмистр шел по вагонам, думая: «Черта с два тут распознаешь человека, которого в жизни не видел». Вдруг со скамейки в двух шагах от него вскочил какой-то пассажир в шляпе, надвинутой на глаза, хлопнул револьверный выстрел, и не успел жандарм в узком коридоре сорвать с плеча винтовку, как человек, размахивая револьвером, выпрыгнул из вагона. Завада успел еще крикнуть: «Держи!» — и ничком повалился на пол.

Убийца побежал к товарному составу, вдоль которого, раскачивая фонарем, шел железнодорожник Груша. «Вот отойдет двадцать шестой, пойду в дежурку прилечь», — думал Груша. Но тут он увидел бегущего человека и, не раздумывая, бросился ему наперерез. Такова уж, видно, привычная мужская реакция! Блеснул огонек — и это было последнее, что видел дед Груша. Еще и 26-ой не отошел, а Груша лежал в дежурке, только не на лавке, а на столе, и железнодорожники, сняв шапки, шли с ним проститься.

Несколько преследователей сгоряча пустилось в погоню, но было уже поздно. Оплатка по рельсам удрал в поле.

От мерцающих огоньков вокзала, от толпы взволнованных людей по всему дремотному осеннему сельскому краю прокатилась дикая паника. Жители запирались в свои дома и не решались высунуться даже на крыльцо. Говорили, что повсюду бродит неизвестный, страшного вида человек, не то долговязый и тощий, не то маленький и в кожаной тужурке. Почтальон видел, как он прячется за деревом, извозчику Лебеде на дороге кто-то делал знаки остановиться, но Лебеда хлестнул лошадей и умчался. А на самом деле случилось другое: какой-то человек, падающий от усталости, остановил девочку по дороге в школу. Прохрипев: «Дай!» — вырвал у нее узелок с ломтем хлеба и пустился бежать. С тех пор во всех деревнях люди, затаив дыхание, запирались на засовы и едва отваживались выглянуть в окно на безлюдную вечернюю улицу.

Но одновременно происходило другое, — центростремительное движение: со всех сторон, по одному, по два приходили жандармы. Бог весть откуда их столько набралось...

— Какого черта вам тут надо? — кричал капитан Гонзатко на жандарма из Часлава. — Кто вас сюда послал? Думаете, для поимки одного негодяя мне нужны жандармы всей страны?!

Жандарм из Часлава снял каску и смущенно поскреб в затылке.

— Такое дело, господин капитан, — просительно сказал он. — Завада этот... мой приятель... Не могу я... быть в стороне...

— Черт знает, что за народ! — бушевал капитан. — Каждый твердит одно и то же. Тут у меня собралось без приказа таких, как вы, больше пятидесяти человек. Что

мне с вами делать? — Капитан сердито кусал ус. — Ладно, поручаю вам участок шоссе, вон тот, от перекрестка к лесу. Скажите Олдржиху из Бенешова, что вы пришли его сменить.

— Из этого ничего не выйдет, господин капитан, — рассудительно возразил жандарм из Часлава, — Олдржих наверняка скажет, что ему смены не нужно и что ему на меня плевать. Уж лучше я возьму участок от леса до другой дороги. Есть там кто?

— Семирад из Веселки, — проворчал капитан. — И слушайте, вы, чаславский. Если увидите преступника, стреляйте первый. Я отвечаю. Никаких церемоний, понятно? Больше я не позволю убивать моих людей. Ну, марш!

Потом заявился начальник станции.

— Господин капитан! — сказал он. — Там приехало еще тридцать человек.

— Какие тридцать человек? — закричал капитан.

— Ну, железнодорожники. Это из-за Груши. Он ведь наш. Так вот, они хотят предложить вам свою помощь...

— Гоните их в шею! Еще штатские на мою голову!

Начальник станции переминался с ноги на ногу.

— Послушайте, господин капитан, — настойчиво продолжал он. — Некоторые из них приехали из самой Праги и даже из Мезимостья. Такая спайка — хорошая вещь. Разве заставишь их уехать обратно, если Оплатка убил одного из наших? Это их право... Уж вы, пожалуйста, господин капитан, не откажите, возьмите их с собой!

Капитан раздраженно проворчал, чтобы его оставили наконец в покое.

В течение дня широкое кольцо вокруг Оплатки постепенно сужалось. После полудня позвонили из штаба соседнего гарнизона — не потребуется ли в подкрепление отряд солдат. «Нет! — отрезал капитан. — Это *наше* дело, и мы с ним справимся сами, понятно?» Тем временем приехала группа сыщиков из Праги и жестоко поругалась с жандармским вахмистром на вокзале, который попытался отправить их обратно.

— Что?! — взорвался сыскной инспектор Голуб. — Вы хотите, чтоб мы поворотили оглобли? Эй, вы, трусы! Он убил троих наших, а у вас только двоих. У нас на него больше прав, вы, медноголовые.

Едва удалось уладить этот конфликт, как возник новый — между жандармами и лесничими.

— Убирайтесь прочь! — кричали жандармы. — Это вам не охота на зайцев!

— Черта с два! — возражали лесничие. — В лесах *мы* хозяева и *можем ходить, где хотим.* Ясно?

— Да поймите вы, — уговаривал их Роусек, жандарм из Сазавы, — это *наше* дело, и в него никто не должен лезть.

— Как же! — отвечали лесничие. — Девчонка-то, у которой Оплатка отнял хлеб, нашего лесничего дочка. Мы ему этого не спустим!

К вечеру круг замкнулся. Каждый преследователь слышал справа и слева от себя прерывистое дыхание соседа и чавканье сапог в топкой почве.

— Стой! — тихо передавали приказ по цепи. — Не двигаться!

Воцарилась тяжкая, грозная тишина, лишь изредка шелестела сухая листва на ветру да начинал моросить дождь. Иногда кто-нибудь наступал на ветку или тихо звякало кольцо ремня о винтовку.

В полночь кто-то прокричал в темноте: «Стой!» — и выстрелил. В этот момент произошло что-то странное — раздалось десятка три выстрелов; некоторые бросились вперед, другие закричали: «Назад! По местам!»

Кое-как все снова пришло в порядок, круг опять замкнулся. Только теперь преследователи отчетливо осознали, что во тьме перед ними прячется загнанный и обреченный человек, стремящийся вырваться из страшного окружения. Неудержимый озноб пробежал по рядам людей. Где-то, словно осторожные шаги, прошуршали тяжелые капли дождя. О господи, хоть бы скорее рассвело!

Забрезжил туманный рассвет, и уже можно было разглядеть силуэты людей. Как близко были они друг от друга! Их замкнутая цепь окружала лесок, вернее — заросли густого кустарника, где, наверное, полно зайцев... Там было тихо... совершенно тихо...

Капитан Гонзатко нервно пощипывал ус. Ждать еще... или?

— Я пойду туда, — пробормотал инспектор Голуб.

Капитан засопел.

— Идите вы! — приказал он ближайшему жандарму.

Пять человек устремилось к кустарнику, послышался треск ломающихся ветвей, потом наступила тишина.

— Всем оставаться на местах! — крикнул капитан своим людям и медленно двинулся к зарослям. Немного

погодя из кустов появилась широкая спина жандарма, волочившего поникшее тело. Ноги поддерживал усатый, как морж, лесничий. За ними выбрался из густых зарослей капитан Гонзатко, хмурый и пожелтевший.

— Положите его здесь, — прохрипел он, потер себе лоб, оглядел, словно удивляясь, цепь людей, стоящих в нерешительности, еще больше нахмурился и закричал: — Чего уставились? Разойдись!

Один за другим люди как-то смущенно подходили к тщедушному скорченному телу, лежащему на меже. Так вот он, Оплатка, — эта худая торчащая из рукава рука, это мокрое от дождя позеленевшее худое лицо, эта тощая шея. Господи боже, как он жалок, этот негодяй! Ага, вот у него пулевое ранение в спине, вот небольшая ранка за оттопыренным ухом, вот еще одна рана... четыре, пять, — всего семь ран.

Капитан Гонзатко, склонившийся над трупом, выпрямился, потом неловко откашлялся, почти испуганно поднял глаза. Вот перед ним длинная шеренга жандармов, винтовки на плечах, штыки блестят... Крепкие ребята, что танки! Стоят, подравнявшись, как на параде, никто не шелохнется. Напротив них черная группа сыщиков — приземистые, с револьверами в оттопыренных карманах. Дальше невысокие железнодорожники в синей форме, упрямые и настойчивые, еще дальше зеленые лесничие, сухощавые и жилистые парни, усатые и краснолицые. «Словно почетный траурный караул, построенный в каре, собирается произвести залп», — подумал капитан, кусая губы от бессмысленных угрызений совести. Такой заморыш, изрешеченный пулями, окоченевший, взъерошенный, как подстреленная дохлая ворона, а против него столько преследователей...

— А, ч-черт! — закричал капитан, стиснув зубы. — Есть там какой-нибудь мешок? Прикройте тело!

Двести человек расходились в разные стороны. Они не разговаривали между собой, только ругали плохую дорогу и сердито огрызались на вопросы любопытных: «Ну да, разделались, отвяжитесь, ради бога!»

Жандарм, оставленный на карауле около трупа, свирепо осаживал деревенских ротозеев: «Вам чего надо? Нечего тут глазеть! Это не ваше дело!»

На границе округа жандарм из Сазавы, Роусек, плюнул и сказал:

— Тьфу, пропасть, лучше б мне этого не видеть! Эх, кабы я мог выйти против этого Оплатки один на один — как мужчина против мужчины!

Последний суд

Пресловутый Куглер, совершивший несколько убийств, преследуемый целой армией полицейских и детективов, у которых наготове были уже ордера на его арест, заявил, что его не поймают, и его действительно не поймали, во всяком случае живым. Последнее, девятое по счету, убийство он совершил, выстрелив в полицейского, который пытался его арестовать. Хотя полицейского он и убил, зато сам получил семь пуль: по крайней мере, три из них были смертельны. Таким образом, казалось бы, он избежал земного правосудия.

Смерть наступила так быстро, что Куглер не успел даже почувствовать особенной боли. Когда его душа покидала тело, ее могли бы поразить странности того света, серого и бесконечно пустого, но они ее не поразили. Человек, побывавший и в американских тюрьмах, воспринял тот свет просто как незнакомую обстановку, в которой с известной долей мужества можно перебиться, как и в любом другом месте.

Наступил наконец для Куглера неминуемый, Последний Суд. Так как в небесах навечно заведен необычный порядок, Куглер предстал перед Сенатом, а не перед Судом Присяжных, как он предполагал, зная свои прегрешения. Судебный зал выглядел так же просто, как и на земле, только по одной причине — о ней вы вскоре узнаете — не было там креста, перед которым присягают свидетели. Судей было трое, все старые, заслуженные советники, со строгими и недовольными лицами. Начались томительные формальности. Куглер Фердинанд, без определенных занятий, родился такого-то числа, умер... Тут выяснилось, что Куглер не знает даты своей смерти, и он сразу увидел, что такая забывчивость повредила ему в глазах судей, — и обозлился.

— Признаете ли вы себя виновным? — спросил председатель.

— Нет, — строптиво ответил Куглер.

— Попросите свидетеля, — вздохнув, сказал председатель.

Напротив Куглера оказался могучий, просто необыкновенной величины старец, закутанный в синее одеяние, усеянное золотыми звездами. При его появлении судьи встали; встал, помимо своей воли, совершенно очарованный Куглер. Только когда старец занял свое место, судьи снова сели.

— Свидетель, — начал председатель, — Боже Всеведущий, этот последний Сенат пригласил вас, чтобы вы дали свидетельские показания по делу Куглера Фердинанда. Вы, Всевышний, говорящий только правду, присягать не должны. Просим вас, в интересах судебного разбирательства, говорить только по существу, не отвлекаться и не останавливаться на подробностях и фактах, которые не относятся к делу. А вы, Куглер, не перебивайте свидетеля. Он знает все, и скрывать что-либо бессмысленно. Прошу свидетеля дать показания.

Сказав это, председатель удобно облокотился о стол, снял золотые очки и, видимо, приготовился слушать продолжительную речь свидетеля. Самый старый член суда удобно расположился — поспать. Ангел-секретарь раскрыл книгу жизни.

Свидетель Бог слегка откашлялся и начал:

— Итак, Куглер Фердинанд. Фердинанд Куглер, сын фабричного служащего, уже с детства был испорченным ребенком. Ты, парень, доставил своим близким много неприятностей! Мать страшно любил, но стеснялся проявлять свои чувства и поэтому был упрям и непослушен. А помнишь, ты укусил отцу палец, когда он вздумал поколотить тебя за то, что ты воровал розы в саду у нотариуса?

— Это были розы для Ирмы, дочери податного инспектора, — вспомнил Куглер.

— Я знаю, — сказал Бог. — Ей тогда было семь лет. А ты разве не знаешь, что с ней стало потом?

— Нет, не знаю, — сказал Куглер.

— Она вышла замуж за Оскара, сына фабриканта. Он заразил ее дурной болезнью, и она умерла от аборта. Помнишь Руду Зарубова?

— Где он теперь?

— Он, дружище, стал моряком и погиб в Бомбее. Вы с ним были самые скверные мальчишки во всем городе. Куглер Фердинанд воровал уже в десять лет и постоянно врал, водил компанию с дурными людьми — такими, как пьяница и нищий Длабола; с ним он делился хлебом насущным.

Судья сделал знак рукой, мол, это к делу не относится, но Куглер застенчиво спросил:

— А... что стало с его дочкой?

— С Маржкой? — спросил Бог. — Та совсем опустилась. В четырнадцать лет она продавала себя, а в двадцать уже померла. И в предсмертной агонии вспоминала о тебе. В четырнадцать лет ты пьянствовал и удирал из дому. Твой отец совсем извелся от горя, а мать проплакала все глаза. Осквернил ты свой дом. А твоя сестричка, твоя прелестная сестра Мартичка, не нашла жениха, никто не захотел породниться с семьей преступника. Она и сейчас живет, измученная изнурительной работой, в одиночестве и бедности, униженная подачками милосердных людей.

— Что же она делает сейчас?

— Как раз сейчас она пришла в лавку Влчека и покупает там нитки, потом будет шить до темноты. Помнишь эту лавку? Однажды ты купил там стеклянный, отливающий всеми цветами радуги шарик. Тебе тогда было шесть лет. В первый же день ты потерял его и никак не мог найти. Помнишь, как ты плакал от досады и огорчения?

— А куда же он закатился? — спросил Куглер, сгорая от любопытства.

— Под желоб. Ведь он лежит там и поныне, а с тех пор минуло тридцать лет. Сейчас на земле идет дождь, и стеклянный шарик перекатывается под струей холодной, журчащей воды.

Куглер склонил голову, потрясенный. Но председатель надел очки и сказал спокойно:

— Свидетель, мы должны перейти к делу. Убивал обвиняемый?

Бог-свидетель кивнул.

— Он убил девять человек. Первого в драке. За это он попал в тюрьму, где окончательно развратился. Второй жертвой была неверная любовница. Его приговорили к смерти, но он бежал. Третьим был старик, которого он ограбил. Четвертым — ночной сторож.

— Разве он умер? — воскликнул Куглер.

— Умер через три дня, — сказал Бог. — В страшных мучениях, и оставил после себя шестерых детей. Затем были убиты пожилые супруги: он зарубил их топором и нашел у стариков только шестнадцать крон, хотя у них было припрятано больше двадцати тысяч.

Куглер вскочил:

— Да где же, скажите, пожалуйста?

— В тюфяке, — сказал Бог. — В холщовом мешочке под соломой, где эти скряги прятали деньги, нажитые ростовщичеством. Седьмого он убил в Америке. Это был переселенец, земляк, беспомощный, как ребенок.

— Так они были в тюфяке, — прошептал изумленный Куглер.

— Да, — продолжал Бог. — Восьмым был прохожий, он случайно попался по дороге, когда за тобой гнались. Тогда у тебя, Куглер, было воспаление надкостницы и ты сходил с ума от боли. Чего только ты не натерпелся, парень! Последним был полицейский, которого ты убил перед самой своей смертью.

— Почему он убивал? — спросил председатель.

— Как и все люди, — отвечал Бог. — По злобе, от жадности к деньгам, преднамеренно и случайно, иногда с наслаждением, иногда по необходимости. Был он щедр и часто помогал людям. Ласков был с женщинами, любил животных и держал свое слово. Нужно ли еще говорить о его добрых делах?

— Спасибо, — произнес председатель, — не нужно. Обвиняемый, хотите ли вы сказать что-нибудь в свое оправдание?

— Нет, — ответил равнодушно Куглер, потому что теперь ему уже все было безразлично.

— Суд удаляется на совещание, — объявил председатель, и все четверо вышли. Бог и Куглер остались одни в судебном зале.

— Кто они? — спросил Куглер, показывая кивком головы на уходящих.

— Люди, как ты, — сказал Бог. — Они были судьями на земле и теперь судят здесь.

Куглер грыз ногти.

— Я думал... Меня это не волновало, но я ожидал, что судить будете вы, потому что... потому...

— Потому что я Бог, — закончил великий старец. — Вот именно оттого и нельзя, понимаешь? Я все знаю, и

поэтому вообще не могу судить. Ведь это невозможно! Как ты думаешь, Куглер, кто тебя в тот раз выдал?

— Не знаю, — удивленно ответил Куглер.

— Луцка, кельнерша. Донесла из ревности.

— Простите, — осмелел Куглер. — Вы забыли сказать, что я застрелил в Чикаго еще и этого мерзавца Тедди.

— Где там застрелил, — возразил Бог. — Этот выкарабкался и жив до сих пор. Я знаю, он доносчик, но в остальном, дружище, он добряк и страшно любит детей. Ты только не подумай, что на свете есть хоть один законченный негодяй.

— Почему, собственно, вы... почему ты, Боже, не судишь сам? — спросил Куглер задумчиво.

— Потому что я все знаю. Если бы судьи всё, совершенно всё знали, они бы тоже не могли судить. Тогда бы судьи все понимали, и от этого у них только болело бы сердце. Могу ли я судить тебя? Судьи знают только о твоих злодеяниях, а я знаю о тебе все. Все, Куглер! Вот почему я и не могу тебя судить.

— А почему... эти люди... судят и на небе?

— Потому что человеку необходим человек. Я, как видишь, только свидетель, но наказывать, понимаешь, наказывать должны сами люди... и на небе. Поверь мне, Куглер, это правильно. Люди не заслуживают никакой другой справедливости, кроме человеческой.

Тут вернулись судьи, и председатель Последнего Сената громко произнес:

— За девятикратное преднамеренное убийство, за ограбления, за недозволенное возвращение с места, откуда он был изгнан, за незаконное ношение оружия и за кражу роз — Куглер Фердинанд приговаривается к пожизненному заключению в преисподней. Приговор привести в исполнение немедленно.

Итак, следующее дело. Обвиняемый Шахат Франтишек здесь?

Преступление в крестьянской семье

— Подсудимый, встаньте, — сказал председатель суда. — Вы обвиняетесь в убийстве своего тестя Франтишека Лебеды. В ходе следствия вы признались, что с на-

мерением убить Лебеду трижды ударили его топором по голове. Признаете вы себя виновным?

Изможденный крестьянин вздрогнул и проглотил слюну.

— Нет, — сказал он.

— Но Лебеду убили вы?

— Да.

— Значит, признаете себя виновным?

— Нет.

Председатель обладал ангельским терпением.

— Послушайте, Вондрачек, — сказал он. — Установлено, что однажды вы уж пытались отравить тестя, подсыпав ему в кофе крысиный яд. Это правда?

— Да.

— Из этого следует, что вы уже давно посягали на его жизнь. Вы меня понимаете?

Обвиняемый посопел носом и недоуменно пожал плечами.

— Это все из-за того лужка с клевером, — пробормотал он. — Он взял да продал лужок, хоть я ему и говорил: «Папаша, не продавайте клевер, я куплю кроликов...»

— Погодите, — прервал его председатель суда. — Чей же был клевер, его или ваш?

— Ну его, — вяло произнес обвиняемый. — А на что ему клевер? Я ему говорил: «Папаша, оставьте мне хоть тот лужок, где у вас люцерна посеяна». А он заладил свое: «Вот умру, все Маржке останется...» Это, стало быть, моя жена. «Тогда, говорит, делай с ним, что хочешь, голодранец».

— Поэтому вы и хотели его отравить?

— Ну да.

— За то, что он вас выругал?

— Нет, за лужок. Он сказал, что его продаст.

— Однако послушайте, — воскликнул председатель, — это ведь был его лужок? Почему же ему было не продать?

Обвиняемый Вондрачек укоризненно поглядел на председателя.

— Да ведь у меня-то там, рядом, посажена полоска картофеля, — объяснил он. — Я ее и покупал с расчетом, чтоб потом стало одно поле. А он знай свое: «Какое мне дело до твоей полоски, я лужок продаю Юдалу».

— Значит, между вами были нелады? — допытывался председатель.

— Ну да, — угрюмо согласился Вондрачек. — Из-за козы.
— Какой козы?
— Он выдоил мою козу. Я ему говорю: «Папаша, не троньте козу, а не то отдайте нам за нее полянку у ручья». А он взял и сдал ту полянку в аренду.
— А деньги куда девал? — спросил один из присяжных.
— Да куда ж их деть? — уныло протянул обвиняемый. — Убрал в сундучок. «Умру, говорит, вам достанется». А сам все не помирает. Ему было, наверно, уж за семьдесят.
— Значит, вы утверждаете, что в неладах был повинен тесть?
— Верно, — ответил Вондрачек нерешительно. — Ничего он нам не давал. «Пока, говорит, я жив, я хозяин — и никаких». Я ему говорю: «Папаша, купите корову, я тогда этот лужок распашу, и не надо будет его продавать». А он ладит свое: мол, когда умру, покупай хоть две коровы, а я эту свою полоску продам Юдалу.
— Послушайте, Вондрачек, — строго сказал председатель. — А может, вы его убили, чтобы добраться до денег в сундучке?
— Эти деньги были отложены на корову, — упрямо твердил Вондрачек. — Мы так и рассчитывали: помрет он, вот мы и купим корову. Какое же хозяйство без коровы, судите сами. Навоза, и то взять негде.
— Обвиняемый! — вмешался прокурор. — Нас интересует не корова, а человеческая жизнь. Почему вы убили своего тестя?
— Из-за лужка.
— Это не ответ.
— Лужок-то он хотел продать...
— Но после его смерти деньги все равно достались бы вам!
— А он не хотел умирать, — недовольно сказал Вондрачек. — Кабы умер по-хорошему... Я ему никогда ничего худого не сделал. Вся деревня скажет, что я с ним, как с родным отцом... Верно, а? — обратился он к залу, где собралась половина деревни.
В публике прокатился шум.
— Так, — серьезно произнес председатель суда. — И за это вы хотели его отравить?
— Отравить! — пробурчал обвиняемый. — А зачем он

вздумал продавать тот клевер? Вам, барин, всякий скажет, что клевер нужен в хозяйстве. Как же без него?

В зале одобрительно зашумели.

— Обращайтесь ко мне, а не к публике, обвиняемый, — повысил голос председатель суда. — Или я прикажу вывести ваших односельчан из зала. Расскажите подробнее об убийстве.

— Ну... — неуверенно начал Вондрачек. — Дело было в воскресенье. Гляжу — опять толкует с этим Юдалом. «Папаша, говорю, не вздумайте продать лужок». А он в ответ: «Тебя не спрошусь, лопух!» Ну, думаю, ждать больше нечего. Пошел я колоть дрова...

— Вот этим топором?

— Да.

— Продолжайте.

— Вечером говорю жене: «Забирай-ка детей да иди к тетке». Она — ревет. «Не реви, говорю, я с ним еще сперва потолкую...» Приходит он в сарай и говорит: «Это мой топор, давай его сюда!» Я ему говорю: «А ты выдоил мою козу». Он хотел отнять у меня топор. Тут я его и рубанул.

— За что же?

— Ну, за тот лужок.

— А почему вы его ударили три раза?

Вондрачек пожал плечами.

— Да уж так пришлось, барин... Наш брат привычный к тяжелой работе.

— А потом что?

— Потом я пошел спать.

— И заснули?

— Нет. Все думал, дорого ли обойдется корова... и что ту полянку я выменяю на полоску у дороги, чтобы было одно поле.

— А совесть вас не беспокоила?

— Нет. Меня беспокоило, что земля у нас вразнобой. Да еще надо починить коровник, это обойдется не в одну сотню. У тестя-то ведь и телеги не было. Я ему говорил: «Папаша, господь вас прости, разве это хозяйство? Эти два поля прямо просятся одно к другому, надо же иметь сочувствие».

— А у вас самого было сочувствие к старому человеку? — загремел председатель.

— Да ведь он хотел продать лужок Юдалу, — пробормотал обвиняемый.

— Значит, вы его убили из корысти?

— Вот уж неправда! — взволнованно возразил обвиняемый. — Единственно из-за лужка. Кабы мы оба поля соединили...

— Признаете вы себя виновным?

— Нет.

— А убийство старика, по-вашему, не преступление?

— Так я ж и говорю, что все это из-за лужка! — воскликнул Вондрачек, чуть не плача. — Нешто это убийство? Господи, это же надо понимать, барин. Тут семейное дело, чужого человека я бы пальцем не тронул... Я никогда ничего не крал... хоть кого спросите в деревне, Вондрачека все знают... А меня забрали, как вора, как жулика... — простонал Вондрачек, задыхаясь от обиды.

— Не как вора, а как отцеубийцу, — хмуро поправил его председатель. — Знаете ли вы, Вондрачек, что за это полагается смертная казнь?

Вондрачек хмыкал и сопел носом.

— Это все из-за лужка... — твердил он упрямо.

Судебное следствие продолжалось: показания свидетелей, выступление прокурора и защитника...

Присяжные удалились совещаться о том, виновен или нет обвиняемый Вондрачек. Председатель суда задумчиво смотрел в окно.

— Скучный процесс, — проворчал член суда. — Прокурор не усердствовал, да и защитник не слишком распространялся... Дело ясное, какие уж тут разговоры!

Председатель суда запыхтел.

— «Дело ясное»... — повторил он и махнул рукой. — Послушайте, коллега, этот человек считает себя таким же невиновным, как вы или я. У меня ощущение, что мне предстоит судить мясника за то, что он зарезал корову, или крота за то, что он роет норы. Во время заседания мне все приходило в голову, что, собственно, это не наше дело. Понимаете ли, это не вопрос права или закона. Фу... — вздохнул он и снял мантию. — Надо немного отдохнуть от этого. Знаете, я думаю, присяжные его оправдают; хоть это и глупо, а его отпустят, потому что... Я вам вот что скажу. Я сам родом из деревни, и когда подсудимый говорил, что поля просятся друг к другу, я ясно видел две разрозненные полоски земли, и мне казалось,

что мы должны были бы судить... по-божески... должны были бы решить судьбу этих двух полей. Знаете, как я поступил бы? Встал бы, снял шапочку и сказал: «Обвиняемый Вондрачек, пролитая кровь вопиет к небу. Во имя божие ты засеешь оба эти поля беленой и плевелом. Да, беленой и плевелом, и до самой смерти своей будешь глядеть на этот посев ненависти...» Интересно, что сказал бы на этот счет представитель обвинения? Да, коллега, деяния человеческие иногда должен бы судить сам бог. Он один мог бы назначить великую и страшную кару... Но судить по воле божьей не в наших силах... Что, присяжные уже кончили? — Председатель нехотя встал и надел свою мантию. — Ну, пошли. Зовите присяжных.

Исчезновение актера Бенды

Второго сентября бесследно исчез актер Бенда, маэстро Ян Бенда, как стали называть его, когда он с головокружительной быстротой достиг вершин театральной славы. Собственно говоря, второго сентября ничего не произошло; служанка, тетка Марешова, пришедшая в девять часов утра прибрать квартиру Бенды, нашла ее, как обычно, в страшном беспорядке. Постель была измята, а хозяин отсутствовал. Но так как в этом не было ничего особенного, то служанка навела порядок и отправилась восвояси. Ладно. Но с тех пор Бенда как сквозь землю провалился.

Тетка Марешова не удивилась и этому. В самом деле, актеры — что цыгане. Уехал, верно, куда-нибудь выступать или кутить. Но десятого сентября Бенда должен был быть в театре, где начинались репетиции «Короля Лира». Когда он не пришел ни на первую, ни на вторую, ни на третью репетицию, в театре забеспокоились и позвонили его другу доктору Гольдбергу — не известно ли ему, что случилось с Бендой?

Доктор Гольдберг был хирург и зарабатывал большие деньги на операциях аппендикса — это ведь чисто еврейская специальность. Это был полный человек в золотых очках с толстыми стеклами, и сердце у него было золотое. Он увлекался искусством, все стены своей квартиры увешал картинами и боготворил актера Бенду, а тот от-

носился к нему с дружеским пренебрежением и милостиво разрешал платить за себя в ресторанах, что, между прочим, было не мелочью! Похожее на трагическую маску лицо Бенды и сияющую физиономию доктора Гольдберга, который ничего, кроме воды, не пил, часто можно было видеть рядом во время сарданапальских кутежей и диких эскапад, которые были оборотной стороной славы великого актера.

Итак, доктору позвонили из театра насчет Бенды. Он ответил, что представления не имеет, где Бенда, но поищет его. Доктор умолчал, что, охваченный растущим беспокойством, он уже неделю разыскивает приятеля во всех кабаках и загородных отелях. Его угнетало предчувствие, что с Бендой случилось что-то недоброе. Насколько ему удалось установить, он, доктор Гольдберг, был, по-видимому, последним, кто видел Бенду. В конце августа они совершили ночной триумфальный поход по пражским кабакам. Но в условленный день Бенда не явился на свидание. Наверное, нездоров, решил доктор Гольдберг и как-то вечером заехал к Бенде. Было это первого сентября. На звонок никто не отозвался, но внутри был слышен шорох. Доктор звонил добрых пять минут. Наконец раздались шаги, и в дверях появился Бенда в халате и такой страшный, что Гольдберг перепугался. Бенда был осунувшийся, грязный, волосы всклокоченные и слипшиеся, борода и усы не бриты по меньшей мере неделю.

— А, это вы, — неприветливо сказал Бенда. — Зачем пожаловали?

— Что с вами, боже мой?! — изумленно воскликнул доктор.

— Ничего! — проворчал Бенда. — Я никуда не пойду, понятно? Оставьте меня в покое.

И захлопнул дверь перед носом у Гольдберга. На следующий день он исчез.

Доктор Гольдберг удрученно глядел сквозь толстые очки. Что-то тут неладно. От привратника дома, где жил Бенда, доктор узнал немного: однажды, часа в три ночи, — может быть, как раз второго сентября, — перед домом остановился автомобиль. Из него никто не вышел, но послышался звук клаксона, видимо, сигнал кому-то в доме. Потом раздались шаги — кто-то вышел и захлопнул за собой парадную дверь. Машина отъехала. Что это был за автомобиль? Откуда привратнику знать! Что он, ходил

смотреть, что ли? Кто это без особой надобности вылезает из постели в три часа ночи? Но этот автомобиль гудел так, словно людям было невтерпеж и они не могли ждать ни минуты.

Тетка Марешова показала, что маэстро всю неделю сидел дома, выходил, вероятно, лишь ночью, не брился да, наверное, и не мылся, судя по виду. Обед и ужин он велел приносить ему домой, хлестал коньяк и валялся на диване, вот, кажется, и все.

Теперь, когда случай с Бендой получил огласку, Гольдберг снова зашел к тетке Марешовой.

— Слушайте, мамаша, — сказал он, — не вспомните ли вы, во что был одет Бенда, когда уходил из дому?

— Ни во что! — сказала тетка Марешова. — Вот это-то мне и не нравится, сударь. Ничего он не надел. Я знаю все его костюмы, и все они до единого висят в гардеробе.

— Неужто он ушел в одном белье? — озадаченно размышлял доктор.

— Какое там белье, — объявила тетка Марешова. — И без ботинок. Неладно здесь дело. Я его белье знаю наперечет, у меня все записано, я ведь всегда носила белье в прачечную. Нынче как раз получила все, что было в стирке, сложила вместе и сосчитала. Гляжу — восемнадцать рубашек, все до одной. Ничего не пропало, все цело до последнего носового платка. Только чемоданчика маленького нет, что он всегда с собой брал. Ежели он по своей воле ушел, то не иначе, бедняжка, как совсем голый, с чемоданчиком в руках...

Лицо доктора Гольдберга приняло озабоченное выражение.

— Мамаша, — спросил он, — когда вы пришли к нему второго сентября, не заметили вы какого-нибудь особенного беспорядка? Не было ли что-нибудь повалено или выломаны двери?..

— Беспорядка? — возразила тетка Марешова. — Беспорядок-то там, конечно, был. Как всегда. Господин Бенда был великий неряха. Но какого-нибудь особенного беспорядка я не заметила... Да скажите, пожалуйста, куда он мог пойти, ежели на нем и подтяжек не было?

Доктор Гольдберг знал об этом не больше, чем она, и в самом мрачном настроении отправился в полицию.

— Ладно, — сказал полицейский чиновник, выслушав Гольдберга. — Мы начнем розыски. Но, судя по тому, что

вы рассказываете, если он целую неделю сидел дома, заросший и немытый, валялся на диване, хлестал коньяк, а потом сбежал голый, как дикарь, то это похоже на...

— Белую горячку! — воскликнул доктор Гольдберг.

— Да, — последовал ответ. — Скажем так: самоубийство в состоянии невменяемости. Я бы этому не удивился.

— Но тогда был бы найден труп, — неуверенно возразил доктор Гольдберг. — И потом: далеко ли он мог уйти голый? И зачем ему нужен был чемоданчик? А автомобиль, который заехал за ним? Нет, это больше похоже на бегство.

— А что, у него были долги? — вдруг спросил чиновник.

— Нет, — поспешно ответил доктор. — Хотя Бенда всегда был в долгу, как в шелку, но это его никогда не огорчало.

— Или, например, какая-нибудь личная трагедия... несчастная любовь, или сифилис, или еще что-нибудь, способное потрясти человека?

— Насколько мне известно, ничего, — не без колебания сказал доктор, вспомнив один-два случая, которые, впрочем, едва ли могли иметь отношение к загадочному исчезновению Бенды.

Тем не менее, получив заверения, что «полиция сделает все, что в ее силах», и возвращаясь домой, доктор припомнил, что ему было известно об этой стороне жизни исчезнувшего приятеля. Сведений оказалось немного:

1. Где-то за границей у Бенды была законная жена, о которой он, разумеется, не заботился. 2. Бенда содержал какую-то девушку, живущую в Голешовицах. 3. Бенда имел связь с Гретой, женой крупного фабриканта Кор-ела. Эта Грета бредила артистической карьерой, и поэтому Корбел финансировал какие-то фильмы, в которых его жена, разумеется, играла главную роль. В общем, было известно, что Бенда — любовник Греты и она к нему ездит, пренебрегая элементарной осторожностью. Но Бенда никогда не распространялся на эту тему. К женщинам он относился то с рыцарским благородством, то с цинизмом, от которого Гольдберга коробило.

— Нет, — безнадежно махнул рукой доктор, — в личных делах Бенды сам черт не разберется. Что ни говори, а я голову даю на отсечение, здесь какая-то темная история. Впрочем, теперь этим делом займется полиция.

Гольдберг, разумеется, не знал, что предпринимает полиция и каковы ее успехи. Он лишь с возрастающей тревогой ждал известий. Но прошел месяц, а новостей не было, и о Яне Бенде начали уже говорить в прошедшем времени.

Как-то вечером доктор Гольдберг встретил на улице старого актера Лебдушку. Они разговорились, и, конечно, речь зашла о Бенде.

— Ах, какой это *был* актер! — вспоминал старый Лебдушка. — Я его помню, еще когда ему было двадцать пять лет. Как он играл Освальда, этот мальчишка! Знаете, студенты-медики ходили к нам в театр посмотреть, как выглядит человек, разбитый параличом. А его король Лир, которого он играл тогда в первый раз! Я даже не знаю, как он играл, потому что все время смотрел на его руки. Они были как у восьмидесятилетнего старика — худые, высохшие, озябшие, жалкие... И посейчас я не понимаю, как он делал это! А ведь и я умею гримироваться. Но того, что мог делать Бенда, не сумеет никто! Только актер может по-настоящему оценить его.

Доктор Гольдберг с грустным удовлетворением слушал этот профессиональный некролог.

— Да, взыскательный был актер, — со вздохом продолжал Лебдушка. — Как он, бывало, гонял театрального портного! «Не буду, кричит, играть короля в таких поношенных кружевах. Дайте другие!» Терпеть не мог бутафорской халтуры. Когда он взялся, помню, за роль Отелло, то обегал все антикварные магазины, нашел старинный перстень той эпохи и не расставался с ним, играя эту роль. «Я, говорит, лучше играю, когда на мне что-то подлинное». Нет, это была не игра, это было перевоплощение!.. — неуверенно произнес Лебдушка, сомневаясь в правильности выбранных слов. — В антрактах он бывал угрюмый, как сыч, запирался у себя в уборной, чтобы никто не портил ему вдохновения. Он и пил потому, что играл сплошь на нервах, — задумчиво добавил Лебдушка. — Ну, я в кино, — сказал он, прощаясь.

— Я пойду с вами, — предложил Гольдберг, не зная, как убить время.

В кино шел какой-то фильм о моряках, но доктор Гольдберг почти не смотрел на экран. Чуть ли не со слезами на глазах слушал он болтовню Лебдушки о Бенде.

— Не актер это был, а настоящий дьявол, — рассказывал Лебдушка. — Одной жизни ему было мало, вот в чем дело. Жил он по-свински, доктор, но на сцене это был настоящий король или настоящий бродяга. Так величественно умел он подать знак рукой, словно всю свою жизнь сидел на престоле и повелевал. А ведь он сын бродячего точильщика... Посмотрите-ка на экран; хорош потерпевший кораблекрушение! Живет на необитаемом острове, а у самого ногти подстрижены. Идиот этакий! А борода? Сразу видно, что приклеена. Нет, если бы эту роль играл Бенда, он отрастил бы настоящую бороду, а под ногтями у него была бы настоящая грязь... Что с вами, доктор?

— Извините, — пробормотал доктор Гольдберг, быстро вставая, — я вспомнил об одном пациенте. Спасибо за компанию.

И он торопливо вышел из кино, повторяя про себя: «Бенда отпустил бы настоящую бороду... Он *так и сделал!* Как это мне раньше не пришло в голову!»

— В полицейское управление! — крикнул он, вскакивая в первое попавшееся такси.

Проникнув к дежурному офицеру, Гольдберг стал шумно умолять, чтобы ему во что бы то ни стало, как можно скорее, *немедленно,* сообщили, не был ли второго сентября или позднее найден где-нибудь — *все равно где!* — труп неизвестного бродяги. Против всяких ожиданий, дежурный офицер прошел куда-то посмотреть или спросить. Сделал он это скорее от нечего делать, чем из предупредительности или из интереса. В ожидании доктор Гольдберг сидел, обливаясь холодным потом, осененный страшной догадкой.

— Так вот, — сказал, вернувшись, офицер, — утром второго сентября лесничий в Кршивоклатском лесу обнаружил труп неизвестного бродяги, лет сорока. Третьего сентября из Лабы, близ Литомержице, извлечен неопознанный труп мужчины, лет тридцати, пробывший в воде не меньше двух недель. Десятого сентября близ Немецкого Брода обнаружен повесившийся, личность которого не установлена. Самоубийце около шестидесяти лет...

— Есть какие-нибудь подробности о бродяге в лесу? — спросил Гольдберг, затаив дыхание.

— Убийство, — сказал дежурный, пристально глядя на взволнованного доктора. — Согласно рапорту полицейского

поста, череп покойного размозжен тупым орудием. Данные вскрытия: алкоголик, смерть наступила в результате повреждения мозга. Вот фотография. Здорово его отделали! — добавил дежурный с видом знатока.

На снимке Гольдберг увидел труп, сфотографированный до пояса, одетый в лохмотья, в расстегнутой холщовой рубахе. На месте глаз и лба было сплошное кровавое месиво. Лишь в заросшем колючей щетиной подбородке и полуоткрытых губах заметно было что-то человеческое. Гольдберг дрожал, как в лихорадке. Неужели это Бенда?

— Были какие-нибудь особые приметы? — с трудом спросил он.

Офицер заглянул в бумаги.

— Гм... Рост его сто семьдесят восемь сантиметров, волосы с сединой, гнилые зубы...

Доктор Гольдберг шумно перевел дух.

— Значит, это не он. У Бенды зубы были, как у тигра. Это не он! Прошу извинения, что затруднил вас, но это не может быть он. Исключено...

«Исключено! — твердил он с облегчением, возвращаясь домой. — Может быть, Бенда жив. Может, он сейчас сидит где-нибудь в «Олимпии» или «Черной утке»...

Ночью доктор Гольдберг совершил еще один рейд по Праге. Он обошел все кабаки и злачные места, где когда-то кутил Бенда, заглядывал во все укромные уголки, но Бенды нигде не было. Под утро доктор, вдруг побледнев, сказал себе, что он идиот, и бросился в гараж. Вскоре он был в управе одного из районов Пражского края и потребовал, чтобы разбудили начальника. На счастье, оказалось, что тот — пациент Гольдберга: доктор некогда собственноручно вырезал ему аппендикс и вручал на память в баночке со спиртом. Это отнюдь не поверхностное знакомство помогло доктору без задержки получить разрешение на эксгумацию, и уже через два часа он, вместе с недовольным всей этой затеей районным врачом, присутствовал при извлечении из могилы трупа неизвестного бродяги.

— Говорю вам, коллега, — ворчал районный врач, — что им уже интересовалась пражская полиция. Совершенно исключено, чтобы этот опустившийся, грязный бродяга мог быть Бендой.

— А вши у него были? — с любопытством осведомился доктор Гольдберг.

— Не знаю, — был сердитый ответ. — Но разве можно опознать его сейчас, коллега! Ведь он месяц пролежал в земле...

Когда могила была вскрыта, Гольдбергу пришлось послать за водкой, иначе нельзя было уговорить могильщиков вытащить и отнести в покойницкую то невыразимо страшное, зашитое в мешок, что лежало на дне могилы!

— Идите смотрите сами, — бросил районный врач Гольдбергу и остался на улице, закурив крепкую сигару.

Через минуту из покойницкой, шатаясь, вышел смертельно бледный Гольдберг.

— Пойдите посмотрите! — хрипло сказал он и пошел обратно к телу. Указав на то место, которое когда-то было головой, он оттянул пинцетом остатки губ, и оба врача увидели испорченные черные зубы.

— Хорошенько смотрите! — сказал Гольдберг, вводя пинцет между зубов и снимая с них черный слой. Открылись два безупречно крепких резца. Больше у Гольдберга не хватило выдержки, и он, схватившись за голову, выбежал из покойницкой.

Вскоре он вернулся, бледный и невероятно подавленный.

— Вот они — эти «гнилые зубы», — сказал он тихо. — Черная смола, которую артисты налепляют себе на зубы, когда играют стариков и бродяг. Этот оборванец был актером, коллега... Великим актером! — добавил он, безнадежно махнув рукой.

В тот же день доктор Гольдберг посетил фабриканта Корбела, крупного мужчину с тяжелым подбородком.

— Сударь, — сказал ему доктор Гольдберг, сосредоточенно глядя сквозь толстые стекла очков. — Я пришел к вам по делу актера Бенды...

— А! — отозвался фабрикант и заложил руки за голову. — Значит, он нашелся?

— Отчасти. Я полагаю, вам это будет интересно хотя бы потому, что вы хотели ставить фильм с его участием... вернее, финансировали этот фильм.

— Какой фильм? — равнодушно спросил громадный мужчина. — Ничего об этом не знаю.

— Я говорю о том фильме, — упрямо продолжал Гольдберг, — в котором Бенда должен был играть бродягу... а

ваша жена — главную женскую роль. Собственно, все это делалось для госпожи Корбеловой, — добавил он невинно.

— А вам до этого нет никакого дела! — проворчал Корбел. — Наверное, Бенда наболтал... Пустые разговоры. Что-то в этом роде, возможно, и предполагалось... Вам Бенда рассказывал, да?

— Нет, ведь вы велели ему молчать. Все держалось в полнейшей тайне. Но дело в том, что Бенда в последнюю неделю жизни отращивал бороду и волосы, чтобы выглядеть настоящим бродягой. Он был взыскателен к таким деталям, не правда ли?

— Не знаю, — отрезал хозяин. — Что вы еще хотите сказать?

— Так вот, фильм должны были снимать второго сентября, не так ли? Первая съемка была назначена в Кршивоклатском лесу на рассвете. Бродяга просыпается на опушке... в утреннем тумане... отряхивается от листьев и игл, прилипших к лохмотьям... Представляю себе, как мастерски Бенда сыграл бы это. Он оделся в самое скверное рванье, которое лежало у него на чердаке в ящике. Потому-то после исчезновения весь его гардероб и оказался в целости. Удивляюсь, почему никто не обратил на это внимания. Можно было рассчитывать, что он выдержит костюм бродяги в точности, вплоть до лохмотьев на рукавах и веревки вместо пояса. Точность костюмировки — это был его конек.

— Что же дальше? — спросил высокий человек, все больше отклоняясь в тень. — Я, собственно, не понимаю, зачем вы все это рассказываете мне.

— Потому что второго сентября часа в три утра вы заехали за ним на машине, — упрямо продолжал доктор Гольдберг, — наверное, это был не ваш собственный, а наемный автомобиль, и наверняка лимузин. Вел машину, мне думается, ваш брат, он спортсмен и надежный сообщник. Подъехав к дому, вы, как было условлено с Бендой, не поднялись в квартиру, а дали сигнал. Вышел Бенда... вернее, грязный и заросший оборванец. «Поспешим, — сказали вы ему, — оператор уже должен быть на месте. И вы поехали в Кршивоклатский лес.

— Номер машины вам, по-видимому, неизвестен? — иронически осведомился человек в тени.

— Если бы я его знал, вы бы уже сидели за решеткой, — раздельно сказал доктор Гольдберг. — На рассвете

вы прибыли на место. Там превосходная натура — опушка леса, вековые дубы. Ваш брат, я думаю, остался у машины и стал возиться с мотором, а вы повели Бенду в сторону от дороги. Пройдя шагов четыреста, вы сказали: «Здесь». — «А где же оператор?» — спросил Бенда. В этот момент вы нанесли ему первый удар.

— Чем? — раздался голос в тени.

— Свинцовым кистенем, — сказал Гольдберг. — Разводной автомобильный ключ был бы слишком легок для такого черепа. И потом вам надо было обезобразить лицо до неузнаваемости. Добив его, вы вернулись к машине. «Готово?» — спросил ваш брат, но вы, наверное, ничего не ответили, ведь убить человека не так просто.

— Вы с ума сошли, — проговорил человек в тени.

— Нет, я только напоминаю вам, как, вероятно, было дело. Вы хотели устранить Бенду из-за истории с вашей женой. Она развлекалась уж слишком открыто...

— Вы, паршивый еврей, — прорычал человек в кресле, — как вы смеете...

— Я не боюсь вас, — сказал Гольдберг, поправляя очки, чтобы иметь более строгий вид. — У вас нет власти надо мною, несмотря на все ваше богатство. Что вы можете мне сделать? Не захотите у меня оперироваться? Да я бы вам и не советовал этого, откровенно говоря.

Человек в тени тихо засмеялся.

— Слушайте, вы, — сказал он странно веселым тоном, — если бы вы могли доказать хоть десятую долю того, что здесь наболтали, вы бы пришли не ко мне, а в полицию, не правда ли?

— Вот именно, — очень серьезно ответил Гольдберг. — Если бы я мог доказать хотя бы десятую часть, я не был бы сейчас здесь. Боюсь, что все это никогда не будет доказано. Сейчас даже нельзя доказать, что тот сгнивший бродяга — Бенда. Потому то я и пришел к вам.

— Шантажировать? — спросил человек в кресле и протянул руку к звонку.

— Нет, вселять страх. У вас, сударь, не очень чувствительная совесть. Для этого вы слишком богаты. Но сознание, что кто-то еще знает эту страшную тайну, знает, что вы и ваш брат — убийцы, что вы убили актера Бенду, сына точильщика, комедианта, — вы, два фабриканта, — это сознание навсегда нарушит ваше вельможное равновесие. Пока я жив, вам обоим не будет покоя. Я хотел

бы видеть вас на виселице! Но если это невозможно, я буду отравлять вам жизнь. Бенда был нелегким человеком, я-то его знал. Он часто бывал злым, высокомерным, циничным, бесстыдным, всем, кем хотите. Но это был художник. Все ваши миллионы не возместят этой утраты. Со всеми вашими миллионами вы не способны на тот королевский жест... которым он умел выразить все величие человека. — Доктор Гольдберг в отчаянии всплеснул руками. — Как вы могли решиться? Никогда вам не будет покоя, никогда! Я не позволю забыть это преступление. Я до смерти буду напоминать вам: «Помните Бенду, актера Бенду? Великого *художника* Бенду?»

Покушение на убийство

В тот вечер советник Томса кейфовал и, нацепив радионаушники, с благодушной улыбкой слушал славянские танцы Дворжака. «Вот это музыка!» — удовлетворенно приговаривал он. Вдруг на улице что-то дважды хлопнуло, и из окна на голову советника со звоном посыпались стекла. Томса жил в первом этаже.

Советник поступил так, как поступил бы каждый из нас: он несколько секунд подождал, что будет дальше, потом снял наушники и со строгим видом огляделся: что такое произошло? И только после этого перепугался, увидев, что окно, у которого он сидел, прострелено в двух местах, а дверь напротив расщеплена и в ней засела пуля. Первым побуждением Томсы было с пустыми руками выбежать на улицу и схватить преступника за шиворот. Но когда человек в летах и ему свойственна известная степенность, он обычно пропускает первый импульс и действует уже по второму. Поэтому Томса кинулся к телефону и вызвал полицейский участок.

— Алло, срочно пошлите кого-нибудь ко мне. На меня только что покушались.

— А где это? — осведомился сонный и апатичный голос.

— У меня дома! — вскипел Томса, словно полиция была в чем-то виновата. — Это же безобразие ни с того ни с сего стрелять в мирного гражданина, который сидит

у себя дома. Необходимо строжайшее расследование! Этого еще не хватало, чтобы...

— Ладно, — прервал его сонный голос. — Пошлем кого-нибудь.

Советник сгорал от нетерпения; ему казалось, что этот «кто-то» тащится целую *вечность.* А на самом деле уже через двадцать минут к нему явился рассудительный полицейский инспектор и с интересом осмотрел простреленное окно.

— Кто-то выстрелил в окно, сударь, — деловито объявил он.

— Это я и без вас знаю, — рассердился Томса. — Ведь я сидел тут, у самого окна.

— Калибр семь миллиметров, — заметил инспектор, выколупывая ножом пулю из двери. — Похоже, что из армейского револьвера старого образца. Обратите внимание, этот тип должен был влезть на забор. Стой он на тротуаре, пуля пролетела бы выше. Значит, он целился в вас, сударь.

— Это замечательно! — с горечью отозвался Томса. — А я было подумал, что он просто хотел угодить в дверь.

— Кто же это сделал? — осведомился инспектор, не давая сбить себя с толку.

— Извините, я не могу дать вам его адрес, — иронически ответил советник. — Я этого господина не видел и позабыл пригласить его в дом.

— М-да, дело не так-то просто, — невозмутимо сказал инспектор. — Ну, а кого вы подозреваете?

У Томсы уже лопалось терпение.

— Что значит подозреваю! — воскликнул он раздраженно. — Молодой человек, я ведь не видел этого мерзавца. Даже если бы он постоял там, ожидая от меня воздушного поцелуя, в темноте я его все равно не узнал бы. Знай я, кто он такой, стал бы я вас беспокоить, как вы думаете!

— Ну да, — успокоительно отозвался инспектор. — Но, может быть, вы вспомните, кому ваша смерть могла быть выгодна, кто хотел бы вам отомстить? Учтите, это не грабеж. Грабитель не стреляет без крайней необходимости. Может быть, у вас есть враги? Вот об этом вы и скажите, а мы расследуем.

Томса смутился: об этой стороне дела он не подумал.

— Понятия не имею, — неуверенно начал он, мысленным взором окидывая всю свою тихую жизнь чиновника и старого холостяка. — Откуда бы у меня взялись враги? —

продолжал он с удивлением. — Честное слово, я ни одного не знаю. Нет, это исключено. — И он покачал головой. — Я ведь ни с кем не встречаюсь, живу замкнуто, никуда не хожу, ни во что не вмешиваюсь... За что мне мстить?

Инспектор пожал плечами.

— Я тем более не знаю, сударь. Но, может быть, к завтрашнему дню вы вспомните? Вы не боитесь оставаться здесь?

«Нет, не боюсь, — смущенно твердил он себе, оставшись один, — почему, да, *почему* в меня стреляли? Ведь я живу прямо-таки отшельником. Отсижу на службе и иду домой... у меня и знакомых-то нет! Почему же меня хотели застрелить?» — удивлялся он. В душе росла горечь от такой несправедливости. Ему становилось жаль самого себя. «Работаю как вол, — думал он, — даже беру работу на дом, не расточительствую, не знаю никаких радостей, живу, как улитка в раковине, и вдруг бац! Кому-то вздумалось пристукнуть меня. Боже, откуда у людей такая беспричинная злоба? — Советник был изумлен и подавлен. — Кого я обидел? *Почему* кто-то так неистово ненавидит меня?»

«Нет, тут, наверное, ошибка, — размышлял он, сидя на кровати с одним ботинком в руке. — Ну, конечно, меня спутали с кем-то. С тем, кому хотели отомстить. Да, это так, — решил он с облегчением. — За что, *за что* кто-нибудь может ненавидеть именно меня?»

Ботинок вдруг выпал из руки советника. Не без смущения он вспомнил, как недавно сболтнул страшную глупость: в разговоре со знакомым, неким Роубалом, допустил бестактный намек на его жену. Всему свету известно, что жена изменяет Роубалу и путается с кем попало; да и сам Роубал знает, но не хочет подавать виду. А я, олух этакий, так глупо брякнул об этом!.. Советнику вспомнилось, как Роубал с трудом перевел дыхание и стиснул кулаки. «Боже, — ужаснулся Томса, — как я обидел человека! Ведь он безумно любит свою жену. Я, конечно, пытался перевести разговор на другую тему, но как Роубал закусил губу! Вот уж у кого есть причина меня ненавидеть! Конечно, не может быть и речи о том, что в меня стрелял он. Но я бы не удивился, если...»

Томса оторопело уставился в пол. «Или вот, например, мой портной... — вспомнил он с тягостным чувством. — Пятнадцать лет он шил на меня, а потом мне сказали,

что у него открытая форма туберкулеза. Понятное дело, всякий побоится носить платье, на которое кашлял чахоточный. И я перестал у него шить. А он пришел просить, сижу, мол, без работы, жена болеет, надо отправить детей в деревню... не удостою ли я его вновь своим доверием. О господи, как он был бледен, от слабости обливался потом! «Господин Колинский, — сказал я ему, — ничего не выйдет, мне нужен портной получше, я был вами недоволен». — «Я буду стараться, господин Томса», — умолял он, потный от испуга и растерянности, и чуть не расплакался. А я, — вспомнил советник, — я спровадил его, сказав: «Ну, там видно будет», — хорошо известная беднякам фраза! Портной тоже может меня ненавидеть, — ужаснулся советник, — ведь это страшно: просить кого-нибудь о спасении жизни и получить такой бездушный отказ! Но что мне было делать? Я знаю, он в меня не стрелял, но...»

На душе у советника становилось все тяжелее. Вспомнилось еще кое-что... «Как это было нехорошо, когда я на службе взъелся на нашего курьера. Никак не мог найти один документ, ну и вызвал этого старика, накричал на него при всех, как на мальчишку. Что, мол, за беспорядок, вы идиот, во всем здесь хаос, надо гнать вас в шею!.. А документ потом нашелся у меня в столе! Старик тогда даже не пикнул, только дрожал и моргал глазами...» Советника бросило в жар. «Но ведь не следует извиняться перед подчиненными, даже если немного обидишь их, — успокаивал он себя. — Как, должно быть, подчиненные ненавидят своих начальников. Ладно, я подарю этому старику какой-нибудь старый костюм... Нет, ведь и это его унизит...»

Советник уже не мог лежать в постели, одеяло душило его. Он сел и, обняв колени, уставился в темноту; мучительные воспоминания не покидали его... «Или, например, инцидент с молодым сослуживцем Моравеком; Моравек — образованный человек, пишет стихи. Однажды он плохо составил письмо, и я сказал ему: «Переделайте, коллега!» И хотел бросить эту бумагу на стол, а она упала на пол, и Моравек нагнулся, покраснев до ушей... Избил бы себя за это! — пробормотал советник. — Я же люблю этого юношу, и так его унизить, пусть даже неумышленно!..»

В памяти Томсы всплыло еще одно лицо: бледная, одутловатая физиономия сослуживца Ванкла. «Бедняга

Ванкл, он хотел стать начальником вместо меня. Это дало бы ему на несколько сотен в год больше, у него шестеро детей... Говорят, он мечтает отдать свою старшую дочь учиться пению, а денег не хватает. И вот я обогнал его по службе, потому что он такой тяжелодум и работяга. Жена у него злая, тощая, ожесточенная вечными нехватками. В обед он жует сухую булку...»

Советник тоскливо задумался. «Бедняга Ванкл, ему, должно быть, обидно, что я, одинокий, получаю больше, чем он. Но разве я виноват? Мне всегда бывает неловко, когда этот человек укоризненно глядит на меня...»

Советник потер вспотевший лоб. «Да, — сказал он себе, — а вот на днях кельнер обсчитал меня на несколько крон. Я вызвал владельца ресторана, и он немедля уволил этого кельнера. «Вор! — кричал он. — Я позабочусь о том, чтобы никто во всей Праге не взял вас на работу!» А кельнер не сказал ни слова, повернулся и пошел. Тощие лопатки вздрагивали у него под стареньким фраком...»

Советнику не сиделось на постели. Он пересел к радиоприемнику и надел наушники. Но радио молчало, была безмолвная ночь, тихие ночные часы. Томса опустил голову на руки и стал вспоминать людей, встреченных им в жизни, непонятных маленьких людей, с которыми он не находил общего языка и о которых прежде никогда не думал.

Утром, немного бледный и растерянный, зашел он в полицейский участок.

— Ну, что? — спросил инспектор. — Вспомнили вы, кто вас может ненавидеть?

Советник покачал головой.

— Не знаю, — нерешительно сказал он. — Таких людей столько, что... — Он безнадежно махнул рукой. — Кто из нас знает, сколько человек он обидел... Сидеть у окна я больше не буду. И, знаете, я пришел попросить вас прекратить это дело...

Освобожденный

— Вам все понятно, Заруба? — спросил начальник тюрьмы, почти торжественно дочитав соответствующий акт министерства юстиции. — Здесь говорится о том, что

вас условно освобождают от пожизненного заключения. Вы отсидели двенадцать с половиной лет и за все это время вели себя... гм... одним словом, образцово. Мы дали вам самую лучшую характеристику и... гм... короче, вы можете идти домой, понимаете? Но запомните, Заруба, если вы что-нибудь натворите, досрочное освобождение аннулируется; приговор, вынесенный вам за убийство вашей жены Марии, снова войдет в силу, и вам придется пробыть в заключении всю жизнь. Тогда уже сам господь бог вам не поможет. Так будьте осторожны, Заруба; в следующий раз сидеть вам до самой смерти.

Начальник тюрьмы растроганно высморкался.

— Мы вас любили, Заруба, но снова увидеть здесь не хотим. Так с богом! В канцелярии вам выплатят причитающиеся деньги. Можете идти.

Заруба, верзила чуть ли не двухметрового роста, переминался с ноги на ногу и что-то бормотал: он был так счастлив, просто до боли, в груди его что-то хрипело, всхлипывания сдавливали горло.

— Ну, ну, — проворчал начальник, — смотрите не расплачьтесь тут! Мы раздобыли для вас кое-какую одежду, а строитель Малек пообещал взять вас на работу. Ах, вы хотите прежде побывать дома? Понимаю, понимаю, на могиле своей жены. Это похвальное намерение. Счастливый путь, Заруба, — сказал поспешно начальник тюрьмы и подал Зарубе руку. — И будьте внимательны, ради бога. Помните, что вы освобождены всего лишь условно.

— Какой славный человек этот Заруба! — сказал начальник тюрьмы, как только за освобожденным закрылась дверь. — Я вам должен сказать, Форманек, среди убийц встречаются очень порядочные люди: в заключении самые трудные растратчики; тем в тюрьме все не по нраву. Жаль мне Зарубу!

Когда Заруба прошел двор Панкрацкой тюрьмы и за ним захлопнулись железные ворота, его охватило чувство страшной неуверенности: он боялся, что первый же попавшийся полицейский задержит его и приведет обратно. Он брел медленно, чтобы кто-нибудь грехом не подумал, будто он сбежал. Заруба вышел на улицу, и у него просто голова пошла кругом, так много было везде народу. Вон бегают дети, два шофера ругаются. Боже, сколько людей, раньше такого не было. Куда же все-таки идти? А, все равно! Машин-то, машин! И столько женщин! А за мной

никто не идет? Кажется, нет, но сколько же тут машин! Теперь уже Заруба убегал вниз, к центру Праги, как можно дальше от тюрьмы; запахло чем-то копченым... но сейчас еще не время, сейчас еще нельзя; потом он почувствовал другой запах, более сильный; новостройка. Каменщик Заруба остановился, жадно впитывая запах извести и бревен. Он загляделся на пожилого рабочего, который месил цементный раствор. Зарубе так хотелось заговорить с ним, но у него это как-то не получалось; кажется, он совсем потерял голос; в одиночке отвыкаешь говорить. Заруба большими шагами спускался к центру Праги. Господи, сколько разных строек! Там вон строят из одного бетона, двенадцать лет назад так не строили. Этого не было, не было. В мои времена не было, — думал Заруба. — Но ведь опоры могут рухнуть, они такие тонкие.

— Осторожно, парень! Ты что, ослеп?

Оп чуть не попал под машину, а затем — под звенящий трамвай. Проклятье! За двенадцать лет отвыкаешь ходить по улицам. Хотелось бы у кого-нибудь спросить: что это за стройка — такая большая! Хотелось узнать, как попасть на Северо-западный вокзал. Из-за того, что рядом с Зарубой тарахтела машина, груженная железом, и его никто бы все равно не услышал, он попробовал громко произнести: «Скажите, пожалуйста, как пройти на Северо-западный вокзал?» Нет, не получается: совсем, что ли, пропал голос? А может, там, наверху, в тюрьме, ржавеешь и становишься немым? Первые три года иногда еще кое-что спрашиваешь, а потом и спрашивать перестаешь. «Скажите, пожалуйста, как пройти...» Что-то заклокотало у него в горле, но на человеческий голос это похоже не было.

Заруба торопливо пробегал улицы — одну за другой. Он словно опьянел, или, может быть, это ему только снилось: все стало каким-то другим, не то что двенадцать лет назад: крупнее, шумнее, беспокойнее. И народу так много! Зарубе становится даже как-то грустно. Кажется ему, что он где-то на чужбине и с этими людьми ему никогда не договориться. Ах, попасть бы поскорее на вокзал и уехать домой, домой. У брата там домик и дети... «Скажите, пожалуйста, как пройти...» — попытался спросить Заруба, но только беззвучно пошевелил губами. Дома это пройдет, дома он заговорит, только бы добраться до вокзала.

Сзади раздался крик, и кто-то втащил его на тротуар.

— Какого черта ты, парень, не по тротуару идешь? — орет на него шофер.

Зарубе хочется ему ответить, да ничего не получается. Он только откашливается и пускается бежать дальше. Идти по тротуару! Да он для меня слишком узок. Люди, Я так спешу, так хочу домой. Пожалуйста, скажите, как пройти на Северо-западный вокзал? Может быть, по той самой оживленной улице, где движется вереница трамваев. Откуда берется столько народу? Ведь здесь целая толпа, и направляется она в одну сторону — наверное, тоже к вокзалу. Потому, видно, так и торопятся, что боятся опоздать на поезд.

Верзила Заруба прибавил ходу, чтобы не отставать. Видите, этим людям тоже не хватает тротуара. Пестрая, шумная толпа уже запрудила всю улицу, а люди все подходят, они просто бегут наперегонки и что-то кричат. И вдруг начали кричать все — протяжно и громко.

У Зарубы, опьяненного шумом, закружилась голова. Боже, как это здорово — столько народу! Там, впереди, запели какой-то марш. Заруба пристраивается к идущим и возбужденно топает. Посмотрите-ка, вокруг него все уже поют. У Зарубы что-то подкатывает к горлу, словно что-то толкает его изнутри, хочет вырваться наружу, — это песня: раз-два, раз-два. Он поет песню без слов, рычит что-то густым басом. Что же это за песня? Да не все ли равно. Я еду домой, я еду домой! Долговязый Заруба шагает уже в первом ряду и поет — хотя это и не слова, но все равно — это так прекрасно: раз-два, раз-два. С поднятой рукой трубит Заруба, как слон. Кажется, поет все тело, живот вздрагивает, как барабан. Грудная клетка неистово гудит. А в глотке становится так хорошо, словно он большими глотками пьет вино или плачет. Тысячи людей кричат: «Позор! Позор правительству!» Но Заруба не может понять, что там кричат, и только победоносно трубит: «А-а! А-а!» Размахивая длинной рукой, Заруба идет впереди всех. Кричит и ревет, поет, громко смеется, колотит себя кулаками в грудь и наконец издает крик такой силы, что он взвивается над всеми головами, словно знамя. «У-ва, у-ва!» — трубит Заруба во все горло, во всю силу своих легких, от всего сердца, закрывая глаза, как петух, когда кукарекает. «У-ва! А-а! Ура-а!»

Вдруг толпа останавливается и не может двинуться дальше. Ощетинившись, она отступает беспорядочной волной и разражается пронзительным криком. «У-ва, У-ра!» Заруба закрыл глаза, он весь поглощен звуками этого своего великого освобожденного голоса, который поднимается откуда-то из самой глубины души.

Неожиданно чьи-то руки хватают его, и задыхающийся голос кричит в самое ухо:

— Именем закона вы арестованы!

Заруба открыл глаза: на одной руке у него повис полицейский и хочет вытащить его из группы людей, которые судорожно сопротивляются. Заруба ахнул от ужаса и хотел вырвать руку, которую выкручивал полицейский; он взревел от боли и свободной рукой, будто палицей, стукнул блюстителя закона по голове. Полицейский побагровел и отпустил его, но в этот момент кто-то огрел Зарубу дубинкой по затылку: удар, другой, третий! Две огромные руки завертелись, словно крылья ветряной мельницы. Они лупили по чьим-то головам. Внезапно на его руках повисли два человека в касках, вцепились, словно бульдоги.

Заруба, задыхаясь от бешенства, старается сбросить их, пинает кого-то ногами, бьется, как помешанный, но его толкают и куда-то тащат. Полицейские вывернули ему руки и ведут по пустынной улице: раз-два, раз-два. Заруба теперь идет, как овечка, и мысленно только спрашивает: пожалуйста, скажите, как пройти на Северо-западный вокзал? Ведь мне надо домой.

Два полицейских вталкивают его в участок.

— Ваше имя? — спрашивает злой, ледяной голос.

Заруба и рад бы сказать, но только беззвучно шевелит губами.

— Как вас зовут? — орет злой голос.

— Заруба Антонин, — хрипло шепчет верзила.

— Где проживаете?

Заруба беспомощно пожал плечами.

— На Панкраце, — с трудом выдавил он из себя, — в одиночке.

* * *

Это не должно было произойти, но произошло: трое законников совещались, как вызволить Зарубу: председатель суда, прокурор и адвокат ex offo.

— Пусть Заруба ни в чем не признается, — предложил прокурор.

— Поздно, — проворчал председатель суда. — На допросе он уже признался, что вступил в драку с полицейским. Вот дурень, взял и во всем признался...

— Может, полицейские дадут показания, что не могут с уверенностью сказать, Заруба это был или кто-то другой, — предложил адвокат.

— Слушайте, — запротестовал прокурор, — не хватает еще, чтоб мы учили полицейских врать! Они же прекрасно знают, что это был Заруба. Лично я — за невменяемость. Предложите проверить его душевное состояние, коллеги. Я поддержу.

— Я, конечно, это предложу, — сказал адвокат, — но что будет, если доктора не признают его умалишенным?

— Я сам с ними поговорю, — пообещал председатель суда. — Это, конечно, не дело, но... не хочется мне, чтобы Заруба за такую глупость сидел всю жизнь. Быть бы мне сейчас подальше отсюда! Видит бог, я дал бы ему шесть месяцев, даже не моргнув, но чтобы он провел в тюрьме остаток жизни — это уж мне совсем... не нравится.

— Если мы не сможем установить помешательство, — размышлял прокурор, — будет очень скверно. Поймите же, ради бога, я обязан возбудить дело о нарушении закона; что я еще могу сделать? Если бы этот болван хоть зашел в какой-нибудь трактир! Мы бы запросто установили, что он был пьян.

— Прошу вас, господа, — настаивал председатель, — сделайте как-нибудь, чтобы я мог его освободить. Я старый человек и не хотел бы на себя брать этот... ну, сами знаете что.

— Трудное положение, — вздохнул прокурор. — Ну, посмотрим. Может, выгорит с психиатрами. Так, значит, дело слушается завтра, да?

Однако слушать дело не пришлось. В ту же ночь Антонин Заруба повесился, очевидно, от страха перед наказанием. Он был очень большого роста и висел как-то странно; казалось, он просто сидит на земле.

— Проклятие! — пробормотал прокурор. — Черт побери, какая глупость! Но мы, во всяком случае, тут ни при чем.

Преступление на почте

— Вы говорите: Справедливость, — сказал жандармский вахмистр Брейха. — Хотелось бы мне знать, почему ее изображают женщиной с повязкой на глазах и весами в руке, словно она торгует перцем. Я бы представлял Справедливость в образе жандарма. Вы не поверите, сколько дел мы, жандармы, решаем без судей, без весов и без всяких церемоний. Если случай простой, бьем по морде, а более сложный — снимаем ремень; в девяноста случаях из ста — это и есть вся справедливость. Я здесь недавно изобличил двоих в убийстве, сам приговорил их к справедливому наказанию и сам их наказал, никому не обмолвившись об этом ни единым словом. Подождите-ка, сейчас расскажу вам все по порядку.

Так вот, вы, конечно, помните девушку, которая два года тому назад работала у нас на почте: ее еще Геленкой звали. Такая милая, славная девочка и красивая, как на картинке! Да как ее можно было не запомнить! Представьте себе, эта Геленка прошлым летом утопилась; прыгнула в озеро да еще шла почти пятьдесят метров, пока добралась до глубокого места. Только через два дня всплыла. И знаете, почему она утопилась? В тот день к ней из Праги неожиданно прибыла ревизия и обнаружила, что в кассе недостает двух сотен. Жалких двух сотен! Болван ревизор ей сказал, что он обязан доложить об этом по начальству и рассматривает недостачу как растрату. В тот вечер, приятель, Геленка со стыда и утопилась.

Когда ее вытащили на плотину, мне пришлось около нее стоять до появления комиссии. От ее красоты не осталось и следа. Но я все представлял себе, как она смеется, выглядывая из окошечка на почте: что греха таить, все мы туда из-за нее ходили, не так ли? Любили эту девочку. Будь я проклят, — говорю я себе, — Геленка этих денег не брала, прежде всего потому, что я в это никогда не поверю, и во-вторых, незачем ей было красть: отец ее — мельник, там, по ту сторону озера, а пошла она работать только из женского честолюбия, мол, сама себя прокормит. Отца я хорошо знал: он был грамотей, да к тому же — евангелист, а я вам скажу, что евангелисты и сектанты у нас никогда не воруют. Если эти две сотни исчезли, то украл их кто-то другой. Так вот, я этой мерт-

вой девочке там, на плотине, пообещал, что этого так но оставлю.

Ну, так вот. После ее смерти прислали к нам на почту одного парня из Праги; звали его Филинек; расторопный такой, острый на язык малый. Стал я к Филипеку на почту захаживать, чтобы кое-что выяснить. Знаете, у нас, как и на всех почтах, у окошечка — столик с выдвижным ящиком, а в нем — деньги и марки. У почтового служащего за спиной полки, где лежат всякие тарифные справочники, документы, стоят весы для взвешивания пакетов, посылок и прочего.

— Господин Филипек, — говорю я ему, — посмотрите, пожалуйста, в ваших справочниках, сколько будет стоить телеграмма, ну, скажем, до Буэнос-Айреса?

— Три кроны слово, — ответил Филипек, не моргнув глазом.

— А сколько стоит срочная телеграмма в Гонконг? — опять спросил я.

— Это уже придется посмотреть, — сказал Филипек, встал и повернулся к полкам. А пока он перелистывал справочник, стоя ко мне спиной, я просунул в окошечко плечо, дотянулся рукой до ящика с деньгами и открыл его: открывался он легко и тихо.

— Ну спасибо, мне все уже ясно, — сказал я, — вот так это и могло случиться. В то время, пока Геленка искала что-нибудь в справочнике, кто-то мог стащить две сотни из ящика. Послушайте, Филипек, не могли бы вы мне показать, кто в последнее время посылал отсюда какие-нибудь телеграммы или посылки?

Филипек почесал затылок и ответил:

— Господин вахмистр, этого делать я не имею права, ведь как-никак существует тайна переписки; вы, правда, могли бы осмотреть все «именем закона»; но и тогда я обязан сообщить начальству, что была произведена проверка.

— Подождите, — прервал я его, — я бы не хотел этого делать. Вот если бы вы, Филипек, скуки ради или так... посмотрели по документам, кто в последнее время отправлял что-нибудь такое, из-за чего Геленка должна была повернуться спиной к столу.

— Господин вахмистр, — говорит Филипек, — это не составит труда — телеграммы есть: но, отправляя заказные письма и пакеты, мы записываем только фамилии адре-

сата, а не отправителя. Я перепишу все фамилии, которые здесь найдутся: это не полагается, но для вас я такой списочек составлю. Только мне кажется, вам это ничего не даст.

Он, конечно, был прав, этот Филипек: принес мне что-то около тридцати фамилий — с сельской почты ведь много телеграмм не отправляют, да еще там были какие-то посылки паренькам, отбывающим военную службу, но все это мне действительно ровным счетом ничего не дало. Знаете, куда бы я ни шел, везде только об этом и думал: мучила меня мысль, что я свое обещание этой мертвой девочке не выполню.

И вот однажды, неделю примерно спустя, иду я опять на почту. Филипек мне улыбается и говорит:

— Господин вахмистр, играйте теперь в кегли один, я укладываюсь. Завтра сюда приезжает девушка с пардубицкой почты.

— Вот как, — спрашиваю, — в наказание, что ли, переводят ее из города на сельскую почту?

— Да нет, господин вахмистр, — отвечает Филипек и глядит на меня как-то странно, — эта девушка переводится сюда по собственному желанию.

— Удивительно, — говорю я. — Ох уж эти мне женщины.

— Да, — соглашается Филипек и все на меня смотрит, — а самое удивительное в том, что анонимный донос насчет экстренной ревизии тоже был послан из Пардубиц.

Я аж присвистнул и думаю, что посмотрел на Филипека так же странно, как и он на меня. А тут в разговор вмешался почтальон Угер, он как раз раскладывал корреспонденцию:

— А, Пардубице, да этот управляющий из поместья туда чуть ли не каждый день пишет какой-то девице на почте. Наверно, это его любовь, не так ли?

— Послушайте, папаша, — обращается к нему Филипек, — не знаете ли вы, как зовут эту девицу?

— Вроде Юлия Тоуф, Тоуфар...

— Тауферова, — говорит Филипек, — так это же она, та самая, что должна сюда приехать.

— Он, этот Гоудек, то есть управляющий, — продолжает почтарь, — тоже каждый день получает письма из Пардубиц. «Господин управляющий, — говорю я ему, — вам опять письмецо от невесты». Он, этот управляющий,

всегда встречает меня где-нибудь на середине пути. А сегодня ему и посылочка, но уже из Праги... Посмотрите-ка — ее ведь вернули с отметкой «Адресат неизвестен». Видно, господин Гоудек перепутал адрес. Так я отнесу ее обратно.

— Покажите, — заинтересовался Филипек, — адресовано какому-то Новаку. Прага, Спалена улица. Два кило масла. Штамп от 14 июля.

— Тогда здесь еще работала Геленка, — заметил почтальон.

— Покажи-ка, — говорю я Филипеку и нюхаю ящичек.

— Филипек, а не кажется ли вам странным, что масло пробыло в пути десять дней и не протухло? Папаша, — говорю я, — оставьте-ка посылку здесь и топайте, разносите почту.

Не успел почтальон уйти, как Филипек мне говорит:

— Господин вахмистр, этого делать, правда, не полагается, но... долото вот здесь, — и ушел: он, мол, ничего не видит.

Так вот, я этот ящичек вскрыл: в нем было два кило глины. Тут пошел я к Филипеку и говорю:

— Ты, парень, об этом никому ни слова, понял? Я все беру на себя.

Само собой разумеется, собрался я и пошел к этому управляющему Гоудеку в поместье. Он сидел там на бревнах, уставившись в землю.

— Господин управляющий, — говорю я ему, — тут на почте произошла какая-то путаница: не вспомните ли вы, по какому адресу дней десять — двенадцать тому назад вы отправляли посылку?

Гоудек, как мне показалось, немного побледнел и говорит:

— Это не имеет значения, я уже и сам не помню кому.

— Господин управляющий, — спрашиваю я его снова, — а какое это было масло?

Тут Гоудек вскочил, теперь уже побелев как мел, и закричал:

— Что это значит? Почему вы ко мне пристаете?

— Господин управляющий, — говорю я. — Вот что: вы убили Геленку. Вы принесли на почту посылку с вымышленным адресом, и Геленка должна была взвесить ее на весах. Пока она взвешивала, вы наклонились через перегородку и украли из ящика стола двести крон. Из-за этих несчастных двух сотен Геленка утопилась, Вот оно как!

Сударь, этот Гоудек задрожал, как осиновый лист.

— Это ложь, — закричал он, — зачем мне было красть эти деньги?

— Затем, что вы хотели, чтобы вашу невесту Юлию Тауферову перевели на здешнюю почту. Это ваша барышня сообщила в анонимном письме, что у Геленки недостача в кассе. Вы двое загнали Геленку в озеро. Вы двое ее убили. У вас на совести преступление, Гоудек.

Гоудек упал на бревна и закрыл лицо руками; за всю свою жизнь я не видел, чтобы мужчина так плакал.

— Господи! — сетовал он. — И откуда я мог знать, что она утопится! Я только думал, что ее уволят... ведь она же могла не работать. Господин вахмистр, я хотел жениться на Юльче, но тогда один из нас должен был потерять работу... и нам не хватило бы на жизнь. Поэтому я так хотел, чтобы Юльча перешла на здешнюю почту. Пять лет мы ждали этого... Господин вахмистр, мы очень любим друг друга!

Дальше о нем я вам рассказывать не буду; была уже ночь, этот парень стоял передо мной на коленях, а я ревмя ревел, как старая шлюха, из-за Геленки и всего остального.

— Ну, довольно, — сказал я ему наконец. — Я сыт по горло. Давайте-ка сюда эти двести крон. Так. А теперь слушайте: если вы вздумаете предупредить Тауферову Юльчу раньше, чем я приведу все в порядок, я отправлю донесение о том, что деньги украли вы, поняли? А если вы вздумаете застрелиться или сотворить что-нибудь подобное, то я расскажу всем, почему вы это сделали. И кончено.

Всю ту ночь, сударь, я просидел под звездами и судил эту пару; я спрашивал бога, как их следует наказать, и понял всю ту горечь и радость, которая есть в справедливости. Если бы я на них донес, Гоудек получил бы несколько недель условного заключения, и еще трудно было бы доказать его виновность. Гоудек убил эту девушку, но это был не закоренелый убийца. Любое наказание, которое ему могли бы дать, казалось мне и слишком большим, и слишком незначительным. Поэтому я судил их и наказывал сам.

После этой ночи рано утром я пришел на почту. Там у окошечка сидела бледная высокая девушка с колючими глазами.

— Барышня Тауферова, — обратился я к ней, — мне надо отправить заказное письмо. — Подал я ей письмо с адресом: «Управление почт и телеграфа в Праге». Посмотрела она на меня и приклеила на конверт марку.

— Подождите, девушка, — остановил я ее, — в этом письме донос на того, кто украл двести крон у вашей предшественницы. Сколько будет стоить porto? [1]

Знаете, эта женщина умела держать себя в руках, и все же при этом известии лицо у нее сделалось серым. Она словно окаменела.

— Три с половиной кроны, — вздохнув, сказала она.

Отсчитал я три с половиной кроны и говорю:

— Вот, пожалуйста, но если бы эти две сотни, — говорю я и кладу на стол украденные банкноты, — если бы эти две сотни нашлись — ведь они могли завалиться куда-нибудь, понимаете, или где-то были заложены — и будет видно, что покойная Геленка денег не воровала, — тогда, девушка, я возьму свое письмо обратно.

Она не сказала ни слова, только, оцепенев, уставилась куда-то своими колючими глазами.

— Через пять минут здесь будет почтальон, барышня. Так как же, забирать мне письмо?

Она быстро кивнула. Я забрал письмо и принялся расхаживать перед почтой. Сударь, такого напряжения я никогда еще не испытывал. Через двадцать минут на улицу выбежал старый почтальон Угер с криком:

— Господин вахмистр, господин вахмистр, представьте себе, нашлись те две сотни, что недоставали Геленке! Эта новая девушка их обнаружила в каком-то справочнике. Вот это находка!

— Папаша, — сказал я ему, — бегите и рассказывайте повсюду, что эти две сотни нашлись. Понимаете, чтобы все знали, что покойная Геленка, слава богу, ничего не украла.

Это было первое, что я сделал. Потом я отправился к старому помещику. Вы его, должно быть, не знаете: граф малость с придурью, но человек очень хороший.

— Ваше сиятельство, — говорю я ему, — не расспрашивайте меня ни о чем, но я пришел к вам по делу, в котором мы, люди, должны быть заодно. Позовите вашего управляющего Гоудека и прикажите ему, чтобы он еще

[1] С доставкой (*итал.*).

сегодня уехал в ваше имение на Мораве; а если он не захочет, то вы его, мол, немедленно уволите.

Старый граф поднял брови и некоторое время смотрел на меня: мне не пришлось прилагать усилий, чтобы выглядеть очень серьезным.

— Хорошо, — сказал граф, — я вас не буду ни о чем спрашивать, — и приказал позвать Гоудека.

Гоудек пришел и, увидев меня у графа, побледнел и остановился как вкопанный.

— Гоудек, — сказал граф, — велите запрягать. Вы поедете на станцию: сегодня вечером приступите к работе в моем имении у Гулина. Я дам телеграмму, чтобы вас там встретили. Понятно?

— Да, — тихо сказал Гоудек и впился в меня глазами; такие глаза, наверно, бывают у грешника в аду.

— Вы имеете что-нибудь против? — спросил граф.

— Нет, — хрипло ответил Гоудек, не спуская с меня глаз. От этого взгляда мне стало не по себе.

— Так можете идти, — сказал граф, и все было кончено.

Некоторое время спустя я увидел, как увозят Гоудека: он сидел в коляске как истукан.

Вот и все. Если вы пойдете на почту, обратите внимание на эту бледную девицу. Она зла, зла на весь мир, и на лице у нее уже появляются злые старческие морщинки. Не знаю, встречается ли она со своим Гоудеком. Наверное, иногда ездит к нему, но возвращается оттуда еще более злой и раздраженной. А я смотрю на нее и твержу про себя: справедливость быть должна.

Я только жандарм, но вот в чем мой опыт убедил меня: есть ли на свете всеведущий и всемогущий бог, этого я не знаю, но если бы он и был — для нас это ничего бы не изменило. Но я вам вот что скажу: некая высшая справедливость быть должна. Непременно! Мы можем только наказывать, но должен быть еще «некто», кто бы прощал. Знаете, настоящая, высшая справедливость так же необъяснима и удивительна, как и сама любовь.

РАССКАЗЫ ИЗ ДРУГОГО КАРМАНА

Похищенный кактус

— Я расскажу вам, — начал пан Кубат, — что случилось со мной этим летом.

Жил я на даче — как это обыкновенно бывает: без воды, без леса, без рыбы, безо всего вообще; но зато в окружении членов народной партии, общества декораторов с предприимчивым председателем во главе, по соседству с фабрикой перламутровых пуговиц и почтой, где восседает старая носатая почтмейстерша; словом, все, как везде и всюду. Так вот, около двух недель предавался я благотворному и оздоровительному воздействию ничем не нарушаемой скуки и вдруг из чего-то понял, что местные сплетницы перемывают мне косточки, а общественное мнение роется в моем грязном белье. Письма я получал настолько тщательно заклеенными, что края конверта прямо-таки лоснились от гуммиарабика. «Ага, — сказал я себе, — кто-то просматривает мою корреспонденцию. Дьявол ее возьми, эту носатую бабу-почтмейстершу!..»

Для почтовых работников, знаете ли, распечатать любой конверт — дело пустяковое. Ну, погоди, думаю, я тебя проучу! Сел к столу и своим самым изысканным почерком начал выводить: «Ах ты страшило почтовое, ах ты сплетница носатая, ведьма хвостатая, трепло паршивое, змея окаянная, хрычовка старая, кочерга, баба-яга», — и так далее. А внизу приписал «Со всем моим почтением *Ян Кубат*».

Оказывается, чешский язык все-таки — богат и меток; в один присест я высыпал на лист бумаги тридцать четыре таких выражения, которые честный и правдивый человек может высказать любой даме, не становясь ни навязчивым, ни чересчур пристрастным. Довольный собой, я заклеил письмо, надписал на конверте собственный адрес и отправился в ближайший город опустить послание в почтовый ящик.

Спустя день побежал я на почту и с любезнейшей улыбкой сунулся в окошечко.

— Пани почтмейстерша, — спрашиваю, — нет ли для меня корреспонденции?

— Я на вас жаловаться буду, негодяй, — зашипела почтмейстерша, бросив на меня такой устрашающий взгляд, каких мне не доводилось встречать.

— Да отчего бы это, пани почтмейстерша? — сочувственно так говорю я. — Уж не прочли ли чего неприятного?

И вскоре уехал от греха подальше.

* * *

— Ну, это пустяки, — навел критику пан Голан, старший садовник богача Голбена. — Эта проделка была слишком уж безыскусна. Мне хотелось бы рассказать, как я сцапал похитителя кактусов. Вам, разумеется, известно, что господин Голбен — большой любитель кактусов; его коллекция — поверьте, я не преувеличиваю, — стоит не менее трехсот тысяч, даже если не считать уникальные экземпляры. Но у господина Голбена одна слабость: любит он выставлять свою коллекцию всем на обозрение. «Голан, — говорит он мне, — это такое благородное увлечение, что нужно его в людях развивать и пестовать». А по-моему, когда этакий захудалый кактусовод рассматривает, скажем, нашего золотого Крусона за двенадцать сотен, у него только понапрасну щемит сердце — ведь таким ему никогда не завладеть. Но, коли уж на то хозяйская воля, пожалуйста, пусть себе смотрит.

Однако в прошлом году стали мы замечать, что кактусы у нас исчезают, исчезают вовсе не самые яркие, которые каждый хочет у себя завести, а именно самые редкостные экземпляры; как-то мы недосчитались Echinocactus Wislizenii, в другой раз Graessnerii, затем пропала Wittia, импортируемая прямо из Коста-Рики, за ней Species nova, которую нам послал Фрич, а там Melocactus Leopoldii, уникальный экземпляр, какого в Европе никто не видел уже больше полувека, и, наконец, Pilocereus fimbriatus из Сан-Доминго, единственный экземпляр, прижившийся в Европе. Как видно, похититель был знаток. Вы не можете себе представить, как бушевал старый Голбен.

— Господин Голбен, — говорю я, — закройте-ка вы свою оранжерею, и с кражами будет покончено.

— А вот и нет, — раскричался старик, — такое благородное начинание должны видеть все; а ваш долг — изло-

вить мне этого поганца; прогоните старых сторожей, наймите новых, подымите на ноги полицию и всех, кого положено!

Нелегкое это дело; если у вас тридцать тысяч горшочков, то сторожа возле каждого не поставишь. Тем не менее нанял я двух полицейских инспекторов-пенсионеров, велел им глаз не спускать с оранжереи, и тут у нас исчез Pilocereus fimbriatus — только вмятина от горшочка в песке осталась. Меня это так разобрало, что я сам принялся выслеживать похитителя.

Если хотите знать, истинные любители кактусов — нечто вроде секты дервишей; по-моему, у них у самих вместо усов отрастают шипы и клохиды, настолько они поглощены своею страстью.

У нас в Чехии две таких секты: Кружок кактусоводов и Кактусоводческое общество. Чем они отличаются, не имею понятия, по-моему, одни верят в бессмертную душу кактусов, а другие попросту приносят им кровавые жертвы; словом, сектанты взаимно ненавидят и преследуют друг друга огнем и мечом, на земле и в воздухе. Так вот, отправился я, значит, к председателям этих сект и со всей доверительностью спросил, не подскажут ли они, кто из враждующей с ними секты, к примеру, мог украсть Голбеновы кактусы. И когда я перечислил наши пропавшие драгоценности, оба с полной уверенностью заявили, что ни один из членов неприятельской секты похитить таковые не способен, поскольку «все они там тупицы, глупцы, сапожники, недоучки и никакого понятия не имеют о том, что такое Wislizen пли Graessner, не говоря уж о Pilocereus fimbriatus»; что же касается собственных членов, то они ручаются за их честность и благородство; украсть они не могут ничего, разве что кактусы; и если бы кто из них такого Wislizen'a заполучил, то не преминул бы показать остальным, чтобы насладиться поклонением и фанатическими оргиями в его честь, но об этом им, председателям, ничего не известно. После этого оба почтенных мужа пожаловались, что, кроме двух признанных, кое-как «терпимых» обществом сект, существуют еще дикие кактусоводы, и вот они-то хуже всех; эти дикари по причине необузданности страстей не смогли ужиться даже с официальными умеренными сектами и вообще предаются ереси и порокам. Уж они-то не остановятся ни перед чем.

Не преуспев у этих двух господ, я залез на раскидистый клен в нашем парке и начал думать. Клянусь вам, лучше всего размышлять, сидя на дереве; там чувствуешь себя как-то более свободным, покачиваешься себе тихонько и смотришь на все словно бы свысока; философам, по-моему, в самый раз жить среди ветвей — как иволге. На этом клене я и обдумал свой план. Сперва я обежал знакомых садовников, спрашивая всех подряд: «Братцы, не гниют ли у вас какие кактусы? Старому Голбену они нужны для опытов. Таким образом, я скопил сотню-другую уродцев и за одну ночь затолкал их в Голбенову коллекцию. Два дня я молчал, а на третий день поместил во все газеты следующее сообщение:

«Всемирно известная коллекция Голбена под угрозой!

Как стало известно, большая часть уникальных оранжерей г-на Голбена охвачена новой, до сих пор не известной болезнью, занесенной, скорее всего, из Боливии. Болезнь поражает преимущественно кактусы, некоторое время протекает латентно, а позже выражается в гниении корней, шейки и тела кактусов. Поскольку заболевание представляется весьма заразным и разносится пока не распознанными микроспорами, коллекция Голбена для обозрения закрыта».

Дней через десять — все это время мы вынуждены были скрываться, чтобы нас не допекали расспросами встревоженные любители кактусов, — я послал в газеты еще одну заметку такого содержания:

«Удастся ли спасти коллекции Голбена?

Как стало известно, профессор Маккензи из Кью определил заболевание, возникшее во всемирно известных оранжереях Голбена, как особый род тропической плесени (Malacorrhiza paraquayensis Wild) и рекомендовал обрызгивать пораженные экземпляры настойкой Гарварда-Лотсена. До сих пор лечение настойкой, которое широко проводится в оранжереях Голбена, проходило вполне успешно. Раствор можно приобрести и у нас в таком-то и таком-то магазине».

К моменту выхода этого номера газеты один тайный агент уже сидел в указанной лавчонке, а я устроился у телефона. Не прошло и двух часов, как этот агент

позвонил мне и сообщил, что злодея уже схватили. А еще через десять минут я сам держал и тряс за шиворот маленького, тщедушного человечка.

— Почему вы меня трясете? — протестовал человечек. — Я ведь пришел купить известный раствор Гарварда-Лотсена.

— Знаю, — отвечал я. — Только никакого такого раствора не существует, так же как нет никакой неизвестной болезни, а вот вы ходили в оранжереи красть кактусы из коллекции Голбена, мошенник проклятый!

— Слава тебе господи! — вырвалось у человечка, — так, значит, никакой болезни нету? А я-то десять ночей не спал от страха, боялся, что заразятся остальные мои кактусы!

Ухватив человечка за шиворот, я втолкнул его в машину и отправился вместе с ним и тайным агентом на его квартиру. Знаете, такого собрания кактусов я еще не видывал. Человечек этот снимал крохотную каморку — приблизительно так три на четыре метра — на чердаке дома в районе Височан, — в углу на полу лежало одеяло, стояли столик и стул, а остальное пространство было сплошь заполнено одними кактусами; но какими редкостными и в каком порядке — вы бы посмотрели!

— Ну, так что он у вас стащил? — спросил тайный агент, а я все глядел, как этот разбойник трясется и глотает слезы.

— Послушайте, — говорю я агенту. — На самом деле это не столь уж ценно, как мы думали; передайте своему начальству, что этот господин украл кактусов приблизительно так крон на пятьдесят и что я разберусь с ним сам.

Агент ушел, а я сказал злоумышленнику:

— Ну вот что, голубчик, сперва соберите в кучку, что вы у нас унесли.

Человечек быстро-быстро заморгал, потому что слезы готовы были брызнуть у него из глаз, и прошептал:

— А нельзя ли мне все-таки отсидеть срок в тюрьме?

— Нет, — заорал я, — сперва верните краденое!

Тут он начал собирать один горшок за другим и отставлять в сторону; их набралось около восьмидесяти, — мы даже не представляли себе, сколько кактусов у нас не хватает; скорее всего, он крал у нас. уже долгие годы. Спокойствия ради я еще прикрикнул:

— И это называется все?

Слезы полились у него из глаз; он вынул еще один беленький кактус De Laitii и одного Corniger'а, присоединил их к другим и, захлебываясь от плача, взмолился:

— Честное слово, ваших у меня больше нет.

— Это мы еще проверим! — бушевал я. — А теперь признавайтесь, как вы ухитрились перетаскать все эти горшки!

— Это было т а к , — заговорил он, запинаясь, и от волнения у него запрыгал к а д ы к . — Я... я... гм... переодевался в платье...

— Какое платье? — взвизгнул я.

Тут он залился румянцем от смущения и, заикаясь, произнес:

— Женское, с вашего позволения...

— Господи, — удивился я, — да почему же в женское платье?

— П-потому что, — заикался он, — на обшарпанную старуху никто не обратит внимания... Да и в о о б щ е , — добавил он почти победно, — никому в голову не придет подозревать женщину в чем-либо подобном. Знаете, женщины подвержены всевозможным страстям, но они сроду не собирали коллекций. Вам доводилось хоть раз в жизни встретить женщину, которая владела бы коллекцией марок или жуков, первоизданий или еще чем-нибудь в том же роде? Никогда в жизни, ваша милость! У женщины нет такой основательности и... и фанатизма. Женщины так ужасающе трезвы, ваша милость! И знаете, самое большое различие между нами и ними в том, что одни мы занимаемся коллекционированием. По-моему, вселенная — это большое собрание светил; и, видимо, бог — мужчина что надо, раз он собирает коллекции миров, оттого их такое бесчисленное множество. Черт побери, если бы у меня было столько простора и средств, как у него! Знаете, я ведь выдумываю новые породы кактусов! И даже вижу их во сне; вот, например, кактус с золотистыми волосиками и небесно-голубыми цветочками, как у горечавки, — я назвал его Cephalocereus nympha aurea Racek; дело в том, что моя фамилия Рачек, с вашего позволения, либо Mamillaria colubrina Racek или Astrophytum caespitosum Racek.

Какие изумительные возможности, сударь! Если бы вы знали...

— Погодите, — прервал я его, — а как же вы уносили горшочки с кактусами?

— За пазухой, извините, — застыдился он. — Они так приятно щекочут...

Вы знаете, у меня уже не хватало духу забрать у него эти кактусы.

— Послушайте, — предложил я, — давайте я отвезу вас к старому Голбену, пусть он сам надерет вам уши.

Вот была встреча, когда эти двое обнюхали друг друга! Целую ночь они провели в оранжереях и обошли все тридцать шесть тысяч горшков!

— Голан, — сказал мне потом старый хозяин, — это первый человек, который в состоянии понять, что такое кактусы!

Не прошло и месяца, как старый Голбен со слезами и благословениями отправил новоявленного знатока по имени Рачек собирать кактусы в Мексику; оба свято верили, что где-то там и растет Cephalocereus nympha aurea Racek. Несколько месяцев спустя мы, однако, получили поразившее нас известие, что пан Рачек погиб, приняв прекрасную и мученическую смерть. Он обнаружил у каких-то индейцев священный кактус Чикули, а этот Чикули — к слову сказать — единородный брат бога отца, и то ли он ему не поклонился, то ли даже похитил, только милейшие индейцы, связав пана Рачека, посадили его на Echinocactus visnaga Hooker, большой, как слон, усеянный шипами, длинными, словно русские штыки, вследствие чего наш соотечественник, предоставленный собственной судьбе, испустил дух. Так окончил жизнь похититель кактусов.

Рассказ старого уголовника

— Это что, — сказал пан Яндера, писатель, — разыскивать воров — дело обычное, а вот что необычно, так это когда сам вор ищет того, кого, собственно, обокрал. Так, к вашему сведению, случилось со мной. Написал я недавно рассказ и опубликовал; и вот когда стал я читать его уже напечатанным, охватило меня какое-то тягостное ощущение. Братец, говорю себе, а ведь что-то похожее ты уже где-то читал... Гром меня разрази, у кого

же я украл эту тему? Три дня я ходил, как овца в вертячке, и — ну, никак не вспомню, у кого же я, как говорится, позаимствовал. Наконец встречаю приятеля, говорю: слушай, все мне как-то кажется, будто последний мой рассказ с кого-то списан.

— Да я это с первого взгляда понял, — отвечает приятель, — это ты у Чехова слизал. — Мне тут прямо-таки легче стало, а потом, в разговоре с одним критиком, я и скажи: вы не поверите, сударь, порой допускаешь плагиат, сам того не зная; к примеру, вот ведь последний мой рассказ-то — ворованный!

— Знаю, — отвечает критик, — это из Мопассана. — Тогда обошел я всех моих добрых друзей... Послушайте, коли уж ступил человек на наклонную плоскость преступления, то остановиться ему никак невозможно! Представьте, оказывается, этот единственный рассказ я украл еще у Готтфрида Келлера, Диккенса, д'Аннунцио, из «Тысячи и одной ночи», у Шарля Луи Филиппа, Гамсуна, Шторма, Харди, Андреева, Банделло, Розеггера, Реймонта и еще у целого ряда авторов! На этом примере легко видеть, как все глубже и глубже погрязаешь во зле...

— Это что, — возразил, хрипло откашливаясь, пан Бобек, старый уголовник. — Это мне напоминает один случай, когда убийца был налицо, а вот подобрать к нему убийство никак не могли. Не подумайте чего, это было не со мной; просто я с полгода гостил в том самом заведении, где этот убийца сидел раньше. Было это в Палермо. — И пан Бобек скромно пояснил: — Я туда попал всего-то из-за какого-то чемоданишки, который подвернулся мне под руку на пароходе, шедшем из Неаполя. И про случай с этим убийцей мне рассказал старший надзиратель того дома; я, видите ли, учил его играть в «францисканца», «крестовый марьяж» и «божье благословение» — эту игру еще иначе называют «готисек». Очень уж он набожный был, этот надзиратель.

Так, значит, раз ночью ихние фараоны — а они в Италии всегда парочками ходят — видят: по виа Бутера — это та улица, что ведет к ихнему вонючему порту, — во все лопатки чешет какой-то тип. Они его хвать, и — porco dio! [1] — в руке-то у него окровавленный кинжал. Ясное дело, приволокли его в полицию, говори, мол, теперь,

[1] Итальянское ругательство.

парень, кого пришил. А парень — в рев, и говорит: убил, говорит, я человека, а больше ничего не скажу; потому как если скажу больше, то сделаю несчастными других людей. Так они ничего от него и не добились.

Ну, известно — сейчас же мертвое тело кинулись искать, да ничего такого не нашли. Велели осмотреть всех «дорогих усопших», заявленных в то время как покойники; однако все, оказалось, умерли христианской смертью, кто от малярии, кто как. Тогда опять взялись за того молодца. Он назвался Марко Биаджо, столярным подмастерьем из Кастрожованни. Еще он показал, что нанес этак ударов двадцать человеку христианского происхождения и убил его; но кто этот убитый, он не скажет, чтоб не втягивать в беду других людей. И — баста! Кроме этих слов он все только божью кару на себя призывал да колотился головой об пол. Такого раскаяния, говорил надзиратель, в жизни еще никто не видывал.

Однако, сами знаете, фараоны ни одному слову не верят; говорят они себе — может, этот Марко вовсе никого не убивал, а так только, врет. Послали его кинжал в университет, и там сказали, что кровь на клинке человечья, надо быть, сердце он этой штукой проткнул. Ну, прошу прощения, а я все-таки не понимаю, как это они могут узнать. Н-да, так что же им теперь делать: убийца вот он, а убийства нет! Нельзя же судить человека за неизвестное убийство; сами понимаете, должен тут быть corpus delicti [1]. А Марко этот между тем все молится, да хнычет, да просит, чтоб его уж поскорей суду предали, хочет он свой смертный грех искупить. Ты, porca Madonna, говорят ему, коли хочешь, чтоб правосудие тебя осудило, признайся, кого ты зарезал; не можем мы тебя повесить просто так; ты нам, проклятый мул, хоть свидетелей каких назови! «Я сам и есть свидетель! — кричит Марко, — я присягну, что убил человека!» Вот ведь какое дело-то...

Надзиратель говорил мне еще, что был этот Марко красивый такой, славный парень; испокон веку не было у них такого славного убийцы. Читать он не умел, но Библию, хоть и держал ее вверх ногами, из рук не выпускал, и все ревел. Подослали тогда к нему одного патера, доброты ужасной, чтоб дал он ему духовное утешение да

---

[1] состав преступления (*лат.*).

между прочим на исповеди ловко бы и выведал, как с этим убийством дело было. Так этот патер, когда выходил от Марко, слезы утирал; говорит, коли не испортится еще как-нибудь этот арестант, то наверняка сподобится великой милости; мол, это душа, жаждущая справедливости. Однако, кроме таких вот речей да слез, ничего от него и патер не дождался. «Пусть меня повесят, и баста, — твердил Марко, — пусть уж я искуплю тяжкую мою вину; без справедливости нельзя!» Так тянулось дело полгода с лишком, а все не могли подыскать подходящий труп.

Видя, что, в общем, какая-то глупость получается, говорит начальник полиции: тысяча чертей, коли этот Марко во что бы то ни стало желает, чтоб его повесили, отдадим ему то убийство, что случилось через три дня после его ареста, там, в Аренелле, где нашли ту зарезанную бабу; просто позор, тут у нас убийца без убийства и без трупа, а там этакое славное, добротное убийство, а преступника нет. Свалите все это как-нибудь в одну кучу; если этот Марко хочет, чтоб его осудили, то ему ведь все равно за что; а уж мы ему всячески навстречу пойдем, пусть только эту бабу на себя возьмет. Ну, предложили это дело Марко, обещав, что тогда он наверняка вскорости получит петлю на шею и будет ему покой. Марко маленько поколебался, да и говорит: нет, раз уж погубил я душу убийством, то не стану обременять ее еще такими смертными грехами, как ложь, обман и клятвопреступление. Такой уж, господа, был он справедливый человек.

Ну, дальше некуда; теперь они там в уголовной полиции думали только о том, как бы им от проклятого Марко избавиться. «Знаете что, — говорят они надзирателю, — сделайте как-нибудь так, чтоб он мог бежать; предать суду мы его не можем, это срамиться только, и отпустить его на свободу тоже нельзя, поскольку он сознался в убийстве; так что постарайтесь, чтоб этот die cane maledetto[1] как-нибудь незаметно смылся». Так слушайте же, стали с тех пор этого Марко в город посылать, без конвоя — за перцем там, за нитками; днем и ночью камера его стояла настежь, а Марко целыми днями шлялся по церквам и ко всем святым, а к восьми вечера, бывало, мчится, высунув язык, чтоб у него перед носом

[1] Итальянское ругательство.

не захлопнули тюремные ворота. Один раз их нарочно закрыли раньше, так он поднял такой гвалт, так колотил в эти ворота, что пришлось открыть, впустить его в камеру.

Вот раз вечером и говорит ему надзиратель: «Эй ты, porca Madonna, нынче ты здесь в последний раз ночуешь; раз не желаешь признаться, кого убил, то мы тебя, бандит этакий, отсюда вышвырнем; иди ты к черту, пусть он тебя и наказывает!» В ту ночь Марко повесился на окне своей камеры...

Знаете, тот патер, правда, говорил, что если кто кончает с собой из-за угрызений совести, то хоть и тяжкий это грех, а все же может такой человек спасти душу, поскольку умер в состоянии действенного раскаяния. Но, скорее всего, патер тут что-то путал, вопрос-то ведь до сих пор спорный. Короче, поверьте мне, дух этого Марко с тех пор так и жил в его камере. Получалось вот что: как кого в эту камеру засадят, так в том человеке просыпается совесть, начинает он раскаиваться в своих поступках, и покаяние творит, и полностью обращается. Конечно, каждому на это свое время требовалось: кто простой проступок совершил, тот в одну ночь обращался, кто легкое преступление — за два-три дня, а настоящие злодеи и по три недели маялись, пока обратятся. Дольше всего держались медвежатники, растратчики и вообще те, кто у больших денег ходит; я вам говорю, от больших денег совесть как-то особенно недоступной, что ли, делается, вроде ей рот затыкают. Но сильнее всего действовал дух Марко в день его смерти. Так они там в Палермо устроили из этой камеры что-то вроде исправительного заведения, понимаете? Сажали туда арестантов, чтоб те раскаялись в своих злодействах и обратились. Конечно, есть и такие преступники, что пользуются у полиции протекцией, а некоторые этим сволочным фараонам просто нужны — так что, ясное дело, не всякого в эту камеру совали, оставляли кое-кого и без обращения; думается мне, они даже, случалось, и взятки брали с крупных мерзавцев за обещание не сажать их в чудотворную камеру. Нынче уж и в чудесах никакой честности нет...

Вот что, господа, рассказал мне этот надзиратель в Палермо, и коллеги мои, бывшие тогда там, все это подтвердили. Как раз сидел там за бесчинство и драку один английский матрос по фамилии Бриггс; так этот самый Бриггс

из той камеры прямиком на Формозу подался, миссионером, и, я потом слыхал, сподобился мученической смерти. И вот еще странность: ни один надзиратель не желал и носа сунуть в Маркову камеру — до того они боялись, что, не дай бог, на них сойдет благодать и они раскаются в своих делах...

Так вот, как я уже говорил, обучал я тамошнего старшего надзирателя кое-каким играм, что понабожнее. Эк, как он ярился, когда проигрывал! Раз как-то шла к нему особенно мерзкая карта, это его и вовсе допекло, и запер он меня в Маркову камеру. «Per Bacco [1], кричит, я тебя проучу!» А я лег, да и уснул. Утром вызывает меня надзиратель, спрашивает: ну что, обратился? «Не знаю, говорю, Signore commandante [2]; я спал как сурок». — «Тогда марш обратно!» — кричит. Да что растягивать — три недели просидел я в этой камере, а все ничего; никакое такое раскаяние на меня не снизошло. Тут стал надзиратель головой качать, говорит: вы, чехи, верно, страшные безбожники или еретики, на вас ничего не действует! И обругал меня ужасными словами.

И знаете, с тех пор Маркова камера вообще перестала действовать. Кого бы туда ни совали, никто больше не обращался, и ничуть лучше не становился, и не раскаивался — ну, нисколечко! Одним словом, прекратилось действие. Ох, боже ты мой, и скандал же поднялся! Меня и в дирекцию таскали, мол, чего-то я там у них расстроил и всякое такое. Я только плечами пожимаю: я-то тут при чем? Тогда они мне трое суток темного карцера влепили — за то, говорят, что я эту камеру испортил.

Исчезновение господина Гирша

— Недурной случай, — сказал господин Тауссиг, — но с большим недостатком, раз он произошел не в Праге, ведь даже в уголовных делах надо думать об интересах родины. Ну, скажите на милость, что нам до событий, которые произошли в Палермо или еще черт знает где?

---

[1] Клянусь Вакхом (*итал.*).
[2] господин начальник (*итал.*).

Какой нам от этого толк? А вот если интересное преступление совершается в Праге, так это, по-моему, господа, даже лестно. О нас, думаю я себе, сейчас говорит весь мир, так вроде и на душе приятнее. Ну и понятно, там, где совершается приличное уголовное преступление, и торговля идет живей: ведь оно свидетельствует о благополучии жителей и вообще вызывает доверие, не так ли? Но для этого нужно, чтобы преступник был пойман.

Не знаю, помните ли вы историю старого Гирша с Долгого проспекта. Он торговал кожами, но случалось ему продавать персидские ковры и тому подобные вещи восточного происхождения. Долгие годы он вел какие-то дела с Константинополем и там же подхватил болезнь печени, а потому был тощий, словно дохлая кошка, и желтый, как будто его вытащили из дубильного чана. А эти самые торговцы коврами — то ли армяне, то ли турки из Смирны — ходили к нему, потому что он умел с ними по-свойски договориться. Они, эти самые армяне, страшные мошенники, с ними даже еврей должен быть начеку. Так вот, на первом этаже у Гирша была кожевенная лавка, а оттуда наверх вела винтовая лесенка в контору, за которой находилась его квартира, где сиднем сидела госпожа Гиршова: она была такая толстая, что и двигаться не могла.

Так вот, однажды, около полудня, один из приказчиков поднялся наверх к господину Гиршу узнать, нужно ли послать некоему Вайлю в Брно кожу в кредит; но Гирша в конторе не оказалось. Это было странно, конечно, но приказчик подумал, что господин Гирш заглянул к жене. Однако вскоре вниз спустилась служанка звать господина Гирша обедать.

— Как так обедать? — удивился приказчик. — Ведь господин Гирш дома.

— Да как же дома? — отвечает служанка, — госпожа Гиршова целый день сидит рядом с конторой и не видела мужа с самого утра.

— И мы, — заметил приказчик, — тоже его не видели, правда, Вацлав?

Вацлав этот был слуга.

— В десять часов я отнес ему почту, — сказал приказчик, — господин Гирш еще рассердился, потому что мы должны были настоятельно напомнить Лембергеру

о дубленых телячьих кожах; после хозяин и носу не высунул из конторы.

— Господи, — воскликнула служанка, — ведь в конторе-то его нет! Не отправился ли он куда-нибудь в город?

— Через лавку он не проходил, — ответил приказчик, — мы бы непременно его увидели, правда ведь, Вацлав? Может, он вышел через квартиру?

— Это невозможно, — твердила свое служанка, — госпожа Гиршова увидела бы его!

— Погодите, — сказал приказчик, — когда я к нему вошел, он сидел в халате и в шлепанцах; сходите-ка да поглядите, не надел ли он ботинки, калоши и зимнее пальто. — Дело-то было в ноябре, шел сильный дождь.

— Если он оделся, — говорит приказчик, — значит, ушел куда-то в город, а если нет, то должен быть дома, вот и все.

Служанка помчалась наверх, но тут же вернулась сама не своя.

— Боже мой, господин Гуго, — говорит она приказчику, — ведь хозяин, господин Гирш, не надевал ботинки, ничегошеньки не надевал, а госпожа Гиршова уверяет, что из квартиры он выйти не мог, потому как тогда ему пришлось бы проходить через ее комнату!

— Через лавку он тоже не проходил, — сказал приказчик, — его сегодня вообще тут не было, вот только он вызвал меня с почтой в контору. Вацлав, пойдемте его искать.

Первым делом побежали в контору. Там не было заметно никакого беспорядка: в углу — несколько скатанных ковров, на столе — недописанное письмо Лембергеру, над столом горел газовый рожок.

— Тогда совершенно ясно, — сказал Гуго, — господин Гирш никуда не уходил; иначе погасил бы лампочку, не правда ли? Он должен быть дома.

Но обыскали всю квартиру, а Гирш словно сквозь землю провалился. Госпожа Гиршова в своем кресле рыдала навзрыд. Казалось, — рассказывал потом Гуго, — будто трясется груда студня.

— Госпожа Гиршова, — сказал тогда Гуго (удивительное дело, как это молодой еврей, когда понадобится, сразу все сообразит). — Не плачьте, госпожа Гиршова, господин Гирш никуда не сбежал, — кожи идут хорошо, кроме того, он не инкассировал никаких долговых исков, не так ли?

Где-нибудь шеф должен быть. Если он до вечера не объявится, сообщим в полицию, но не раньше, госпожа Гиршова, — сами понимаете: такое необычное происшествие фирме не на пользу.

Прождали, значит, до вечера и все искали господина Гирша, а о нем ни слуху ни духу. В надлежащее время господин Гуго закрыл лавку и отправился в полицию заявить, что господин Гирш исчез. Тогда из полиции прислали детективов; они прочесали весь дом, но нигде не нашли ни малейших следов; и кровь на полу искали — нигде ничего, ограничились тем, что контору на время опечатали. Потом, допросив госпожу Гиршову и весь персонал, разузнали все, что делалось с самого утра. Никто не сообщил ничего особенного, только господин Гуго вспомнил, что после десяти к господину Гиршу заходил коммивояжер Лебеда и проговорил с ним минут десять. Стали разыскивать этого Лебеду и, конечно, нашли его в кафе «Бристоль» — он играл там в рамс. Лебеда живо припрятал банк, а детектив его успокоил:

— Господин Лебеда, сегодня я не по поводу рамса, я по поводу господина Гирша: он, представьте себе, пропал, и вы последний, кто его видел.

Так вот, этот Лебеда тоже ничего не знал: заходил он к господину Гиршу из-за каких-то ремней и ничего странного не заметил, только господин Гирш показался ему болезненнее обычного.

«Что-то вы похудели, господин Гирш», — заметил еще Лебеда.

— Однако, господин Лебеда, — произнес полицейский, — если бы даже господин Гирш похудел еще больше, так и то не мог раствориться в воздухе; какая-никакая косточка или же челюсть должны бы от него остаться. И в портфеле унести вы его тоже не могли.

И знаете, как дело обернулось. Вам, наверное, известно, что на вокзале есть камеры хранения, где пассажиры оставляют всевозможные вещи и чемоданы. Так вот, дня через два после исчезновения господина Гирша какая-то приемщица сообщила одному из носильщиков, что ей сдали чемодан и он ей почему-то очень не нравится.

— Сама не понимаю отчего, — сказала она, — только этот чемодан прямо страх на меня наводит.

Носильщик подошел к чемодану, понюхал и говорит:

— Мамаша, знаете что, заявите-ка вы о чемодане в железнодорожную полицию.

Полиция привела собаку-ищейку; та обнюхала чемодан, зарычала, и вся шерсть на ней дыбом поднялась. Это было уж чересчур подозрительно, чемодан вскрыли, а в нем оказался труп господина Гирша в халате и в шлепанцах. Больная печень Гирша дала о себе знать — от бедняги уже пахло. В шею ему впился толстый шпагат — он был задушен. Но оставалось невыясненным, как он в халате и шлепанцах попал из своей конторы в чемодан на вокзале?

Дело это расследовал полицейский комиссар Мейзлик. Поглядел он на труп и вдруг увидал на лице и на руках Гирша этакие зеленые, синие и красные пятна; это тем более бросалось в глаза, что господин Гирш был очень смуглый. «Странные признаки разложения», — подумал Мейзлик и одно такое пятно попробовал потереть носовым платком — оно и слиняло.

— Послушайте, — сказал тогда Мейзлик остальным, — а ведь похоже, что это пятно анилиновое. Я должен еще раз заглянуть в контору.

В конторе он все искал, нет ли там каких-нибудь красок, — красок там не оказалось, но неожиданно на глаза ему попались скатанные персидские ковры. Он развернул один и потер синюю завитушку носовым платком, смочив его слюной, и на платке появилось синее пятнышко.

— Ну и барахло эти ковры, — сказал Мейзлик и стал искать дальше; на столе, на подставке чернильницы, у господина Гирша нашлись два или три окурка турецких сигарет.

— Запомните, дружище, — сказал Мейзлик одному детективу, — что при сделках с продавцами персидских ковров всегда курят одну сигарету за другой — таков уж восточный обычай.

Потом Мейзлик вызвал Гуго.

— Господин Гуго, — сказал Мейзлик, — тут после Лебеды еще кто-то побывал, так ведь?

— Да, — ответил Гуго, — только господин Гирш не желал, чтобы об этом пошли разговоры. «Ваше дело кожи, — посоветовал он нам, — а ковры вас не касаются, это мое дело...»

— Все понятно, — говорит тогда Мейзлик, — это ведь контрабандные ковры; посмотрите, ни на одном нет та-

моженной пломбы. Если бы господин Гирш не отправился на тот свет, у него сейчас было бы по горло хлопот на Гибернской, он заплатил бы такой штраф, что посинел бы от злости. Ну, быстро, отвечайте, кто тут еще был?!

— Гм, — ответил Гуго, — около половины одиннадцатого в открытом лимузине приехал армянский или еще какой-то там еврей, такой толстый и желтый, и спросил не то по-турецки, не то еще как — господина Гирша. Ну, я ему показал, как пройти наверх в контору. А с ним шагал этакий верзила — слуга, худой, будто щепка, и черный, как черная кошка. Он нес на плече пять большущих скатанных ковров — мы еще с Вацлавом подивились, как это он их поднял. Оба они прошли в контору и пробыли там минут пятнадцать; нас это не интересовало; впрочем, все время было слышно, как этот нечестивец говорит с господином Гиршем. Потом слуга спустился, на плече у него было теперь только четыре скатанных ковра. «Ага, — подумал я, — значит, господин Гирш опять купил ковер». Да, этот армянин в дверях конторы еще раз обернулся и что-то сказал господину Гиршу, но что именно, я так и не разобрал. Ну, потом верзила швырнул ковры в автомобиль, и они уехали. Я не говорил об этом только потому, что ничего удивительного тут не было — таких торговцев коврами у нас перебывало видимо-невидимо, и все, как один, — мошенники.

— Знаете ли, господин Гуго, — ответил доктор Мейзлик, — странное-то тут было: в одном из свернутых ковров верзила и вынес труп господина Гирша, понимаете? Черт побери, ведь вы, друг мой, могли заметить, что этот парень поднимался наверх легче, чем спускался вниз!

— Правда, — сказал, побледнев, Гуго, — он шел прямотаки согнувшись пополам! Но, господин комиссар, это невозможно: толстый армянин шел сзади и еще в дверях конторы разговаривал с господином Гиршем.

— Ну да, — возразил Мейзлик, — разговаривал, обращаясь к пустой комнате. А когда верзила душил господина Гирша, армянин все время молол языком, так-то вот. Господин Гуго, армянский еврей похитрее вас будет. Ну, а там они отвезли труп, завернутый в ковер, к себе в отель; от дождя паршивый ковер, крашенный анилином, полинял и испачкал господина Гирша. Это ясно, как дважды два — четыре, вот так-то. А в отеле бренные

останки господина Гирша втиснули в чемодан и отправили на вокзал. Вот как, господин Гуго, обстояло дело!

Пока господин Мейзлик во всем разбирался, тайные агенты напали на след армянина. На чемодане-то сохранилась наклейка одного берлинского отеля — из этого следовало, что армянин не скупился на чаевые, ведь портье этими наклейками дают друг другу знать по всему миру, какие чаевые можно получить с клиента. Армянин платил настолько щедро, что берлинский портье запомнил его фамилию — Мазаньян; тот ехал в Вену через Прагу, но сцапали его только в Бухаресте; в предварительном заключении он повесился. За что армянин убил Гирша, никто не знает; скорей всего, сводил какие-то старые счеты, еще с тех времен, когда господин Гирш жил в Константинополе.

— Этот случай доказывает, — задумчиво закончил господин Т а у с с и г, — что самое главное дело в торговле — добросовестность. Торгуй армянин настоящими коврами, а не выкрашенными дешевым анилином, на след убийцы напали бы не слишком скоро, не так ли? А торговать браком — это всегда боком выходит, не так ли?

Редкий ковер

— Гм... — сказал доктор Витасек. — Я, знаете ли, тоже кое-что смыслю в персидских коврах. Согласен с вами, господин Тауссиг, что нынче они не те, что прежде. В на- -- дни эти восточные мошенники не утруждают себя окраской шерсти кошенилью, индиго, шафраном, верблюжьей мочой, чернильным орешком и разными другими благородными органическими красителями. Да и шерсть уже не та, а узоры такие, что глаза бы не глядели. Да, утрачено искусство ткать персидские ковры! Потому-то в такой цене старинные, вытканные до тысячи восемьсот семидесятого года. Но такие уники попадаются в продаже очень редко, только когда какая-нибудь родовитая фамилия «по семейным обстоятельствам» — так в почтенных домах называют долги — реализует дедовские антикварные вещи. Однажды в Рожмберкском замке я видел настоящий «трансильван», это, знаете ли, такие молитвен-

ные коврики, турки выделывали их в семнадцатом веке, когда еще хозяйничали в Трансильвании. В замке туристы топают по нему подкованными ботинками, и никто понятия не имеет, какая это ценность... ну, просто хоть плачь! А один из самых драгоценных ковров в мире находится у нас, в Праге, и никто об этом не знает.

Дело обстоит так. Я знаю всех торговцев коврами, какие есть в нашем городе, и иногда захожу к ним поглядеть на товар. Видите ли, их закупщикам в Анатолии и Персии иной раз попадается старинный ковер, украденный в мечети или еще где-нибудь; они суют его в тюк обычного метрового товара, и потом он продается на вес, что бы в нем ни было. Вот я и думаю, не попадется ли мне в таком тюке «ладик» или «бергамо». Потому-то я и заглядываю в эти лавки, сажусь на кипу ковров, покуриваю и гляжу, как купцы продают профанам всякие там «бухары», «тавризы» и «саруки». Иной раз спросишь: «А что это у вас в самом низу, вот этот, желтый?» И, глядь, оказывается «хамадан».

Так вот, заходил я частенько в Старом Месте к некоей госпоже Севериновой, у нее лавка во дворе, и там иногда попадаются отличные «караманы» и «келимы». Хозяйка лавки — круглая такая веселая дама, очень словоохотливая. У нее есть любимая собака, пудель, этакая жирная сука, глядеть тошно. Толстые собаки обычно сварливы и как-то астматически и раздраженно тявкают, я их не люблю. А кстати, видел кто-нибудь из вас молодого пуделя? Я — нет. По-моему, все пудели, как и все инспекторы, ревизоры, акцизные надзиратели, всегда в летах, такая уж эта порода. Но так как я хотел поддерживать с Севериновой дружеские отношения, то обычно присаживался в том углу, где на большом вчетверо сложенном ковре сопела и пыхтела ее собачонка Амина, и почесывал этой твари спину — Амине это очень нравилось.

— Госпожа Северинова, — говорю я однажды, — что-то плохо идет у вас торговля. Ковер, на котором я сижу, лежит уже три года.

— Куда там, дольше! — отвечает хозяйка лавки. — Он в этом углу лежит добрых десять лет. Да это не мой ковер.

— Ага, — говорю я, — так он принадлежит Амине.

— Ну, что вы, — засмеялась Северинова, — не ей, а одной даме. У нее дома тесно, держать его негде, вот она

и положила ковер у меня. Мне он порядком мешает, но, по крайней мере, есть на чем спать Амине. Верно, Аминочка?

Я отвернул угол ковра, хотя Амина сердито заворчала.

— Довольно старый ковер, — говорю. — Можно на него посмотреть?

— Конечно, — отозвалась хозяйка и взяла Амину на руки. — Поди сюда, Амина, господин только посмотрит, а потом ты опять ляжешь. Куш, Амина, нельзя ворчать! Ну, иди, иди сюда, дурочка!

Тем временем я развернул ковер, и сердце у меня екнуло — это был белый анатолийский ковер семнадцатого века, местами протертый до дыр, — представьте себе! — так называемый «птичий» — с узором «чинтамани» и птицами, — а это — да будет вам известно — запрещенный магометанской религией узор. Уверяю вас, такой ковер — неслыханная редкость! А этот экземпляр был не меньше чем пять на шесть метров и восхитительной расцветки: белый с бирюзово-синим и с нежно-розовым, как цветы черешни, орнаментом. Я отвернулся к окну, чтобы хозяйка не видела моего лица, и говорю:

— Довольно ветхая штука, госпожа Северинова, а тут он у вас и вовсе слежится. Знаете что, скажите вашей даме, что я куплю этот ковер, ежели ей негде его держать.

— Не так-то это просто, — отвечает Северинова. — Ковер не продается, а владелица его живет все больше в Мерано и Ницце. Я даже не знаю, когда она бывает здесь. Но попробую узнать.

— Будьте добры, — сказал я равнодушным тоном и ушел.

К вашему сведению: купить вещь за бесценок — дело чести коллекционера. Я знаю одного очень известного и богатого человека, который собирает книги. Ему ничего не стоит отдать тысячу-другую за какую-нибудь старую книжонку, но если удастся купить у старьевщика за две кроны первое издание стихов Иозефа Красослава Хмеленского, он чуть не прыгает от радости. Это тоже спорт, вроде охоты на серн. Вот и втемяшилось мне в голову по дешевке купить «птичий» ковер и подарить его музею, потому что такому уникальному предмету место только там. И чтобы рядом повесили табличку с надписью: «Дар доктора Витасека». Что поделаешь, каждый тщеславен на свой лад. Признаюсь, я прямо таки потерял покой.

Немалых усилий стоило мне назавтра же не побежать за этим «птичьим» ковром, ни о чем другом я не мог уже и думать. «Надо выждать еще денек», — твердил я себе каждое утро. Человеку иногда хочется помучить самого себя.

Недели через две мне пришло в голову, что тем временем кто-нибудь другой может перехватить «птичий» ковер у меня под носом, и я помчался в лавку.

— Ну как? — кричу еще в дверях.

— Что как? — удивилась госпожа Северинова.

Я спохватился.

— Да вот, — говорю, — проходил мимо вас и вспомнил об этом белом ковре. Продаст его та дама или нет?

Севериниха покачала головой.

— Бог весть! Она сейчас в Биаррице, и никто не знает, когда вернется.

Я поглядел, там ли еще ковер. Там! На нем лежит Амина, еще более жирная и облезлая, и ждет, чтобы я почесал ей спину.

Через несколько дней мне пришлось поехать в Лондон. Там я заодно зашел к Кейту — знаете, к сэру Дугласу Кейту, сейчас лучшему знатоку восточных ковров.

— Сэр, — говорю я ему, — сколько может стоить белый анатолийский ковер с «чинтамини» и птицами, размером пять на шесть метров?

Сэр Дуглас воззрился на меня сквозь очки и отрезал сердито:

— Нисколько.

— Как так нисколько? — говорю я, смутившись. — Почему же нисколько?

— Потому что ковров такой величины вообще не существует, — закричал на меня сэр Дуглас. — Следовало бы вам знать, сэр, что самый большой размер такого ковра — это три на пять ярдов!

Я весь залился краской от радости.

— Ну, а если бы все-таки существовал один такой экземпляр, сэр? Сколько бы он стоил?

— Нисколько, говорю вам, нисколько! — снова закричал сэр Кейт. — Это был бы уникум, а как можно определять цену уникума? Он может стоить и тысячу, и десять тысяч фунтов. Почем я знаю?! Но такого ковра не существует, сэр. Всего хорошего!

Представляете себе, в каком настроении я вернулся домой. Пресвятая дева, я должен раздобыть этот «птичий» ковер! То-то будет подарок музею! Но вы понимаете, что теперь никак нельзя было слишком заметно нажимать на Северинову. Это шло бы вразрез с коллекционерской тактикой, да и торговка совсем не была заинтересована в продаже старого тряпья, на котором спала ее собака. А проклятая баба, владелица ковра, все время переезжала то из Мерано в Остенде, то из Бадена в Виши. Наверное, она держала медицинскую энциклопедию и постоянно выискивала для себя разные болезни; в общем, она все время торчала на каком-нибудь курорте.

Ну, что ж, я стал раза два в месяц наведываться в лавку Севериновой, чтобы взглянуть, там ли еще «птичий» ковер. Обычно я чесал Амине спину, так что эта тварь повизгивала от удовольствия, и для отвода глаз каждый раз покупал какой-нибудь коврик. Знали бы вы, сколько у меня набралось всяких «ширазов», «ширванов», «моссулов», «кабристанов» и всякого такого заурядного товара! Но среди них был и один классический «Дербент», такой не сразу найдешь! И еще был старый синий «хорасан».

Что я пережил за эти два года, поймет только коллекционер! Терзания любви — ничто по сравнению с муками собирателей редкостей. И замечательно, что еще ни один из них не наложил на себя руки; наоборот, обычно они доживают до преклонного возраста. Видимо, это здоровая страсть.

Однажды Северинова говорит мне:

— Была у меня хозяйка ковра — госпожа Цанелли. Я ей передала, что находится покупатель на белый ковер, все равно он тут слежится. А она ни в какую. Это, мол, их семейная реликвия, и она не намерена продавать ее, пусть лежит, где лежал.

Ну, конечно, я сам побежал к этой госпоже Цанелли. Думал, она бог весть какая светская особа, а оказалось, что это препротивная старуха с сизым носом, в парике, и физиономия у нее передергивается от тика — рот то и дело кривится до уха.

— Сударыня, — говорю я, не сводя глаз с ее прыгающей губы. — Я охотно купил бы ваш белый ковер. Коврик, правда, уже старенький, но мне он как раз сгодился бы... в прихожую.

Жду, что она скажет, и чувствую, как у меня рот начинает кривиться к левому уху. То ли этот ее тик был такой заразительный, то ли я очень разволновался, не знаю, только никак не смог сдержаться.

— Как вы смеете! — накинулась на меня эта кикимора. — Сейчас же уходите отсюда, сейчас же! — визжала она. — Этот ковер — память о моем Grosspapa[1]. Сейчас же уходите, не то я позову Polizei[2]. Я не торгую коврами, я фон Цанелли, сударь! Мари, выведи этого человека!

Я, как мальчишка, скатился с лестницы, чуть не плача от досады и ярости. Но что было делать? После этого я еще целый год ходил в лавку Севериновой. За это время Амина еще больше растолстела, почти совсем облезла и стала хрюкать. Через год госпожа Цанелли снова вернулась в Прагу. На этот раз я не рискнул обращаться к ней сам и поступил недостойно для коллекционера: подослал к старухе своего приятеля, адвоката Бимбала, этакого обходительного бородача, к которому женщины сразу проникаются доверием. Пусть, мол, предложит этой почтенной даме любую разумную цену за белый ковер. Сам я ждал внизу, на улице, волнуясь, как жених, который заслал сватов. Через три часа Бимбал, пошатываясь и утирая пот со лба, вышел из дома.

— Ты, чертов сын, — прохрипел он, — я тебя задушить готов! По твоей милости я три часа слушал историю рода Цанелли. Так знай же, — воскликнул он злорадно, — не видать тебе этого ковра. Семнадцать Цанелли перевернулись бы в могилах на Ольшанском кладбище, если бы эта семейная реликвия попала в музей. Черт побери, ну и намаялся же я из-за тебя!

И он исчез.

Вы сами знаете: мужчина нелегко отступается от того, что взбрело ему в голову. И если он коллекционер, то готов пойти и на убийство. Собирание редкостей — это ведь героическое занятие. И вот я решил попросту выкрасть этот «птичий» ковер.

Прежде всего я разведал обстановку. Лавка Севери-овой — во дворе, а ворота запирают в девять часов вечера. Отпирать их отмычкой я не хотел, потому что не умею.

[1] дедушке (*искаж. нем.*)
[2] полицию (*нем.*).

Но из-под арки можно войти в подвал и там спрятаться, пока не запрут дом. На дворе есть сарай, с крыши которого, если суметь на нее взобраться, легко перелезть в соседний дворик, где находится трактир. Ну, а оттуда убраться восвояси нетрудно. В общем, все это показалось мне довольно просто, главное — проникнуть в лавку через окно. Для этой цели я купил алмаз и попрактиковался на собственных окнах, вырезывая отверстия в стекле.

Не думайте, что кража — простое дело. Это куда труднее, чем оперировать предстательную железу или удалить у человека почку. Во-первых, нелегко провести дело так, чтобы тебя никто не увидел. Во-вторых, это связано с долгим ожиданием и многими неудобствами. А в-третьих, вы все время находитесь в неизвестности: того и гляди, нарвешься на какую-нибудь неожиданность. Говорю вам, воровство — трудное и малодоходное ремесло. Если я когда-нибудь обнаружу вора в своей квартире, я возьму его за руку и скажу мягко: «Милый человек, и охота вам так утруждать себя? Не могли бы вы обкрадывать людей другим, более удобным способом?»

Не знаю, как воруют другие, но мой опыт оказался не очень-то приятным. В тот, как говорится, критический вечер я прокрался в этот дом и спрятался на лестнице, ведущей в подвал. Так, наверное, были бы описаны мои действия в полицейском протоколе. В действительности же картина получилась такая: с полчаса я в нерешительности проторчал под дождем у ворот, привлекая к себе всеобщее внимание. Наконец, с мужеством отчаяния, как человек, решивший вырвать зуб, я вошел в ворота... и, разумеется, столкнулся со служанкой, которая шла за пивом в соседний трактир. Чтобы рассеять возможные подозрения, я назвал ее не то бутончиком, не то кошечкой, но она испугалась и пустилась наутек. Я спрятался на лестнице, что ведет в подвал. Там у этих нерях стояли ведра с золой и еще какой-то хлам; стоило мне только туда проникнуть, как все это посыпалось с неописуемым: грохотом. Вскоре вернулась служанка с пивом и взволнованно сообщила привратнику, что какой-то тип забрался в дом. Но этот добряк не стал утруждать себя поисками и заявил, что, наверное, какой-нибудь пьянчужка спутал их ворота с соседним трактиром. Минут через пятнадцать он, зевая и сплевывая, запер ворота, и в доме настала полная тишина. Только где-то наверху оглуши-

тельно икала одинокая служанка. Удивительно, как громко икают эти служанки, наверное с тоски.

Мне стало холодно. На лестнице мерзко пахло кислятиной и плесенью. Я пошарил в темноте руками. Все, к чему я прикасался, было покрыто какой-то слизью. Представляю, сколько там осталось отпечатков пальцев доктора Витасека, нашего видного специалиста по болезням мочевых путей!

Когда я решил, что уже полночь, было всего десять часов вечера. Я намеревался лезть в лавку после полуночи, но уже в одиннадцать не выдержал и отправился «на дело». Вы не представляете себе, какой шум поднимает человек, когда пробирается в потемках. На счастье, жители этого дома спали блаженным и беспробудным сном. Наконец я добрался до окна и со страшным скрипом стал резать стекло. Из лавки послышался приглушенный лай... А, чтоб ей пусто было, Амина!

— Амина, — прошептал я, — потише ты, стерва, я пришел почесать тебе спинку!

Но в темноте, знаете ли, очень трудно провести алмазом дважды по одной и той же линии. Я водил алмазом по стеклу, и наконец, при более сильном нажиме, оно со звоном вывалилось. «Теперь сбегутся люди, — сказал я себе, — куда бы спрятаться?» Но никто не прибежал. Тогда я с каким-то противоестественным спокойствием выдавил остальные стекла и открыл окно. Амина в лавке лишь слегка и для проформы заворчала сквозь зубы: я-де выполняю свою обязанность. Ну, я влез в окно, и скорее к этой мерзкой собаке.

— Амина, — шепчу ей ласково, — где твоя спинка? Я твой друг, зверюга... Тебе это нравится, шельма?

Амина прямо-таки извивается от удовольствия — если только мешок сала может извиваться, — а я говорю ей дружески:

— Ну, а теперь пусти-ка, псина!

И хотел вытянуть из-под нее драгоценный ковер с птицами.

Но тут Амина явно решила, что посягают на ее собственность, и запротестовала. Это уже был не лай, а настоящий рев.

— Тише, Амина, дрянь ты этакая! — принялся я ее уговаривать. — Погоди, я подстелю тебе что-нибудь получше! — Я сорвал со стены препротивный блестящий

«кирман», который Северинова считала перлом своего ассортимента. — Смотри, Амина, — говорю, — вот на этом коврике ты чудесно будешь спать.

Амина глянула на меня с любопытством, но, когда я протянул руку к *ее* ковру, взвизгнула так, что, наверное, было слышно в Кобылисах. Я снова разнежил ее услаждающим почесыванием и взял на руки. Но стоило мне потянуться к белому сокровищу с птицами и «чинтамани», как Амина астматически захрипела и залаяла. «О, господи, вот скотина, — сокрушенно подумал я, — придется ее прикончить...»

Послушайте, я и сам этого не понимаю: гляжу на эту мерзкую, тучную, подлую собачонку, гляжу с величайшей ненавистью, какую когда-либо испытывал, а убить это чудовище не могу! У меня был с собой отличный нож, был брючный ремень, мне ничего не стоило зарезать или придушить Амину, но у меня не хватало духу. Я сидел рядом с ней на божественном ковре и чесал у нее за ухом. «Трус! — шептал я себе. — Одно или два движения — и все будет кончено. Ты оперировал стольких больных, ты видел, как люди умирали в страхе и боли, *почему же ты не убиваешь собаку?!»* Я скрипел зубами, чтобы придать себе отваги, но... не мог! И тут я заплакал, видно, от стыда. Амина заскулила и облизала мне лицо.

— Ты гнусная, подлая, мерзкая падаль! — заворчал я, похлопал ее по безволосой спине и вылез в окно на двор. Это был проигрыш и отступление.

Потом я захотел влезть на сарайчик и по крыше перебраться на другой двор и на улицу, но у меня не хватило сил, — то ли я совсем ослабел, то ли сарайчик оказался выше, чем мне показалось, одним словом, я не смог взобраться на него. Ну, и я снова спрятался на лестнице в подвал и простоял там до утра, чуть живой от усталости. Глупо, конечно: ведь можно было выспаться в лавке, на коврах, но мне это не пришло в голову. Утром слышу — отпирают ворота. Переждав несколько минут, я вышел из своего убежища и направился на улицу. В воротах стоял привратник. Он так обалдел, увидя чужого человека, что даже не поднял шума.

Через несколько дней я зашел навестить Северинову. Окно лавки было заделано решеткой, а на великолепном ковре со священным орнаментом и птицами, разумеется, валялась эта мерзкая, жабоподобная собака. Узнав меня,

она приветливо завиляла толстой колбасой, которая у других собак называется хвостом.

— Сударь, — просияв, сказала мне Северинова. — Вот она, наше золотко Амина, наше сокровище, наша милая собачка. Знаете ли вы, что к нам на днях через окно забрался вор и Амина его прогнала? Я ни за что на свете не расстанусь с н е й ... — гордо объявила о н а . — Но вас она любит — животное сразу узнает, честный ты человек или нет. Верно, Амина?

Вот и все. Уникальный ковер лежит там и поныне. По-моему, это одно из драгоценнейших ковровых изделий в мире. И поныне на нем похрюкивает от удовольствия паршивая вонючая Амина.

Надеюсь, что она скоро издохнет от ожирения, и тогда я предприму еще одну попытку. Но прежде мне надо научиться распиливать решетки...

История о взломщике и поджигателе

— Что верно, то верно, — отозвался Илек. — Красть надо умеючи. То же самое говаривал Балабан, тот самый, что «сработал кассу» у фирмы «Шолле и компания». Этот Балабан был просвещенный и вдумчивый взломщик, да и годами уже не молод, а это значит, что он, сами понимаете, был опытнее других. Молодые все больше действуют в азарте. С маху, знаете ли, кое-что может удаться, а вот как начнешь размышлять да рассуждать, кураж-то и проходит, берешься за дело лишь по зрелом размышлении. То же самое и в политике, и во всем прочем.

«Так в о т , — говаривал Б а л а б а н , — в каждом деле есть свои правила. Что же касается взлома денежных касс, то правила это такие: во-первых, всегда лучше работать в одиночку, потому что «медвежатник» ни на кого но должен полагаться. Во-вторых, не следует долго работать в одном месте, чтобы не узнали твоей повадки. И, в-третьих, надо идти в ногу с эпохой и осваивать все новое по своей специальности. Но наряду с этим нельзя особенно выделяться — лучше держаться на среднем у р о в н е , — чем больше нашего брата работает одинаково,

тем труднее полиции ловить нас». Поэтому Балабан придерживался «фомки», хотя у него была электродрель и он умел работать с термитом. «К чему связываться с такими модными новинками, как бронированные сейфы? — рассуждал он. — Все это от чрезмерного тщеславия и честолюбия. Гораздо лучше старые солидные фирмы со старомодными стальными кассами, в которых хранятся деньги, а не какие-то там чеки». Да, он всегда все хорошо обдумывал и взвешивал, этот Балабан. Помимо взломов, он торговал старинной бронзой, посредничал в сделках с недвижимостью, барышничал лошадьми и вообще был оборотистый человек.

И вот он решил в последний раз «сработать кассу». Это будет, мол, такая чистая работа, что молодежь рот разинет. Главное не в том, чтобы добыть побольше денег, главное, чтобы не засыпаться.

И вот Балабан выбрал свою «последнюю» кассу — у фирмы «Шолле и компания», знаете, фабрика в Вубках, — и в самом деле «сработал» на редкость чисто. Мне об этом рассказывал полицейский сыщик Пиштора. Балабан влез в контору через окно, выходившее во двор — вот, как и вы, господин Витасек, — но только ему пришлось перепилить решетку. «Поглядеть было приятно, — рассказывал этот Пиштора, — как ловко Балабан вынул решетку, даже не намусорил, до того аккуратно работал этот мастак». Кассу он вскрыл с первого же «захода», — ни одной лишней дырки или царапины, даже краску зря не содрал. «Сразу было видно, с какой любовью человек это делал», — говорил Пиштора. Эту кассу потом взяли в музей криминалистики как образец мастерской работы.

Вскрыв кассу, Балабан вынул деньги, тысяч около шестидесяти, съел кусок хлеба со шпигом, что принес с собой, и снова вылез в окно. «Для полководца и для взломщика отступление — главное», таково было его правило. Он спрятал деньги у двоюродной сестры, инструмент отнес к некоему Лизнеру, пришел домой, вычистил одежду и обувь, умылся и лег спать, как всякий честный труженик.

Еще не было восьми утра, когда постучали в дверь. «Господин Балабан, откройте!» — «Кто бы это мог быть?» — удивился Балабан и с чистой совестью пошел отворить. Вваливаются двое полицейских и с ними этот самый сыщик Пиштора. Не знаю, встречались ли вы

когда-нибудь с ним: этакий маленький человечек, зубы, как у белки, и вечно усмехается. Когда-то он служил в похоронном бюро, но его уволили, потому что все окружающие не могли удержаться от улыбки, видя, как он топает перед катафалком и забавно скалится. Я заметил, что многие стеснительные люди улыбаются от смущения; они просто не знают, что делать с физиономией, как иные — куда деть руки. Вот почему эти люди так усердно ухмыляются, когда говорят с какой-нибудь высокопоставленной особой, например, с монархом или президентом... Не столько от удовольствия, сколько от смущения... Но вернемся к Балабану.

Увидя полицейских и Пиштору, он разразился справедливым негодованием:

— Вы што ко мне шуда лезете? Я ш вами не хочу иметь никакого дела...

Балабан сам удивился, как он шепелявит.

— Да что вы, господин Балабан, — усмехнулся Пиштора. — Мы пришли только взглянуть на ваши зубы. — И он подошел к расписной кружке, в которую Балабан клал на ночь свою вставную челюсть (он, видите ли, однажды неудачно прыгнул из окна и потерял все зубы). — А ведь верно, господин Балабан, — выразительно продолжал Пиштора, — плохо держатся эти зубные протезы, а? Когда вы сверлили кассу, зубы у вас ходили ходуном, вот вы и вынули их и положили на стол. А там пыль... Сами должны бы знать, какая пылища в этих конторах. Ну, мы нашли след от этих зубов и отправились прямо к вам. Уж вы не сердитесь, господин Балабан, вам надо было бы ту пыль вытереть.

— Вот не повезло! — огорчился Балабан. — Да, Пиштора, недаром говорится, что от одной ошибки не убережется самый ловкий пройдоха.

— А вы сделали две, — осклабился Пиштора. — Едва мы осмотрели контору, как сразу решили, что это ваша работа. И знаете почему? Каждый порядочный взломщик обычно... извиняюсь... облегчается на месте преступления. Такая уж есть примета, что тогда тебя не поймают. А вы рационалист и скептик, суеверий не признаете, думаете, что во всяком деле достаточно только рассудка. Вот вам и результат. Да, господин Балабан, красть надо умеючи!

— Бывают такие сметливые люди, надо отдать им должное, — задумчиво сказал Малый. — Я читал об одном интересном случае, возможно, некоторые из вас о нем не знают, так вот, послушайте. Дело было где-то в Штирии, жил там шорник по имени Антон, а по фамилии не то Губер, не то Фогт или Мейер, в общем, этакая заурядная немецкая фамилия. Так вот, в день своих именин сидел этот шорник за праздничным столом в семейном кругу. Кстати, в этой Штирии плохо едят даже по праздникам, не то что у нас. Я, например, слышал, что у них едят даже каштаны. Так вот, этот шорник сидит себе после обеда со своим семейством, и вдруг кто-то стучит в окно.

— Сосед, у вас крыша горит!

Шорник выбегает на улицу — и верно, крыша у него вся в огне. Ну, конечно, дети ревут, жена с плачем выносит стенные часы. Много я видел пожаров и всегда замечал, что люди теряют голову и торопятся спасти что-нибудь ненужное, вроде часов, мельницы для кофе или клетки с канарейкой. А потом только спохватываются, что в горящем доме остались бабушка, одежда и всякие ценности.

Сбежались соседи, принялись тушить пожар, но больше мешали друг другу. Потом приехали пожарные. Сами знаете, пожарному надо переодеться, прежде чем ехать на пожар. Тем временем занялось соседнее строение, и к вечеру пятнадцать домов сгорели дотла.

Настоящий пожар можно, знаете ли, увидеть только в деревне или в небольшом городке. Крупный город — совсем другое дело: там вы смотрите не на самый пожар, а на трюки пожарников. А лучше всего самому помогать тушить или хотя бы советовать тем, кто тушит. Гасить пожар — увлекательная работа: огонь так и шипит, так и фыркает... А вот носить воду из реки никому не нравится.

Странная у человека натура: если он видит какое-нибудь бедствие, ему хочется, чтобы оно было грандиозным. Большой пожар или большое наводнение как-то встряхивают человека. Ему кажется, что он получил от жизни что-то новое. А может быть, в нем просто говорит языческое благоговение перед стихией? Не знаю.

На следующий день там было, как... ну, словом, как на пожарище, лучше уж не скажешь. Огонь — красивая

штука, но вид пожарища ужасен. Все равно как с любовью. Смотришь беспомощно и думаешь, что от такой беды век не оправишься...

Был там молодой полицейский, он расследовал причины пожара.

— Господин вахмистр, — сказал ему шорник Антон, — головой ручаюсь, что это поджог. Почему бы пожару случиться именно в день моих именин, когда я сидел за столом? В толк, однако, не возьму, кому это вздумалось мстить мне. Зла я никому не делаю, а политикой уж и подавно не занимаюсь. Просто не знаю, кто мог иметь на меня зуб.

Был полдень, солнце светило вовсю. Вахмистр ходил по пожарищу, думая: «Черт теперь разберет, отчего загорелось».

— Слушайте, Антон, — спросил он вдруг, — а что это такое блестит у вас наверху, вон на той балке?

— Там было слуховое окно, — отвечал шорник. — Наверное, какой-нибудь гвоздик.

— Нет, это не гвоздик, — возразил полицейский. — Больше похоже на зеркальце.

— Откуда там быть зеркальцу? — удивился шорник. — На чердаке у меня только солома.

— Нет, это зеркальце, — отвечает вахмистр. — Я вам его покажу.

Приставил он пожарную лестницу к обгоревшей балке, влез наверх и говорит:

— Так вот оно что, Антон! Это не гвоздик и не зеркальце, а круглое стеклышко. Оно прикреплено к балке. Для чего оно там у вас?

— А бог его знает, — ответил шорник. — Верно, дети играли.

Полицейский рассматривал стеклышко да вдруг как вскрикнет:

— Ах, черт, оно жжется! Это что же такое? — И потер себе кончик носа. — Тьфу, пропасть! — воскликнул он снова. — Теперь оно мне руку обожгло. Ну-ка, Антон, живо подайте мне сюда клочок бумаги!

Шорник протянул ему листок из блокнота. Вахмистр подержал бумажку под стеклом.

— Так вот, Антон, — сказал он через минуту, — по-моему, дело ясное.

Он слез с лестницы и сунул листок под нос шорнику, В листке была прожжена круглая дырочка, и края ее еще тлели.

— К вашему сведению, Антон, — продолжал вахмистр, — это стеклышко не что иное, как двояковыпуклая линза, или лупа. А теперь я хотел бы знать, кто укрепил эту лупу здесь, на балке, как раз у охапки соломы. И говорю вам, Антон, тот, кто это сделал, уйдет отсюда в наручниках.

— Господи Иисусе! — воскликнул шорник. — У нас и лупы-то в доме не было. Э-э, погодите-ка, — спохватился он. — У меня был в учении мальчишка, Зепп по имени, он вечно возился с такими штуками. Я его прогнал, потому что от него не было толку, в голове ветер да какие-то дурацкие опыты. Неужели пожар устроил этот чертов мальчишка?! Нет, этого не может быть, господин вахмистр, ведь я прогнал его в начале февраля. Бог весть где он теперь, сюда с тех пор он ни разу не показал носу.

— Уж я-то дознаюсь, чья это лупа, — сказал вахмистр. — Дайте-ка телеграмму в город, пусть пошлют сюда еще двух полицейских. А лупу чтобы никто пальцем не трогал. Первым делом надо найти мальчишку.

Ну, того, конечно, нашли, он был в учении у какого-то кожевника в другом городе. Едва полицейский вошел в мастерскую, мальчишка затрясся, как лист.

— Зепп! — крикнул на него вахмистр. — Где ты был тринадцатого июня?

— Здесь был... здесь, — бормочет мальчишка. — Я здесь с пятнадцатого февраля и никуда не отлучался, у меня свидетели есть.

— Он не врет, — сказал хозяин. — Я могу подтвердить, потому что он живет у меня и нянчит маленького.

— Вот так история! — удивился вахмистр. — Значит, это не он.

— А в чем дело? — заинтересовался кожевник.

— Да вот, — объясняет вахмистр, — есть подозрение, что тринадцатого июня, где-то там, у черта на куличках, он поджег дом шорника — и половина деревни сгорела.

— Тринадцатого июня? — удивленно говорит хозяин. — Слушайте-ка, это странно: как раз тринадцатого числа Зепп вдруг спрашивает меня: «Какое сегодня число? Тринадцатое, день святого Антония? Сегодня кое-что должно случиться...»

Мальчишка вдруг вскочил и хотел дать тягу, но вахмистр ухватил его за шиворот. По дороге в кутузку Зепп во всем сознался: он был зол на шорника за то, что тот не позволял ему делать опыты и лупил как Сидорову козу. Решив отомстить хозяину, мальчик рассчитал, где будет стоять солнце в полдень тринадцатого июня, в день именин шорника, и укрепил на чердаке лупу под таким углом, чтобы загорелась солома, а он, Зепп, к тому времени смоется подальше. Все это он подстроил еще в феврале и ушел от шорника.

И знаете что? Осмотреть эту лупу приезжал ученый астроном из Вены и долго качал головой, глядя, как точно она соответствует положению солнца в зените именно на тринадцатое июня. «Это, говорит, изумительная сообразительность, если учесть, что у пятнадцатилетнего мальчишки не было никаких геодезических инструментов». Что было дальше с Зеппом, не знаю, но уверен, что из этого озорника вышел бы выдающийся астроном или физик. Вторым Ньютоном мог бы стать этот чертов мальчишка! В мире ни за что ни про что пропадает много изобретательности и замечательных дарований! У людей, знаете ли, хватает терпения искать алмазы в песке и жемчуг в море, а вот отыскать дарования и таланты, чтобы они не пропадали впустую, это никому не придет в голову. А жаль!

Украденное убийство

— Это напоминает мне одно преступление, — сказал Гоудек, — которое было тоже хорошо задумано и подготовлено. Боюсь только, что мой рассказ вам не понравится, так как у него нет конца, и тайна остается нераскрытой. Если будет неинтересно, скажите, я не стану рассказывать.

Вы, кажется, знаете, что я живу на Круцембурской улице на Виноградах. Это одна из тех коротких поперечных улиц, на которых нет ни трактира, ни прачечной, ни даже угольной лавки. Обитатели этой улицы ложатся спать в десять часов, кроме тех прожигателей жизни, которые слушают радио и поэтому залезают в постель

около одиннадцати. Живут здесь большей частью тихие налогоплательщики и мелкие чиновники (не выше седьмого класса табеля о рангах), среди них несколько любителей-ихтиологов, один музыкант, играющий на цитре, два филателиста, один вегетарианец, один спирит и один коммивояжер, разумеется, приверженец теософии. Остальное население улицы — это квартирохозяйки, у которых все эти жильцы занимают «чистые, элегантно обставленные комнаты с подачей утреннего завтрака» — как пишется в объявлениях. Раз в неделю, по четвергам, коммивояжер-теософ возвращался домой около полуночи, так как посещал какие-то душеспасительные беседы. По вторникам поздно возвращались два натуралиста — у них бывали собрания кружка «Аквариум» — и обычно, остановившись под фонарем, спорили о живородках и золотых рыбках. Три года назад на нашей улице даже видели пьяного, но, говорят, он был из Коширж и просто заблудился.

Зато ежедневно в четверть двенадцатого возвращался домой какой-то русский, по фамилии не то Коваленко, не то Копытенко, человек небольшого роста, с реденькой бородкой. Снимал он комнату у пани Янской в доме номер семь.

На что жил этот русский, никто не знал, но до пяти часов вечера он обычно валялся дома, потом брал портфель, шел к ближайшей остановке трамвая и ехал в центр города. Вечером, ровно в четверть двенадцатого, он выходил из трамвая на той же остановке и сворачивал на Круцембурскую улицу. Кто-то потом рассказывал, что все это время он просиживал в кафе и ругался с другими русскими. Говорили еще, что это не мог быть русский, потому что русские никогда не возвращаются домой так рано.

В прошлом году, в феврале, я уже дремал, как вдруг слышу за окном пять резких ударов. Сквозь сон мне показалось, будто я еще мальчишка и щелкаю на дворе бичом и радуюсь, что он так здорово хлопает. Потом я вдруг сразу проснулся и осознал, что это стрельба из револьвера. Подбегаю к окну, отворяю его и вижу — внизу, на тротуаре перед домом номер семь, лежит ничком мужчина с портфелем в руке. Тут послышался топот ног, из-за угла появился полицейский, подбежал к лежащему, приподнял его, но, пробормотав: «Эх, черт!» — снова опустил его на землю и засвистел. Из-за другого

угла тотчас же показался второй полицейский и поспешил к первому.

Я, конечно, быстро сунул ноги в туфли, накинул пальто и устремился вниз. Из других домов выбежали вегетарианец, музыкант, один из ихтиологов, дворники и филателист. Остальные глядели из окон, стуча от страха зубами и думая: «Ну его к черту, еще впутаешься в историю». Тем временем полицейские перевернули человека навзничь.

— Ведь это тот русский, Копытенко или Коваленко, что живет у пани Янской, — говорю я дрожащим голосом. — Он мертв?

— Не знаю, — мрачно отвечает полицейский. — Надо вызвать врача.

— Н-н-неужели вы оставите его лежать здесь? — возмущенно спросил музыкант, заикаясь. — Отвезите его в больницу.

На улице собралось уже человек двенадцать, все тряслись от холода и страха, а полицейские, опустившись на колени рядом с пострадавшим, зачем-то расстегивали ему воротник. В это время на углу главной улицы остановилось такси, и шофер вышел посмотреть, что случилось. Наверное, думал, что это пьяный и можно заработать, отвезя его домой.

— В чем дело, братцы? — приятельски спрашивает он нас.

— З-з-застрелили человека, — стуча зубами, говорит вегетарианец. — П-п-положите его в машину и отвезите в «Скорую помощь», может, он еще жив.

— Вот чертовщина! — проворчал шофер. — Не очень-то я люблю такие истории. Ну, ладно, погодите, я сюда подъеду.

Он не торопясь пошел к своей машине и подогнал ее к мертвому.

— Кладите его в машину, — сказал он.

Двое полицейских подняли этого русского и с большим трудом погрузили в такси. Он, правда, был не тяжел, но ведь с мертвыми трудно управляться.

— Вы поезжайте с ним, коллега, а я запишу свидетелей, — сказал один полицейский другому. — Шофер, поезжайте в «Скорую помощь», да побыстрее.

— Побыстрее, — проворчал шофер. — А если у меня тормоза не в порядке?

И уехал.

Оставшийся полицейский вынул из кармана блокнот и говорит:

— Сообщите мне свои имена, господа. Это только для свидетельских показаний.

И записал нас одного за другим. Копался он страшно, видно, у него пальцы окоченели, и мы тоже замерзли как проклятые. Когда я вернулся в свою комнату, было двадцать пять минут двенадцатого. Стало быть, все происшествие длилось десять минут.

Я знаю, вы скажете, что во всем этом нет ничего особенного. Но послушайте, пан Тауссиг, в такой тихой улице, как наша, это — великое событие. Соседние улицы греются в лучах нашей славы, ибо могут сказать: «Это случилось здесь, за углом». Жители улиц, которые подальше от нас, прикидываются равнодушными, но это, если хотите знать, только по злобе и от зависти — ведь происшествие было не у них. А живущие еще дальше отмахиваются, говоря: «Кажется, там кого-то пристукнули, да черт его знает, так это или нет». Но это — лишь черная зависть.

Представляете себе, как на другой день все жители нашей улицы накинулись на вечерние газеты? Во-первых, нам хотелось узнать что-нибудь новое о нашем убийстве. Во-вторых, все предвкушали удовольствие читать о происшествии на своей улице. Ведь известно, что люди всего охотнее читают в газетах о том, что они видели, как говорится, собственными глазами. Предположим, на Уезде свалилась лошадь, в результате чего движение было нарушено на десять минут. Если об этом не написано, очевидец сердится и швыряет газету на стол, дескать, там и читать-то нечего. Его почти оскорбляет, что эти журналисты не увидели ничего важного в происшествии, в котором он принял самое непосредственное участие. Я думаю, что отдел происшествий существует специально для таких очевидцев, чтобы они от обиды не перестали покупать газеты.

Мы были просто оскорблены, когда ни в одной из газет не нашли ни слова об убийстве. «Черт возьми, — ворчали мы, — расписывают тут всякие политические события, разные аферы и сообщают даже о том, что трамвай наскочил на ручную тележку, а о нашем убийстве — ни слова. До чего продажны эти газеты!»

Потом филателисту пришло в голову, что, наверное, полиция попросила газеты до окончания расследования не писать об убийстве. Это нас и успокоило, и еще больше взволновало. Мы гордились, что живем на такой улице и, несомненно, будем вызваны свидетелями по этому таинственному делу. Но и на второй день в газетах не было ничего об убийстве и никто из полиции не приходил произвести следствие, а самое удивительное — никто не явился к хозяйке убитого, чтобы осмотреть или опечатать его комнату.

Это уже задело за живое. Музыкант сказал, что, может, полиция хочет замять дело, — бог весть, кто в нем замешан.

Когда и на третий день газеты молчали об убийстве, вся улица начала возмущаться и твердить, что мы этого так не оставим, что в конце концов убитый был наш сосед и мы добьемся того, что все эти махинации будут разоблачены. Нашу улицу и без того явно третируют — у нас и мостовая никуда не годится, и освещение скверное, а небось живи здесь какой-нибудь парламентарий или газетчик, было бы совсем другое дело. Этакая порядочная улица, а за нее некому заступиться.

Короче говоря, возникло стихийное недовольство, и соседи обратились ко мне — как к пожилому, солидному человеку — и попросили пойти в участок и рассказать полицейскому комиссару о безобразном отношении к убийству.

Вот я и пошел к комиссару Бартошеку, которого немного знал. Это такой мрачный человек. Говорят, он все еще страдает из-за какой-то несчастной любви. Будто бы только с горя он и пошел служить в полицию.

— Пан комиссар, — говорю ему, — я пришел спросить у вас, как обстоит дело с убийством на Круцембурской улице? Нас удивляет, что это дело так упорно замалчивают.

— Какое убийство? — спрашивает комиссар. — Там не было никакого убийства. Я точно знаю, ведь это наш район.

— Ну, как же, а этот самый русский, Коваленко или Копытенко, которого застрелили на улице? — напоминаю я. — Там было двое полицейских, и один записал свидетелей, а другой отвез убитого в «Скорую помощь».

— Это невозможно, — объявил комиссар. — У нас никакого убийства не зарегистрировано. Наверное, это ошибка.

— Ах, пан комиссар, — говорю я, начиная сердиться, — очевидцами этого происшествия были по меньшей мере пятьдесят человек, и все могут подтвердить. Мы лояльные граждане, пан комиссар, и если надо держать язык за зубами, вы нам так и скажите. Но игнорировать убийство просто так, за здорово живешь — это никуда не годится. Мы напишем в газеты.

— Постойте! — говорит комиссар, сделав такое серьезное лицо, что мне даже страшно стало. — Расскажите, пожалуйста, все по порядку.

Я принялся рассказывать ему все по порядку, и он так заволновался, что прямо позеленел, но когда я дошел до того места, как один полицейский сказал другому: «Вы с ним поезжайте, коллега, а я запишу свидетелей», — он облегченно вздохнул и воскликнул:

— Господи, да ведь это были не наши люди! Мать честная, почему вы не вызвали полицейских против таких «полицейских»?! Неужели вы не сообразили, что полицейские никогда не говорят друг другу «коллега»? Сыщик еще может так сказать, но полицейский — никогда! Эх вы, наивный шпак, вы, «коллега», почему вы не приняли мер для ареста этих людей?

— А за что же? — пробормотал я сокрушенно.

— За то, что они застрелили вашего соседа! — закричал комиссар. — Или, по крайней мере, были соучастниками убийства. Сколько лет вы живете на Круцембурской улице?

— Девять, — сказал я.

— Так вам следовало бы знать, что в одиннадцать часов пятнадцать минут вечера ближайший полицейский патруль находится около Крытого рынка. Еще один патруль в это время должен быть на углу Силезской и Перуновой улиц, а третий следует строевым шагом мимо дома с порядковым номером тысяча триста восемьдесят восемь. Из-за того угла, откуда выбежал ваш полицейский, наш полицейский может выбежать или в десять часов сорок восемь минут или только в двенадцать часов двадцать три минуты, и ни в какое другое время, потому что в другое время его там нет. Это же, черт возьми, знает каждый вор, а вот честные обыватели не имеют

об этом представления! Вы, может, думаете, что мои полицейские торчат за каждым углом? Если бы в то время, о котором вы говорите, выбежал из-за вашего проклятого угла наш полицейский, это бы уже было чрезвычайное происшествие. Прежде всего, потому, что в одиннадцать часов пятнадцать минут он должен был, согласно приказу, шагать у Крытого рынка, а во-вторых, потому, что он нам своевременно не доложил об убийстве. Это был бы, разумеется, весьма серьезный проступок.

— Господи боже мой! — сказал я. — Так как же с убийством?

— Темное дело, — сказал комиссар, явно успокоившись, — это, пан Гоудек, очень неприятный случай. За всем этим кроется ловкий преступник и какая-то крупная афера. Все было хитроумно задумано: во-первых, они знали, в котором часу их жертва приходит домой, во-вторых, знали маршрут и время следования полицейских патрулей, в-третьих, им надо было, чтобы полиция, по крайней мере, два дня не знала об убийстве. Видимо, этот срок был им необходим, чтобы скрыться или замести следы. Теперь вы все понимаете?

— Не совсем, — говорю я.

— Дело было так, — терпеливо объяснял мне полицейский комиссар, — двое преступников оделись полицейскими и подстерегали этого русского за углом. Они застрелили его, или это сделал кто-то третий. Вы же, конечно, успокоились, видя, что наша образцовая полиция немедленно прибыла на место происшествия. Вспомните-ка, как звучал свисток того первого полицейского?

— Как-то глуховато, — сказал я. — Я думал, что это оттого, что он запыхался.

— Ага, — удовлетворенно заметил комиссар. — Короче говоря, они хотели устроить так, чтобы вы не сообщали об этом убийстве в полицию. Таким путем они выиграли время, чтобы скрыться за границу. Понимаете? Шофер тоже явно был из их шайки. Не помните номер машины?

— На номер мы, признаться, не обратили внимания, — смущенно сознался я.

— Не беда, все равно номер был фальшивый... Так что им удалось убрать и труп этого русского. Кстати, он был не русский, а какой-то македонец, и фамилия у него другая, Протасов. Ну, ладно, спасибо вам, сударь. А теперь действительно прошу вас в интересах следствия

молчать обо всем этом. Безусловно, это — политическое убийство. Его организатор, наверное, очень ловкий человек, потому что обычно, пан Гоудек, политические убийства совершаются из рук вон плохо. Там, где замешана политика, не жди даже порядочного преступления, там обычно бывает только грубая драка, — заметил комиссар с отвращением.

Позднее дело немного прояснилось. Причина убийства, правда, осталась неизвестной, но имена трех убийц полиция узнала. Все трое к этому времени уже давно были за границей. Так вот и получилось, что у нашей улицы попросту украли убийство. Вроде как вырвали из ее истории славнейшую страницу. Когда к нам иногда забредает чужак, кто-нибудь с проспекта Фоша или из Вршовиц, то небось думает: «Что за скучная улица!» И никто не верит нам, когда мы говорим, что у нас произошло столь загадочное преступление. Сами понимаете — другие улицы нам завидуют...

Случай с младенцем

— Уж коли речь зашла о комиссаре Бартошеке, — заметил пан Кратохвил, — то мне припоминается один случай, который тоже не стал достоянием широкой публики; я имею в виду случай с младенцем. Так вот, значит, прибегает однажды к этому Бартошеку в полицейский участок молодая особа, жена пана Ланды, советника из управления государственными имениями, — вся в слезах, едва переводит дыхание. Бартошек пожалел женщину, хотя от рыданий у нее распух нос и все лицо пошло пятнами. Принялся он ее успокаивать — насколько это в силах старого холостяка, да еще полицейского чиновника.

— Бросьте вы, ей-богу, — говорил Бартошек, — он же с вас головы не снимет, проспится, и все снова будет в порядке; ну, а если уж он и впрямь чересчур бедокурит, так я отправлю с вами пана Гохмана, он влепит ему разок-другой и приведет в чувство; а уж вы, милочка, лучше не давайте мужу поводов для ревности, так-то!

Подобным образом — да будет вам известно — в полицейских отделениях улаживают большинство семейных трагедий.

Но дамочка только трясла головой и рыдала так, что страшно было смотреть.

— Ах, черт побери. — Пан Бартошек решил подобраться к делу с другого боку. — Значит, это он от вас сбежал, вот оно что! Послушайте, да ведь он вернется, паршивец несчастный; ну стоит ли этакий мерзавец того, чтобы вы по нем убивались!

— Па-а-н... комиссар, — пролепетала молодая женщина, — у меня... на улице... украли ребенка!

— Бог с вами, — недоверчиво проговорил комиссар. — Зачем жуликам понадобился ребенок? Наверно, убежал куда-нибудь...

— Нет, не убежал... Не могла она убежать! — безутешно рыдала мамаша. — Ведь Руженке всего три месяца!

— Ах, так, — протянул пан Бартошек, который не имел ни малейшего понятия о том, когда дети начинают ходить. — Каким же образом, позвольте узнать, они ее украли?

С трудом, после долгих клятвенных заверений, что ребенок найдется непременно, пану Бартошеку удалось успокоить молодую мамашу и вытянуть из нее, как было дело.

Оказывается, дело было так: пан Ланда только что отбыл в командировку осматривать свои имения, а пани Ландова задумала вышить Руженке красивый нагрудничек. Отправилась она в галантерею выбрать шелк для этого самого нагрудничка, а коляску с Руженкой оставила на улице; когда же возвратилась — ни коляски, ни Руженки уже не было. Вот и все, что за добрых полчаса удалось понять из слов безутешной женщины.

— Стало быть, пани Ландова, — подытожил пан Бартошек, — в общем не так уж все плохо; вы посудите сами, кому придет в голову красть сосунка? Обычно младенцев подкидывают, в моей практике случалось нечто подобное. По-моему, этакая кроха ничего не стоит; в большинстве случаев ее невозможно сбыть; а вот за колясочку кое-что дадут; и перинки — там ведь были перинки? — тоже можно продать. Уж ради них можно решиться на кражу. Я полагаю, кому-то понадобились коляска и перинки.

По-моему, тут замешана женщина, потому как верзила с колясочкой сразу обращает на себя внимание. А ребенка она где-нибудь да бросит, — успокаивал пан Бартошек мамашу, — ну скажите на милость, что ей с ним делать? Мне кажется, мы еще сегодня доставим вам вашу птаху, как только она найдется.

— А что, если моя Руженка проголодается? — горевала молоденькая мама, — ее уже давно пора кормить...

— Мы сами ее накормим, — пообещал комиссар, — а теперь идите-ка лучше домой.

И вызвал шпика в штатском, чтобы тот проводил несчастную женщину.

Во второй половине дня сам комиссар позвонил у дверей квартиры пани Ландовой.

— Ну вот, милая пани, — объявил он, — коляска уже нашлась. Теперь недостает лишь младенца. Пустую повозочку мы обнаружили под аркой одного дома, где в детей-то никаких нет. Правда, к дворничихе заходила одна женщина, позвольте, дескать, покормить грудного ребенка, гм-м... и сразу ушла... Черт побери, — заметил он, покачав головой, — выходит, эта особа хотела похитить именно младенца, и ничего другого. Стало быть, голубушка, коли уж так он ей понадобился, похитительница ему не повредит и не проглотит; короче говоря, горевать вам не о чем — и все тут.

— Но я хочу получить свою Руженку обратно! — в отчаянии воскликнула пани Ландова.

— В таком случае, пани, предоставьте нам фотографию или описание вашего ребенка, — объявил комиссар официальным тоном.

— Ах, какой вы, пан комиссар, — расплакалась пани Ландова, — неужели вы не знаете, что детей до года нельзя фотографировать? Говорят, это дурная примета, ребенок потом расти не будет...

— Гм, — буркнул комиссар, — тогда, по крайней мере, дайте нам его точное описание.

Описание мамаша сделала весьма пространное: такие, мол, у ее Руженки хорошенькие волосики, и носик, а глазки какие прекрасные! И весит она четыре килограмма четыреста девяносто граммов. И попка у нее такая розовая, а какие складочки на ножках!

— Какие такие складочки? — насторожился комиссар.

— Такие, что поцеловать хочется! — всхлипывала мамаша. — И такие же сладенькие пальчики! А как она улыбалась маме, если бы вы только знали!

— Но помилуйте, голубушка, — взорвался пап Бартошек, — ведь по такому описанию мы не сможем ее опознать! Нет ли у нее особых примет?

— У нее розовые ленточки на чепчике, — рыдала молодая женщина. — Девочкам всегда пришивают розовые ленточки! Ради всех святых, разыщите мне мою Руженку!

— А какие у нее зубы? — попытался еще уточнить пан Бартошек.

— Никаких, ведь ей всего три месяца! Знали бы вы, как она улыбалась своей мамочке! — Пани Ландова упала на колени: — Пан комиссар, обещайте, что вы ее отыщете!

— Будем стараться, — проворчал пан Бартошек в смущении, — прошу вас, встаньте. Ну, посудите сами, зачем ей было ее красть? Можете вы мне объяснить, какой от пего прок, от этого сосунка?

Изумленная пани Ландова широко раскрыла глаза.

— Но ведь прекраснее детей нет ничего на свете! Неужели у вас, пан комиссар, совсем нет материнских чувств?

Пан Бартошек не захотел признаться в этом своем недостатке и поспешно заметил:

— На мой взгляд, такого рода кражу могла совершить только мать, лишившаяся собственного ребенка и очень желавшая его иметь. Это, видите ли, как в трактире: если кто-нибудь по ошибке надел вашу шляпу, вы, уходя домой, выберете себе чью-нибудь чужую. Ио тут я уже предпринял кое-какие шаги: приказал выяснить, где и у кого в Праге померла трехмесячная малютка, чтоб наши люди пошли туда и проверили. Но только по вашему описанию, извините, мы опознать ее не сможем.

— Но *я-то* ее узнаю, — всхлипнула пани Ландова.

Пан комиссар пожал плечами.

— И все-таки, — произнес он задумчиво, — голову даю на отсечение, что баба эта украла ребенка ради какой-то корысти. Кражи, дорогая моя, очень редко совершают из-за любви; обычно — из-за денег. Да не убивайтесь вы так, черт побери! Мы сделаем все, что от нас зависит.

Вернувшись в участок, пан Бартошек обратился к своим сослуживцам.

— Послушайте, нет ли у кого из вас трехмесячной козявки? Пришлите мне ее сюда!

Жена одного из полицейских принесла ему свою меньшенькую. Пан комиссар приказал развернуть ее и говорит:

— Э, да она вся мокрая! Ну что же — волосенки на голове есть, складочки — тоже... А это ведь нос, правда? И зубов тоже — ни одного... Объясните, голубушка, как же отличить одного младенца от другого?

Супруга полицейского, крепко прижала малютку к груди и гордо этак заявила:

— Да ведь это же моя Маничка! Разве вы не видите, пан комиссар, она же — вылитый папа?

Пан комиссар с сомнением покосился на полицейского Гохмана; ощетинив усы и надувая дряблые щеки, тот строил своему чаду гримасы, делал толстыми пальцами козу-дерезу и лаял собачкой: «Гаф-гаф-гаф!»

— Ну, не знаю, — буркнул комиссар, — по-моему, и нос у нее совсем не такой, разве что вырастет... Пойду-ка я в парк, посмотрю, как выглядят сосунки. Что правда, то правда, всяких там жуликов и бродяг наш брат тотчас распознает, а вот этакую мелюзгу в перинках просто неизвестно, как и разыскивать.

Примерно через час Бартошек вернулся, вконец расстроенный.

— Послушайте, Гохман, — обратился он к своему подчиненному, — ведь это же кошмар какой-то, — все дети на одно лицо! Какое уж тут описание внешности! «Разыскивается трехмесячный младенец, полу женского, с волосиками, носиком, глазками, вся попка в ямочках, весит четыре тысячи четыреста девяносто граммов». Разве этого достаточно?

— Пан комиссар, я бы об этих граммах не упоминал, — серьезно посоветовал Гохман, — ведь он, этот несмышленыш, весит то больше, то меньше, — в зависимости от того, какой у него стул.

— Господи Иисусе, — взмолился пан комиссар, — ну откуда мне все это знать? Сосунки — это ведь не по нашему ведомству! Послушайте, — внезапно с надеждой произнес он, — а что, если взять да и спихнуть это кому-нибудь, скажем, «Охране матери и ребенка»?

— Но ведь кража налицо, — возразил Гохман.

— Конечно, кража налицо, — буркнул комиссар. — Господи, украли бы часы или другую какую полезную

вещь — тут я бы знал, что делать; но как разыскивают украденных детей — я понятия не имею, ей-богу!

В это мгновение отворились двери, и один из полицейских ввел плачущую пани Ландову.

— Пан комиссар, — отрапортовал он, — эта дамочка пыталась вырвать младенца из рук другой мамаши, и притом учинила безобразный скандал, чуть ли не драку. Я ее и забрал.

— Бога ради, пани Ландова, — принялся увещевать нарушительницу Бартошек, — что вы с нами делаете?!

— Но ведь это была моя Руженка! — рыдала молодая женщина.

— Никакая не Руженка! — парировал полицейский, — Фамилия этой женщины — Роубалова, живет в Будечской улице, а на руках у нее был трехмесячный мальчик.

— Вот видите, неразумная вы женщина! — вскипел пан Бартошек. — Если вы еще раз впутаетесь не в свое дело, мы перестанем им заниматься, понятно?! Погодите-ка! — вспомнил он вдруг. — А на какое имя откликается ваша дочка?

— Мы называли ее Руженка, — простонала молодая мамаша. — А еще Крошечка, Лапонька, пупсик, золотце, ангелочек, манюнечка, Кутичка, Лялечка, куколка, заинька, кисонька, голубушка, солнышко...

— И на все на это она откликается? — поразился комиссар.

— Она все-все понимает! — уверяла мамаша, заливаясь слезами. — И так смеется, когда мы показываем козу-дерезу, лаем собачкой, лопочем «ти-ти-ти», «бу-бу-бу» или щекочем...

— Нам от этого не легче, пани Ландова. К сожалению, я вынужден признаться, что у нас ничего не вышло. В семьях, которые заявили о смерти ребенка, вашей Руженки не обнаружено; мои люди уже всех обежали.

Пани Ландова застывшим взглядом тупо смотрела перед собой.

— Пан комиссар, — выпалила она, внезапно озаряясь надеждой, — я десять тысяч дам тому, кто мне отыщет Руженку. Объявите повсюду, что награду... десять тысяч получит... кто наведет вас на след моей девочки.

— Я бы вам не советовал этого делать, милая пани, — с сомнением проговорил пан Бартошек.

— Вы бесчувственный человек! — горестно воскликнула молодая женщина. — Да за свою Руженку я готова весь свет отдать!

— Ну, вам виднее, — мрачно проворчал пан Бартошек. — Объявить я объявлю, только вы уж, бога ради, в это дело больше не вмешивайтесь!

— Тяжелый случай, — вздохнул он, едва за пани Ландовой захлопнулась дверь. — Вот посмотрите, что теперь начнется!

И в самом деле началось: на следующий день три сыскных агента принесли ему по зареванной трехмесячной девчушке каждый, а один — небезызвестный Пиштора — просунул голову в кабинет и осклабился: «Пан комиссар, а парнишка не подойдет? Парнишку я достал бы по дешевке».

— А все эта ваша дурацкая премия, — чертыхался пап Бартошек. — Еще немного — и нам придется открыть сиротский дом. Вот проклятие!

«Вот проклятие! — раздраженно ворчал он, возвращаясь в свою холостяцкую квартиру. — Хотелось бы мне знать, как теперь мы разыщем этого карапуза!»

Дома его встретила прислуга, этакая языкастая бой-баба, но сегодня она прямо так и сияла от удовольствия.

— Вы только подите посмотрите, пан комиссар, — произнесла она вместо приветствия, — на вашу Барину!

А Бариной, да будет вам известно, звали чистокровную боксершу, согрешившую с каким-то немецким волкодавом, — пан Бартошек получил ее от пана Юстица. К слову сказать, я просто диву даюсь, как эти собаки вообще признают друг друга; хоть убей, не могу понять, по каким признакам борзая определяет, что такса — тоже собака. Мы, люди, отличаемся лишь языком да верой, а готовы проглотить друг друга. Ну вот, значит, Барина эта прижила с немецким волкодавом девятерых щенят, и теперь, развалясь подле них, вертела хвостом и блаженно улыбалась.

— Вы только подумайте, — без умолку трещала служанка, — как она ими гордится, как она ими хвастает, стерва! Оно и понятно — мамаша.

Пан Бартошек задумался и спрашивает:

— Мамаша, говорите? И что же, все матери так себя ведут?

— Еще бы! — громко удивилась служанка. — Попробуйте похвалите при какой-никакой маме ее ребенка!

— Любопытно! — буркнул пан Бартошек. — Погодите, я попробую.

Дня через два все мамаши Большой Праги были прямо вне себя от восторга. Стоило им выйти на улицу с колясочкой или с младенцем на руках, как возле них появлялся полицейский в полном параде, либо этакий, знаете ли, обходительный господин в черном котелке; он улыбался их восхитительной деточке и щекотал ее под подбородочком.

— Какое замечательное дитё! — восхищался он. — Сколько же ему?

Словом, для всех мамаш это был самый настоящий радостный праздник.

И уже в одиннадцать утра один из агентов привел к комиссару Бартошеку бледную, дрожащую женщину.

— Это она, пан комиссар, — доложил он Бартошеку, — я встретил ее, когда она прогуливалась с колясочкой, но стоило мне произнести: «Ай-яй-яй, какое у вас замечательное дитё, сколько же ему?» — эта женщина зло стрельнула на меня взглядом и задернула занавесочки. Ну вот я и предложил ей, пойдем, дескать, со мной, только без шума!

— Бегите за пани Ландовой, — приказал комиссар. — А вы, мамзель, объясните, Христа ради, на кой ляд вам понадобился краденый ребенок?

Мамзель недолго отпиралась, ибо тут же запуталась. Это была незамужняя девица, и от какого-то господина родила она девочку. Последние два дня девочка что-то недомогала, у нее болел животик, две ночи подряд она кричала. На третью ночь мать взяла ее к себе, дала грудь да и уснула; а когда проснулась, ребенок уже лежал мертвый. Право, не знаю, возможно ли это, — заметил пан Кратохвил с некоторым сомнением.

— Почему же нет, — вмешался в разговор доктор Витасек. — Во-первых, мать два дня почти не спала; во-вторых, ребенок, скорее всего, перенес катар и несколько дней не брал грудь. От этого грудь была слишком тяжелой; мать задремала и придавила девочку, вот она и задохнулась. Разумеется, так вполне могло получиться. Ну а дальше что?

— Ну, значит, так оно и было, — продолжал прерванный рассказ пан Кратохвил. — Когда эта женщина уви-

дела, что ребенок мертв, она пошла об этом заявить в церковь, да по дороге увидела колясочку пани Ландовой я передумала: ей пришло в голову, что и за чужое дите этот господин будет платить ей алименты, как и прежде. А еще, говорят, — добавил пан Кратохвил, смутившись, и густо покраснел, — у нее страшно болела грудь от избытка молока.

Пан Витасек кивнул, подтверждая.

— Это тоже верно.

— Знаете ли, — оправдывался пан Кратохвил, — я в таких делах не разбираюсь. Так вот, украла она колясочку пани Ландовой, бросила ее в подъезде чужого дома, а Руженку отнесла к себе вместо своей Зденочки. По-видимому, странная это была женщина, с заскоком: свою мертвую дочку она положила в холодильник, ночью, дескать, отнесу и закопаю где-нибудь, — но духу у нее на это не достало.

Между тем явилась пани Ландова.

— Ну мамаша, — говорит ей пан Бартошек, — получайте свою манюнечку.

У пани Ландовой из глаз брызнули слезы.

— Да это же не Руженка! — разрыдалась она. — На Руженке был другой чепчик!

— Черт побери! — взревел комиссар. — Да распакуйте же вы ее!

И когда младенца развязали, положив на письменный стол, пан Бартошек поднял его за ножки и обронил:

— А теперь полюбуйтесь, какие у нее на попочке ямочки!

Но пани Ландова уже упала на колени и облизывала малышку с головы до пят.

— Ах ты, моя Руженочка, — плача, восклицала она, — ах ты, моя птичка, манюнечка, крошечка, мамина доченька, золотце ты мое...

— Пожалуйста, пани Ландова, — попросил ее недовольный этой сценой пан Бартошек, — перестаньте сейчас же, либо я, ей-ей, сам оженюсь. А обещанные десять тысяч отдайте в фонд помощи одиноким матерям, договорились?

— Пан комиссар, — восторженно обратилась к нему пани Ландова. — Подержите немножко Руженку и благословите ее!

— А без этого — нельзя? — ворчал пан Бартошек. — Да как их берут-то? Ах, так. Но смотрите, она вот-вот расплачется. Нате-ка, забирайте ее поскорее!

Тем и закончился случай с младенцем.

Графиня

— Шальные эти бабы, — заговорил пан Полгар, — такие они иногда выкидывают фортели, просто диву даешься. История, которой я хочу вас позабавить, произошла в девятнадцатом или в двадцатом году, короче, в то время, когда наша благословенная Центральная Европа казалась пороховым погребом, когда все только и ждали — в какой еще стороне заварится каша. Шпионы у нас в те годы кишмя кишели — сейчас это и представить себе невозможно. Я занимался тогда контрабандистами и фальшивомонетчиками, но военные власти нередко просили меня снабдить и их кое-какой информацией. Вот тогда-то и произошел этот случай с графиней... ну, скажем, Мигали.

Не помню уж, когда и каким путем, но только военные получили анонимное письмо, в котором автор обращал их внимание на корреспонденцию, поступавшую в адрес В. Манесса, Цюрих, до востребования. Потом они перехватили одно из подозрительных писем; вообразите себе, это была шифровка под кодом № 11, и в ней сообщалось, что двадцать восьмой пехотный полк входит в состав пражского гарнизона, что в Миловицах — полигон и что наша армия вооружена не только ружьями, но и штыками, и тому подобные глупости. Но военные, знаете ли, в таких случаях — страшные педанты; если вы, к примеру, сообщили иностранным державам, что портянки наших пехотинцев сделаны из коленкора фирмы «Оберлендер», то предстанете за это перед дивизионным судом и схлопочете, по крайней мере, год заключения за государственную измену и шпионаж. И ничего не попишешь — на этом зиждется престиж военных властей.

Так вот, стало быть, показали мне военные чины зашифрованное письмо и анонимный донос. Видите ли, графолог я никудышный, но тут с первого взгляда было

ясно, что либо оба письма нацарапаны одной и той же рукой, либо я спятил. Хотя анонимка начертана карандашом — кстати, большинство анонимных писем пишут карандашом, — но тут прямо бросалось в глаза, что у шпиона и автора анонимки — явно одна и та же рука.

— Мой вам совет, — сказал я чинам, — не придавайте этому значения; не стоит овчинка выделки; этот агент просто какой-то любитель, дилетант, все его военные тайны каждый легко может вычитать в «Политичке».

Ну ладно. Прошло что-то около месяца, и заявляется ко мне один капитан из контрразведки, стройный такой, красивый паренек.

— Пан Полгар, — говорит он, — чудная со мной произошла история. Недавно я танцевал с одной обворожительной смуглянкой. Она графиня, по-чешски — ни слова, но танцует — восторг! А нынче я получил от нее трогательную записку. Как-то все-таки странно это...

— Радоваться тут надо, юноша, — говорю я ему, — «счастье в любви» — вот что это такое.

— Оно, конечно, пан Полгар, — сокрушенно отвечает мне капитан, — да только записка написана тем же почерком, теми же чернилами и на той же бумаге, что и шпионские донесения в Цюрих! Просто ума не приложу, что делать, представляете, каково мужчине выдать женщину, которая... гм, которая всей душой... и вообще... она дама, пан Полгар, — вырвалось у него в волнении.

— Что поделаешь, капитан, — говорю я ему, — рыцарские чувства тут ни при чем. Ваш долг — велеть арестовать эту женщину и — сообразно с важностью преступления — приговорить к смертной казни; а на вашу долю выпадает честь приказать дюжине стрелков: «Пли!» Жизнь — известное дело — полна романтики. Вот только, к сожалению, есть тут одна загвоздочка: никакого В. Манесса в Цюрихе не существует, потому как на цюрихской почте скопилось уже четырнадцать зашифрованных донесений, а его все нет как нет. Бросьте вы свои подозрения и отправляйтесь плясать с этой смуглой графиней, пока молоды!

Три дня капитан мучился угрызениями совести, аж осунулся весь, а потом все-таки доложил о случившемся по начальству. Ну, понятно, шестеро военных в машине помчались арестовать графиню Мигали и изъять ее об-

ширную переписку с иностранными агентами. У нее был обнаружен код и всевозможные опасные, так сказать, бумаги изменнического содержания. При этом графиня отказывалась давать какие-либо показания, а ее сестра, шестнадцатилетняя девчонка, уселась на стул, поджав колени под подбородком, так что все можно было лицезреть, курила сигареты, флиртовала с офицерами и хохотала как дурочка.

Прослышав, что Мигали сидит в тюрьме, я помчался к военному начальству и говорю:

— Отпустите вы, Христа ради, эту истеричку, иначе сраму не оберетесь.

А они мне:

— Пан Полгар, графиня Мигали призналась, что была завербована иностранной разведкой, а это дело серьезное.

— Да эта женщина водит вас за нос! — кричу я им.

— Пан Полгар, — строго выговаривает мне полковник, — не забывайте, что говорите о даме; графиня Мигали лгать не может.

Вот до чего эта баба окрутила солдат!

— Тысяча чертей! — орал я. — Значит, галантности ради вы отправите ее под суд? Да пошли вы к дьяволу вместе с вашими рыцарскими чувствами! Неужели вы не видите, что эта дурочка сама и нарочно навела вас на след своей изменнической деятельности?! Да ведь она, негодница, обвела вас вокруг пальца, не верьте вы ни одному ее слову!

Но начальники делали трагические мины и только пожимали плечами.

Само собой, о случившемся кричали все газеты — и у нас и за границей; аристократия со всего света была на коне и собирала выражения протеста, дипломаты предпринимали различные демарши, общественное мнение даже в далекой Англии было возмущено, но справедливость — как известно — неумолима. Словом, благородная графиня — в виду военного положения — предстала перед трибуналом.

Снова пошел я к военным чинам — на сей раз уже вооружась собственной информацией — и предложил:

— Выдайте ее мне, я сам ее накажу.

Какое! Они и слышать ни о чем не хотели. Надо признаться, суд они устроили — просто красота!

Я сидел в зале, заплаканный, как на «Даме с камелиями». Графинечка, тоненькая, словно стрела, и смуглая, что твой бедуин, признала свою вину.

— Я горжусь тем, — произнесла она, — что смогла быть полезной врагам этой страны.

Судьи чуть не разрыдались, желая и благородными быть, и долг соблюсти; но что поделаешь, изменнические письма и прочие глупости были налицо, и все же суд — принимая во внимание исключительные обстоятельства, облегчающие и отягчающие вину, — не мог не приговорить графиню Мигали к году тюремного заключения.

Такого роскошного суда, повторяю, я отродясь не видывал. После вынесения приговора графиня встала и ясным голосом произнесла:

— Господин председатель, я считаю своим долгом заявить, что в ходе следствия и во время предварительного ареста все без исключения чехословацкие офицеры по отношению ко мне держали себя как истинные джентльмены.

В этом месте я от избытка чувств разревелся чуть ли не в голос.

А теперь войдите в мое положение: когда знаешь о человеке всю подноготную, то у тебя так и чешется язык рассказать об этом, просто нет никакого удержу. По-моему, люди говорят правду не по злому умыслу и не по глупости, а вынуждаемые обстоятельствами или неодолимым правдолюбием. Так представьте себе, эта Мигали где-то в Вене познакомилась с небезызвестным майором Вестерманном и влюбилась в него. Вы, конечно, знаете, кто такой Вестерманн: удалец, сделавший геройство ремеслом; ордена на нем так и бренчат: Мария Терезия, Леопольд, Железный крест, турецкие звезды с бриллиантами и бог знает что еще... все это он нахватал во время войны; Вестерманн — главарь всевозможных противозаконных организаций, заговоров, путчей, покуда речь идет о монархистах. Вот в этого-то героя втюрилась наша графиня и, дабы стать его достойной, решилась принять терновый венец великомученицы; словом, ради роковой этой страсти она прикинулась шпионкой и сама себя выдала. На такие штучки способны только женщины.

После процесса отправился я в тюрьму, где она сидела, и велел ее позвать.

— Мадам, — говорю, — это же ведь скука смертная, целый год сидеть в тюрьме; оно неплохо бы подать апелляцию, если вы изволите признаться, как взаправду обстояло дело с этим вашим, так сказать, шпионажем.

— Мне больше не в чем признаваться, сударь, — ответствовала графиня ледяным голосом.

— Ах ты, господи боже, — буркнул я, — да выбросьте вы из головы ваши глупости; ведь майор Вестерманн пятнадцать лет как женат, у него трое детей!

Графинечка сделалась серой, словно пепел; мне не приходилось еще видеть, чтобы женщина так подурнела прямо на глазах.

— А какое это имеет ко мне отношение...

— Вам, вероятно, полезно узнать, — раскричался я, — что этот ваш майор Вестерманн, собственно, не кто иной, как Вацлав Малек, пекарь из Простейова, понятно? Взгляните-ка на старую его фотографию; ну, узнаете? Христа ради, графиня, неужто из-за этакого проходимца вы пошли под суд?!

Графиня сидела словно оцепенев, и я вдруг увидел, что передо мной — старая дева, утратившая последние иллюзии. Мне стало жаль ее и неловко за себя.

— Мадам, — торопливо как-то проговорил я, — значит, договорились; я пришлю сюда вашего адвоката, и вы ему сообщите...

Графиня Мигали выпрямилась, бледная, натянутая как тетива.

— Нет, — выдохнула она, — в этом нет надобности; мне нечего прибавить к моим показаниям.

И удалилась. А за дверью упала; нам пришлось разжимать ей пальцы — так их свело судорогой.

Я с досады кусал губы. Ну, все обнаружилось, — утешал я себя, — правда победила. Но, черт возьми, что же такое правда? Ведь все эти разоблачения и обманы, все эти мучительные истины, разрушенные иллюзии и горький опыт — это ведь лишь частица правды; а правда — она больше; правда заключается в том, что любовь — великое чувство, безумие, гордыня, страсть, тщеславие, а любая жертва — подвиг, и любящий человек величествен в своем чувстве. Вот в чем состоит другая и самая значительная доля правды; но нужно быть поэтом, чтоб уметь увидеть и выразить это.

* * *

— Совершенно справедливо, — заметил полицейский Горалек, — все зависит от того, как эту правду преподнести. В прошлом году забрали мы одного растратчика и повели взять оттиски пальцев; а парень — шмыг, выскочил из окна второго этажа — и припустился бежать.

Наш дактилоскопист хотя и пожилой, а туда же, — хоп! — выскочил за ним следом и сломал себе ногу.

Нас это вывело из себя — как всегда, когда наших обижают; изловили мы этого парня — ну и пощипали маленько.

Потом был суд, и нас призвали в качестве свидетелей; вот адвокат этого парня — обходительный да гладенький такой, словно пузырек с ядом, — и спрашивает:

— Господа, если вам неприятно — можете не отвечать на мои вопросы. Но после того, как мой клиент попытался бежать, вы ведь его избили, не правда ли?

— Пустое, — отвечаю я, — мы только проверили, не повредил ли он себе что-нибудь, выскакивая со второго этажа, а убедившись, что повреждений нет, попытались ему внушить, что этак не поступают.

— Внушали, видимо, основательно, — заметил адвокат с тонкой усмешечкой. — Полицейский врач установил, что в результате этого внушения у моего клиента переломлены три ребра, а сам он весь в синяках, особенно спина.

— Значит, он слишком близко к сердцу принял наше внушение, — парировал я, пожав плечами.

На том и кончили. Знаете ли, правда правдой, но нужно найти для нее и подходящее слово.

История дирижера Калины

— Кровоподтек или ушиб иногда болезненнее перелома, — сказал Добеш, — особенно если удар пришелся по кости. Уж я-то знаю, я старый футболист, у меня и ребро было сломано, и ключица, и палец на ноге. Нынче не играют с такой страстью, как в мое время. В прошлом году вышел я раз на поле; решили мы, старики, показать молодежи, как раньше играли. Стал я за бека, как пят-

надцать—двадцать лет назад. И вот, как раз когда я с лета брал мяч, мой же собственный голкипер двинул меня ногой в крестец, или иначе cauda eguina. В пылу игры я только выругался и забыл об этом. Только ночью началась боль! К утру я не мог пошевелиться. Такая боль, что рукой двинешь — больно, чихнешь — больно. Замечательно, как в человеческом теле все связано одно с другим. Лежу я на спине, словно дохлый жук, даже на бок повернуться, даже пальцем ноги пошевелить не могу. Только охаю да кряхчу — так больно.

Пролежал я целый день и целую ночь, не сомкнул глаз ни на минуту. Удивительно, как бесконечно тянется время, когда не можешь сделать ни одного движения. Представляю себе, как мучительно лежать засыпанным под землей... Чтобы убить время, я складывал и умножал про себя, молился, вспоминал какие-то стихи. А ночь все не проходила.

Был, наверно, второй час ночи, как вдруг я услышал, что кто-то со всех ног мчится по улице. А за ним вдогонку человек шесть, и раздаются крики: «я тебе задам», «я тебе покажу», «ишь сволочь ты этакая», «паршивец» и тому подобное. Как раз под моими окнами они его догнали, и началась потасовка — слышно, как бьют ногами, лупят по физиономии, кряхтят, хрипят... В комнату доносятся глухие удары, словно бьют палкой по голове. И никаких криков. Черт возьми, это никуда не годится — шестеро колотят одного, словно это мешок с сеном. Хотел я встать и крикнуть им, что это свинство. Но тут же взревел от боли. Проклятие! Не могу пошевелиться! Ужасная вещь бессилие! Я скрежетал зубами и мычал от злости. Вдруг что-то со мной произошло, я вскочил с кровати, схватил палку и помчался вниз по лестнице. Выбежал на улицу — ничего не вижу. Наткнулся на какого-то парня и давай его дубасить палкой. Остальные — бежать, я этого балбеса лупцую, ах, как лупцую, никого в жизни еще так не лупцевал. Только потом я заметил, что у меня от боли текут слезы. По лестнице я подымался не меньше часа, пока добрался до постели, но зато утром мог не только двигаться, но и ходить... Просто чудо...

— Хотел бы я з н а т ь , — задумчиво добавил Д о б е ш , — кого я дубасил? Кого-нибудь из той шестерки или того, за кем они гнались? Во всяком случае, один на один — это честная драка.

— Да, беспомощность — страшная вещь, — согласился дирижер и композитор Калина, качая головой. — Я однажды это испытал. Дело было в Ливерпуле, меня туда пригласили дирижировать оркестром. Английского языка я совершенно не знаю, но мы, музыканты, всегда понимаем друг друга, особенно когда на помощь приходит дирижерская палочка. Постучишь по пульту, крикнешь что-нибудь, повращаешь глазами, взмахнешь рукой — значит, начать все сначала... Таким способом удается выразить даже самые тонкие нюансы: например, покажу руками вот так, и всякий понимает, что это мистический взлет души, избавление ее от всех тягот и житейской скорби...

Так вот, приехал я в Ливерпуль. Меня уже ждали на вокзале и отвезли в гостиницу отдохнуть. Я принял ванну, пошел осмотреть город и... заблудился.

Когда мне случается попасть в новый город, я прежде всего иду к реке. У реки человеку слышна, так сказать, оркестровка города. С одной стороны, уличный шум — барабаны и литавры, трубы, горны и медь, а с другой — река, то есть струнная группа, пианиссимо скрипок и арф. И вы слышите всю симфонию города. Но в Ливерпуле река — не знаю, как она называется, — бурая, неприглядная, и на ней шум, грохот, треск, звонки, гудки, всюду пароходы, буксиры, пакетботы, склады, верфи, краны. Я очень люблю всякие корабли, и толстопузые смолистые баржи, и красные грузовые суда, и белоснежные океанские лайнеры. «Океан, наверно, где-нибудь тут за углом», — сказал я себе и, решив, что надо на него посмотреть, зашагал вниз по реке. Иду час, иду два — вижу только сараи, склады и доки, изредка корабли, то высокие, как собор, то с тремя толстыми скошенными дымовыми трубами. Всюду пахнет рыбой, конским потом, джутом, ромом, пшеницей, углем и железом... Вы заметили, что, когда много железа, оно издает ясно ощутимый своеобразный запах?

Я брел словно во сне. Но вот стемнело, настала ночь, и я оказался один на каком-то песчаном берегу. Напротив светил маяк, вдали двигались огоньки — должно быть, там и был океан. Я сел на груду досок, охваченный сладким чувством одиночества и затерянности. Долго я слушал шелест прибоя и вздохи океана и чуть не заскулил от грусти.

Потом подошла какая-то парочка, мужчина и женщина, и, не заметив меня, уселись ко мне спиной и тихо заговорили. Понимай я по-английски, я бы, конечно, кашлянул, чтобы они знали, что их слышат. Но так как я на их языке знал только слова «отель» и «шиллинг», то остался сидеть молча.

Сперва они говорили очень staccato [1]. Потом мужчина начал тихо и медленно что-то объяснять, словно нехотя и с трудом. И вдруг сорвался и сразу все выложил. Женщина вскрикнула от ужаса и возмущенно затараторила. Но он сжал ей руку так, что она застонала, и стал сквозь зубы ее уговаривать. Это не был любовный разговор, для музыканта в этом не могло быть сомнения. Любовные темы имеют совсем другой каданс и не звучат столь сдавленно. Любовный разговор — это виолончель. А здесь был почти контрабас, игравший presto rubato [2], в одном тоне, словно мужчина все время повторял одну и ту же фразу. Мне стало не по себе: этот человек говорил что-то дурное. Женщина начала тихо плакать и несколько раз протестующе вскрикнула, словно сопротивляясь ему. Голос у нее был похож на кларнет, чуть-чуть глуховатый, видимо, она была не очень молода. Потом мужской голос заговорил резче, словно приказывая или угрожая. Женщина начала с отчаянием умолять, заикаясь от страха, как человек, которому наложили ледяной компресс. Слышно было, как у нее стучали зубы. Мужчина ворчал низким голосом, почти любовно, в басовом ключе. Женский плач перешел в отрывистое и покорное всхлипывание. Я понял, что сопротивление сломлено. Потом влюбленный бас зазвучал снова, теперь выше и отрывистей. Обдуманно, категорически он произносил фразу за фразой. Женщина лишь беспомощно всхлипывала и стонала, но это уже было не сопротивление, а безумный страх, не перед собеседником, а перед чем-то ужасным, что предстоит в будущем. Мужчина снова понизил голос и начал что-то успокоительно гудеть, но в его тоне чувствовались угрожающие интонации. Рыдания женщины перешли в покорные вздохи. Ледяным шепотом мужчина задал несколько вопросов. Ответом на них, видимо, был кивок головы, так как он больше ни на чем не настаивал.

---

[1] отрывисто (*итал.*).
[2] быстро, в свободном темпе (*итал.*).

Они встали и разошлись в разные стороны.

Я не верю в предчувствия, но верю в музыку. Слушая этот ночной разговор, я был совершенно убежден, что контрабас склонял кларнет к чему-то преступному. Я знал, кларнет вернется домой и безвольно сделает все, что велел контрабас. Я все это слышал, а слышать — это больше, чем понимать слова. Я знал, что готовится преступление, и даже знал какое. Это было понятно из того, что слышалось в обоих голосах, тревога была в их тембре, в кадансе, в ритме, в паузах, в цезурах... Музыка — точная вещь, точнее речи! Кларнет был слишком простодушен, чтобы совершить что-нибудь самому. Он будет лишь помогать: даст ключ или откроет дверь. Тот грубый, низкий бас совершит задуманное, а кларнет будет в это время задыхаться от ужаса. Не сомневаясь, что готовится злодеяние, я поспешил в город. Надо что-то предпринять, надо помешать этому! Ужасная вещь — сознавать, что ты запаздываешь, когда творится такое...

Наконец я увидел на углу полисмена. Запыхавшись, подбегаю к нему.

— Мистер, — кричу я, — здесь, в городе, замышляется убийство!

Полисмен пожал плечами и произнес что-то непонятное. «О, господи, — вспомнил я, — ведь он меня не понимает».

— Убийство! — кричу я ему, словно глухому. — Понимаете? Хотят убить какую-то одинокую леди. Ее служанка или экономка — сообщница убийцы. Черт побери, сделайте же что-нибудь!

Полисмен только покачал головой и сказал по-английски что-то вроде «да, да».

— Мистер, — твердил я возмущенно, содрогаясь от бешенства и страха, — эта несчастная женщина откроет дверь своему любовнику, головой за это ручаюсь. Надо *действовать,* надо найти ее!

Тут я сообразил, что даже не знаю, как она выглядит. А если бы и знал, то не сумел бы объяснить.

— О, господи! — воскликнул я. — Но ведь это немыслимо — ничего не сделать!

Полисмен внимательно глядел на меня и, казалось, хотел успокоить. Я схватился за голову.

— Глупец! — воскликнул я в отчаянии. — Ну, так я сам ее найду.

Конечно, это было нелепо, но, зная, что дело идет о человеческой жизни, я *не мог* сидеть сложа руки. Всю ночь я бегал по Ливерпулю в поисках дома, в который лезет грабитель. Удивительный это был город, такой мертвый и страшный ночью... К утру я сидел на обочине тротуара и стонал от усталости. Полисмен нашел меня там и отвел в гостиницу.

Не помню, как я дирижировал в то утро на репетиции. Но наконец отшвырнул палочку и выбежал на улицу. Мальчишки продавали вечерние газеты. Я купил одну и увидел крупный заголовок: «Murder», а под ним фотографию седовласой леди. По моему, «murder» значит поанглийски «убийство»...

Смерть барона Гандары

— Ну, сыщики в Ливерпуле, наверное, поймали этого убийцу, — заметил Меншик. — Ведь это был профессионал, а их обычно ловят. Полиция в таких случаях просто забирает всех известных ей рецидивистов и требует с каждого: а ну-ка, докажи свое алиби. Если алиби нет, стало быть, ты и есть преступник. Полиция не любит иметь дело с неизвестными величинами преступного мира, она, если можно так выразиться, стремится привести их к общему знаменателю. Когда человек попадается ей в руки, она его сфотографирует, измерит, снимет отпечатки пальцев, — и, готово дело, он уже на примете. С той поры сыщики с доверием обращаются к нему, как только что-нибудь стрясется, приходят по старой памяти, как ходят к своему парикмахеру или в табачную лавочку. Хуже, если преступление совершил новичок или любитель вроде вас или меня. Тогда полицейским труднее его сцапать.

У меня в полиции есть один родственник, дядя моей жены, следователь по уголовным делам Питр. Так вот, этот дядюшка Питр утверждает, что грабеж — обычно дело рук профессионала, в убийстве, скорее всего, бывает повинен кто-нибудь из родных. У него, знаете ли, на этот счет очень устойчивые взгляды. Он, например, утверждает, что убийца редко нападает на незнакомого; мол,

убить постороннего не так-то просто. Среди знакомых легче найдется повод для убийства, а в семье и подавно. Когда дядюшке поручают расследовать убийство, он обычно прикидывает, для кого совершить это всего проще, и берется прямо за такого человека. «Знаешь, Меншик, — говорит он, — воображения и сообразительности у меня ни на грош, у нас в полиции всякий скажет, что Питр — отъявленный тупица. Я, понимаешь ли, так же недалек, как и убийца; все, что я способен придумать, так же тупо, обыденно и заурядно, как его побуждения, замыслы и поступки. Вот почему в большинстве случаев мне удается его поймать».

Не знаю, помнит ли кто из вас дело об убийстве иностранца, барона Гандары. Загадочный такой был авантюрист, красивый, как Люцифер, смуглый, волосы цвета вороньего крыла. Жил он в особняке у Гребовки. Что иной раз там творилось, описать невозможно! И вот однажды, на рассвете, в этом особняке хлопнули два револьверных выстрела, послышался какой-то шум, а потом барона нашли в саду мертвым. Бумажник его исчез, но никаких следов преступник не оставил. В общем, крайне загадочный случай. Поручили его моему дяде, Питру, который в это время как раз не был занят. Начальник ему сказал как бы между прочим:

— Это дело не в вашем обычном стиле, коллега, но постарайтесь доказать, что вам еще рано на пенсию...

Дядя Питр пробормотал, что постарается, и отправился на место преступления. Там он, разумеется, ничего не обнаружил, выругал сыщиков, вернулся обратно на службу, сел за стол и закурил свою трубку. Тот, кто увидел бы его в облаках вонючего дыма, решил бы, конечно, что он сосредоточенно обдумывает порученное ему дело. И непременно ошибся бы, — дядюшка Питр никогда ничего не обдумывал, потому что принципиально отвергал всякие размышления. «Убийца тоже не размышляет, — говорил он. — Ему или взбредет в голову, или не взбредет».

Остальные полицейские следователи жалели дядюшку Питра. «Не для него это дело, — говорили они, — жаль, пропадает такой интересный случай. Питр может раскрыть убийство старушки, которую пристукнул племянник или кавалер ее служанки».

Один коллега, полицейский комиссар Мейзлик, заглянул к дядюшке Питру словно бы ненароком, сел на краешек стула и говорит:

— Так как, господин следователь, что нового с этим Гандарой?

— Вероятно, у него был племянник, — заметил дядюшка Питр.

— Господин следователь, — сказал Мейзлик, желая помочь ему. — Это совсем не тот случай. Я вам скажу, в чем тут дело. Барон Гандара был крупный международный шпион. Кто знает, чьи интересы замешаны в этом деле... У меня из головы не выходит его бумажник. На вашем месте я постарался бы выяснить...

Дядюшка Питр покачал головой.

— У каждого свои методы, коллега, — сказал он. — По-моему, прежде всего надо выяснить, не было ли у убитого родственников, которые могут рассчитывать на наследство...

— Во-вторых, — продолжал Мейзлик, — нам известно, что барон Гандара был азартный карточный игрок. Вы, господин следователь, не бываете в обществе, играете только в домино у Меншика, у вас нет знакомых, сведущих в таких делах. Если вам угодно, я наведу справки, кто играл с Гандарой в последние дни... Понимаете, здесь мог иметь место так называемый долг чести...

Дядюшка Питр поморщился.

— Все это не для меня, — сказал он. — Я никогда не работал в высшем свете и на старости лет не стану с ним связываться. Не говорите мне о долге чести, таких случаев в моей практике не было. Если это не убийство по семейным обстоятельствам, так, стало быть, убийство с целью грабежа, а его мог совершить только кто-нибудь из домашних, так всегда бывает. Может быть, у кухарки есть племянник.

— А может быть, убийца — шофер Гандары, — сказал Мейзлик, чтобы поддразнить дядюшку.

Дядюшка Питр покачал головой.

— Шофер? — возразил он. — В мое время этого не случалось. Не припомню, чтобы шофер совершил убийство с целью грабежа. Шоферы пьянствуют и воруют хозяйский бензин. Но убивать?.. Я не знаю такого случая. Молодой человек, я придерживаюсь своего опыта. Поживите-ка с мое...

Мейзлик был как на иголках.

— Господин следователь, — быстро сказал он, — есть еще третья возможность. У барона Гандары была связь с одной замужней дамой. Красивейшая женщина Праги! Может быть, это убийство из ревности?

— Бывает, бывает, — согласился дядюшка Питр. — Таких убийств на моей памяти было пять штук. А кто муж этой дамочки?

— Коммерсант, — ответил Мейзлик, — владелец крупнейшей фирмы.

Дядюшка Питр задумался.

— Опять ничего не получается, — сказал он. — У меня еще не было случая, чтобы крупный коммерсант когонибудь застрелил. Мошенничество — это пожалуйста. Но убийства из ревности совершаются в других кругах общества. Так-то, коллега.

— Господин следователь, — продолжал Мейзлик, — вам известно, на какие средства жил барон Гандара? Он занимался шантажом. Гандара знал ужасные вещи о... ну, о многих очень богатых людях. Стоит призадуматься над тем, кому могло быть выгодно... гм... устранить его.

— Ах, вот как! — заметил дядя Питр. — Такой случай у меня однажды был, но мы не сумели уличить убийцу и только сраму натерпелись. Нет, и не думайте, я уже раз обжегся на таком деле, в другой не хочу! Для меня достаточно обыкновенного грабежа с убийством, я не люблю сенсаций и загадочных случаев. В ваши годы я тоже мечтал раскрыть нашумевшее преступление. Честолюбие, ничего не поделаешь, молодой человек. С годами это проходит, и мы начинаем понимать: бывают только заурядные случаи...

— Барон Гандара — не заурядный случай, — возразил Мейзлик. — Я его знал: авантюрист, черный, как цыган, красивейший негодяй, какого я когда-либо видел. Загадочная фигура, демоническая личность. Шулер и самозваный барон. Послушайте, такой человек не умирает обыкновенной смертью и даже не становится жертвой заурядного убийства. Здесь что-то другое... Это крайне загадочное дело.

— Тогда нечего было и давать его мне! — недовольно проворчал дядюшка Питр. — У меня голова не так варит, чтобы разгадывать всякие тайны. Плевать мне на зага-

дочные дела. Я люблю заурядные, примитивные, вроде убийства лавочницы. Переучиваться мне уже поздно, молодой человек. Раз это дело поручили мне, я его отработаю по-своему, из него выйдет обычное убийство с целью грабежа. Если бы оно досталось вам, вы бы сделали из него уголовную сенсацию, любовную историю или политическую аферу. У вас, Мейзлик, романтические наклонности, вы бы из этого случая состряпали феерическое дело. Жаль, что его не дали вам.

— Слушайте, — воскликнул Мейзлик. — Вы не станете возражать, если я... совершенно неофициально, частным образом... тоже занялся бы этим делом? Видите ли, у меня много знакомых, которым кое-что известно о Гандаре... Разумеется, вся моя информация была бы в вашем распоряжении, — поспешно добавил он. — Дело оставалось бы за вами. А?

Дядюшка Питр раздраженно фыркнул.

— Покорно благодарю, — сказал он. — Но ничего не выйдет. Вы, коллега, работаете совсем в другом стиле. У вас получится совсем не то, что у меня, наши методы несовместимы. Ну, что бы я делал с вашими шпионами, игроками, светскими дамами и всем этим избранным обществом? Нет, приятель, это не для меня. Если дело расследую я, то из него получится мой обычный, вульгарный казус... Каждый работает, как умеет.

В дверь постучали. Вошел полицейский агент.

— Господин следователь, — доложил он. — Мы выяснили, что у привратника в доме Гандары есть племянник. Парень двадцати лет, без определенных занятий, живет в Вршовицах, дом номер тысяча четыреста пятьдесят один. Он часто бывал у этого привратника. А у служанки Гандары есть любовник, солдат. Но он сейчас на маневрах.

— Вот и хорошо, — сказал дядюшка Питр. — Навестите-ка этого племянничка, сделайте у него обыск и приведите его сюда.

Через два часа в руках у Питра был бумажник Гандары, найденный под матрацем у того парня. Ночью убийцу взяли в какой-то пьяной компании, а к утру оп сознался, что застрелил Гандару, чтобы украсть бумажник, в котором было пятьдесят с лишним тысяч крон.

— Вот видишь, Меншик, — сказал мне дядюшка Питр. — Это совершенно такой же случай, как со старухой

с Кршеменцовой улицы. Ее тоже убил племянник привратника. Черт подери, подумать только, как разукрасил бы это дело Мейзлик, попадись оно ему в руки. Но у меня для этого не хватает воображения, вот оно что.

Похождения брачного афериста

— Что правда, то правда, — скромно откашлявшись, вставил сыскной агент Голуб. — Мы, полицейские, не любим из ряда вон выходящих событий и новых людей в преступном мире. Гораздо приятнее иметь дело со старым, испытанным правонарушителем. В таких случаях мы, во-первых, сразу знаем, чьих это рук дело, потому что каждый из них работает на свой лад. Во-вторых, мы знаем, где найти его, а в-третьих, он не утруждает нас запирательством, так как знает, что все равно оно не поможет. Да, господа, работать с таким человеком одно удовольствие. И в тюрьме тоже, скажу вам, профессиональные преступники пользуются доверием и благосклонностью начальства. Новички и случайные арестанты — это ворчуны и скандалисты. Все им не так... А вот опытный преступник знает, что тюрьма — это профессиональный риск, и, попадая за решетку, не портит жизнь себе и другим. Но, собственно, это к делу не относится.

Лет пять тому назад стали мы вдруг получать донесения из различных мест о неизвестном брачном аферисте. Судя по описаниям, этот аферист был пожилой полный мужчина, лысый, с пятью золотыми зубами. Он называл себя Мюллером, Прохазкой, Шимеком, Шебеком, Шиндеркой, Билеком, Громадкой, Пиводой, Бергром, Бейчеком, Сточесом и еще тысячью фамилий. Описание не подходило ни к одному из известных нам брачных аферистов; видимо, это был какой-то новый. Наш шеф вызвал меня и говорит:

— Голуб, вы занимаетесь вокзалами и поездами. Поглядывайте, не встретится ли вам где-нибудь субъект с пятью золотыми зубами.

Ладно, начал я заглядывать в рот пассажирам. За две недели я обнаружил троих с золотыми зубами и заставил

их предъявить документы. Черт возьми, оказалось, что один из них — школьный инспектор, а другой даже член парламента. Знали бы вы, как они честили меня и как мне попало у нас, в полиции! Тут я озлился и твердо решил, что доберусь до этого типа. Хоть его аферы не по моей специальности, но мне хотелось отплатить ему за неприятности, которые я из-за него претерпел.

Частным порядком я навестил обманутых вдов и сирот, у которых выманил деньги этот жулик с золотыми зубами, обещая жениться. Вы себе представить не можете, как плакали и жаловались эти многострадальные сироты и вдовы! Но все они сходились на том, что обманщик был интеллигентный и представительный господин с золотыми зубами. Он так красиво и проникновенно расписывал прелести семейной жизни! Слушали они его охотно, но ни одна не сняла отпечатков пальцев... До чего легковерны женщины! Одиннадцатая жертва — это было в Каменице — сквозь слезы рассказала мне, что этот субъект был у нее три раза. Он всегда приезжал поездом в половине одиннадцатого утра и, когда в последний раз уходил с ее сбережениями в кармане, взглянул на номер дома и с удивлением сказал:

— Смотрите-ка, Марженка, сама судьба указывает, что мы должны пожениться: номер вашего дома шестьсот восемнадцать, а я всегда выезжаю к вам поездом в шесть восемнадцать. Не доброе ли это знамение?

Услышав такие слова, я сказал: «Ей-богу, это знамение!» И тотчас вытащил из кармана расписание поездов. Из него я без труда выяснил, с какой станции можно выехать в шесть часов восемнадцать минут, чтобы пересесть на поезд, прибывающий в Каменице в десять часов тридцать пять минут. Тщательно все проверив, я убедился, что это станция Быстршице-Нововес. Железнодорожный сыщик, знаете ли, должен хорошо ориентироваться в таких вещах.

В первый же свободный день я поехал в Быстршице и спрашиваю там, на вокзале, не ездит ли оттуда толстый господин с золотыми зубами. «Ездит, — говорит мне начальник станции, — и довольно часто. — Это коммивояжер Лацина, что живет вон там, в домике на нижней улице. Вчера вечером он как раз откуда-то приехал».

Пошел я к этому Лацине. В сенях встречаю маленькую аккуратненькую хозяйку, спрашиваю ее: «Здесь живет

господин Лацина?» — «Это, говорит, мой муж, он сейчас спит после обеда». — «Неважно», — говорю я и иду в комнаты. На диване лежит человек без пиджака; увидев меня, он восклицает: «Батюшки мои, господин Голуб! Мамочка, подай ему стул».

Тут у меня вся злость прошла — это был мой старый знакомый, аферист Плихта, специалист по лотерейным билетам. За ним числилось не меньше десяти отсидок.

— Здорово, Винценц, — говорю я. — Ты что, бросил уже лотереи?

— Бросил, — говорит Плихта, садясь на диване. — В таком деле вечно надо быть на ногах, а я уже не мальчик. Пятьдесят два года. Хочется отдохнуть. Без конца шататься по домам — это уже не для меня.

— Поэтому ты и взялся за брачные аферы, старый мошенник?

Плихта вздохнул:

— Господин Голуб, надо же человеку чем-то жить. Видите ли, когда я в последний раз сидел в кутузке, у меня испортились зубы. Я думаю, это от чечевичной похлебки. Пришлось вставить золотые. Вы себе представить не можете, какое доверие вызывает человек с золотыми зубами. Кроме того, у меня улучшилось пищеварение, и я пополнел. С такими данными волей-неволей пришлось взяться за брачные дела.

— А где деньги? — прервал я. — У меня в блокноте записаны все твои аферы — их одиннадцать, на общую сумму двести шестнадцать тысяч крон. Где они?

— Ах, господин Голуб, — отвечает Плихта. — Здесь все имущество принадлежит жене. Дело есть дело. Мое только то, что при мне — шестьсот пятьдесят крои, золотые часы и золотые зубы. Мамочка, я поеду с господином Голубом в Прагу... Но зубы я вставил в рассрочку и должен еще заплатить за них триста крон. Эту сумму я себе оставлю.

— А сто пятьдесят крон ты должен портному, — напомнила мамочка.

— Правильно! — сказал Плихта. — Господин Голуб, я превыше всего ставлю порядочность и аккуратность. Порядочность необходима при каждой сделке. Эти качества всегда написаны у человека на лице. Верно? У кого нет долгов, тот смело глядит всем в глаза. Без этого нельзя вести дела. Мамочка, обмахни щеткой мое пальто,

чтобы я не осрамил тебя в Праге... Так поехали, господин Голуб?

Плихте дали всего пять месяцев, потому что почти все женщины заявили на суде, что давали ему деньги добровольно и что прощают его. Только одна не захотела простить — богатая вдова, которую он накрыл всего на пять тысяч.

Через полгода я снова услышал о двух брачных аферах. Опять Плихта, подумал я, но не стал заниматься этим делом. В это время пришлось мне поехать на вокзал в Пардубице, там как раз орудовал один «багажник», — знаете, вор, что крадет чемоданы на перроне. Недалеко от Пардубице жила на даче моя семья. Я взял для детей в чемоданчик сарделек и копченой колбасы — в деревне, видите ли, это редкость. По привычке я прошел через весь поезд. Гляжу — в одном купе сидит Плихта и обольщает немолодую даму разговорами о нынешнем падении нравов.

— Винценц! — говорю я. — Опять небось обещаешь жениться?

Плихта покраснел и, торопливо объяснив спутнице, что ему нужно поговорить со мной по торговому делу, вышел в коридор и сказал мне с укором:

— Господин Голуб, зачем же так при посторонних! Достаточно кивка, и я сразу выйду к вам. По какому делу вы хотите меня притянуть?

— Опять нам заявили о двух брачных аферах, — говорю я. — Но я сейчас занят, так что сдам тебя полицейскому посту в Пардубице.

— Пожалуйста, не делайте этого, господин Голуб. Я привык к вам, да и вы меня знаете. Уж лучше я пойду с вами. Прошу вас, господин Голуб, ради старого знакомства.

— Никак не выходит, — говорю я. — Я должен заехать к своим, это в часе езды отсюда. Куда же мне девать тебя на это время?

— А я с вами поеду, господин Голуб. По крайней мере, вам не будет скучно.

И он поехал со мной. Когда мы вышли за город, он говорит:

— Дайте-ка ваш чемоданчик, господин Голуб, я его понесу. И знаете что: я пожилой человек. Когда вы на людях говорите мне «ты», странное это производит впечатление.

Ну, я представил его жене и свояченице как старого знакомого. Так слушайте же, что вышло. Свояченице моей двадцать пять лет, она очень недурна собой. Плихта с ней мило так и солидно побеседовал, а детям дал по конфетке. После кофе он предложил погулять с барышней и детьми и подмигнул мне: мол, мы, мужчины, понимаем друг друга, у вас с женой есть о чем поговорить. Вот какой это был деликатный человек!

Когда они через час вернулись, дети держали Плихту за руки, свояченица раскраснелась, как пион, и на прощание долго жала ему руку.

— Слушай, Плихта, — сказал я, когда мы вышли из дому. — С чего это тебе вздумалось кружить голову нашей Маничке?

— Привычка, — ответил Плихта немного грустно. — Господин Голуб, я тут ни при чем, все дело в золотых зубах. Мне от них одни неприятности, честное слово. Я женщинам никогда не говорю о любви, в моем возрасте это не подобает. Но именно поэтому они и клюют. Иногда мне думается, что у них нет настоящих чувств, а одна лишь корысть, потому что у меня внешность обеспеченного человека.

Когда мы пришли на вокзал в Пардубице, я говорю ему:

— Ну, Плихта, придется все-таки сдать тебя здешней полиции. Мне тут нужно заняться расследованием одной кражи.

— Господин Голуб, — стал он упрашивать, — оставьте меня пока на вокзале, в ресторане. Я закажу чай и почитаю газеты. Вот вам все мои деньги, четырнадцать тысяч с лишним. Без денег я не убегу, мне нечем расплатиться с кельнером.

Оставил я его в ресторане, а сам пошел по делам. Через час заглядываю в окно: сидит на том же месте, нацепив золотое пенсне, и читает газеты. Еще через полчаса я покончил с делами и захожу за ним. Вижу, он уже за соседним столиком, в обществе какой-то обрюзгшей блондинки, с достоинством отчитывает кельнера за то, что тот подал ей кофе с пенками. Увидев меня, он распрощался с дамочкой и подошел ко мне.

— Господин Голуб, не могли бы вы забрать меня через недельку? Как раз работа подвернулась.

— Очень богатая дама? — спрашиваю я.

Плихта даже рукой махнул.

— У нее фабрика, — прошептал он. — И ей нужен опытный человек, который мог бы помочь ей советом. Сейчас она как раз собирается купить новое оборудование.

— Ага, — говорю я, — так пойдем, я тебя представлю.

И подхожу к этой дамочке.

— Здорово, — говорю, — Лойзичка! Все еще ловишь пожилых мужчин?

Блондинка покраснела до корней волос и говорит:

— Батюшки мои, господин Голуб, я не знала, что это ваш знакомый.

— Ну, так убирайся подобру-поздорову. Господин советник юстиции Дундр давно интересуется тобой. Он, видишь ли, называет твои проделки мошенничеством.

Плихта был просто убит горем.

— Господин Голуб, — говорит он, — никогда бы не подумал, что эта дамочка тоже аферистка.

— Да, — отвечаю, — да еще и легкого поведения. Представь себе: она выманивает деньги у пожилых мужчин, обещая выйти за них замуж.

Плихта даже побледнел.

— Какая низость! — воскликнул он. — Можно ли после этого верить женщинам?! Господин Голуб, это уж переходит всякие границы!

— Ладно, — говорю, — подожди меня здесь, я куплю тебе билет в Прагу. Какой тебе класс, второй или третий?

— Господин Голуб, — возразил Плихта, — зачем же бросать деньги на ветер? Я, как арестованный, имею право на бесплатный проезд. Уж вы меня отвезите на казенный счет. Нашему брату приходится беречь каждую копейку.

Всю дорогу Плихта честил эту дамочку. Я никогда не видел такого глубокого и благородного негодования. В Праге, когда мы вышли из вагона, Плихта говорит:

— Господин Голуб, я знаю, что на этот раз получу семь месяцев. А я, видите ли, очень недолюбливаю тюремную кормежку. Мне бы хотелось в последний раз прилично поесть. Четырнадцать тысяч, что вы у меня взяли, это весь мой доход от последнего дела. Могу я позволить себе хотя бы поужинать? Кроме того, мне хотелось бы отблагодарить вас за гостеприимство.

Мы вместе пошли в один из лучших трактиров. Шихта заказал себе ростбиф и выпил пять кружек пива, а я заплатил из его кошелька, после того как он трижды проверил, не обманул ли нас кельнер.

— Ну, а теперь в полицию, — говорю я.

— Одну минуточку, господин Голуб, — говорит он. — В последнем деле у меня были большие накладные расходы. Четыре поездки туда и обратно по сорока восьми крон за билет — триста восемьдесят четыре кроны. — Он нацепил пенсне и подсчитал на клочке бумаги. — Потом питание примерно по тридцать крон в день... я должен хорошо питаться, господин Голуб, это тоже издержки гешефта... итого сто двадцать крон. Букет, что я преподнес барышне, стоит тридцать пять крон, это долг вежливости. Обручальное кольцо — двести сорок крон, оно было позолоченное, господин Голуб. Не будь я порядочный человек, я бы сказал, что оно золотое, и посчитал бы за него шестьсот крон. Кроме того, я купил ей торт за тридцать крон. Далее, пять писем, по кроне на марку, и объявление в газете, по которому я с ней познакомился, восемнадцать крон. Общий итог, стало быть, восемьсот тридцать две кроны. Эту сумму вы, пожалуйста вычтите из отобранных у меня денег. Я эти восемьсот тридцать две кроны пока оставлю у вас. Я люблю порядок, господин Голуб, накладные расходы должны быть покрыты. Ну вот, а теперь пошли.

Уже в коридоре полицейского управления Плихта вспомнил еще один расход.

— Господин Голуб, я этой барышне подарил флакон духов. Заприходуйте мне, пожалуйста, еще двадцать крон.

Затем он тщательно высморкался и безмятежно проследовал в кутузку.

Баллада о Юрае Чупе

— Такое и впрямь бывает, — заметил жандармский капитан Гавелка, — то есть порой встречаешь у преступников этакую особую совестливость. Я много чего мог бы порассказать на сей счет, но, пожалуй, самое удиви-

тельное — это случай с Юраем Чупом. Произошел он, когда я служил в Подкарпатье, в Ясине.

Как-то январской ночью надрались мы у еврея в корчме. Пили окружной начальник, какой-то железнодорожный инспектор и прочая чистая публика. Ну и, конечно, цыгане. А знаете, что за народ эти цыгане? Хамово отродье, ей-ей. Начинают играть «на ушко», все ближе, все теснее обступают тебя, крысы проклятые, все тише водят смычком, и так зачаровывают слух, что разве лишь душу из тела не вынимают; по-моему, вся эта их музыка — одно распутство, страшное и непостижимое. Так вот, прилипли они ко мне, я и очумел, я ревел как олень, раскроил штыком стол, колотил стаканы, горланил песни, бился головой об стену и готов был не то убить кого, не то влюбиться — не пойму: когда цыгане околдуют тебя вконец, тут уж, голубчики, такое вытворять начнешь... Помню, меня уже совсем развезло, и тут подступил ко мне еврей шинкарь да и говорит, что за дверью, перед трактиром, меня ждет какой-то руснячок.

— Пусть себе ждет или приходит завтра! — заорал я. — Нынче не до него — нынче я хороню свою молодость и оплакиваю свои надежды; я без памяти люблю одну женщину, прекрасную и неприступную — играй же, разбойник цыган, развей мою грусть...

Словом, нес я всякую околесицу — видно, с музыкой всегда так — впадаешь в душевную тоску и жаждешь только напиться. Прошло еще какое-то время, и снова ко мне подошел шинкарь со словами, что русин на улице все еще ждет меня. Но я все еще не оплакал своей молодости и не утопил в самородном вине своей печали; я только махнул рукой, словно Чингисхан какой, — дескать, все едино, лишь бы цыгане играли; что было дальше — уж и не припомню, но когда под утро я выбрался из корчмы, на улице стоял трескучий мороз, снег под ногами звенел как стекло, а перед кабаком маячил русин в белых лаптях, белых гатях и белом овчинном тулупе. Завидев меня, он низко поклонился и что-то прохрипел.

— Чего тебе, братец? — говорю. — Будешь задерживать, получишь в зубы.

— Ясновельможный пан, — отвечает русин, — послал меня сюда староста Воловой Леготы. Там Марину Матейову убили.

Я малость протрезвел; Волова Легота — это село или, скажем, горный хутор о тринадцати хатах, километрах в тридцати от нас; словом, в зимнюю пору пройтись оттуда — изрядное удовольствие.

— Господи! — воскликнул я, — да кто же ее убил-то?

— Я и убил, ясновельможный пан, — покорно признался русин. — Юрай Чуп меня прозывают, Димитра Чупа сын.

— И сам идешь на себя доносить? — напустился я на него.

— Староста велел, — смиренно произнес Юрай Чуп. — Юрай, наказал, иди заяви жандарму, что убил Марину Матейову.

— А за что ты ее убил? — заорал я.

— Бог повелел, — объяснил Юрай, как будто это разумелось само собой. — Бог повелел — убей Марину Матейову, родную сестру, одержимую бесом.

— Паралич тебя расшиби, — выругался я, — да как же ты из своей Воловой Леготы добрался?

— С божей помощью, — благочестиво ответствовал Юрай Чуп. — Господь меня хранил, чтоб я в снегу не сгинул. Да святится имя его!

Если бы вы только знали, что такое метель в Карпатах, если бы могли представить себе двухметровые сугробы — тогда бы вы поняли, каково это хилому, тщедушному человечку шесть часов проторчать перед корчмой на страшном морозе, чтобы сообщить, что он, Юрай Чуп, убил недостойную рабу божью Марину Матейову. Не знаю, что вы сделали бы на моем месте, но я осенил себя крестом; перекрестился и Юрай, а потом я его арестовал; умылся снегом, надел лыжи, и мы с одним жандармом, по фамилии Кроупа, помчали вверх, в горы, в Волову Леготу. И если бы сам жандармский полковник остановил меня увещеванием: «Гавелка, дурья башка, никуда ты не поедешь, ведь в таком снегу не трудно и жизни лишиться», — я бы отдал честь и ответил: «Осмелюсь доложить, господин полковник, на то воля господня». И поехал бы дальше. И Кроупа тоже поехал бы, потому как родился оп в районе Жижкова, а я еще не встречал жижковца, упустившего случай, хвастовства ради, побывать там, где пахнет приключением либо глупостью. Словом, поехали.

Не буду описывать наш путь; скажу только, что под конец Кроупа от страха и усталости рыдал, словно малое дитя, и раз двадцать у нас появлялась мысль: дескать, дело — труба, нам отсюда не выбраться; короче, тридцать километров мы шли одиннадцать часов, от темна дотемна; я говорю об этом просто для того, чтоб вы вообразили себе, каково нам пришлось. Жандарм — что конь: если уж он тычется лицом в снег и хнычет, дальше, мол, нет сил идти, то дело дрянь, хуже не бывает. Я двигался словно во сне и твердил одно: «Этот путь преодолел Юрай Чуп, человечек худенький, как щепа, а он еще шесть часов простоял на морозе, потому как выполнял наказ старосты; Юрай Чуп с мокрыми лаптями на ногах, Юрай Чуп, застигнутый снежной метелью; Юрай Чуп, не оставленный промыслом божьим. Послушайте, если бы вы увидели, что камень катится вверх, а не вниз, то наверняка решили бы, что это — чудо; но никто не сочтет чудом крестный путь Юрая Чупа, который шел донести на самого себя; а ведь это было куда более веское доказательство некоей могущественной силы, чем камень, катящийся по горе вверх. Погодите, не прерывайте меня... так вот, коли кому охота видеть чудо, надо смотреть на людей, а не на каменья.

Когда мы добрались до Воловой Леготы, то больше походили на призраков и не знали, на каком мы свете. Стучимся к старосте; все спят, потом староста вылез с ружьем в руках, бородатый такой великан. Увидел, кто мы, стал на колени и принялся снимать с нас лыжи, храня полное молчание. Когда я теперь вспоминаю об этом, все мне представляется дивным видением, торжественным и простым; ни слова не говоря, староста повел нас к одной из хат; в горнице горели две свечи; перед образом молилась женщина, вся в черном; на постели — в белой рубахе лежала мертвая Марина Матейова, шея у нее была располосована чуть ли не до позвонков; страшная и притом удивительно чистая рана, словно мясник разделывал порося; и лицо было нечеловечески белое, такими лица бывают, когда кровь вытекла вся до последней капли.

Потом — также в полном безмолвии — староста повел нас к себе; но в его избу уже набилось одиннадцать мужиков в кожухах — не знаю, помните ли вы, как воняют эти кожухи из овчин: как-то щемяще и ветхозаветно.

Староста усадил нас за стол, откашлялся, поклонился и сказал:

— Во имя господа нашего печалуемся о кончине рабы божьей Марины Матейовой. Да смилуется над ней господь.

— Аминь, — произнесли одиннадцать мужиков и перекрестились.

А староста продолжал:

— Два дня назад ночью слышу я: у порога тихонько скребется кто-то. Думал, лисица, взял ружье и пошел к двери. Отворил, а на пороге — женщина. Поднял ее, а голова-то у нее назад и запрокинулась. Это была Марина Матейова с перерезанной глоткой. Оттого она ничего и сказать не могла.

Староста внес Марину в избу и положил на постель; потом велел пастуху трубить и сзывать к нему всех хозяев Воловой Леготы. Когда все собрались, обратился к Марине и сказал:

— Марина Матейова, пока ты жива, дай нам свидетельство, кто тебя убил. Марина Матейова, не я ли убил тебя?

Марина не могла покачать головой, лишь глаза прикрыла.

— Марина, не был ли это сосед твой Влага, сын Василя?

Марина прикрыла свои страдальческие очи.

— Марина Матейова, а не хозяин ли Когут, по прозвищу Ванька, что стоит здесь, учинил это? Не Мартин ли Дудаш, твой сосед? Марина, не Баран ли это был, по имени Шандор? Марина, стоит тут Андрей Воробец, не он ли содеял зло? Марина, вот теперь перед тобой Климко Безухий, не он ли? И не этот ли мужик, не Штепан ли Бобот? Марина, а может, сотворил беду Татка, лесник, сын Михала Татки? Марина...

В эту минуту распахнулась дверь, и вошел Юрай Чуп, брат Марины Матейовой. Марина вздрогнула, глаза у нее полезли из орбит.

— Марина, — продолжал староста, — кто же убил тебя? Не приходил ли сюда Федор, по имени Терентик?

Но Марина уже не отвечала.

— Молитесь! — сказал Юрай Чуп, и все мужчины опустились на колени, Наконец староста поднялся и сказал:

— Впустите сюда женщин!

— Рано еще, — вмешался старый Дудаш. — Усопшая раба божия, Марина Матейова, во имя бога, дай знак: не убил ли тебя Дюро, пастух?

Наступила тишина.

— Марина Матейова, душа, представшая перед господом, не Иван ли Тот, Иванов сын, убил тебя?

У всех перехватило дыхание.

— Марина Матейова, во имя бога живого, ведь выходит, что убил тебя родной брат, Юрай Чуп?

— Я убил, — сказал Юрай Чуп. — Господь повелел мне: убей Марину, в нее вселился злой дух.

— Закройте ей глаза, — приказал староста. — А ты, Юрай, пойдешь теперь в Ясину и явишься к жандармам. Убил, скажешь, Марину Матейову. И до той поры не присядешь и крошки в рот не возьмешь. Иди, Юрай!

После этих слов староста отворил дверь и впустил в избу женщин, чтоб они оплакали покойницу.

Знаете, я до сих пор не пойму, от этих ли овчинных кожухов, от утомления ли, но в том, что я видел и слышал, было так много поразительной красоты, а может — величия! Я должен был выйти на мороз, потому что у меня закружилась голова, ей-богу, что-то росло в душе, словно долг велел мне подняться и сказать: «Люди божьи, божьи люди! Мы будем судить Юрая Чупа светским судом, но в вас живет закон божий». Я готов был поклониться им в пояс; но жандарму это делать не положено; потому я вышел вон и так долго себя костерил, пока снова не обрел свою жандармскую душу.

Знаете, жандармская служба — ремесло грубое. Утром нашел я в халупе Юрая Чупа долларовые бумажки, которые покойница Марина получала от мужа из Америки. Разумеется, пришлось об этом доложить, ну, в суде и состряпали дело об убийстве с целью ограбления. Юрая приговорили к смерти через повешение. Но лично меня никто не убедит, что тот свой крестный путь он проделал лишь своей волей. Мне хорошо известно, что в силах человеческих, а что выше человеческих сил. И, думаю, теперь я немножко представляю себе, что такое суд божий.

Рассказ об утерянной ноге

— Иной раз не поверишь, — заметил пан Тымих, — сколько может вынести человек. Дайте-ка вспомнить, ну да, это было в войну, когда я служил в Тридцать пятом; был у нас там один солдатик, как же его звали? То ли Дында, то ли Отагал, а может, Петерка, но мы его называли Пепеком; в общем-то, славный малый, только слабый больно — хоть плачь. Ну, пока нас гоняли по плацу, он делал, что мог, хоть и страдал, бедняга, ужасно; но нас привезли на фронт, — под Краковом дело было, — и выбрали там страшно неудачную позицию, по ней прямо так и жарила русская артиллерия. Поначалу Пепек — ничего, только глазами хлопает, но как-то раз подошел оп к лошади с разорванным брюхом, — лошадь еще храпела и пыталась подняться, — то побледнел, шмякнул фуражкой оземь, допустил оскорбление его величества, положил винтовку и ранец, да и двинул в тыл.

Как он добрался до дому за пятьсот или сколько там километров, ей-богу, не могу себе представить; только однажды ночью постучал он в свой дом и говорит жене: «Мать, это я, и обратно я уже не вернусь; но если они меня найдут, то мне крышка; дезертир я». Поплакали они вместе, потом жена и говорит:

— Пепек, я от тебя не отступлюсь, спрячу тебя в навозной яме, там никто тебя искать не будет. — И вот завалила она его навозом, прикрыла досками, и просидел там Пепек пять месяцев; господа, такого не вынес бы ни один великомученик. Потом его выдала соседка в отместку за какую-то курицу; явились полицейские выгребать Пепека из навоза; так, знаете, пришлось им докупать десять метров веревки, чтобы не нюхать вони, пока они его, связанного, вели в город.

Когда, значит, вонь повыветрилась, привели Пепека в трибунал. Допрос вел тогда некто Диллингер; одни считали, что он — собака, другие — что свой парень; ах, как он умел ругаться! Знаете, это уж надо признать, — во времена Австро-Венгрии ругаться умели! Чувствовалась старая закалка. Нынче и обругать-то не умеют как следует; зато оскорбить — сколько угодно. Так вот, этот Диллингер приказал привести Пепека во двор и судил его через окно, ближе не желал подпускать. Сами

понимаете, дело Пепека было дрянь, за дезертирство в военное время полагается расстрел, тут тебе и сам господь бог не поможет. А Диллингер ни с кем долго не хороводился, все-таки он был собака. Ну-с, доходит дело до вынесения приговора, тут Диллингер возьми да крикни из окна:

— А что, Пепек, когда ты там в дерьме сидел, неужто не хаживал к своей старухе погреться?

Пепек потоптался в смущении и, густо покраснев, выдавил:

— Осмелюсь доложить, господин председатель, хаживал; как же без этого!

Тут председатель закрыл окно и вздохнул: «О, господи!» Потом он долго качал головой и бегал из угла в угол, пока не успокоился, и тогда сказал:

— Пусть меня переведут на пенсию, но я этого парня на смерть не пошлю, хотя бы уж ради его жены; тьфу, черт, вот это любовь!

И как-то свел дело к трем годам заключения.

В заключении Пепеку поручили ухаживать за садом некоего полковника Бабки. Этот Бабка вспоминал потом, что отродясь не было у него таких прекрасных крупных овощей, как в то время, когда их разводил Пепек. «Бог знает, — говорил этот начальник, — с чего это у него все так росло?!»

* * *

— Во время войны, — заметил пан Краль, — случалось множество необыкновенных историй; и если собрать все, на что люди шли — лишь бы не воевать за Австрию, то это составило бы больше фолиантов, чем «Acta Sanctorum», которые издают святые отцы — болландисты. У меня есть племянник Лойзик, в Радлицах у него хлебопекарня; когда его призвали в армию, он сказал мне: «Дядя, я вам говорю, на фронт им меня не выпереть, скорее я ногу себе отрублю, чем стану помогать немецким крысам».

Лойзик был ловкий парень; пока новобранцы упражнялись в ружейных приемах, он был готов разорваться от усердия, так что начальники видели в нем нового героя или даже будущего капрала; но когда он разнюхал, что через несколько дней их повезут на фронт, то нагнал

себе температуру, стал хвататься за правую сторону живота и жалобно стонать. Его отвезли в госпиталь и вырезали слепую кишку; а там уж Лойзик подстроил так, чтобы его рана заживала помедленнее. Но все-таки месяца через полтора она кое-как затянулась, несмотря на все его старания, а война еще не кончилась. Тогда-то я и навестил его в госпитале.

— Дядя, — говорит Лойзик, — теперь мне не поможет даже сам фельдфебель; каждую минуту жду, что меня отсюда погонят.

В то время гарнизонным врачом штаба был пресловутый Обергубер. Позднее выяснилось, что этот тип был, собственно, сумасшедший, но, знаете, армия есть армия, нацепите золотые погоны на дикую свинью, и она будет командиром. Разумеется, все дрожали перед этим Обергубером; а он знай носился по госпиталям и орал: «Марш на фронт!» — не глядя на то, что у тебя открытая форма туберкулеза или ранение позвоночника, и никто не решался ему противоречить. Обергубер даже не смотрел, что написано над койкой, так это, глянет издали да гаркнет: «Frontdiensttauglich! Sofort einrücken!» [1] И тогда уж никакие святые тебе не помогут.

И вот этот Обергубер явился инспектировать госпиталь, где Лойзик ожидал своей судьбы. Едва только внизу, в воротах еще, раздался крик — всех, кроме мертвецов, подняли и поставили «смирно!» у коек, чтобы встретить высокое лицо, как надлежит. Ожидание, однако, затянулось, и Лойзик, для удобства став на одну ногу, коленом другой уперся в койку. В этот момент влетел Обергубер, лиловый от ярости, и еще в дверях заорал:

— Марш на войну! Этого — на фронт! Tauglich! [2]

Тут он увидел Лойзика, стоявшего на одной ноге, и побагровел еще пуще.

— Einbeinig [3] — отправить домой! Какого черта держите вы этого одноногого? Или тут приют для калек? Убрать его! Негодяи, всех вас за это на фронт!

Подчиненные, побелев от ужаса, залепетали, что все будет немедленно сделано, а Обергубер уже вопил у дру-

---

[1] Годен к строевой службе! Тотчас отправить! (*нем.*)
[2] Годен! (*нем.*)
[3] Одноногий (*нем.*).

той постели, что оперированный вчера солдат должен sofort[1] на фронт.

Итак, Лойзик в тот же час, с документами, подписанными самим Обергубером, был отпущен домой как одноногий инвалид. Этот Лойзик был шибко умный парень; он немедленно подал заявление, чтобы его, пожизненного калеку, вычеркнули из списка военнообязанных и чтобы ему назначили пенсию по инвалидности, потому что, как пекарю, ему нужны обе ноги, — пусть, как говорится о пекарях, даже кривые, поскольку об одной официально признанной ноге он не может работать по специальности. После надлежащих проволочек он получил извещение, что он признан инвалидом на сорок пять процентов, вследствие чего имеет право получать ежемесячно столько-то крон пенсии. Вот отсюда-то, собственно, и начинается история о потерянной ноге.

Лойзик получал пенсию, помогал отцу в пекарне и даже женился; лишь иногда он замечал, что как бы слегка прихрамывает или припадает на ту самую ногу, которой не признал Обергубер: но это его даже радовало: похоже, будто у него протез. Потом война закончилась, и была объявлена республика; а Лойзик из-за этакой своеобразной порядочности продолжал получать пенсию.

Однажды он пришел ко мне, и видно было, что у него какие-то неприятности.

— Дядя, — не сразу выговорил он, — сдается мне, что нога-то вроде как укорачивается и сохнет. — Он засучил штанину и показал ногу; она стала тонкая, как палка. — Боюсь, дядя, — говорит Лойзик, — как бы мне все-таки эту ногу не потерять.

— Да ты сходи к врачу, шляпа! — посоветовал я.

— Дядя, — вздохнул Лойзик, — сдается мне, не болезнь это; может, все это просто оттого, что ногу-то мне не положено иметь. Ведь черным по белому написано, что правая нога у меня отнята по колено, — как думаете, не оттого ли она так сохнет?

Спустя некоторое время он пришел ко мне снова, и уже опираясь на палку.

— Дядя, — в страхе говорит он, — я калека; я уже и встать на эту ногу не могу. Врач говорит, это атрофия

[1] тотчас (*нем.*).

мышц, и, скорее всего, от нервов. Посылает меня на воды, а мне кажется, он и сам в это не верит. Потрогайте, дядя, нога-то холодная, словно мертвая. Врач говорит, это от плохого кровообращения, — как думаете, а вдруг она у меня сгниет?

— Послушай, Лойза, я дам тебе один совет: заяви про свою ногу официально, пусть вычеркнут, что ты одноногий. Может, тогда твоя нога выправится?

— Но, дядя, — возразил Лойзик, — тогда скажут, что я незаконно получал пенсию и ограбил казну на безбожную сумму. Ведь меня заставят вернуть все!

— Что ж, держись за свои деньги, скряга несчастный, — говорю я ему, — а с ногой распростись, только потом не ходи ко мне плакаться.

Через неделю он явился снова.

— Дядя! — еще с порога заныл он, — эти чинуши не хотят признавать мою ногу! Говорят: все равно она сухая и ни к чему не годная, — что мне с ними делать?

Вы не поверите, сколько пришлось ему побегать, пока официально признали, что у него обе ноги! Разумеется, потом Лойзика еще таскали за обман государства, собирались даже обвинить в уклонении от воинской повинности, и намотался же бедняга по канцеляриям! Зато нога у него начала крепнуть. И крепла, быть может, она как раз от этой самой беготни; только я лично думаю, это произошло скорее оттого, что ее признали официально; все-таки великая сила официальная бумажка! А пожалуй, нога усыхала у него потому, что владел он ею, собственно, незаконно; дело-то было нечисто, а это всегда за себя мстит. Скажу вам, друзья, чистая совесть — вот лучшая гигиена, и если бы люди жили по справедливости, то, может, и не умирали бы...

Головокружение

— Совесть! — воскликнул пан Лацина. — Нынче это называют уже не так. Теперь это называется «подавленными представлениями», но это что в лоб, что по лбу. Не знаю, слыхал ли кто из вас о случае с фабрикантом

Гирке. Это был очень богатый и важный господин, рослый и крепкий, как дуб; рассказывали, что он вдов, а больше никто ничего о нем не знал — такая уж это была замкнутая натура. Так вот, когда ему перевалило за сорок, он влюбился в хорошенькую молоденькую куколку, всего семнадцати лет, но такую красавицу, что дух захватывало; ведь от подлинной красоты почему-то сжимается сердце, и то ли жалко становится чего-то, то ли великая нежность просыпается в душе, или еще там что-то... Вот на этой девушке и женился Гирке — ведь он был великий, богатый Гирке.

Провести медовый месяц они поехали в Италию, и там случилось вот что: поднялись они в Венеции на знаменитую колокольню и, когда Гирке глянул вниз — а говорят, вид оттуда прекрасный, — то побледнел и, повернувшись к молодой своей жене, рухнул, как подрубленный. С той поры он как-то еще больше замкнулся в себе; перемогаясь изо всех сил, делал вид, будто с ним ничего не происходит, только взгляд у него стал беспокойным и полным отчаяния. Понятно, жена его страшно перепугалась и увезла Гирке домой; дом у них был красивый, окнами в городской парк — там-то и начались странности Гирке: он все ходил от окна к окну — проверял, хорошо ли закрыты; только, бывало, сядет — и тут же вскакивает и бежит к окну — запирать. Даже ночью вставал, бродил как призрак по всему дому и в ответ на все вопросы бормотал только, что у него ужасно кружится голова и он должен запереть окна, чтоб не вывалиться. Жена велела тогда забрать все окна решетками, чтоб избавить его от постоянного страха. На несколько дней это помогло. Гирке немного успокоился, а потом снова начал подбегать к окнам и трясти решетки — крепко ли они держатся. Тогда на окна навесили стальные ставни, и супруги жили за ними, как замурованные. Гирке на какое-то время угомонился. Но потом оказалось, что головокружение охватывает его на лестницах; пришлось водить его по ступенькам, поддерживая, как паралитика, а он трясся как осиновый лист и весь покрывался потом; иногда даже сядет, бывало, посреди лестницы, всхлипывает судорожно — так ему было страшно.

Естественно, начались хождения по всевозможным врачам, и, как водится, одно светило утверждало, что

это головокружение — следствие переутомления, другое находило какое-то нарушение в ушном лабиринте, третье считало, что это от запоров, четвертое — от спазм мозговых сосудов; знаете, я заметил — стоит кому-нибудь сделаться выдающимся специалистом, как в нем начинается какой-то внутренний процесс, завершающийся появлением точки зрения. И тогда этот специалист говорит: «С моей точки зрения, коллега, дело обстоит так-то и так-то». На что другой специалист возражает: «Допустим, коллега, но с моей точки зрения все обстоит диаметрально противоположно». По-моему, следовало бы оставлять эти точки зрения в прихожей, как шляпы и трости; как только впустишь человека с точкой зрения, он обязательно что-нибудь напортит или, по крайней мере, не согласится с остальными. Но вернемся к Гирке: теперь, что ни месяц, очередной выдающийся специалист мытарил и пользовал его по совершенно новому методу; хорошо, что Гирке был здоровенный детина, он выносил все; только не мог уже вставать с кресла — головокружение начиналось, едва он взглянет на пол, — и вот он сидел, немой и неподвижный, уставясь в темноту, и лишь порой все тело его содрогалось — он плакал.

В те поры прославился чудесами некий новый доктор, невропатолог, доцент Шпитц; этот Шпитц специализировался на излечении подавленных представлений. Он, видите ли, утверждал, что почти у каждого человека сохраняются в подсознании самые разные кошмары, или воспоминания, или вожделения, которые он подавляет, потому что боится их; эти-то подавленные представления и производят в нем нарушения, расстройства и всяческие нервные заболевания. И если знающий врач нащупает такое подавленное представление и вытащит его на свет божий, пациент почувствует облегчение, и все налаживается. Однако такой лекарь по методу психоанализа должен завоевать абсолютное доверие пациента, только тогда он сможет выудить из него сведения о чем угодно — например, о том, что ему снилось, что ему запало в память с детства и все прочее в том же роде. После чего доктор говорит: итак, дорогой мой, когда-то с вами случилось то-то и то-то (обычно что-нибудь очень постыдное), и это постоянно давило на ваше подсознание, — у нас это называется психической травмой. Теперь мы

это вскрыли, и — эники, беники, чары-мары-фук! — вы здоровы. Вот, стало быть, и все колдовство.

Однако следует признать, что этот доктор Шпитц и в самом деле творил чудеса. Вы не можете вообразить, сколько богачей страдает от подавленных представлений! Бедняков они обычно мучат реже. Короче, клиентура у Шпитца была отменная. Ну-с, так вот — после того как у Гирке перебывали уже все светила медицинского мира, пригласили к нему доцента Шпитца; и Шпитц объявил, что это головокружение — явление чисто нервное, и он, Гуго Шпитц, берется избавить от него пациента. Хорошо. Только разговорить этого Гирке, господа, оказалось совсем нелегко; о чем бы ни спрашивал его Шпитц, больной едва цедил сквозь зубы, потом умолк, а под конец просто велел выставить доктора за дверь. Шпитц был в отчаянии: подумать только, пациент с таким положением, да это вопрос престижа! К тому же это был исключительно интересный и трудный случай нервного заболевания. И потом — пани Ирма такая красавица и так несчастна... И вот наш доцент впился в это дело как клещ. «Я должен найти у Гирке это подавленное представление, — бормотал он, — или придется бросить медицину и пойти продавцом в магазин Лёбля!»

Он решил применить новый метод психоанализа. Первым делом выяснил, сколько у Гирке разных теток, кузин, зятьев и прочих престарелых родственников всех колен и степеней; потом постарался войти к ним в доверие — такой доктор должен главным образом уметь терпеливо слушать. Родственники были очарованы — какой этот доктор Шпитц милый и внимательный. В конце концов Шпитц стал вдруг очень серьезным и обратился в одну надежную контору с предложением послать по одному адресу двух надежных сотрудников. Когда те вернулись, доктор Шпитц заплатил им за труды и прямиком отправился к Гирке. Тот сидел в полутемной комнате, уже почти неспособный двигаться.

— Сударь, — сказал ему доктор Шпитц, — не стану вас затруднять; можете не отвечать мне ни слова. Спрашивать вас я ни о чем не буду. Мне важно только установить причину ваших головокружений. Вы загнали ее в подсознание, но это подавленное представление столь сильно, что вызывает тяжкие расстройства...

— Доктор, я вас не звал! — хриплым голосом перебил его Гирке и протянул руку к звонку.

— Знаю, — ответил доктор, — но погодите минутку. Когда на колокольне в Венеции вас впервые охватил приступ головокружения — вспомните, сударь, вспомните только, что вы перед этим почувствовали?

Гирке замер, не отнимая пальца от кнопки звонка.

— Вы почувствовали, — продолжал доктор Шпитц, — вы почувствовали страшное, безумное желание сбросить с колокольни вашу молодую красавицу жену. Но так как вы ее безмерно любили, то в вас произошел конфликт, который и разрядился психическим потрясением; и вы, потеряв от головокружения равновесие, упали.

Наступила тишина — только рука, протянутая к звонку, вдруг опустилась.

— С той поры, — заговорил снова доктор Шпитц, — в вас и засел этот ужас перед головокружительной бездной; с той поры вы начали закрывать окна и не могли смотреть с высоты, ведь в вас постоянно жила ужасная мысль, что вы можете сбросить вниз пани Ирму...

Гирке издал нечеловеческий стон.

— Да, — продолжал доктор, — но теперь, сударь, возникает вопрос, откуда же взялось у вас это навязчивое представление? Так вот, Гирке, восемнадцать лет назад вы уже были женаты. Ваша первая жена, пан Гирке, погибла во время вашей поездки в Альпы. Она разбилась при восхождении на гору Хоэ Ванд, и вы наследовали ее состояние.

Слышно было только учащенное, хриплое дыхание Гирке.

— Гирке! — воскликнул доктор Шпитц. — Ведь вы сами убили вашу первую жену. Вы столкнули ее в пропасть; и поэтому — слышите, поэтому! — вам кажется, что так же вы должны убить и вторую — ту, которую любите; поэтому вы панически боитесь глубины; от этого вы страдаете головокружениями...

— Доктор! — взвыл человек в кресле. — Доктор, что мне делать? Что мне с этим делать?!

Доцент Шпитц стал очень грустным.

— Сударь, — произнес он, — если бы я был верующим, я бы посоветовал вам: примите наказание, чтобы бог вам простил. Но мы, врачи, обычно не верим в бога. Что вам

делать — тут уж решайте сами, но с медицинской точки зрения вы, по-видимому, спасены. Встаньте, пан Гирке!

Гирке поднялся, бледный, как известка.

— Ну как, — спросил доктор Шпитц, — голова по-прежнему кружится?

Гирке сделал отрицательный жест.

— Вот видите, — облегченно вздохнул доцент. — Теперь исчезнут и сопровождающие симптомы. Ваше головокружение было только следствием подавленного представления; теперь, когда мы его обнаружили, все будет хорошо. Можете выглянуть из окна? Отлично! Следовательно, все это свалилось с вас, так? Головокружения нет и в помине, верно? Пан Гирке, вы — самый интересный случай во всей моей практике! — Доктор Шпитц в восторге всплеснул руками. — Вы совершенно здоровы! Можно позвать пани Ирму? Нет? А, понимаю, вы хотите сами сделать ей сюрприз, — господи, как же она обрадуется, увидев, что вы ходите. Видите, какие чудеса творит наука...

Счастливый своим успехом, он готов был трещать хоть два часа кряду, но, заметив, что Гирке нужен покой, прописал ему что-то такое с бромом и откланялся.

— Я провожу вас, — вежливо сказал Гирке и довел доктора до лестничной площадки. — Поразительно — ни намека на головокружение...

— Слава богу! — восторженно вскричал Шпитц. — Стало быть, вы чувствуете, что вполне выздоровели?

— Совершенно, — тихо ответил Гирке, провожая взглядом доктора, спускавшегося по лестнице.

Когда за доктором захлопнулась дверь, раздался еще один тяжелый, тупой удар. Когда под лестницей нашли тело Гирке, он был мертв и страшно изломан — падая, он ударялся о перила.

Когда об этом сообщили доктору Шпитцу, тот присвистнул и долго странным взглядом смотрел в пространство. Потом взял журнал, в который записывал своих больных, и к имени Гирке прибавил дату и одно только слово: «Suicidum». К вашему сведению, пан Тауссиг, это значит «самоубийство»...

Исповедь

— Подавляемые представления... — проговорил патер Вовес, священник церкви св. Матфея. — Послушайте, да ведь человечество давным-давно научилось исцелять эти самые подавляемые представления; только наша святая церковь называет это лекарство sacramentum sanctae corfessionis [1]. Коли душу твою что-то давит, коли стыдишься чего, ступай, негодник, к святой исповеди да выкладывай, какие такие безобразия носишь в себе! Только мы не называем это лечением нервных заболеваний; мы называем это раскаянием, покаянием и отпущением грехов.

Постойте-ка, с тех пор прошло немало лет; был немилосердно жаркий летний день, и я зашел в свою церквушку — между прочим, я думаю, что евангелическое вероисповедание могло возникнуть только в северных краях, где даже летом не жарко. Вот в нашей католической церкви целый божий день что-то делается — месса, вечерняя или другая какая служба; там ты, по крайней мере, можешь рассматривать живопись и скульптуры; забегай в любое время, остынешь, в холодке поразмышляешь о божественном, — и этому очень даже помогает, когда на улице жарко, как в печи. Вот почему евангелики живут больше в холодных, негостеприимных странах, а мы, католики, в краях более теплых; может, всему причиной прохлада и тень в храмах господних. Ну-с, значит, стоял палящий зной, и, когда я вошел в церковь, пахнуло на меня удивительным умиротворением. Тут подходит ко мне причетник и говорит, что вот уже более часа какой-то человек ждет исповеди.

Ладно, это случается довольно часто, взял я в сакристии епитрахиль и сел в исповедальню. Причетник привел кающегося; то был немолодой, прилично одетый человек, похожий на торгового представителя или на агента по продаже недвижимости, лицо у него было бледное и как бы опухшее; он опустился на колени у исповедальни и молчал.

— Ну что же, — подбодрил я его, — повторяйте за мной: я жалкий грешник, исповедуюсь и признаюсь всевышнему.

[1] тайна святой исповеди (*лат.*).

— Нет, — выговорил этот человек, — я начинаю не так. Дайте мне начать по-своему.

Вдруг у него задрожал подбородок и на лбу выступил пот; а меня невесть почему охватило какое-то странное и страшное отвращение. Подобное потрясение я пережил до этого случая лишь однажды, когда присутствовал при эксгумации покойника, который... который уже разложился... не стану описывать, как это выглядит.

— Ради бога, что с вами? — закричал я в испуге.

— Сейчас, сейчас... — пробормотал этот человек, глубоко вздохнул, громко высморкался и сказал: — Ну вот, все прошло. Я начну, ваше преподобие. Двенадцать лет назад...

Я не скажу вам, что я услышал. Во-первых, это, разумеется, тайна исповеди; а во-вторых, поступок был столь страшный, столь отвратительный и зверский, что... словом, этого и не выскажешь. А прихожанин выплескивал из себя все с такими ужасными подробностями — и ничего не пропустил! Я думал, что убегу из исповедальни, зажму себе уши или еще что-нибудь сделаю. Я заткнул себе рот полой епитрахили, чтобы не закричать от ужаса.

— Ну вот и все, — проговорил удовлетворенно этот человек и с облегчением высморкался. — Спасибо вам, ваше преподобие!

— Постойте! — крикнул я. — А как же епитимья?

— Да ну, — ответил он, чуть ли не фамильярно поглядывая на меня сквозь окошечко. — Я ведь ни во что не верю; просто хотелось найти облегчение. Понимаете, если я какое-то время не говорю о... ну, об этом, то оно так и стоит передо мной... и я не могу спать, глаз не смыкаю. И когда это на меня находит, я должен выговориться, должен все кому-нибудь рассказать; а вы на то и существуете, это ваше ремесло, и выдать меня вы не можете, есть ведь тайна исповеди. А что до отпущения грехов, мне оно ни к чему. Да, трудное дело, когда веры нет. Премного благодарен, ваше преподобие. Нижайший поклон.

И, прежде чем я успел опомниться, он удалился легкой походкой.

Примерно через год он появился вновь; поймал меня у входа в церковь, бледный и бесконечно смиренный.

— Ваше преподобие, — пролепетал он, — можно мне вам исповедаться?

— Послушайте, — ответил я, — без епитимьи дело не пойдет, и все тут. Не хотите покаяться — не будет у нас с вами разговора.

— Боже ты мой, — сокрушенно вздохнул человек, — то же самое говорят мне теперь все священники! Никто больше не хочет меня исповедовать, а мне это необходимо!

Тут у него затряслись губы, как и прежде.

— Нет! — крикнул я. — Или рассказывайте мне все в присутствии кого-нибудь из мирян.

— Ну да, — застонал он, — чтобы мирянин потом на меня донес! Черт вас возьми! — в отчаянии крикнул он и бросился прочь; странная вещь — даже спина его выражала такое, знаете, отчаяние...

Больше я его не встречал.

* * *

— Эта история имела продолжение, ваше преподобие, — отозвался адвокат Баум. — Однажды — тоже несколько лет тому назад — ко мне в контору пришел небольшой человек с бледным и опухшим лицом; сказать по правде, очень он мне не понравился; когда я его усадил и спросил: «Так что же вас сюда привело, приятель?» — он начал:

— Пан адвокат, когда ваш клиент с доверием обращается к вам и делится тем, в чем он, скажем, провинился, то...

— То, разумеется, — говорю, — я не имею права использовать признание против него; за это, сударь, мне вынесли бы порицание или что-нибудь похуже.

— Вот и хорошо, — облегченно вздохнул посетитель. — Пан доктор, я должен вам кое-что сообщить. Четырнадцать лет тому назад... — И далее, ваше преподобие, я услышал, видимо, то же самое, что и вы.

— Не говорите, что именно, — прервал его патер Вовес.

— И не подумаю, — проворчал адвокат Баум. — Уж больно, знаете, мерзкое дело. А мой клиент так и сыпал, словно захлебываясь, весь в поту, бледный, с закрытыми глазами... это было нечто вроде душевной рвоты. Потом он отдышался и вытер платком губы.

— Клянусь богом, — сказал я ему, — я здесь ничего не могу поделать! Но, если хотите, мой искренний совет...

— Нет! — воскликнул странный субъект. — Никакого совета мне не нужно. Я хотел только рассказать вам, что я тогда совершил; но помните, — добавил он чуть ли не в бешенстве, — вы не имеете права использовать это против меня! — Потом встал и вполне спокойно спросил: — Сколько я вам должен, пан адвокат?

— Пятьдесят крон, — удрученно ответил я.

Этот человек вынул пятидесятикроновую банкноту.

— Мое почтение, пан адвокат. — И ушел.

Хотелось бы мне знать, у скольких пражских адвокатов этот человек побывал, но ко мне вторично он не приходил.

* * *

И это еще не конец истории, — подхватил доктор Витасек. — Несколько лет тому назад, когда я работал ординатором в госпитале, привезли к нам больного с бледной и одутловатой физиономией; ноги у него распухли, как колоды, судороги, затрудненное дыхание — короче, классическое воспаление почек, прямо как пишут в учебниках; разумеется, помочь ему было уже нельзя. Однажды меня позвала сиделка: мол, этого почечника из седьмой палаты сейчас опять схватит.

Иду к нему и вижу, бедняга задыхается, потный как мышь, глаза вытаращены от ужаса — приступы смертельной тоски при этой болезни очень страшны.

— Ну, старина, — говорю я ему, — сейчас я вам сделаю укол, и все будет хорошо.

Пациент замотал головой.

— Доктор, — еле выдавил он из себя, — я... вам должен сказать... пусть только эта женщина отойдет!

Я предпочел бы вспрыснуть ему Emo, но как только увидел его глаза — сразу же отослал сиделку.

— Ну, выкладывайте, дружище, — говорю, — а потом спать.

— Доктор, — простонал он, а в его глазах стоял такой, знаете, безумный страх, — доктор, я больше не могу... Я все вижу эту... Я не могу спать, я должен рассказать вам...

И рассказал, задыхаясь, борясь с судорогами... Ничего подобного, друзья, я никогда не слышал.

— Гм, гм, — кашлянул адвокат Баум.

— Не бойтесь, — проронил доктор Витасек, — я не стану пересказывать; это уже врачебная тайна. После исповеди он лежал как мокрая тряпка, совершенно обессиленный. Понимаете, достопочтенный отец, я не мог ему отпустить грехи или дать умный совет; но я дал ему, знаете, две дозы морфия, а когда он проснулся — еще, и опять потом, — пока он не уснул навеки. Если хотите знать, я ему изрядно помог.

— Аминь, — произнес отец Вовес и слегка задумался. — Это вы хорошо сделали, — добавил он мягко, — по крайней мере, он больше не мучился.

Взломщик-поэт

— Случается иной раз и по-другому, — прервав молчание, сказал редактор Зах. — Иногда просто не знаешь, что движет человеком — угрызения совести или хвастливость и фанфаронство. Особенно профессиональные преступники — эти просто лопнули бы с досады, если бы не могли всюду трезвонить о своих похождениях. Мне думается, что многие из них зачахли бы с тоски, если бы общество не проявляло к ним интереса. Этакие специалисты прямо-таки греются в лучах общественного внимания. Я не утверждаю, конечно, что люди крадут и грабят только ради славы. Делают они это из-за денег, по легкомыслию или под влиянием дурных товарищей. Но, вкусив однажды aura popularis [1], преступники впадают в этакую манию величия, так же как, впрочем, политиканы и разные там общественные деятели.

Несколько лет назад я редактировал отличную провинциальную еженедельную газету «Восточный курьер». Сам-то я, правда, уроженец западной Чехии, но вы бы не поверили, с каким пылом я отстаивал местные интересы восточных районов! Край там тихий, холмистый, так и просится на картинку: журчат ручейки, растут сливо-

[1] преходящая славы (*лат.*).

вые деревья... Но я еженедельно призывал «наш кряжистый горный народ» упорно бороться за кусок хлеба с суровой природой и неприязненно настроенным правительством! И писал я все это, доложу вам, с жаром, от всего сердца. Два года я проторчал в «Восточном курьере» и за это время вдолбил тамошним жителям, что они «кряжистые горцы», что их жизнь «тяжела, но героична», а их холмистый край «хоть и беден, но поражает своей меланхолической красотой». Словом, превратил Чаславский район почти в Норвегию. Из этого видно, на какие великие дела способны журналисты!

Работая в провинциальной газете, надо, разумеется, прежде всего не упускать из виду местных событий. Вот однажды зашел ко мне полицейский комиссар и говорит:

— Сегодня ночью какая-то бестия обчистила магазин Вашаты, знаете, «Торговля бакалейными товарами». И как вам понравится, господин редактор, — этот негодяй сочинил там стихи и оставил их на прилавке! Ну, не наглость ли это, а?

— Покажите стихи, — сказал я быстро. — Это подойдет для «Курьера». Вот увидите, паша газета поможет вам обнаружить преступника. Но и сам по себе этот случай — сенсация для города и всего края!

Словом, после долгих уговоров я получил стихи и напечатал их в «Восточном курьере».

Я прочту вам из них, что помню. Начинались они как-то так:

Вот час двенадцатый пробил,
Громила, час твой наступил.

Все хорошенько взвесь и смерь,
Когда ты взламываешь дверь.

Чу! Слышны на дворе шаги.
Я здесь один, мне все — враги.

Но я не трушу. Тишина.
Лишь сердце дрогнет, как струна.

Шаги затихли. Пронесло!
Эх, воровское ремесло!

Дверь заскрипела, подалась,
Теперь не трусь и в лавку влазь.

Сиротка я. Судьба мне — камень.
Вот слёз бы было бедной маме...

Пропала жизнь. Мне не везет.
Вот слышу, где-то мышь грызет.

Она да я — мы оба воры,
Нам жить в ладу, не зная ссоры.

Я поделиться с ней решил,
Ей малость хлебца накрошил.

Нейдет. Отважится не скоро.
Видать, и вор боится вора.

Потом там было еще что-то, а кончалось так:

Писал бы — муза не смолкает, —
Да жалко, свечка догорает.

Я опубликовал эти стихи, подвергнув их обстоятельному психологическому и литературному анализу. Я выявил в них элементы баллады, благожелательно указал на тонкие струны в душе преступника. Все это произвело своего рода сенсацию. Газеты других партий Часлава и разных других городов нашего края утверждали, что это грубая и нелепая фальсификация, иные недоброжелатели восточной Чехии заявляли, что это плагиат, скверный перевод с английского и так далее. Как раз в самый разгар полемики с оппонентами, когда я защищал нашего местного взломщика-поэта, ко мне снова заглянул полицейский комиссар и сказал:

— Господин редактор, не пора ли покончить с этим проклятым жуликом? Посудите сами: за одну неделю он обокрал две квартиры и еще лавку и всюду оставил длинные стихи.

— Хорошо, — сказал я. — Тиснем их в газете.

— Еще чего! — проворчал комиссар. — Да ведь это значит потакать вору! К воровству его теперь побуждает главным образом литературное тщеславие. Нет, вы должны дать ему по рукам. Напишите в газете, что стихи дрянь, что в них нет никакой формы или мало настроения, — словом, придумайте что-нибудь. Тогда, мне кажется, ворюга перестанет красть.

— Гм, — говорю я, — этого написать нельзя, поскольку мы только что его расхвалили. Но знаете что? Не будем печатать его стихов, и баста!

Прекрасно. В ближайшие две недели было зарегистрировано пять краж со взломом и стихами, но «Восточный курьер» молчал о них, словно воды в рот набрал. Я, правда, опасался, как бы наш вор, побуждаемый уязвленным авторским самолюбием, не перебрался куда-нибудь в Турнов или Табор и не стал там сенсацией для тамош-

ней пишущей братии. Представляете себе, как бы они обрадовались?

Взломщик был так сбит с толку нашим молчанием, что недели три о нем не было ни слуху ни духу, а потом кражи начались снова, с той разницей, что стихи он теперь посылал по почте прямо в редакцию «Восточного курьера». Но «Курьер» был неумолим. Во-первых, я не хотел вызывать недовольства местных властей, а во-вторых, стихи с каждым разом становились все хуже. Автор начал повторяться, изобретал какие-то романтические выкрутасы — словом, стал вести себя как настоящий писатель.

Однажды ночью прихожу я, посвистывая, как скворец, к себе домой и чиркаю спичку, чтобы зажечь лампу. Вдруг у меня за спиной кто-то дунул и погасил спичку.

— Не зажигать света! — сказал глухой голос. — Это я.

— Ага! — отозвался я. — А что вы хотите?

— Пришел спросить, как там с моими стихами, — ответил глухой голос.

— Приятель, — говорю я, не сообразив сразу, о каких стихах идет речь. — Сейчас неприемные часы. Приходите завтра в редакцию в одиннадцать.

— Чтобы меня там сцапали? — мрачно спросил голос. — Нет, это не пойдет. Почему вы не печатаете больше моих стихов?

Тут только я догадался, что это наш вор.

— Это долго объяснять, — сказал я ему. — Садитесь, молодой человек. Хотите знать, почему я не печатаю ваших стихов? Пожалуйста. Потому что они никуда не годятся. Вот.

— А я думал... — печально сказал голос, — что... что они не хуже тех первых.

— Да, первые были неплохи, — сказал я строго. — В них была непосредственность, понимаете? Искреннее чувство, свежесть, острота восприятия, настроение — словом, все. А остальные стихи, милый человек, ни к черту не годятся.

— Да я будто... — жалобно произнес голос, — будто я написал их так же, как и те первые.

— Вот именно, — сказал я неумолимо. — Вы лишь повторялись. Опять в них были шаги на улице...

— Так я же их слышал, — защищался голос— Господин редактор, когда воруешь, надо держать ушки на макушке, слушать, кто там под окном шлепает.

— И опять в них была мышь... — продолжал я.

— Мышь! — нерешительно возразил голос. — Так в лавках завсегда бывают мыши. Я об них писал только в трех...

— Короче говоря, — перебил я, — ваши стихи превратились в пустой литературный шаблон. Без оригинальности, без вдохновения, без новых образов и эмоций. Это не годится, друг мой. Поэт не смеет повторяться.

Мой гость с минуту помолчал.

— Господин редактор, — сказал он, — да ведь оно завсегда одно и то же. Попробуйте воровать — что одна кража, что другая... Нелегкое это дело.

— Да, — сказал я. — Надо бы вам взяться за другое ремесло.

— Обчистить церковь, что ли? — предложил голос. — Или часовню на кладбище?

Я сделал энергичный отрицательный жест.

— Нет, — говорю, — это не поможет. Дело не в материале, молодой человек, дело в его творческой интерпретации. В ваших стихах нет никакого конфликта, в них каждый раз дается только внешнее описание заурядной кражи. Вам надо найти какую-нибудь свою внутреннюю тему. Например, раскаяние.

— Раскаяние? — с сомнением сказал голос. — И вы думаете, стихи тогда станут лучше?

— Разумеется! — воскликнул я. — Друг мой, это придаст им психологическую глубину и эмоциональность.

— Попробую, — задумчиво отозвался голос. — Не знаю только, пойдут ли у меня кражи на лад. Понимаете, потеряешь тогда уверенность в себе. А без нее сразу засыплешься.

— А хоть бы и так! — воскликнул я. — Дорогой мой, что за беда, если вы попадетесь?! Представляете себе, какие стихи вы напишете in carcere et catenis [1]. Погодите, я вам покажу одну поэму, написанную в тюрьме. На это вам не мешает взглянуть.

— И она была в газетах? — спросил замирающий от волнения голос.

— Голубчик, это одна из самых прославленных поэм в мире. Зажгите лампу, я вам ее прочту.

---

[1] в темнице и оковах (*лат.*).

Мой гость чиркнул спичку и зажег лампу. Он оказался бледным, прыщеватым юношей — таким может быть и жулик и поэт.

— Погодите, — говорю, — я сейчас найду ее.

И взял с полки перевод «Баллады Рэдингской тюрьмы» Оскара Уайльда. Тогда она была в моде.

В жизни я не декламировал с таким чувством, как в ту ночь, читая ему вслух знаменитую балладу, особенно строку «каждый убивает как может». Гость не спускал с меня глаз. А когда мы дошли до того места, где герой поднимается на эшафот, он закрыл лицо руками и всхлипнул.

Я дочитал, и мы замолчали. Мне не хотелось нарушать величия этой минуты. Открыв окно, я сказал:

— Кратчайший путь вон там, через забор. Покойной ночи.

И погасил лампу.

— Покойной ночи, — произнес в темноте взволнованный голос. — Так я попробую. Большое спасибо.

И он исчез бесшумно, как летучая мышь. Все-таки это был ловкий вор.

Через два дня его поймали в одном магазине. Он сидел с листком бумаги у прилавка и грыз карандаш. На бумаге была только одна строчка «Каждый ворует как может...» — явное подражание «Балладе Рэдингской тюрьмы».

Суд дал ему полтора года, как рецидивисту-взломщику.

Через какой-нибудь месяц мне принесли от него целую тетрадку стихов. Вор описывал страшные вещи: сырые тюремные подземелья, казематы, решетки, звенящие оковы на ногах, заплесневелый хлеб, дорогу на эшафот и невесть что еще. Я прямо ужаснулся чудовищным условиям в этой тюрьме.

Журналист, знаете ли, проникает всюду, вот я и устроил так, что начальник той тюрьмы пригласил меня осмотреть ее. Это оказалось вполне гуманное и благоустроенное заведение. Своего вора я застал как раз в тот момент, когда он доедал чечевичную похлебку из жестяной миски.

— Ну что, — говорю я ему, — где же эти звенящие оковы, о которых вы писали?

Вор смутился и растерянно покосился на начальника тюрьмы.

— Господин редактор, — забормотал он, — ведь про то, что тут есть, не напишешь стихов. Что поделаешь!

— Так у вас нет никаких жалоб? — спрашиваю я.

— Никаких, — говорит он смущенно. — Только вот стихи писать не об чем.

Больше я с ним не встречался. Ни в рубрике «Из зала суда», ни в поэзии.

Дело господина Гавлены

— Раз уж господин редактор завел речь о газетах, — сказал Беран, — я вам кое-что скажу. Что большинство читателей прежде всего ищет в газете? Ясно, «Из зала суда». Кто знает, почему это их так интересует — потому ли, что каждый из них в глубине души правонарушитель, или же, наоборот, они черпают в судебных отчетах моральное удовлетворение? Во всяком случае, эту рубрику читают с увлечением. А раз так, значит, судебные дела должны появляться регулярно каждый день. Однако же возьмите, к примеру, судебные каникулы: суд на замке, но судебная хроника в газете должна быть. А то еще часто случается, что ни в одном суде нет интересного дела. Однако судебный хроникер должен дать интересный отчет во что бы то ни стало. В таких случаях беднягам репортерам приходится это «интересное дельце» попросту высасывать из пальца. Существует настоящая торговля такими вымышленными процессами. Репортеры их продают, покупают, одалживают, обменивают на пачку папирос и так далее. Я все это знаю потому, что у моей хозяйки на квартире жил судебный хроникер. Забулдыга был и лентяй, но способный парень, а платили ему буквально гроши...

Однажды в кафе, где обычно сходились судебные хроникеры, появился какой-то странный, неопрятный человек с одутловатым лицом. Звали его Гавлена, был он неудачник, недоучившийся юрист. Никто не знал, чем он живет, да и сам он едва ли отдавал себе в этом отчет. Так вот, у этого бездельника Гавлены был весьма своеобразный юридический талант: стоило дать ему сигару и кружку пива, как он, закурив и прикрыв глаза, начинал

без запинки излагать вам интереснейший судебный казус. Он приводил основные тезисы защиты, соответствующую прокурорскую реплику и заканчивал обоснованным решением суда. Потом, словно проснувшись, открывал глаза и бубнил: «Одолжите пять крон».

Как-то раз репортеры решили испытать его «на выносливость». Не сходя с места, он сочинил двадцать один судебный казус, один лучше другого, и только на двадцать первом запнулся и сказал: «Постойте-ка, это не подсудно единоличному судье... и судебной коллегии тоже. Это компетенция суда присяжных, а я им не занимаюсь». Он был принципиальным противником суда присяжных. Его приговоры всегда были строги, но с юридической точки зрения безупречны. Это был его конек.

Репортеры, увидев, что «отчеты» Гавлены много интересней и разнообразней того, что делается в суде, создали своего рода картель: Гавлена получал за каждое сочиненное им «дело» по определенному тарифу — десять крон и сигару, а кроме того, «сдельную плату» — по две кроны за каждый месяц тюрьмы, который он присуждал вымышленному преступнику. Сами понимаете — чем строже приговор, тем серьезнее дело. Читатели газет всегда с необычайным интересом читали судебную хронику, когда там появлялись липовые «отчеты» Гавлены. Что и говорить, газеты нынче уже не те, что в его времена, — теперь в них одна политика да газетная грызня, — не знаю, кому охота читать это.

Однажды Гавлена сфантазировал очередное дело... Это не был шедевр, но прежде с такими же делами все сходило благополучно, а на этом сорвалось. Вкратце дело было такое. Какой-то старый холостяк якобы поссорился с почтенной вдовой, живущей в доме напротив. Чтобы досадить ей, он купил попугая и научил его всякий раз, когда вдова выходила на балкон, кричать на всю улицу: «Ты шлюха!» Вдова подала на холостяка в суд, обвиняя его в оскорблении личности. Районный суд признал, что обвиняемый использовал попугая для публичного осмеяния пострадавшей, и приговорил холостяка именем республики к четырнадцати дням тюрьмы условно и к возмещению судебных издержек. «С вас одиннадцать крон и сигара», — закончил Гавлена свой отчет.

Этот отчет появился в шести газетах — разумеется, в различном изложении. В одной газете он прошел под

заголовком «В тихом доме», в другой — «Холостяк и бедная вдова», в третьей — «Попугай под судом» и так далее. И вдруг все эти газеты получили циркулярное письмо из министерства юстиции. В письме говорилось, что «министерство просит сообщить, какой именно районный суд рассматривал дело, отчет о котором помещен в таком-то номере вашей уважаемой газеты, ибо возбуждение оного дела, равно как и состоявшееся решение суда, незаконно, поскольку бранные слова произносил не подсудимый, а попугай, и нельзя считать доказанным, что попугай имел в виду именно потерпевшую; таким образом, налицо нет состава преступления, предусмотренного статьей об оскорблении личности. В худшем случае имело место только нарушение общественного спокойствия, и виновник, следовательно, подлежит лишь административно-полицейским мерам воздействия — штрафу или предупреждению с предписанием убрать упомянутую птицу. В связи со всем вышеизложенным министерство юстиции желает знать, какой суд рассматривал данное дело, чтобы начать соответствующее расследование...» и так далее и так далее; в общем, этакая бюрократическая канитель.

— Черт побери, Гавлена, заварили вы кашу! — накинулись репортеры на своего поставщика. — Приговор-то ваш никуда не годится, он незаконный!

Гавлена побледнел как мел.

— Как! — закричал он. — *Мой* приговор незаконен? Тысяча чертей! Министерство смеет утверждать это обо мне, Гавлене? — Репортеры никогда не видели столь оскорбленного и рассерженного человека. — Я им покажу, где раки зимуют! — вне себя кричал Гавлена. — Они еще увидят, незаконен или законен мой приговор. Я этого так не оставлю!

От огорчения он тут же напился до положения риз. Потом взял лист бумаги и написал в министерство юстиции письмо с пространным юридическим анализом, из которого следовало, что приговор правилен, ибо когда владелец попугая учил птицу ругать соседку, то уж в этом проявилось заранее обдуманное намерение нанести оскорбление личности, явно имеющее противозаконный характер. Далее, означенный попугай это не субъект, но объект права, орудие преступления и так далее. Короче говоря, это был самый блестящий и тонкий юридический анализ, который репортерам когда-либо доводилось читать. Гав-

лена подписал его: «Непрактикующий кандидат прав Вацлав Гавлена» — и отправил в министерство.

— Вот! — сказал он. — И пока не решится это дело, я не буду заниматься судебными отчетами. Мне нужно получить моральное удовлетворение.

Министерство юстиции, разумеется, никак не реагировало на письмо Гавлены. А он ходил, насупившись, мрачный, еще более неопрятный, и даже похудел. Поняв, что ответа из министерства не будет, он загрустил, молча отплевывался в ответ на все вопросы или открыто возмущался и в конце концов заявил:

— Погодите, я им покажу, кто прав!

Два месяца его никто не видел. Потом он пришел сияющий, явно под мухой, и объявил:

— Против меня уже возбуждено судебное преследование. Ух, проклятая баба, каких трудов стоило ее уговорить! Кто бы думал, что пожилая женщина может быть так миролюбива. Пришлось мне дать ей подписку, что судебные издержки в любом случае несу я. Итак, господа, теперь это дело разрешит суд.

— Какое? — спросили репортеры.

— Ну, с попугаем, — ответил Гавлена. — Я же сказал вам, что этого так не оставлю. Я, знаете ли, купил себе попугая и научил его кричать: «Ты шлюха! Ты чертова баба!» Пришлось попотеть с этой птицей — полтора месяца я не выходил из дому, только и твердил: «Ты шлюха!» Зато теперь попугай великолепно произносит эти слова, но — этакий идиот! — орет их с утра до вечера, никак не может приучиться кричать их только моей соседке, что живет напротив. Она, знаете ли, учительница музыки, из хорошей семьи, очень милая старушка. Но в доме у нас больше нет женщин, пришлось выбрать ее. Да, скажу я вам, выдумать такое правонарушение — пара пустяков, а вот осуществить его на практике — это другое дело... Никак мне не удавалось приучить хулигана-попугая, чтобы он ругал только ее. Орет на каждого, такая зловредная птица!

Гавлена залпом осушил кружку пива и продолжал:

— Тогда я придумал другой трюк. Как только соседка показывалась во дворе или у окошка, я быстро отворял свое окно, и попугай орал: «Ты шлюха! Ты чертова баба!» И что бы вы думали: старушка смеялась и кричала мне: «Ну и попугай у вас, господин Гавлена!» Черт ее возьми,

эту старуху! Две недели я ее уговаривал, пока она наконец подала на меня в суд. В свидетелях — жильцы всего дома. Уж теперь-то суду не уйти от этого казуса! — И Гавлена радостно потирал руки. — Не я буду, если мне не припаяют за оскорбление личности. Я этого так не оставлю, я им покажу, этим чинушам из министерства!

До самого дня суда Гавлена беспробудно пьянствовал, волновался и сгорал от нетерпения. На суде он вел себя с большим достоинством, произнес против себя обвинительную речь, ссылаясь на свидетельские показания всех жильцов дома, могущих подтвердить, что оскорбление было умышленным и публичным, и требовал сурового наказания. Судья, добродушный старый советник юстиции, почесал бородку и объявил, что сам хочет слышать попугая, а потому разбор дела откладывается. Подсудимому предлагается к следующему судебному заседанию доставить в суд означенную птицу в качестве вещественного доказательства, а возможно, и в качестве свидетеля.

На следующее заседание Гавлена явился с попугаем в клетке. Попугай вытаращил глаза на перепуганную секретаршу и заорал на весь зал: «Ты шлюха, ты чертова баба!»

— Довольно, — говорит судья. — Из показаний попугая Лорри явствует, что его высказывания не относились прямо и непосредственно к потерпевшей...

Попугай воззрился на судью и закричал: «Ты шлюха, ты чертова баба!»

...Ибо ясно, — продолжал судья, — что означенные эпитеты попугай применяет ко всем окружающим без различия пола. Таким образом, налицо нет оскорбления личности, господин Гавлена.

Гавлена вскочил как ужаленный.

— Господин судья! — запротестовал он возбужденно. — Умышленность заключается в том, что я открывал окно при появлении потерпевшей, дабы попугай ее поносил...

— Туманный случай! — сказал судья. — Может быть, открывание окна в данном случае и подозрительно, но оно не является само по себе оскорбительным действием. Я не могу осудить вас за то, что вы периодически открывали окно. Не доказано, что ваш попугай имел в виду именно потерпевшую.

— Я! Я сам имел ее в виду! — защищался Гавлена.

— Это не подтверждается свидетельскими показаниями, — возразил судья. — Никто не слышал из ваших уст инкриминированного высказывания... Ничего не поделаешь, господин Гавлена, придется вас оправдать.

И, надев судейскую шапочку, он вынес оправдательный приговор.

— Я опротестовываю приговор и подаю кассационную жалобу! — чуть не плача, вскричал Гавлена, схватив клетку с попугаем, и устремился к выходу.

Впоследствии репортеры иногда встречали Гавлену, угрюмого и в нетрезвом виде.

— Ну скажите, господа, разве это правосудие! Существует ли еще право, — хныкал он. — Я этого не оставлю. Я подам в высшую инстанцию! Я добьюсь реабилитации, хотя бы мне пришлось судиться до самой смерти... Это борьба не за мои интересы, а за дело правосудия.

Чем кончилось дело в высшей инстанции, мне точно не известно. Я знаю только, что суд попросту не стал рассматривать кассационную жалобу на оправдательный приговор. С тех пор Гавлена исчез, словно сквозь землю провалился. Говорят, видели, как он, словно тень, бродит по улицам, бормоча что-то невнятное. А в министерство юстиции до сих пор несколько раз в год поступает пространная пламенная жалоба «по делу об оскорблении, нанесенном попугаем...». Но поставлять репортерам судебные казусы Гавлена перестал навсегда, — видимо, потому, что была поколеблена его вера в юстицию и правопорядок.

Игла

— Я никогда не имел дела с судом, — начал Костелецкий, — но я скажу вам, что больше всего мне нравится у них эта педантичность, всякие формальности и процедуры, которых там придерживаются, даже если дело выеденного яйца не стоит. Это, понимаете ли, вызывает доверие к правосудию. Уж если у Фемиды в руках весы, пусть это будут весы аптекарские. А ежели меч, то пусть он будет остер, как бритва...

В этой связи вспомнился мне случай на нашей улице.

Одна привратница, некая Машкова, купила в лавке булку и, едва начав ее жевать, вдруг почувствовала легкий укол в нёбо. Сунула она палец в рот и вынимает... иглу! Привратница обомлела, а потом заохала: «Господи боже, ведь я могла проглотить эту иголку, и она проткнула бы мне желудок! Моя жизнь висела на волоске, я этого так не оставлю! Надо дознаться, какой негодяй запихнул туда иглу!»

И она отнесла недоеденную булку вместе со своей находкой в полицию.

Полицейские допросили лавочника, допросили и пекаря, который поставлял тому булки, но, разумеется, ни один из них не признал иголку своей. Дело передали судебно-следственным органам, ибо, да будет вам известно, оно попадало под статью «о легком членовредительстве». Судебный следователь, этакий добросовестный и дотошный служака, еще раз допросил лавочника и пекаря. Оба клятвенно уверяли, что у них игла не могла попасть в булку. Следователь отправился в лавку и установил, что игл там в продаже нет. Потом он пошел в пекарню поглядеть, как пекут булки, и просидел там целую ночь, глядя, как ставят и месят тесто, как накаливают печь, делают булки, сажают их на противень и пекут, пока они не станут золотистыми. Таким методом он выяснил, что при выпечке булок иглы действительно не применяются...

Знаете ли вы, какое чудесное дело печение хлеба? Я-то нагляделся в детстве — ведь у моего покойного деда была пекарня. Видите ли, в хлебопечении есть два-три почти мистических таинства. Первое — когда ставят опару. Ставят ее в квашне, и там, под крышкой, происходит скрытое превращение: из муки и воды возникает живая закваска. Потом замешивают тесто веселкой — эта процедура похожа на ритуальные танцы — и затем накрывают квашню холстиной и дают тесту подойти. Это второе загадочное превращение — тесто величественно поднимается, пухнет, а ты не смеешь приподнять холстину и заглянуть внутрь... Все это, скажу я вам, так же прекрасно и удивительно, как беременность. Мне всегда казалось, что в квашне есть что-то от женщины. А третье таинство — сама выпечка, когда бледное и мягкое тесто превращается в хлеб. Вы вынимаете из печи этакий темно-красный, золотистый каравай, и пахнет он даже вкуснее, чем младенец. Это такое диво, что, по-моему, во время этих мета-

морфоз в пекарнях следовало бы звонить в колокола, как в церкви в храмовый праздник...

Да, так о чем же я? Ну и вот, этот следователь стал в тупик, по прекратить дело, — как бы не так! Взял он иглу и отправил ее в Химический институт. Пусть, мол, там выяснят, попала игла в булку до выпечки или после. (Он был просто помешан на научной экспертизе.)

В институте тогда подвизался профессор Угер, этакий ученый бородач. Получив иглу, он страшно ругался, — и чего только не шлют ему эти судейские; недавно прислали такие тухлые внутренности, что даже прозектор не выдержал. А что делать институту с этой иглой? Но, поразмыслив, он заинтересовался ею, знаете, с научной точки зрения. А в самом деле, сказал он себе, может быть, и впрямь с иглой происходят какие-нибудь изменения, если ее подержать в тесте или испечь вместе с булкой? Ведь при брожении теста образуются кислоты, при печении происходят различные физико-химические процессы, и все это может воздействовать на поверхность иглы — механически изменить или окислить ее. Путем микроскопического исследования это можно установить. И профессор взялся за дело.

Прежде всего он закупил несколько сотен разных игл: совсем новехоньких и более или менее ржавых — и начал у себя в институте печь булки. При первом эксперименте он положил иглы в опару, чтобы установить, как на них действует процесс брожения. При втором положил их в свежезамешанное тесто, при третьем — в тесто, начавшее всходить, и при четвертом — в уже взошедшее. Потом он сунул иглы в булки перед самой посадкой в печь. Потом — во время выпечки. Потом в горячие булки. И, наконец, в остывшие. Затем была заново проделана контрольная серия точно таких же опытов. В общем, в течение двух недель в институте только тем и занимались, что пекли булки с иглами. Профессор, доцент, четыре аспиранта и служитель изо дня в день месили тесто и выпекали булочки, а потом исследовали иглы под микроскопом. На это потребовалась еще неделя, но в конце концов было точно установлено, что злополучная игла попала уже в выпеченную булку, ибо она полностью соответствовала опытным иглам, воткнутым в готовые булки.

На основе этого заключения экспертизы следователь сделал вывод, что игла попала в булку или у лавочника, или по дороге из пекарни в лавку. И тогда пекарь вспомнил: мать честная, да ведь я в тот самый день выгнал с работы ученика, который разносил булки! Мальчишку вызвали, и он сознался, что в отместку хозяину сунул эту иглу в булку. Мальчишка был несовершеннолетний и отделался внушением, а пекаря оштрафовали на пятьдесят крон, ибо он отвечает за свой персонал. Вот вам пример того, как точно и досконально действует правосудие.

Но есть и еще одна сторона в этом деле. Не знаю, откуда у нас, у мужчин, такое честолюбие или упрямство. Когда химики в институте занялись опытами с булками, они вбили себе в голову, что должны печь их как заправские пекаря. Сначала булки получались не ахти какие: тесто было с закалом, а булки совсем неаппетитные. Но чем дальше, тем дело шло все лучше. В конце концов эти ученые стали даже посыпать булки маком, солью и тмином и раскатывали тесто так ловко, что любо-дорого поглядеть. И они с гордостью говорили, что таких отлично выпеченных и аппетитно хрустящих булок, как у них в институте, не найдешь во всей Праге!

— Вы называете это упрямством, господин Костелецкий, — возразил Лелек. — А по-моему, здесь, скорее, сказывается спортивный дух — стремление образцово справиться с делом. Настоящий мужчина гонится не за результатом, которому, может быть, грош цена. Ему важна сама игра, знаете ли, этакий азарт при достижении цели... Я приведу вам пример, хоть вы и скажете, что это чепуха и не относится к делу.

Когда я еще работал в бухгалтерии и составлял, бывало, полугодовой отчет, подчас случалось, что цифры не сходятся. Однажды в наличности не хватило трех геллеров. Конечно, я мог просто положить в кассу эти три геллера, но это была бы неправильная игра. С бухгалтерской точки зрения это было бы неспортивно. Надо найти, в каком счете допущена ошибка, а счетов у нас было четырнадцать тысяч. И скажу вам, когда я брался за баланс, мне всегда хотелось, чтобы там обнаружилась какая-нибудь ошибка. Тогда я, бывало, оставался на

службе хоть на всю ночь. Положу перед собой кучу бухгалтерских книг и берусь за дело. И для меня колонки цифр становились не цифрами, они преображались просто необыкновенно. То мне казалось, что я карабкаюсь по этим колонкам вверх, словно на крутую скалу, то я спускаюсь по ним, как по лестнице, в глубокую шахту. Иногда я чувствовал себя охотником, который продирается сквозь чащу цифр, чтобы изловить пугливого и редкого зверя — эти самые три геллера. Или мне казалось, что я сыщик и, стоя за углом, подстерегаю преступника. Мимо проходят тысячи фигур, но я жду своей минуты, чтобы схватить за шиворот жулика — этого злодея — бухгалтерскую ошибку! Еще, бывало, мне мерещилось, что я рыболов и сижу на берегу с удочкой: вот-вот дерну за нее и... ага, попалась бестия. Но чаще всего я воображал себя охотником, который бродит по горам, по долам, среди росистых кустиков черники. И до того мне в такие минуты становилось хорошо от этого ощущения движения и силы, такое я чувствовал вокруг себя волнующее приволье, словно и в самом деле переживал необыкновенное приключение. Целыми ночами я мог охотиться за тремя геллерами, и когда находил их, то даже не думал, что это всего лишь жалкие гроши. Это была добыча, и я шел спать, торжествующий и счастливый, и чуть не валился в сапогах на постель. Вот и все.

Телеграмма

— Это так только говорится — пустяки, — рассудил пан Долежал. — По моим наблюдениям, естественно и непринужденно люди ведут себя лишь до тех пор, пока речь идет именно об этих незначительных и будничных вещах, а стоит им оказаться в исключительной, патетической ситуации, тут их словно кто подменяет; и говорить-то они начинают необыкновенным, я бы сказал, драматическим голосом, и слова употребляют высокие, и доводы, и чувства у них прорываются какие-то ненормальные; откуда-то берется у них отвага, властность, самоотверженность и прочие характерные свойства натуры героического склада. Впечатление такое, словно они надыша-

лись озона и теперь не могут не делать широких жестов; вполне возможно, что они даже испытывают некое удовольствие, очутившись в необычайной и трагической ситуации. У них словно распрямляются плечи, они будто любуются собой, короче, люди начинают вести себя как герои на сцене. А лишь только эта драматическая обстановка разрядится, они тоже возвращаются к обычным своим привычкам, но потом чувствуют себя малость неловко, словно их обманули и теперь приводят в чувство.

У меня есть кузен, фамилия его Калоус, вполне добропорядочный, лояльный гражданин, этакий почтенный чинуша и глава семейства, немножко тряпка, чуть-чуть педант — одним словом, обыкновенный человек, как и мы все. Жена его, пани Калоусова, добрая и простодушная, добродетельная клуша, послушная жена, домашняя раба, ну и все прочее, что по этому поводу обычно говорится. У них хорошенькая дочь Вера, но в тот момент она как раз находилась во Франции — училась французскому на тот случай, если не выйдет замуж и ей придется сдавать экзамены. Ну и, наконец, сын, оболтус-гимназист, по имени Тонда, отличный форвард и весьма посредственный ученик. Одним словом, приличная, нормальная, дружная семья среднего достатка.

Однажды Калоусовы сидели за обедом, и вдруг кто-то позвонил: пани Калоусова, вытирая руки о передник, отворила двери и говорит оттуда отцу, вся красная от волнения:

— Господи Иисусе, отец, нам телеграмма.

Вы, наверное, знаете, как пугаются женщины при виде телеграмм; тут, наверное, все дело в их душевном устройстве, в привычке ждать ударов судьбы.

— Ну-ну, мамочка, — проворчал пан Калоус, пытаясь сохранить приличествующее ему спокойствие, а у самого руки тряслись, пока телеграмму разворачивал. — От кого бы это могло быть...

Все члены семейства, включая прислугу, замешкавшуюся в дверях, затаив дыхание, уставились на главу семьи.

— Это от Веры, — произнес наконец Калоус каким-то чужим голосом. — Но, черт подери, я не понимаю тут ни одного слова.

— Ну-ка, покажи, — потребовала пани Калоусова.

— Погоди, — строго остановил ее Калоус. — Сумбур какой-то. Значит, так: *Gadete un ucjarc peuige bellevue grenoble vera.*

— Да что же это такое? — вырвалось опять у пани Калоусовой.

— На вот, смотри сама, коли думаешь понять лучше меня, — съязвил Калоус, — ну как, уже разобрала?

Из глаз пани Калоусовой закапали горючие слезы, размывая злополучную телеграмму.

— С нашей Верой что-то случилось, — прошептала она. — Иначе она ни за что бы не послала телеграммы.

— Это мне и без тебя ясно, — выкрикнул Калоус, натягивая пиджак: куда же это годится — в такую ответственную минуту оставаться в одной рубашке?!

— Отправляйтесь на кухню, Андула! — приказал он служанке и потом трагически произнес: — Телеграмма из Гренобля. Скорее всего, Вера с кем-нибудь убежала.

— С кем?! — ужаснулась пани Калоусова.

— А я откуда знаю? — взревел пан Калоус. — Разумеется, с каким-нибудь бездельником, либо художником. Вот она, ваша эмансипация! Именно такого конца я и ждал! Ведь с каким тяжелым сердцем отпускал я ее в этот окаянный Париж! А ты, ты вот все за нее канючила...

— Это я-то канючила! — вскипела пани Калоусова. — Да не ты ли бубнил: дескать, девушке нужно чему-то учиться, чтоб она сама могла себя прокормить.

Пани Калоусова разрыдалась и бессильно опустилась на стул.

— Господи Иисусе, несчастная Вера! Конечно, с ней что-то стряслось... Может, лежит одна, больная...

Пан Калоус в волнении принялся расхаживать по комнате.

— Больная! — вскричал он. — С чего бы это ей заболеть? Лишь бы не пыталась наложить на себя руки! Небось негодяй этот сперва ее совратил, а потом бросил...

Пани Калоусова торопливо начала развязывать фартук.

— Я поеду за ней, — объявила она, подавляя рыдания. — Одну я ее там не оставлю... я...

— Никуда ты не поедешь! — вскричал Калоус.

Пани Калоусова поднялась. Никогда еще не видели ее преисполненной такого достоинства.

— Я *мать,* Калоус, — сказала она. — И я знаю, что велит мне мой долг.

Произнеся эти слова, пани Калоусова с какой-то даже торжественностью удалилась.

Мужчины, то есть Калоус и гимназист Тонда, остались в одиночестве.

— Надо приготовиться к самому худшему, — глухо произнес Калоус. — Может, Веру впутали в дурную историю. Ты матери не говори, но в этот Гренобль поеду я сам.

— Отец, — проговорил Тонда на самых глубоких нотах своего голоса (обычно он называл отца «папой»), — позволь это сделать мне, туда поеду я; я немножко умею по-французски...

— Кто там испугается такого пацана, — заупрямился папаша Калоус. — Но я спасу свою дочь! Отправляюсь ближайшим поездом... Только бы не оказалось слишком поздно!

— Поездом! — усмехнулся Тонда. — Хорошо еще, что ты не хочешь отправиться туда пешком! Если бы ты отпустил *меня, я* полетел бы самолетом до Страсбурга...

— А я, по-твоему, не полечу? — бушевал отец Калоус. — Ну так знай, что я тоже собирался лететь! И этого мерзавца, — произнес он воинственно, грозя кому-то кулаком, — я сотр-р-у в порошок! Бедная девочка!

Тонда положил руку отцу на плечо; это походило прямо-таки на чудо, скажу я вам; мальчик, перенеся внезапный удар, возмужал просто на глазах.

— Отец, — произнес он как можно мягче, — это тебе не по силам, ты уже в возрасте. Положись на меня; ты ведь знаешь, что ради сестры я сделаю все, что только в человеческих силах.

До сих пор, разумеется, младший брат выказывал сестре только свое полное пренебрежение.

Отец Калоус покачал головой.

— Нет, — мрачно сказал он, — это дело *мое.* Дочери не от кого ждать настоящей помощи, кроме как от отца. Я еду, Тонда. А ты пока будешь опорой матери. Знаешь, женщины, они...

Тут в переднюю вошла пани Калоусова, одетая в дорожный костюм. К удивлению, она никак не походила на человека, нуждающегося в опоре и помощи.

— Куда это ты, скажи на милость? — не выдержал Калоус.

— В банк, — отчужденно ответила мужественная женщина, — За *своими* сбережениями. Чтобы поехать *к дочери* за границу.

— Глупости! — взбеленился Калоус.

— Никакие не глупости! — холодно парировала пани Калоусова. — Я знаю, что делаю и зачем.

— Жена, — решительно объявил Калоус, — да будет тебе известно, что к Вере поеду я сам.

— Ты?! — с некоторым даже презрением переспросила пани Калоусова. — Какой там от тебя прок? Да и к чему бы тебе лишать себя привычных удобств? — с убийственной иронией добавила она.

Отец Калоус расправил плечи и побагровел.

— Это уж не твоя забота — будет от меня прок или нет. Я все взвесил и знаю, что там *может* произойти. Я готов ко всему. Передай прислуге, чтоб она собрала мне чемоданчик, ладно?

— Я же тебя знаю, — возражала пани Калоусова. — Начальник не даст тебе разрешения — и никуда ты не поедешь.

— Чихал я на начальника, — разбушевался Калоус. — Плевать мне на службу! Пусть выгоняют! Уж как-нибудь перебьюсь и без них! Я всю жизнь посвятил семье, принесу ей и эту жертву, понятно?!

Пани Калоусова присела на краешек стула.

— Муж, ты все-таки возьми в толк, — сокрушенно проговорила она, — о чем теперь идет речь! Ведь я еду ухаживать за больной! У меня такое предчувствие, будто Вера — на грани жизни и смерти! Я обязана быть возле нее...

— А у меня такое предчувствие, — воскликнул Калоус, — что она — в лапах какого-то прохвоста. Если бы хоть знать, что там, в телеграмме, можно бы подготовить себя...

— ...к самому худшему... — всхлипнула пани Калоусова.

— Не исключено и такое, — угрюмо согласился Калоус. — Я просто боюсь и подумать, о чем, собственно, эта телеграмма.

— Послушай, — неуверенно предложила пани Калоусова, — а может, спросить пана Горвата?

— О чем нам его спрашивать? — удивился Калоус.

— Ну, что там, в телеграмме, написано. Ведь пан Горват разгадывает всякие шифры...

— Пожалуй, — облегченно вздохнул Калоус. — Он вполне может разгадать! Андула! — гаркнул глава семьи, — бегите на шестой этаж к пану Горвату, передайте, хозяева, мол, очень просят зайти!

Во избежание недоразумений, сразу же поясню, что этот пан Горват служит в нашей разведывательной службе; главная его забота — дешифровка тайнописи. Говорят, что в своем деле он чуть ли не гений, этот пан Горват, и, если ему дать время, он разгадает любые знаки; только это очень уж кропотливая работа, поэтому все они, дешифровщики, как бы малость не в себе.

Так вот, значит, вскоре пан Горват заглянул к Калоусовым; к слову сказать, был это тщедушный, нервный человек, и от пего страшно пахло чем-то вроде нафталина.

— Пан Горват, — начал Калоус, — я тут получил одну странную телеграмму; вот мы и подумали, не будете ли вы так любезны...

— Покажите, — попросил пан Горват, прочитал телеграмму да так и остался сидеть, полуприкрыв глаза. Воцарилась гробовая тишина.

— Так-так, — немного погодя раздался голос Горвата, — а от кого телеграмма?

— От нашей дочери Веры, — пояснил Калоус. — Она учится во Франции.

— Ага, — отозвался пан Горват и встал. — Тогда пошлите ей телеграфом двести франков или около того в отель «Бельвю» в Гренобле — и все.

— Вы разобрали телеграмму? — выдавил Калоус.

— Какое там, — буркнул пан Горват. — Никакой это не шифр, а просто — искажение текста. Но посудите сами, о чем может телеграфировать молодая девушка? Наверное, потеряла сумочку с деньгами. Всякое бывает.

— А не могло ли... не могло ли в телеграмме содержаться чего-нибудь более страшного? — с сомнением спросил Калоус.

— Да почему в ней должно быть что-нибудь более страшное? — возразил удивленный пан Горват. — Послушайте, ведь чаще всего случаются вполне обычные вещи. Да и сумочки эти никуда не годятся...

— Так благодарствуйте, пан Голуб, — сухо поблагодарил пан Калоус.

— Не на чем, — буркнул пан Горват и удалился.

В квартире Калоусов на некоторое время воцарилась тишина.

— Послушай, — смущенно обратился Калоус к жене. — Не очень-то он мне нравится, этот Горват; гм... грубиян какой-то...

Пани Калоусова расстегивала крючки и пуговки своего выходного платья.

— Он гадкий, — ответила она. — Ты пошлешь Вере деньги?

— Ничего не поделаешь — пошлю, — разворчался Калоус. — Гусыня несчастная, потерять сумочку, а? Что, деньги-то у меня — ворованные? Влепить бы ей пару...

— Я жмусь как последняя дура, — добавила в сердцах пани Калоусова, — а наша фрейлейн не может быть поосмотрительней... Горе мне с этими детьми...

— А ты что глазеешь по сторонам, садись за книги, лентяй! — прикрикнул Калоус на Тонду и поплелся на почту. Никогда еще он не испытывал такой досады, как сейчас. А Горвата с тех пор считал циником, неделикатным и прямо-таки непорядочным человеком, словно тот нанес ему смертельное оскорбление.

Человек, который не мог спать

— Раз уж пан Долежал завел речь о расшифровке, — молвил пан Кавка, — то я вспомнил об одной шутке, которую однажды подстроил коллеге Мусилу. Этот самый Мусил — необыкновенно образованный и субтильный человек, этакий тип интеллектуала: во всем он видит проблемы и ищет свою точку зрения на них. У него, например, есть точка зрения и на собственную жену, и живет он не в супружестве, а в проблеме супружества; кроме того, он решает социальную проблему, половой вопрос, проблему подсознания, проблему воспитания, кризис сегодняшней культуры и целый ряд других проблем. Люди, которые всюду находят проблемы, столь же невыносимы, как и те, у кого есть принципы. Я не люблю проблем,

для меня яйцо есть яйцо, и если кто начнет говорить о проблеме яйца, то я подумаю, что яйцо тухлое. Это я к тому, чтобы вы знали, что за человек мой коллега Мусил.

Однажды перед рождеством он решил поехать кататься на лыжах в Крконоши, и так как ему надо было еще что-то купить, то он сказал, что вернется позднее попрощаться с нами. Тем временем к нам заглянул доктор Мандел, знаете, известный публицист, тоже большой чудак, и говорит, что ему необходимо потолковать с паном Мусилом.

— Мусила нет, — говорю я, — но, вероятно, он еще зайдет сюда перед отъездом; подождите.

Доктор Мандел выразил досаду.

— Ждать я не могу, — сказал он, — но я напишу ему записочку о том, зачем он мне нужен.

Тут он сел за стол и начал писать.

Не знаю, видел ли кто-нибудь из вас более неразборчивый почерк, чем почерк доктора Мандела. Он похож на запись сейсмографа — такая длинная прерывистая линия, которая местами то вдруг пойдет мелкой дрожью, то резко подскочит. Я-то почерк Мандела знал хорошо и просто смотрел, как его рука скользит по бумаге. Вдруг доктор Мандел нахмурился, нетерпеливо скомкал бумагу, бросил в корзину и встал.

— Нет, слишком долго писать, — пробормотал он — и был таков.

Сами понимаете, в канун рождества не хочется заниматься серьезной работой; и вот я сел за стол и начал выводить на листке сейсмографические кривые: длинные ломаные линии, которые то резко подпрыгивали, то стремительно падали, следуя только моей прихоти. Поразвлекавшись таким образом, я положил листок на стол Мусилу. И тут как раз он вбежал, уже в спортивном костюме, с лыжами и палками на плече.

— Ну, я поехал! — радостно крикнул он еще с порога.

— Тут приходил какой-то господин, спрашивал вас, — невозмутимо сообщил я ему. — Он оставил вам письмо, по его словам, важное.

— Где оно? — живо отозвался Мусил. — Ну и ну, — он слегка смутился при виде моего творения. — Это от доктора Мандела, что же он от меня хочет?

— Не знаю, — проворчал я неприветливо, — он очень спешил; но, знаете, не хотел бы я расшифровывать его почерк.

— Я его закорючки умею читать, — заявил Мусил легкомысленно, поставил лыжи с палками в угол и сел за стол.

— Гм, — произнес он через минуту, став чрезвычайно серьезным.

Полчаса прошло в гробовом молчании.

— Так, первые два слова есть! — вздохнул наконец Мусил, вставая. — Они означают: «Дорогой коллега». Но теперь мне пора бежать на станцию. Я эту записку возьму с собой и расшифрую ее в дороге, чего бы мне это ни стоило.

После Нового года он вернулся с гор.

— Ну, как вы провели время? — спрашиваю. — Сейчас, наверно, в горах красота, не правда ли?

Он только рукой махнул:

— Даже не знаю! Признаюсь, я все время просидел, не высовывая носа на улицу, в номере гостиницы; но все говорили, что там великолепно.

— В чем же дело? — спросил я участливо. — Вы болели?

— Да нет, — ответил Мусил с напускной скромностью, — я все время расшифровывал письмо Мандела; и если хотите знать, я его все-таки расшифровал! — заявил он победоносно. — Только два-три слова не смог прочесть. Я бился над ним все дни и ночи, но я твердо решил расшифровать его, и я это сделал.

У меня не хватило духу сказать ему, что записка — всего лишь мои досужие упражнения.

— А записка была такой уж серьезной? — спросил я с участием. — Стоила она, по крайней мере, такого труда?

— Это не важно, — гордо ответил Мусил, — меня это интересовало скорее как графологическая проблема. Доктор Мандел просит меня написать за две недели статью в его журнал, но вот о чем, — этого я как раз и не смог разобрать; затем он желает мне весело провести праздники и хорошенько отдохнуть в горах. В общем, пустяки; зато разрешение этой проблемы, сударь, было твердым методологическим орешком и незаменимой тренировкой для ума. Ради этого стоило провести несколько бессонных ночей.

* * *

— Вы не должны были так поступать, — заметил укоризненно пан Паулюс. — Черт с ними с несколькими днями, но жаль бессонных ночей. Сон, сударь мой, не только отдых для тела; сон — это вроде очищения и прощения за прошедший день. Сон — особая милость; и первые несколько минут после хорошего сна всякая душа чиста и невинна, как дитя.

Я это знаю, потому что было время, когда я лишился сна. Вероятно, это было следствием беспорядочной жизни, или что-то во мне разладилось, не могу сказать; но стоило мне лечь в постель и ощутить под веками первое щекотание сонливости, во мне что-то как бы щелкало, и я часами лежал и таращился в темноту, пока не начинало светать. Я мучился год — год без сна.

Когда вот так не можешь уснуть, сначала стараешься ни о чем не думать; поэтому начинаешь считать или молиться. И вдруг всплывает мысль: боже мой, вчера я забыл сделать то-то и то-то! Потом приходит в голову, что, кажется, тебя надули в лавочке, когда ты расплачивался. Затем вспомнишь, что жена или приятель намедни ответили тебе как-то странно. Тут в доме что-то скрипнет, и ты думаешь, что это вор, и тебя бросает в жар от страха. Но как только поддаешься страху, то начинаешь анализировать свое физическое состояние и, взмокнув от ужаса, вспоминаешь, что тебе известно о нефрите или о раке. Без всякого повода вдруг мелькнет воспоминание о постыдной глупости, которую ты совершил двадцать лет назад, но тебя и сейчас еще прошибает пот уже от стыда. Слово за словом ведешь ты очную ставку с этим странным, неотвязным и неискупленным «я»; со своей слабостью, собственной грубостью и мерзостью, с недугами и обидами, глупостями, конфузами и страданиями, давно отошедшими в прошлое. И возвращается к тебе все мучительное, болезненное и унизительное, что ты когда-либо испытал; нет пощады тому, кто не может спать. Весь твой мир искажается и обретает тягостную перспективу; дела, о которых ты только-только забыл, ухмыляются тебе, словно говоря: болван, хорошо же ты тогда поступил; а помнишь, как твоя первая любовь, когда тебе было четырнадцать лет, не пришла на свидание. Так вот знай: она тогда целовалась с другим, с твоим приятелем Войтой, и они

смеялись над тобой! Эх ты, дурень, дурень, дурень! — И ты ворочаешься в жаркой постели и хочешь уговорить себя: черт возьми, да мне до этого давно нет дела! Что было, то сплыло, и точка. А я скажу вам, это не так. Все, что *было*, — есть. Продолжает существовать даже то, что ты уже не помнишь. Я считаю, что память живет и после смерти.

Вы, друзья, меня немного знаете. Знаете, что я не бука и не ипохондрик, не какой-нибудь бирюк, нытик, брюзга, недотрога, ворчун, кисейная барышня, нелюдим и пессимист. Я люблю жизнь и людей, и самого себя, берусь за все сплеча, люблю помериться силами с трудностями; короче, толстокож, как оно и подобает мужчине. Но когда я лишился сна, днем я мотался напропалую, знай поворачивался, спешил от задачи к задаче; вы знаете, я пользуюсь счастливой репутацией весьма деятельного человека. Но едва ночью я ложился в постель и начиналась бессонница, как жизнь моя раздваивалась. Там была жизнь дельного, удачливого, самоуверенного и здорового человека, у которого все спорится благодаря энергии, смекалке и бессовестному везению. Здесь, в постели, лежал человек затравленный, который со страхом осознавал свои неудачи, позор, непорядочность и все, что было унизительного в его жизни. Я жил двумя жизнями, которые почти не соприкасались и были до ужаса не похожи одна на другую. Дневная — складывавшаяся из успехов, деятельности, взаимоотношений с людьми и доверия, из забавных препятствий и вполне нормальных чудачеств, — жизнь, в которой я по-своему был счастлив и доволен собой. По ночам развертывалась другая жизнь, сотканная из боли и растерянности: жизнь человека, которому ни в чем не везет; человека, которого все предали и который сам относился к людям глупо, малодушно и скверно; человека, разочарованного во всем, трагической марионетки, которую все ненавидят и обманывают; человека слабого, который все проиграл и, шатаясь, бредет от позора к позору. Каждая из этих жизней была сама по себе последовательной, связной и цельной; когда я пребывал в одной из них, мне казалось, что другая жизнь принадлежит кому-то еще, что она меня не касается или что она лишь мнится; что она — самообман и болезненная иллюзия. Днем я любил, ночью подозревал и ненавидел.

Днем я жил жизнью, обычной для нас, людей; ночью я жил самим собой. Кто думает о себе, теряет мир.

И вот мне кажется, что сон — это как бы темная и глубокая вода. Она уносит все, о чем мы не знаем и не должны знать. Странный осадок печали, который образуется в нас, вымывается и уплывает в это безбрежное море подсознания. Наши дурные и трусливые поступки, все паши обыденные и постыдные грехи, унижающие нас глупости и неудачи, секунды лжи и нелюбви, все то, в чем провинились мы, и то, в чем другие виноваты перед нами, — все это тихонько утекает куда-то за пределы сознания. Сон безгранично милосерден: он прощает нас и виновных перед нами.

И вот я скажу вам: то, что мы называем нашей жизнью, — еще не все, что нами прожито; это лишь часть жизни. Того, чем мы живем, слишком много, больше, чем способен вобрать наш разум. Поэтому мы лишь отбираем то или другое, что нам подходит, и кое-как сплетаем из отобранного упрощенное действо; и это сплетение мы называем жизнью. Но сколько мы при этом оставляем в стороне, сколько обходим странных и страшных вещей, боже ты мой! Если бы люди осознали это! Но мы способны жить лишь одной упрощенной жизнью. Прожить и пережить больше было бы свыше наших сил. У нас не достало бы мочи вынести жизнь, если бы большую часть ее мы не теряли по дороге.

Коллекция марок

— Да, это, конечно, святая правда, — сказал старый пан Карас. — Как покопаешься в своем прошлом, так и поймешь, что в нем достаточно материала для совсем других жизней. Однажды... по ошибке или по склонности... ты выбираешь одну из них и ведешь ее до конца; но хуже всего, что те, другие, те возможные жизни не совсем отошли в небытие. И порой случается, что ты ощущаешь в них боль, как в отнятой ноге.

Когда мне было лет десять, я начал коллекционировать марки; папе это не нравилось, он думал, что я из-за этого буду плохо учиться; но у меня был товарищ Лойзик

Чепелка, с которым мы и предавались филателистической страсти. Лойзик был сыном шарманщика, такой взъерошенный, как воробей, вихрастый и веснушчатый мальчишка, и я любил его, как только дети умеют любить товарища. Знаете, я старый человек, у меня были жена и дети, и я скажу вам — никакое чувство не бывает столь прекрасным, как дружба. Но на это человек способен лишь в молодости; позже он как-то черствеет и думает больше о себе. Такая дружба рождается от чистейшего восторга и восхищения, от избытка жизненных сил, богатства и безмерности чувства; в тебе его столько, что ты должен кому-нибудь его подарить. Мой отец был нотариус, глава местной знати, весьма почтенный и строгий господин; а я всем сердцем привязался к Лойзику, чей отец был пьяным шарманщиком, а мать — забитой прачкой, и этого Лойзу я почитал как святого, преклонялся перед ним за то, что он более ловок, чем я, что он удачливый, самостоятельный и выносливый, что нос у него в веснушках и что он мог бросать камни левой рукой, — в общем, не помню, как много всего я в нем любил; бесспорно, это была самая большая любовь моей жизни.

Так вот этот Лойзик стал хранителем моей тайны, когда я начал собирать марки. Здесь кто-то сказал, что только мужчины понимают, что такое коллекционирование, и это верно; я думаю, в нас живет некий атавизм или инстинкт, сохранившийся с тех времен, когда мужчина коллекционировал головы врагов, захваченное оружие, медвежьи шкуры, оленьи рога и вообще все, что становилось его добычей. Но коллекция марок — это не просто собственность, это — вечное приключение; ты как бы с трепетом прикасаешься к краешку далекой страны, скажем, Бутана, Боливии или мыса Доброй Надежды; просто у тебя с этими чужедальними землями возникает что-то вроде личной, интимной связи. В общем, есть в коллекционировании марок некий мотив путешествий и мореплавания, короче, этакой всеобщей мужской тяги к приключениям. Это все равно как некогда с крестовыми походами...

Как я уже говорил, моему отцу это не нравилось; отцы обычно не любят, когда их сыновья заняты не тем, чем они сами; я, господа, так же относился к моим сыновьям. Отцовство — вообще некое смешанное чувство;

есть в нем великая любовь, но и какая-то предвзятость, недоверие, враждебность — не знаю, как это выразить; чем больше любишь своих детей, тем сильнее это другое чувство. Короче, мне с моей марочной коллекцией приходилось прятаться на чердаке, чтобы отец ни о чем не догадался; на чердаке стоял старый ларь из-под муки, и мы залезали в него, как два мышонка, и показывали друг другу марки: смотри, вот это Нидерланды, это Египет, а тут Swerige, то есть Швеция. И в том, что нам приходилось прятать наши сокровища, было нечто до греховности прекрасное. А добывать эти марки было еще одним приключением; я ходил по знакомым и незнакомым семьям и клянчил марки со старых писем. В некоторых домах, где-нибудь на чердаке или в секретере, хранились полные ящики старых документов; самые блаженные часы я проводил, сидя на полу и перебирая пропыленные кипы бумаг в поисках экземпляра, какого у меня еще не было, — видите ли, по глупости, я не собирал дубликатов; и если мне попадалась старая Ломбардия или какое-нибудь из немецких маленьких княжеств или вольных городов — я испытывал прямо мучительную радость, — ведь всякое безмерное счастье причиняет сладкую боль. А Лойзик поджидал меня на улице, и когда я наконец выходил, то еще с порога шептал ему: «Лойза, Лойзик, там был один Ганновер!» — «Взял?» — «Ага!» И мы мчались с добычей домой, к тайнику.

В нашем городе были текстильные фабрики, выпускавшие низкие сорта джутовых, бязевых, ситцевых тканей и прочую хлопчатобумажную ерунду, все это производилось для цветных племен всего земного шара. И мне разрешили приходить на фабрики и искать марки в корзинах для бумаг; здесь были мои самые богатые охотничьи угодья: тут я находил Сиам и Южную Африку, Китай, Либерию, Афганистан, Борнео, Бразилию, Новую Зеландию, Индию, Конго, — не знаю, звучат ли еще для вас эти названия как нечто таинственное и желанное. Господи, какая радость, какая невероятная радость найти марку хотя бы из Straits Settlements. Или — Корея, Непал! Новая Гвинея! Сьерра-Леоне! Мадагаскар! Послушайте, такой восторг может понять только охотник, искатель кладов или археолог среди своих раскопок. Искать и найти — вот величайшее напряжение и удовлетворение,

какое только может дать человеку жизнь. Каждому человеку следовало бы что-нибудь искать; если не марки, то — истину или волшебный цвет папоротника, а то хотя бы каменные наконечники стрел и урны.

Да, это были прекраснейшие годы моей жизни, когда я дружил с Лойзиком и собирал марки. Но вот я заболел скарлатиной, и Лойзика не пускали ко мне, хотя он торчал у нас в коридоре и насвистывал, чтобы я его слышал. Как-то раз за мной не уследили, что ли; в общем, я удрал из постели и — шасть на чердак посмотреть свои марки. Я так ослабел, что с трудом поднял крышку ларя. Но ларь был пуст; коробка с марками исчезла.

Я не в силах описать вам мою боль и ужас. Вероятно, я стоял там, словно окаменев, и не мог даже плакать, так у меня сжалось горло. Во-первых, ужасно было потерять марки, мою величайшую радость; но еще страшнее было сознание, что, воспользовавшись моей болезнью, их, наверное, украл Лойзик, мой единственный друг. То был ужас, разочарование, отчаяние, скорбь, — знаете, просто поразительно, до чего сильны переживания ребенка. Как я спустился с чердака, я уже не помню; только после этого я снова слег, метался в жару, а в минуты облегчения все думал, думал... Ни отцу, ни тете я не сказал ни слова — матери у меня уже не было; я знал, что они совершенно меня не понимают, и это как-то отдаляло меня от них; с того времени я уже никогда не питал к ним горячей детской привязанности. Измена Лойзика оказалась для меня чуть ли не смертельным ударом; это было мое первое и самое страшное разочарование в человеке. Нищий, говорил я себе, Лойзик — нищий и поэтому ворует; вот тебе за то, что ты дружил с нищим. Это ожесточило меня; с тех пор я стал делать различия между людьми — я утратил состояние социальной невинности; однако тогда я не понимал еще, сколь глубоко было потрясение и сколь многое во мне рухнуло.

Пересилив болезнь, я пересилил и боль от потери марочной коллекции. Только еще кольнуло в сердце, когда я увидел, что Лойзик тем временем завел новых товарищей; но, когда он прибежал ко мне, слегка смущенный после долгой разлуки, я сказал ему сухо и по-взрослому: «Катись, я с тобой не разговариваю!» Лойзик покраснел и не сразу ответил: «Ну и ладно!» С того времени он упорно, по-пролетарски ненавидел меня.

Именно это событие и повлияло на всю мою жизнь, на мой выбор жизни, как выразился бы пан Паулюс. Мой мир, если можно так сказать, был осквернен, я перестал доверять людям; научился ненавидеть их и презирать. Больше не было у меня друга; и когда я стал взрослеть, то начал даже гордиться тем, что мне никто не нужен и я никому ничего не прощаю. Потом я стал замечать, что меня никто не любит, и сам тоже стал презирать любовь и всякие сантименты. Так и вышел из меня высокомерный, честолюбивый, педантичный — одним словом, корректный человек; к подчиненным я относился зло, без жалости, женился без любви, детей воспитывал в трепете и страхе и своим прилежанием и добросовестностью добился немалых успехов. Такова была моя жизнь, вся жизнь; я не уделял внимания ничему, кроме своих обязанностей. И когда я почию в бозе, в газетах напишут, какой я был заслуженный работник и примерный человек. Но если бы люди знали, сколько во всем этом одиночества, недоверия и ожесточенности...

Три года назад умерла моя жена. Я не признавался ни себе, ни людям, но мне было невыносимо грустно; и от тоски я начал перебирать семейные реликвии, оставшиеся после отца и матери: фотографии, письма, мои старые тетради... У меня перехватило горло, когда я увидел, как заботливо мой строгий отец все это складывал и сохранял; вероятно, он все-таки любил меня. Этими вещами был забит целый шкаф на чердаке; и на дне одного ящика я нашел шкатулку, запечатанную печатями отца; я открыл ее — в ней лежала та самая коллекция марок, которую я собирал пятьдесят лет назад.

Не буду скрывать — у меня ручьем хлынули слезы, и эту шкатулку я отнес в свою комнату как некое сокровище. Значит, *вот как было дело,* понял я тогда. Значит, когда я болел, кто-то нашел мою коллекцию, и отец ее конфисковал, чтобы я из-за нее не запускал учебу. Ему не следовало этого делать; но и тут сказалась его строгая забота и любовь; не знаю отчего, но мне стало жаль и его и себя.

А потом пришла мысль: значит, Лойзик не крал этих марок. Господи боже, как я был к нему несправедлив. И встало передо мной лицо этого веснушчатого и вих-

растого уличного *мальчишки*, — бог весть, что с ним случилось, и жив ли он еще! Ах, как мне было мучительно стыдно, когда я все это восстанавливал в памяти. Только из-за несправедливого подозрения я потерял единственного товарища; из-за этого я лишился детства. Стал презирать бедных, вел себя высокомерно; поэтому я уже ни с кем близко не сошелся. По одной только этой причине я всю жизнь не мог смотреть на почтовые марки без неприязни и отвращения и никогда не писал писем своей невесте, а затем жене, маскируясь тем, что стою выше проявления чувств; и моя жена страдала от этого. Вот почему я был так жесток и замкнут. Поэтому, только поэтому я сделал такую карьеру и столь образцово выполнял свои обязанности...

— Я пересмотрел всю свою жизнь, и вдруг она показалась мне пустой и бессмысленной. Ведь я мог жить совершенно иначе — пришло мне в голову. Если бы этого не *случилось*, — ведь во мне было столько жару и любви и приключениям, столько страсти и благородства, фантазии и доверчивости, столько удивительных и могучих дарований. Боже мой, да я мог быть совсем другим человеком — путешественником, актером или военным! Я мог любить людей, выпивать с ними, понимать их, мало ли что еще! Во мне словно таял некий лед. Я перебирал марку за маркой. Здесь были все они — Ломбардия, Куба, Сиам, Ганновер, Никарагуа, *Филиппины*, — все страны, в которые я тогда хотел поехать и которых уже не увижу. В каждой марке заключалась частица того, что могло быть и чего не случилось. Я просидел над ними всю ночь и судил свою жизнь. Я видел, что это была какая-то чужая, искусственная, безличная жизнь, а моя настоящая жизнь так и не осуществилась... — Пан Карас махнул рукой. — Как подумаю, чем только я мог стать и как я был несправедлив к Лойзику...

Слушая эту речь, патер Вовес вконец опечалился и разжалобился, — скорее всего, тоже вспомнил что-нибудь из собственной жизни.

— Пан Карас, — сказал он растроганно, — не стоит об этом думать; что толку, теперь уж поправить ничего невозможно, невозможно начать жизнь сызнова...

— *Невозможно*, — вздохнул пан Карас, слегка покраснев. — Но знаете, по крайней мере — по крайней мере, я снова начал собирать марки!

Обыкновенное убийство

— Я часто думал, — заметил пан Ганак, — почему несправедливость кажется нам хуже любого зла, которое можно причинить людям. Ну, например, если бы мы узнали, что одного невинного человека посадили в тюрьму — это тревожило бы и мучило нас больше, чем то, что тысячи людей живут в нужде и страданиях. Я видел такую нищету, что всякая тюрьма по сравнению с ней просто роскошь; и все же самая страшная нищета не так ранит нас, как несправедливость. Я бы сказал, что в нас есть некий юридический инстинкт; и виновность и невиновность, право и справедливость — столь же первичные, страшные и глубокие чувства, как любовь и голод.

Возьмите хотя бы такую историю. Четыре года я и кое-кто из вас пробыли на войне; не станем говорить, что мы там видели, но вы согласитесь, что наш брат там ко многому попривык: например, к трупам. Я видел сотни и сотни мертвых молодых людей, порой страшно обезображенных, можете мне поверить; и, признаюсь, к подобным зрелищам стал настолько безразличен, как если бы передо мной разложили старые тряпки, только бы они не воняли. Я лишь одно говорил себе — дружище, если ты выберешься из этой мясорубки цел и невредим, то уж ничто в жизни не сможет тебя потрясти.

Приблизительно через полгода после войны я как-то был дома в Слатине; однажды утром кто-то стучит в мое окно:

— Пан Ганак, идите посмотрите, убили пани Туркову!

У пани Турковой была маленькая лавчонка, где продавались писчебумажные товары и нитки; никто никогда ее не замечал, разве только кто зайдет когда-нибудь купить катушку ниток или рождественскую открытку. Из лавочки стеклянная дверь вела в кухоньку, где панн Туркова и спала; на двери висела занавеска, и когда звякал колокольчик, пани Туркова выглядывала из-за этой занавески, чтобы посмотреть, кто это пришел, вытирала руки фартуком и входила в лавочку. «Что вам угодно?» — спрашивала она недоверчиво; у посетителя возникало ощущение, что он непрошеный гость, и всякий старался поскорее убраться. Похоже на то, будто вы приподняли

камень и увидели, как мечется в сырой впадине одинокий перепуганный жук; и вы поскорее опустите этот камень на место, лишь бы противный жук успокоился.

Услышав эту новость, я побежал посмотреть, скорее всего, из обычного любопытства. Перед лавчонкой пани Турковой народу собралось, что пчел у летка; но полицейский впустил меня внутрь — из уважения к образованному человеку. В тишине звякнул колокольчик — как всегда, но сейчас от этого звонкого, четкого звука мороз подрал по коже; очень уж не соответствовал он обстановке. На пороге кухни лежала лицом вниз пани Туркова, и у головы ее застыла почти черная лужа крови; белые волосы слиплись от спекшейся крови. В этот момент я вдруг ощутил то, чего не знал на войне; ужас оттого, что человек мертв.

Странно, о войне я уже почти забыл; человечество о ней тоже понемногу забывает, и, вероятно, поэтому когда-нибудь должна будет разразиться новая война. Но эту убитую старуху, эту никому не нужную мелкую лавочницу, которая не умела толком продать даже открытку, я не забуду никогда. Убитый — это не то, что умерший, в нем какая-то страшная тайна. Я, представьте себе, не мог понять, зачем убили именно пани Туркову, такую обыкновенную, неинтересную личность, на которую никто никогда не обращал внимания; и как же получилось, что поза, в которой она лежит, исполнена такого пафоса, и склоняется над ней полицейский, и снаружи толпится множество народу, только бы увидеть хоть уголком глаза пани Туркову. Если можно так сказать, бедняжка никогда не пользовалась таким вниманием, как теперь, когда она лежала, уткнувшись лицом в черную кровь. Она словно внезапно приобрела странную и страшную значительность. Никогда я не замечал, как она одета и как, собственно, выглядит; но теперь я будто смотрел на нее через стекло, увеличивающее все безмерно и чудовищно. На одной ноге у нее была домашняя туфля; второй туфли не было, и на пятке чулка виднелась штопка — я видел каждый стежок, и мне было страшно, словно и этот жалкий чулок был убит. Пальцы одной руки вцепились в пол — и рука эта была сухая и бессильная, как птичья лапка; но страшнее всего была седая косичка на затылке убитой, потому что она была тщательно заплетена и поблескивала среди дорожек спекшейся крови, как старое

олово. У меня было ощущение, что я никогда не видел ничего жалостнее этой окровавленной женской косицы. Струйка крови запеклась за ухом; над ней светилась серебряная сережка с голубым камешком. Это было невыносимо, у меня тряслись ноги.

— Господи! — произнес я.

Полицейский, который искал что-то на полу кухни, выпрямился и посмотрел на меня; он был бледен, как перед обмороком.

— Послушайте, — выдавил я из себя, — вы были на войне?

— Был, — хрипло ответил полицейский. — Но это — совсем не то. Взгляните-ка, — вдруг добавил он, показывая на занавеску двери; она была смята и испачкана; очевидно, убийца вытер ею руки.

— Иисусе Христе! — вырвалось у меня; не знаю, что здесь было так ужасно — представление о руках, липких от крови, или то, что эта занавесочка, чистенькая занавесочка тоже сделалась жертвой преступления. Не знаю, но в эту минуту в кухоньке долгой трелью залилась канарейка. Послушайте, этого я уже не мог выдержать, — в ужасе выбежал вон и, наверное, был бледнее полицейского.

Потом я долго сидел у нас во дворе на оглобле телеги, пытаясь собраться с мыслями. Дуралей, говорил я себе, ведь это — обыкновенное убийство! Ты что, не видел крови? Или не был заляпан собственной кровью, как свинья грязью? Не ты ли кричал своим солдатам, чтобы они быстрее копали яму для ста тридцати убитых? Сто тридцать трупов в ряд занимают немало места, даже если сложить их тесно, как дранку... И ты расхаживал вдоль этого ряда, курил сигареты и орал на команду: «Давай, давай, кончай поскорее!» Разве не ты видел столько мертвых, столько мертвых...

То-то и оно, ответил я себе, я видел множество трупов; но не видел одного-единственного Мертвого; не опускался перед ним на колени, чтобы заглянуть ему в лицо и коснуться его волос. Мертвый страшно тих; с ним надо быть наедине... и даже не дышать... чтобы понять его. И каждый из этих ста тридцати собрал бы все силы и сказал тебе: «Господин лейтенант, они убили меня; посмотрите на мои руки, ведь это руки человека!» Но все мы отворачивались от этих мертвых; если уж пришлось

воевать — нельзя слушать убитых. Господи, надо бы, чтобы вокруг каждого погибшего толпились люди, как пчелы у *летка*, — мужчины, женщины, *дети*, — чтобы увидеть с содроганием хотя бы часть его тела; хоть ногу в солдатском сапоге или окровавленные волосы... Тогда, пожалуй, всего этого не должно было бы быть. Тогда и не могло бы этого быть!

Я похоронил матушку: она выглядела так торжественно, так примиренно и достойно в красивом гробу. Она была странной, но не страшной. Но это, это — совсем не то, что смерть; убитый — не мертвый; убитый обвиняет, как если бы он кричал от великой, невыносимой боли. Мы это знаем, я и этот полицейский; мы знаем — в этой лавчонке витал призрак. Тогда-то я начал догадываться. Не знаю, может, у нас и нет души; но есть в нас нечто бессмертное, как инстинкт справедливости. Я ничуть не лучше любого другого человека, но есть во мне что-то такое, что принадлежит не мне одному, — некое представление о каком-то строгом и высоком законе. Я знаю, что неточно выразился; но в ту минуту я понял, что такое преступление и что такое оскорбление бога. Знайте: убитый человек — это обесчещенный и разоренный храм.

* * *

— А что, — промолвил пан Добеш, — убийцу поймали?

— Поймали, — ответил пан Ганак, — и я его видел, когда спустя два дня полицейские вели его из лавочки, где он был допрошен, как говорится, на месте преступления. Видел я его, может, всего секунд пять, но опять как бы под некоей чудовищно увеличивающей лупой. Это был молодой парень в наручниках, и он так странно спешил, что полицейские едва поспевали за ним. На носу у него выступил пот, глаза вытаращены, и он так испуганно моргал, — видно было, что он испытывает безмерный страх, словно кролик во время вивисекции. До смерти не забуду его лица. Очень тягостно и скверно было у меня на душе после этой встречи. Теперь его будут судить, думал я, и провозятся несколько месяцев, чтобы приговорить к смерти. В конце концов я понял, что мне, собственно, жаль его и что я, пожалуй, почувствовал бы облегчение, если бы он как-нибудь выпутался. Не то, чтобы у него была симпатичная внешность, скорее, наоборот; но я видел

его слишком близко — я видел, как он моргает от страха. Черт побери, я ведь не кисейная барышня, но вблизи — это был не убийца. А просто человек. По совести говоря, я и сам этого не понимаю; не знаю, что бы я сделал, будь я его судьей; но от всего этого мне было так тягостно, словно я сам нуждался в искуплении.

Присяжный

— Так вот, однажды и мне привелось судить, — сказал пан Фирбас, откашливаясь, — потому что по жеребьевке выпало быть присяжным. В то время как раз слушалось дело мужеубийцы Луизы Каданиковой. Нас, присяжных, было восемь мужчин и четыре женщины.

Видит бог, эти бабы уж постараются освободить Луизу, думалось нам, мужчинам. И мы заранее настроились против нее.

А был это очень даже обыкновенный случай несчастливого супружества. Землемер Каданик взял себе жену на двадцать лет моложе; Луиза тогда была девчонкой, и нашелся свидетель, который рассказал, что на другой день после свадьбы молодая плакала, бледная как мел, и ее трясло, когда муж хотел до нее дотронуться.

Сколько раз я думал — какой, должно быть, ужас переживает после свадьбы такая вот невинная и неискушенная девушка: вы только представьте себе, что муж уже привык иметь дело с девками и вел себя соответственно. Нет, этого ни один мужчина даже вообразить не может.

Однако государственный обвинитель раздобыл другое свидетельство: дескать, были у Луизочки до свадьбы шуры-муры с одним студентом, да и потом они переписывались. Короче говоря, сразу после свадьбы стало ясно, что этому супружеству не сладиться; пани Луиза не скрывала своего физического отвращения к мужу, через год она скинула, и с той поры у нее пошли какие-то женские болезни. Пан землемер старался утешиться на стороне, а дома скандалил из-за каждого крейцера. В тот злополучный день у них опять была свара из-за крепдеши-

новой рубашки или еще чего-то этакого, и пан землемер начал обуваться: дескать, дома он киснуть не намерен.

Тут Луизочка и подкралась к нему сзади и выстрелила из браунинга в затылок. Потом выскочила в коридор, забарабанила в двери соседям, чтобы шли к мужу: она, мол, его убила и идет отдать себя в руки правосудия, но на лестнице свалилась в судорогах. Вот и вся история.

И теперь мы — двенадцать присяжных — собрались, чтобы судить ее вину. Говорят, Луиза была красивой девушкой, только, знаете, предварительное заключение женщину не красит: на суде она сидела какая-то опухшая, только на бледном лице горели злые, ненавидящие глаза. Наверху в черной мантии, воплощением справедливости, восседал председатель суда, величественный, почти как священнослужитель. Государственным обвинителем был самый роскошный прокурор, какого мне довелось видеть: здоровый, как бык, собранный и напористый, словно сытый тигр; было заметно, что он упивался своей силой и превосходством, кидаясь на добычу, которая снизу с исступленной ненавистью сверлила его горящими глазами. Адвокат обвиняемой то и дело раздраженно вскакивал и пререкался с государственным обвинителем; нас, присяжных, это тяготило, порой казалось, что мы не на суде над женщиной-убийцей, а присутствуем на каком-то споре между защитником и обвинителем...

— Были, значит, еще и мы — судьи из народа, нам хотелось судить по совести, только при самых лучших намерениях мы большую часть времени умирали со скуки от этих адвокатских заковык да судебных формальностей. А сзади теснилась публика, смакующая историю Луизы Каданиковой, и когда та попадала в тупик и затравленно молчала, было слышно, как эти люди хрюкают от наслаждения. — Пан Фирбас отер лоб, будто вспотел. — Мне порой казалось, что я не выборный судья, а человек на дыбе: будто самому надо встать и заявить — признаю свою вину, делайте со мной что хотите.

Были там еще и свидетели; каждый давал показания со значительным видом, раздуваясь от гордости, что он что-то знает; и из этих показаний складывалась как на ладони жизнь маленького городка, этого скопища зависти, поклепов, политиканства, протекций, шушуканья, злобы, интриг и скуки. По одним свидетельствам, покойник

был честный и прямой человек, примерный гражданин с наилучшей репутацией; по другим — бабник, скопидом, жестокий, безнравственный и грубый; короче — выбирай, что хочешь.

Пани Луизе доставалось больше — говорили, что она и ветреница, и мотовка, и кокетка, носила шелковое белье, домом не занималась, делала долги.

Обвинитель наклонился с ледяной усмешкой:

— Обвиняемая, были у вас в девичестве близкие отношения с каким-нибудь мужчиной?

Обвиняемая молчала, только на щеках вспыхивал лихорадочный румянец.

Защитник вскакивал: прошу заслушать показания такой-то, Каданик с ней прелюбодействовал, когда она у него служила. У них был ребенок.

Судья хмурился — видно, думал: господи, этому разбирательству конца не будет!

Суд без конца копался в отвратительных домашних дрязгах: кто из супругов первый начал семейную распрю, сколько получала пани Луиза на хозяйство, было ли мужу за что ее ревновать... Тянулись часы, и мне начинало казаться, будто говорят не о покойном Каданике и его семейной жизни, а обо мне или о ком-нибудь из присяжных, вообще о ком-то из нас; господи, это ведь о покойнике, а я тоже так поступал, такие вещи делаются всюду, чего об этом толковать? Мне казалось, будто одежка за одежкой раздевают всех нас, мужчин и женщин. Перемывают нам косточки, трясут наше грязное белье, вытягивают на свет тайны наших постелей и привычек. Будто по косточкам разбирают нашу собственную жизнь, только так зло и так жестоко, что она представляется сплошным адом. Собственно, Каданик был не так уж плох: ну, грубоват, срывал на жене зло, унижал ее, был черствый и скупой, потому что зарабатывал трудно и мало; вел беспутную жизнь, соблазнял служанок и был в связи с некоей вдовой, но ведь это, наверное, со зла, от уязвленного мужского самолюбия, пани-то Луиза его ненавидела, словно он был каким-то омерзительным насекомым. И что странно: когда кто-нибудь из свидетелей защиты показывал против убитого — дескать, был он сварливый, мелочный, жестокий и в половом отношении грубый и властный, — в пас, присяжных-мужчинах пробуждалось что-то вроде неудовольствия и солидарности: стоп, думалось

нам, если за это стрелять... А когда другой свидетель показывал против пани Луизы, что она была и легкомысленная, и щеголиха, и то и се, мы испытывали к ней какую-то симпатию, готовы были на многое посмотреть сквозь пальцы, а четыре женщины сжимали губы и взгляд их выражал непримиримость.

День за днем, час за часом разматывался клубок этого супружеского ада, подсмотренного глазами служанок и врачей, соседей и сплетников: ссоры и долги, болезни, семейные сцены, все то злое, истерическое и мучительное, что терпит человеческая пара; перед нами словно вывешивали человеческую требуху во всей ее убогой мерзости. Знаете, у меня добрая и порядочная жена, но иной раз я там внизу видел не Луизу Каданикову, а свою собственную супругу, свою Лиду, обвиняемую в том, что она выстрелом в затылок убила своего мужа Фирбаса, собственным затылком я ощущал страшную, гремящую боль этого выстрела, видел, как Лида, бледная и безобразно опухшая, сжимает губы и обвиняет меня обезумевшим от ужаса, отвращения и унижения взглядом. Это Лиду здесь раздевали и потрошили, мою жену, мою спальню, мои тайны, мои беды, мою грубость. Я чуть не плакал, чуть не кричал: видишь, Лида, к чему это нас привело! Я закрывал глаза, чтобы избавиться от страшного наваждения, но в темноте показания свидетелей были еще мучительней; тогда я таращил глаза на Луизу, и у меня сжималось сердце: господи, Лида, как ты переменилась!

Когда я возвращался из суда домой, Лида встречала меня нетерпеливым вопросом: ну, как, осудят? По-своему это был сенсационный процесс, главным образом для дамочек.

— Я, — провозглашала моя жена, горя от возбуждения, — я бы ее осудила.

— Тебя это не касается, — кричал я на нее: мне было страшно разговаривать с ней об этом.

Последний вечер перед вынесением приговора меня охватило беспокойство: я метался из угла в угол, рассуждая: скорее всего, Луизу оправдают, зачем же иначе среди присяжных четыре женщины? Еще один голос, отрицающий виновность, и она освобождена; так как же, будешь ты голосовать за это? Ответа я не находил, только, неизвестно почему, у меня мелькнула неприятная мысль: ведь и у меня в ночном столике лежит заряженный

револьвер — еще с времен войны, — может статься, в один прекрасный день он приглянется и моей жене! Я взял револьвер в руки: не спрятать ли тебя, а может, вообще выкинуть? Пока нет нужды — криво усмехнулся я, — пока не решится с Луизой! И снова мучил себя — что будет и как, господи, за что, за что я должен голосовать?

В последний день выступал государственный обвинитель; говорил гладко и уверенно; не знаю, откуда у него на это право, — выступал он именем семьи как таковой. Я слушал его словно издалека, а он так выразительно, так подчеркнуто произносил: семья, семейная жизнь, супружество, муж и жена, задачи и обязанности жены; говорили, что это была одна из самых блестящих обвинительных речей. Потом слово взял адвокат пани Луизы к учинил что-то страшное: построил защиту на сексуально-патологическом анализе. Какое, дескать, отвращение должна чувствовать холодная в половом отношении, или, как говорят, фригидная, женщина к брутальному мужу-самцу, как ее физическое отвращение перерастает в ненависть, какой трагической жертвой является такая женщина, предоставленная воле и желаниям немилосердного полового тирана.

За время его речи так и чувствовалось, как все присяжные ожесточаются против пани Луизы, как растет невольное отвращение к чему-то ненормальному, разлагающему и угрожающему человеческим отношениям... Женщины-присяжные сидели бледные и дышали враждой к той, которая нарушила некое обязательство. А идиот адвокат все развивал свою сексуальную теорию.

Судья снисходительно посматривал через очки на возмущение присяжных и в заключительном слове попытался спасти положение: он говорил не о семье и не о половом рабстве, а об убийстве человека. Нам, присяжным, полегчало: откровенно говоря, с этой стороны нам этот случай был больше по зубам, казался понятней и обыкновенней.

До последней минуты я не знал, как ответить: виновна или нет? Но когда нам задали вопрос: «Виновна ли Луиза Каданикова в том, что она стреляла в своего мужа с намерением его убить?» — мне нужно было отвечать первому, и я без колебаний ответил: да, потому что она действительно имела умысел убить и сделала это. Все двенадцать присяжных ответили: да.

Потом настала напряженная тишина: я взглянул на женщин-присяжных. Они смотрели твердо, почти торжественно, как будто на самом деле выиграли бой за интересы человеческой семьи. Дома ко мне рванулась бледная от волнения Лида:

— Чем кончилось?

— С Луизой? — ответил я механически. — Двенадцатью голосами признана виновной. Осуждена к смерти через повешение.

— Какой ужас, — воскликнула Лида с наивной жестокостью, — но она это заслужила!

Тут меня прорвало.

— Да, — заорал я со злостью, причины которой не понимал сам, — да, заслужила, потому что дура! Учти, Лида, если бы она выстрелила ему в висок, то могла бы сказать, что он покончил самоубийством, понимаешь, Лида? Ее бы освободили, — учти, в висок!

И хлопнул дверью; мне хотелось остаться одному. И, знаете, револьвер до сих пор лежит у меня в незапертом ящике, я не стал его убирать.

Последние мысли человека

— Быть приговоренным к смерти — ужасное переживание, — сказал на это пан Кукла. — Я это знаю, потому что однажды пережил последние минуты перед собственной казнью. Разумеется, во сне; но сон — тоже часть человеческой жизни, хотя и самый ее край. У этого края от твоей славы, от всего, чем ты кичился в жизни, остается только похоть, страх, самолюбие, да еще кое-что, чего ты по большей части стыдишься; наверное, это и есть самое потаенное в человеке.

Однажды после полудня я вернулся домой усталый как собака: так наработался, что свалился и уснул мертвым сном. Вдруг мне показалось, что двери отворились и в них стоит совершенно незнакомый господин и за ним двое солдат с примкнутыми штыками; не знаю почему, но солдаты были в казачьих мундирах.

— Встать, — сказал незнакомец грубо, — приготовьтесь, завтра утром вы будете казнены. Понятно?

— Понятно, — отвечаю, — только я не знаю за что...

— Это нас не касается, — прервал меня этот господин, — вот приказ произвести казнь, — и бухнул дверьми.

Я остался один и задумался. То есть не знаю: когда человек размышляет во сне, думает он на самом деле или ему только снится, что он думает? Были ли это действительно мои мысли, или мне только казалось, что я думаю, так же как нам грезится, будто мы видим лица? Знаю только, что напряженно думал и в то же время удивлялся своим мыслям. Поначалу я ощутил какое-то злорадное удовлетворение. Ведь это явная ошибка; завтра я буду казнен по недоразумению, а *им попадет* за то, что они так опростоволосились. Но в то же время во мне росло беспокойство, что я и в самом деле буду казнен и оставлю жену с ребенком; что с ними станется, что они будут делать? Это, я вам скажу, была настоящая боль, просто сердце кровью обливалось, но сознание — вот, дескать, как я пекусь о жене и ребенке, — приятно успокаивало. Видишь, говорил я себе, о чем думает мужчина, идущий на смерть! Меня вроде бы утешало, что я предаюсь такой великой отеческой жалости; мне это даже казалось возвышенным. Надо будет все рассказать жене — радовался я.

Но тут меня охватил испуг: я вспомнил, что казни обычно совершаются на рассвете, в четыре или пять часов утра, и что скоро мне придется вставать и отправляться на казнь. А вставать я очень не люблю, и мысль, что солдаты еще до рассвета меня подымут, оттеснила все другие, я совсем упал духом и чуть не плакал от жалости. Такой был ужас, что, проснувшись, я вздохнул с превеликим облегчением и жене ничего не рассказал.

— Я бы тоже мог кое-что рассказать о последних мыслях человека, — сказал пан Скршиванек и покраснел от смущения, — но, скорее всего, вам это покажется глупым.

— Не покажется, — успокоил его пан Таусcиг, — приступайте!

— Не знаю, — начал Скршиванек неуверенно, — я ведь однажды хотел застрелиться, и вот — раз уж пан Кукла заговорил о том, что думает человек на самом краю жизни, а ведь когда человек хочет убить себя — он тоже подходит к самому краю...

— Поди ж ты, — сказал пан Карас, — а с чего бы это вы хотели стреляться?

— От изнеженности, — сказал Скршиванек, заливаясь краской. — Понимаете, я не умею переносить боль... А тогда у меня получилось воспаление тройничного нерва, — доктора говорят, что это одно из самых болезненных воспалений... не знаю...

— Истинная правда, — пробурчал доктор Витасек. — Я вам сочувствую, голубчик. И у вас это повторяется?

— Повторяется, — вспыхнул Скршиванек, — но стреляться я больше не хочу... Об этом стоит рассказать.

— Рассказывайте, — одобрил его пан Долежал.

— Знаете, так трудно передать, — мялся Скршиванек, — вообще уже сама боль...

— Человек ревет как зверь, — разъяснил доктор Витасек.

— Да. И на третью ночь... когда терпеть не стало сил, я положил на столик браунинг. Еще час, думалось мне, больше не выдержать. Почему я, почему именно я должен так страдать? У меня было чувство, что по отношению ко мне совершается страшная несправедливость: почему я, почему именно я?

— Вам надо было принимать порошки, — заворчал доктор Витасек, — тригемин или верамон, адалин, алгократин, миградон.

— Я и принимал, — возразил Скршиванек, — господи, я их столько проглотил, что они вообще перестали действовать. То есть они усыпляли *меня,* но боль не усыпляли, понимаете? Боль оставалась, но это уже была как бы и не *моя* боль, потому что я был настолько одурманен, что потерял сам себя. Я не помнил себя, но помнил об этой боли, и мне начало казаться, что это чья-то чужая боль. И я слышал другого... он тихонько выл и стонал, а мне было его страшно жалко — у меня слезы градом текли от жалости. Я чувствовал, что боль растет... Иисусе Христе, бормотал я, и как только этот человек выдерживает! Наверное... наверное, я должен был бы его застрелить, чтобы он так не мучился. Но в тот же момент я ужаснулся... нет, нельзя! Не знаю, но вдруг я почувствовал такое удивительное уважение к *его* жизни именно потому, что он так ужасно страдает.

Пан Скршиванек в растерянности потер лоб.

— Не знаю, как бы вам объяснить? Возможно, меня одурманили эти порошки, хотя все мне представлялось с невероятной отчетливостью... просто ослепительно. Мне

грезилось, что тот, кто мучится и стенает — это человечество... сам Человек. А я только свидетель мук... этакий ночной страж у мученического ложа. Если бы меня тут не было, боль была бы напрасной, словно какое-то великое свершение, о котором никто не знает. А покуда боль была еще *моей...* я казался себе жалким червем, таким незаметным и ничтожным... Но теперь... когда боль меня переросла... я с ужасом ощутил, что жизнь огромна, беспредельна. Я чувствовал, что... — Пан Скршиванек вспотел от смущения. — Не смейтесь. Я чувствовал, что эта боль... некая жертва. А поэтому, понимаете, именно поэтому каждая религия... возлагает боль на алтарь божий. Поэтому были кровавые гекатомбы... и мученики... и бог на кресте. Я понял, что... что из страданий Человека родится некая тайная благодать. Мы должны страдать, чтобы освятить жизнь. Никакая радость не может быть такой сильной и великой... И я чувствовал, что если останусь жив, то буду отмечен благодатью.

— И что же? — спросил патер Вовес с интересом.

Пан Скршиванек залился румянцем.

— Нет, — поспешно ответил он, — человек этого не может знать. Но с тех пор... во мне живет благоговение: все мне кажется более значительным... каждая малость и каждый человек, понимаете? Все имеет огромную цену. Когда я смотрю на закат солнца, я говорю себе, что он стоит наших безмерных страданий. Или вот люди, их труд, их обыкновенная жизнь... все стоит боли. И я знаю, что это страшная и невыразимая цена. Я верю, что нет зла, нет возмездия; есть только боль, которая служит тому, чтобы... чтобы жизнь имела эту огромную ценность.

Пан Скршиванек умолк, не зная, что сказать дальше.

— Вы очень добры ко мне, — прошептал он и от смущения высморкался, чтобы спрятать пылающее лицо.

Маленькие рассказы

11.
POZOR

Прожигатель жизни

— Что вы, женатые, — сказал пан Смитек, — знаете о жизни? Сидите себе дома в шлепанцах, за вечер выпьете кружку пива, а в десять — спокойной ночи, перину на голову и захрапели. И это называется жизнь!

— Хорошо вам говорить, пан Смитек, — возразил пан Роус, — вы на свое жалованье можете жить как барон, а вот когда на шее жена да двое сорванцов...

— «На свое жалованье», — недовольно проворчал пап Смитек, — «на свое жалованье»! Разве на жалованье проживешь? Да мне его на одни чаевые не хватит. Есть кабаки, где даже сопливому гарсону нельзя дать меньше полусотенной. А музыкантам? Выложишь на тарелку тысячную — никто и глазом не поведет.

— Ну, вы скажете, пан Смитек, — музыкантам тысячу! Я такого еще не слыхивал, надо быть кретином, чтобы по стольку отваливать за их пиликанье.

— Послушайте, — вы же ничего не понимаете в этом, — продолжал пан Смитек. — Музыканты только притворяются, будто они следят по нотам, а сами смотрят — с кем вы сидите, что делаете, о чем говорите, кто ужо готов и так далее. Если он опустит большой палец вот так, вниз, значит: гони монету и тогда, мол, я и не пикну. Вот оно что.

— Какие прохвосты! — изумился пан Кролл.

— Конечно. Вы послушайте, пан Роус, сейчас вы из меня и кроны не вытрясете, а вечером я должен буду заплатить двенадцать тысяч, взятые в долг под честное слово. Вам-то, женатым, кажется, будто бог знает что случится, если вы задолжаете лавочнику сто двадцать крон.

— Двенадцать тысяч? — повторил пан Роус. — Н-да, дорогой, не хотел бы я быть в вашей шкуре.

— А, да что там, — пан Смитек сладко зевнул, — по крайней мере, чувствуешь, что живешь. Взять, к примеру, хотя бы вчерашнюю ночь — роскошь! Вот это, доложу я вам, жизнь.

— Но долги, — строго перебил его пан Кролл, — нельзя делать долги, попадете в лапы к ростовщикам и — пропали. Так ведь оно и бывает.

— Что долги, — беззаботно возразил пан Смитек, — долги — ерунда, главное — связи. Один амстердамский банкир мне там и говорит... А девочки были первый сорт, черт побери! Особенно одна мулатка... Да где вам понять... Так вот, этот банкир и говорит: «Покупайте мексиканские акции, через неделю заработаете на каждой по восемьдесят долларов». Связи надо иметь, а дома под периной их не отыщешь.

— И вы купили эти бумаги? — с интересом спросил пан Роус.

— Я уже давно все истратил, — уклончиво отвечал пап Смитек. — Как жили, так и дальше проживем. Поймите, я люблю сильные ощущения. Пускай такая ночь стоит мне тысячи, наплевать, зато я знаю вкус жизни.

— Оно и видно, — проворчал пан Кролл. — Погодите годик-другой, начнете мучиться с почками или с печенью.

— Пустяки, — ответил пан Смитек с непозволительным легкомыслием, — Главное — знаешь, что пожил всласть...

* * *

В тот вечер пан Смитек купил кусок ливера, сто граммов эдамского сыра и, придя домой, скипятил себе чай. Ливер и корка от сыра достались кошке Лизке, после чего она умылась лапкой и собралась было выйти, но хозяин с укором остановил ее:

— Ах ты, бездельница, легкомысленное создание, одни гулянки у тебя на уме. Чего тебе дома не сидится? Ты ведь не молоденькая, понимать должна, у, потаскуха, — нежно продолжал пан Смитек, взяв Лизку к себе на колени; затем надел наушники, настроил приемничек и стал слушать. Кто-то читал какие-то стихи, и пан Смитек попытался отбивать ритм ногой, но почему-то все не попадал в такт, ему стало скучно, и он дернул Лизку за хвост. Лизка ловко повернулась и цапнула его за руку, после чего на всякий случай спрыгнула на пол и сверкала глазами уже из-под кровати.

От стихов и плохого Лизкиного настроения пан Смитек и сам как-то расстроился; он почитал еще немного

газету, в которой принес домой сыр, а в десять был в постели; в половине одиннадцатого, когда на кровать вспрыгнула Лизка и устроилась у него в ногах, пан Смитек уже спал.

* * *

— Ох-хо-хо, — зевал на другой день пан Смитек, — жизнь окаянная! Господи, что вчера была за ночь! Вот, — проговорил он, протягивая руку, — видите: царапина. Какая была женщина! Русская, Лизой зовут, словно дикая кошка. Чего она только не вытворяла!.. — Пан Смитек безнадежно махнул рукой. — Что вам рассказывать! Разве вы, домоседы, поймете! Пусть смерть, пусть тюрьма — но жизнь надо пить полной чашей! А вы... да ну вас совсем с этой вашей мещанской моралью!

О последних делах человека

Трамвай звенит и с грохотом несется вверх к Ольшанскому кладбищу.

— Гляди, — обращается низенький мужчина к молодому парню в кроличьем тулупчике, — опять здесь чего-то строят, школу, наверное, какую или кино... Знаешь, я ужасно рад, что увидел его еще раз. «А, это ты», — сказал он. Оно, конечно, ему от этого не стало легче, но всегда важно проявить дружеское участие. «Так я еще приду, — пообещал я, — к тому времени ты уже бегать будешь, — говорю, — и на тебе...»

Парень в кроличьем тулупчике уныло закивал головой.

— Я медаль надел, пускай, думаю, он порадуется, — продолжал низенький, — а он и говорит: «Здор*о*во, неужто это ты?» Узнал, значит. Я утешаю: «Иозеф, это пройдет». А он на это: «Маничка, дай мне кусочек потрошков». Она дала, он откусил немножко — откусил только, а съесть ничего не съел. «Маничка, дай мне кусочек потрошков», — с чувством повторил низенький.

Парень в тулупчике шмыгнул носом,

— Конечно, он тебе все же брат был, — утешал его низенький. — Она-то говорила, что он уж и себя не помнит, а он только посмотрел на меня и говорит: «Тоник, это ты, значит?» У, — воскликнул вдруг низенький, радостно потирая руки, — а венков сколько у бедняги будет! Я зашел спросить, во что обойдется венок с лентой, отвечают — восемьдесят пять крон. Тогда, говорю я, никаких лент не надо, лучше я визитную карточку вложу, и написал на ней: «Спи сладко — твой Тоник». Это ведь одно и то же, правда? Надо проявлять дружеское участие, но с какой стати выбрасывать двадцатку на ленту? Все равно ее на кладбище своруют.

— Мне сказали, — слабым голосом отозвался парень в тулупчике, — что венок с лентой стоит девяносто крон, а я говорю: «Сколько бы ни стоил, пускай хоть сто, только сделайте как следует».

— Так это ж для брата, — возразил низенький, — зато венок прекрасный. И на ленте золотыми буквами: «Прости-прощай, Енда и Лидушка», — я тебе говорю, очень красиво. «Прости-прощай, Енда и Лидушка», — повторил он проникновенно. — Скоро доедем, еще две остановки. А на погоду нам повезло, правда! Красивые у него будут похороны.

Парень слабо кивнул.

— А ей ничего не оставляй, — наущал низенький. — Что она, мерзавка, со всем делать будет, сама ведь недолго протянет. Пускай отдаст столик его и одежду, какая осталась. И про часы скажи. Я ей, паскуде, ничего бы не дал. Да и сундук чтоб непременно отдала, скажи, что он еще от отца с матерью.

— Не доехали? — тоскливо спросил парень.

— Еще одна остановка, — ответил низенький, — а потом немного пройти до часовни. Я думаю, Франта тоже придет, да и другие друзья, славно все будет. Раз он с ней не оформлен, так у нее ни на что прав нет. Ты дурак, что ли, вещи ей оставлять? И доктору не плати, он небось и забудет. Если тебе сундук без надобности, возьми да продай. А венок до чего хорош! Только ленту потом домой забери, жалко ее там бросать, повесишь дома на зеркало, понимаешь? А Ладислав умрет, лента и пригодится... Ах, как он обрадовался, бедняга, что я его тогда навестил...

Трамвай затормозил перед кладбищенскими воротами.

— Не прыгай, что ты, погоди, пока остановится, — удержал низенький парня, — еще упадешь, а ты сегодня такой нарядный. Все похороны для тебя были бы испорчены.

И, заботливо поддерживая парня в кроличьем тулупчике, скорбящий друг повернул к кладбищенским воротам.

Чудо на стадионе

Это случилось на товарищеском матче между спортклубом городской жижковской школы и четвертым классом гимназии Одиннадцатого района Праги. Несмотря на самоотверженную защиту, в которой особенно отличился Ярда Запотоцкий, к концу второго тайма жижковцы проигрывали со счетом два — ноль, их ворота подвергались все более настойчивым атакам. И вот, в тот самый момент, когда в ворота жижковцев гимназист Зденек Попр, по прозвищу Кадя, послал очередной мяч, предвещавший неминуемый гол, случилось нечто странное: мяч остановился в воздухе, затем, раскрутившись с бешеной скоростью, после некоторого колебания понесся в обратном направлении и метеором влетел в сетку ворот гимназистов. До окончания второго тайма оставалось четыре минуты. Никто даже толком не разглядел, как это произошло, и игра продолжалась; блестящий нападающий Зденек Попр снова овладел мячом и, обойдя защитников почти у самых ворот, пушечным ударом послал мяч в нижний угол. Тридцать болельщиков за гимназию взревели от счастья, но мяч вдруг исчез; игроки стали его искать, и наконец вратарь гимназии обнаружил его безмятежно лежащим в своих собственных воротах. Однако тут раздался свисток, возвестивший о конце матча. Правда, команда гимназии протестовала против этого не по правилам забитого гола, но — ничего не поделаешь — результат матча остался два — два.

С этого дня футбольная команда спортклуба жижковской городской школы триумфальным маршем шла от победы к победе. Они обставили либенскую школу со счетом три — ноль, разделали команду голешовицкого реального училища четыре — один, побили шестиклассников

колинской гимназии на их собственном поле два — один (соотношение раненых — два к двум), а победив и реформированную реальную гимназию Девятнадцатого района Праги, юношескую команду спортклуба «Славия», городскую коширжскую школу и немецкую реальную гимназию Второго района Праги, должны были встретиться со сборной спортклуба «Студенческий спорт». Им сопутствовал беспримерный в истории мирового футбола успех.

Никому, даже членам победоносной команды, не бросилось в глаза, что на всех триумфальных матчах неприметным зрителем присутствовал ученик первого класса их школы Богумил Смутный. С ним вообще никто никогда не разговаривал, поскольку это был благонравный и к тому же набожный мальчик. И никто не обращал на него внимания ни в школе, ни на поле брани. Один лишь упомянутый уже Зденек Попр (из зависти и ревности не пропускавший ни одной игры жижковцев) приметил этого неизменного скромного зрителя; приметил он также, что в критические моменты Богумил Смутный исчезает с трибуны и, укрывшись за ближайшим заборчиком или кустом, падает на колени и, горячо молясь, шепчет:

— Господи милосердный, смилуйся! Сделай так, чтобы наши забили гол!

И в то же мгновение мяч останавливается на пути к воротам жижковцев и влетает в ворота противника, или вдруг исчезает, чтоб появиться в чужих воротах, или же медленно катится по полю, а игроки противника валятся и спотыкаются, словно неведомая сила хватает их за ноги. И Зденек Попр, по прозванию Кадя, рассказал обо всем этом своему старшему брату, студенту-медику Завишу Попру из «Студенческого спорта».

За день до исторической встречи жижковцев с клубом «Студенческий спорт» перед жижковской городской школой молодой мужчина дожидался ученика Богумила Смутного. Он представился ему как Завиш Попр, студент-медик и спортсмен, и обратился к Смутному с такими словами:

— Я слыхал, пан Смутный, вы тоже большой поклонник спорта, наш Зденек говорил мне, что вы очень любите ходить на футбол. Но, боюсь, вы недостаточно хорошо знакомы с его правилами; вам нужно узнать их как следует, если хотите получить истинное удовольствие

от игры! У меня случайно выдалась свободная минутка, и я решил рассказать вам кое-что о футболе, чтоб вы знали, что такое игра по правилам.

В тот день студент-медик Завиш Попр три часа проходил с Богумилом Смутным по жижковским улицам, объясняя ему, что такое штрафная площадка, положение вне игры, «рука», нападение и защита, распасовка, угловой, чистая игра, нарушение правил, пенальти, удар «в девятку», грубость, комбинированная атака и тому подобное.

Богумил Смутный только качал головой и приговаривал:

— Да, да, конечно. Я понимаю, разумеется. Да, да, спасибо, я это запомню.

И в заключение беседы он вежливо поблагодарил, потому что был очень воспитанным и примерным мальчиком, не то что какой-нибудь шалопай из этих нынешних молодых людей.

На другой день происходил матч между клубом жижковской городской школы и командой «Студенческого спорта». Во втором тайме «Студенческий спорт» вел уже со счетом шесть — ноль. Среди зрителей сидел потный от ужаса Богумил Смутный; судорожно сжимая руки, он молился:

— Господи, смилуйся и сделай что-нибудь... но только чтоб это было по правилам... чтобы наши забили гол по правилам... сделай чудо, но только честно.

Второй тайм «Студенческий спорт» заканчивал со счетом одиннадцать — ноль, а студент-медик Попр шептал своему брату:

— Вот видишь, когда действуют по правилам, чуда не жди.

Судебный случай

— ...несусь я на скорости восемьдесят километров к повороту и думаю, что за поворотом дорога свободна, — само собой, по дурости так *считаю*, — убираю немного газ и вылетаю на поворот. И вдруг вижу — через дорогу тянется процессия. Похороны. Как раз заворачивают

в ворота на кладбище. Жму на тормоза и такого, скажу вам, дал юза, что и ну! Помню только, четыре парня, что гроб несли, бросили его на землю, а сами — в канаву, и тут — хрясь! — мой шарабан задним бампером наподдал этот самый гроб, который они бросили на дорогу, и гроб отлетел через кювет на поле.

Вылезаю из машины и думаю — пронеси господи, если я еще пана священника и прочую свиту этак зацепил, славненькие будут поминки на мою голову! Благодарение богу, им ничего не сделалось, гляжу — по одну сторону дороги застыл министрант с крестом, по другую — священник и все прочие, и так и стоят столбом — как есть восковые фигурки из паноптикума. И тут священник начинает трястись от страха и прочувствованно лопотать:

— Ах, молодой человек, у вас нет решпекта даже к мертвым.

Мне что, я рад, что никого из живых не убил.

Потом, правда, народ опомнился, кто ругает меня, кто спешит на помощь к покойнику в разбитом гробу — такой уж, видать, инстинкт у людей.

И вдруг все как повалят назад и завыли от страха. Что вы думаете — вылезает из этой кучи щепок живой человек, щупает вокруг себя руками и хочет сесть.

— Что это? Что это? Что это? — говорит он и все хочет сесть.

В общем, наше вам с кисточкой — как сказал парикмахер.

— Дед, — говорю я ему, — а ведь вас чуть не схоронили. — И помогаю выбраться из-под обломков.

А он только глазами хлопает и бормочет:

— Что это? Что это? Что это?

И не может встать. Ну, думаю, перелом, по суставу или еще там по чему его двинуло, когда машина наехала. Рассказывать долго нечего — погрузил я их вдвоем с попом в машину и повез в дом печали, а следом шли скорбящие провожатые и министрант с крестом. Само собой, и музыканты, только, правда, они не играли, потому что неясно было, как теперь будет с оплатой.

— За гроб я заплачу, и за доктора тоже, а в остальном — скажите мне спасибо, что не похоронили живого. —

И поехал себе. По правде говоря, я был рад, что все уже позади и что не случилось ничего похуже.

Но теперь-то все только и началось. Первым делом написал мне староста деревни вежливое письмо: дескать, семья этого мнимого покойника, некоего Антонина Бартоша, железнодорожного служащего на пенсии — неимущая, хотели они дедушку похоронить как следует, на последние, с трудом скопленные гроши, а теперь, когда в результате моей неосторожной езды дедушка восстал из мертвых, им придется хоронить его еще раз, чего они, по причине своей бедности, позволить себе не могут. И чтоб я оплатил им теперь испорченные похороны — священника, музыкантов, могильщиков и поминальное угощение.

Потом пришло письмо от адвоката этого деда: что Бартош Антонин, железнодорожный служащий на пенсии, требует возмещения за порванный саван, несколько сот крон на лечение сломанной лодыжки и пять тысяч денежной компенсации за увечье, полученное им по моей вине. Тут мне стало малость не по себе.

Потом новое письмо: что дедушка как железнодорожник получал пенсию, когда же он почил в бозе, пенсию, разумеется, прекратили выплачивать, и министерство, имея заключение районного врача о его смерти, и не думает ее восстанавливать. Поэтому дед собирается требовать с меня по суду пожизненного содержания как возмещения за утраченную пенсию.

И снова письмо: с той поры, как я его воскресил, дедушка прихварывает, и ему приходится варить пищу пожирнее. И еще — что я вообще сделал его калекой, так как, восстав из мертвых, он уже не он и вообще никуда не годится и все знай твердит: «Я свое дело сделал, а теперь наново помирать придется! Уж этого я ему не прощу, он мне за это заплатит, не то я до верховного суда дойду. Так обидеть бедного человека! Да за это полагается наказание, как за убийство!»

И все в том же духе. Хуже всего, что у меня тогда не был уплачен очередной взнос за страховку машины, а страхкасса — поручительская. Что ж теперь будет? Мне самому придется за все платить, как вы думаете?

Черт

Начиналось третье действие оперы Дворжака «Черт и Кача». Огни в зале притушили, и шум утих, словно завернули кран. Дирижер постучал палочкой и поднял ее. Пани Малая в первом ряду кресел убрала кулечек с конфетами, а пани Гроссманова вздохнула:

— Я обожаю это вступление.

Пан Колман в седьмом ряду закрыл глаза, готовясь насладиться, как он говорил, «своим Дворжаком».

Полились звуки грациозной увертюры.

Тут занавес с правой стороны шевельнулся, и на сцену проскользнуло какое-то маленькое существо; очутившись перед темной пропастью зала, оно в изумлении замерло и тревожно оглянулось в поисках пути к бегству. Но в этот миг его настигли звонкие коготки вступительной польки, и существо задвигало в такт ручками и затопало ногами.

Ростом оно было не выше восьмилетнего ребенка, но грудь его была волосата, все туловище ниже талии тоже покрывала косматая темно-рыжая шерсть; мордочка у него была козья, остренькая, и сквозь курчавые волосы на голове пробивались рожки; существо звонко притопывало копытцами своих козьих ножек. Публика начала тихонько смеяться. Созданьице на рампе в смятении сделало было шаг назад, однако наткнулось на занавес и испуганно оглянулось, но копытца его сами по себе отбивали дробь и кружились в ритме музыки. Казалось, существо на сцене наконец-то преодолело робость: радостно разинув рот, облизнулось длинным розовым язычком и все отдалось танцу — оно подпрыгивало, приседало и с воодушевлением топотало. Ручки его тоже двигались в танце — они взлетали над головой и весело щелкали пальцами, а тонкий, упругий хвост махал из стороны в сторону мерно в такт, как метроном. В этом танце не было большого искусства — по правде говоря, это были просто какие-то скачки, прыжки и топтанье, но все вместе выражало беспредельную радость жизни и движения, это было так же естественно и прелестно, как игры козленка или погоня щенка за собственным хвостом.

Публика размягченно улыбалась и ерзала от удовольствия. Дирижер обеспокоился, почувствовав за спиной

какое-то волнение, энергичнее замахал палочкой и строго взглянул в сторону шумовых инструментов — что это там сегодня за странный стук и топот? Но встретил лишь настороженно-преданный взгляд барабанщика с колотушкой в руке, готового к своему вступлению. Оркестр играл старательно и добросовестно, не поднимая глаз от пюпитров, на сцену никто и не глядел.

Там-та-та та-та-там.

«Черт возьми, что-то сегодня не в порядке», — подумал капельмейстер и широкими взмахами погнал оркестр в «форте». Почему в зале смеются? Наверное, что-то случилось. Чтобы отвлечь внимание публики, дирижер повел увертюру все громче, все быстрее.

Созданьице на сцене только обрадовалось этому: оно топало, тряслось, сучило ножками, подскакивало, вскидывало голову и все быстрей мотало хвостом.

...Там-та-та там-там та-та.

Пани Малая, сцепив пальцы на животе, сияла блаженно и растроганно. Она уже слушала однажды «Черта и Качу», четырнадцать лет тому назад, но тогда ничего такого не устраивали.

«Я не сторонница нынешних режиссерских выкрутасов, — подумала она, — однако это мне, пожалуй, нравится». Ей захотелось поделиться с пани Гроссмановой, но та, благоговейно уставившись на сцену, лишь покачивала головой. Пани Гроссманова была страстная меломанка.

Пан Колман в седьмом ряду сидел мрачный. «Еще никто не позволял себе ничего подобного, это попросту неуместно. Чего только не выделывают нынешние режиссеры с Дворжаком — уму непостижимо, это переходит уже всякие границы, — возмущался пан Колман. — И в таком бешеном темпе увертюру тоже никогда не играли. Просто неуважение к Дворжаку, — рассерженно заключил он и решил: — Непременно напишу в газету. И озаглавлю: «Руки прочь от нашего Дворжака!» — или както в этом духе».

Но вот замерли последние звуки увертюры. Дирижер перевел дух и вытер платком вспотевшее лицо. (Что приключилось сегодня с публикой?) Занавес вздрогнул и пополз вверх. Танцующая фигурка смятенно оглянулась и, сдавленно мекнув, скрылась за кулисой, не успел занавес подняться. Паки Малая из первого ряда захлопала,

но пан Колман из седьмого сердито зашипел, в результате чего публика смутилась, и редкие хлопки потерянно замолкли. Нервные движения лопаток дирижера выражали явное возмущение.

«Наверно, не надо было хлопать при поднятом занавесе», — подумала пани Малая и, чтобы замять неловкость, зашептала пани Гроссмановой:

— Неправда ли, это было очень мило?

— Великолепно! — выдохнула пани Гроссманова, и пани Малая с облегчением достала из пакетика конфету. «Никто и не заметил, что я аплодировала».

Успокоился и пан Колман. Больше уже ничто не нарушало достойного течения спектакля. «Непременно напишу дирекции театра, чтоб убрали подобные безобразия», — сказал себе пан Колман, но тут же позабыл об этом.

— Странная была нынче публика, — ворчал дирижер после спектакля, — хотел бы я знать, чему все смеялись?

— Сегодня же понедельник, — ответил ему первая скрипка, — а по понедельникам всегда бывает самая ужасная публика.

Вот и все.

Паштет

«Что же мне купить сегодня на ужин... — задумался пан Михл, — опять что-нибудь копченое... От копченого бывает подагра... А если сыр и бананы? Нет, сыр я покупал вчера. Однообразная пища тоже вредна. А сыр ощущаешь в желудке до самого утра. Боже мой, как это глупо, что человеку надо есть».

— Вы уже выбрали? — прервал его размышления продавец, заворачивая в бумагу розовые ломтики ветчины.

Пан Михл вздрогнул и сделал судорожный глоток. Да, конечно, надо что-то выбрать.

— Дайте мне, пожалуй... паштет, — выпалил он, и во рту у него набежала слюна. Паштет, конечно, вот что ему нужно. — Паштет! — решительно повторил он.

— Паштетик, извольте, — защебетал продавец, — какой прикажете — пражский, с трюфелями, печеночный, гусиный или страсбургский?

— Страсбургский, — без колебаний выбрал пан Михл.

— И огурчики?

— Да... и огурчики, — снисходительно согласился пан Михл. — И булку. — Он энергично оглядел магазин, словно выискивая, что еще взять.

— Чего еще изволите? — застыл в настороженном выжидании продавец.

Пан Михл чуть дернул головой, как бы говоря: нет, к сожалению, больше мне взять у вас нечего, не беспокойтесь.

— Ничего, — сказал он вслух. — Сколько я вам должен?

Цена, названная продавцом за красную консервную банку, слегка испугала его.

«Господи, ну и дороговизна, — сокрушался он по дороге домой, — видно, паштет настоящий страсбургский. А ведь я, честное слово, в жизни его не пробовал, но какие безбожные деньги они за него берут! Что поделаешь, иногда ведь хочется паштетика. И не обязательно съедать его весь сразу, — утешал себя пан Михл. — К тому же паштет — тяжелая пища. Оставлю себе и на завтра».

— Ты еще не знаешь, Эман, — интригующе воскликнул пан Михл, отпирая дверь, — что я нынче несу на ужин!

Кот Эман взмахнул хвостом и замяукал.

— Ах ты, негодник, — проговорил пан Михл, — ты тоже не прочь отведать страсбургского паштетика, а? Нет, друг мой, не выйдет. Паштет — дорогая жратва, дружок, я сам его сроду не пробовал. Страсбургский паштет, это, любезный мой, только для гурманов, но, чтоб ты не обижался, дам тебе понюхать.

Пан Михл достал тарелку и не без труда открыл коробку с паштетом, затем взял вечернюю газету и с каким-то торжественным чувством сел ужинать. Кот Эман, как обычно, вспрыгнул на стол, аккуратно подобрал хвост и в нетерпеливом предвкушении вонзал в скатерть коготки передних лап.

— Понюхать тебе дам, — повторил пан Михл, поддев на вилку маленький кусочек паштета. — Чтоб ты знал, как он пахнет. На.

Эман прижал усы и осторожно, недоверчиво принюхался.

— Что? Не нравится? — раздраженно воскликнул пан Михл. — Такой дорогой паштет, ах ты, олух!

Кот оскалил зубы и, наморщив нос, продолжал обнюхивать паштет.

Пан Михл немного встревожился и сам понюхал паштет.

— Хорошо пахнет, Эман. Ты только принюхайся! Великолепный аромат, чудак.

Эман переступил с лапки на лапку и вонзил когти в скатерть.

— Хочешь кусочек? — спросил пан Михл.

Кот беспокойно дернул хвостом и хрипло мяукнул.

— Что? Что такое? — воскликнул пан Михл. — Ты хочешь сказать, что паштет несвежий?

Он принюхался, но ничего не почувствовал. «Черт его знает, у кота нюх-то получше. А в паштетах бывает, как его, этот... ботулин. Ужасный яд, господи. Без запаха и без всякого вкуса, а человек отравляется». У пана Михла что-то противно сжалось где-то под сердцем. Слава богу, что я еще не взял его в рот. Наверное, кот определил по запаху или инстинктом, что в этом паштете что-то неладно. Лучше я не стану его есть, но уж коли заплачены такие деньги...

— Слушай, Эман, — обратился пан Михл к коту. — Я дам тебе попробовать. Это самый нежный и самый дорогой паштет, настоящий страсбургский. Надо же и тебе попробовать чего-нибудь получше. — Он взял в углу кошачью мисочку и положил в нее кусок паштета. — Кис-кис, поди сюда, Эман!

Эман спрыгнул со стола так, что загудел пол, и, помахивая хвостом, не спеша подошел к своей мисочке, присел и осторожно обнюхал еду.

«Не жрет, — с ужасом подумал пан Михл. — Тухлый».

Хвост Эмана вздрогнул, и понемножку, аккуратно, словно с опаской, кот начал обкусывать паштет.

— Ну вот, видишь, — с облегчением вздохнул пан Михл, — ничего.

Кот доел паштет и стал мыть себе лапкой усы и голову. Пан Михл выжидательно смотрел на кота. «Ну вот, и не отравился, и ничего с ним не случилось».

— Ну, как, — покровительственно воскликнул он. — Вкусно? Ах ты, негодник!

И успокоенный сел за стол. Еще бы, такой дорогой паштет не может быть плохим. Он наклонился над тарелкой и втянул аромат, закрыв глаза от наслаждения. Восхитительный аромат... «А может, отравление ботулином дает себя знать не сразу? — вдруг осенило его. — Того и гляди, у Эмана начнутся судороги...»

Пан Михл отодвинул тарелку и пошел поискать том энциклопедии на Б. «Б... ботулизм, или аллантиазис... проявляется через двадцать четыре или даже через тридцать шесть часов (проклятие!)... следующими признаками: паралич глазных мышц, потеря зрения, сухость в горле, покраснение слизистой, отсутствие выделения слюны (пан Михл непроизвольно проглотил слюну), хриплый голос, отсутствие мочеиспускания и запор, в тяжелых случаях — судороги, паралич и смертельный исход (благодарю покорно!)». У пана Михла как-то отпала охота есть, он спрятал паштет в буфет и стал медленно жевать булку с огурцом. «Бедный Эман, — думал он, — глупое животное, возьмет сожрет испорченный паштет и пропадет как собака».

Со стесненным сердцем он поднял кота и посадил себе на колени. Эман усердно замурлыкал, блаженно жмуря глаза, а пан Михл сидел не двигаясь и гладил его, озабоченно и с сожалением поглядывая на непрочитанную газету.

Этой ночью пан Михл взял Эмана к себе в постель. «Может, завтра его уже не станет, пусть хоть понежится». Всю ночь пан Михл не спал, часто подымался, чтобы потрогать кота рукой. Нет, с ним как будто ничего. И нос холодный. После каждого поглаживания кот начинал мурлыкать чуть ли не в голос.

— Вот видишь, — сказал пан Михл наутро, — паштет-то был хороший, правда? Но вечером я сам его съем, чтоб хоть знать, что это такое. Не думай, пожалуйста, что я буду всю жизнь кормить тебя паштетами.

Эман разинул рот, чтобы издать нежное и хриплое «мяу».

— Погоди-ка, — воскликнул пан Михл строго, — ты не хрипишь? Покажи глаза.

Кот уставился на хозяина неподвижным взглядом золотых глаз.

«Уж не паралич ли это глазных мышц? — ужаснулся пан Михл. — Какое счастье, что я и в рот не взял этого паштета. А какой у него был аромат!»

Когда пан Михл вернулся вечером домой, Эман с урчанием долго терся о его ногу.

— Ну, — спросил пан Михл, — как дела? Покажи глаза.

Эман махнул хвостом и уставился на хозяина золотисто-черными глазами.

— Еще не все позади, — поучал его пан Михл. — Иногда отравление начинается через тридцать шесть часов, понимаешь? А как стул? Нет запора?

Кот снова потерся о его ногу и сладко мяукнул хриплым голосом. Пан Михл поставил на стол паштет, положил рядом газету. Эман прыгнул на стол и стал переминаться, царапая когтями скатерть.

Пан Михл понюхал паштет; пахло приятно, но, черт его знает, вроде по-другому, не как вчера.

— Нюхни, Эманчик, — попросил его пап Михл, — хороший паштет?

Приблизив к банке короткий нос, кот подозрительно принюхался. Пан Михл испугался. Может, выкинуть этот проклятый паштет? Кот чует, что с паштетом что-то неладно. Нет, не буду я его есть. Не хватало еще отравиться. Выкину, и дело с концом.

Пан Михл перегнулся через подоконник, выбирая место, куда закинуть консервную банку. Вон туда, на соседний двор, под акацию. «Жалко паштета, — подумал пан Михл, — такой дорогой... Настоящий страсбургский. И никогда я его не ел. Может, он и не испорчен вовсе, но... Нет, не стану его есть, но уж коли выброшены такие деньги... Хотелось бы когда-нибудь попробовать. Хоть раз в жизни. Страсбургский паштет, это такое лакомство!»

— Господи, жалко-то как! — жалобно приговаривал пан Михл. — Ни с того ни с сего взять да выкинуть...

Пан Михл оглянулся. Эман сидел на столе и мурлыкал. «Мой единственный друг, — растроганно подумал пан Михл. — Ей-богу, мне бы не хотелось его потерять. Но не выбрасывать же паштет совсем, ведь экие деньги заплачены! Настоящий страсбургский, тут так и написано, погляди».

Кот Эман нежно урчал.

Пан Михл схватил красную банку и молча поставил ее на пол. Делай с ним что хочешь, скотина. Слопай все или не знаю что, а выбрасывать у меня рука не подымается. Сам я этой штуки в жизни не едал. Ну, да что я, я обойдусь безо всяких этих штучек, дайте мне кусок хлеба, и ничего мне другого не надо. С какой стати я буду есть этакий дорогущий паштет? Но выбросить его грех. Он стоит кошмарных денег, дружище. Выбрасывать его не годится.

Эман соскочил со стола и подошел к паштету. Он долго обследовал банку и наконец как-то неуверенно съел паштет.

— Видали, — ворчал пан Михл, — живется ли какому коту на свете лучше тебя? Везет же некоторым! Мне вот не везет.

И этой ночью он раз пять вставал к коту и трогал его. Эман урчал, чуть не захлебываясь.

* * *

С тех пор пан Михл нет-нет да и сорвет зло на коте.

— Брысь, — прикрикивал он на Эмана, — сожрал мой паштет — и молчи!

Контора по переселению

...Видите ли, я еще смутно представляю, как это осуществить, но была бы плодотворная идея, а техническое решение всегда найдется. *Моя* идея обещает сказочные барыши, а все остальное пустяки, детали. Наверняка отыщется какой-нибудь умница и подскажет, как практически подступиться к этому делу. А потом все пойдет словно по маслу.

Ну, как бы это попроще растолковать? Скажем, вам не нравится улица, на которой вы живете: может, там воняет шоколадной фабрикой или она очень шумная, а вы страдаете бессонницей; может, там вообще все вызывает у вас недовольство; одним словом, вы убеждены, что эта улица вам не подходит. Как вы поступаете в таком случае? Подыскиваете себе квартирку в другом месте, нанимаете грузовое такси и переселяетесь в новый

дом, не так ли? Все очень просто. Любая гениальная идея, сударь, всегда, в сущности, очень проста.

А теперь вообразите, что вам или еще кому не нравится наше столетие. Есть ведь люди, которые обожают тишину и покой: кое-кого просто тошнит от газет, где что ни день пишут о войне — дескать, в одном месте она уже вспыхнула или вот-вот вспыхнет, в другом — изволите знать — казнят и сажают в тюрьмы, а в третьем несколько сот или несколько тысяч людей ни с того пи с сего поубивали друг друга. На все нужны нервы, сударь. Не всякий такое выдержит. Кое-кому не по себе, коли на свете всякий день безобразия творятся. Неужто, дескать, и мне собственными глазами такое увидеть придется? Я человек мирный, семейный, цивилизованный, у меня дети, не желаю я, чтобы они росли и воспитывались в это дикое... я бы сказал, рас...распущенное и небезопасное время. Таких чудаков, я уверен, немало наберется. Да и то сказать, оно, пожалуй, и правда: нету нынче у человека никакой уверенности, что сам жив-здоров будешь, что удержишься на службе; даже в своей собственной семье — и то уверенности нет. Старые-то времена и впрямь понадежнее были. Словом, отыщутся у нас мудрецы, которым нынешние нравы никак не по нутру. Некоторые от этого просто очень несчастны. Им прямо жизнь не в жизнь — как если бы их занесло на какую-нибудь глухую, воровскую улицу, где и носа из дому не высунешь. А что поделаешь? Ничего. Жизнь-то бежит!

Вот тут-то я и появлюсь, голубчик, и вручу такому типу проспект своей конторы по переселению.

Вам не нравится двадцатый век? Положитесь на меня — на своем специальном, прекрасно оснащенном транспорте я *перемещу вас* в любое столетие. И это будет не какое-нибудь путешествие, а всамделишное переселение. Изберите себе столетие, какое вам больше подходит, — и мы с помощью квалифицированных специалистов *быстро, дешево и удобно* доставим вас вместе с вашей семьей и со всеми вашими мебелями, куда потребуете. Мои машины надежно действуют в радиусе трехсот лет, однако мы трудимся над созданием двигателей, радиус действия которых позволяет играючи одолеть два и даже три тысячелетия. Такса за каждый пройденный килограммогод — столько и столько-то...

Сколько это в деньгах — я пока тоже не имею понятия; то есть и машин, которые перемещались бы во времени, у меня тоже нет; однако не извольте беспокоиться, все образуется, стоит лишь взять карандаш и подсчитать прибыль. А что до организации — организацию я давно продумал. Скажем, приходит ко мне клиент; дескать, так и так, желаю переселиться из этого треклятого столетия, хватит, мол, с меня отравляющих газов, гонки вооружения, фашизма и вообще всего этого прогресса...

Я позволю клиенту излить душу, а потом предложу: извольте взглянуть, милостивый государь, вот наши проспекты разных столетий. Это, к примеру, девятнадцатое. Эпоха культурная, кабала сносная, войны пристойные, разве с нашими сравнить — куда там! Расцвет наук, масса возможностей для успешной предпринимательской деятельности; в особенности рекомендуем вам эру Баха — за ее глубокое спокойствие и вполне гуманное обхождение с людьми. Век осьмнадцатый вообще привлекателен для ценителей духа и вольной мысли; предлагается главным образом так называемым господам философам и интеллектуалам. Иль, сделайте одолжение, загляните в шестое столетие после Р. Х.; правда, в ту пору свирепствовали гунны, но зато можно было укрыться в девственных чащах, — идиллия, знаете ли: сказочный, насыщенный озоном воздух, рыбалка и прочие спортивные развлечения. А эпоха гонения на христиан? Век довольно цивилизованный: уютные катакомбы, относительная терпимость в вопросах веры и прочих делах, никаких концлагерей и так далее.

Словом, я был бы удивлен, если бы наши современники не нашли для себя ничего подходящего в минувших веках, где им жилось бы вольготнее и более по-человечески; я был бы изумлен, если бы они не сказали: вот если вы сбавите в цене, то я переселюсь, пожалуй, в каменный век. Вот тут-то я бы и ответил: весьма сожалею, но поверьте, у нас столько заявок на первобытные времена! Туда мы своих клиентов возим только скопом; берем лишь двенадцать фунтов багажа на человека — иначе никак не поспеть, слишком большой спрос. Сейчас принимаем заявки на 13 марта будущего года — это ближайший рейс в каменный, на который пока еще есть свободные места; если желаете, мы забронируем...

Да что тут долго рассуждать, сударь. Выгодное было бы дельце: я бы не мешкая начал массовый перевоз с тридцатью машинами и шестью прицепами. В конторе у меня все уже наготове, вот только этих машин, которые перемещались бы во времени, еще нету. Ну, да их изобретут — ведь не сегодня-завтра они станут, я бы сказал, предметом первейшей жизненной необходимости для нашего просвещенного общества!

Первый гость

...Это только так говорится — ездить в общество, устраивать приемы, а я вас уверяю, что дело это до сих пор толком не организовано. Разумеется, вы можете взять напрокат фрак, смокинг, нанять официантов, пианистов и горничных — таких, что, как говорится, пальчики оближешь, — даже в фартучках; можете заказать себе на дом ужин целиком, включая булочки и тарелочки, со всем, что полагается. Спору нет, многое, конечно, уже сделано для облегчения устройства приемов, но осталось еще немало упущений, и, я бы сказал, просто вопиющих упущений.

Вот вас позвали куда-то на чай, на прием или что-нибудь в этом роде; в самом распрекрасном расположении духа вы звоните у дверей, но, едва переступив порог, видите, что на вешалке нет еще ни единого пальто, ни шляпы. Ужасное ощущение. Вы готовы удрать, объявить, что забыли дома носовой платок и через минутку вернетесь, но — увы; и, чтобы сделать вид, будто вас не смущает ваше положение, вы громко удивляетесь: «Так это я первый пришел?» Девица в белом фартучке сделает книксен и хихикнет: «Ага». И вы попались, вас забирают в свои руки хозяева, а вы растерянно лепечете, что вот, наверно, пришли слишком рано, что у вас спешат часы и тому подобное; хозяева же чересчур горячо убеждают вас, что, наоборот, их это чрезвычайно радует и что *должен же кто-то быть первым.* Естественно, но это не значит, что этим первым должны быть именно вы, не правда ли? Как бы то ни было, положение первого гостя

всегда кажется самому себе немного глупым и неловким: вроде бы он это приглашение считает особой честью для себя или как-то уж особенно втирается, — словом, очень неловкое положение; и, как назло, проходит немало времени, прежде чем появится второй гость, — остальные-то, чтоб их черт побрал, — те уже валом валят. А пока вы переминаетесь перед хозяевами, и ни вам, ни им неведомо, о чем говорить, потому что всех нервирует ожидание. В эту минуту вы предпочли бы видеть себя где угодно, только не здесь. Короче, вы ходите как ошарашенный, и в этот день уже ничто не вернет вам уважения к собственной персоне.

А теперь представьте себе, сколько таких чаев, ужинов и вообще приемов бывает за сезон, и на каждом оказывается ни в чем не виноватый неудачник, которому приходится выполнять неблагодарную роль первого гостя. Невозможно себе представить, скольких человек постигает этот рок за сезон. И я понял, что этому пора как-то положить конец. Я бы предложил организовать бюро проката профессиональных первых гостей. Достаточно будет позвонить по телефону, и на место действия за пятнадцать минут до назначенного приема выедет человек, чтобы выступить в роли первого гостя, за это он получит 20 крон и еду. Безусловно, у него должна быть соответствующая одежда, образование и умение держать себя в обществе. За двадцать крон это взялся бы выполнить обычный студент или тихий и приятный пожилой пенсионер; за спортсмена платили бы, разумеется, подороже, скажем, пятьдесят крон; представительный иностранец или русский князь шли бы по шестьдесят. Мой первый гость будет на месте раньше какого бы то ни было другого первого гостя, он постоит с хозяевами, пока не явятся другие приглашенные, съест бутерброд-другой и тихонько удалится. Уверяю вас, нашлись бы такие, кто построил бы на этом свое счастье, познакомился бы с лучшими представителями общества, а вы понимаете, как это важно — иметь знакомства в обществе...

Короче, это имеет и свою социальную сторону, господа... устройство бюро не потребует больших вложений, достаточно было бы небольшой канцелярии с телефоном...

Проект

«Многоуважаемое Министерство финансов,

два года тому назад, после тридцати пяти лет верной и беспорочной службы в качестве налогового инспектора, я вышел на пенсию. За годы многотрудной службы мною приобретен богатый опыт, я могу заявить, что в своей области понимаю лучше многих финансистов; особенно я уверился в том, что почти все люди, с коими я сталкивался, платят налоги с неудовольствием, неохотно, можно сказать — даже с явным нежеланием, каковое откровенно выражают как налоговым органам, так и непосредственно друг другу, а именно в частных беседах, в трактирах, в разговорах с клиентами и т. п. Я неоднократно был свидетелем высказываний в том смысле, что человек, мол, платит налоги как окаянный и неизвестно зачем; или же, что «и на это вот идут наши денежки, а на ремонт дороги в нашем районе денег, конечно, нету», и тому подобное. Посему я полагаю, что одна из причин, вследствие каковой нормальный налогоплательщик отдает свои деньги, не испытывая при этом удовлетворения, заключается в следующем: он не представляет себе, на что Многоуважаемая казна тратит его кровью и п*о*том добытые гроши; у него нет уверенности в том, что эти деньги будут использованы на общее благо, на цели, которые он и сам с радостью одобрил бы. На основании своего опыта и в итоге долгих размышлений я пришел к выводу, что не составляет труда удовлетворить это здоровое стремление нашего налогоплательщика. Я представляю себе это следующим образом: каждый налогоплательщик при очередной уплате налога получал бы уведомление, на какие именно нужды будет использован взимаемый с него налог. К примеру, так: «Сумма, полученная от Вас в качестве налога, будет выплачена пану Иозефу Врабцу, школьному сторожу в Вашем городе, в виде его жалованья за сентябрь, октябрь и ноябрь». — «На средства, полученные от Вас в виде налога, будет выложено семь метров шоссе на четыреста пятьдесят первом километре». — «Этот Ваш взнос будет выплачен в качестве пенсии Адольфу Копецкому, в прошлом начальнику почты, проживающему там-то и там-то». — «Полученный с Вас налог будет использован для закупки новых

прожекторов такому-то и такому-то полку противовоздушной обороны».

Преимущества этого нового способа взимания налогов были бы следующие:

1. Налогоплательщик знал бы, куда идут его деньги, что способствовало бы преодолению отвращения к радостному факту уплаты налога.

2. Это пробудило бы в нем живой интерес к той отрасли государственного хозяйства, куда будут направлены его деньги.

Выражаясь конкретно, в приведенных выше случаях нормальный налогоплательщик лично интересовался бы, как пан Иозеф Врабец, сторож местной школы, выполняет свои обязанности, подметены ли коридоры, в*о*время ли дает он звонок, не живет ли указанный пан Врабец не по средствам и вообще ведет ли он себя, как подобает школьному сторожу, ответственному за нашу молодежь. Налогоплательщик отправился бы на четыреста пятьдесят первый километр, чтобы лично проверить, как ведутся строительные работы на данном участке, не воруют ла т а м , — короче, посмотреть, в каком состоянии *его* отрезок автострады. Точно так же плательщик навестил бы бывшего начальника почты пана Адольфа Копецкого, находящегося на заслуженном отдыхе, чтобы убедиться, не нуждается ли в чем старый господин, не слишком ли часто посещает пивную и т. д., и, понимая при этом, что имеет к нему непосредственное отношение, может быть, даже пригласил бы к себе в воскресенье на обед. Соответственно возрос бы его личный интерес к прожекторам и к делам военным вообще, оснащение нашей армии он считал бы своей собственной заслугой. «Уж у нашей-то армии есть прожекторы! — говорил бы о н . — Я за них плачу, я-то знаю!..»

Да соизволит заметить Министерство финансов, как с помощью этого несложного нововведения налогоплательщик проникся бы уважением ко всему, что финансируется за счет его отчислений; он сам контролировал бы правильность расходования его денег, возрос бы интерес граждан к разным отраслям нашего хозяйства, особенно в том случае, если бы цели использования взимаемых средств ежегодно менялись. Налогоплательщик заранее предвкушал бы радость при мысли, на что будут использованы его деньги, как он будет контролировать, чтобы

за его деньги работали как следует, и как он сам, в случае надобности, укажет на возможные непристойности школьного сторожа Иозефа Врабца или на нерадивость дорожного обходчика, у которого четыреста пятьдесят первый километр не будет вылизан до блеска. Нашлись бы и такие — я уверен, и немало, — которые преднамеренно завышали бы сведения о своих доходах, лишь бы на их взносы содержался чиновник более высокого ранга; для многих стало бы делом чести подняться до ступени налогоплательщиков, содержащих, по крайней мере, советников. Не исключено, что многих чиновников, только начинающих службу, плательщики стали бы приглашать в свои семьи, чтобы познакомить с дочкой; вообще между финансовыми учреждениями и массой плательщиков установились бы тесные личные контакты, которые послужили бы на пользу обеих сторон. Можно себе представить гордость мелкого налогоплательщика, получившего уведомление, что его кровные денежки использованы для санации какого-нибудь обанкротившегося банка. Или каким приятным сюрпризом было бы для правления Пльзеньского пивоваренного завода сообщение, что суммы, поступившие от него в качестве налоговых отчислений, будут использованы на Государственные премии в области поэзии и литературы! Невозможно даже вообразить себе в полном объеме то оживление, какое внесло бы данное новшество в налоговую систему! Тягостная обязанность уплаты налогов превратилась бы в поиски забавных приключений, неизменно сулящие плательщику все возрастающую личную заинтересованность и неисчерпаемые перспективы разнообразных развлечений.

Посему, многоуважаемое Министерство, соизвольте обратить Ваше внимание на эту скромную инициативу своего незаметного и преданного слуги NN».

Общество кредиторов барона Бигари

Умер еще один член нашего общества, старый Поллитцер, знаете, это который продавал пишущие машинки, вечная ему память, господи; бедняге, правда, было за восемьдесят, но он еще долго мог прожить. А как он лю-

бил наши вторники! Знай мы, что старый Поллитцер столь скоро оставит нас, мы избрали бы его председателем; не за то, что он был одним из крупных кредиторов, нет, он ссудил господину барону всего какую-то там тысячу, — мы избрали бы его, просто чтоб доставить старику радость. В нашем обществе — и этого не отнимешь — царит согласие, что не часто встретишь в подобных организациях. Сейчас уже дела не поправишь, по венок мы возложили на гроб просто прелестный.

Вас интересует, что это за общество? Так вот: жил себе в Праге некий барон Бигари, благородный и большой человек, волосы — что вороново крыло, а глаза, — ах, женщины по нем просто с ума сходили. Он арендовал виллу в Бубенече, держал две машины, а что касается любовниц, так если судить по расходам, их у него было не меньше семи. Что и говорить, барон был широкая натура. Он вроде имел поместье в Словакии, лесные угодья где-то у Ясини, какой-то целлюлозный завод, стеклянный заводик и владел нефтяной скважиной где-то у анталовцев; короче, был сказочно богат. Вы не представляете, сколько ему надо было тракторов, машин, канцелярского оборудования, чеков, пишущих машинок, драгоценностей и букетов! Конечно, такое состояние требует ужасных накладных расходов; опять же барон умел подать себя; все он делал с размахом — любо-дорого было смотреть. Потом, правда, выяснилось, что целлюлозного завода у него не было, не было нефти, лесных угодий и поместья тоже, был только стеклянный заводишко, да и то все машины с завода барон давным-давно распродал; и еще выяснилось, что барон никакой не барон, а некий Хаим Рот из Перечина. Против него предполагалось возбудить дело за мошенничество и все прочее, но когда собрались его кредиторы, то поняли, что много они не получат, — ну, ковер там, флакончик-другой духов, и что там еще было в вилле; никого бы это, как все прекрасно понимали, не спасло. Когда барон окажется за решеткой, сказали себе кредиторы, мы потеряем все, а так, глядишь, он еще куш отхватит, язык у проходимца подвешен и манеры что у твоего князя. Он может выгодно жениться или еще что придумает, — короче, мы тогда хотя бы часть своих денег получим. Ясно одно — нельзя ему дать пропасть, иначе плакали наши денежки. Все позабирали иски назад и основали общество его кредиторов; было нас что-то

около ста семидесяти и, как в ротарианском клубе, — по представителю от каждой профессии: торговцы автомобилями, метрдотели, банкиры, портные, ювелиры, владельцы оранжерей, один архитектор, один коннозаводчик, швея, владелец парфюмерного магазина, два адвоката, какая-то проститутка и вообще кто попало, всего более чем на шестнадцать не то семнадцать миллионов. И вот собирались мы и придумывали, как спасти барона и не остаться в накладе. Пришлось нам поддерживать его на уровне, чтоб он счастья попытал, и при этом следить, как бы он чего не натворил и не сел. Однажды мы потеряли его из виду на целый день, и он за это время обстряпал какое-то дельце, где пахло мошенничеством, пришлось нам это потихоньку заминать. О, это было напряженное время! Барон был заядлый картежник и при этом мошенничал отчаянно, иначе не играл! А то вдруг ударился в шпионаж, мол, это сулит сумасшедшие деньги. Мы все по очереди сторожили его, но, что правда, то правда, барон был милейший собеседник, он всегда изысканно угощал нас, а потом говорил: заплатите и запишите на мой счет. Да, никогда мы так славно не жили, как тогда с бароном. Мы привыкли друг к другу и находили между собой прекрасное взаимопонимание — всё пожилые, рассудительные, искушенные люди, жаждущие одного — получить обратно свои деньги от барона!

И вдруг барон исчез. Как будто бы удрал в Америку, в Голливуд, не то еще куда-то. Да что там, такой не пропадет, в один прекрасный день, глядишь, получит большие деньги и со временем найдется. Только, понимаете, мы, кредиторы, и в самом деле очень привыкли друг к другу. Нам, конечно, ужасно недоставало барона и денег его, разумеется, но еще больше нам не хватало бы друг друга, если бы мы вдруг перестали раз в неделю встречаться. А так соберемся и славно посидим, обсудим дела, сами знаете, сколько нынче всяких забот, придирок к нам, предпринимателям, и прежняя солидность в делах не в почете, ну и каждый делится опытом в своей области, — где бы еще я узнал, как делается бизнес с автомобилями или цветами? Ведь у нас в обществе были представлены всевозможные ветви предпринимательства, будто на одном ковчеге, как говорится. И мы сказали себе — пропади все пропадом, нашего барона черт унес, но мы-то здесь, и, коли уж собрались однажды вместе,

будем же и впредь держаться друг дружки, и баста. И вот мы по-прежнему сходимся по вторникам, и так в течение десяти лет; всякий раз поминаем нашего барона, как он там, бедняга, мыкается по Америке, посетуем на плохие времена — вот и легче станет на душе, да и о недомоганиях можно потолковать. Двенадцать из нас уже отошли в лучший мир. И старого пана Поллитцера пан тоже будет не хватать. Жаль, что вам не довелось встретиться с паном бароном Бигари; какой это был обаятельный господин! А у вас, по крайней мере, появились бы основания посещать наше общество.

Тонда

А с Тондой вот как дело было. Приходит к нам наша тетушка, сестра моей жены, значит, за советом. Насчет лошади вроде, ну да. Хотела она лошадь в хозяйстве завести и говорит мне: вы, мол, на железной дороге работаете, народу много знаете, да и барышников, которые по ярмаркам ездят, тоже видаете, не поспрошали бы вы насчет какой справной лошади? Толкуем мы с ней о том о сем, а все больше про хозяйство, и гляжу я — корзина-то у тетушки полная-полная. Ну, думаю, непременно *гусочка*, — будет тебе, Франтишек, к воскресенью гусочка на обед. Договорились мы с тетей обо всем, а у меня гусочка из головы *нейдет*, — в ней, прикидываю, все восемь фунтов будут, и сала натопим. Еще бы, тетенька женщина мудрая. И кончает она такими словами: вот, мол, так и так, я вам, зять, за ваши хлопоты кой-чего принесла. И вытаскивает что-то из кошелки. Как оно начало верещать, я с перепугу аж подпрыгнул. Гляжу — живой поросенок, и визжит, ровно его уже режут. Очень славный поросеночек, да. Наша тетя женщина простая; это только говорится — кондуктор, а вот такая, как наша тетя, женщина из деревни, видит в нем начальство. Кондуктор орет на людей, гоняет их туда-сюда, так что им жарко делается, — вот вам и начальство, как есть начальство. Тетушка и решила, что должна постараться вовсю; она меня уважает, это верно, и ребят наших как своих

любит. Говорю ж вам — целого поросенка притащила. Вот, дескать, возьмите, это от нашей свинки.

Сами понимаете, как подал он голос, сразу прибежали тут жена, дети — радость несказанная. Парнишка схватил его за хвостик и все не мог натешиться — слушал, как поросенок верещал. Андула взяла его на руки и давай баюкать, словно младенца; поросенок успокоился, начал этак довольно похрюкивать и уснул, а девчонка сидела, будто статуя, с поросенком в фартуке на коленях, и глаза у ней сразу стали вытаращенные, точно у святой. И откуда у такой соплюшки взялось столько материнского чувства! Ну, что ж, говорю, ребятки, надо освобождать закут в сарае, устроим там жилье для нашего Тоничка. Сам не знаю, с чего я поросенка назвал аккурат Тоничком, но кличка так за ним и осталась, пока он жил у нас. Правда, когда он набрал десять килограммов, стали его звать Тоник, а потом уж он стал и Тонда. Наш Тонда. Вы не поверите, до чего быстро растут свиньи! Ладно, думаю, дойдет до семидесяти, зарежем его и устроим себе пир, кое-чего съедим, натопим сала, а кое-чего закоптим на зиму. Кормили его и выхаживали все лето и радовались будущему пиру, а Тонда всюду бегал за нами следом, и в горницу заглядывал, и любил, чтоб его почесали, и все понимал, только что не говорил.

И не доказывайте мне, будто свинья — глупое животное.

А как-то под рождество я и объяви жене — пора, мол, и резника звать.

— Зачем? — спрашивает она.

— Как зачем? Чтоб заколол Тонду.

Жена на меня этак уставилась, да я и сам чувствую, что чего-то не то говорю, и поправился:

— Чтоб заколол, — говорю, — поросенка.

— Тонду? — переспрашивает жена и странно так на меня смотрит.

Тут я на это:

— А для чего ж мы его кормили?

— Тогда нечего было давать ему христианское имя, — обрушилась она на меня. — Да я куска в рот не смогу взять. Представь себе ливерную колбаску из Тонды. Или съесть Тондово ухо. Ты меня не неволь. И детей тоже. Не то сам себе, прости господи, людоедом покажешься.

Ну что с нее взять: глупая женщина. Я ей это и ска-

зал, только не спрашивайте, какими словами. Но когда сам одумался, чего-то мне стало не по себе. Ах, черт, убить Тонду, четвертовать Тонду, коптить Тонду, — не к добру это, я бы сам его есть не стал. Не такой уж я кровожадный, правда? Когда нету имени, это поросенок как поросенок, но когда он уже Тонда, так у тебя к нему сразу другое отношение. Что же, продал я Тонду мяснику, да и то работорговцем себя чувствовал. Не радовали и деньги, что за него выручил.

И вот что я думаю. Люди могут убивать друг друга, пока не знают один другого по имени. А если б знали, что тот, в кого он целится из винтовки, зовется Франтишек Новак или как там еще, скажем, Франц Губер, Тонда либо Василий, я уверен, в душе у них отозвалось бы:

— Черт побери, не стреляй, ведь это же Франтишек Новак!

Если б все люди на свете могли звать друг друга по имени, уверен, что между нами многое сильно изменилось бы. Только нынче люди и народы даже имени друг друга слышать не хотят. Вот в чем вся беда, друзья.

Если бы в суде заседали дипломаты

Председатель суда: Господа, с прискорбием должен сообщить, что сегодня нам предстоит заняться разбирательством весьма серьезного дела. Я пытался отложить его слушание, но под давлением возмущенной общественности вынужден был уступить... *(Листает страницы.)* Как следует из обвинительного акта, средь бела дня на людной улице было совершено убийство с целью ограбления. На глазах у свидетелей обвиняемый напал на пешехода, ныне, к сожалению, покойного... Впрочем, с подробностями вы ознакомитесь сами по свидетельским показаниям.

Председатель суда. Вы вдова убитого?

Вдова. Да.

Председатель. Суд выражает вам искреннее соболезнование. Госпожа свидетельница, вы присутствовали при означенном... несчастном случае. Вы можете рассказать, как все произошло?

Вдова. Да. *(Показывает пальцем.)* Вот этот злодей убил его!

Господин с бородавкой на носу. Я протестую... Это публичное оскорбление!

Председатель. Госпожа свидетельница, в суде ни на кого не указывают пальцем. Итак, вы утверждаете, что убийство совершил некто, в протоколе не поименованный?

Господин с бородавкой на носу *(берется за шляпу).* Господа, я покину зал суда... если при мне еще хоть раз произнесут слово «убийство». Речь может идти лишь о вынужденной самообороне.

Председатель суда. Согласен со столь удачной формулировкой. Итак, госпожа свидетельница, ваш муж спокойно шел по улице...

Господин с бородавкой на носу. Пардон, снова искажение истины. Он не шел спокойно. Он нахально нес деньги в сберегательную кассу — и держался вызывающе!

Председатель суда. В чем это выражалось?

Господин с бородавкой на носу. Да во всем. Он давал понять, что никого не боится. Не исключено, что у него было оружие!

Вдова. Неправда! Никакого оружия у него не было!

Председатель суда. Ваш муж поступил в высшей степени неосторожно, милостивая сударыня! Если бы у него было оружие, нам не пришлось бы сегодня так мучительно искать правильное решение. Он мог бы предупредить... сей печальный инцидент. *(Сокрушенно вздыхает.)* Пригласите следующего свидетеля! Итак, господин свидетель, вы шли по улице в то время...

Свидетель. Да. Я шел по улице в то время, когда господин с бородавкой на носу напал на пострадавшего...

Господин с бородавкой на носу. Кто же этот господин? Не хотите ли вы назвать его имени?

Свидетель. Нет. Воздержусь.

Господин с бородавкой на носу. Вот то-то. Я бы тоже этого никому не посоветовал.

Председатель суда. В самом деле, господа, лучше избегать слишком конкретных указаний на личность обвиняемого. Это поможет нам вынести справедливый приговор. Прошу следующего свидетеля!..

Председатель суда. Господа, мы выслушали показания всех свидетелей и считаем установленным тот факт, что некая особа... точнее не поименованная... с целью завладеть портмоне применила на улице огнестрельное оружие... что повлекло за собой смерть другой особы. Ввиду того что за последнее время подобного рода прискорбные случаи все учащаются, высокий суд склоняется к строгому приговору. Во имя прав человека! Не желая затрагивать чью-либо честь, мы вместе с тем торжественно провозглашаем... что при повторении такого инцидента мы будем вынуждены, как это ни прискорбно, собраться здесь еще раз... и снова, никого не называя по имени, осудить подобные деяния как нежелательные... и незаконные. У меня все.

Господин с бородавкой на носу. Ваше решение неприемлемо и прямо-таки оскорбительно! Я принципиально возражаю против любых попыток, во имя якобы защиты прав человека, решать, что желательно и что нежелательно. Запомните на будущее — я больше по вашему вызову не явлюсь. У меня, господа, на это нет времени.

Председатель суда. Очень жаль, милостивый сударь. Нам не хотелось бы лишиться вашего драгоценного участия в защите прав человека... и законного порядка. Суд заверяет вас в своем совершеннейшем почтении...

Присяжный заседатель. На мой взгляд, коллега, таких сложных случаев, как убийство с целью грабежа, мы здесь вовсе не должны касаться.

Ореол

Без четверти семь Кнотек проснулся на своем холостяцком ложе. «Можно полежать еще четверть часика», — блаженно подумал он. И вдруг ему вспомнился вчерашний день. Ужасно! Он был на грани того, чтобы кинуться во Влтаву. Но прежде он написал бы управляющему банком письмо, и уже этому-то письму управляющий наверняка не порадовался бы. Да, господин Полицкий,

вам до конца дней не было бы покоя за то, что вы так обидели человека... Вот здесь, за этим столиком, Кнотек до ночи сидел над листом бумаги, подавленный вопиющей несправедливостью, жертвой которой он стал.

— Такого тупицы, как вы, у нас еще не бывало! — орал на него вчера управляющий. — Уж я позабочусь о том, чтобы вас перевели в другое место! Но что там будут делать с таким негодяем, одному богу известно! Вы, милейший, самый бестолковый сотрудник за последнюю тысячу лет...

И так далее.

И все это при сослуживцах, при барышнях! Кнотек стоял уничтоженный, весь красный, а Полицкий, накричав на него, бросил ему под ноги эту злосчастную балансовую ведомость. Кнотек был так ошеломлен, что даже не защищался. А ведь он мог бы сказать: «К вашему сведению, господин управляющий, эту ведомость составлял не я, а коллега Шембера. Идите кричите на Шемберу, а меня оставьте в покое. Я работаю в банке ужо семнадцать лет и еще не сделал ни одной серьезной ошибки».

Но прежде чем Кнотек успел заговорить, управляющий хлопнул дверьми, и в бухгалтерии настала зловещая тишина. Коллега Шембера уткнулся в бумаги, пряча свое лицо, а подавленный Кнотек, как автомат, взял шляпу и вышел из бухгалтерии. «Я уже не вернусь сюда, думал он. — Конец!»

Весь остаток дня он бродил по улицам, забыл пообедать и поужинать, а к вечеру, крадучись как вор, вернулся домой и сел писать последнее письмо. Кончена жизнь, но господина управляющего до конца дней будет терзать совесть.

Кнотек задумчиво поглядел на столик, за которым он вчера сидел до поздней ночи. Что же он хотел написать? Сейчас ему, хоть убей, не удавалось вспомнить ни одной из тех исполненных достоинства и горечи фраз, которыми он хотел обременить совесть управляющего. Он помнил только, что ему было горько и обидно, и он даже заплакал из жалости к себе, а потом, совсем ослабев от голода и уныния, завалился в постель и уснул как убитый.

Надо бы сейчас написать это письмо — подумал Кнотек, проснувшись поутру, но под одеялом было так

тепло и хорошо, что он сказал себе: полежу еще минутку, потом напишу. Такое дело надо хорошенько обдумать.

Он натянул одеяло до самого подбородка. Так что же, собственно, написать? Ну, прежде всего, что ту ведомость составлял коллега Шембера. Нет, этого нельзя, ужаснулся Кнотек. Шембера, правда, ужасный растяпа, но ведь у него трое детей и больная жена. Его только полтора месяца назад приняли в банк... сейчас бы он, конечно, вылетел с треском. «Ничего не поделаешь, Шембера, — скажет управляющий. — Такие сотрудники нам не нужны». Написать разве, что эту ведомость составил не я, вот и все! Но управляющий выяснит, кто же ее делал, и Шемберу все равно выгонят. А я не хочу быть причиной этого, сочувственно подумал Кнотек. Нет, Шемберу лучше не впутывать. Напишу Полицкому только так: вы были несправедливы ко мне, и моя смерть у вас на совести!

Кнотек сел на кровати. Надо бы почаще помогать этому Шембере, думал он. Что, если сказать ему: «Послушайте, коллега, вот как надо сделать ведомость. Я вам всегда охотно помогу...» Но ведь меня там уже не будет, вот в чем загвоздка! И этот растяпа Шембера в два счета останется без места. Вот нелепое положение!.. Собственно говоря, мне следовало бы вернуться, размышлял Кнотек, поджав ноги, и простить управляющему его грубость. Да, простить, почему бы и нет? Полицкий — вспыльчивый человек, но он не хотел мне зла. Вспылит, а через минуту сам не знает, почему наорал. Строг, это верно, но порядок завел настоящий, тут уж ничего не скажешь.

Кнотек с удивлением убеждался, что, собственно, не чувствует нестерпимой обиды, а на душе у него отрадное умиротворение. «Прощу Полицкого, — прошептал он, — а Шембере покажу, как надо работать».

Четверть восьмого. Кнотек вскакивает с постели и бросается к умывальнику. Бриться уже нет времени, поскорее одеться и бежать! И он устремляется вниз по лестнице. Настроение у него светлое и бодрое — видимо, потому, что он преодолел в себе все обиды. Держа шляпу в руке, он спешит в кафе, и ему хочется петь от радости. Сейчас он выпьет утренний кофе, просмотрит газету и как ни в чем не бывало отправится в банк.

Но почему прохожие так глядят на него? Кнотек схватился за голову. Что-нибудь не в порядке с моей шляпой?

Но ведь она у меня в руке... По улице едет такси. Шофер оглядывается на Кнотека и неожиданно сворачивает так круто, что едва не въезжает на тротуар. Кнотек качает головой укоризненно и отрицательно: мол, машина ему не нужна. Ему кажется, что люди останавливаются и глядят на него. Он торопливо проводит рукой по пуговицам — все ли они застегнуты? Не забыл ли я галстука? Нет, слава богу, все в порядке.

И Кнотек в отличном расположении духа входит в свое кафе.

Мальчишка-кельнер таращит на него глаза.

— Кофе и газету, — распоряжается Кнотек и степенно усаживается за свой постоянный столик. Кельнер приносит ему кофе и в изумлении глядит чуть поверх лысины гостя. Из кухни высовывается несколько голов, и все оторопело глядят на Кнотека.

Кнотек обеспокоен.

— В чем дело?

Кельнер смущенно кашлянул:

— У вас что-то на голове, сударь.

Кнотек снова ощупал голову. Ничего! Голова сухая и гладкая, как всегда.

— Что у меня на голове? — воскликнул он.

— Похоже на сияние, — неуверенно пробормотал кельнер. — Я все гляжу и гляжу...

Кнотек нахмурился. Видно, высмеивают его плешь. «Занимайтесь лучше своим делом», — отрезал он и взялся за кофе. Но для верности все же незаметно оглянулся и увидел свое отражение в зеркале: солидная плешь и вокруг нее что-то вроде золотистого ореола... Кнотек поспешно встал и подошел к зеркалу. Ореол двигался вместе с ним. Кнотек ухватился за него обеими руками, но не нащупал ничего — руки проходили сквозь светящийся круг, ореол был совершенно нематериальным и лишь едва ощутимо согревал пальцы.

— Отчего это у вас? — с сочувствием и интересом осведомился кельнер.

— Не знаю, — уныло сказал Кнотек и вдруг перепугался. А как же он пойдет в банк? С этим нельзя! Что скажет управляющий? «Господин Кнотек, — скажет он, — эту штуку вы оставьте дома. В банке мы этого допустить не можем». Как же быть, с ужасом подумал Кнотек.

Снять это нельзя, под шляпу не спрячешь. Добежать бы хоть до дому...

— Будьте добры, — быстро сказал он, — найдется у вас тут зонтик? Я бы прикрыл это зонтиком...

Человек, который в ясное, солнечное утро бежит по улице, спрятавшись под зонтиком, безусловно, обращает на себя внимание, но все же меньшее, чем если бы он шествовал с нимбом вокруг головы. Кнотек без особых происшествий добрался домой, только уже на лестнице соседская служанка, столкнувшись с ним, взвизгнула и уронила сумку с продуктами; в темном подъезде нимб сиял особенно ярко.

Дома Кнотек заперся и подбежал к зеркалу. Да, вокруг головы у него был нимб, размером чуть побольше оркестровых тарелок, сиявший примерно как сорокасвечовая лампочка. Погасить его было никак невозможно; Кнотек даже сунул голову под кран — тщетно. Впрочем, нимб не мешал ни ходьбе, ни движениям. Чем же мне отговориться в банке? — в отчаянии думал Кнотек. — В таком виде я не могу туда идти!

Он побежал к привратнице и окликнул ее через приоткрытую дверь.

— Позвоните, пожалуйста, в банк, скажите, что я серьезно болен и сегодня не буду.

На счастье, он никого не встретил на лестнице. Дома он снова заперся и попытался читать, по то и дело вставал и подходил к зеркалу. Золотистый нимб вокруг головы сиял спокойно и ярко.

После полудня Кнотек сильно проголодался. Но не идти же в ресторан в таком виде! Кнотеку уже не читалось, он сидел не шевелясь и твердил себе: конец! Я уже никогда не смогу бывать среди людей. Лучше было бы вчера утопиться!

У дверей позвонили.

— Кто там? — крикнул Кнотек.

— Доктор Ванясек. Меня прислали из банка. Можете открыть?

Кнотек вздохнул с облегчением. Медицина, наверное, поможет, ведь доктор Ванясек — такой опытный старый врач.

— Ну-с, на что мы жалуемся? — еще в дверях бодро заговорил старый доктор. — Что болит?

— Взгляните-ка, господин доктор, — вздохнул Кнотек. — Видите, что со мной случилось?

— Что?

— Да вот, вокруг головы.

— Ого-го! — удивился доктор и попытался исследовать нимб. — С ума сойти! — бормотал он. — Откуда он у вас, голубчик?

— А что это такое? — робко осведомился Кнотек.

— Нечто вроде ореола, — сказал старый доктор таким серьезным тоном, словно произносил слово «вариола» [1]. В жизни не видывал ничего подобного. Погодите, друг мой, я еще взгляну на ваши пателлярные рефлексы. Гм... и зрачки реагируют нормально. А как насчет ваших родителей, здоровые они были люди? Да? Не наблюдались ли у одного из них приступы религиозной экзальтации или чего-нибудь вроде? Нет? Ну, а у вас самого не бывало видений и всякого такого?.. — Доктор Ванясек торжественно поправил очки. — Видите ли, это из ряда вон выходящий случай. Пошлю-ка я вас в нервную клинику, пусть исследуют это явление научно. Нынче много пишут о всяческой там электрической эманации мозга, черт знает, может, это она и есть. Чувствуете запах озона? Друг мой, вы станете прославленным научным феноменом!

— Пожалуйста, не надо, — испугался Кнотек. — У нас в банке будут очень недовольны, если мое имя попадет в газеты. Пожалуйста, господин доктор, помогите мне избавиться от этого.

Доктор Ванясек задумался.

— Трудное дело, голубчик. Пропишу вам бром, но... право, не знаю. Видите ли, я, как медик, не верю в сверхъестественные феномены. Наверняка это нервное... Слушайте, господин Кнотек, а не совершили вы случайно какого-нибудь... м-м... святого поступка?

— Как так святого? — удивился Кнотек.

— Ну, что-нибудь необычное. Какое-нибудь праведное деяние?

— Не помню ничего такого, господин доктор, — растерялся Кнотек. — Разве что я целый день ничего не ел...

— Может быть, после приема пищи это пройдет... — пробурчал доктор. — В банке я скажу, что у вас грипп...

---

[1] gloriola — ореол, variola — оспа (*лат.*).

Слушайте, на вашем месте я бы попробовал кощунствовать.

— Кощунствовать?

— Да. Или вообще — как-нибудь согрешить. Вреда от этого не будет, а попробовать стоит. Может, тогда это у вас само пройдет. Ну, я загляну завтра.

Кнотек остался один и, стоя перед зеркалом, попытался кощунствовать. Но для этого ему, видимо, не хватало воображения — ореол вокруг его головы даже не дрогнул. Так и не придумав никакого порядочного кощунства, Кнотек показал себе язык и, удрученный, уселся за стол. Он был голоден и измучен, хоть плачь! Положение мое совершенно безнадежное, мрачно размышлял он. И все оттого, что я простил эту сволочь Полицкого. А с какой стати? Ведь он просто зверь, а не человек, да еще и карьерист, какого не сыщешь. Ну конечно, на барышень он не орет... Интересно знать, господин Полицкий, почему вы так часто вызываете к себе для диктовки ту рыжую машинистку? Я ничего такого не говорю, а все-таки такому старикашке, как вы, это не подобает. Шашни с секретаршами дорого обходятся, господин Полицкий, стоят немалых денег. А в результате директор банка или управляющий, вроде вас, начинает играть на бирже, и банк несет убытки. Вот как это бывает, господин Полицкий. Вы думаете, мы можем безучастно смотреть на это? Нет, надо предостеречь правление, чтобы оно приглядывало за управляющим. И за этой рыжей выдрой тоже. Спросите-ка у нее, откуда она берет деньги на всякие там пудры, помады и шелковые чулочки! Как можно носить такие чулочки на службу в банк! Разве я ношу шелковые чулки? Этакая девица только затем и поступила на службу, чтобы подцепить какого-нибудь директора. Потому-то она вечно мажется да пудрится, вместо того чтобы работать. Все они на один лад! — возмущенно заключил К н о т е к. — Будь я управляющим, я бы им задал жару...

Да и Шембера тоже хорош, продолжал размышлять он. Попал к нам по протекции и не умеет сосчитать «дважды два четыре». Стану я тебе помогать, как бы не так! Этакий заморыш, а завел семью. Я себе этого не мог позволить, разве хватило бы моего жалованья! Таких легкомысленных людей не следовало бы принимать на службу в банк. А что жена у тебя хворает, господин

Шембера, так ведь всем известно почему. Ясное дело, сделала аборт. А ведь это уголовное дело, коллега. Что, если кто-нибудь донесет? Нет, если ты еще напорешь в работе, я тебя больше покрывать не стану. Каждый пусть заботится о себе. Банк — не благотворительное учреждение. Еще, чего доброго, мне скажут: «Господин Кнотек, а знаете ли вы свои обязанности? Они состоят в том, чтобы обращать внимание начальства на все упущения, а не замазывать их. Смотрите не повредите своему продвижению по службе, господин Кнотек. Занимайтесь своим делом и не глядите ни вправо, ни влево. Тот, кто хочет чего-то достичь в жизни, не должен поддаваться ложному сочувствию. Разве сочувствуют кому-нибудь господин управляющий Полицкий или директор, а? Вот так-то, господин Кнотек».

От голода и слабости Кнотека одолела зевота. Эх, если бы можно было выйти на улицу! Исполненный жалости к самому себе, Кнотек встал и пошел взглянуть в зеркало. Там он увидел самую заурядную хмурую физиономию... и никакого нимба. Ни следа! Кнотек чуть не уткнулся носом в зеркало, но не узрел ничего, кроме редких волос и морщинок возле глаз. Вместо золотистого ореола вокруг его головы зеркало отражало лишь полутьму одинокой неуютной комнаты.

Кнотек вздохнул с безмерным облегчением. Ну вот, значит, завтра можно опять идти на службу!

Человек, который умел летать

Томшик шел по дороге, что близ больницы на Виноградах. Он совершал свой ежедневный моцион, ибо очень заботился о здоровье и вообще был ярый спортсмен — не пропускал ни одного футбольного матча. Шел он быстро и легко. На землю уже спустились весенние сумерки, навстречу Томшику попадались лишь случайные прохожие да изредка влюбленные парочки. «Надо бы купить шагомер, — думал он, — и проверять, сколько шагов я делаю в день». Томшику вдруг вспомнился сон, который он видел уже три ночи подряд: он идет по улице, дорогу ему преградила женщина с младенцем в коляске. Том-

шик слегка отталкивается левой ногой, взмывает над землей метра на три, перелетает через женщину с коляской и плавно опускается на тротуар. Во сне он нисколечко не удивился: такой взлет ему показался естественным и очень приятным; странно было лишь то, что до сих пор никто этого не попробовал. А ведь как просто: стоит только слегка повращать ногами, словно едешь на велосипеде, и вот уже снова возносишься в воздух, паришь на высоте второго этажа и легко опускаешься на землю. Оттолкнешься ногой и опять летишь, совсем легко, как на гигантских шагах. Можно даже не касаться земли, а просто повращать ногами, и полет продолжается. Томшик даже громко засмеялся во сне: как же это, мол, так, почему никто до сих пор не додумался летать? Ведь только оттолкнуться ногой, и готово дело... Это же легче и проще, чем ходить, — думал он во сне. Надо будет завтра попробовать.

Три ночи снился ему этот приятный сон. Чувствуешь себя таким легким... Да, отлично было бы, если бы можно было летать так просто: слегка оттолкнешься ногой и... Томшик оглянулся. Никого кругом. Томшик так, скорее шутки ради, разбежался и оттолкнулся левой ногой, словно прыгая через лужу... и вдруг вознесся на три-четыре метра и невысокой дугой пролетел над землей. Он даже не удивился: это и в самом деле оказалось совсем просто и лишь приятно волновало, как катание на карусели. Томшик чуть не закричал в мальчишеском восторге. Пролетев метров тридцать, он уже приблизился было к земле, но увидел, что опускается в самую грязь. Тогда он заболтал ногами, как делал во сне, и в самом деле опять взлетел повыше, пролетел еще метров пятнадцать и легко опустился за спиной какого-то прохожего, шагавшего из Страшнице. Тот подозрительно оглянулся, ему явно не понравилось, что рядом с ним появился человек, шагов которого он не слышал. Томшик обогнал его с самым непринужденным видом, хотя в душе немного побаивался, как бы, сделав слишком энергичный шаг, не оторваться от земли и не взлететь опять.

«Надо это хорошенько проверить», — сказал он себе и по той же пустынной дороге направился домой. Но, как назло, ему то и дело попадались прохожие — то влюбленные парочки, то железнодорожники. Тогда он свернул

на пустырь, где годами была городская свалка. Уже совсем стемнело, но Томшик не хотел откладывать пробы, опасаясь, что до завтра разучится летать. Он оттолкнулся очень робко, взлетел на какой-нибудь метр и довольно тяжело опустился на землю. Во второй раз он помогал себе руками, словно плавая, пролетел добрых восемьдесят метров, даже сделал полукруг и сел на землю легко, как стрекоза. Томшик хотел было попробовать еще раз, но тут на него упал сноп света и грубый голос спросил: «Вы что тут делаете?»

Это был полицейский патруль.

Томшик страшно смутился и забормотал, что он тут «немного упражняется».

— Проваливайте упражняться куда-нибудь подальше! — гаркнул полицейский. — Здесь нельзя!

Томшик, правда, не понял, почему здесь нельзя, а в другом месте можно, но так как он был дисциплинированный гражданин, то пожелал полицейскому покойной ночи и поспешно удалился, опасаясь только одного — как бы, упаси боже, опять не взлететь. Попадешь, чего доброго, под подозрение полиции. Только около Государственного института здравоохранения он снова подпрыгнул, легко перемахнул через ограду и, помахивая руками, пролетел над институтским садом и спланировал на Коронном проспекте, прямехонько перед какой-то служанкой с кувшинчиком пива. Та взвизгнула и пустилась наутек. Томшик прикинул, сколько он пролетел: метров двести. Отлично для начала!

В последующие дни он усердно тренировался, разумеется, только ночью и в уединенных местах, чаще всего близ еврейского кладбища за Ольшанами. Он пробовал разные приемы, например, взлет с разбегу и крутой подъем с места. Без труда, действуя только ногами, он поднимался на высоту до ста метров, но выше не рискнул. Потом он принялся осваивать разные виды спуска — плавное приземление и замедленное падение, — все зависело от того, как работаешь руками. Томшик овладевал переменой скорости и направления, пробовал летать против ветра, летать с грузом, парить на разных высотах и так далее. Дело шло как по маслу, и он все больше удивлялся, почему же люди до сих пор не додумались летать. Видно, лишь потому, что никто не пробовал оттолкнуться ногой и взлететь.

Однажды Томшик продержался в воздухе целых семнадцать минут, но под конец налетел на телефонные провода и поспешил спуститься. Как-то ночью, тренируясь на Русском проспекте, он с высоты четырех метров заметил под собой двух полицейских. Томшик тотчас же свернул в сторону садов, окружавших особняки. Ночью тишину прорезали пронзительные полицейские свистки. Через несколько минут Томшик уже пешком вернулся к тому месту и увидел, что шестеро полицейских с фонариками обшаривают палисадники, ища вора, который «у них на глазах перелезал через ограду».

Только теперь Томшик сообразил, что умение летать сулит невиданные возможности, но никак не мог придумать, как же использовать их. Однажды ночью он соблазнился открытым окном в четвертом этаже дома на площади Св. Иржи. Легко оттолкнувшись от земли, Томшик достиг окна и уселся на подоконнике, не зная, что делать дальше. Из комнаты доносился храп крепко спящего человека. Томшик влез в комнату. Красть он не собирался и потому стоял, объятый смутной неловкостью, которую мы обычно испытываем, случайно оказавшись в чужом жилье. Потом вздохнул и полез обратно в окно. Но надо же оставить хоть какой-нибудь след, какое-нибудь свидетельство своего спортивного достижения! Томшик извлек из кармана клочок бумаги и написал на нем карандашом: «Был здесь! Мститель Икс». Он положил записку на ночной столик и тихо спустился по воздуху вниз. Дома выяснилось, что клочок бумаги был конвертом с его адресом и фамилией. Но у Томшика уже не хватило смелости вернуться. Несколько дней он прождал сыщиков из полиции, но, как ни странно, никаких осложнений не последовало.

Наконец Томшику стало уже невтерпеж: полеты остаются для него лишь тайным развлечением, которым он предается в одиночестве, а ему хотелось сделать их достоянием гласности. Но как? Ведь летать так просто: оттолкнешься ногой, слегка взмахнешь руками, и лети себе, как птичка... Может быть, это станет новым видом спорта. Или, например, вполне возможно разгрузить уличное движение, если люди начнут передвигаться по воздуху. Можно будет обойтись без лифтов. И вообще возможности громадные. Представление о них было у Томшика, правда,

самое смутное, но в конце концов все образуется. Каждое великое открытие сперва казалось безделкой.

У Томшика был сосед по дому, этакий упитанный молодой человек по фамилии Войта. Он работал в газете, кажется, был репортером спортивного отдела. И вот однажды Томшик зашел к этому Войте и, немного помявшись, объявил, что может показать соседу кое-что интересное. Секретничал он ужасно, так что Войта подумал: «Ну и ну!» — но все же дал себя уговорить, и около девяти вечера они вместе отправились к еврейскому кладбищу.

— Теперь глядите, господин р е п о р т е р, — сказал Томшик, оттолкнулся ногой от земли и взлетел на высоту примерно пяти метров. Там он начал выделывать всякие выкрутасы, спускался до земли, снова поднимался, махая руками, и даже провисел в воздухе полных восемь секунд.

Войта стал страшно серьезен и попытался выяснить, как это Томшику удается. Тот терпеливо объяснял: надо только оттолкнуться ногой, и готово. Нет, господин Войта, это совсем не спиритическое явление, и здесь нет никакой сверхъестественной силы, не требуется напряжения мышц или воли. Подпрыгнешь и летишь...

— Да вы попробуйте сами, господин р е п о р т е р, — уговаривал Томшик, но Войта только качал головой; нет, задумчиво сказал он, здесь не обходится без какого-то фокуса. Но я докопаюсь, в чем там дело. А пока, мол, господин Томшик, это не демонстрируйте больше никому.

На другой день Томшик летел перед Войтой с пятикилограммовыми гантелями в руках. Это оказалось потруднее, и он достиг всего лишь трех метров высоты, но Войта был доволен. После третьего раза репортер сказал:

— Слушайте, господин Томшик, не хочу пугать вас, но дело очень серьезное. Этакие полеты без всякого аппарата могут иметь важнейшее значение, например, оборонное, понятно? Этим должны заняться специалисты. Надо продемонстрировать ваши полеты экспертам, господин Томшик. Я все устрою.

* * *

И вот в один прекрасный день Томшик в трусиках предстал перед четырьмя экспертами во дворе Государственного института физической культуры. Он страшно стеснялся своей наготы, волновался и дрожал от холода,

но Войта был неумолим: надо, мол, непременно в трусиках, чтобы было видно, как работают мышцы. Один из экспертов, толстый и лысый, оказался университетским профессором физкультуры. Вид у него был совершенно неприступный и на лице написано, что, мол, с научной точки зрения все это чушь и ерунда. Он нетерпеливо поглядывал на часы и что-то ворчал.

— Ну-с, господин Томшик, — не без волнения сказал Войта, — для начала давайте с разбегу.

Томшик испуганно рванулся вперед.

— Погодите, — остановил его профессор. — У вас совершенно неправильный старт. Центр тяжести надо перенести на левую ногу. Понятно? Повторите!

Томшик вернулся и попытался перенести центр тяжести на левую ногу.

— А руки, руки! — поучал эксперт. — Вы же не знаете, куда их деть! Держите их так, чтобы они не мешали расправить грудную клетку. И потом вы при разбеге задержали дыхание, этого нельзя. Дышать надо медленно и глубоко. Ну-ка, еще раз!

Томшик растерялся. Теперь он и в самом деле не знал, куда деть руки и как дышать. Он смущенно топтался на месте, стараясь сообразить, где у него центр тяжести.

— Вперед! — крикнул Войта.

Томшик неуверенно замахал руками и побежал. Едва он оттолкнулся от земли, как тренер сказал:

— Плохо! Отставить!

Томшик хотел остановиться, но уже не мог. Он вило оттолкнулся левой ногой, взлетел на полметра и, повинуясь тренеру, тотчас же опустился на землю и остался стоять.

— Совсем плохо! — воскликнул профессор. — А приседание где? Падать надо на носки и пружинить приседанием на корточки. А руки выбросить вперед, понятно? Чтобы передать им инерцию падения, — это вполне естественное движение. Погодите, — продолжал он, — я вам покажу, как надо прыгать. Смотрите на меня внимательно. — Он скинул пиджак и стал на старт. — Обратите внимание: вся тяжесть тела на левую ногу. Нога полусогнута, и тело подалось вперед. Локти отвести назад и тем самым развернуть грудную клетку. Делайте, как я!

Томшик повиновался. В жизни он не принимал такой неудобной позы.

— Надо будет вам поупражняться, — заметил профессор. — А теперь смотрите! Оттолкнуться и бег вперед! — Он устремился вперед, пробежал шесть шагов, оттолкнулся, прыгнул, красиво взмахнул руками и элегантно упал на корточки, выставив руки вперед. — Вот как это делается! — сказал он, подтянув брюки. — Повторите!

Подавленный Томшик вопросительно взглянул на Войту. Обязательно нужно так?

— Ну-ка, еще раз! — сказал тот, и Томшик скрючился в предписанную позу. — Вперед!

Томшик перепутал и выбежал не с той ноги. «Может быть, это не важно. Главное выбросить руки, как он велел, и сделать приседание, — испуганно думал он на бегу и чуть не забыл подпрыгнуть. Но вот он быстро оттолкнулся от земли... — Только бы приземлиться с приседанием», — мелькнуло у него. Томшик подпрыгнул на полметра и упал, пролетев метра полтора. Потом он торопливо присел на корточки и выбросил руки вперед.

— Но ведь вы не летели, господин Томшик! — воскликнул Войта. — Пожалуйста, повторите!

Томшик снова разбежался и прыгнул всего на метр сорок, но зато опустился на носки, с приседанием, и вовремя выбросил руки. Он был весь в поту, и сердце у него бешено колотилось. «Боже, отвязались бы они от меня», — думал он.

Потом он прыгал еще два раза, от дальнейших попыток пришлось отказаться.

* * *

С того дня Томшик больше не умел летать.

О всемирном потопе

Не знаю, помните ли вы последний всемирный потоп, по-видимому, нет — о таких вещах, как заслуженное возмездие, люди с удовольствием забывают, — но это не важно, я вам напомню.

Произошло это, вероятно, так: господь бог разгневался на людей за распутство, рознь и прочие грехи и понял,

что терпеть все это нету больше никакой его мочи. И послал он тогда дождь, который лил сорок дней и ночей; Государственный институт метеослужбы утверждал, правда, что это — холодный циклон, пришедший со стороны Атлантического океана и вызванный низким атмосферным давлением над значительной территорией, но когда уровень влтавской воды поднялся к самому Музею, народ начал поговаривать, что это неспроста, что близится конец света. Так оно и было. Одни искали спасения в костелах, другие совершали набеги на банки и срочно забирали свои вклады (хотя на что они сдались при конце света, одному господу богу известно), третьи кутили напропалую и вообще жили не по средствам, как, впрочем, и до этого; многие из них и утонули именно в барах. Умные люди, конечно, заявляли, что с потопом надо что-то делать, возводить плотины хотя бы, и толпами стремились на добровольные работы, но планы этих плотин так и лежат в министерстве общественных работ, и вопрос о них не разрешен и поныне. Народ бросился сам воздвигать плотины где попало, но до плотин ли тут, если уже затопило Баррандов, Панкрац, Богдалец и Стршешовице и вода все поднималась! В других городах и государствах и на других континентах было ничуть не лучше, короче говоря, это было еще одно светопреставление, как и написано в Библии. Только, разумеется, некому было построить ковчег. Подскали затопило раньше всех, а жители Виноград или Дейвиц не в состоянии плот сколотить, не то что ковчег построить, такой уж это сухопутный народ. И ничего тут не поделаешь. Конец света — это конец света.

И жил в те поры один немолодой уже господин, звали его то ли Киршнер, то ли Building Бездичек, то ли еще как-то, выйдя на пенсию, он занялся археологией и все искал какие-нибудь доисторические памятники. Раз ковырялся он где-то в Глоубетине и выкопал какие-то глиняные черепки, не то чем-то попорченные, поцарапанные, не то покрытые письменами, было их всего штук двадцать. И тогда пан Киршнер (или Бездичек) вбил себе в голову, что значки эти — не что иное, как доисторические руны, и решил про себя, что прочитает их. Разбирая написанное, он получил слово Само и еще несколько странных слов; от радости он вроде как тронулся умом и написал книгу «Об обломках Само», в которой доказывал, что эти его

черепки — обломки от урны с прахом великого вождя Само, победителя авар, и что на этих черепках рунами на давно мертвом языке доисторических кельтских боев описана жизнь Само.

Разумеется, ученые археологи домысел его высмеяли, а самые руны определили как неудачный штриховой орнамент. С тех пор пан Droздичек (или Киршнер) воспылал смертельной ненавистью к ученым-археологам и выпускал одну за другой брошюры, в которых доказывал, что ученые-археологи — невежды и что его черепки — самые настоящие остатки Самовой урны. Он набросился на изучение кельтских языков и утверждал, что слова, прочитанные им на черепках, имеют кельтские корни. Но вы сами знаете, попробуй докажи ученым что-нибудь, что они не сами открыли. Наука просто не приняла доказательств пана Киршнера (или Бездичека) во внимание, пан Бездичек, чувствуя себя лично оскорбленным, продолжал вести ожесточенную борьбу против археологов. Ничего, кроме этих рун и очищения рядов наших археологов, для него не существовало. И вот в это самое время случился всемирный потоп.

Пан Бездичек (или Киршнер) жил на Виноградах рядом с водокачкой. Ему было наплевать, что на дворе хлещет, как из ведра, потому что он сидел за своим письменным столом и писал разоблачительную статью против некоего профессора Ондрейчека или как там звали этого специалиста по кельтским захоронениям. Писал и ничего вокруг не замечал, а когда прислуга сказала, что, видать, от этого ливня будет конец света, пан Бездичек только пробурчал в ответ, чтоб она оставила его в покое: мол, недосуг ему заниматься всякой ерундой и нет дела до какого-то там конца света. Я этому Ондрейчеку покажу, сказал он, я его разделаю, как селедку. Эти его захоронения из Оуголиц никакие не кельтские захоронения, а самые обыкновенные германские курганы, а этот идиот еще собирается меня поучать! И он выставил прислугу — мол, нет у него времени выслушивать ее болтовню, и строчил дальше.

Тут к нему прибежал сосед: дескать, все жильцы их дома постановили строить плотину внизу у Кравина, чтобы остановить разбушевавшуюся стихию, и пан Киршнер тоже должен принять в этом участие. Какие вам еще плотины, господи, сказал пан Бездичек, какое мне

дело до ваших плотин! Я тут громлю этого тупицу, этого лжеученого Ондрейчека, так что ему уже ни в жизнь не очухаться. В интересах археологии я должен его изничтожить, сударь. Подобный невежда не смеет шельмовать вымершие народы, кричал пан Киршнер (или Бездичек). Меня ваш потоп не интересует, пожалуйста, не надоедайте мне с этим, уважаемый. Он сел и писал дальше. А вода уже была по пояс памятнику Сватоплука Чеха.

Последней пришла к нему его двоюродная сестра, жившая в Флоре, она состояла в какой-то секте, члены которой сходились у одного каменщика на Ольшанах и там вместе совершали моления, чудеса и пророчества. Эта кузина сообщила пану Бездичеку, что наступает конец света и воскресение праведников, как сказано в Апокалипсисе, и чтоб он, Бездичек, шел к ним и с пением торжественных гимнов ждал триумфа праведников. Ничего себе праведники, возмутился пан Бездичек, молиться м*о*литесь, а бороться против лженауки, проповедуемой этим Ондрейчеком, так вас нет. Оставьте меня, ради бога, в покое с этим вашим концом света. Пускай их хоть десяток наступит, дайте вот только расправлюсь с этим Ондрейчеком и его кельтскими захоронениями... И он заперся, чтоб никто не отвлекал его от дела.

Между тем вода подымалась все выше и выше, пока не затопила весь мир; человечество погибло; наверно, оно этого заслужило.

Когда вода спала и достигала уже лишь Виноградской площади, на улице, покрытой слоем грязи, появился этот самый пан Киршнер, или Бездичек, высохший в щепку; он нес под мышкой рукопись своей статьи, направленной против профессора Ондрейчека, и ужасно сердился, что не находит нигде издателя, который выпустил бы ему эту брошюру.

Когда человечество с годами снова стало размножаться, новые люди удивлялись, как это пан Киршнер или Бездичек пережил всемирный потоп, а когда его об этом прямо спросили, он удивленно вытаращил глаза: «Какой потоп? Я ничего не знаю. В то время я был занят разоблачением этого неуча Ондрейчека. Представьте себе, этот невежда выступил против моих руновых надписей!»

Между нами говоря, в том, что пан Бездичек пережил потоп, нет ничего особенного. Давно известно, что людская злоба и фанатизм благополучно переживают все потопы и катаклизмы, их не тронет даже конец света.

Интервью

— Интервью? — заметил дирижер Пилат, пожав плечами. — Удивляюсь вам, дорогой мой, неужели вы им верите? У меня немалый опыт в этом вопросе, и, скажу откровенно, если уж мне никак не удается отвертеться от интервью, то потом я стараюсь его не читать. Зачем портить себе настроение! Собственно, иной раз можно живот надорвать со смеху, когда читаешь, что о тебе понаписано, а вместо этого лезешь на стену — такая перед тобой жалкая стряпня, такое беззастенчивое вранье. Порой диву даешься, чего ради понадобилась журналисту столь немыслимая путаница, кажется, он прямо-таки задался целью все переиначить, но зачем, ума не приложу. Будь я политик или некая значительная особа — ну, тогда еще куда ни шло: раз дело касается политики, кое-кому, видимо, до зарезу нужно вложить в ваши уста то, чего вы отродясь не говорили, или выдумать всю беседу с начала до конца — тут ничего не поделаешь. Но я... я, так сказать, человек маленький, музыкант... у меня разногласия разве что с домашними; и все же не бывало случая, чтобы в моем интервью хотя бы половина соответствовала тому, что я в действительности говорил.

Делается это, к вашему сведению, так. Допустим, мне предстоит дирижировать симфоническим оркестром в Лондоне или Париже, — видите ли, когда дирижирует маэстро Пилат, сами концертные агентства подымают шумиху. Не успеешь вымыть в отеле руки, в номер звонит портье, мол, меня спрашивает какой-то господин. И по важному делу. Ясно, говорю себе, — пресса! Имейте в виду, газеты интересуются вами в первый день, на второй — вы уже не новинка, и если хотите, чтобы о вас еще разок упомянули, вам по меньшей мере придется броситься под автомобиль. Что ж, заставляю этого господина минутку по-

дождать — так почему-то принято в подобных случаях, ну и... «Прошу, чем могу быть полезен?» Молодой человек расшаркивается: дорогой маэстро, такая-то газета хотела бы поместить о вас несколько слов...

— Интервью? Принципиально не даю никаких интервью.

— Нет, нет, — защищается молодой человек. — Всего несколько самых непринужденных слов...

Смиренно отдаю себя ему во власть.

— Что ж, сударь, приступайте...

Молодой человек вынимает блокнотик и постукивает карандашом по зубам. Сразу видно, что он обо мне ровно ничего не знает, музыка его не интересует и вообще он понятия не имеет, о чем со мной толковать. С минуту он смотрит на меня неуверенно, потом начинает:

— Не могли бы вы, маэстро, рассказать что-нибудь о себе...

Этот вопрос всегда приводит меня в бешенство.

— Мне нечего о себе сказать, — отвечаю я. — Но если угодно, поговорим о музыке.

Молодой человек благодарно кивает и что-то старательно записывает.

— Когда вы начали заниматься музыкой, маэстро? — спрашивает он далее.

— С детства, — говорю. — Учился игре на фортепьяно.

Молодой человек усердно пишет.

— Ваша родина?

— Маршов.

— Где это?

— В Чехии. В Крконошах.

— Где, простите?

— Крконоше, — объясняю ему, — Крконоше, Ризенгебирге, Monts Geants, Giant Mountains.

— Ага, — говорит молодой человек и поспешно что-то строчит. — Не можете ли вы рассказать о своем детстве? Например... кем был ваш отец?

— Учителем. Играл в костеле на органе. Это были мои первые музыкальные впечатления, — говорю, чтобы поскорее добраться до музыки. — Знаете, старый чешский педагог, музыкант по призванию, самородок — это у нас семейная традиция... — И так далее. Молодой человек пишет и удовлетворенно кивает головой. Как раз то, что нужно его газете. Браво, маэстро!

Наконец-то я отделался от него и облегченно вздыхаю. Гора с плеч. Знаете, я люблю бродить по чужим городам, где никто не обращает на тебя внимания... Признаюсь, во время концерта мне порой хочется зашвырнуть свою палочку — такой испытываешь ужас, такое отвращение к тому, что на тебя смотрят люди. В ком нет настоящей актерской жилки, тот не должен появляться перед публикой. Но это особый разговор...

Утром получаю газету. Броский заголовок: «Беседа с маэстро Пилатом». Ладно. «Маэстро Пилат принял нашего корреспондента в роскошном номере отеля X». Стоп, да ведь я разговаривал с этим молодым человеком в холле! «Тем выразительней контрастировали с великолепной, почти изысканной обстановкой его могучая, угловатая фигура, великолепная грива и нечто необузданное во всем облике». Ростом я едва тяну на метр семьдесят, а что касается гривы... ну, да оставим это... «Он принял нас с необычайной, я бы сказал — бьющей через край сердечностью...» Хо-хо, думаю.

Пилат взъерошил седеющую шевелюру, и его смуглое лицо омрачилось. «Мое происхождение, — сказал маэстро, — окутано тайной. Рассказать о себе я почти ничего не могу. Знаю лишь, что родился в Венгрии, неподалеку от Варшавы, на лоне диких гор-великанов. Кругом шумели леса и, словно органы в храме, гремели водопады. Это первое мое музыкальное впечатление, запомнившееся еще с детства. Скажу вам по секрету: мой отец — старый цыган. Он был дитя природы, как его предки. Браконьерство, свобода и страстная игра на скрипке и цимбалах — все это вошло в их плоть и кровь. Я и теперь еще люблю укрыться где-нибудь в таборе своих сородичей и ночью у костра играю на скрипке старинные песни, памятные мне с детства».

Короче, я бросился в редакцию газеты, разыскал шефа. В кабинете у него я, вероятно, стукнул кулаком по столу или выкинул еще что-нибудь... Во всяком случае, этот господин снял очки и с удивлением воскликнул: «Послушайте, мы пишем для газеты! Нам же необходимо преподнести факты увлекательно! Не понимаю, чем вы недовольны...»

Сейчас-то я не стал бы так горячиться — ко всему привыкаешь... Да, пожалуй, это неизбежно: у тебя своя

собственная жизнь, а в глазах прочих она выглядит совсем по-иному; а уж кто приобрел известность, тот и вовсе не принадлежит самому себе! Теперь мне трудно вспомнить, давал я это интервью в Ливерпуле, в Роттердаме или еще где-нибудь, но убежден, что когда я стал там в концертном зале за дирижерский пульт, публика и впрямь видела во мне великана, необузданного дикаря с развевающейся гривой, который со скрипкой в руках пляшет у цыганского костра. Успех я там имел грандиозный, фантастический. Не знаю, право... Возможно, этот молодой человек из газеты был не так уж далек от истины... или, по крайней мере, от того, что заменяет истину широкой публике и обществу.

Десять сентаво

Нет, нет, это произошло не у нас, у нас ни одна газета ничего подобного себе не позволит, да и общественное мнение, народ, улица, так сказать, у нас не флюгер какой-нибудь. Произошло это в Лиссабоне во время одного из тамошних политических переворотов, когда пал один режим и власть захватил другой, как, собственно, бывает и в других государствах.

Сеньора Варгу это не особенно заботило, поскольку к политике он был равнодушен и лишь возмущался про себя, сетуя на то, что беспокойство, которое снова овладевает умами, отвлекает людей от занятий, по его мнению, куда более благородных и полезных. Словом, дон Маноэль любил покой и свое дело; он возглавлял Общество народного просвещения и неколебимо верил, что через врата просвещения народ придет к благополучию и свободе, что «в труде и учении — наше спасение» и тому подобное.

В то утро он был занят составлением писем — в Монсараж, относительно цикла популярных лекций по астрономии, и в Моура — по поводу беседы о гигиене младенцев, когда домой вернулась с покупками его прислуга, вся красная, с негодующе вытаращенными глазами.

— Вот, дождались, сеньор! — заявила она и бросила на стол помятую вечернюю газету. — Я ухожу от вас, сеньор! Я женщина порядочная и в таком доме служить не стану!

— Что такое? Что такое? — удивился сеньор Варга, поверх очков взглянув на газету. И оторопел: прямо на первой странице он увидел жирный заголовок:

РУКИ ПРОЧЬ, СЕНЬОР МАНОЭЛЬ ВАРГА!

Сеньор Маноэль Варга не поверил глазам своим.

— Откуда вы это взяли, несчастная? — воскликнул он.

Газету дал ей мясник и показал статью, да и все только об этом и говорят. А еще все говорят, что этого, мол, так оставлять нельзя и презренному изменнику и собаке дону Варге не место на их улице.

— Кто же эти «все»? — в недоумении переспросил сеньор Варга.

— Все, — хозяйки, служанки, мясник и пекарь.

— Я у вас больше не останусь, — яростно взвыла она, заливаясь слезами. — Ведь они же придут сюда и спалят дом — и правильно сделают! Вот тут в газете черным по белому написано, кто что творит и что за всем этим кроется... И это — благодарность за мою верную службу!

— Пожалуйста, оставьте меня одного, — попросил удрученный дон Маноэль. — А если вы и вправду хотите уйти, я вас не удерживаю.

И тогда наконец он смог прочесть, что же было написано в газете.

РУКИ ПРОЧЬ, СЕНЬОР МАНОЭЛЬ ВАРГА!

«Скорее всего, это какой-нибудь другой Варга», — подумал он с робкой надеждой, продолжая читать дальше. Увы, речь все-таки шла о нем. «Народ покончит с вашей так называемой «просветительской» деятельностью, сеньор Варга, которой вы годами отравляли души наших людей! Народ отвергает глубоко чуждое ему, насквозь прогнившее просвещение, которое порождает в нем лишь нравственную порочность, слабоволие и внутреннюю неуверенность; народ больше не позволит вам, сеньор Варга, под видом полезных сведений распространять свои подрывные идеи среди молодежи и простого люда...»

Сеньор Варга выронил газету и опечалился. Что же подрывного в его занимательной астрономии или в лекциях о гигиене младенцев? Он не понимал, да и не пытался этого понять. Он просто верил в просвещение и любил народ, вот и все. Сколько людей ходило на эти лекции, а теперь тут пишут, что никому, мол, они не нужны и что народ с возмущением отвергает их. Сеньор Варга покачал головой и попытался читать дальше. «Если власти не примут мер против ваших безобразий, наш пробудившийся народ сам наведет порядок, и тогда берегитесь, сеньор Маноэль Варга!»

Сеньор Маноэль Варга аккуратно сложил и разгладил газету. Это конец, сказал он себе. Однако он все равно не понимал, что же так вдруг изменилось на свете и в людях и отчего то, что вчера было хорошо, сегодня в одно мгновение стало вредоносным и губительным. Но еще меньше он понимал, откуда ни с того ни с сего в людях взялось столько ненависти. Боже праведный, столько ненависти! Старый дон Маноэль покачал головой и посмотрел в окно на площадь Сао-Жоао. Площадь была очаровательна и мила, как обычно, оттуда доносились веселые крики детей и лай щенка. Сеньор Варга снял очки и медленно стал протирать их. Боже праведный, столько ненависти! Да что же это сделалось с людьми? Верно, за ночь все переменилось. А служанка... сколько лет она живет у него... Сеньор Варга с тоской подумал о своем вдовстве... А живи сейчас покойница жена — неужто и она переменилась бы?..

Сеньор Варга вздохнул и поднял телефонную трубку. Позвоню-ка я своему старому другу де Соузе, решил он, Соуза мне посоветует что-нибудь...

— Алло, говорит Варга.

Молчание.

— Соуза слушает. Что вам угодно?

Сеньор Варга слегка запнулся.

— Только... спросить. Вы читали эту статью?

— Читал.

— Простите... что же мне делать?

Нерешительное молчание.

— Ничего. Вы должны осознать, что... времена изменились, не так ли? И поступайте применительно к обстоятельствам.

Дзинь.

Сеньор Варга не мог попасть петлей трубки на крючок. И это был его лучший друг. Как все может перемениться! «Поступайте применительно к обстоятельствам», но как? Как должен вести себя человек, которого ненавидят? Тоже начать ненавидеть? И как пробудить в себе ненависть, если всю жизнь ты учил любить?

Что же, буду вести себя применительно к обстоятельствам хотя бы с точки зрения соблюдения формальностей, решил дон Маноэль, и он сел за стол и ровным почерком написал, что слагает с себя обязанности председателя Общества народного просвещения. В связи с изменившимися обстоятельствами и так далее. Сеньор Варга перевел дух и надел шляпу. Лучше самому отнести письмо и поскорее с этим покончить.

Варга шел по улице предместья, и ему казалось, что и дома смотрят на него как-то по-другому, чуть ли но враждебно, тоже, видимо, в связи с изменившимися обстоятельствами. Соседи, верно, говорят меж собой: «А-а, это тот самый Варга, который отравляет душу народа». А кто-нибудь тем временем, глядишь, мажет его ворота дегтем — ничего удивительного. Сеньор Варга пошел быстрее, применяясь к обстоятельствам. Видно, придется переселиться в другое место, мелькнуло у него в голове, продать свой домишко... словом, вести себя применительно к обстоятельствам, а?

Сеньор Варга сел в трамвай и забился в угол. Два-три пассажира читали как раз ту самую газету. «Руки прочь, сеньор Маноэль Варга!» «Если меня узнают, — подумал про себя дон Маноэль, — вон тот сумрачный господин наверняка покажет на меня пальцем:

— Видите? Это тот самый Варга, который распространял подрывные идеи! И у него еще хватает совести показываться на людях!

Выйду-ка я лучше из трамвая, — со стесненным сердцем подумал сеньор Варга, ощущая на себе враждебные взгляды. — Господи, как человеческие глаза умеют ненавидеть!»

— Билетик, сеньор! — раздался над ним голос кондуктора.

Сеньор Варга даже вздрогнул и вытащил из кармана горсть мелочи, но тут одна монетка в десять сентаво выскользнула и покатилась под лавку.

Кондуктор стал искать ее.

— Бог с ней, — отсчитывая деньги, торопливо проговорил сеньор Варга, не желая привлекать к себе внимания.

Сумрачный господин отложил газету и наклонился, высматривая под лавкой монетку.

— В самом деле, она того не стоит, — нервно уверял его дон Маноэль.

Что-то проворчав, господин полез под лавку, остальные пассажиры с интересом и пониманием наблюдали за ним.

— Наверно, сюда закатилась, — говорит будто про себя другой господин и опускается на корточки, чтобы лучше видеть.

Сеньор Варга сидит как на иголках.

— Благодарю вас... спасибо, но в самом деле не стоит, — лепечет он.

— Вот она! — восклицает второй господин, засунувший голову под лавку. — Здесь она, негодная, только в щели застряла. Нет ли у вас ножичка?

— Нет, — виновато произносит дон Маноэль, — ну, пожалуйста, прошу вас... она не стоит ваших усилий...

Тут третий господин откладывает газету и, ни слова не говоря, начинает рыться в карманах, достает кожаный футляр, а из него — серебряный ножичек.

— Покажите где, — обращается он ко второму господину, — я ее достану.

Весь трамвай с напряжением и радостью следит, как третий господин ковыряет ножичком в полу.

— Сейчас! — довольно рокочет он, монетка выскакивает и катится дальше.

Четвертый пассажир наклоняется и ловит ее.

— Вот она! — торжествующе объявляет он, красный от натуги, распрямляется и, пыхтя, протягивает ее сеньору Варге. — Пожалуйста.

— Спасибо... благодарю вас, господа, — лепечет растроганный сеньор Варга. — Вы были очень любезны, и вы, господа, тоже, — вежливо раскланивается он на все стороны.

— Не стоит благодарности, — бурчит третий господин.

— Не за что, — отзывается второй.

— Главное, что нашлась, — добавляет первый.

Пассажиры улыбаются и кивают. Главное, что нашлась, ура!

Сеньор Маноэль Варга, розовый от смущения и всеобщего внимания, сидит, не шелохнувшись, и тем не менее видит, что тот, с ножичком, подымает газету и принимается читать статью «Руки прочь, сеньор Маноэль Варга!».

Когда сеньор Варга выходит из трамвая, пассажиры дружески кивают ему, а читатели газет поднимают глаза со словами:

— Adeus [1], сеньор!

---

[1] Прощайте (*португ.*).

Комментарии

В первый том Собрания сочинений Карела Чапека включены его произведения новеллистического жанра. Чапек на протяжении всего своего творческого пути оставался верным новеллистике, в ней он впервые достиг зрелости как писатель.

Ранние рассказы

В этот раздел вошли ранние юморески братьев Чапеков, при жизни писателей не включавшиеся в издания их сочинений. Большая часть представленных здесь рассказов написана Карелом и Иозефом Чапеками совместно. Переводы ранних юморесок, кроме специально оговоренных случаев, даются по тексту книги: «Krakonošova zahrada. Zářivé hlubiny a jiné prózy. Juvenilie». — «Сочинения братьев Чапеков». Прага, 1957.

Искушение брата Транквиллия

Впервые опубликовано в брненской газете «Лидове новины» («Народная газета»), 1907, 14 декабря, за подписью «И. К. Чапек».

Стр. 71. *Сусо* Генрих (1300—1366) — монах-доминиканец, полагавший, что посредством молитвы, поста и самоистязания можно достигнуть мистического слияния с богом.

Франциск Ассизский (1182—1226) — итальянский религиозный деятель, основатель католического «нищенствующего» монашеского ордена францисканцев.

Возвращение прорицателя Гермотима

Впервые опубликовано в газете «Лидове новины», 1908, 18 января, за подписью «Братья Чапеки».

Стр. 74. *...на манер абдерских свинопасов...* — Абдера — город в древней Фракии; пользовался славой своего рода города Глупова.

Стр. 75. *Логограф* — автор хроники, хронист.

Гесиод — наиболее значительный представитель греческой дидактической поэзии VIII—VII вв. до н. э.

Стр. 76. *Минос, Ван, Радамант* — судьи в царстве Аида, определявшие дальнейшую судьбу душ усопших.

Аргентинское мясо

Впервые опубликовано в социал-демократическом сатирическом журнале «Копршивы» («Крапива»), 1910, 13 октября, за подпись. «Ч». Поводом для написания рассказа послужила кампания против ввоза аргентинского мяса в Австро-Венгрию, которую развернула в конце 1910 г. реакционная помещичье-кулацкая аграрная партия.

Стр. 78. *Удржал* Франтишек (1866—1938), *Бергман* Рудольф (1876—1940), *Прашек* Карел (1868—1932), *Зазворка* Антонин — видные деятели аграрной партии.

...собрание в Лоунах. — 18 сентября 1910 г. в городе Лоуны (Чехия) аграрная партия организовала собрание протеста против ввоза аргентинского мяса. Отчет об этом собрании, опубликованный в газете «Народни новины» («Национальная газета»), возможно, и послужил поводом для создания юморески.

Стр. 79. *Национальные социалисты* — чешская буржуазная националистическая социал-реформистская партия; основана в 1897 г.

Христианские социалисты — члены клерикальной христианско-социалистической партии, основанной в Чехии в 1904 г.

Стр. 80. *...новые гуситские войны* — т. е. войны, своим характером напоминающие гуситские войны XV столетия.

Американское сало

Впервые опубликовано в журнале «Копршивы», 1911, 20 июля, за подписью «Карел и Иозеф Чапеки». Перевод дается по тексту книги: Jan Petrmiche. Bičem a rašplí. Praha, 1959.

Стр. 84. *...доценту из Гейдельберга Гуго Т. Г. Майеру...* — В имени Гуго Т. Г. Майер содержится явный намек на фамилию Т.-Г. Масарика (1850—1937), профессора философии Пражского университета, лидера либеральной Чешской прогрессивной партии, впоследствии первого президента чехословацкой буржуазной республики.

Аррениус Сванте Август (1859—1927) — выдающийся шведский физико-химик, лауреат Нобелевской премии (1903).

Кох Роберт (1843—1910) — немецкий микробиолог, открывший возбудителей туберкулеза и холеры.

Сад Краконоша

Сборник «Сад Краконоша» вышел впервые в 1918 г. в издательстве Франтишека Борового. Братья Чапеки включили в него свои юмо-

рески и прозаические миниатюры 1908—1912 гг., и главным образом произведения, написанные в 1909—1910 гг., то есть раньше, чем большинство произведений, составивших книгу «Сияющие глубины и другие новеллы», куда вошли рассказы 1910—1912 гг. Распределение материала между этими двумя сборниками осуществлялось, однако, не столько на основе хронологического, сколько на основе жанрово-тематического и художественно-стилистического принципов. В сборник «Сад Краконоша» были включены сатирические юморески, фельетоны, афоризмы, прозаические басни, лирические миниатюры. Их объединяет своеобразный эксцентризм, игра мысли и фантазии, живая импровизация. В книгу «Сияющие глубины» вошли новеллы с развернутым эпическим сюжетом.

Краконош — дух, якобы обитающий в горах Крконошах.

Автобиографическое предисловие

Стр. 89. *«Сияющие глубины», «Распятие».* — См. прим. к разделам «Сияющие глубины» и «Распятие».

«Лелио» (1917) — книга рассказов и лирической прозы Иозефа Чапека.

...писателей с такой фамилией вообще не существует... — Ф. Лангер вспоминает, что строились предположения, будто за псевдонимом «братья Чапеки» скрывается бывший морской врач или букмекер из пражского дачного пригорода Хухле, известный законодатель моды; появлялись и самозваные «авторы»: в одном кафе молодой кандидат в адвокаты, немец, якобы признавался старшему кельнеру, что «братья Чапеки» — это он.

Стр. 90. *...князь Бржетислав повелел искать золото...* — Имеется в виду чешский князь Бржетислав I (годы правления 1034—1055); в долине р. Упы золото добывалось с 1056 г. в течение двухсот лет у села Суховршице.

Стр. 91. *Дом врача.* — Отец писателя служил врачом в городе Упице.

Стр. 92. *Недавно А. Н. написал о тебе, что ты любишь змей...* — Речь идет о рецензии критика Арне Новака «Братья Чапеки», опубликованной в газете «Венков» («Деревня»), 1917, 11 декабря. Автор ее писал, что молодые писатели испытывают любовь к змеям и так же, как они, легко меняют кожу.

Стр. 93. *...его отдали на фабрику.* — Иозеф Чапек был в 1903—1904 гг. учеником на фабрике Ф. М. Оберлендера в г. Упице и только угрозой самоубийства добился от отца разрешения ехать в Прагу, чтобы учиться там любимому делу — живописи.

Быть анархистом. — В 1904—1905 гг. Карел Чапек становится

участником тайного ученического кружка «Мансарда». За кружком была установлена слежка. Под угрозой исключения без права поступления в другие учебные заведения Австро-Венгрии Чапеку предложили покинуть гимназию в городе Градец-Кралове, где он учился в 1901—1905 гг. С осени 1905 г. Чапек продолжает занятия в брненской гимназии.

Стр. 93. *...он очень быстро влюбился, писал под партой стихи...* — Сохранились юношеские письма и стихи К. Чапека этой поры, адресованные Анне Неперженой. Некоторые из них были опубликованы в брненском журнале «Неделя» («Воскресенье») за 1904 г., в газете «Моравска орлице» («Моравская орлица») и гектографированном журнале мансардистов «Ревю нейМладших» («Обозрение самых молодых») в 1905 г.

Стр. 94. *Главачек* Карел (1874—1898) — чешский поэт-символист.

Нейман Станислав Костка (1875—1947) — выдающийся чешский революционный поэт; в 1908—1919 гг. поддерживал дружеские отношения с братьями Чапеками, покровительствовал им и оказал на них большое влияние.

Дык Виктор (1877—1931) — видный чешский поэт, драматург и прозаик, в 1907—1915 гг. редактировал журнал «Люмир», где, по рекомендации С.-К. Неймана, начали печататься братья Чапеки.

Система

Впервые опубликовано в журнале «Народни обзор» («Национальное обозрение»), 1908, 3 октября.

Стр. 96. *Индепенденты* — протестанты, не признающие епископов и тем самым находящиеся в оппозиции к официальной англиканской церкви.

Бюхер Карл (1847—1930), *Лист* Франц фон (1851—1919), *Вагнер* Адольф (1835—1917), *Шеффле* Альберт Эберхард Фридрих (1831—1903), *Кери* Генри Чарльз (1793—1879), *Мюнстерберг* Гуго (1863—1918). — Речь идет об известных ученых и экономистах.

Пшеница

Впервые опубликовано в журнале «Горкего тыденик» («Еженедельник Горкего»), 1909, 12 марта.

Стр. 102. *Ажио* — излишек, надбавка против нарицательной цены денежных знаков, векселей, акций, облигаций при их продаже на бирже.

Дернбург Бернгард — немецкий финансист, государственный секретарь германского колониального ведомства.

Стр. 103. *Шёнбах* Антон (1848—1911) — немецкий филолог, в 1873—1909 гг. преподавал в университете г. Граца.

Аристократия

Впервые опубликовано в журнале «Горкего тыденик», 1909, 9 января.

О разных средствах

Впервые опубликовано в беллетристическом приложении к газете «Лидове новины», которое носило название «Вечеры» («Вечера»), 1912, 24 августа.

Сияющие глубины

Первая книга братьев Чапеков «Сияющие глубины и другие новеллы» вышла в 1916 г. в издательстве Франтишека Борового с иллюстрациями друга писателей архитектора Властислава Гофмана (1884—1964). Помимо рассказов 1910—1912 гг., в большинстве своем печатавшихся ранее в периодике, в нее была включена одноактная комедия «Любви игра роковая» (1910),

Красный рассказ

Впервые опубликовано в журнале «Люмир», 1910, 15 апреля, за подписью «Братья Чапеки».

От поцелуя до поцелуя

Впервые опубликовано в журнале «Умелецки месичник» («Художественный ежемесячник») в ноябре 1911 г., № 2, за подписью «Карел Чапек».

Остров

Впервые опубликовано в беллетристическом приложении «Вечеры», 1912, 24 февраля, за подписью «Карел Чапек».

Много лет спустя Юлиус Фучик писал: «Читая «Первую спасательную», я в третий раз почувствовал, что Карел Чапек — поэт. Впервые это показал маленький рассказ из сборника «Сияющие

глубины», написанный им еще совместно с братом Иозефом. Это «Остров», рассказ о человеке, потерпевшем кораблекрушение» (Юлиус Фучик. О театре и литературе. М.—Л., 1964, с. 201).

Сияющие глубины

Впервые опубликовано в журнале «Люмир», 1912, 18 октября, за подписью «Братья Чапеки».

В основу рассказа лег реальный факт — гибель английского трансатлантического лайнера «Титаник» (1912).

Распятие

Первая самостоятельная книга Карела Чапека «Распятие» вышла в конце 1917 г. в издательстве Яна Отто. Из включенных в данный том рассказов два были ранее опубликованы в журнале «Люмир»: «След» 7 января 1916 г. и «Лида» 16 июня 1916 г.

Карел Чапек вспоминал позднее, что обратился к работе над этой книгой «от безработицы и отчаяния». Создавалась она примерно с октября 1915 г. по февраль 1917 г.

Книга была задумана не как сборник рассказов, а как некое единое композиционное целое, о чем свидетельствует кольцевое построение первой части «Распятия»: «След», «Лида», «Гора», «Песня любви» («Лида, II»), «Элегия» («След, II»), а также последовательное развитие и правильное чередование сюжетно-тематических мотивов первой части сборника — во второй его части, одно и то же имя героя (Боура) в журнальных публикациях рассказов «След» и «Лида». 5 декабря 1917 г. К. Чапек писал Нейману: «Все эти рассказы начались для меня не мыслью, а переживанием; в «Следе» я хотел выразить снег; в «Элегии» — опьянение; в «Горе» быстроту и медлительность; «Лида» имеет в своей основе действительный случай; «Зал ожидания» находится в Усти над Лабем; «На помощь!» разыгрывается в деревне под Терезином, где я ночью заблудился, — короче говоря, все мои новеллы возникли из впечатлений, запавших в мое сознание».

Здесь же мы находим первую и наиболее развернутую авторскую интерпретацию сборника: «Название «Распятие» знаменует собой распутья или перекрестки жизни... Это книга антиинтеллектуалистская, книга кризиса и распада всего рационального. Ключ к ней — хотя бы «Элегия», затем «Гора». Благодаря какому-либо внутреннему или внешнему событию ты оказываешься на распутье, в точке, где кончается твоя рациональная, основанная на силе привычки жизнь, механизм разума и внутренней самоуспо-

коенности; ты встречаешься с неведомым, с чем-то загадочным и словно бы не знаешь, какой дорогой идти дальше. Это ощущение страшного беспокойства и неуверенности, боли, тоски и сомнения; ты теряешь почву под ногами и растерянно останавливаешься, И тут в тебе начинает говорить голос души, первая и почти детская ориентация, отнюдь не решение загадки, но обращение к собственному «я», к своему внутреннему миру. Только столкнувшись с загадочным, осознаешь собственную душу. Перед всем ты оказываешься беспомощен со своим интеллектом и стремлением к установлению причинной связи, и в этом состоянии бессилия перед тобою открывается таинственный источник помощи и силы в тебе самом, в чувствах детскости, любви, добра и набожности (без бога). Такова некая идейная конструкция моей книжки, но я не придаю ей большого значения... Мои люди не рассуждают где угодно и о чем угодно; среда и мысль представляют собой единое целое... Мысли не являются чем-то первичным, не служат постижению чего-то, а рождены настроением, представляют собой лирический элемент, которым я хотел выразить определенное впечатление от природы. Что мне нравится в моей книжке, так это реальность, которая этими психическими событиями одухотворена и приобретает магический, таинственный характер, каким обладает действительность, например, в детских глазах. Для меня речь шла об определенном волшебстве, а поскольку я вообще считаю поэзию колдовством, я осуществлял тем самым единственную свою программу. Единственное, что меня занимает и что, вероятно, никто о моей книжке не напишет, это то, как здесь творится действительность. Философия или не философия — это глупость; главная вещь — искусство. Но то мысленное, что содержится в книге, то есть высвобождение человека в мгновения свободы, очевидно, вызвано — хотя я об этом и не заботился — одержимостью или личным кризисом, а главное — настроением, навеянным войной. Война загнала человека в его внутренний мир; и когда ему было особенно тягостно, он чувствовал в себе нечто негероичное, разумеется, нечто испуганное и грустное, но все же свободное и непокоримое — собственную душу. Это не философия и даже не религия, а слепое и неотвратимое чувство» [1].

14 января 1928 г. Чапек писал юристу Иржи Ржиге: «Название «Распятие» двузначно и означает, с одной стороны, распутье, с другой, самоистязание высшими предметами и духовными поисками.

---

[1] V. Dyk, St. K. Neumann. Bratři Čapkové. Korespondence z let 1905—1918, Praha, 1962, s. 190—192.

Обращение в «Распятии», — я в этом сомневаюсь. Собственный мотив «Распятия» — это, с одной стороны, война и ожидание чуда, что для нас все обернется хорошо, с другой — предположение о смертельной болезни, на основе ошибочного диагноза — и, следовательно, какое-то сведение счетов с жизнью. В известном смысле это обращение, но не к вере, а к сочувствию» [1]. А в интервью, опубликованном 21 июня 1928 г. в журнале «Литерарни свет» («Литературный мир»), Чапек уточнял, что решение «метафизических тем» в «Распятии» имело своим итогом «прямой путь от какой-то метафизики к самому будничному: здесь начни».

След

Стр. 149. *...у Юма... я читал об одиноком следе на песке.* — Юм Дэвид (1711—1776) — английский философ-агностик, автор «Трактата о человеческой природе» (1748), в котором говорится, что тот, кто увидел бы на прибрежном песке след человеческой ноги, должен был бы предположить и существование следа второй ноги, хотя бы он и был занесен песком или смыт водой.

Мучительные рассказы

Книга Карела Чапека «Мучительные рассказы» впервые вышла в 1921 г. в издательстве «Авентинум». Все рассказы сборника ранее были опубликованы в периодике. Включенные в данный том рассказы появились первоначально в следующей хронологической последовательности: «Отцы» («Червен», 1918, 7 марта), «Трое» («Люмир», 1919, 16 апреля), «В замке» («Республика», 1919, 16 апреля и 7 мая), «Деньги» («Люмир», 1920, 28 января), «Трибунал» («Орфеус», 1920, июль, № 1), «Рубашки» («Цеста», 1920, 3 декабря), «Жестокий человек» («Люмир», 1921, 20 января).

В основу рассказа «В замке» легли впечатления, навеянные пребыванием Чапека в качестве домашнего учителя в семье графа Владимира Лажанского(февраль—октябрь 1917 г.). В июле—августе 1917 г. Чапек писал С.-К. Нейману из Хыше у Подборжан, где находился замок графов Лажанских: «Я все еще в панском услужении, на этот раз в замке; и Вы, вероятно, представляете себе, что при таких обстоятельствах на душе накапливается столько горечи

[1] K. Čapek. Poznámky o tvorbě, Praha, 1959, s. 82.

и унижения, что, как только пробуешь взяться за перо, письмо превращается в стенание» [1].

То обращение «не к вере, а к сочувствию», которое явилось итогом «Распятия», получило, по словам Чапека, развитие в «Мучительных рассказах»: «И в «Мучительных рассказах» в конце концов те же поиски терпимости, акцент на том, как трудно судить человека» [2].

В предисловии к английскому изданию «Мучительных рассказов» Джон Голсуорси писал о Чапеке: «У него проницательный ум, беспристрастная и живая фантазия, истинный дар выразительности... хорошее вино само себя хвалит, и к хорошим рассказам не нужно предисловия; все, что я скажу: я прочел их с живейшим интересом — они проницательны, необычны, в них есть сила и есть букет». (J. Galsworthy. Foreword. — In: K. Čapek. Money and other stories. London, 1929, p. 5).

Перевод выполнен по тексту книги: K. Čapek. Boží muka. Trapné povídky. Praha, 1973.

Рассказы из одного кармана
Рассказы из другого кармана

Книга «Рассказы из одного кармана» впервые вышла в январе 1929 г. в издательстве «Авентинум». Книга «Рассказы из другого кармана» вышла в декабре того же года в том же издательстве.

Рассказы из первого сборника ранее публиковались в различных периодических изданиях: «Последний суд» («Небойса», 1919, 14 августа, под псевдонимом «Плоцек», в сборник рассказ включен в переработанном виде), «Голубая хризантема» («Добры ден», 1928, 1 августа), «Тайна почерка» («Добры ден», 1928, 15 сентября); «Гибель дворянского рода Вотицких» («Народни праце», 1928, 16 и 23 августа); «Следы» («Розправы Авентина», 1928, № 1, сентябрь); «Дело Сельвина» («Светозор», 1928, 4 октября); остальные 18 рассказов печатались с 15 января 1928 г. по 25 февраля 1928 г, в газете «Лидове новины» обычно в воскресных номерах и в иной последовательности, чем та, которая установлена в книжном издании. Все «Рассказы из другого кармана» были опубликованы с 1 января 1929 г. по 1 сентября 1929 г. в газете «Лидове новины» в той же последовательности, что и в книге.

---

[1] V. Dyk. St. K. Neumann. Bratři Čapkové. Korespondence z let 1905—1918, s. 178—179.

[2] K. Čapek. Poznámky o tvorbě, s. 82.

О работе над рассказами Карел Чапек неоднократно упоминает в письмах Ольге Шайнпфлюговой (письма от 16, 20, 24 июля 1928 г.). В интервью 1930 г. К. Чапек говорил: «Материала было достаточно, и собирался он на протяжении всех двадцати лет моей журналистской практики. Это позволяло мне каждый день писать рассказ. Я продумывал его, когда ехал на передней площадке трамвая в редакцию... Все они взяты из жизни... Казусы и детали? Я черпал их в газетных редакциях от людей, которые были при этом. На множество интересных случаев обратил мое внимание коллега Гел...»

В другом интервью (1931 г.) Чапек следующим образом объяснял содержание книги: «Рассказы из одного кармана» включают в себя рассказы гносеологические и юридические. Юридические рассказы, как мне думается, немного лучше» [1].

Об этическом содержании «Рассказов из другого кармана» Чапек писал видному чешскому литературоведу Яну Мукаржовскому: «Второй том... тематически более свободен, меня скорее интересовали здесь поиски проблесков человечности и нежности в рутине жизни, ремесла и привычных оценок» [2].

В обеих книгах Чапек решал проблему построения «короткого рассказа». «Формально тому, кто это делает, — говорил Чапек, — такой рассказ на 8—10—12 страниц доставляет не меньшее удовольствие, чем сонет...» [3]

Перевод выполнен по тексту книги: K. Čapek. Povídky z jedné kapsy. Povídky z druhé kapsy. Praha, 1958.

Голубая хризантема

Стр. 311. *Лубенец* — город в западной Чехии.

Лихтенберги — немецкий графский и княжеский род.

Гадалка

Вероятным прототипом героини рассказа была пражская гадалка мадам де Феб, жившая на Золотой улочке в Праге. Карел Чапек рассказывал о ней своему издателю Отакару Шторху-Мариену.

---

[1] K. Čapek. Poznámky o tvorbě, s. 95—97.

[2] J. Mukařovský. Karel Čapek — spisovatel. Přitomnost, 1939, s. 156.

[3] K. Čapek. Poznámky o tvorbě, s. 96.

Стр. 316. *Кенсингтон* — западное аристократическое предместье Лондона.

Бромптон — лондонский квартал; *Бейсуотер* — лондонский проспект.

Стр. 319. *Сайнт-Джонс-Вуд* — фешенебельный лондонский квартал.

Ясновидец

Наиболее вероятный реальный прототип героя рассказа — Эрик Ян Гануссен (Герман Штайншнайдер, 1889—1933), еврей, выдававший себя за немца и впоследствии ставший астрологом Гитлера (Леон Фейхтвангер вывел его в романе «Братья Лаутензак», 1943). В 1927—1928 гг. Ганусcен выступал в различных городах Чехословакии с сеансами ясновидения. В 1928—1930 гг. в г. Литомержице проходил публичный процесс над Эриком Ганусcеном, обвиненным в шарлатанстве. В ходе процесса обвиняемый для доказательства своих ясновидческих способностей определял характер и факты биографии ряда лиц по их почерку. 26 мая 1930 г., вопреки выводам судебно-медицинских экспертов, суд вынес оправдательный приговор.

Стр. 323. *Доксанский пруд* — большой пруд близ г. Доксы в северной Чехии, получивший название «Махово озеро» (в честь чешского поэта-романтика К.-Г. Махи (1810—1836).

Тайна почерка

Во второй половине 20-х годов К. Чапек проявлял несомненный интерес к так называемой «научной графологии». 3 апреля 1926 г. в рецензии на книгу Роберта Саудека «Научная графология» он писал в «Лидовых новинах»: «...графологии пошло бы на пользу, если бы она глубже осознала свой методологический характер интуитивного искусства, вместо того чтобы отягощать себя тщетным усилием уподобиться научной методике...» В столбце «Тайна почерка» («Лидове новины», 1926, 7 февраля) Чапек после прочтения толстого немецкого труда по графологии с иронией отзывался о противоречивости графологических данных и несоответствии их подлинному характеру человека и писал о том, что реальный человек всегда значительно более сложен, чем он предстает по результатам графологического анализа. «То, что написано, таинственнее и удивительнее почерка, которым это написано. Великая тайна почерка — слово. Скрытый смысл почерка заключает в себе не пишущий, а его произведение. Но, разумеется, таинствам такого чтения нельзя научиться», — писал Чапек, подводя итог своим рассуждениям.

Бесспорное доказательство

Ольга Шайнпфлюгова рассказывала автору комментариев, что в основу сюжета лег действительный случай: по ошибке она вложила в конверт, отосланный Карелу Чапеку, письмо, адресованное врачу-акушеру Карелу Штейнбаху. В письме Карела Чапека Ольге Шайнпфлюговой от 23 июня 1928 г. мы действительно читаем: «Дорогая Олина, я имею сильные основания предполагать, что это письмо адресовано не мне, а какому-то из многих других Карелов, скорее всего, тому акушеру; я послал бы письмо прямо ему, но никак не могу вспомнить его фамилию...» [1]

Стр. 334. *...убил императрицу Елизавету.* — 10 сентября 1898 г. итальянский анархист Луккени убил в Женеве, на берегу Женевского озера, жену австро-венгерского императора Франца Иосифа I (1830—1916) Елизавету.

Эксперимент профессора Роусса

С 1920 г., когда была опубликована книга К. Чапека «Критика слов», и до самой своей смерти писатель вел неустанную борьбу с журналистским фразерством и словесными газетными шаблонами. В предисловии к ироническому «Журналистскому словарю» (1933) своего друга писателя Карела Полачека он писал: «Фраза — это не устойчивый оборот речи, а устойчивая ложь». Многочисленные публицистические миниатюры Чапека были посвящены критике таких устойчивых образцов «механизированной неискренности». Этой же теме посвящен и рассказ «Эксперимент профессора Роусса».

Стр. 340. *Панкрац* — пражская тюрьма.

Стр. 343. *Mene tekel* (точнее, «Mene tekel fares») — таинственные огненные слова, которые, по библейскому преданию, были начертаны невидимой рукой перед взором пирующего Валтасара, царя древнего Вавилона, и предвещали ему возмездие за разврат и жестокость; в ту же ночь Валтасар был убит.

Стр. 344. *Колесница Джаггернаута.* — Джаггернаут (Джанатха) — одно из воплощений индийского бога Вишну.

Похищенный документ № 139/УП отд. «С»

Стр. 352. *Сазавский случай* — случай, имевший место в 1927 г., во время следствия по делу главаря чешских фашистов, бывшего ге-

[1] К. Čapek. Listy Olze. Praha, 1971, s. 236.

нерала Рудольфа Гайды. На Сазаве группа фашистских молодчиков проникла в загородную виллу министерского чиновника и похитила документы, изобличавшие Гайду как организатора антиправительственного путча.

Поэт

По свидетельству чешского журналиста Франтишека Гела (Фейгела, 1901—1972), случай, сходный с сюжетом новеллы Чапека, произошел с писателем Карелом Полачеком, на глазах которого был убит чешский министр финансов, в прошлом редактор газеты «Народни листы» Алоис Рашин (1867—1923). Однако имя героя рассказа Ярослав Нерад намекает на двух ведущих представителей чешского поэтизма, литературного направления, во многом близкого французскому сюрреализму, — поэтов Витезслава Незвала (1900—1958) и Ярослава Сейферта (р. 1901).

Происшествия с паном Яником

Сюжет новеллы был подсказан Чапеку Франтишеком Гелом.

Стр. 377. *Бубенеч* — в 20-е годы вновь застроенный район фешенебельных вилл в Праге.

Гибель дворянского рода Вотицких

Стр. 379. *Иржи из Подебрад* (1420—1471) — король Чехии в 1458—1471 гг., способствовавший расцвету чешского государства.

Кноблох Эдвард (р. 1898) — чешский психиатр, профессор медицинского факультета Карлова университета в Праге, бывший полицейский врач.

Стр. 380. *Пекарж* Иозеф (1870—1937) — чешский историк, старался реабилитировать эпоху католического барокко и контрреформации; занимал консервативную общественную позицию.

Новотный Вацлав (1869—1932) — чешский историк, профессор Карлова университета.

Стр. 381. *Король Владислав* — Владислав II (1456—1516), чешский король из польской династии Ягеллонов; вступил на трон в 1471 г.

Стр. 382. *Рыцарь Индржих.* — Чешское имя Индржих соответствует немецкому Генрих.

Рекорд

Стр. 390. *Кук* Джозеф — американский спортсмен, олимпийский чемпион 1928 г. в толкании ядра.

Гиршфельд Эмиль — немецкий спортсмен, чемпион мира 1928 г. в толкании ядра.

Однажды во Владивостоке... В Сибири... — Из контекста рассказа явствует, что Гейда был в России в составе чехословацкого добровольческого корпуса (так называемого «Легиона»), сформированного из бывших австрийских военнопленных, и проделал вместе с ним путь через Сибирь и Владивосток на родину.

Стр. 391. *Непомуцкий Ян* (Ян Непомук; ум. в 1393 г.) — генеральный викарий пражского епископата, по приказу короля Вацлава IV (1361—1416) был брошен во Влтаву за сопротивление его антицерковной политике; в 1729 г. был причислен католической церковью к лику святых. Скульптурные изображения Яна Непомуцкого, считавшегося святым покровителем Чехии, часто встречались не только в храмах, но и под открытым небом.

Дело Сельвина

В 1927 г. в Праге и Вене было вынесено несколько необоснованных оправдательных приговоров (сомнительная реабилитация лидера чешских фашистов Рудольфа Гайды, оправдание убийц венских рабочих, оправдание Нелли Грозавеску, убившей популярного оперного певца и признанной невменяемой), вызвавших протестующие публицистические отклики Карела Чапека («Странные манеры». — «Лидове новины», 1927, 16 января; «Реабилитация». — «Лидове новины», 1927, 10 марта; «В тени судов присяжных». — «Лидове новины», 1927, 24 июня). Поэтому в герое рассказа «Дело Сельвина» писателе Леонарде Ундене есть нечто и от французского писателя Эмиля Золя, сыгравшего видную роль в защите А. Дрейфуса, и от защитника Нелли Грозавеску — знаменитого венского адвоката Генриха Штегера, в июне 1927 г. посетившего Прагу.

Купон

В основу рассказа легло нашумевшее в конце 1920-х гг. убийство в Гостиваржи под Прагой.

Стр. 408. *Стршелецкий остров* — остров на реке Влтаве в центре Праги; на острове разбит парк с рестораном под открытым небом.

Стр. 415. *«Эден»* («Рай») — народный сад в Праге с увеселительными заведениями.

Конец Оплатки

Реальной основой рассказа явилось преследование убийцы и грабителя Мартина Лециана (март 1927 г.) и бандитов, совершивших налет на филиал банка в Велке Бытче (апрель 1927 г.). В статье «Дальний запад» («Лидове новины», 1927, 8 апреля) Чапек писал, что в подобных случаях «кончается детективная история и начинается война с вооруженными преступниками».

Исчезновение актера Бенды

3 сентября 1928 г. Чапек писал Ольге Шайнпфлюговой: «Д-ру Штейнбаху скажи, что я написал о нем рассказец, но он выйдет, вероятно, только в следующее воскресенье...» [1] Рассказ «Исчезновение актера Бенды» был действительно опубликован в газете «Лидове новины» 9 сентября 1928 г.

Стр. 436. *Освальд* — персонаж драмы Генриха Ибсена (1828—1906) «Привидения» (1881).

Освобожденный

26 апреля 1926 г. в газете «Народни политика» («Национальная политика») была опубликована заметка «Трагический случай с демонстрантом», в котором рассказывалась история Иозефа Барты, приговоренного к пожизненному тюремному заключению, досрочно амнистированного и... вновь осужденного пожизненно за случайное участие в коммунистической демонстрации. В архиве канцелярии президента Чехословацкой республики сохранилось письменное ходатайство Чапека о новой амнистии для Барты, адресованное Т.-Г. Масарику.

Похищенный кактус

Друг братьев Чапеков писатель Франтишек Лангер вспоминает, что с тех пор, как Карел Чапек заразился «кактусовой горячкой», они часто посещали вместе оранжереи чешского путешественника по Южной Америке Альберта Войтеха Фрича (1882—1944), вилла

---

[1] K. Čapek. Listy Olze, s. 245.

которого находилась в пражском районе Коширже. Карел Чапек приобрел впоследствии такие познания о кактусах, что мог рецензировать соответствующие научные монографии.

Рассказ старого уголовника

Уже в «Автобиографическом предисловии» к «Саду Краконоша» братья Чапеки писали, что критика находила в их рассказах «влияния испанские, итальянские, французские, английские и американские», к сожалению, обычно без более точных указаний. В связи с «Сияющими глубинами» критика упоминала более 50 писателей, якобы влиявших на молодых авторов. Нечто подобное повторялось при появлении почти каждого нового произведения Карела Чапека. Когда в печати появилось эссе братьев Чапеков «Как ставится пьеса и путеводитель по закулисью» (1925), критик Бедржих Фучик не преминул указать на «подлинный» ее источник — брошюру немецкого писателя Пауля Линдау «Как ставится и идет на сцене комедия» (1876). Карелу Чапеку пришлось напоминать, что они с братом имеют кое-какое отношение к театру и у них была возможность обратиться к гораздо более близкому источнику — личному опыту (К. Чапек. Бездорожье. — «Лидове новины», 1928, 2 июня). Такова автобиографическая подоплека образа писателя Яндеры в «Рассказе старого уголовника».

Исчезновение господина Гирша

Как вспоминает Франтишек Лангер, перед тем как начать коллекционировать ковры, Карел Чапек проштудировал научную литературу о них, а затем принялся охотиться за ними в лавках старьевщиков и антикварных магазинах. Принося домой старые затоптанные ковры, которые заставляли друзей подозревать его в скупости, он давал своим приобретениям звучные восточные названия, которые, однако, как оказывалось впоследствии, подчас вовсе не были плодом его фантазии. Со временем Чапек стал знатоком ковров, научившись распознавать их происхождение, возраст, разбираться в качестве красителей и образцах орнамента. В доме его не было ни одного малоинтересного экземпляра. Творчество писателя это увлечение обогатило «столбцом» «Восток» и рассказами «Исчезновение господина Гирша» и «Редкий ковер».

Стр. 477. *...хлопот на Гибернской...* — На Гибернской улице в Праге находилась таможня.

Редкий ковер

Стр. 478. *Рожмберкский замок* — замок в городе Рожмберк над Влтавой в южной Чехии.

Стр. 480. *Иозеф Красослав Хмеленский* (1800—1839) — чешский поэт, прозаик, драматург и критик.

Стр. 486. *Кобылисы* — окраинный район Праги.

Украденное убийство

Стр. 500. *Проспект Фоша* — ныне Виноградский проспект, после провозглашения независимости Чехословакии носил имя французского маршала Фердинанда Фоша (1851—1929).

Графиня

Стр. 510. *«Политичка»* — «Народни политика», беспринципная буржуазная бульварная газета, поддерживавшая крайне правые политические группировки.

История дирижера Калины

Заметкой «Один из самых молодых» («Лидове новины», 1928, 14 августа) Чапек простился с композитором Леошем Яначеком (1854—1928), написавшим в 1923—1925 гг. оперу по комедии «Средство Макропулоса» (1922). Писатель и композитор были дружны. Оба побывали в Англии (Чапек — летом 1924 г., Яначек — весной 1927 г.). Ян Микота, который был секретарем и переводчиком Яначека во время его поездки в Англию, обратил внимание на сходство высказывания композитора в интервью 1928 г. о том, как он воспринимал английскую речь, с сюжетом рассказа Чапека «История дирижера Калины» (Я. Микота. Чапек и «Оконца в душу» Яначека. — «Лидова демокрацие», 1903, 25 августа).

Смерть барона Гандары

Стр. 520. *Гребовка* — ныне Гавличковы сады в Праге.

Баллада о Юрае Чупе

В интервью 1930 г. Карел Чапек заметил: «Только одна история — та, которая происходит на подкарпатской Руси, — случилась в Словакии, а я ее перенес на подкарпатскую Русь. Но люди, побывав-

шие там, подтвердили, что обстановка там действительно такая, какой я ее изобразил» [1].

Стр. 531. *Подкарпатье* — принятое в Чехословакии 1918—1938 гг. название Закарпатской Украины.

Рассказ об утерянной ноге

Стр. 537. *Acta sanctorum* — «Святые деяния» (лат.), жития святых, которые издавал голландский иезуит Ян Болланд (1596—1665) и его последователи.

Телеграмма

Ладислав Янко в статье «Gadete un ucjarc peuige» («Заметка к рассказу Чапека «Телеграмма», «Ческа литература», 1956, № 4) убедительно показал, что загадочный текст телеграммы представлял собой искаженную на французский манер чешскую фразу «Пришлите мне какие-нибудь деньги». Ладислав Булин в статье «Тайна почерка» («Гост до дому», 1958, № 12) отметил, что в основу рукописного начертания этой фразы лег почерк самого Карела Чапека.

Коллекция марок

Стр. 578. *Straits Settlmets* — Стрейтс-Сетлметс (англ.; поселения у проливов), до 1946 г. английская колония в юго-восточной Азии.

Сьерра-Леоне — бывшая британская колония в западной Африке, ныне республика, входящая в состав Британского содружества наций.

Маленькие рассказы

Цикл «Маленькие рассказы» был опубликован в 1946 г. в книге «Басни и маленькие рассказы», подготовленной к изданию Мирославом Галиком (издательство Франтишека Борового). В основу книги легла папка под приведенным выше названием, в которой находились газетные вырезки и рукописи. Папка эта была найдена в личном архиве писателя. Нетрудно заметить, что в этих рассказах-миниатюрах Чапек поднимает многие серьезные, злобо-

---

[1] K. Čapek. Poznámky o tvorbě, s. 96—97.

дневные вопросы, волновавшие чешскую общественность во второй половине 30-х годов, накануне фашистской оккупации Чехословакии. Мирослав Галик дополнил находившиеся в архиве Чапека материалы произведениями этого же экспериментального жанра, опубликованными в периодике. «Микрорассказ» «Общество кредиторов барона Бигари» впервые был напечатан в «Альманахе Кмена. Весна 1939». Остальные рассказы цикла публиковались в газете «Лидове новины»: «Прожигатель жизни» — 1928, 5 февраля; «О последних делах человека» — 1928, 12 февраля; «Чудо на стадионе» — 1936, 22 марта; «Юридический казус» — 1936, 5 апреля; «Черт» — 1936, 26 апреля; «Паштет» — 1936, 3 мая; «Контора по переселению» — 1936, 25 октября; «Первый гость» — 1936, 15 ноября; «Проект» — 1937, 21 февраля; «Тонда» — 1937, 11 апреля; «Если бы в суде заседали дипломаты» — 1937, 17 октября; «Ореол» — 1938, 24 апреля; «Человек, который умел летать» — 1938, 1 мая; «О всемирном потопе» — 1938, 5 июня; «Интервью» — 1938, 13 февраля; «Десять сентаво» — 1938, 20 ноября.

Переводы выполнены по тексту книги: K. Čapek. Bajky a podpoví dky. Praha, 1970.

Чудо на стадионе

Стр. 602. *«Славия»* — один из наиболее популярных пражских футбольных клубов.

Черт

Стр. 606. *Дворжак* Антонин (1824—1884) — великий чешский композитор.

Контора по переселению

Стр. 615. *Эра Баха* — период реакции, наступивший в Австро-Венгрии после поражения революции 1848 г.; получил свое название по имени имперского министра юстиции и внутренних дел в 1848—1859 гг. Александра Баха (1813—1893).

Общество кредиторов барона Бигари

Стр. 621. *...у анталовцев* — то есть у эфиопов (Антало — город в Эфиопии).

О всемирном потопе

Стр. 641. *Музей.* — Имеется в виду чешский Национальный музей.

Подскали — прибрежный район Праги.

Само — франкский купец, в 623—658 гг. возглавлял первое славянское государственное образование на территории нынешней Чехии, так называемое государство Само.

Стр. 642. *Бои* — кельтское племя, жившее в III и II вв. до н. э. на территории Чехии.

Стр. 643. *Сватоплук Чех* (1846—1908) — видный чешский поэт.

В томе использованы рисунки Йозефа Чапека:

Стр. 70, 110, 144 — элементы оформления разных книг (заставки, концовки и др.).

Стр. 88. Иллюстрация к сборнику стихов Г. Аполлинера, 1919.

Стр. 230. Рисунок «Пристань», 1912.

Стр. 306. Обложка книги Ж. Ромена «Приятели», 1920.

Стр. 460. Иллюстрация из книги Ф. Жамма «Роман о зайце», 1920.

Стр. 596. Иллюстрация и титульный лист к сборнику стихов Г. Аполлинера, 1919.

Стр. 654. Линогравюра «Вазочка».

Рисунки перепечатаны из книг:

«Josef Čapek a kniha», Praha, 1958.

J. Pečírka. Josef Čapek. Praha, 1961.

На переплете даны автопортреты Карела Чапека.

Содержание

МУЧИТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ

РАССКАЗЫ ИЗ ОДНОГО КАРМАНА

РАССКАЗЫ ИЗ ДРУГОГО КАРМАНА

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ

Чапек К.

Ч 19 Собрание сочинений. В 7-ми томах. С илл. Карела и Иозефа Чапеков. Ред. коллегия: Н. А. Аросева и др. Т. I. Рассказы. Пер. с чешск. Коммент. О. Малевича. М., «Худож. лит.», 1974.

680 с.

В I том Собрания сочинений Карела Чапека вошли рассказы разных лет (1908—1938 гг.). Впервые в русских переводах полностью представлены такие важные для творчества Карела Чапека сборники, как «Рассказы из одного кармана» и «Рассказы из другого кармана». Почти полностью даны ранние сборники «Распятие» и «Мучительные рассказы», которые были ответом писателя на проблемы, поставленные перед Чехословакией первой мировой войной.

Ч $\frac{70304\text{-}284}{028(01)\text{-}74}$ **Подписное** **И (Чехосл.)**

Карел Чапек

Собрание сочинений
Том 1

Редакторы
И. Иванова
В. Мартемьянова
Художественный редактор
Г. Масляненко
Технический редактор
О. Ярославцева
Корректор
В. Фадеева

Сдано в набор 15/II 1974 г. Подписано в печать 13/VIII 1974 г. Бумага типографская № 1. Формат 84X108 1/32. 21,25 печ. л., 35,7 усл. печ. л. 36,63+1 вкл. = 36,08 уч.-изд. л. Заказ № 1280. Тираж 75 000 экз. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Художественная литература» Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.